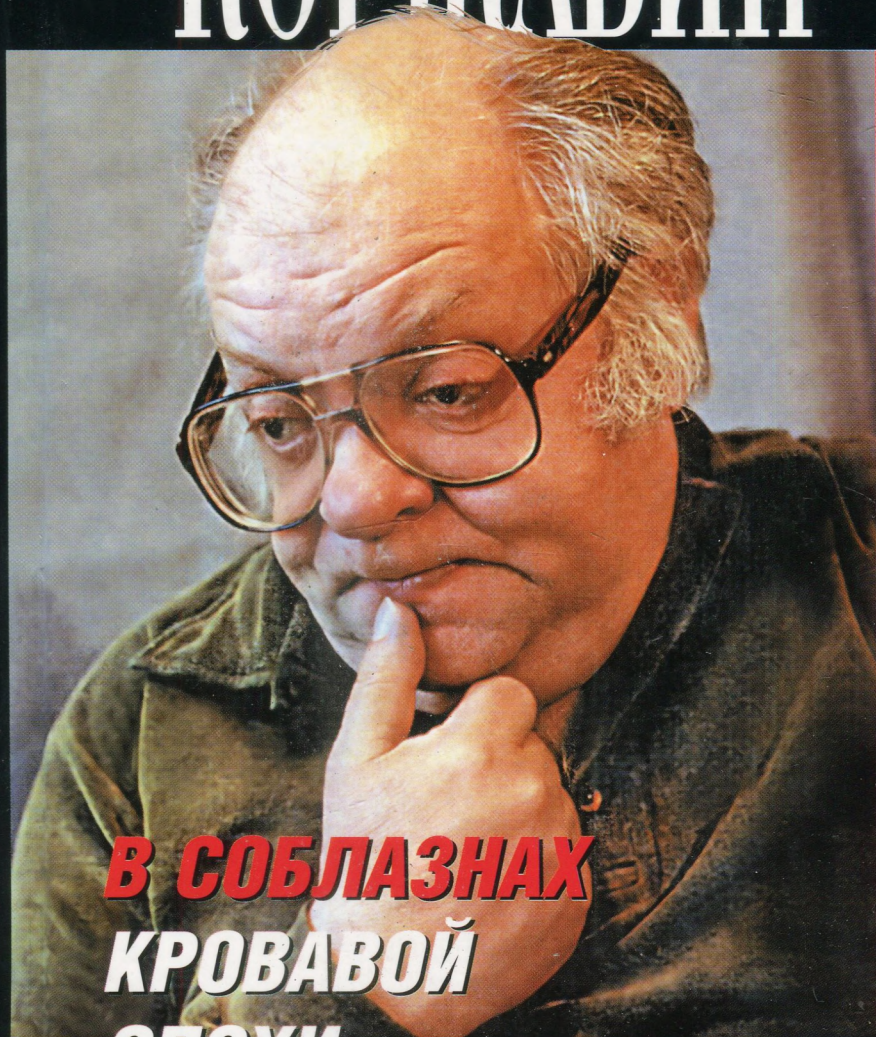


КНИГА II

НАУМ КОРЖАВИН

НАУМ КОРЖАВИН



ВОСПОМИНАНИЯ

**В СОБЛАЗНАХ
КРОВАВОЙ
ЭПОХИ**



ЗАХАРОВ

НАУМ КОРЖАВИН

ВОСПОМИНАНИЯ
В ДВУХ КНИГАХ



ЗАХАРОВ

НАУМ КОРЖАВИН

***В СОБЛАЗНАХ
КРОВАВОЙ
ЭПОХИ***

II



ЗАХАРОВ
МОСКВА

УДК 882-94
ТБК 104
К 66

Полный текст в авторской редакции

Издание второе, исправленное

К 66 Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания в 2 кн. Кн. 2. — М.: «Захаров», 2007. — 752 с. — (Серия «Биографии и мемуары»).

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов.

Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная...

В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...

ISBN 978-5-8159-0656-3
ISBN 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)

УДК 882-94
ТБК 104

© Наум Коржавин, автор, 2007
© Ирина Богат, издатель, 2007

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПО ЭТАПУ В РОССИЮ

Вступление

Сегодня 12 августа 1998 года. Итак, я приступаю к рассказу об этапах и о моей жизни в Сибири. Первые две главы — об этапах. В них — встречи, впечатления, самые разные судьбы и рядом с ними мое восприятие, противоречащее моей же «ангажированности», за которую я держусь. Но меня волокут по этапу в Россию и к свободе. К свободе — это когда меня выпустят в ссылку (этого я жду не дождусь) и к свободе от этой «ангажированности», — этой второй свободы я не хочу, боюсь и надеюсь избежать как потери смысла жизни.

Повествование поневоле фрагментарное — этап ведь и есть этап.

Дальше пойдут деревенские впечатления. Думаю, что мой деревенский опыт ценен. Конечно, я в своем знании и чувстве деревни не могу конкурировать с авторами «деревенской прозы», я и в деревне оставался городским человеком, но все же мне открывалось больше, чем многим горожанам, кому приходилось бывать или даже работать в деревне — я никак не ассоциировался с начальством. Все, что я видел и что вспоминаю — свидетельство о том, как последовательно и планомерно Сталин губил и убивал Россию.

Не знаю, нужно ли это кому-нибудь сейчас, когда само существование России под вопросом. Но прошлое знать надо. Может, потому оно сейчас под вопросом, что привитые ей болезни лечили без учета их истории. Делаю что могу.

От Лубянки до Свердловской пересылки

Но наконец ворота Лубянки (ряд ворот? — но я не запомнил, да ведь изнутри и не видно) за нами закрылись, и «воронки» развернулись на московской улице. В заднее решетчатое окошко что-то было видно.

— Фуркасовский переулок, — уверенно сказал один из сидевших рядом со мной, по профессии московский шофер. — Вот на Кирова (сейчас опять Мясницкая) повернули. Видать, на Каланчевку везут, к вокзалам...

Интерес был не праздный — люди старались угадать, куда их увозят. Из всех только я один знал, что еду в Новосибирск. Отсюда должно было следовать, что и остальных, раз их связали со мной, перемещают в том же направлении — на восток. Но кто мог знать, что из чего «у них» следовало. Впрочем, и в Новосибирск поезда шли как с Казанского, так и с Ярославского вокзала. Мне по старой памяти хотелось, чтобы нас увозили с Ярославского — мимо все-таки привычных или обжитых мест; чтобы все это — Мытищи... Строитель... поворот на Подлипки... — промелькнуло передо мной напоследок еще раз. И сначала вроде к тому и шло — «воронок», быстро докатив до Казанского вокзала, к моей радости, проехал мимо него. Вот-вот он должен был развернуться налево к Ярославскому. Но он круто повернул направо, в один из незнакомых мне переулков, ведущих к железнодорожным путям, и мы быстро оказались на небольшой площадке, которой он у самых путей заканчивался. Собственно, это была не площадка — просто двухэтажные бревенчатые дома дореволюционной постройки, из которых он состоял, здесь расступались шире. Тут нас ожидал другой конвой, с собаками. Нам велели выгрузиться.

И началась невиданная мной доселе, но вполне рутинная процедура передачи-принятия эзков. Один конвой нас поштучно сдавал, другой принимал. Внимательно смотрелись бумаги, сличались с ними приданные им люди. Каждый окликаемый обязан был назвать свои «инициалы полностью» (то есть полностью имя и отчество, год рождения, статью и срок). Ничего удивительного в этом нет — конвоиры отвечали за нас тоже поштучно. Но с непривычки подав-

ляло... Когда в конце концов эта нудная работа была закончена, нас построили в колонну и погнали — именно погна-ли! — по разным насыпям и путям. Не бежать было нельзя, подгоняли окрики конвоиров и лай собак, а бежать — тяжело: щебень осыпался под ногами, разъезжались ноги. Я задыхался. И главное, было невероятно тяжело удерживать и тащить свою корзину.

В принципе я не так уж слаб. Но при этом я всегда был не в силах, например, таскать носилки, особенно груженные — они скоро начинали выскользывать у меня из рук. Ибо руки мои всегда были очень слабы в кистях. У меня просто нет бицепсов (как и икр на ногах). Объяснение, что это у меня было оттого, что я мало занимался физическим трудом, отпадает. Мне приходилось им заниматься больше, чем многим моим друзьям, но у них и бицепсы, и икры на месте, а у меня их нет совсем. Это моя личная патология. И теперь она сильно ухудшала мое положение.

Корзина эта, весь мой скарб, не только оттягивала мне руки, но с каждым шагом все сильнее и настойчивее стремилась выскользнуть из одеревеневших пальцев. Было просто необходимо упасть и отдышаться, но бесконечные «быстрей-быстрей!» конвоиров и злые повизгивания собак исключали такую возможность. И я уже не прочь был разжать пальцы и выпустить ее из рук, но страшно было оказаться голым в Сибири. Деваться было некуда. А за ноющей, пропотевшей спиной, примерно в километре от нас, зазывно и празднично — попробуй убеди нас тогда, что не празднично — сияли огни Казанского вокзала, жила Москва.

Бег этот казался бесконечным, и все-таки настал момент, когда обессиленные, полуживые, задыхающиеся, мы кое-как добрались до «вагонзака» — вагона для заключенных.

В старину этот вагон с зарешеченными окнами назывался просто «тюремный». Но теперь получил наименование — «столыпинский», или просто — «столыпин». Только так его и звали. Сын П.А.Столыпина, Аркадий Петрович, когда я разговаривал с ним в Париже, справедливо огорчился и даже возмущался по поводу такого закрепления в народной памяти имени его отца.

— Ведь он же намного облегчил положение арестантов: их стали перевозить в классных вагонах, по четыре человека в купе. Он же не знал, что туда будут вталкивать по двадцать.

Конечно, не знал. Многого не знал П.А.Столыпин из того, что в целом ему не дали предотвратить. Знал только в общем, что грядет нечто, что предотвратить необходимо. И не был понят. Во всяком случае, вагонов для советской пенитенциарной системы он не готовил. Впрочем, она любые бы приспособила.

Но речь сейчас не о П.А.Столыпине. Нам было не до него, когда нами начали загружать «его» вагон. В том состоянии, в каком я был, о том, чтобы взобраться (не с перрона, а с земли) на его ступени, казалось бы, и думать нельзя было. Но мне «подмогнули». Пинком сапога в зад: «быстрее-быстрее!» — я чуть ноги себе не сломал, но взобрался. Конвоиры, видимо, опираясь на опыт, были уверены, что любой, если его заставить, выдюжит. В данном случае они были просто проникнуты психологией того государства, в котором жили. Не так же ли Сталин погнал тогда всю усталую, обессиленную и, как теперь ясно, обескровленную войной страну на новые жертвы во имя приходящих в его большую голову «великих» задач? И ведь и впрямь она до поры до времени выдюживала.

Таким был порядок вещей. Конвоиры вели себя так, словно каждый раз вдавливали в донельзя переполненное помещение еще одного уже никак не помещавшегося человека. А вагон был еще пуст. Впрочем, теперь я понимаю, что у конвоя были резоны спешить. Нас, «политикантов», пока еще почему-то надо было отделять от иной публики, но не нас берегли от уголовников, а всех остальных от нас. Они не должны были нас видеть, чтоб не заразиться. Поэтому нас и привели первыми и разместили в самом крайнем от входа купе. Хотя при этом всех везли в одни и те же лагеря, где они неизбежно должны были встретиться. Но такова была природа сталинского театра — играли неизвестно перед кем идиотский спектакль. Особенно истово в Москве. Ради этого спектакля нас и мучили.

Купе наше быстро наполнилось. Точнее, переполнилось. Тоже «политиками», но не «нашими», с «Большой Лубянки», а насельниками других московских «внутренних» тюрем: «Малой (областного управления) Лубянки» и политического корпуса «Бутырок», а также иногородними, доставленными сюда из центральной пересыльной тюрьмы «Красная Пресня», куда их привезли из городов, где они

жили и были арестованы. Помню одного, явно интеллигентного латыша. Приговор — не то восемь, не то десять лет. Кто-то «понимающий», кажется Саша, догадался:

— А-а, за пана Бандеру!..

Догадка была нелепой. Бандеровцы действовали на Западной Украине, где служил Сашин брат, а те, кто действовал в Прибалтике, назывались «лесные братья». Но для Саши, видимо, разницы не было — раз партизанят против нас, значит бандеровцы. Но латыш его понял, не стал уточнять термины, только сказал:

— Нет, что вы... За пана Бандеру меньше пятнадцати не дают.

Потом появился ксендз из Гродно. Впрочем, что этот человек ксендз, я понял только годы спустя, хотя он вовсе этого не скрывал, а прямо ответил на вопрос о профессии:

— Я божничий.

Но я плохо его понял. Хотя вообще он говорил по-русски вполне грамотно — кончил когда-то русскую гимназию, чем заметно гордился. И не только из-за русского языка. Я почувствовал, что это в довоенной Польше было престижно.

Меня сбило с толку это слово — «божничий». Из-за него я очень долго считал, что он был каким-то мелким служкой при костеле. Это несколько контрастировало с его возрастом, образованием и общим впечатлением от его личности, но я не задумывался. Теперь я понимаю, что «божничий» — обобщающий термин, аналогичный нашему «человек духовного звания». Уверен, что я сильно ошибся и в определении его сана — как минимум был наш спутник настоятелем своего костела, но, может, и вообще епископом. Высокий, худой и бледный (после тюрьмы? Но мы все были после тюрьмы, а он отличался бледностью), он был невероятно юрок, очень разговорчив и как-то суетливо любопытен. Такими изображал поляков Достоевский, но я больше нигде не встречал таких (говорю только о внешних проявлениях, а не о сути, ибо мало о нем знаю). Советскую власть божничий, мягко выражаясь, не любил, чего не скрывал. Но «божничество» его ни в чем не проявлялось — религиозно просветить нас он не пробовал. Ни исподволь, ни прямо.

Хотя разговоры бывали на всякие темы. Однажды, выслушав мой сталинистский бред, он шепнул Рузеру, с кото-

рым я, собственно, и спорил, что, дескать, ясно, почему он так говорит — еврей. Из-за чего ему пришлось вежливо выслушать вполне интеллигентную отповедь, что недостойные люди встречаются среди всех народов.

С «высоты» своего тогдашнего исторического мышления я ни на одного из них не обиделся. Только жалел их за узость горизонтов и заскорузлость представлений. Не обижаюсь — правда, по другим причинам — и сегодня. Нести то, что я нес среди того моря страданий, в котором находился, было не только глупо, но и бесчеловечно. Так что раздражение я вызывать, безусловно, должен был. Правда, эти мои умствования — мой личный грех, и распространять представление о нем на всех остальных евреев мира — тоже дело не святое. Но полностью комизм ситуации был мне тогда недоступен. Безусловно, для «божничего» тождество понятий «большевик» и «еврей» существовало непреложно. Оно подкреплялось тем, что некоторая часть еврейской интеллигентной и полуинтеллигентной молодежи (но отнюдь не вся молодежь и тем более не все евреи) в «освобожденных» в 1939—1940 годах местностях поддержала «новую власть» и даже сотрудничала с ней. Вспомним обескураженных западноукраинских милиционеров, встреченных мной в поезде во время эвакуации. Однако и они в своем поведении, и он в отношении ко мне руководствовались одним и тем же анахронизмом. Он тоже (он ли один?) не понимал, насколько изменилось время, и ему трудно было представить, что человек, с которым он почти одинаково, по-человечески воспринимает мою белиберду, как раз и есть тот самый «еврей-большевик», какого он видел во мне, а я в значительной мере поддерживал сталинскую измену большевизму. Впрочем, понимать эти «тонкости» ему — да еще в тех условиях — было совершенно необязательно. Жаль, что его естественное возмущение моим умствованием выразилось именно так, но не мне, тогдашнему, его за это судить...

А я ведь тоже страдал. Бег с корзиной и «посадку» в вагонзак я уже описал. И вообще я разделял общую судьбу. То, что мне маячила впереди свобода на поселении и, как я полагал, жизнь в Новосибирске (не Москва, конечно, но все же...), здесь не воспринималось как реальность. Для конвоя мы были все одинаковы, и это передавалось. Но в глу-

бине души я знал, что это меня отличает, и я испытывал от этого радость. Но и неловкость.

Между тем маневровая «кукушка» подошла к нашему вагону, почти к самому тупику, к поперечному перрону. Потом впереди нас поставили весь пассажирский состав, и была объявлена посадка на пассажирский поезд № 71 Москва—Новосибирск, и она тут же началась. Решетчатая стена купе не мешала нам через коридор и зарешеченное окно вагона видеть происходящее на перроне. А происходила там обычная предотъездная суতোлка. Офицеры, их жены с детьми, студенты, мужики, бабы, работяги, командировочные и Бог знает кто еще — все, как всегда, ринулись занять места в бесплацкартных вагонах. Впрочем, и свои законные в плацкартных тоже надежней было бы занять пораньше — иногда продавали по два билета на одно место. В общем, за окном шла обычная и хорошо мне понятная вокзальная жизнь. Я ведь и сам не раз бежал в такой толпе, обуреваемый такими же заботами и тревогами. Теперь я был напроочь от них освобожден. Люди спешили. Кое-кто на бегу оглядывался на наш вагон, но таких было мало. Что ж, им ведь здесь и впрямь было не до нас — самим бы поспеть.

Здесь. Но и на той площадке, где нас сдавали-принимали, было то же самое. А ведь в домах вокруг этой площадки жили обыкновенные люди. Они проходили рядом с нами, не видя нас. Все было подчеркнуто погружены в свои дела и, как мне кажется, даже испытывали особое чувство достоинства от своей непричастности к нам. Я их за это не осуждаю и тем более не осуждал тогда. Они мало что понимали, ничего не могли и (может быть, и не сознавая того)... боялись. Да я ведь и сам не раз проходил так же — при любых взглядах. И думать мне сейчас об этом больно не из-за них одних, а из-за нас всех — это наше общее проклятие.

Впрочем, так было не всегда. Н.Я.Мандельштам писала о ткачах своей фабрики, расположенной у самой Ярославской железной дороги, которые по утрам специально выходили раньше на работу, чтоб поискать случайные письма, выброшенные из проходящих арестантских эшелонов в расчете на добрых людей. Добрые люди понимали это, искали эти письма, находили и отсылали родственникам несчастных. Это была Россия. Но ее властно и тотально воспитывали и перевоспитывали — террором, пропагандой и

особенно порядком вещей — непременным торжеством лжи, жестокости и несправедливости над здравым смыслом и естественными представлениями. Убедительность этого торжества имела колоссальное воспитательное значение — особенно в глазах подрастающих поколений. Это создавало нового человека.

«До сих пор мы так друг друга / Все везем... И смотрим вслед», — писал я в одном стихотворении конца шестидесятых. Вот и довели (друг друга) до сегодняшней (28 января 1998 года) низкой отметки. Как отсюда выбраться? Но тогда, в годы, когда, собственно, и губили Россию, у меня таких мыслей не было. Просто было больно, что отторгнут от общей «настоящей» жизни.

В купе постепенно затолкали и впрямь человек двадцать, стало фантастически тесно, был использован каждый сантиметр пространства. Но как-то все улеглось, точнее, утолклось. Поезд тронулся. В том направлении, откуда я когда-то приехал. А навстречу летели электрички и шли в Москву дальние поезда, и в каждом из них в этот день и назавтра (ведь всего-то было 2 и 3 сентября!) был вагон с белой глянцево-дошечкой «для студентов» — это возвращались в Москву мои сверстники. Так еще в прошлом году возвращался в Москву и я. Было больно и обидно — меня увозили от всего, чем я жил и что любил.

Однако знакомым мне путем поезд шел только до Люберец. Там поезд стал несколько углубляться в землю, поднырнул под Рязанскую дорогу и вынырнул уже на собственно Казанской ветке. С этой стороны я не приезжал, в эту сторону не ездил, вообще здесь ни разу не бывал. Только видел интригующую меня надпись над пригородными кассами Казанского вокзала: «Направление на Черусти». Но если приходилось мне ехать, то только по другой ветке — на Раменское. До Раменского по Рязанке тогда уже ходили электрички, а по этой ветке, на Черусти, их еще и в помине не было. Здесь пригородное сообщение осуществлялось только редкими паровичками. А находились на ней такие удивительные места, как Гжель, — впрочем, о том, что это такое, я тогда и понятия не имел. Теперь Бог сподобил и меня проехаться по этой интригующей ветке. Но — не на пригородном поезде.

Места по этой ветке были тогда менее обжиты и обихожены, чем сейчас. За окном проплывали не дачные участ-

ки, а казавшиеся мне нетронутыми леса... леса... Домики и опять леса... Отсутствие электрички не стимулировало дачного строительства.

Запомнился мне — это была первая остановка поезда — старинный, с колоколом вокзал на мифической до этого для меня станции Черусти, приятно-серый, дощатый, какой-то с виду очень просторный и уютный, весь «с раньшего времени», как говорил Паниковский. Но ступить на его перрон, находившийся в метре от моих глаз, было бы для меня тогда так же фантастично, как пройти по Елисейским Полям. Путается в моем сознании время. Хорошо помню огни на Казанском вокзале — следовательно, дело было вечером. Но помню и станцию Черусти — часа через три-четыре. Может, мы прибыли туда под утро? А может быть, я видел перрон и название при электрическом освещении, а кое-что добавилось от более позднего впечатления? Я ведь проезжал эту станцию еще раз, когда ехал — уже не в вагонзаке — в Караганду через Симбирск (Ульяновск) и тогда прогулялся-таки по этому старомодному перрону. Но сейчас — в тесноте, да не в обиде — о таком я даже и не мечтал. Просто лежал как все, скрючившись, и печально глядел на все, мимо чего меня безжалостно провозили, увы, мазали по губам.

Проплыли мимо и Черусти со своим вокзалом. Поезд утягивал нас все дальше и дальше от мест, где мы жили, и как мне тогда казалось — от нашей жизни.

Почти все спутники почему-то стерлись из моей памяти. Кроме одного ярко выраженного словоохотливого еврея, генерала МВД — так, во всяком случае, он выглядел в своих рассказах. Вообще хвастал он много — в основном своим утраченным теперь положением и былыми возможностями. Казался он в своих рассказах еще и жертвой интриг, в том числе и со стороны родного отца, который писал на него «телеги», что хочет жить как отец генерала, а сын этой возможности ему не обеспечивает. Впрочем, он и сам не говорил, что сидит за это. Сидел он по какой-то «бытовой», то есть неполитической, статье, а к нам попал потому, что и дела работников МВД рассматривало МГБ — вот и привезли вместе с нами с Лубянки, а раз с нами привезли, то с нами и поместили. Думаю, что ничего особенного (того, чего не делали его сослуживцы сходного

ранга) он не совершал, а арестовали его в порядке очищения аппарата МВД от еврейского элемента, которое тогда втихаря проводилось. Иногда я думаю: уж не был ли это сам изобретатель ГУЛАГа Френкель? Тот, согласно Солженицыну, ведь тоже был просто валютчик, который, будучи посажен, догадался, чем «им» можно подфартить, то есть что «им» нужно, выгодно и по вкусу. Убеждение в какой-то демонической ненависти того Френкеля к русскому народу ни на чем не основано и не по масштабу личности. Его уровню больше соответствует то, что вспоминает один из друзей его детей: что ему после всего содеянного лестно было носить погоны русского генерала. Как из этого не следует, что он постиг и приобщился к русской истории, так и из предыдущей его деятельности — что она вызвана ненавистью к народу. Делал, что ему удобней, и ощущал себя — кем престижней. Такие люди в основном смешны, иногда трогательны, о них можно рассказывать анекдоты, но в некоторых условиях, когда они получают возможность действовать не по уровню и не по разуму, они становятся опасными. Встречаются они — в несколько другом колорите — отнюдь не только среди евреев. Но точной уверенности, что моим спутником был именно Френкель, у меня нет. Хотя я знаю, что того в конце концов тоже посадили, но не знаю, сидел ли он уже тогда. Может, это был только сослуживец Френкеля? Но это был явно человек того же типа.

Исчезли из моей памяти и почти все подробности нашего путешествия. Порядок был общим, утвержденным управлением по перевозкам МВД. Всем выдали хлеб, немного сахара и сухой паек — соленую кету или горбушу (грубая форма того, что в Америке называется salmon). Издевательской цели это не имело, но после соленой рыбы обычно очень хочется пить. А удовлетворить эту потребность конвой способен был не всегда: слишком много было подпечных — гораздо больше, чем можно запастись воды. Просьбы «Начальник, дай водички... Терпеть невозможно» раздавались отовсюду. Обращение «начальник» к рядовому конвоиру было, как нам казалось, нашим хитрым изобретением, но, как я потом понял, столь же изобретательны бывали все зэки — а как еще обращаться, если просишь? «Гражданин надзиратель»? По-моему, «начальник» было даже более по-человечески. Сначала наши просьбы удов-

летворялись, но по мере истощения водных запасов — все неохотней. Потом вообще предлагали потерпеть до следующей большой станции. Нельзя сказать, чтобы конвоиры были всегда вежливы, работа эта к выработке хороших манер и уважения к людям не располагала. Да и управиться с таким количеством разношерстного народа тоже непросто. Но особого желания издеваться или мучить я у них тоже не припомню. Действовали по инструкции. Когда получали воду, исправно поили.

Хохмы иногда были с другой стороны. Один конвоир-украинец, когда к нему сильно пристали с водой, разозлился и гаркнул:

— Что вы тут разгуделись, як бджолы!..

Эти «бджолы» привели всех в восторг, показались забавными — вот, дескать, кретин, простого слова выговорить не может. Между тем «бджолы» — это вполне нормативное украинское слово, означает «пчелы», и смеяться тут было не над чем. Впрочем, смеявшиеся понятия не имели об украинском языке.

Один из надзирателей, молодой парень, относился к арестантам лучше других, всегда когда мог, старался помочь. И однажды, когда рядом не было его товарищей, он сказал нам тихо:

— Я позапрошлым рейсом своего брата отвез в лагерь. Что я мог? Купил ему хлеба, дал какие-то вещи... И — простились.

Вспомнилось в этой связи мне единственно уцелевшее в памяти четверостишие из длинной-длинной песни о тяжелой лагерной доле, которую года через два с половиной я услышал в вагоне, в котором возвращался из ссылки. Пели ее лагерные «мамки», освобожденные по этой причине специальным указом:

Там тягостен труд заключенных,
Там сын охраняет отца.
Он тоже свободы лишенный,
Он должен стрелять в беглеца.

По дороге на больших и малых станциях все время происходила какая-то суетня, конвоиры кого-то принимали и рассаживали, по-видимому, прихватывали местных осужденных и репрессированных. Но нас это не касалось, у нас и так был сверхкомплект, и мы ехали своим первоначаль-

ным коллективом «политиков». На следующий день часа в четыре пополудни прибыли в Казань. В Казани наш вагон точас после остановки поезда подхватила «кукушка» и отвезла куда-то в укромное место, где вдали от честных советских граждан и были произведены все «погрузоразгрузочные» работы. После чего перед самым отходом поезда та же «кукушка» отвезла нас обратно и поставила на то же место, в хвост состава. Поезд двинулся и повез нас дальше. В Новосибирск, как я полагал, и куда поезд действительно следовал. Но в Свердловске нас от него отцепили. Сначала все было как в Казани — такая же «кукушка» так же отвезла наш вагон в укромное место. Но дальше все пошло по-другому, нам всем без исключения велели выгружаться. Путешествие мое временно прервалось.

Укромное место, где нас выгрузили, представляло собой, как и в Москве, площадку у путей, которой, если мне не изменяет память, так же заканчивался какой-то обыкновенный «жилой» переулок. Впрочем, внешняя обстановка помнится мне смутно. Помню только то, что происходило. Здесь опять, как в Москве, — процедура эта везде была одинакова — один конвой стал сдавать нас другому по списку. Из подследственного арестанта, которого МГБ вынуждено было ломать персонально, я, как и все вокруг, прочно перешел в безликую (согласно специфике ГУЛАГа) категорию эков. Нас куда-то повели колонной, велев всем в каждом ряду взять друг друга под руки, как это делают влюбленные. Это было не самовольным издевательством конвоиров, а буквальным исполнением инструкции ГУЛАГа. Я не могу вспомнить, куда при этом девались наши вещи — неужто погрузили на что-то? Или мы их все равно в руках держали — так сказать, из-под локтя соседа? «Своих» (из нашего купе) я в этой сутолоке быстро, хоть и временно, потерял. Точнее, они, как и я, растворились в каком-то странном для меня человеческом море. Я тогда не знал и не понимал, что столкнулся с живой историей народа.

Состояло это море из мужиков в странных для меня желто-серых или коричнево-серых, в общем, неопределенного цвета одеяниях. Чем-то они напоминали солдатские шинели, но были бесформенны и потому очень непохожи на них. Только потом я понял, что это были «сермяги» — именно те, от которых «сермяжная Русь». Под стать мужикам

были в этой толпе и бабы — так же покорившиеся судьбе, но обязательно подпоясанные, более строгие. Их тоже было много. Много было и подростков, даже детей. Что их ждало? В сермяге был и человек, с которым мы шли рядом и, как было велено, под руки. Я не занимался этнографией — просто растерянно пытался выяснить, среди кого нахожусь. И спросил своего соседа, какой у него срок. Он ответил то ли «семь», то ли «десять» — теперь не помню. А на вопрос, по какой статье ему столько дали, он покорно и лаконично произнес:

— От седьмого-восьмого...

— ???

— Да от седьмого-восьмого... тридцать третьего.

Но я все равно ничего не понимал. И тогда он пояснил:

— Да за колоски... За колоски же.

То же отвечали и другие мужики, бабы и подростки, тоже уличенные в этом таинственном преступлении. Тут уже, по их мнению, мне все должно было стать ясным. Дело простое и всем известное — «колоски». И то, что приговоры за эти «колоски» были весьма весомыми — семь—десять лет, их тоже не удивляло. Так и ведется, так везде. Но я все равно ничего не понимал. Я знал, что «червонец» можно огрести за анекдот, но за «колоски»!

Только потом, в ссылке, кто-то из бывалых лагерников объяснил мне состав их преступления. Оказывается, эти люди были пойманы с поличным при попытке расхищения социалистической собственности и сурово наказаны согласно постановлению ВЦИК и СНК СССР от 7 августа 1933 года о борьбе с такими расхитителями. Вот по этому постановлению и получали эти «сермяги» свои семишники и десятки. Сравнить их сроки с объявленными «нормами» не имеет смысла. «Ширпотребная» статья 58/10 часть 1 («антисоветская агитация в мирное время») не предусматривала сроков лишения свободы больших, чем три года, а давали по ней чаще всего десять, редко пять, и я не помню, чтоб меньше. И все это знали. И это было в порядке вещей. Так могло быть и с этим постановлением. А может, и не было. Но важно для меня сейчас не это, а то, что социалистической собственностью, которую расхищали эти «сермяги», как раз и были эти самые «колоски».

Дело было самое простое. После уборки урожая на колхозном (бывшем еще недавно их собственным, крестьян-

ским) поле при социалистическом землепользовании всегда оставались неподобранные колоски ржи. Ни колхоз, ни государство подбирать эти колоски — часто из грязи, а то и промороженные — не собирались. Но они ревниво охраняли свое социалистическое право собственности на них. И этого никак не могли взять в толк те, кто это поле засевал и убирал. Они почему-то считали эти колоски бросовыми и собирали их. С тем чтобы, принеся эту «добычу» домой, выбить из колосков зерна, смолотить и употребить их в пищу. О рации, толкавшем людей (природных хлеборобов) на подобные трудовые подвиги в уже начинающем замерзать поле (речь о более чем средней полосе), предоставляю судить самому читателю. Тут их и настигал праведный гнев потревоженного в своих непонятных правах государства. Это зверское постановление было придумано летом 1933-го. Возможно, тогда оно имело какой-то, тоже нечеловеческий, тоже, с нормальной человеческой точки зрения, непростительный, но ясный хотя бы самому этому преступному государству патологический смысл. Допустим, оно «сочло целесообразным» соответствовать этим «утверждению молодого и еще не окрепшего колхозного строя» — чтоб никто ни на что, кроме как на полученное по трудовым дням, не надеялся (партия ведь и тогда «воспитывала» оказавшийся в ее когтях народ). Но сейчас на дворе было 4 сентября 1948 года. Уже давно не было ни СНК, ни ВЦИКа, колхозный строй так или иначе утвердился. Между тем все эти люди были недавнего набора. Как видите, это давнее постановление в своей хватательной сути действовало, как только что принятое. Оно с прежней прытью продолжало гнать по этапу в лагеря сермяжную Русь. И делал это Сталин, чуть ли не традиционный в глазах нынешних «национально мыслящих» российский император и патриот*.

Как ни странно, это «мероприятие» проходило совершенно незаметно для всего остального общества, хоть о нем все знали. О раскулаченных в обществе вспоминали

* Это выражение (я уже писал об этом не раз) вызывает мое ироническое отношение не из-за слова «национально». Человек может быть национально настроенным, национально ориентированным, но мыслить надо не национально и не классово, а только ясно и точно. Тогда при любой ориентации не объявишь Сталина выразителем национальной идеи.

редко — реже, чем о «жертвах тридцать седьмого», — но все-таки вспоминали: дескать, были и тогда большие перегибы. Да и все-таки они были явно репрессированными. К этой категории их сразу отнесла и перестройка. И занялась их реабилитацией. А «расхитители» просто оказались никому не интересны — ведь шли они не по политической статье. Я и сам о них не то чтобы забыл, но долго не вспоминал. Тем более что больше нигде с ними не пересекался. Разве что в камерах на пересылках (нас от них быстро отсортировали) во время переключки иной перемещаемый лагерник назовет «от седьмого/восьмого» как статью, по которой сидит. Но там была «различных состояний смесь», много интересных и диковинных личностей, многое поражало, и эти не привлекали моего внимания.

И продолжалось это (для меня) до одного рядового разговора в конце шестидесятых — начале семидесятых годов. Обсуждали мы с моим, ныне уже покойным, умным, талантливым и бывалым другом Камилом Икрамовым разные насущные проблемы — что с нами было и что еще может быть. Коснулись и лагерей, в которых он провел изрядную часть своей жизни (как сын Акмаля Икрамова, одного из подсудимых «бухаринского» процесса). Я — не помню в связи с чем — неосмотрительно заметил, что главным лагерным «ширпотребом» были набранные по статье 58/10 — антисоветская агитация, «балалаечники», «болтуны». Он подумал, признал, что таких было очень много, но со мной не согласился. Назвал еще несколько категорий (например, «войк» — просто пленных и власовцев), а потом покачал головой и произнес:

— А больше всего сидело крестьян — «за колоски». «За хищение социалистической собственности». Небось и сам слышал на пересылках, как откликались: «от седьмого-восьмого». Помнишь?

Я помнил. И еще я помнил себя в этом море сермяг, в чем-то желто-сером, но отнюдь не шинелях.

Надо сказать, что у остальных лагерников, с кем мне удалось переговорить, эта количественная оценка удивления не вызвала. Все считали ее близкой к реальности. Но даже если мой друг ошибся и эти расхитители не составляли большинства лагерного населения, они составляли внушительную его часть, достаточную для такой ошибки. Ведь

Камил — человек иной среды, иного общения — даже в лагере. То есть никаких пристрастий тут у него быть не могло. Да и разговор этот был случайным, не имевшим продолжения. Да и на меня тогда этот факт хотя, конечно, и произвел впечатление, воспринимался как просто еще одно преступление сталинщины. И ведь не мог он произвести более сильного впечатления, чем коллективизация и раскулачивание, о которых я тогда много думал. И действительно, именно они были основой всего последующего, в том числе и закона «от седьмого/восьмого». И только теперь весь ужас того, что я тогда в Свердловске увидел (впрочем, среди всякого другого ужаса), дошел до меня в полной мере. Разумеется, это мероприятие было только довершением разгрома деревни. Да и вообще жизни. Как вся коллективизация. И все же...

И все же немаловажно, что таких было очень много — этот факт я считаю установленным. Особенно если учесть, что начало это постановление действовать в 1933-м году, а прекратило свое действие не раньше, чем умер Сталин — через двадцать лет. И за эти двадцать лет оно произвело большую демографическую работу.

Ибо кто были эти люди, которых оно вырывало из жизни? Отцы семейств, пытавшиеся хоть так накормить семью; матери, пытавшиеся хоть что-то принести своим плачущим детям; братья и сестры, заботившиеся о младших в семье и о родителях. То есть как раз те, кто нес в себе опору, связь и традицию семьи и слабнувших человеческих связей. И вот всех этих людей, эту опору жизни представители власти с умным и грамотным видом отрывали от семей. И сажали под замок, демонстрировали односельчанам на открытых судах как преступников и... изымали из жизни. Из каких-то ему одному ведомых (но боюсь, что и им тоже забытых) соображений социалистическое государство прицельно било по самым элементарным и прямым человеческим связям, резало ножом по живому. А в 33-м хотя государство было уже сталинским, при нем — пусть жалко и растерянно — много еще болталось лиц, для которых социализм был не звук пустой. Смолчали.

Вы представьте себе всех действующих лиц этой драмы: председателя в сапогах, который один или с ватагой подлецов или злых дураков (активистов) выслеживает этих «рас-

хитителей», а также этот подавленный зал суда, который слушает дело о том, как тетка Матрена подло хотела накормить своих голодных детей тем, что все равно пропадает. А еще представьте себе этих судью и прокурора, которые чаще всего были родом из такой же вот деревни, но набрались в городе каких-то относительных знаний, сознания государственной целесообразности и представления о диалектике как о нравственной партийной доблести. Вот и сейчас они возвышаются над темнотой среды, из которой вышли, и смотрят в лица ничего не понимающих людей своими давно уже все понявшими глазами. А на самом деле и они сами ничего не понимают — просто приучились к тому, что этого и не надо. И теперь приучают к этому других. Вглядитесь в эту картину и перенеситесь в наше время, и суд в Ошмянах над неугодным Лукашенке журналистом Шереметом с его ни на чем не основанным приговором, и ответом прокурора интервьюерам по поводу его — вопреки очевидности — утверждения, что Шеремет переходил границу: «Это мое мнение. Имею я право на свое мнение или нет?» (дескать, я и по-вашему ботаю — не укусите) — не покажется слишком удивительным. Это та же школа, хотя этот прокурор образованней и ловчей тех, простодушных. И сознательно затушевывает правом на мнение необходимость его обосновывать — почти как художники новых школ. С той разницей, что от художнических притязаний не зависит чья-либо свобода.

Так из обыкновенных людей выковывались кадры гибели. Разумеется, происходило это не только при исполнении этого постановления, но здесь наиболее открыто и — в то же время — наиболее незаметно.

Это была тупая жестокость, жестокость, вошедшая в быт. И ударяла она не только по самым подсудимым. Конечно, их ни за что ни про что забирали из дому и бросали туда, где ни дна ни покрывки. Иногда в такие гиблые места, где выжить не могли даже они, с детства привыкшие к тяжелому физическому труду и трудным условиям существования: социализм надо было строить и в тундре. Но в целом эти люди имели больший шанс выжить, чем многие другие. И лагерное начальство гналось за таким работающим и выносимым «контингентом». И не была ли эта пригодность причиной живучести этого постановления?

Кстати, сами осужденные этого разряда иногда не так уж много лично теряли от этого осуждения — жизнь этих «сермяг» на воле была немногим лучше или легче... Вот тогдашний лагерный анекдот:

— Цыган, какой у тебя срок?

— Десять лет.

— Ого!

— Да ничего — у меня брат в колхозе навечно, и то живет.

Анекдот этот говорит о соотношении лагерной и колхозной жизни достаточно ясно. И это не только анекдот. Да, в лагерях заставляли тяжело работать, но ведь и на воле работа у них была не легче. В лагерях кормили плохо, но зато регулярно. А на воле они питались не лучше, с пятое на десятое. А за попытку добыть кормежку, равноценную лагерной, в лагерь же и отправляли.

Так было не везде? Безусловно. Но там, где так не было, не было и таких «преступников». А их было много — как мы видели. И от этого происходило многое, имевшее серьезные последствия не только для их судеб, но и для всего общества.

А происходило вот что. ГУЛАГ освобождал этих наиболее активных членов своих семей от привычной, естественной и понятной им ответственности за свои семьи, за близких. Как все это постепенно (срок велик!) овладевало ими, смиряло их, как завивалось горе веревочкой — представить не так уж трудно. И многие привыкали к этой «воле», которую открывала неволя. И вообще уже не возвращались домой. И если не к урочьей лихости, то к некоторому волчьему оскалу, к «умри ты сегодня, а я завтра» — привыкали. Естественно, не все. Но многие. Да и кто сказал, что человека можно так испытывать? А что происходило в это время с их семьями, с их детьми? С теми, от забот о ком освободила их пенитенциарная система? Нет, они тоже не все умерли. Но каким способом, какими путями и с какими навыками они выжили и выросли? Да и другие, глядя на их судьбы и видя такой «закон жизни»?

Авторитет побеждающего хода вещей — великая вещь. Он одинаково развращал и отторгнутых, и оставшихся. Но кому и зачем надо было сеять зерна такого цинизма в простые души? Даже если это было кому-то выгодным в опре-

деленный момент, разве можно было сомневаться в том, какие всходы даст этот посев? Ведь вроде все делалось ради будущего. И — даже если забыть об этом пафосе — ведь вроде возводил Гений всех времен из России вечный памятник себе. Зачем же ее было при этом так тратить?

Многие оправдывали и оправдывают такие вещи традицией. Дескать, Петр на костях таких людей создал свой «баснословный град» (М.Цветаева). И действительно, град до сих пор стоит и радуется глаз. Правда, современный царю-преобразователю народ за это неблагодарно называл его Антихристом. Но история этим как бы пренебрегла. И это соблазняет новых честолюбцев к новым дерзаниям за счет крови и страданий подручного населения. И зря. Хорошего понемножку. Какие красоты выросли из уничтоженных или расстроенных жизней этих крестьян?

От случайных лагерных «семей» народонаселение не множилось. А строилось наспех то, что уродливо и быстро разрушается. Страдания этих людей рождали не Петербурги, а грядущий беспредел, всеобщее наплевательство.

Сидевшие «за колоски», о которых знают все, не только прошли как бы незамеченными. Мимо них прошло все — даже реабилитация. А чего их реабилитировать — ведь то, за что их осудили, они в массе своей действительно совершали. Сейчас, наоборот, многие стремятся реабилитировать сталинское государство, которое обращалось с ними как с преступниками.

Но до «сейчас» мое повествование вряд ли дойдет, а до этих мыслей мне еще далеко. А пока я только прибыл вагонзакон в Свердловск и только что там высадился. Как всех вокруг, меня куда-то гонят, не говоря куда. Я еще в собственных глазах щепка, случайно отлетевшая и чуть ли не затерявшаяся при необходимой (для чего?) рубке леса. И как всем вокруг, нет мне ни дна ни крыши.

Но затеряться никто из нас не может. За нас отвечают люди и инстанции. Все расписано, и скоро обнаружилось и дно, и крышка. Нас всех (не помню, как и где) посадили в грузовики и повезли на пересылку, то есть в Свердловскую пересыльную тюрьму.

Я когда-то ходил по этому городу и тогда ничего о тюрьме не знал, а теперь это единственное место в этом городе, где я могу находиться. Это отнюдь не повышало моего настро-

ения, когда нас везли по его улицам. Обыкновенно заключенных перевозили в грузовиках, борта которых надстроены высокими фанерными щитами, чтобы их не было видно. Приводит это к обратным результатам. Население «лагерных» местностей сразу их узнавало: «Вон, заключенных повезли!» Не помню, были ли борта наших грузовиков надставлены такими щитами, не знаю, видны ли были мы проходим. Но помню, что мне они были видны. Помню потому, что мне от этого было больно. Саднило. День был погожий, светлый, почти летний, к тому же воскресный. Нас везли по обычным городским улицам, залитым мягким солнечным светом. Было тепло, но не жарко. В такую погоду гулять с друзьями. И люди на тротуарах гуляли: семьями, парами, компаниями — жили. А нас мимо этой жизни — пронесло. Впрочем, и эта жизнь проходила мимо нас, не глядя, не поднимая глаз — в инстинктивной боязни заразиться, приобщиться, вспомнить об этой таинственной и унижительной для всех (даже и не думавших о ней) стороне нашей жизни. Особенно в такой день. Говорю это не с осуждением. Я и тогда людей за это не осуждал, а теперь это и вовсе было бы нелепо. Конечно, тогда я их не осуждал по иным причинам, чем теперь, — я ведь считал, что так и надо себя вести, дабы не отрываться от высоты духа. Теперь же я просто сочувствую им как товарищам по несчастью. Хотя меня везли, а они — гуляли.

Наконец, нас привезли «к воротам тюрьмы», той самой Свердловской пересылки, которая арестантским общественным мнением признавалась чуть ли не лучшей в Союзе. Наверное, так это и было. Во всяком случае, она была благоустроенней, чем Новосибирская, а других я не видел.

Так или иначе, моя принудительная «творческая командировка» продолжалась. Я был очень измотан и процесс водворения в тюрьму помню плохо. В унижительной суматохе первого дня в Свердловске, по мере того как нас в интересах оформления перегоняли с места на место и сортировали, впечатлений было много. Казалось, они смывают одно другое и не фиксируются моим подавленным сознанием. Но что-то все-таки фиксировалось.

Запомнился больше всего почему-то молодой, веселый, разбитной надзиратель, проводивший эту сортировку, весело и ободряюще отдававший свои приказы, как бы выво-

дящие всех из затруднительного положения и наводящие нужный всем порядок. Человек вполне обжился в этом потустороннем мире, он принимал его как реальную среду обитания, но старался — скорее инстинктивно, чем сознательно — не добавлять к лежащей на нас тяжести ничего от себя. Теперь я думаю, что так тогда еще жила вся Россия, оторванная от своих христианских корней, но их еще не забывшая.

И как мог видеть читатель, так же жил и я. Только я еще подводил под это духовно-идеологическую базу, без которой не мог. А можно ли обойтись совсем без нее? Не знаю. Мы все, как лунатики, ходили на грани, рискуя свалиться в яму, вырытую для нас сатаной, как никто, умеющим приспособиваться к «духовным потребностям современности».

Помню, мы долго толклись во дворе тюрьмы, где, собственно, и шла сортировка, где все еще были перемешаны: «пятьдесят восьмая» («политики), уголовники, бытовики. Уголовных в этой связи я не помню (видимо, при надзоре не проявлялись), «расхитители колосков» куда-то исчезли (видимо, их сразу распознали и увели, приспособили к делу), а из бытовиков помню только «жертв денежной реформы». Той самой, с которой почти совпал мой арест и от которой на моем подоконнике осталась споловиненная банка баклажанной икры. Но и теперь этой реформе было еще только восемь с половиной месяцев — срок для сталинской репрессивной памяти мизерный, — и нарушители ее замысла еще часто встречались на этапах и пересылках.

В основном это были «работники торговли», и преступление их состояло в использовании служебного положения в личных целях — точнее, для спасения собственных «горящих сбережений» (которые, по мысли реформаторов, должны были «честно» пропасть). А конкретно их преступление выражалось вот в чем. Поскольку денежная реформа совпала с отменой карточек на товары и «коммерческих» цен на них, а обмен старых денег на новые был весьма ограничен и во времени и в количестве, с определенного времени все магазины, кроме хлебных, были спешно закрыты «на переучет», который должен был продлиться дватри дня — до тех пор пока старые деньги окончательно не выйдут из употребления. Но этот «переучет» использовали и эти предприимчивые люди. Они задним числом продали

себе и своим знакомым некоторые товары (особенно водку). Пусть даже по коммерческим ценам — но ведь это спасало деньги, которые практически были уже аннулированы. Такое нарушение монополии на мошенничество очень обидело власть (видимо, количества были ощутимы и для нее), и она бросила на этих нарушителей («торгашей» и их знакомых) следственные органы. И вот они оказались здесь, среди «политиков» и уголовников. Помню серьезных и печальных мужчин из какого-то райцентра — так и не пришедших в себя от необходимости страдать из-за такой глупости, и какого-то торгового еврея из Казани, совсем не интеллигентного, но очень делового и напористого, соответственно обстоятельствам. По-человечески я относился к ним с сочувствием — уж слишком не соответствовало преступление наказанию, но все же в моих глазах это было преступлением. Но сегодня у меня и к этому нет четкого отношения. С одной стороны, нельзя требовать неукоснительной честности, когда всех вокруг, и тебя в том числе, грабят. А с другой — использование служебного положения (которого у остальных нет), то есть соблюдение своей пользы за счет других, не имевших такой возможности, — значит все-таки обман.

Короче, прибывший этап, который толочся во дворе пересылки, представлял собой «различных состояний смесь». Но нас, «пятьдесят восьмую», «политиков», направляемых в лагерь и ссылки, а также пересылаемых из лагерь в лагерь, отделили и распределили по двум камерам. Сначала заполнили ту, в которую попал я. В нее же попал и старый большевик Рузер. На его беду, двое ребят, которые взялись ему помочь поднести вещи — первым был радиолюбитель Саша, а вторым, кажется, шофер, — попали во вторую камеру. Ее заводили следом за нами и проводили мимо открытых еще дверей нашей камеры. Так что Рузер видел, как эти ребята, пережившие с ним не только путешествие в вагонзаке, но и пребывание в последней лубянской камере, напряженные минуты перед сообщением о приговоре (и первую оглушенность после этого сообщения), невозмутимо пронесли его вещи мимо него. Он еще ничего не понимал, решил, что они просто его не видят. И закричал:

— Саша! Саша! Сюда, сюда!

Но Саша с приятелем только ускорили шаг.

— Саша! Сюда! Ну куда же ты?

Но Саша с приятелем знали, что делали. Может, они сами и постарались попасть в другую камеру. Или соблазн заработал, когда это произошло само собой. Но к этому моменту они были полны решимости и совсем по-урочьи огрызнулись. И при этом еще, так сказать, подвели идеологическую базу под свою «решимость» — на прощание обозвали своего ограбленного товарища жидом (словно с другим они поступили бы иначе). И тогда Рузер все понял и беспомощно заметался:

— Саша! Саша! Урка ты несчастный!

Конечно, можно сетовать на подлую жестокость этого поступка. На пороге лагеря оставить доверившегося тебе товарища по несчастью, к тому же пожилого человека — Рузеру шел шестой десяток, — без всего необходимого, собранного и уложенного в последний момент плачущей женой — что может быть жесточе и подлей? Это очевидно.

Но поражает то, что это было проделано легко и уверенно. Причем ведь не профессиональными уголовниками, а случайно оказавшимися в беде молодыми людьми. И не так уж низко стоящими на общественной лестнице — наминаю, что Саша был братом офицера, а это звание тогда, после войны, стояло очень высоко. Что-то уже творилось с жизнью.

Боюсь, что слово «урка», брошенное вслед Саше Рузером, для того уже не было оскорблением. Он знал, что его ждут исправительно-трудовые лагеря, хотел в них выжить и, готовясь к ним, «исправлялся» загодя. То, что он недавно пережил, этому не препятствовало. В лубянском кабинете, где люди в погонах, олицетворявшие государство (а происходил он из кругов, где пиетет государства был непреложен), делали все возможное, чтобы выдать его невинное радиолобительство за шпионаж, ореол честности мог вполне потускнеть. Дескать, так и живем: следователи, чтоб уцелеть, расплатились мной, а я теперь — Рузером. Такой психологический механизм, наверное, и действовал. Но это не оправдание. Через такое облучение абсолютной бесчестностью прошли все, среди кого я жил много лет, а до такого никто больше не доходил. Более того, даже тогдашние следователи, на мой взгляд, выглядят лучше. Попав на свою работу, иногда сдуру, иногда по комсомольской путевке («Родина зовет!»), дальше они уже от себя не

зависели. Он же совершил свое преступление добровольно и по собственной инициативе. Он, еще и не слышав этого речения, уже жил по принципу: «Умри ты сегодня, а я — завтра».

Правда, я не уверен, что выбранный им способ выживания гарантировал ему это... Рузер, несмотря на возраст, дожил до реабилитации (я что-то потом читал о нем), а дожил ли Саша, не знаю. Урки таких новобранцев к себе не очень допускали, пришлось бы долго «шестерить», пресмыкаться. А если что не так — недолго и распротиться с жизнью. Участь «одинокого волка» — вообще не для советского концлагеря. «Фраера» же в своей среде воров не терпели, подвергали остракизму — и он оказался бы вне круга их общения и взаимопомощи. Эта взаимопомощь была весьма далека от абсолюта, проявлялась далеко не всегда, ее возможности были весьма ограничены, но вне всего этого было совсем плохо. Не говоря уже о том, что среди «фраеров» тогда было много «вояк», и некоторые из них за воровство могли и прибить. Конечно, он мог осознать, раскаяться, просветиться — Бог милостив. Но по-человечески грех его был очень велик.

Об уголовных камерах, именуемых другими арестантами «Индия», «Африка» и «Кто вечно пляшет и поет», я только слышал — самому мне, благодарение Богу, там побывать не пришлось. Но вот пришлось столкнуться с уголовщиной в среде политических. Впрочем, разные случайные люди, какие уж мы были политики?

В первый же вечер я совершил оплошность, из-за которой провел в этой камере целый месяц. Произошло это так. Желаящим предложили поработать на стройке, обещали свежий воздух и дополнительное питание. Я и многие другие согласились — лучше так поработать до отправки, чем прокисать все это время взаперти. И мы записались в рабочую бригаду. Предполагалось, что речь идет о двух-трех днях, пока нас не взяли на этап. Но не тут-то было. Этапные «дела» всех, кто записался, выделили из обычного пересылочного делопроизводства и оставили на месяц — пока не будет кончен объект. Для нас, «следующих на вольное поселение», это стало большим ударом. Конечно, это было самоуправство — с нами, ссыльными, обращались как с зэками. Но защищать свои права было не перед кем. Обстановка

исключала разговоры на юридические темы — сталкивались дела только с исполнителями. Но дело для ссыльных было не только в «правах». Ведь «следовали» мы в Сибирь, и совсем не все равно, когда туда приехать — в сентябре или в октябре. Я попытался исправить эту оплошность, — пустить в ход состояние здоровья. Попросился к врачу, и все вроде вышло — тот действительно освободил меня от работы. Но это не помогло. На работу меня не требовали, но папка с моим «делом» так и осталась отложенной, и весь месяц я проскучал в камере — на этап меня все равно не брали. Впрочем, не совсем проскучал — «пообщался» с разными людьми.

Но перед рассказом об этом я хотел бы кое-что поведать о своем единственном рабочем дне. Это было мое единственное реальное соприкосновением с лагерем. Не с ним самим, с его пограничной периферией, но все же и с его жизнью: тогдашние пересылки во многом — чего те, кто миновал их быстро, могли и не заметить, — были не тюрьмами, как в старое доброе время, а тоже лагерями. Помню я, конечно, отнюдь не все детали этого дня, но кое-что врезалось в память.

Начался этот день с того, что нас вызвали и привели в какое-то помещение, где было много кроватей. На кроватях сидели люди и, кажется, завтракали. Как мне потом объяснили, это была «рабочая камера». В ней (в отличие от остальных, пересыльных) жили те заключенные (чаще краткосрочники), которых это учреждение ГУЛАГа оставило «для себя», в качестве obsługi тюрьмы или для других внутренних работ. Зачем нас к ним завели, не помню — может быть, тоже завтракать. Пробыли мы там недолго, и об этой подробности можно было бы и не упоминать, но с этим кратким пребыванием связан эпизод, о котором грех умолчать.

Где и среди кого я находился, я тогда сознавал смутно. И не очень стремился осознать. Единственное, что меня в тот момент интересовало, — это когда нас возьмут на этап. При этом я почему-то решил, что все эти люди тоже едут в ссылку и так же, как мы, решили поработать в ожидании отправки. Но поскольку они прибыли сюда раньше нас, то, наверное, и лучше осведомлены. Вот у них-то и можно что-нибудь узнать. Волею судьбы я оказался рядом с кроватью высокого, крепкого, жилистого мужчины. Как и все во-

круг, он сидел на своем ложе, держал на коленях миску и черпал из нее ложкой кашу, завтракал. Вид у него был серьезный и сосредоточенный. Я обратился к нему:

— Вы в ссылку едете?

Ответ его был с ходу и на убой:

— Нет, я не в ссылку. Это вы, жида, всю войну от фронта прятались — вас и в ссылку. А я всю войну честно воровал! Меня в ссылку не пошлют!

Да, так он и выпалил все это — резко, разоблачительно, не моргнув глазом и без всякой подготовки. На полном серьезе. На его мрачном лице, которое отнюдь не было лицом идиота, способного на такую логику, ни один мускул не дрогнул. Игра была отменной. Только через много лет я прочел у Михаила Демина, что в тогдашней уголовной среде антисемитизма не было. Но и тогда я понимал, что меньше всего этого урку интересовали «жиды». Впрочем, как и война. Почему-то — зачем, не знаю — ему захотелось доставить себе это удовольствие, устроив такое представление. Вероятно, уступая в этом и естественной потребности — сразить фраера. И, надо сказать, ему это блестяще удалось — сразил. Прежде чем что-либо сообразить, я смешался. Он был удовлетворен. Естественно, после этой патриотической филиппики охота что-либо выяснять в этой камере у меня пропала. Да и вряд ли здесь кто-нибудь что-нибудь знал.

Вскоре нас вывели на работу. Где-то на территории пересылки стояло недостроенное одноэтажное здание неизвестного мне назначения, точнее, его деревянный каркас. Это и был наш объект. Работать нам предстояло наверху — устанавливать стропила и перекрытия. Как я помню, работа шла нормально. Может быть, и без того азарта, что в «Иване Денисовиче» (тут все-таки была не сработавшаяся бригада, а случайные люди), но без отлынивания, вполне добросовестно. Людям было приятно находиться на воздухе и заниматься человеческим делом. Рабский труд в экстремальных условиях временами, как это ни грустно, бывает и производительным. Крайний случай. И не только труд на износ под угрозой немедленной смерти, как в гитлеровских концлагерях. Впрочем, в данном случае наш труд был не совсем рабским — работать-то мы вызвались сами. А о том, что нас оставляют здесь на месяц, до окончания стройки, мы до конца этого рабочего дня и не знали.

Что там делал я лично — не помню. Помню, что не бездельничал, подсоблял более умелым товарищам. Но во время этой работы я сделал неприятное для себя открытие — что стал бояться высоты. Боюсь спокойно и даже без ноши пройти по довольно толстой, даже обтесанной потолочной балке первого этажа: ощущаю неуверенность, теряю равновесие. На работе это не сказалось — я передвигался по балке верхом, — но узнать это было неприятно.

Был среди дня еще один эпизод, в котором дал себя почувствовать лагерь. Мы мирно работали, когда неподалеку от нас прошла группа офицеров, направлявшихся в находящееся неподалеку штабное помещение. Как мне кажется, они обратили на нас не больше внимания, чем мы на них. Мы вообще не подозревали, что это нас касается.

Но тут прибежал начальник без погон, который нас на этой работе, как теперь говорят, «курировал», и начал нас возмущенно распекать:

— Вы почему не приветствовали начальника КВЧ (культурно-воспитательной части)?

— Какого начальника КВЧ? Мы его здесь не видели, — возразил один из нас.

— Как не видели! — еще больше возмущился наш куратор. — Тут только что подполковник с офицерами прошел, а вы его не поприветствовали. Не встали даже...

— Да мы ведь не знали, что это начальник КВЧ.

— А это все равно! Если проходит офицер, заключенные обязаны его приветствовать!

— Да мы ведь не знали — мы ведь прямо после приговора. Теперь будем знать.

Куратор заметно смягчился. Человек он был явно не злой. Причинить нам зло он не стремился, больше учил умному. Но в то же время он был потрясен до глубины души таким нарушением гармонии.

— Какое безобразие! Проходит начальник КВЧ, подполковник, а заключенные не встают!

Вот и весь эпизод. Последствий он не имел. Задержали всю группу на месяц не за преступления, а за хорошую работу. Вроде и запоминать его не с чего было. Но вот запомнился. Ибо произвел он на меня тогда самое тягостное впечатление. Даже в армии, где субординация необходима, у солдат, если они заняты работой, приветствий не спра-

шивают. Особенно если начальники направляются не к ним, а мимо них. На Лубянке при появлении любого надзирателя вся камера обязана была вставать. Но именно когда он входил в камеру, а не проходил мимо (даже если дверь почему-либо была открыта).

Угнетала бессмыслица, которой я обязан был теперь соответствовать. Искренность возмущения нашего «куратора»: «Проходит сам начальник КВЧ, а заключенные — не приветствуют!» — и то, что он был совсем не плохим и не злым по природе человеком, ярко свидетельствовала о ставшей бытом потусторонности мира, в котором я оказался.

Ведь это возмущение вызвано было нарушением не столько порядка, сколько требований некой нравственности и красоты. Они были этическим, если даже не эстетическим самосознанием произвола.

Конечно, в таких понятиях я тогда еще не мыслил и понастоящему этого не понимал. Но почувствовал жуткую укорененность чего-то тупого и жестокого если не в людях, то в порядке вещей, к которому они привыкли. И мне вдруг стало безысходно-тоскливо.

Поразила меня, так сказать, поэзия произвола. Сам же произвол такого впечатления не производил. Местному начальству ничего не стоило задержать нас на месяц, то есть без суда, следствия и даже ОСО дать ни с того ни с сего каждому из нас по месяцу тюремного заключения. Я, правда, по неопытности был сначала очень возмущен, но все остальные — независимо от образования и происхождения — отнеслись к этому как к очередному затруднению. И я тоже — свыкся.

На этом воспоминания о первом и единственном моем лагерном дне кончаются. Впрочем, пока я еще об этом не знаю — объявили, что всех нас оставляют здесь на месяц, только вечером. Тогда я был очень огорчен этой задержкой, считал, что лучше бы ходил на работу. А теперь доволен. С этой камерой связано у меня больше впечатлений, чем со всем остальным моим «нежеланным путешествием в Сибирь». И это неудивительно. Всего я провел в пути сорок три дня. Из них четыре дня — в вагонзаках. Так что тридцать с небольшим дней, проведенных в этой камере, — преобладающая по времени часть всего моего путешествия. На еще одну пересылку, где мне пришлось побывать — Новосибирскую, — остается всего дней девять.

Так что неудивительно, что главным образом обогатило тогда мой жизненный опыт пребывание именно в этой, свердловской камере. Через нее прошло очень много людей, которые либо своими словами, либо судьбой оставили след в моей памяти и сознании. О ней в основном я и буду рассказывать. Хотя и на Новосибирской пересылке я тоже встречал таких людей. И могу за давностью спутать, кого где я встречал. Особой беды в этом нет. Истории моего восприятия действительности — чему посвящена эта книга — это не исказит.

Надеюсь, что мне удастся не свести вместе людей, которые реально друг с другом не встречались. Тем более что характер моего повествования почти исключает такую возможность.

Свердловский узел и новосибирское освобождение

Как известно, свердловский (теперь снова екатеринбургский) железнодорожный узел — один из самых крупных в стране, да и в мире. Естественно, это отражалось и на его пересылке. Отражалось на ней и удобное для этой цели его географическое положение — самый крупный центр на северо-востоке, да и просто на востоке Европейской части, он не только лежал на скрещении многих путей с главной магистралью, но и был окружен лагерями. Поясами лагерей. Короче, пересылка процветала. Сюда привозили и свежеиспеченных эзков из центра, с запада и с юга, и бывалых эзков, перемещаемых многодумным начальством из окрестных и дальних лагерей в другие такие же. А в последнее (как раз мое) время — уже и отсидевшую полный срок «пятьдесят восьмую», направляемую в ссылки вместо освобождения. Туда же препровождали и их товарищей, отпущенных чуть раньше и взятых уже с воли — «повторников»* Короче, людей, познакомившихся на личном опыте

* О «повторниках». Тогдашний министр ГБ Абакумов (по подсказке Сталина или угадывая его волю) предложил «пятьдесят восьмую» не освобождать, а тех, кого уже освободили, вновь арестовать, отправив и тех и других, как людей опасных, в ссылку под гласный надзор МГБ.

с «оборотной стороной» советской истории (я и сам тогда думал, что это только сторона), там увидеть можно было многих.

И я смотрел. И разговаривал. С любопытством, с интересом, но без цели. Задачи запомнить и сохранить я перед собой не ставил. Зачем? Как человек передовой я «прекрасно знал», что все тайны, как только отпадет в них нужда, будут и без меня раскрыты партией — отчего трагичность и величие «нашего пути» засияет еще ярче. Короче, меньше всего я тогда думал о мемуарах — просто так общался. И потому, что просто тянуло к людям. И просто потому, что мне-то все это было очень интересно. Конечно, прежде всего подлинная история партии — к этому, несмотря на мой несокрушимый сталинизм, интерес я питал жгучий, — но меня тянуло и просто к людям.

Внешне моя жизнь определялась тем, что я застрял в Свердловске и с нетерпением ждал отправки в Новосибирск, где собирался выйти на свободу. Естественно, меня это очень занимало и волновало. Но о чем тут рассказывать? Самым интересным в моей тогдашней жизни были люди, встречи с ними и разговоры. Безусловно, они повлияли на мое внутреннее развитие, но сказалось это не тогда, а позже. А тогда процесс моего самосознания был слишком подспудным, чтобы теперь стать сюжетом.

Так что рассказывать я буду только об отдельных людях и судьбах. Картина от этого может получиться слишком дробной и мозаичной. Но я убежден, что и она дает реальное представление об этом фантастическом времени. К тому же воспоминания о пересылке в Свердловске путаются у меня с воспоминаниями о пересылке в Новосибирске, о которой тоже пойдет речь в этой главе. За давностью лет я могу перепутать, где с кем встречался. Но здесь это не так уж важно.

Итак, люди. При всем том, что люди в нашей камере были разные, у них было и нечто общее — то же, что на Лубянке. Никто из них (кроме случайных уголовников) ни при каких обстоятельствах не должен был быть ни судим, ни находиться в тюрьме. Очень большой процент среди них составляли тогда жертвы «тридцать седьмого года». Вопреки распространенному представлению — мне уже приходилось писать об этом — бывших партийцев, оппозиционеров и

начальства (перед советским режимом уж точно не виноватых) было среди них не больше, чем процентов десять—пятнадцать. Конечно, многие из таких до этого погибли, расстрелянные еще в тюрьмах или потом на всяких «кирпичных заводах» во время гаранинско-кашкетинских отстрелов 1938 года. Но если бы и они уцелели, процент партийцев среди нас (в большинстве они тоже не имели отношения к политике) все равно бы не дошел до двадцати. Остальные «политики» вообще не имели отношения не только к политике, но и к партии.

Вот, например, очень мне симпатичный Владислав Иосифович Вильневшиц. Володю (так его звали окружающие) я потом знал хорошо. В ссылке (где он и умер — задолго до старости) мы жили пусть не в одной деревне, но в одном районе и временами встречались, относились друг к другу вполне дружески. Но познакомились мы в этой камере. В партии он никогда не состоял, политикой не занимался. Просто служил судовым механиком в Дальневосточном пароходстве. Получил он, однако, десять лет за контрреволюционную деятельность и относился явно к «набору тридцать седьмого года». История его одновременно и удивительна, и показательна.

Однажды, когда его судно вернулось из Японии во Владивосток, на борт поднялись два энкавэдэшника, предъявили ему ордер на арест и увели. Он терялся в догадках — с чего бы это могло быть, что бы это могло значить, — и с нетерпением (как миллионы других в его положении) ждал первого допроса, на котором все должно было выясниться. Ждать пришлось недолго — его вызвали в тот же день. Но допрос оказался неправдоподобно коротким. Вот почти точная его стенограмма (в передаче Володи):

- Фамилия?
- Вильневшиц.
- Имя-отчество?
- Владислав Иосифович.
- Год рождения?
- 1902-й.
- Национальность?
- Поляк.
- Родственники в Польше есть?
- Есть.

— Переписываетесь с ними?

— До 1930 года переписывался, а потом переписка заглохла.

— Почему?

— Да как-то не люблю писать писем. (Это правда. В 1930-м «переписка с границей» еще не была криминалом. — Н.К.)

— Распишитесь.

На этом допрос закончился, и ошеломленного, по-прежнему ничего не понимающего Володю Вильневшица (а понимал ли что-нибудь сам следователь?) увели в камеру. Он с нетерпением ждал утра и следующего допроса, чтоб хотя бы узнать, в чем его обвиняют — ему ведь и слова худого еще не сказали. Не дождался. Минуло утро, день, вечер, прошли следующие сутки, неделя, месяц — его никто не вызывал и ничего не говорил. Только месяцев через шесть его вызвали, и почти полностью повторился первый допрос, — но в отличие от прошлого раза, перед тем как сказать: «Распишитесь», его ознакомили с постановлением Особого совещания — десять лет за контрреволюционную деятельность (КРД — одна из распространенных «буквенных» статей).

— Позвольте! Не может быть! Это ошибка! — чуть не взвыл от боли и удивления Володя. — Меня ведь ни в чем не обвиняли.

— Как ошибка? — удивился объявитель приговоров. — Вильневшиц?

— Вильневшиц.

— Владислав Иосифович?

— Владислав Иосифович.

— Год рождения 1902-й?

— 1902-й.

— Национальность — поляк?

— Поляк.

— Какая же ошибка? — вразумляюще произнес объявитель. — Сами видите, ошибки нет. Все правильно.

Действительно, все было правильно. Что, кроме установочных данных (а все, о чем спрашивали Володю, на милицейском языке называлось «установочные данные»), могло понадобиться правосудию для того, чтоб считать человека обвиненным, обвинение доказанным, а приговор «десять лет лагерей» — юридически оформленным? Так това-

риш Сталин воспитывал аппарат и народ. Страна, прошедшая через такое, уже не может быть здоровой страной.

Однако Володя Вильневшиц сакральности приговора рабоче-крестьянской власти, в отличие от многих, не признал и из лагеря сбежал. Смог он это сделать потому, что взяли его на этот бал с корабля, а паспорт у него, как тогда у всех моряков дальнего плавания, оставался дома (в последующие годы, уходя в плавание, моряки обязаны были сдавать в отдел кадров), и о нем не вспомнили. Володин брат (виновный в том же, в чем и сам Володя, но оставшийся «неразоблаченным») привез Володе этот паспорт и ухитрился его передать. С этим паспортом Володя и бежал. И прописавшись по этому паспорту в Москве, он под своим именем прожил там год — под всесоюзным розыском. Целый год не могли разыскать сталинские чекисты легально прописанного человека! Однако через год его все же разыскали.

Однажды, в обеденный перерыв, к его столу в столовой подсел незнакомец и, когда Володя отобедал, осведомился:

— Все?

— Все, — удивился Володя.

— Да, теперь все, — согласился незнакомец, — мы целый год тебя искали, а теперь — все. Пошли.

И Володя опять оказался в лагере. Теперь с довеском — два, кажется, года добавили за побег. Но они не сработали — статья подпадала под амнистию в честь Победы, и эти два года ему все равно скостили.

Потом сталинская фемида стала остроумно квалифицировать ординарный побег из лагеря как саботаж — статья 58/14. А в «пятьдесят восьмой» при жизни Сталина ни один пункт ни под какие амнистии подпасть не мог. Вот и возлежали теперь на нарах в политических камерах пересылок татуированные «саботажники» — урки, осужденные по этой «фраерской» статье. Были они и в нашей. Но было их немного, и погоды они не делали. Атмосфера в камере не была уголовной. Более молодой из них даже сокрушался по поводу того, что — еще б несколько стоящих ребят, и они бы всю камеру обработали. На нашу неограбленную камеру он смотрел почти так же, как нормальный крестьянин на землю, которая зря пропадает. Впрочем, я думаю, что он ошибался. Урки могли буквально раздеть целую камеру,

потому что камера, как правило, была деморализована, а они всегда были «двое против одного» — остальные молчали. Но здесь был не тот контингент.

Впрочем, сам я свидетелем какой-либо попытки такого «раздевания» не был, и вообще об уголовниках мне рассказывать почти нечего — слишком мало я с ними соприкасался. Об этом я, конечно, не жалею, но все же сознаю, что это пробел. Они тоже имеют отношение к тому, из-за чего я стал писать эту книгу. В судьбах многих из них тоже сказалась исковерканность нашей истории. «Хевра» тогда состояла отнюдь не только из тех, кто был криминален по складу личности. Много к ней примкнуло и просто жертв «героического» политического творчества партии — например, детей раскулаченных, сбежавших из «спецпоселений» от голодной смерти и не нашедших иного пристанища. Но ни по виду, ни по поведению они не отличались от остальной «хевры», и знаю я о них только из книг и с чужих слов.

Впрочем, с одним парнем, реально совершившим тяжелое уголовное преступление, даже два, я сошелся более близко. Но он не был в этом смысле типичен. Он не был ни криминальным по складу личности, ни жертвой социальных потрясений, а был просто человеком с несчастной судьбой. Ему хотелось выговориться перед нормальными людьми, почувствовать нормальное человеческое понимание и сочувствие. И есть у меня потребность рассказать о нем. Да, он не был прямой жертвой социальных потрясений, но часто эти потрясения становятся возможны только потому, что есть такие люди. Ведь речь идет о явно хорошем человеке — симпатичен он был не только мне. Но и удивлял он всех тоже — причудливостью своей судьбы. Хотя судьбы, может, как раз и не было. Но душа у него была. Звали его Петя.

Родом Петя был из какого-то городка в окрестностях Тирасполя, до 1940 года столицы Молдавской автономной республики, входившей в состав Украины. Разумеется, республика эта была создана с целью политической демонстрации — ведь Советский Союз никогда не признавал Бессарабию румынской территорией. В шестидесятые годы, когда почти все молдавское начальство в Кишиневе составляли выходцы из этой, левобережной части, «национально настроенные» молдавские интеллигенты уверяли меня, что Левобережье вообще не Молдавия, и молдаване там если и

есть, — не настоящие. Сегодня они ни за что не согласны с его отделением, а некоторые даже хотят присоединить его вместе со всей остальной Молдавией к Румынии. Приднестровье прочно вошло в состав молдавского патриотизма.

Я не разбираюсь здесь в перипетиях Приднестровского конфликта. Просто я, рассказывая о Пете, должен отметить, что то обстоятельство, на которое упирали национально настроенные и которое теперь они же стремятся затушевать — а именно, что там этнический состав населения в основном немолдавский, — чистая правда.

Петя (дома его звали Петро) не был молдаванином, а был украинцем или русским, что его самого ничуть не занимало. Он был жителем южного города — говорил и порусски, и по-украински, и еще на смеси этих языков — как придется, и был в этом смысле типичным средним представителем городского (точнее было бы сказать — слободского) населения юго-запада нашей общей недавно Родины.

Он воевал, и воевал, судя по всему, хорошо, вернулся с войны офицером. Вероятно, и членом партии. И его сделали районным начальством — заведующим райконторой «Заготскота». Так что никакой крайности, никакой безвыходности в его положении не было. И не это его толкнуло на преступление. Просто душа жаждала чего-то еще. Приятели его, в основном такие же фронтовики и отнюдь не профессиональные уголовники, тоже где-то работали, но и их души чего-то жаждали. И не находили утоления этой жажды ни в чем, кроме как в компании и выпивке. Естественно, такое утоление духовной жажды требовало все больше и больше денег, деньги же не прибывали, а иссякали.

Но тут появился Петя и получил свое высокое назначение. К его несчастью, это назначение связано было с правом распоряжаться двумя грузовиками, приписанными к райконторе. Не знаю, кто первым почувствовал, какие возможности открываются в связи с этим назначением, только думаю, что не сам Петя. Он действовал за компанию. В чьем-то многомудром мозгу сам собой возник план использования этих грузовиков на пользу обществу, только в данном случае обществу приятелей. Дела этого общества решено было поправить путем ограбления колхозной птицефермы. К ней предполагалось подъехать среди бела дня на упомянутых грузовиках, связать службу и увезти кур. Так

Петя, предоставлявший грузовики, ничтоже сумняшеся оказывался в центре преступной операции. Но о последствиях он не думал. Он был человек компанейский.

Сделали как задумали. Операцию провели в выходной день, когда в гараже не было шоферов. Подъехали к птицеферме, стоявшей где-то на отшибе, надели приготовленные маски, и грозя оружием (было у них и оружие), связали всех, кто там был, а кур погрузили в машины и увезли. Проявили фронттовую сноровку. Все продумали, кроме одного — куда девать свои трофеи? Как реализовать столько кур? Товар ведь кудахтающий и скоропортящийся. Не нашли ничего лучшего, как продавать их на местном базаре. Ну и, конечно, попались. Явилась в контору «Заготскота» милиция и увела ее незадачливого начальника. Приводят его в милицию, а там, в кабинете следователя, сидит жена одного из участников операции. Задержали ее на базаре, она там торговала этими курами. Курами торговать не запрещалось, но то ли слишком много их было, то ли слишком часто появлялась она с ними, но что-то в ней показалось подозрительным, и ее арестовали. Видимо, к тому времени, как привели Петю, она «расколосась» полностью.

— Цэ хто? — спросил ее следователь, указывая на Петю.

— Цэ Пэтро, — с готовностью отвечала поделъница.

— А шо вин робыв? (А что он делал?)

— Курям головы одвэртав.

Получил Петя пятнадцать лет по статье 59/3 — за вооруженный бандитизм. Можно иметь разные мнения об адекватности наказания, но в квалификации преступления сомневаться не приходится.

Петя и сам не сомневался. Понимал, что затянуло. Но скоро затянуло его еще глубже. Опять за компанию. Вот как это случилось.

В ожидании отправки содержался Петя в Тираспольской тюрьме. Сидел он в камере со своими поделъниками или просто «коллегами» — не знаю. Но они договорились между собой. И во время очередного обхода камер начальником тюрьмы произошло следующее. Когда начальник с охраной, ничего не подозревая, вошли в камеру и стали задавать вопросы, изготовившиеся заключенные со всех сторон напали на надзирателей, разоружили их, скрутили и с отнятым оружием в руках вырвались из тюрьмы — бежали. По компанейству участвовал в этом нападении и Петя. И бе-

жал со всеми. Хотя куда ему было бежать? — жить без паспорта он не умел, а уголовных связей у него почти не было. Впрочем, поймали всех. И теперь Петя стал уже рецидивистом. Но на этот раз посадили его не в Тираспольскую тюрьму МВД, а отвезли в Кишинев, во внутреннюю тюрьму республиканского МГБ. Ибо официально теперь он уже обвинялся в саботаже, по статье 58/14 — стал политическим. По этой статье он и был дополнительно осужден. И получил по совокупности двадцать пять.

Саботажем его поведение, конечно, именовать смешно, и я не знаю, разумен ли срок, который ему дали. Может, и разумен — в Америке, например, по совокупности могут дать и сто двадцать. Но важно другое — он совершил второе очень тяжелое уголовное преступление: участвовал в коллективном нападении на персонал тюрьмы, в коллективном побеге, сопряженном с насилием. Ни в одной стране за это не хвалят и по головке не гладят. По любым законам и представлениям он был теперь явным уголовником-рецидивистом и, может быть, даже особо опасным.

Так что побывал Петя и во внутренней тюрьме. Его воспоминаний о ней я не помню. Видимо, они не отличались от того, что все мы знали сами. Хотя взаимоотношения Пети с «политиками» представляли бы определенный историко-психологический интерес. Как имеет его тот единственный эпизод, который мне запомнился. Касается он сокамерника-баптиста, сидевшего «за веру», — как уважительно пояснил Петя.

Баптист этот очень увещевал окружающих, особенно Петю, уговаривал покаяться и т.п. Всему этому Петя внимал с живым любопытством и почтительной безучастностью, полагая, что эта премудрость не для него. Но эпизод этот связан не с увещеваниями, а с передачами, которые получал этот баптист от своей общины, не покидавшей своего собрата и в заточении. Передачи были богатые, и баптист щедро делился полученным с сокамерниками. Стесняющимся объяснял, что для того и послано. Однажды он даже предложил союзникам сказать ему, что они хотели бы получить с воли. Он попросит, как для себя*, и братья пришлют.

* «Как для себя» — потому что передачи «для других» в тюрьмах МГБ не принимались — принимались только от близких родственников близким родственникам. Вероятно, и богатые посылки Петинного баптиста передавались общиной через его близких родственников.

Эти слова Петя вспоминал не только с благодарностью, но и с восхищенным удивлением. Ему было приятно, что на свете бывает и такое. Правда, с готовностью выполнить любые просьбы союзников вышла заминка. Страдающие от недостатка курева сокамерники прежде всего попросили папирос и табак, и баптист, смутившись, вынужден был им в этом отказать. «Что угодно, только не это!» — взмолился он. Петя отнесся к его отказу с пониманием. Правда, понял его ситуацию несколько по-своему: «А ему табак просить нельзя. Если попросит, его на хрен с веры выгонят». Представление о вере как о чем-то, откуда можно «на хрен выгнать» (и быть выгнанным даже невыгодно — такие передачи!), несколько своеобразно. Но поразила его не «невыгода», на этом его внимание не сосредоточивалось, а, наоборот, то, что к своим строгим требованиям община относится всерьез, без дураков, что все же где-то у кого-то остается нечто прочное, не зависящее от корысти и потребления. С таким отношением я встречался часто. Это сказывалась смутная, неосознанная ностальгия по причастности к высшему началу.

В Петиной повадке вообще не было ничего от уголовника. Лицо у него было доброе, какими вообще часто бывают лица физически очень сильных мужчин. Он и впрямь производил впечатление физически очень сильного человека. Был высок, плечист, и лицо его тоже было крупное, но в выражении его было что-то детское. Он вроде и сам не мог взять в толк, как такое с ним произошло, как из заслуженного человека, боевого офицера, он вдруг в короткий срок превратился в несомненного уголовника. По-моему, он отчасти был даже рад политической статье, потому что она предоставила ему возможность находиться среди нормальных людей и нормальных нравов. К «своим» его явно не тянуло.

То, что он испытывал, было даже не раскаянье, а удивление. Как будто все, что он проделал, происходило не с ним и не затронуло его, но вот — такой странный результат.

Вероятно, отразилось на Пете и быстрое разрушение уклада, крестьянского или мешанского, в котором жили его родители, где существовали строгие нормы поведения и безнаказанно распускаться не мог никто. Может быть, вдобавок как-то сказалась и принудительная псевдодухов-

ность сталинщины, обязывавшая поклоняться, но ничью душу по-настоящему не согревающая и не заполняющая.

Но это ничего не смягчает. Ведь облучались этой атмосферой все, но отнюдь не все доходили до грабежа птицеферм. Для того чтобы до этого дойти, чтобы до этого упасть, нужен был, наверное, определенный изъян в личности. И, видимо, в Пете этот изъян наличествовал. Нет, в нем не было ничего, изначально располагающего к криминальному выбору. Но, видимо, не было и ничего, что бы этот выбор исключало. Эта способность под влиянием обстановки думать и делать что угодно, в том числе и то, что данной личности в принципе претит, и испытывать потом удивление, словно делал это не ты, — свойство очень опасное. В разной степени оно присуще многим людям. В годы потрясений это свойство выходит наружу, и они «грабят награбленное», бьют жидов или буржуев, совершают тьму низостей, а потом ругают за это кого угодно, но только не себя (себя в лучшем случае журят). Не то чтоб они все забыли, они даже жалеют о содеянном, но просто не ставят себе это в счет. Их затянули или затянуло, но сами для себя они невиновны. Теоретически все так. Но живые впечатления не всегда соответствуют теории, и я все равно вспоминаю этого запутавшегося парня с симпатией и сочувствием.

Хотелось бы узнать, как сложилась дальше его судьба. Но это и несколько боязно — страшно представить, куда в условиях лагеря могло занести этого до сих пор симпатичного мне, тогда еще молодого человека. Может, и не имевшего особого отношения к моей жизни, но тем не менее как-то запавшего в мою душу.

Естественно, большинство людей, прошедших за месяц с небольшим через обе камеры — свердловскую и новосибирскую, — уголовных статей не имели и за побег в саботаже по статье 58/14 не обвинялись. Впрочем, многие были вообще без статей.

Я не имею в виду осужденных по буквенным статьям: по уже упоминавшейся КРД или по — того похлеще — ПШ («подозрение в шпионаже»*), которая ни на какой формализованный юридический язык не переводится. Были и дуб-

* Непонятно, зачем она появилась — какие такие могли быть «подозрения», когда на тех же основаниях (на том же их отсутствии) давали и полноценный шпионаж. Но когда кругом вакханалия, логика молчит.

лирующие — например, АСА (антисоветская агитация), которая вполне заменялась «ширпотребной» 58/10. По ней давали все те же десять лет. Эта идентичность сбивала с толку, и на пересылках происходили комичные эпизоды. Особенно когда оба — и заключенный, и надзиратель — были малограмотны. Я был свидетелем такой сцены.

Шла переключка. Все шло правильно: вопрос—ответ. И вдруг:

- Иванов!
- Я.
- Инициалы!
- Иван Федорович.
- Год рождения.
- Девятьсот восьмой.
- Статья!

На статье вышла заминка.

— АСА! — отозвался заключенный. Как привык.
 — Статья! — повторил надзиратель громче, думая, что услышался. Но, услышав во второй раз то же самое невразумительное «АСА», рассердился:

- Статья — я тебе говорю! Статью называй.
- Так я ее и называю — АСА.
- Кака тебе еще оса! Статью давай говори!
- Так не оса, а АСА — антисоветская агитация.
- Срок!

Срок неизменно оказывался правильным, и надзиратель успокаивался. Все же и человек, и срок были на месте. И только вразумлял:

- Пятьдесят восемь/десять у тебя статья. А то оса кака-то...
- И переключка продолжалась.

Но имею я в виду не это, а тех, у кого не было и таких статей.

Однажды в камеру внезапно ввалилась большая группа заключенных, в основном крестьян. С мешками и вообще во всем домашнем. Ясно было, что они не из лагеря.

— Вы кто такие? Откуда? — спросил кто-то из старожил.

- Курские мы, — прозвучал исчерпывающий ответ.
- Соловьи, значит?

Против «соловьев» они не возражали. Надо сказать, что они вообще не унывали.

Вина их была связана с пребыванием в оккупации (у некоторых — в плену), но была неопределенной. В основном это были люди, которых немцы мобилизовывали в обозы и на другие временные подсобные работы. В прямом сотрудничестве с врагом («измена родине») их не обвиняли, но, видимо, было сочтено, что они не проявили должной самоотверженности. А может, просто сочли их перемещение хозяйственно-целесообразным, а для основания утилизировали этот якобы недостаток самоотверженности.

Взяты они были прямо с воли, их не подвергали допросам, даже не пропускали через ОСО, а просто объявили решение, что за недостаточно патриотическое поведение во время войны их отправляют за Читу, на прииски в Бодайбо, где они честным трудом могут вернуть себе доверие Родины. Точного текста того, что им объявили, я, конечно, не помню или просто не знаю, но реконструируется он приблизительно так.

Так что мужики и не унывали. «Честного труда» они не боялись, потому что с малолетства только им и занимались. А прослышали они, что там, на Бодайбо, в отличие от горевых послевоенных курских колхозов, за этот «честный труд» платят не «палочками» в ведомостях, а живыми деньгами, и порой даже немалыми. Так с чего им было унывать? Они рассчитывали там обосноваться, выписать семьи и зажить гораздо лучше, чем дома. Скорее всего, так и получилось.

Кстати, так же производилось заселение Крыма после выселения оттуда татар. Туда в принудительном порядке и в виде мягкого наказания переселили столь же проблематично провинившихся во время войны колхозников из южно-украинских и южнороссийских областей. Великий вождь никак не мог простить людям, что они по его вине оказались в оккупации.

Помню, как летом 1947-го пассажирский автобус застрял на горном шоссе возле усадьбы, где такая переселенка (кажется, из-под Мариуполя) яростно воевала с землей на «своем» участке. От нее я и услышал впервые об этом мероприятии — оно не афишировалось. Кто-то спросил ее, как живется им в таком красивом курортном месте. И вот что мы услышали в ответ:

— Та хай воно сказыться, це красывэ мисто. Чы ж сами не бачытэ — хйба ж цэ зэмя? Це тилькы кажут: «зэмя»!

Цэ ж сама камэнюка, а нэ зэмя! И шо з нэю робыць, з клятою, хто б сказав?

А в это время в Сибири и Средней Азии об этой «клятой» земле, как о недоступном рае земном, тосковали насильно оторванные от нее крымские татары. Которые очень хорошо знали, как с ней надо обращаться, чтобы быть ей благодарными.

У «курских соловьев» настроение было другое. Хотя в Бодайбо земля была не в пример суровей, чем в горном Крыму. Но ведь не землю же обрабатывать им там предстояло. И не к земле они теперь примерялись.

Так раскрестьянивали страну. Так — каждый раз тотально («любой ценой») — тратили ее гигантский потенциал, ее тело и душу, на решение «ближайших» конкретных частных «очередных» задач на всех «этапах большого пути» к «заветной цели». О том, что значила эта цель даже для тогдашних руководителей этих «трат», здесь уже шла речь неоднократно. Просто работала дьявольская машина.

Но, веря в свои приисковые перспективы, насчет положения общих дел «соловьи» не заблуждались. Рядом со мной на нарах поместился один пожилой, по моим тогдашним представлениям, мужик, с которым у нас установились теплые, доверительные отношения. Однажды вечером он мне сказал:

— А середь наших, Наум, тоже есть один — в рифму складно говорить. Про что хочешь... Эй, слушай, малый, — обратился он к высокому худошавому мужику с длинноватым лицом и глазами немного навывкате, — скажи что-нибудь складно, пусть Наум послушает.

Соседа поддержали другие «соловьи». Проявили любопытство все. «Малый» отозвался. Его лицо не выразило никакого затруднения или удивления. Но ломаться он не стал. Только спросил:

— А насчет чего сказать-то?

— Ну, хоть про то, что... как это нас у Читу везуть.

«Малый» ничего не ответил, на секунду задумался и произнес:

Усю курскую нищяту
Повезуть ув эту Читу.

Ситуацию, в которой оказался он сам и большинство его товарищей, эти две строки выражали вполне адекватно.

Причем возникли они мгновенно, на глазах у аудитории. Ее восторг и удивление были безмерны. Но и мастер привычно принял это как должное — его лицо осталось столь же безучастным, как и до этого. В принципе за такое художество полагалась тогда ширпотребная 58/10 — обнажение реальности называлось «клеветой на советскую действительность» и было преступлением. Но «соловьи», как и многие крестьяне в те годы (о чем позже), об этом не догадывались — не укладывалось это в их естественном сознании. К счастью, «наседок» в камере в тот момент, видимо, не было. Этапы органами в этом смысле вообще обслуживались плохо. Но и то сказать — трудно было наладить четкую работу при такой текучке.

Впрочем, среди соловьев не все были крестьяне. Видимо, в Курске (про другие места не знаю — может, оттуда везли не в Бодайбо) была получена какая-то разнарядка, и по ней подметали всех, кого хоть как-то можно было подвести под некий «признак». Подвели под него и ленинградского студента, точнее, учащегося техникума (кажется, оптического). Он, правда, ни в какие обозы не мобилизовывался, просто побывал (короткое время) в плену. А с пленными вообще была неразбериха. Просто за пребывание в плену как будто не сажали. Был даже официальный «Комитет советских военнопленных». Но многим шили сотрудничество с врагом, шпионаж и что угодно. Поэтому затыкать ими любые такого рода «разнарядки», «контрольные цифры» (не знаю, как это у них называлось) было весьма удобным — все они изначально относились к подозреваемым.

Между тем в плену этот парень действительно побывал, но, как уже говорилось, недолго. И самоотверженность проявил вполне достаточную. Немцы завезли его далеко — во Францию, но там он из плена бежал, примкнул к партизанам, воевал в «маки». Никакой вины перед Родиной он в связи с этим, естественно, не чувствовал. Тем более не думал о ней, собираясь к родителям на каникулы. Приехал, а тут пришла разнарядка — и сработала категория «был в плену». К нему явились, взяли его — и в общую кучу.

Парень этот был крепкий, явно умелый, работы никакой не боялся, и физически Бодайбо ничем ему не грозил. Но, в отличие от большинства «соловьев», он жестоко страдал от такого поворота своей судьбы. Страдания его были моральные. Он был оскорблен.

— Я добровольно рисковал жизнью, чтобы оставаться человеком, а со мной обращаются как со шкурником.

Не думаю, что под шкурниками он разумел «курских соловьев», с которыми вместе следовал в Бодайбо. Безусловно, «соловьи» во время оккупации героизма не проявляли: мобилизовывали в обоз — являлись. А что им было делать? Не явиться и быть расстрелянными? То есть жизнью заплатить за то, что, живя в центре России, откуда, по Гоголю, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь», они благодаря властной некомпетентности Сталина оказались оккупированными. Не говоря уже о том, что и пережитое ими по вине государства в довоенные годы вообще не могло расположить их к такому самопожертвованию под его знаменами*

Разумеется, тогда я был далек от такого — сегодняшнего своего — понимания вещей. Моя романтическая требовательность к людям оставалась непоколебимой. Твердой как лед. Но «в частных случаях», другими словами, при соприкосновении с живыми людьми, она таяла. Тоже как лед. Например, назвать даже мысленно «соловьев» шкурниками мне тогда и в голову бы не пришло. Людей и их судьбы я чувствовал.

И хотя «диалектика» исключала такую ценность, как «хороший человек», подменив его понятием «полезный» («исторически-прогрессивному» делу, конечной цели и т.п.), но выветрить этот критерий из человеческих отношений невозможно. Я, конечно, считал, что «мыслю шире», чем эти «соловьи» (истинность чего в отношении меня тогдашнего тоже весьма проблематична), но не ощущал себя существом лучшим или более умным, чем они, или понимающим лучше их, как им следует жить и какими быть. А мое передовое мировоззрение? Оно помалкивало, отложенное до лучших времен.

Конечно, этот парень из «маки», произнося слово «шкурник», не имел в виду этих «соловьев». Оно к ним подходило не больше, чем, допустим, «идеалист». Он просто был оскорблен до глубины души тем, что с ним обращаются так,

* Это никак не отменяет народности сопротивления. Происходило оно по многим причинам. В значительной мере это заслуга другого «гения» — Гитлера, вынудившего народ сопротивляться. Немцев по его вине ненавидели и власовцы (РОА).

словно он — не он, а кто-то другой, и при этом чуждый ему. Я его хорошо понимал. У меня не было его заслуг, но я испытывал те же чувства — тоже был оскорблен до глубины души родной и любимой властью.

Я и сегодня не склонен относиться иронически не только к его чувствам, но и к его самосознанию. Он, как и я, был представителем поколения, усвоившего с детства, что героизм — норма поведения. Это не значит, что все это поколение состояло из героев — не всем людям удается соответствовать своим представлениям о должном (мне, как известно читателю, это во время войны не удалось), но тот парень вполне соответствовал моим и своим собственным идеалам. Причем идеалам, официально внушаемым. А его — по морде грязной тряпкой.

Впрочем, ему еще повезло. Галя Якубская, о которой шла речь в первой книге и которая благодаря этой публикации нашлась, рассказала о таком эпизоде. Будучи вывезена немцами в Германию в качестве «остарбайтера»*, но настроенная вполне комсомольски, она в последние дни войны, воспользовавшись неразберихой в немецком тылу, убежала из своего лагеря и пошла навстречу советским войскам. Вместе с ней ушли двадцать молодых офицеров, содержащихся в лагере военнопленных где-то рядом. Их отговаривали, страшали (правдой, которую уходящие считали враждебной пропагандой), но ничего не действовало — они пошли навстречу «своим». Настроение было торжественное.

Но у Сталина «своих» не было. По прибытии они все были препровождены в Киев, судимы и расстреляны. Галю спасло то, что она сохранила свой комсомольский билет. Видимо, симпатизировавший ей следователь (они ведь тоже были разными) смог на этом сыграть. Галя вышла на свободу, но никогда не простила гибели своих спутников, о которых она знала, что это прекрасные и чистые люди.

* Так что она не уехала добровольно, выйдя замуж за венгерского офицера, как сказано у меня, а была вывезена в Германию насильно. И вообще, как видно из текста, оставалась комсомолкой. А замуж вышла только после войны. И действительно за офицера, только не венгерского, а советского. Эти неточности — следствие неверной информации, которой я располагал. Иногда полезно писать мемуары. Оказалось, что и в моих детских впечатлениях о ее семье не все верно. Она не имела никакого отношения к семье Саксаганского (просто ее мать случайно сняла комнату у них на даче), и отец ее был русским, а не украинцем.

«За что их было расстреливать? Ведь те, кто был настроен враждебно, не возвращались», — с неостывшими за столько лет возмущением и удивлением писала мне она. Но как можно удивляться, если в основе государственной логики помимо имитации бредовых идей — и даже перекрывая ее — лежала паранойя?

Действительно, почему расстреляли? Ведь расстреливали не всех пленных, даже не всех власовцев, многих, как здесь уже упоминалось, и в лагерь не помещали — жили на вольном поселении. А этих, шедших навстречу «своей» армии, расстреляли. Почему? Нормальная логика тут неприменима. Но и МГБ, и СМЕРШ* формировались и воспитывались Сталиным и были приучены угадывать его параноическую волю и вкусы и им угождать. И этим органам передались его подозрительность и недоброжелательство к людям, способным к самостоятельным решениям и поступкам, даже к несанкционированному (никем не порученному) героизму. А эти совершили поступок несанкционированный, да еще коллективный — как же их терпеть! Такие люди руководящим эмгэбистам — если учитывать образ их жизни и деятельности — и самим должны были быть искренне неприятны. Ведь они (гэбисты) рекрутировались из тех, кто способным на такое и показаться не мог.

Разумеется, эти объяснения слишком рациональны — могло и пронести. Но я знаю достаточно случаев, когда не проносило. Так что моему приятелю еще, может быть, и повезло, что его зацапали по разнарядке, в общей массе — при внимании к его реальным заслугам дело для него могло кончиться гораздо хуже. Сталинщина ценила энергичность и даже активность в исполнении, но не выносила никакой самостоятельности, а тем более спонтанной самоотверженности — даже в «правильном» направлении. Я это тогда понимал смутно, а он не понимал совсем.

Между тем людей, способных на самоотверженное служение, было тогда в нашей стране еще очень много. В его судьбе наиболее ярко воплотилась трагедия той самой «веры

* Да не рассердится на меня уважаемый и любимый мной прозаик В. Богомолов — я не отрицаю, что в СМЕРШе служили и те, кто занимался противником и его агентурой (все же шла война). И не сомневаюсь, что он лично относился именно к таким. Но ведь были в СМЕРШе и подразделения, занимавшиеся не противником, а своими, — я встречал многих, кто испытал это на себе.

и доверья» (Д.Самойлов), которые были сутью «советских поколений», о чем уже шла речь, и что безбожно эксплуатировали большевизм и — совсем уж цинично — сталинщина.

Помню, как в 1951 году у Ляли и Бориса Сергеевича*, еще на Мерзляковском, в их туго набитой людьми комнатухе ее студент, будущий знаменитый режиссер и мой с тех пор близкий друг Григорий Чухрай, рассказывал об одном эпизоде из своей военной биографии. Рассказ всем очень понравился, он был талантливый, эмоциональный и содержательный. Среди собравшихся был и Рудак, сиречь Евгений Александрович Рудаков, человек разносторонне образованный, острый и уже отсидевший за это срок. Никакой диалектики, оправдывающей строй, он, в отличие от Ляли и отчасти еще меня, не принимал. Когда Чухрай ушел, Ляля спросила — явно с воспитательной целью:

— Ну как вам Гриша, Евгений Александрович?

— Очень интересный и хороший человек, — ответил не задумываясь тот.

— Нет, все-таки не только хороший человек. Признайте, что этот хороший человек — продукт эпохи.

Тут крыть было нечем. Но Рудак и не собирался этого отрицать.

— Конечно, — охотно согласился он. И тут же добавил: — В том-то и беда, что эпоха сначала создает этот продукт, а потом его поедает.

Тут уже крыть нечем было Ляле.

Гришу эпоха, слава Богу, не съела, не успела съесть, но вполне могла. Такой продукт она действительно поедала. Несколько раз во время войны его судьба подходила к этому — я говорю не о вражеских пулях (они ему грозили не несколько раз — он был десантником), а о славных «органах». И случалось это тоже от «слишком» серьезного отношения к вещам и словам. Бог миловал, пронесило. Но стреляли именно по таким, как он. А ведь именно они были потенциалом страны.

Мне часто кажется, что этот казавшийся неиссякаемым потенциал — свидетельство того, что у России было высокое предназначение. И если даже он был растрачен впустую, а иногда и во вред, это еще не значит, что не было

* О них я рассказывал в шестой главе предыдущей книги.

этого предназначения. А может, оно и сейчас еще есть? И потенциал возродится?

Мне кажется, в Бодайбо тогда направлялись не только «курские соловьи», а и отдельно от них, но на тех же основаниях, другие люди. Запомнились мне трое рабочих с московского завода «Серп и молот». Фамилий их я не помню совсем, имя помню только одного из них — его звали Сережей, а в общем помню всех их очень хорошо. Были они все крепко и ладно сколочены, собранны, энергичны, внутренне как-то очень прочны — это чувствовалось. Все они были людьми высокой квалификации — лекальщиками восьмого разряда. Читатель мог уже заметить мою слабость к квалифицированным рабочим. Но не думаю, что я что-то приукрашиваю. Они на самом деле были славными людьми. Один из них был несколько постарше (по моим тогдашним понятиям, человеком пожилым), двое других были старше меня лет на пять—семь. Расположились они неподалеку от меня, и отношения у нас установились дружественные.

Чувствовалось, что привыкли держаться друг друга они уже давно — так складывались их биографии. Вместе ушли с «Серпа и молота» на войну, вместе, похоже, попали в плен, были в плену, вместе вернулись на завод, и вот теперь вместе этапировались в Бодайбо. Думаю, что связана была их судьба с трагедией Московского ополчения (но не удосужился спросить об этом). Иначе трудно понять, как им удавалось оказываться вместе на фронте и в плену. Видимо, сейчас они «следовали» по какому-то общему постановлению, не требовавшему следствия. Ибо вряд ли бы их с Лубянки отправили вместе и в одно место. Что это было за постановление, я не знаю. Вероятно, они и в плену (куда денешься!) работали на заводе, а уж этот факт можно было тоже истолковать как несоответствие требуемым (но никому не известным, а потому и произвольным) нормам самоотверженности.

Вот и получилось, что люди, добровольно ушедшие защищать страну (рабочих такой квалификации не мобилизовывали) и бездарно подставленные под удар, должны были всю жизнь нести ответственность за последствия гениальности своего вождя. Так что этим ребятам еще повезло. Могли их мытарства представить и изменой Родине. Но могли и просто оставить на воле — так бы они работали на

своём заводе, числясь хорошими производственниками и вполне советскими людьми — правда, со слегка подмоченными анкетными данными. Их бы только старались не выдвигать в завком, и портреты бы на заводскую Доску почёта не вывешивали. Обидно, но дома, с семьями они бы это как-то пережили. Ан нет! — подхватили, и на этап.

Не обходилась наша камера и без молодой интеллигенции. Однажды рядом со мной на нарах улеглись два московских студента. Оба получили ссылку, кажется, в Кустанайскую область. Имен их я не помню, а фамилию помню только одного из них — Сванидзе. Был он то ли историком, то ли филологом. Его товарищ был юристом. За что был арестован юрист, не помню. Сначала, когда я стал припоминать, мне показалось, что за родителей. Тогда арестовывали не только «повторников», но и детей «врагов народа» (в основном расстрелянных. В обвинительном заключении по делу жены Юрия Айхенвальда Вавы так и значилось: «Герлин Валерия Михайловна полностью изобличена в том, что она является дочерью Горба Михаила Семеновича»).

Но детям «врагов» сразу давали 7/35 и ссылку, а обоим молодых сокамерника прошли через психиатрическую экспертизу в больнице при Казанском политизоляторе. Следовательно, обвиняли их в чём-то более серьёзном. И только «невменяемость» обеспечила им ссылку вместо лагеря.

Юрист явно сидел «за себя» — он и здесь, продолжая начатые ещё в психушке разговоры со Сванидзе, стремился дать правовую оценку советской действительности, а этого она терпеть не могла.

Некоторых может удивить упоминание об откровенных беседах в психтюрьме. Кто мог их допустить? — времена-то были сталинские. Но тем не менее по рассказам этих двух студентов и других моих товарищей, побывавших в тогдашних психушках, у меня, как это ни странно, сложилось впечатление, что в сталинские времена эти заведения были чем-то вроде интеллектуально-политических клубов.

«Нормально» за это полагалась «камерная агитация», ужесточающая любую статью, но тут сходило с рук. То ли тирания почему-то именно (и чуть ли не только) в этом случае всерьёз воспринимала собственную законность и не обращала внимания на суждения «невменяемых». Может быть, просто в «данных конкретных условиях» вопрос о

стукачах оказался неразрешим — стукач ведь тут мог быть только из невменяемых (других в психушку не помещают), а как-то неудобно при оформлении дела (а сталинская туфта в оформлении и состояла) ссылаться на невменяемого свидетеля. Конечно, тов. Сталин и не такие узлы разрубал топором, но почему-то длинные руки его тирании до психушек не дошли. И «психи» безнаказанно трепались в свое удовольствие. Конечно, по логике и эстетике Сталина это было безобразие, но, слава Богу, он об этой вольнице не знал.

Сванидзе, хотя он действительно был сыном расстрелянного ответработника — кажется, управляющего Госбанком, тоже сел не за родителей, а только «за себя». Я это помню хорошо — уж слишком причудливо было его дело. В отличие от «юриста», которому в случае вменяемости грозила только 58/10, Сванидзе его болезнь освободила от более серьезного обвинения — участие в антисоветской организации. Правомерность определения «организация» — на совести МГБ. Но тот кружок, который имелся в виду, представляет некоторый исторический или историко-психологический интерес. Я, конечно, подумал, что речь идет об одном из тех бесчисленных тогда молодежных марксистских или «подлинно коммунистических» кружков для пристрастного изучения первоисточников с целью разобраться в происходящем.

Но я ошибся. Кружок, к которому имел отношение Сванидзе, был совершенно другого направления. Конечно, это был кружок, а не организация — не могло же МГБ без липы. Но липой там, где я тогда находился, никого поразить было нельзя. А это дело поражало. И поражало отнюдь не липой. Липы в нем вообще было меньше, чем в большинстве других.

Достаточно сказать, что среди многих других обвинений, связанных с этим кружком и предъявленных моему соседу по нарам (о многих я забыл), был... расизм — пропаганда расовой теории. Я удивился, подумал, что это плод следовательского творчества, но оказалось, что не совсем.

— Конечно, это преувеличение... Мы не расисты... Но...

В таком деле для меня никакого «но» быть не могло. То, что он мне несколько путано объяснял, все-таки было расизмом, верой в предопределенность человеческого поведения этническим происхождением, расой. Упирал на под-

сознательное. Я как-то не выяснял, собирается ли он меня уничтожить, как вредное насекомое, но думаю, что ему самому такое предположение было неприятно. Приятель его, «юрист», был еврей (сам он был метисом — отец его был грузином, а мать украинкой), а отношения у них были близкими и дружескими. Приятель знал о его взглядах (он их ни от кого не скрывал), но не придавал им значения. Сванидзе как-то мало соответствовал своим взглядам, не походил на человека, способного проникнуться расовой ненавистью или чувством расового превосходства. Просто уверовал в расовую теорию, как его родители в классовую борьбу. И у меня с ним тоже отношения были вполне дружескими. Дружески и расстались. Взгляды свои он, кажется, сохранил до конца. Встретились мы с ним однажды и после реабилитации, в Москве. Было это в конце шестидесятых. По путевке Бюро пропаганды Союза писателей я пришел читать стихи в Институт народов Африки. Меня познакомили с заместителем директора института, им оказался Сванидзе. Мы отнеслись друг к другу тепло, но как-то смущенно — беседы не получилось. Узнал только, что его приятель «юрист» занялся коммерцией (кажется, промкооперацией); один знакомый диссидент, работавший с ним, отзывался о нем очень тепло, как о порядочном человеке:

— Я слышал, что у него антисемитские взгляды. Но вел он себя всегда в высшей степени порядочно — и в личных отношениях, и в научных...

А времена ведь были такие, что у него было много возможностей, да еще на своем посту, реализовать свой расизм. Видимо, не было потребности. А что бы он делал, если бы расисты пришли к власти? Либеральные коммунисты еще как-то мыслимы, встречались, но либеральным расистом быть невозможно — слишком абсолютно это мировоззрение — никакой диалектики оно не допускает. И неотделимо от отношения к людям. Худо бы ему пришлось...

Не думаю, чтобы он был типичным членом этого кружка. Кстати, состав этого кружка сам по себе показателен. Кружок носил явно кремлевский характер. В основном в него входили дети высокопоставленных родителей. Причем разных призывов. Дети расстрелянных, как Сванидзе, и дети занимавших в тот момент высокие посты. Каким образом они соединялись, как осуществлялась эта «эстафета поко-

лений», я не знаю. Не запомнил я и имен членов организации. Помню только, что возглавлял ее сын тогдашнего министра строительства военно-морских сооружений Дегай. Меня это поразило: дети советского руководства, и вдруг — расисты и антисемиты.

Я не знал, что это явление не новое. Югославский коммунист Шелига в своих воспоминаниях, напечатанных в конце тридцатых годов в «Современных записках», рассказывает, как он был поражен, когда однажды — еще в конце двадцатых — случайно услышал разговор двух молодых людей, сыновей высокопоставленных коммунистов, из которого явствовало, что оба они безусловные антисемиты.

Откуда антисемитизм в этой среде? Ведь не тем он был вызван, что среди евреев было много чекистов и начальников, — фактор, в те годы безусловно стимулирующий антисемитизм. К среде начальников и чекистов (которые тогда не очень были отделены друг от друга) они сами принадлежали.

Это было проявление духовной несостоятельности «пролетарской диктатуры». Рыба, как всегда, начинала гнить с головы.

Я здесь сейчас не борюсь с антисемитизмом и не проявляю болезненной реакции на него. Я не раз говорил, что могу разговаривать и с коммунистами, и с антисемитами (разумеется, если те не призывают меня убить), но если это в одном лице — пусть с ними разговаривает психиатр. Впрочем, я теперь думаю, что психиатр тут не поможет — это интеллектуально-нравственный разврат, привычка людей, «обустроившихся» в прострации, не отдавать себе отчета в смысле произносимых слов и исповедуемых взглядов. Расизм детей советских руководителей — убогая попытка людей, выросших среди тех, кто хорошо обживался в обстановке этой прострации, избавиться от нее, не отказываясь в то же время от «достижений» (сиречь использования положения) отцов. Они ведь были и чуточку информированнее, чем прочие, слышали, что в мире есть убедительные теории и помимо исторического материализма. И выбрали себе по вкусу.

Я тогда так не формулировал, но то, что «верховные дети» могут быть такими, против воли поразило меня. Дело не в них самих. Может, и среди них были еще такие, как

Вано (кажется, Сванидзе звали Вано), к которым мои определения относятся не полностью, но которых завело в эти дебри наше общее блуждание во мраке. Но сквозь все это, и даже сквозь то, что это блуждание — общее, я смутно почувствовал душную бездуховную обстановку той среды, в которой росли эти дети и которая руководила всей жизнью страны, в том числе и духовной, — среды, в которой я хотел видеть духовную элиту, хранителей тайны, некоего «Ковчега Завета», которые бдят на посту, совсем по Блоку:

Охраняя железом до времени рай,
Недоступный безумным рабам.

Да простит мне Господь этот греховный и сам по себе пароксизм идейности и связанный с ним грех самоослепления. Смутная тревога, испытываемая мною тогда, так и оставалась смутной, никак не хотела превращаться в ясное знание. Хотя подкреплялась она (тревога) такой «частностью», как весь мой жизненный опыт.

Но я ведь был закален борьбой с частностями, приучен не уступать слуху, зрению и жизненному опыту вообще. Чтоб не упасть с той якобы духовной высоты, на которой я якобы находился.

Не у всех эта дурь (или романтика?) достигала такой концентрации, как у меня. Даже у Блока этот «рай» мыслился как нечто уже существующее (культура, чувства?), а не то, что только предстоит создать по умственному чертежу, и соответственно — его следовало только «охранять железом», а не железом насаждать. Но я был только последовательнее. В целом же эта «дурь» была свойственна многим. И не всегда ее психологическая суть была столь корыстной, как полагают некоторые экс-молодые авторы эпохи беспредела (типа А.Мелихова).

Простились мы дружески. Взяли на этап его вместе с «юристом» — у них был общий пункт назначения. Вместе с ними взяли и всю тройку с «Серпа и молота». Это спасло ребят от ограбления. Кто-то, уведенный вместе с ними на этап, но по какой-то чисто организационной неувязке возвращенный к нам в камеру, рассказал, как было дело. В помещении, где формировались этапы (его называли «вокзал»), наши оказались вместе с уголовниками. В этой обста-

новке нервного ожидания этих двух интеллигентов углядел один из урок, вразвалочку подошел к ним, окинул профессиональным взглядом, не сулящим ничего хорошего, и произнес:

— А ну, мужики, показывайте, что у вас в сидорах.

Ребята растерялись. Но тут зазвучал голос стоящего неподалеку Сережи:

— А откуда ты, такой любопытный, взялся?

— А ты, мужик, не лезь, — столь же профессиональноотреагировал урка. — Не тебя спрашивают.

— Да ты не понял, — удивился Сережа. И пояснил: — Это я тебя спрашиваю.

— Не лезь, мужик, — перешел на угрожающий тон урка. — А то смотри...

— А на что смотреть? Вроде не на что, — удивился опять Сережа. И засмеялся. Два его товарища дружно засмеялись вместе с ним. Урка верно (и тоже профессионально) оценил значение этого смеха и удалился — впрочем, с видом независимым и даже презрительным, но в то же время ни к чему не причастным. Дескать, поговорили и разошлись — какое кому дело.

Урки не любили связываться с теми, кто их не пугался. Вообще появление на этапах и на пересылках «вояк» несколько сократило там (говорят, и в лагерях тоже) всевластие урок, да и начальство в эти годы стремилось не помещать нас вместе с ними. Это было не исключено, такая опасность всегда висела над нами, но случалось это в «мое» время не слишком часто. А вот с этими ребятами случилось. Спасибо, Сережа с друзьями помогли. Все-таки была еще какая-то крепость и неразложенность во многих людях. Хотя бы у части тех, у кого было настоящее мастерство — адекватные самоуважению и достоинству, которое оно дает. Конечно, не всегда и не всем, но все же. Ведь сколько торжествующей несправедливости, низости и зверства видели эти трое московских рабочих, пройдя своей дорогой мук, а сохранили естественную и наиболее достойную реакцию на такие вещи. С.Я.Маршак однажды срезал какого-то зарвавшегося молодого стихотворца:

— Вы что, думаете, что вы культурнее краснодеревщика? Краснодеревщику дана культура в вещи, а вам пока ни в чем!

Это была культура человеческого поведения и отношений, которую большевики старались скомпрометировать и уничтожить во имя (как наиболее честным из них казалось) всеобщей любви, а Сталин — для собственного удобства. Воплощением этой «высшей расы», сохранявшей эту культуру, и были (и остаются) для меня эти трое московских рабочих с «Серпа и молота». Я никогда больше никого из них не встречал и не знаю, как сложилась дальше их жизнь, не знаю даже, жив ли кто-нибудь из них — они были старше меня, а мне в момент, когда я пишу эти строки (октябрь 1998-го) уже почти семьдесят три. Но — так или иначе — низкий поклон тем из них, кто пока жив (если такие есть), и Царствие Небесное тем, кого уже на этой земле нет. Я рад, что их встретил, память о них органически вошла в состав моего мироощущения, моей любви к России и веры в жизнь.

Да не подумает читатель, что в камере этой я «изучал жизнь», то есть кого-то про запас интервьюировал. Нет, я просто жил среди людей и вступал с ними в отношения. К людям я тянулся, сочувствовал им (независимо от их взглядов), превосходство многих из них и признавал и часто бывал им благодарен — почти все там были старше меня, и многие меня опекали. Хотя при этом лишиться своей внутренней «аристократической» причастности к «духу истории» по-прежнему боялся.

Никогда не забуду эстонца Гуто Карловича. Фамилии его я не запомнил, а может, и не знал никогда. Потом я слышал, что в независимой Эстонии он был то ли начальником, то ли крупным работником Генштаба. По-русски он говорил не только хорошо, но и естественно — языком русского интеллигента. Мною он заинтересовался — как никак живой молодой человек, интеллигентный и мыслящий, к тому же способный защищать свои взгляды на общечеловеческом языке, но при этом коммунист и даже сталинист, остающийся таким и в сталинской тюрьме. Любопытно!

Однажды я по его просьбе изложил ему все свои «теории», а также объяснил, почему то, что я арестован, ничего не меняет в моем апологетическом отношении к строю — все ту же неоднократно уже здесь изложенную бодягу о трудности пути вперед и силе человеческой косности, препят-

ствующей прогрессу, которую необходимо преодолеть. Его реакция на эти «бесспорные» рассуждения меня удивила и поразила:

— А почему вы всего и всех так боитесь, если несете всем счастье? Почему же вам так необходимо их подавлять? Да и самих себя тоже...

Моей «диалектики» этот, с моей тогдашней точки зрения, отсталый, но почему-то очень мне приятный и вызывающий искреннее уважение человек явно не понимал. Разговор этот не имел продолжения, кто-то меня отвлек, а больше он не возобновлялся. Да и не был я тогда готов воспринять такой простой, «безыдейный» — человеческий взгляд на вещи. Но я был поражен.

Это был трезвый взгляд извне на ту систему, то зафлаженное пространство (не только сталинщины, но и идейного коммунизма), внутри которого металась моя мысль. Взгляд оттуда, где для меня тогда еще не существовало ни правды, ни Духа. То, что нас, «штурмующих небо», можно воспринимать как трусов, меня даже не оскорбило, а только удивило. Но это в меня и запало. Тем более что я не мог не чувствовать, что человек, говоривший мне это, сам отнюдь не трус. И что сказано это не просто так, а идет из глубины сознания, причем сознания культурного и взрослого. Конечно, и эти определения — все сегодняшние, тогда я такими понятиями не оперировал. Я опять-таки это только почувствовал, а размышления (то есть увязывание с правильным мировоззрением) как бы отложил на потом. Впрочем, и этого я не сознавал.

Его слова и образ, конечно, помогли моему прозрению. Потом — тогда оно еще и не думало наступать. Благодарен же я ему не только за это, но и за товарищескую помощь. Однажды он меня крепко выручил, спас от издевательства. Уже упоминавшиеся здесь «блатные политики» однажды от нечего делать стали ко мне приставать. Нет, не с целью ограбить или причинить мне какой-либо вред, а исключительно потехи ради. Завели разговор издалека. Дескать, пи-шешь? А что пишешь? А зачем пишешь? Всех вопросов не помню, но общее в них было то, что все они задавались не с целью услышать ответ. Потешало же их то, что поначалу я отвечал им серьезно и по мере того, как вопросы становились все насмешливей, не мог этого тона изменить — чув-

ствовал, но не сознавал ситуации и все пытался что-то им объяснить. Дошло до того, что чуть ли не начал читать стихи. Ощущая, что это идиотизм. Но татуированные наседали — рассеивали скуку.

И вдруг сбоку, с нижних нар (я лежал на верхних против входа в камеру), раздался обращенный ко мне возмущенно-требовательный голос Гуго Карловича:

— Что вы делаете? Прекратите немедленно! — и поскольку я не понимал, что это значит, добавил, столь же требовательно приказывая: — Ложитесь и перестаньте отвечать. Замолчите!

К сожалению, этот недостаток — неумение вовремя почувствовать, изменить психологическую обстановку разговора, несоответствие ее ожидаемому — свойствен мне и поныне. Если не ожидаю подвоха, могу попасть впросак. Но все же я теперь более вооружен против этого. Ибо усвоил, что никакое уважение и доверие к людям не должно позволять им ни самоутверждаться, ни веселиться за счет твоего достоинства. Применять это усвоенное мне приходилось не так уж часто, с годами все реже, но Гуго Карловича я никогда не забуду. Яростная реакция на, казалось бы, незначительное (особенно по тем временам и обстоятельствам) поругание человеческого достоинства, причем когда дело касалось человека, внутренне ему неблизкого, да что неблизкого — просто сочувствовавшего его врагам и мучителям (пусть он и понимал, что это сдуру), — свидетельство его естественного благородства.

Я нескоро пойму, что это благородство вытекает из нормального миропонимания, от которого я был тогда прочно отделен своим романтическим мировоззрением. Но некую прелесть этого миропонимания смутно, как и многое другое, почувствовал уже тогда. Гуго Карлович был гораздо старше меня и вряд ли сегодня еще жив. Царствие ему Небесное!

Помню одного украинского коммуниста, по-моему, даже работника ЦК КП(б)У, арестованного не то в 1934-м, не то в 1937-м. Некоторые утверждают, что на Украине «тридцать седьмой» был проведен в 1934-м, когда изничтожали «скрипниковщину». Так оно и было — убивали свидетелей и проводников голодомора. Но и в 1937-м «тридцать седьмой» там тоже был в полной мере, тому и я свидетель. Так

что на Украине было два «тридцать седьмых». И в который из них угодил мой новый собеседник, я забыл. Судя по всему, скорее в 1934-м. Был он еще здоровым, крепким человеком, широким в плечах, хорошего роста, весьма приятным в общении, вполне интеллигентным и мыслящим. И почему-то мне кажется, что это был тот самый Шумский, который был секретарем ЦК КП(б)У по пропаганде (следовательно, и по культуре) при Скрипнике. Да, что ни помни о грехах «подлинного коммунизма», все-таки надо отметить, что человек такого уровня в нем был своим, а среди сталинских «сердюков», среди людей, превращенных в гомункулусов, встретить такого было немыслимо. Тем более что он занимался идеологией, а не экономикой или хозяйством, как Вознесенский или Косыгин. Впрочем, Вознесенский взошел, как звезда, но в одночасье и рухнул. Вождю нужны были гомункулусы, остальных он иногда вынужден был терпеть, что, по-видимому, воспринимал как унижение. Поразительно, но большинство профессиональных агитаторов (завы агитпропотделами обкомов и райкомов) отличались косноязычием.

Относился этот человек к той категории людей, которая теперь называет себя «национально-мыслящие» — только без их агрессивности и передергивания — просто стоял за свой язык и культуру. Впрочем, как многие украинские националисты, он был склонен к «националогии», к абсолютизации вопроса о национальности — меня он корил за чуждость еврейской традиции. Конечно, все это — общее впечатление, конкретных его высказываний я почти не помню.

Как-то я прочел ему одно мое тогдашнее стихотворение, вполне сталинистское и абсолютно непечатное. Представляло оно собой рассказ командира об отступлении 1941 года через враждебно настроенные галицийские села. О том, как стреляли вслед, как было это больно и тяжело, «пока не вышли к Шепетовке — за линию погранзастав» — к людям нашей судьбы, прошедшим через все и все понимающим. Стихи эти перед арестом и сразу после смерти Сталина печатать было невозможно (и слава Богу!), а потом у меня и желания такого не возникало. Стихи эти были о превосходстве советского — читай: романтического — миропонимания над отсталым и мелким. Это отношение ле-

жит в основе трагических воспоминаний того офицера, альтер эго автора, об этих дополнительно тяжких и обидных обстоятельствах нашего отступления. Он с горькой укоризной вспоминает — мы вынуждены отступать перед таким врагом, а в это время наш отход задерживают «пулеметы с колоколен», и вдобавок: «На нас косятся воровато в мохнатых шапках мужики».

Я полагал, что чувствую и рисую объективную трагедию бытия и революции, но мой собеседник воспринял это иначе.

— А у этих мужиков, наверное, были причины смотреть вслед нашим войскам недоброжелательно? — спросил он, выслушав мои стихи.

Вопрос поставил меня в тупик. Я ведь тоже знал, что у них есть на то причины и, собственно, не скрывал этого. Просто я был убежден, что достойней было быть выше, и имел идиотизм презирать этих мужиков за неспособность воспарить на подобные «высоты». Но и ему, старому коммунисту, взбираться на них не захотелось*, что ставило меня в тупик, но не уменьшало моих симпатий к этому человеку.

А он все больше меня поражал. Однажды он мне объяснил, что в лагере лучше всех себя ведут дети раскулаченных. Поскольку дома им внушены четкие правила поведения и общежития — среди них почти не бывает стукачей или ворюшек**. Думаю, что это его понимание определялось тем, что он был украинским интеллигентом, которому голодо-

* Судьба Шумского сложилась трагически. В лагере он потом серьезно заболел, был «сактирован» и выпущен на волю умирать. Он приехал в Саратов, но там слег и лежал в больнице. На свою беду, он начал оттуда писать письма киевским знакомым, прося о помощи. Хрушев усмотрел в этом (или испугался, что другие усмотрят) попытку организовать на Украине (где и так он никак не мог справиться с «бандеровцами») подпольный антисоветский центр. Он поднял шум и выехал в Саратов вместе с экспедицией ГБ, в которой участвовал и Судоплатов, позже рассказавший о ней в своей книге. Там эти бойцы невидимого фронта велели «своему человеку», медсестре, впрыснуть пациенту под видом лекарства яд кураре. Так кончил свои дни мой знакомец, если он на самом деле был Шумским.

** Может показаться, что это противоречит моему же утверждению, что дети раскулаченных часто примыкали к уголовникам. Но это те, кто в детстве терял родителей, кого просто лишали возможности и легального права существовать (как евреев при нацистах) и кого воспитывала «хевра». А тут речь о тех, кто был взят более или менее взрослым, кого воспитали дом и уклад.

мор (в целях сокрытия которого его, скорее всего, и «изолировали») на многое открыл глаза. Меня эти слова поражали — они ведь противоречили мировоззрению, — но удивили гораздо меньше. Ледяное дыхание ГУЛАГа было объективной реальностью, весьма жестко данной мне в ощущении, и я интуитивно чувствовал за его словами опыт, а в глубине души воспринимал и их логику.

Душа, стыдясь самой себя, начинала уже искать чего-то прочного, противостоящего верховному беспределу. И ценность людей, воспитанных в твердых (пусть «обывательских») правилах, в тех условиях была вполне ощутимой — даже и для меня. Романтические представления понемногу корректировались. Но мировоззрения это пока не затрагивало. Диалектика способна увязать и примирить что угодно с чем угодно. На то и «единство противоречий».

Естественно, встречал я на пересылках и коммунистов «ежовского набора» — «повторников» и этаплируемых прямо из лагерей после отбытия срока в ссылки. В основном это были комсомольцы двадцатых и начала тридцатых годов — «те мальчишки, что опоздали родиться /К тачанкам и трубам гражданской войны» (Я.Смеляков), оппозиционеры и «примкнувшие к ним» для заполнения «квоты». Тогда уже разница между ними ощущалась резко — Сталина они ненавидели и презирали почти все. Конечно, они были в своих представлениях о мире ограничены, но, поскольку я тогда в своих суждениях был еще более ограничен, я этого понимать не мог. Не мог же я считать ограниченностью верность коммунизму и Ленину. Да это и вообще было не в духе времени — думаю, что и абсолютное большинство населения камеры, относясь к Сталину вполне враждебно, Ленина, точнее миф о Ленине, под сомнение не ставили. Я отличался от всех вовсе не близостью к истине, а еще большим отдалением от нее — защищал Сталина.

Тут я и вступал с ними в спор. Они не принимали меня за идиота, чей кругозор ограничен официальной пропагандой, только потому, что обнаруживали, что я все же знаю и понимаю, как было на самом деле. И поэтому (хотя нес я жестокую чушь) относились ко мне тепло, по-отечески. Но понимания, что они сами явились кузнецами своего (если бы только своего!) несчастья, у них не было. У меня тоже.

Тем не менее никто из них не выглядел и не был тем чудовищем, заговором которых представляется русский

коммунизм воображению тех из нынешних «патриотов», кто защищает Сталина. Я достаточно много писал о коммунизме, его преступности и греховности. Не собираюсь я ни оправдывать, ни обелять и этих коммунистов. Так или иначе, все они до ареста были членами преступной организации, а у кого-то из них могли быть и персональные «заслуги» в прошлом. И вряд ли кто из них сумел пересмотреть свои взгляды и свою жизнь, когда Сталин был развенчан. Они не были темными людьми, но видит Бог, не были и светочами разума — скорее всего, они не имели даже представления о достижениях дореволюционной русской мысли. Впрочем, я тоже не имел, а они хотя бы не были гуманитариями.

Но все же они, как и предполагаемый Шумский, не были и гомункулусами сталинской эпохи. Могу обрадовать «патриотов» — те несколько человек, которых я встретил, были евреями, что абсолютно не значит, что так было везде. Опровергать идиотскую глупость, доказывать, что коммунизм не был заговором мирового еврейства, сознательно направленным на гибель России, я, может быть, и буду вынужден (хотя, повторяю, о «настоящем коммунизме» я уже писал достаточно), но пока не хочу. Пока я пишу воспоминания. И констатирую: отталкивающими эти люди не были. Не только для меня, но и для всех вокруг. Впрочем, за исключением одного, но о нем чуть ниже.

Особенно часто я разговаривал с инженером Гольдшмитом. Он был «повторником» — отсидев полученный в ежовщину срок, он теперь был снова арестован и препровождался в ссылку. Кажется, в Казахстан. Не помню, был ли он в оппозиции. Не исключаю, что когда-то по младости проголосовал раз или два за резолюцию какой-нибудь растворившейся в Лете троцкистской комсомольской оппозиции. В этом вовсе не было особой зловредности. В той части интеллигентной и не совсем интеллигентной молодежи, которая в двадцатые годы вообще принимала большевизм, многие (и отнюдь не только евреи) склонялись к троцкизму. Это было логично. Троцкизм — это догматический большевизм, и поэтому (конечно, только внутри большевизма) он вообще выглядит логично. Логичнее даже, чем бухаринство (попытка сочетать большевизм со здравым смыслом, что требовало более обширных знаний и высо-

кой культуры), а тем более чем сталинская эклектика. И молодые люди, приняв (часто натужно, «со скрипом») большевизм, хотя бы в нем старались соблюдать принципиальность — держались догмы. Или романтики. По-моему, ко времени нашего знакомства Гольдшмит, хоть Сталина и не любил, уже ничего не держался. Он был инженером и хотел работать. Он и в первый раз был посажен отнюдь не за подпольную деятельность, а в общем порядке. А после лагеря пристроился преподавателем техникума в подмосковном Кудинове. Работал он, видимо, хорошо.

Рассказал он мне об одном характерном эпизоде. Однажды он был назначен ответственным за какой-то торжественный вечер. В небольшом поселке вечер в техникуме — событие заметное и привлекательное для окружающей молодежи. Гольдшмита предупредили:

— Смотрите!.. А то там хулиганы у входа...

— Да? — сказал старый комсомолец. — Хулиганы? Посмотрим...

И вышел к этим хулиганам. Стояли несколько ребят и скучали в ожидании повода похулиганить. Курили. Он у кого-то из них прикурил. Постепенно завязался разговор.

— Тут, говорят, вечер будет? — спросил один из хулиганов.

— Да, — вздохнул сокрушенно Гольдшмит. — Должен быть. Я за это отвечаю.

— А что? — встревожился хулиган.

— Да тут, говорят, хулиганы... людей не будут пропускать... Девочек особенно... Мне бы ребят стоящих несколько человек подобрать, чтоб за порядком следили... Да где ж их взять?

— Как где? А мы!

И сформировал Гольдшмит из предполагаемых хулиганов охрану от хулиганства. И вечер прошел на славу. И хулиганы чинно на нем присутствовали. И директор объявил Гольдшмиту благодарность. А ведь всего-то сработали старые навыки — стараться не отталкивать, а привлекать. Хотя бы «социально-близких». Это не отменяет никаких преступлений «старой гвардии» (в которых Гольдшмит вряд ли участвовал), но все-таки по сравнению с новыми навыками, присущими представителям новой, сталинской (по мнению некоторых, патриотической) формации руководите-

лей, не чувствующих ответственности и за «социально-близких» (чуть что стремящихся мешающих отделить, а то и «изолировать»), ее эти навыки выглядят предпочтительней. И особенно предпочтительней отношения чубайсовских демократов, которым на всех выброшенных ими из жизни людей — и взрослых, и детей — просто наплевать.

Гольдшмит окопался в Кудинове и думал, что спрятался. Но не тут-то было. Как только тов. Абакумов начал уже упоминавшуюся охоту на «повторников», его нашли. Пришли за ним, как водится, ночью. Почему так было заведено — секрет изобретателя, скорее всего, давно уже к тому времени расстрелянного. Видимо, имелось в виду застать врага врасплох и растерянного. Хотя удары с давних чекистских времен наносились в основном упреждающие (по классу и прослойке в целом) и приходили чаще всего за ничего не подозревающими «кроликами».

Ночной налет был и впрямь «результативный» — правда, результат был не тот, которого они ожидали.

Гольдшмит действительно был не один — у него была женщина. Гольдшмиту все это было знакомо, а несчастная женщина перепугалась — не помню, удалось ли ему уговорить ее забрать какие-то его вещи — не брать же ему их было с собой. Пришедшие против этого ничего не имели, но уж очень она была перепугана. Перепуг был отчасти не на пустом месте. В хорошие ежовские времена вполне могли бы прихватить и ее, как сообщницу и пособницу — в преступлении, которое бы еще предстояло придумать. Но отчасти и на пустом — времена теперь были более либеральные: ведь даже Гольдшмиту не шили новую липу, а сажали по старой. Но где ей было разбираться в оттенках страшного — скорее прочь, от греха подальше.

Общались мы с Гольдшмитом много, но конкретных разговоров с ним я не помню. По сути, они были похожи на приведенные выше. Только однажды он меня вдруг удивил:

— А вы стараетесь не общаться с евреями — скрываете, что вы еврей.

Я опешил. Он вовсе не был заиклен на еврейском вопросе. Да и вообще что это значило? А что я делал в данный момент, если не разговаривал с евреем (то есть с ним)? И ведь не в первый раз. И он знал, что не был в этом смысле исключением. Но он не унимался:

— Да, да. Мне говорили! Не отпирайтесь!

И тут я понял, в чем дело.

— Это неправда. Ведь и с вами, и с таким-то, и с таким-то я общаюсь довольно регулярно и тесно. Они вам этого обо мне сказать не могли. Я знаю, кто вам это сказал. С этим человеком я действительно не общаюсь, но не потому, что он еврей, а потому, что он мне неприятен.

— А-а!.. — сказал Гольдшмит — Тогда другое дело. Это ваше право.

Имя этого человека не было названо (я его и сейчас не знаю), но по реакции Гольдшмита я почувствовал, что угадал. Между тем этот человек стоит того, чтобы о нем рассказать подробно. Как об историческом типе — лично я почти ничего о нем и теперь не знаю. У меня есть только одни впечатления. О них и расскажу. Даже если они не совсем точно свидетельствуют о нем, они точное и важное свидетельство обо мне. А любые мемуары — это рассказ и о себе. Впрочем, я думаю, что и о нем они свидетельствуют точно. Начну по порядку.

Как этот человек появился в камере, я не помню. Расположился он на нижних нарах, справа от меня — я, как здесь уже говорилось, располагался на верхних нарах в торце против входа. Заметил я его, когда он вдруг заговорил со мной. На идиш. Идиш никогда не был языком, на котором я «жил и мыслил», но в Киеве он был у меня на слуху, и я его более или менее понимал. Но после стольких лет я понимал его много хуже. Впрочем, обычно я как мог откликался и на идиш. Но здесь мне не понравилось, что со мной таким путем устанавливают общность. Кроме того, он мне сам не понравился — показался каким-то дряблым, жидким. Я ему что-то ответил, но разговора поддерживать не стал. Оказалось потом, что неприятное впечатление он производил и на других.

Выяснилось это вот как. Как-то раз ему почему-то вдруг (никакой близости да и просто традиции общения у нас, повторяю, не было) захотелось со мной поговорить, и он позвал меня со своего места. Мне слезать вниз, да еще к нему, не хотелось, да и разговаривал я в это время с кем-то другим. Но мне было как-то неловко. И вдруг я услышал голос лежащего неподалеку Сережи (того самого, с «Серпа и молота»):

— Да ну его, Наум! Не ходи!

Эта реакция, раздражение, звучащее в голосе, меня удивили. Сережа вовсе не следил за кругом моего общения и не проявлял не только никакой враждебности, но даже просто отчужденности по отношению к другим евреям в камере, а тут вдруг такое. Впрочем, и обращен был этот его возглас тоже к еврею — так что антисемитизм как его объяснение начисто исключался. В чем же было дело? Выходит, что неприятное ощущение он вызывал не только у меня. Причем персонально он, а не евреи вообще. Чем? Я об этом тогда не думал. Да и думал бы — не понял.

Возможно, и сегодня бы, если бы вообще помнил об этом своем сокамернике, я бы мучился от стыда и сознания собственной греховности по поводу этого своего немотивированного отчуждения, но через несколько лет мне суждено было снова встретить этого человека, и эта краткая встреча странным образом мне все объяснила.

Произошла она году в 1952-м в Караганде, где я жил после ссылки и куда он, по-видимому, был этапирован в 1948-м через Свердловскую пересылку.

Я жил тогда в районе Большой Михайловки и обычно по вечерам возвращался домой через пустой в это время рынок. Встречные в этот поздний час попадались редко. Обычно они, как и я, проходили, не оглядываясь — не от страха, а просто спеша домой. Место было безопасным, да и время — в этом, конечно, только смысле — тоже. Но однажды возникший передо мной из полутьмы человек остановился и поздоровался. И приветливо заговорил со мной на идиш. Я сначала опешил, но очень скоро понял, кто это. Это был тот самый человек, с которым мне не хотелось разговаривать в Свердловске. Как он при таком мимолетном знакомстве узнал меня при столь неожиданной встрече, да еще в полумраке, не знаю. Правда, я его тоже узнал, но все же только ответно. Теперь он выглядел иначе. Впечатление дряблости и жидковатости испарилось, как не бывало. Рукопожатие его оказалось твердым и крепким. Но симпатичней от этого он мне почему-то не стал.

Я не помню, где и кем он работал в Караганде. Но как-то за истекшие три-четыре года он устроился. И судя по его виду и повадке, устроился не так уж плохо. Однако его нынешнее положение вызывало у него саркастическую усмешку — дескать, для него ли такой мизер! Оказалось, что

до своего ареста, в 1937-м, он ворочал делами не такого масштаба. Впрочем, какими именно — я забыл. Это было странно. Ни образованности, ни кругозора у него не ощущалось — ощущалось их отсутствие. Откуда такие амбиции? Но низким интеллектуальным уровнем руководителя меня, знавшего сталинских выдвиженцев, удивить было трудно, и произвело на меня впечатление совсем другое. Выяснилось, что во время Гражданской войны этот тусклый человек был комиссаром!

Сегодня для многих это звучит смешно. Но читатель помнит, что значило для меня это слово. Ведь романтика Гражданской войны была почти единственным духовным достоянием моим и моих сверстников. И квинтэссенцией этого романтического мифа был образ комиссара. Слово «комиссар» звучало для нас так, как для нормальных людей слово «святой». Этот образ в моем сознании был похож на изображенный Петровым-Водкиным в картине «Смерть комиссара». И вот передо мной стоял комиссар, подлинный комиссар, но почему-то это меня не радовало, а скорее обескураживало. Конечно, я знал, что случались иногда и неприятные «эксцессы» («неизбежные» и потому простительные), но ведь и на солнце бывают пятна — слишком он был непохож на мое представление о комиссаре. Но сомнений в его подлинности у меня не возникло — просто романтический образ вдруг отошел в сторону.

Прежде всего мне не понравилось его упорное стремление устанавливать контакты на идиш. Нет, я не имел ничего против этого языка. На своем пути, в водоворотах армии и ГУЛАГа (хоть и там, и там я был только как бы проездом), я не раз встречал людей, по происхождению местечковых, для которых этот язык был родным и кто всегда был рад возможности (не столь уж частой в этих условиях) на нем поговорить с понимающим человеком. Таким людям я всегда, как умел, отвечал. Наконец, до ареста я любил бывать у Самуила Галкина, очень хорошего человека и поэта, писавшего на идиш. Со мной, правда, он разговаривал по-русски, но приходилось слушать его стихи и даже пьесу, и кое-что я даже с удовольствием понимал. Я навсегда сохранил самое теплое отношение к нему и к его творчеству.

Но комиссар этот не был ни традиционным местечковым евреем, ни тем более еврейским поэтом. Он был сол-

датом и даже комиссаром мировой революции — и должен был, по моим представлениям, ощущать прежде всего иную общность. Конечно, сталинщине такое противоречие было сопринородно в принципе. Пролетарский интернационализм (национальный нигилизм) она легко, не моргнув глазом, подменила муляжем дружбы народов (я тоже уважаю все народы и хочу, чтобы они жили в мире и дружбе, но при чем тут коммунизм?). Конечно, пропагандистская эта схема отводила главное место «счастливному русскому народу», но и «счастливый еврейский народ» полноправно входил в приводившийся чуть не каждый день в каждой газете список всех остальных «счастливых советских народов», чья «национальная по форме» культура цветет под солнцем сталинской конституции (исключен был еврейский народ из этого «списка счастливых» только во время войны). Так что идеологически это по новым временам было выдержано.

Но ведь со мной сейчас говорил не рядовой еврей, не еврейский литератор, даже не коммунист сталинской эпохи, а комиссар Гражданской войны, репрессированный Сталиным, — у него, на мой тогдашний взгляд, должны были быть иные предпочтения. Их не было. И отсутствие их коробило. Остальные евреи коммунисты в камере его предпочтениями не страдали — общались со всеми, легко и порусски. Иногда выходцы из Польши, сойдясь группкой, переходили на польский, но это уже вне зависимости от биографий, партийности и происхождения. Кто-то с кем-то мог так же болтать и на идиш. Но ни у тех, ни у других это не было принципом установления контактов. У него — было.

Те современные «патриоты», которые представляют большевистскую революцию еврейским заговором против России с целью ее захвата, эксплуатации и порабощения евреями, могут возликовать. Вот, дескать, доказательство — вел (или посылал) в бой за Интернационал всех, а у самого такие предпочтения! Но это зря — он о таких материях никогда не слышал. Просто, как и многим другим (людям разных наций), революция открыла ему небывалые (а по сути, несоразмерные с уровнем его личности) «возможности роста» (термин позднейший, номенклатурный), и он попер. И при этом остался тем, кем был. Что случалось в более поздние времена с людьми самых разных происхождений.

Возможно, эти его предпочтения усилились в нем из-за ошутимого и в лагере, но поднявшего голову во всей госу-

дарственной жизни антисемитизма, — тем более что антипатию, которую он вызывал в людях лично (о ее природе чуть ниже), он относил всецело на счет антисемитизма. Возможно. Но все равно это было неприятно. Другие воспринимали это не так.

Короче, дело не в его пристрастии к идиш. Если бы дело было только в этом, я бы давно забыл и этот разговор, и самого этого комиссара. А я не забыл. Мимолетная эта встреча ударила по мне, запомнилась мне и глубоко врезалась в мои память и сердце. И вовсе не «еврейским вопросом».

Прежде всего, как сказано выше, тем, что человек такого уровня, как он, мог вообще быть комиссаром. Я вдруг почувствовал и понял, что он вовсе не был исключением среди комиссаров, что уровень этот был свойствен многим из них. Причем независимо от происхождения.

А это значит, что поведение многих из них слишком часто определялось комплексами, работа которых ясно прочитывалась в этом человеке. Я ощутил — по некоторым его словам, интонациям и ухмылкам, когда он говорил о своем «прекрасном прошлом». А это значит, что многое из того, что в книгах и фильмах о Гражданской войне выглядело «забавно», на самом деле забавным не было. Что во время Гражданской войны, когда от его малограмотной воли зависела жизнь и смерть живых людей (чувствовалось, что об этом он вспоминает с особым удовольствием), он был страшен, был непоколебимо и неумолимо жесток. Особенно по отношению к тем, кого не понимал, но в ком чувствовал превосходство. А таких среди его врагов должно было быть много. И я думаю, что нечто порожденное этой жестокостью, теми разрушениями, которым она подвергает душу, ощущалось в нем и теперь. Несоразмерность его притязаний реальному уровню его личности, вызванная этими былыми его «возможностями», пусть и подавленная, но ощущаемая, тоже сказывалась на впечатлении, которое он производил. Все это не сознавалось, но все же было подсудной причиной той антипатии, которую он вызывал.

Я и до этого знал, что такая жестокость таким деятелям была не только разрешена, но даже и декретирована тайными приказами и открытыми призывами более образованных Лениных, Троцких, Дзержинских и Луначарских, которые исходили из культа революционной беспощадно-

сти и других, так сказать, революционных расчетов. Знал и абстрактно принимал это как должное — «революции не делаются в белых перчатках».

Но тут я впервые ощутил ту стихию подлого самоутверждения, к которой эти вожди апеллировали и которая вообще была одной из движущих сил большевистской революции. Как раз тем разгоревшимся из искры пламенем, на котором «закалялась сталь» и ленинский большевизм, а потом сталинщина ковала свои кадры*

Это пламя было пламенем соблазна. Безусловно, те, кто дал этому пламени зажечь себя, — преступники. Но те, кто соблазнял их, пробуждая в них все дурное, и помог им реализоваться — намного виновней.

Больше этого комиссара я никогда и нигде не встречал. Но эта, вторая и последняя, встреча с ним имела большое значение для моего внутреннего развития. В его лице я впервые столкнулся с реальностью того, что мне представлялось романтическим. И это меня поразило и в меня запало. Я против воли представил себе, как плохо приходилось тем, кому он в подметки не годился, если они попадали в его руки.

И это — да и само то, что те, кого он убивал, в моем воображении оказывались явно лучше и выше его — было важнейшим (хоть пока и неприятным) открытием моей жизни. Пусть даже тогда еще не открытием, а только его порогом, который я все же еще не решался перешагнуть, но все же чем-то, чего я уже никогда не забыл. И что мне в более позднее время помогло освободиться от пут романтической ангажированности. Но тогда эта встреча на мое мировоззрение и мироощущение, то есть на отношение к ленинщине (Сталина я уже к тому времени отверг), все равно еще прямо не повлияла. До решимости перешагнуть этот порог мне оставалось расти еще — от этой карагандинской встречи лет пять-шесть, а от момента, на котором прервалось повествование, — девять-десять. Тогда, на этапе, я ведь и от Сталина пока не освободился.

* Мне уже приходилось писать о том, что уже и «красный террор» был, кроме всего прочего, компенсатором некачественности. Потом были рабфаковцы, позиции которых защищало государство, потом антисемиты. Все время изыскивались резервы темноты, и им отдавалась власть. Человека, о котором я тут вспомнил, из этой эстафеты в одночасье выбросили. Несправедливо? Но попробуйте в рамках большевизма или сталинщины искать справедливость.

Я тогда вообще еще был дикарем. Сказывалось это больше всего на моем отношении к «религиозникам» — пострадавшие за веру тоже следовали по этапу через пересылки. Но эти «отсталые» люди меня вообще не интересовали. Я уважал их за честность, но не за мысли, которых не знал и не понимал, но уверенно считал глупыми. Они тоже не пробовали приобщать меня к религии. Только помню, один парень моего примерно возраста пытался просветить меня и уговорил даже выслушать его доводы. Но он был представитель какой-то секты, отрицавшей загробную жизнь, и как только я услышал об этом, я тут же нагло объявил ему, что религия без загробной жизни вообще не имеет смысла, и дальше слушать отказался. Внешне я был прав — вера в Царствие Небесное действительно неотъемлемая часть христианства. Но мои возражения исходили не из этого, а из примитивной прагматики. Дескать, раз вы и вечной жизни не обещаете, так на кой вы нужны вообще. В своих представлениях о религии я недалеко ушел от уровня представлений того «юного пионера», который столь самонадеянно вступил когда-то в теологический спор с верующим дядей (см. часть I).

Случались и забавные происшествия. Забавные, если забыть, что происходили они внутри трагедии и с людьми, которых мучили. Как-то вечером в камеру втолкнули двух человек. Они дошли до середины камеры, остановились и стали оглядываться. В неярком свете было не разобрать, кто это. И вдруг вся одуревшая от скуки и духоты камера как по команде угрожающе взвыла — стала на кой-то черт изображать из себя «Индию» или «Африку» — в общем, уголовную камеру. Кто это придумал, кто первый подхватил, было непонятно — но камера ликуя выла. Однако двое новоприбывших стояли неподвижно, спокойно пережидая бурю, и стало ясно, что они не новички.

Наконец, кто-то крикнул одному из них, продолжая игру:

— Вы кто, урки?

— Не, я пеона, — последовал ответ. Новый сокамерник оказался китайцем. Камера вновь возликовала.

— Пеона!

— Пеона, так твою мать!.. Зачем же ты шпионил?

Словно кто-то в этой камере мог не знать, как становятся шпионами, и словно в лагерях не привыкли к китай-

цам и к их русскому языку. Но донимала жажда продлить удовольствие. Однако китаец обиженно продолжал:

— «Пеона!», «Пеона!»... Будеса пеона, есыли тебе ливо-ливьера по голове. — Помолчал, и снова начал: — Я не пеона, я Кыласыная Алымия воевала... Денькина воевала... Колысяка воевала...

Кое-кто пробовал продолжать развлечение, но теперь уже таких обрывали:

— Перестаньте!.. Вы что, не видите, человек о судьбе своей рассказывает. Душу изливает.

Сосед мой спросил:

— А тебя как зовут, Петя или Коля? — И обернувшись ко мне: — Они все так по-русски себя называют: Петя, Вася... — И опять китаец: — А кем был в лагере? Прачкой?

Китайца эти вопросы действительно не удивили. Но его звали не Петя и не Коля, а Миша. И был он часовых дел мастером, а не прачкой. Второй вошедший был тоже «шпион», но не китаец, а советский литовец: «советский», значит, и до 1940 года живший в СССР. Профессии его не помню, но она была связана с ремеслом, он был тоже простым человеком. В «тридцать седьмом» он, как и его товарищ по несчастью китаец, был арестован и сходным способом превращен в шпиона. Правда, по-русски литовец говорил чисто — видимо, это был его родной язык. Оба, отсидев свои «червонцы», направлялись теперь в ссылку, в Красноярский, кажется, край. Представления, которое им устроила камера, оба они как люди опытные просто не приняли всерьез. Потому и спокойно его переждали. И сразу стали полноправными членами коллектива.

И опять этот факт в каком-то смысле подтверждает идиотское утверждение, что жертвами «тридцать седьмого года» были если не только одни коммунисты и евреи (эти слова в этих кругах опять выдаются за синонимы), то «интернационалисты». Как же не интернационалисты — сами видите: китаец и литовец. Китаец, конечно, в Красной Армии служил, но мало ли русских в ней служило? Да ведь не за это же его посадили. Может, в преследовании этих «нерусских» проявлялся дорогой им русский патриотизм Сталина? Но ведь и русских он никогда не забывал. И в конце тридцатых их и за коммунизм, и ни за что сажали никак не меньше, чем «иностранцев», — просто иностранцы выглядели ко-

лоритнее. Много сидело еще, например, немцев. Я имею в виду немцев не германских (настоящих или мнимых военных преступников), а русских, советских. И посаженных не в порядке общего преследования немецкого населения, начавшегося в сорок первом, а в порядке общей вакханалии тридцать седьмого. Когда энкавэдэшники и евреев записывали в гитлеровские шпионы, а уж немцев — как бы сам Бог велел. Между тем немцы, которых я встречал на пересылках, в основном были крестьянами. Один из них, как это ни комично, выдавал себя за голландца (за что тут же получил «хрена голландского»). Но тот «голландский», на котором он говорил, без всяких затруднений понимали другие немцы, тоже крестьяне и не полиглоты. В основном это были люди спокойные, положительные.

Но однажды — по-моему, это было уже в Новосибирске — я столкнулся с агрессивной яростью одного отчаявшегося немца и даже стал ее объектом. Произошло это в бане. Рядом со мной мылись два человека: один пожилой, среднего роста, другой — огромного роста и, чувствовалось, силы, но без одной ноги. Они говорили между собой по-немецки. Одноногий взволнованно что-то доказывал пожилому, тот пытался его успокоить. Меня это не касалось, и я думал о чем-то своем — хватало о чем думать. Но вот я в очередной раз поднес свой бачок к крану, и вдруг одноногий фактически бросился на меня, даже занес ручищу для удара. Эта агрессия была направлена против меня, но вызвана не мной — не тем, что я подошел к крану — кранов было много, и конкуренции из-за них не было. Единственной моей виной было то, что я был евреем.

— Убью! — кричал он. — Таких, как вы, убивать надо! Ненавижу! — и дальше в том же духе.

Он меня не ударил, помешал его товарищ. Товарищ и отвел его от меня. Я подавленно молчал. Такой сконцентрированной, направленной против себя ненависти мне не пришлось испытать ни до, ни после этого эпизода. Потом оба они подошли ко мне извиняться. Молодой говорил, что он против меня ничего не имеет, но что ему не дают жить, мучают его столько лет, а за что? Он же не виноват, что был Гитлер. И вот — не выдержал.

Я не исключаю, что они несколько испугались, боялись, что я пожалуюсь, донесу. Конечно, антисемитизм тогда

уже практически был легализован, но немца за него могли и прищучить. Но говорил он искренне, с болью и раскаянием. Говорил, что дурак, нашел кого обвинять в своих бедах — такого же, как он, арестанта... Почему его враждебность к мучителям приобрела характер антисемитского взрыва? Он не оперировал обычным набором обвинений против евреев. Просто евреи всегда потенциально как бы входили в состав облыжных обвинений против него (поскольку немецкие нацисты убивали евреев), следовательно, во все то сцепление неправд, которые на него обрушились. А боль о своей загубленной жизни затмевала разум. А может, у него вдобавок и следователь был еврей — такое еще ведь и тогда случалось. Но так или иначе, расстались мы вполне мирно и доброжелательно. Я не убежден, что эти люди были жертвами тридцать седьмого года, возможно, их выдернули с поселения — там, скажу забегаая вперед, сети расставляли довольно густо.

Все это были простые люди. Но среди заключенных немцев, а тем более среди жертв «тридцать седьмого» бывали не только они. Помню и, например, одного учителя из Энгельса (столицы бывшей Республики Немцев Поволжья), тоже немца. Переживал он происшедшее с ним, как и всякий другой оскорбленный в лучших чувствах комсомолец. Когда начавшиеся повальные аресты с последующими шельмующими митингами, с фантастическими обвинениями стали все более и более задевать знакомых ему людей, в это трудно было поверить. Правда, пропаганда редела: «Разве ты можешь знать подноготную даже близких тебе людей?» — но когда уж совсем перевалило через край, они с приятелем, знакомым с детства, договорились, что если с кем-нибудь из них двоих такое случится, второй будет знать, что сажают ни за что. Эксперимент удался — на следующий день моего собеседника арестовали. Что случилось с его приятелем, я не знаю.

Встречались мне еще «интернационалисты». Обаятельный кореец, командир Красной Армии. Поначалу его обвиняли в том, что он хотел присоединить Карелию к Финляндии: спутали корейца с карелом. Потом придумали что-то другое. И еще просто Коля-финн из Карелии. Человек абсолютно простой и весьма далекий от политики. Его, правда, не обвиняли в том, что он хотел присоединить Примо-

рье к Корею, но тоже в чем-то неправдоподобном. И свои десять лет получил все равно. Теперь он, как и я, направлялся в ссылку. В лагере (поскольку считалось, что он как финн и до этого был лесорубом, хоть это было не так) он сразу стал работать на лесоповале, и, видимо, наследственное умение справляться с пилой и топором в нем и впрямь жило, он втянулся в эту работу. И то, что других страшило, было ему по плечу, числился даже в ударниках. Он и в ссылке собирался работать по этой специальности. Разговоров с ним я почти не помню. Только один, смешной, когда у меня что-то порвалось:

— Коля, у тебя есть иголка с ниткой?

— И жавтра не будет! — отрубил Коля. Ему нравилось употреблять русские обороты. Не его вина, что все они были лагерные. Ведь посадили его еще очень юным.

Но встречались мне на пересылках не только политические (даже такие, как бандиты, за побег обвиненные в саботаже), но и бытовики. Тогда этот термин был для всех само собой разумеющимся, но боюсь, что сегодня уже мало кто знает, что он значил. На всякий случай попытаюсь это объяснить.

В СССР существовало три типа заключенных: политические (объяснений не требует, хоть название и неофициальное), уголовные (воры, бандиты, мошенники и т.п. «профессионалы» уголовного мира) и эти самые бытовики. Таких в лагерях было большинство, они были основной и наиболее удобной для начальства «рабсилой». На уголовниках — где сядешь, там и слезешь, а «пятьдесят восьмой» полагалось не доверять. Короче, все неполитики и неурки — от хулиганов, растратчиков, расхитителей (включая расхитителей колосков, о которых здесь уже шла речь) до лиц, совершивших должностные преступления, — считались бытовиками. Возможно, для юристов существовало больше градаций, но и эки, и начальство в тюрьмах и лагерях в обиходе вполне обходились этими тремя.

Обычно «бытовики» сидели отдельно, но случалось, что и с нами. Так, однажды, когда я был уже в Новосибирске, к нам в камеру посадили большую их группу. Всех их привезли из Семипалатинской, кажется, области, и были они, судя по всему, работниками торговли. К этой категории трудящихся я, как и весь советский народ, питал извест-

ное предубеждение, и ни внимания, ни сочувствия эти проштрафившиеся торгаши у меня не вызвали. Ясно запомнился мне только один из этих «торгашей». Прежде всего потому, что он был «красным партизаном». И тем, что при этом факта хищения не отрицал, но никакого раскаяния не испытывал и даже не изображал — наоборот, пребывал в неколебимой уверенности, что жил и вел себя наиболее разумным и достойным образом. Интересен в этом смысле запомнившийся мне конец его рассказа о своих «жизни и следствии». Естественно, на следствии он сколько мог упирался, но был приперт к стенке неоспоримыми уликами и показаниями подельников. Пришлось сознаться. И вот как происходил в его описании этот процесс «чистосердечного раскаяния»:

— Он (следователь. — *Н.К.*) и говорит: «Ну так, значит, все же взял?» А я: «Взял!» Он, конечно: «Ну так отдай!» А я ему: «Вот!» — И партизан выразительно предьявил слушателям энергичный кукиш, который он показал тогда следователю. Отдавать что бы то ни было тому государству, за установление которого он проливал кровь, свою и чужую, он явно не собирался. Даже не от жадности, а просто не считал нужным.

Тогда эта позиция меня больше развлекала, чем навела на мысли. То, что красный партизан присвоил государственные средства (или средства, которые государство объявляло своими? — но так я думать еще не умел), меня уже не удивляло... Формула, выработанная партократией двадцатых годов именно для таких случаев — человек переродился, — «все объясняла». Дескать, был человек идейным борцом, но не выдержал «угара НЭПа» (теперь — «послевоенных трудностей»). Все выглядело логично. Но что-то тут все-таки было не так... Но думать об этом «чем-то» я стал намного позже.

А ведь тут все было не так — даже если забыть, что партизанская практика и воздействие лозунгов типа «Грабь награбленное!» вообще не способствовали укреплению традиционных крестьянских добродетелей. Да и не был этот партизан идейным. Для участия в партизанстве это было необязательно. Чтобы податься в такие борцы, достаточно было за что-то рассердиться на белых. Например, за то, что мало знакомые с местным бытом и психологией господ

офицеры иногда позволяли себе пороть сибирских крестьян. Вероятно, за дело, но — пороть. Между тем тогда уже нельзя было безнаказанно пороть и крестьян среднерусских, а о сибиряках и говорить нечего. Эта ошибка была одной из причин партизанского движения. «Идейные» деятели только ловко использовали эту ошибку, направляли недовольство в нужное им русло и придавали движению идеологическое оформление — отсюда и «идейность». Но интересовали партизана не идеи, а собственная жизнь.

Не назвал бы я этого партизана-торгаша и шкурником. У него, как и у его подельников — партизанство тут было ни при чем, — не было оснований думать, что они с кем-то «сдирают шкуру», что присваиваемое ими — народное. И особенно — что если бы они согласились вернуть присвоенное, они вернули бы это народу. То есть людям. То, что они видели вокруг себя — особенно в деревнях (а они в основном были из райцентров), — исключало такое отношение к делу. Государство грабило иногда подчистую. «Великое» сталинское открытие — что людям можно платить зарплату ниже их представления о своем жизненном уровне, имело много побочных последствий. Людям предоставляли самим, как умеют, выпутываться из обстоятельств, в которые их ставила власть — к тому же не оставлявшая им никаких законных способов улучшить свою жизнь. Вот все и выпутывались незаконно — каждый по своим возможностям. Одни могли немного (например, собирать колоски), а эти умели лихо. Да вот попались... Радости в этом было мало, но оснований для укоров совести или раскаяния они не видели в этом совсем. Не знаю, можно ли было назвать этих рай- или облторговских деятелей народом, но это было тоже частью экономической войны народа с государством, разрушительной для обеих «воюющих сторон». У партизана это «военное» отношение только выразилось наиболее агрессивно и прямо. Остальные помалкивали. Но брешь между законностью и моралью в повседневности народной, особенно деревенской, жизни постепенно превращалась в пропасть. Мораль оставалась, но распространялась только на частные отношения. По-прежнему порицалась кража у человека, но кража у государства (колхоза, райпотребсоюза и т.д.) не порицалась. В этой войне исчезло само понятие преступления. Осталось только наказание — самоуправство го-

сударства, корыстно мстящее за любое противодействие своим грабительским вожделениям. Вот и не было угрызенной совести. Особенно если прибавить к этому, что советская торговля всегда была блудной дочерью советской системы распределения и по своей природе исключала скрупулезную честность. Если бы следовали ей, торговля бы просто остановилась — какие уж тут покаяния. Так что этот монолог, свидетелем и слушателем которого я случайно оказался, при всей своей комичности, тоже не был лишен исторического смысла.

Впрочем, совсем не факт, что этот партизан и его подельники мыслили так, как я здесь излагаю, — что они ясно сознавали или хотя бы ощущали себя противниками режима. До такой степени самосознания мало кто тогда дорастал. Людьями все эти «бытовики» были пожилыми, уверенными в себе, ощущали свою солидность и уместность — им было не до таких материй. Нет, они были не протестантами — скорее, они просто приспособлялись к условиям, созданным этим режимом, как к данности и старались — «по жизни», — чтоб было и себе не в обиду. Посадка при неудаче тоже входила в правила игры. В каком-то смысле так был воспитан, так приучился воспринимать жизнь весь народ. Кое-кто и в партократии — похоже, идеолог Суслов даже видел в таком отношении к жизни спасение от опасных для режима тенденций. Возможно, это режиму впрямь было выгодно. Но это несовместимо с нормальным функционированием общества. Что сегодня (в конце века) и сказывается в тотальном торжестве беспредела.

И еще такая странность. «Торгаши» эти были уверены, что везут их не в обычный, а в какой-то, как они выражались, «инвалидский лагерь». Не знаю, что это за лагерь и не были ли они светлой арестантской легендой. Краем уха я вроде что-то слышал о таких, но никого, кто там побывал, не видел — ни на этапе, ни в ссылке, ни после нее. Но эти люди свято в это верили. Откуда такая наивность? Может, откупились?

Однако в своем повествовании я несколько забежал вперед. Рассказываю о Новосибирске, но не рассказал, как убыл из Свердловска. Хотя рассказывать тут особенно нечего. Кончился месяц, на который мы были задержаны, и нас всех взяли на этап. Как это произошло, я уже теперь не

помню. Нас собрали в каком-то помещении (вероятно, на вокзале), вывели во двор, посадили в «воронок», подвезли к вагонзаку, который прицепили к тому же поезду № 71 Москва—Новосибирск, и повезли. Дорогу из Свердловска в Новосибирск тоже помню смутно.

Отчетливо — только трагикомические приключения одного приятного и вежливого молодого человека, посаженного к нам в купе в Омске. Он оказался крымским татаринном, живущим в ссылке то ли в Чулымском, то ли в Татарском районе. Работал он секретарем сельсовета. Обвинили его в хищении какой-то суммы (не очень крупной — в сельсоветах крупных не водилось), он это отрицал, и по общему впечатлению от его личности (а также потому, что я знаю, как в глухомани людей подводили под статью пьющие начальники) я думаю, что обвинение было ложным. Но сейчас он об этом уже не думал, а мечтал об одном — наконец-то добраться до суда. Дело в том, что следствие его велось в Новосибирске (если он жил в Чулымском районе) или в Омске (если жил в Татарском) — для его истории это не важно. Естественно, в одной из этих областных тюрем он и содержался во время следствия. Но следствие закончилось, а судить его должны были по месту совершения предполагаемого преступления. И вот на это «место» он никак не мог попасть уже чуть ли не неделю.

Процедура была проста, но очень громоздка. В Новосибирске его брали на этап из тюрьмы, выписывали, сдавали экипажу «воронка», сажали в «воронок», везли к вагонзаку, там процедура повторялась, и наконец он оказывался в купе. Теперь его на «родной» станции должен был встретить наряд милиции, получить его под расписку и отконвоировать в местную КПЗ (камеру предварительного заключения). И вот поезд подходил к станции, надзиратели подводили его к выходу, но конвой от местной милиции не появлялся, и сдавать его было некому. В конце концов поезд трогался, и парня возвращали назад в купе. И везли в Омск, где сдавали тамошнему «воронку», тот вез его в Омскую тюрьму, где он проходил всю процедуру приемки арестованного — с обыском и прочими прелестями. Назавтра или через день его снова из нее выписывали, и повторялась та же процедура, что и в Новосибирске. Он надеялся, что хоть на этот раз наряд явится за ним, но наряд не являлся, и бед-

ный арестант опять попадал в Новосибирскую тюрьму, где он опять проходил ту же процедуру оформления. Потом наряд снова его не встречал, и он снова оказывался в Омске. И так повторялось несколько раз. Наряд не выслали и к нашему поезду, и этот парень опять был доставлен в Новосибирск. Почему так происходило, я не знаю. Может быть, местное начальство почему-либо было заинтересовано в откладывании судебного разбирательства, может, причина была в другом.

Но так или иначе, это приключение не свидетельствует о четкости порядка управления в сталинскую эпоху, которая многим сейчас представляется образцом такой четкости. Впрочем, если бы дело находилось «на контроле» у «самого» — все действительно функционировало бы идеально. Такая это была система.

В Новосибирске я, конечно, сразу потерял из виду этого милого растерянного человека. Должен сказать, что в нашем купе, среди «пятьдесят восьмой», отделенный от уголовников, он, что называется, отдыхал душой, расслабился. А что ждало его дальше?

Впрочем, тогда я быстро перестал о нем думать: путаница началась уже с нами. Теперь я на нее не сетую — благодаря ей мне пришлось пережить небольшое, но интересное приключение. Но тогда она меня очень беспокоила — я ведь считал, что прибыл на место, и с минуты на минуту ожидал выхода на свободу, а тут — путаница.

Началось с того, что меня и еще двух ссыльных отделили от остального этапа и не отправили с ним вместе на пересылку. Видимо, тот факт, что у нас в формулярах значилось, что мы следуем на вольное поселение не куда-то, а в Новосибирск, сбивал с толку конвойные власти — они не знали, кому нас сдавать. Ведь мы уже были в Новосибирске. В конце концов за нами приехал «воронок» и долго возил нас по городу. Сначала он привез нас в местное управление МГБ. Это меня обнадежило. Здесь, как я полагал, нас должны были принять и выпустить. Но не тут-то было. Начальник конвоя, который отправился выяснять обстановку, через какое-то время (а мы пока томились в «воронке» в ожидании воли) вернулся ни с чем. МГБ нас не принимало. Не принимали нас и другие пенитенциарные учреждения, названий которых не помню. Не принимала нас

и областная тюрьма, куда нас наконец доставили. Но здесь хотя бы выяснилось, куда нас должны доставить. Оказалось, что на пересылку. Но поскольку было уже поздно, нас после долгих переговоров согласились оставить здесь на ночь, не принимая — девать нас все равно было некуда, с тем чтоб утром нас отсюда забрали и доставили на место.

Поскольку тюрьма нас не принимала, нас в ней особо не оформляли и скоро ввели в пустую камеру, где, кроме нас, никого не было. Не помню даже, были ли в ней нары. По-моему, спали мы на полу. Но я настолько устал, что мне это было безразлично.

Моими товарищами были бывалые лагерники. Крепкий плечистый молдаванин из Бессарабии (а не из Тирасполя) и еще один человек, русский, но, кажется, с примесью немецкой крови или с подозрением на это (за что и пострадал). Люди они были довольно простые, но вполне порядочные, то есть без всякого намека на уголовщину. Их происхождение с нами не удивляло — такое ли еще бывало. Меня тоже — только волновал призрак близкой свободы: ведь я, как мне сказали на Лубянке, должен был остаться в этом городе. Но все, о чем я пока рассказал, еще не было тем интересным приключением, на которое я намекнул чуть выше. Впрочем, и в самом приключении не будет ничего захватывающего. Только любопытное прикосновение к незнакомому и чуждому миру, который всегда рядом с нами.

Начал давать о себе знать этот мир почти сразу по прибытии нашем в камеру, когда мы стали располагаться на ночь. Внезапно раздался голос из преисподней. Оно, конечно, не из преисподней, даже не из подземелья — камера помещалась отнюдь не на первом этаже, — а из какой-то щели в полу. Голос стал устанавливать контакты, выяснять, кто мы такие. Мои спутники тут же с готовностью отрекомендовались бандитами, арестованными по статье 593 (вооруженный бандитизм). Голос попросил закурить. Ему, кажется, сунули что-то в дыру. Потом он стал просить, даже требовать чего-то «похавать» (поесть), а этого у нас у самих не было — мы ведь жили на этапной пайке. Но сосед снизу был уверен, что у людей, сидящих по такой солидной и уважаемой статье, всегда что-то есть, и стал повышать голос. Период мирного сосуществования кончился. Мои спутники не остались в долгу и в конце концов послали его «по

всем адресам». Он стал угрожать нам страшными карами, но мои товарищи не сдались и швырнули ему в дыру какую-то пакость. И кажется, вообще чем-то заткнули это отверстие. Голос в конце концов замолк. А мы уснули.

Но все это было преддверие. Интересное началось утром, когда нас опять посадили в «воронок». В его общем отделении уже находились женщина средних лет и несколько молодых парней. Вид у них был вполне нормальный, у некоторых даже располагающий. Мало ли кто тогда сидел. То, что двое из этих парней были в наручниках*, то есть относились к категории «особо опасных личностей», от которых в любой момент можно ожидать чего угодно, я заметил не сразу. И я ничего не имел в виду вызнать у них, когда спросил у женщины, куда их везут — просто хотел узнать, куда везут нас.

— Куды? На кудыкину гору! — неожиданно грубо и зло отрезала она. Я не ждал враждебности и потому осознал ее ответ не сразу. Я никогда до сих пор не слышал этого выражения и подумал было, что, возможно, у них в Новосибирске есть гора с таким названием, в районе которой и расположена пересылка, куда нас везут. Но грубость тона хоть и с опозданием, но все же дошла до меня, и я отбросил эту гипотезу.

Скоро стало понятно (по фразам, которыми они перебрасывались), что эта женщина и парни хорошо знакомы друг с другом и проходят по одному делу. Сейчас их везли в суд, причем не первый раз. И «бойцы вспоминали минувшие дни», перебирали различные эпизоды прошедших заседаний. В основном свои лихие ответы. Процесс, видимо, был сенсационным. Тогда милиция везде ликвидировала банды типа «Черной кошки» — это, видимо, была одна из них. И им льстило внимание прессы и публики — они чувствовали себя актерами популярного спектакля. С удовольствием вспоминали, как один из них, парень с вполне располагающей внешностью — я не сразу заметил, что он в наручниках, — объявил «гражданам судьям»: «дайте боль-

* Наручники эти, свирепо сжимавшие запястья при каждом резком движении (или если потянуть за кольцо) и уже не отпускавшие, усиливавшие давление при новых попытках, применялись из предосторожности при этапировании особо опасных преступников. В МГБ они иногда применялись и для пыток.

ше, шлите дальше!» Потом я узнал, что это стандартная формула, бытующая среди урок для выражения лихости — когда уже терять все равно нечего. Судя по всему, выворачиваться этому парню было уже поздно.

Мои товарищи, быстро сообразив, с кем имеют дело, на вопрос, по какой статье сидят, опять ответили, что по 59/3. Впрочем, особого впечатления это не произвело — сами были с усами. Никак не отреагировали они и на мою «суперфраерскую» 7/35. Может, потому, что она была им внове. Но вообще были они тогда заняты только самими собой. Но говорили и о своих перспективах, кому сколько дадут. Насчет парня с располагающей внешностью все сошлись, что получит он все двадцать пять.

— Да, меньше не получится, — согласился он со скромным достоинством.

— Да... Меньше не дадут, — подтвердил кто-то из его товарищей. — Это раньше дали б вышку и заменили б десяткой. А теперь смертной казни нет — теперь как пить дать дадут двадцать пять.

— Да, раньше могли, — согласился виновник торжества. — А теперь смертную казнь отменили — дадут на полную катушку.

И покачал головой. Не очень, впрочем, огорченно...

По-видимому, симпатичный этот парень был душегубом — иначе откуда такая уверенность в том, что он получит максимум? Впрочем, душегубами были и его товарищи, но в меньшей мере. Парень этот в каком-то смысле чувствовал себя человеком, защитившим докторскую — его преступление и срок гарантировали ему теперь высокое положение в у́рочьей иерархии. У них ведь тоже была своя номенклатура.

Вдруг женщина забеспокоилась и запричитала:

— Петя!.. Петенька!.. Что ж это будет... Как там Вера одна осталась!

Оказалось, что она была матерью одного из этих парней, а дома осталась его сестра. Сыну, однако, эта вспышка обыкновенной материнской тревоги пришлась не по душе.

— Молчи, такая-сякая! — грубо, грязным матерным определением остановил он мать, и та растерянно затихла. А ведь воровским песням свойствен сентиментальный культ матери. Но я тогда не думал об этом несоответствии, а про-

сто смотрел во все глаза. Впрочем, эти песни здесь ни при чем. В них мать выступает как символ и память о доблатной нормальной жизни сына, еще не затянутого в омут «несчастной воровской жизни». А здесь мать была подельницей — такого песни не предусматривали. В чем заключалось ее соучастие — в хранении ли награбленного, в том ли, что содержала «малину», наконец, участвовала ли она в этом предприятии только из жалости к сыну или от нужды соблазнилась — я не знаю. Но никто в этой компании не выдавал себя за невинно пострадавшего, и она тоже. Только выглядела она при этом несчастной и заискивала. Перед всеми. И перед сыном тоже.

Подъехали к суду. Видно нам через решетку в двери было мало, но чувствовалось, что милиция готовилась к высадке наших спутников как к боевой операции. Раздавались голоса, команды, оттеснялся народ. Выводили по одному. А к двери в это время рвались родственники и друзья. Нет, это не было старорусским отношением к «несчастливым». В голосах чувствовалась не только забота, но и гордость причастности к таким парням. И я не поручусь, что эти гордящиеся сами не принадлежали к блатной «хевре».

Я и теперь не понимаю их дерзкого поведения на суде. Это было нечто новое — ведь до революции урки речей такого рода не произносили — стремились вывернуться, и все. А эти вели себя так, словно соблюдали ленинские «правила поведения пролетарского революционера перед буржуазным судом». Революционеры эти тоже были преступниками, тоже воевали с обществом, у них тоже была своя частная «партийная» мораль (и объективно они были даже более опасны для людей и общества, чем мои спутники), но многие из них и впрямь полагали, что не самоутверждаются, а несут человечеству счастье.

А что наполняло гордостью этих? И их поклонников? Полное презрение к официозной морали, выдаваемой за общественную? Та «жизненная практика», о которой я говорил в связи с «торгашами»? Не знаю. Все смешалось в доме Облонских!

Я не сознавал, но чувствовал, что границы блатного мира явно размыты. Как мог заметить читатель, многое я тогда не сознавал, но чувствовал. Думаю, что это вообще черта советских людей сталинской эпохи — честных и нечест-

ных, дурных и хороших — жизнь они все по разным причинам больше чуяли, чем осознавали.

Но тогда я об этих случайных спутниках почти не думал. Только почувствовал, что после того, как их увели, исчезло напряжение и стало легче дышать. Моим товарищам, хорошо знавшим эту публику, тоже.

— Видел, как он с матерью... Бандиты, — вздохнул один из них.

Но мне было не до этого — я торопился на пересылку, а оттуда на волю, в этот город, куда был вроде выслан. Я представлял, как я скоро буду ходить по его улицам, и ликовал. Только напрасно... Скажу наперед, что в этом городе я так никогда и не побывал, если не считать этих двух проездов в «воронке» и потом трех кратких пребываний на перроне его вокзала. Но я этого еще не знал и ждал свободы.

Наконец мы прибыли. С нашим прибытием на пересылку связано у меня еще одно не совсем ординарное впечатление, как-то перекликающееся с предыдущим. За проходной (похоже, в промежуточном дворике перед другими воротами) мы почему-то задержались, и с нами приветливо заговорили чего-то тоже там ожидавшие мальчик и девочка, по виду и проявлениям вполне городские. Обоим было по четырнадцать лет, но были они уже зэками — получили по пятнадцать. К сожалению, отнюдь не за политику, то есть не «ни за что». А в этом случае пятнадцать лет — тем более подросткам — просто так не давали и тогда. Только за серьезные дела. За ними наверняка было участие то ли в крупной воровской операции, то ли в коллективном ограблении. Может быть, даже были связаны с нашими случайными спутниками. Они тоже не жаловались на несправедливость, не стремились вызвать сочувствие или жалость. И лица у них были детскими, трогательными. Конечно, все поражались сочетанию их возраста со сроком (сидеть им предстояло дольше, чем они жили до тех пор), но они, казалось (а может, и на самом деле), были только довольны производимым впечатлением. Довольны без вызова и лихости, а как-то тоже по-детски. И вообще они не испытывали от своего положения никакого неудобства. Чувствовали себя как бы в начале интересного приключения. Какой же должна была быть их нормальная жизнь, чтоб их так не страшила и даже привлекала жизнь воровская и тюрем-

но-лагерная? И что их ждало, Господи? В тот момент они вызвали у меня сочувствие и симпатию, но я не знаю, были я прав. Безусловно, и они были симптомом общего неблагополучия, но ведь не на всех это неблагополучие отражалось так, не оборачивалось веселым решением отыгрываться на других... У меня до сих пор нет четкого ответа на этот вопрос. Но это сегодняшние мысли. Тогда это только запало в душу и ушло в запасник.

Тогда у меня было о чем думать. Вопреки ожиданию, никто не торопился меня выпускать. Об этом даже и речи не возникло. Просто явились надзиратели, и нас — меня и двух моих товарищей — как ни в чем не бывало отвели в обычную пересыльную камеру. Правда, отвели к «своим» — к «пятьдесят восьмой», среди которых было немало и таких же ссыльных, как мы. Но — в камеру. Мы все равно оставались экамами.

Мое пребывание в этой камере особых впечатлений в душе и памяти не оставило. Встречи, как я уже писал, перепутались со свердловскими, и я о них уже рассказал. Остальное стерлось. Все мое внимание было поглощено тем, когда, а потом и куда меня выпустят.

Несколько дней я томился в неведении. Потом началось оформление. И тут меня и ожидал удар. Назначенных в ссылку после лагеря и «повторников» стали вызывать по одному и, не говоря худого слова, оформлять на жительство в какой-то дальний Михайловский район. Это было тревожно, но я утешал себя тем, что у меня все же особый случай — все же я был не ссыльный, а только высланный из Москвы, сам добровольно выбравший место поселения (как все же идеологически близкий, что для меня еще имело значение). Но вот вызвали и меня. И стали как ни в чем не бывало оформлять туда же — в общем порядке. Ссыльных в Новосибирске не оставляли, а насчет высланных у старшего лейтенанта, оформлявшего эту партию ссыльных, не было никакого представления и никаких инструкций. Как не было в этой партии (и в других тоже) и самих высланных, кроме меня. Я был обескуражен такой простотой административных нравов, но все же не очень. Притерпелся. В Свердловске нас задержали на месяц так же просто.

Потом я понял, что мне повезло. Если бы мое дело выделили из общего потока, оно бросалось бы в глаза, на

него обратили бы внимание, а опыт подопечных МГБ гласил, что обращать на себя внимание ни в коем случае не рекомендуется — возрастает вероятность того, что опять прихватят. Но, слава Богу, старший лейтенант на мои доводы обратил не больше внимания, чем на жужжание комара. Только сказал, что, прибыв на место, я смогу подать заявление о перемене места поселения. Я этого не сделал. Впрочем, когда по истечении срока меня отпустили (ссылных оставляли «навечно»), я рад был только самой возможности освободиться, сорваться с прикола — идеологическая близость режиму меня уже не интересовала.

Но до возвращения из ссылки еще далеко. Пока я еще только туда еду, только «приближаюсь к месту своего назначения».

Отбыли мы из Новосибирска 13 октября 1948 года. Произошло это просто и буднично. Нам выдали вещи (на пересылках, как во всех тюрьмах, их держали отдельно от нас в камере хранения), свели в какое-то одно помещение, провели переключку, и тот же старший лейтенант вывел нас за ворота. С этой минуты он стал нашим поводырем, гидом, начальником — как хотите называйте, — но не конвоиром. Конвоя не было. И хоть ехал я не туда, куда надеялся, туда, где, как я полагал, ничего хорошего меня не ждало, это было очень приятно. Мне. А тем, кто под конвоем провел десять лет с довеском «до особого распоряжения» (каковым и стала эта «вечная ссылка»), — о них и говорить нечего. И мы гурьбой пошли за лейтенантом на вокзал. Пешком — благо было недалеко. Ехали мы в бесплацикартном, но классном вагоне по обыкновенным билетам, что с отвычки многим тоже было радостно.

Утром эта робкая эйфория кончилась. Мы выгрузились на маленькой станции Кожурла, недалеко от Барабинска, и оказались в царстве абсолютной нищеты. Где-то в маленьком станционном здании, как потом выяснилось (где — сейчас и представить не могу), помещались почта и телеграф. Больше там ничего не было, только рядом со станцией какая-то избушка с огородом. Денег у меня не было совсем, кто-то, у кого их тоже было в обрез, дал мне денег на конверт и марку, и я послал маленькую весточку родителям — с адресом, по которому мне можно было теперь писать: дер. Чумаково Новосибирской области, до востре-

бования. Чумаково было районным центром Михайловского района, в который мы были направлены. До него отсюда было всего сорок километров. Правда, нелегких, как мы вскоре убедились. Сюда за нами должны были прислать транспорт. Транспорт задержался, но прибыл зам. начальника районного отделения МГБ ст. лейтенант Патрушев, человек приветливый и словоохотливый и, в общем, насколько позволяла его должность, неплохой.

Он вовсе не был глуп, но почему-то обратился к нам с речью примерно такого содержания:

— Товарищи! Многие из вас долгие годы были в изоляции — искупали свою вину перед Родиной. За это время страна и в экономическом, и в культурном отношении шагнула далеко вперед. Вы не узнаете ее, вам на первых порах будет трудно приспособиться к этому уровню. Но мы надеемся, что вы эти трудности преодолете.

Но транспорт, несмотря на этот возросший уровень, все не прибывал, и было решено идти ему навстречу. И «возросший экономический уровень» показал себя в первой же деревне. Когда-то крепкие пятистенные сибирские избы в большинстве своем теперь выглядели так: одним торцом вместе с полом они были задраны высоко в небо, как зенитки, а другим зарылись глубоко в землю под самую крышу. Крыши были земляные, поросшие травой, и на них, как на пригорках, паслись козы, а то и коровы. В следующей деревне было то же самое.

Хочу предупредить, что даже тогда далеко не все деревни в тех местах имели такой вид. Но первые две, которые нам встретились, выглядели именно так. Веселья это никому не прибавило. Особенно после просветительной беседы старшего лейтенанта.

Но я не сдавался. Через очень короткое время я написал стихи под названием «Барабинская степь», которая передавала впечатления от первой встречи с этими местами:

Неброское великолепье
России — вошло в мою душу.
Я еду Барабинской степью,
Которую скоро осушат.

Вокруг тишина и свобода.
И сам ты становишься тише.
...Как будто бедна здесь природа,
Но мощь в этой бедности дышит.

Где мощь? Где ты встретился с нею? —
Товарищ мой рядом смеется.
Поля... И полями чернеет
Кустарник на скрытых болотцах...

Ответом смущенный немного,
Я, сбившись, на миг умолкаю.
...Идет горизонтом дорога,
И нет ни конца ей, ни краю...

Они передают мое странное и противоречивое впечатление от этого похода-поездки. С одной стороны, мне очень хотелось видеть вещи не только в мрачном свете, на что настраивало буквально все вокруг, с другой — что-то ведь и было вокруг такое, что настраивало на прятие. Может быть, из-за этой противоречивости я и не пытался до сих пор опубликовать эти стихи.

Погрустневшие, переговариваясь тихо (чтоб начальники не слышали): «Ничего себе, возросший уровень!» — плелись мы по дороге среди этих полей с болотцами. Какие-то поля были зелеными, несмотря на позднюю осень, — мне объяснили, что это озимые. Я никогда до этого их не видел.

Кажется, вскоре после второй деревни транспорт все же появился. Нас подобрала высланная из района машина. По тряской и хлюпающей дороге она через некороткое время доставила нас в центр Чумакова, к районному клубу, которому предстояло стать нашим временным пристанищем. Как я теперь, много лет спустя, понял, клуб этот находился в здании церкви. Но за все два года жизни здесь мне никто не удосужился об этом сказать — никого это не интересовало. Меня тоже. Особенно в день приезда.

Я не знал, куда себя девать, и вышел на крыльцо. То же сделали несколько других новоприбывших. Переговаривались, делились впечатлениями. Был уже вечер, огни в избах горели тускло — электричество в райцентре появилось позже, уже при нас. Вокруг шла какая-то жизнь, появлялись редкие прохожие, с любопытством взглядывали на нас и проходили. По своим делам. У нас дел пока не было. Но вот подошел высокий строгий человек и представился: инженер Григорий Григорьевич Головин (из тех Головиных, как я узнал не от него), поздоровался, сообщил, что он тоже ссыльный, но с предыдущего этапа. Оказалось, что мы не первые. Работал он здесь главным инженером райкомхоза.

— Вам будет легче, — сказал он, — потому что вы приехали вторыми, после нас. Но и мы были не первым этапом, до нас сюда пригнали этап урок, отсидевших по 593. Местные не знали, с кем имеют дело, пустили их на квартиры, но дня через два они обокрали всех, кого могли, в том числе квартирных хозяев, и исчезли. А чего им не бежать? Нет паспортов? Но для них ведь это не препятствие. Из-за них наш этап встретили плохо, не верили, что мы не урки: «Знаем мы вас!» На квартиры пускать не хотели. Теперь немного попривыкли — вам будет легче.

Кое-что он рассказал и о возможностях устройства, о «фронте работ». Облегчения это мне не принесло. В главные и прочие инженеры я не годился, в бухгалтеры или плотники — тоже. А больше ничего тут не было. Выходило, что я просто не прокормлюсь.

Мысли мои были невеселые. И вдруг в дополнение ко всему я вспомнил, что сегодня 14 октября 1948 года. Начало моего пребывания в ссылке совпало с моим двадцать третьим днем рождения. И стало еще тяжелей. Но отчаяния, сколько помнится, все же не было. Молодость есть молодость. Жить все равно хотелось, и я все равно верил, что буду жить. Только неясно было как.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЧУМАКИ

В сибирской глубинке

Начало

Читавшие предыдущие части этой книги знают, что в деревне мне бывать приходилось и до этого. В уральской, куда я летом 1942-го был направлен с авиазавода во время уборочной, и в ярославской — туда меня поздней осенью 1944-го направили из Подлипок на уборку картофеля. И там, и там я провел по нескольку дней, после чего меня отправляли назад — «за невозможностью использовать». Теперь тоже стояла поздняя осень (Сибирь все-таки), но «отпустить» или «направить» меня отсюда никто не мог — разве что в лагерь. Но этого, слава Богу, никто не сделал. В прошлые разы я был временным, пришлым, представителем иной, по выражению К.Симонова, «праздничной» (пусть за войну и оголодавшей) жизни, а здесь мне самому предстояло стать постоянной частью этого деревенского, отнюдь не праздничного мира. Но я забежал вперед. Мир этот увидится и осознается мной потом, а пока я еще не представляю ни людей, ни условий их жизни, ни даже их положения в государстве.

Я еще вообще не представляю, как буду жить. Но на следующее утро назначено распределение, а я советский, да еще книжный человек, и все еще немножечко верю в разумную распорядительность государства. Хотя мистика эта поддерживает меня слабо — при любой разумности и доброжелательности, раз меня уже сюда заткнули, куда меня здесь девать?

Но вот настает распределение. Происходит оно в помещении райотдела МГБ. Вокруг его временного начальника, старшего лейтенанта Патрушева (начальник, капитан Ко-

шелев, был в это время на курсах повышения квалификации), сидят крепкие люди в грубых, но добротных пиджаках — и я сразу понимаю, что это руководители учреждений и предприятий района, пришедшие отобрать для себя нужных им людей. Коля-финн на вопрос о профессии с достоинством отвечает: «Повальщик», и лица присутствующих освещаются улыбкой:

— Ну, конечно... Финн... Природный лесоруб.

И его тут же зачисляют в Крещенский леспромхоз — самый крупный промышленный объект Михайловского района, размещавшийся в селе Крещенка. Туда зачисляют большинство новоприбывших.

Я вызываю всеобщее любопытство — такие птицы сюда еще не залетали. А когда я отвечаю на предложение ехать в леспромхоз фразой (услышанной от кого-то в тюрьме), что использовать меня в качестве лесоруба все равно что балалайкой гвозди забивать, это вызвало всеобщий восторг и даже сочувствие. Но реализовать свое сочувствие в границах района было невозможно. Естественно, представители районной газеты (органа райкома и райисполкома) на это совещание работодателей приглашены не были. Впрочем, я за два с лишним года не видел ни одного ее работника и не слышал ни про кого, что, дескать, он там работает. Может, ее там вообще не было, но нет, была, я ее вроде видел. Впрочем, я был весьма далек от тех узких кругов (совпарт-актива), в жизни которых она могла что-нибудь значить. Но о местной жизни — потом. Пока же важно для меня то, что вопрос о моем трудоустройстве остался открытым.

Записавшиеся в леспромхоз все или частично по каким-то не то организационным, не то погодным причинам не могли быть тут же туда отправлены. Им (входил в эту группу и «потомственный лесоруб» Коля-финн) предложили пока поработать в колхозе на молотье — обещали хорошо кормить. К ним добавили и пока не трудоустроенного меня: «вернешься — разберемся». С этим напутствием на следующее утро я «с группой товарищей» выехал на грузовике в деревню Кульча. Возглавлял всю команду вахтер МГБ, сержант-фронтоник Миша Зонов.

Заниматься этимологией по поводу его фамилии, выводить ее из «зоны» не стоит: половина Чумакова — Зоновы. Но о нем и двух его родственниках, тоже работниках МГБ:

конюхе дяде Васе Непомнящих и его жене, уборщице тете Паше, в свое время. А сейчас важно, что я временно покинул Чумаково и выехал в неизвестную мне Кульчу.

Кульча. Колхозные страды

Подъехали мы прямо к правлению кульчинского колхоза. Председателя на месте не было. Пока его искали, бухгалтер, местный грамотей и читатель газет, завел с Мишей беседу о международной политике, то есть о том, что об этом писали газеты (надо думать, о кознях Америки). Миша, которого бухгалтер дипломатично именовал «товарищ сотрудник», будучи не очень силен в этих «высоких» материалах, с приличествующим видом отмалчивался и поддакивал. Но бухгалтер все равно пел соловьем, ему нравилась умственность этого разговора и собственная посвященность в то, о чем он имел представление только по газетам. Думаю, что от разговора с «товарищем сотрудником» на более близкие и знакомые ему темы бухгалтер скорее всего уклонился бы. И дело было не только в осторожности, просто это были вещи, понятные всем вокруг и как бы умственности не требовавшие, говорить о них было неинтересно, а газеты, общавшие к этой умственности, читал только он (большинству его односельчан было не до Америки), и ему было приятно блеснуть перед понимающим человеком. Бухгалтер был не так глуп, но, как и многие, он был своеобразной жертвой «культурной революции в СССР». В этих людей заронили тягу к культуре, но в их протянутые руки регулярно клались камни. Разумеется, тогда я так не думал — мне было даже приятно: человек вырос и живет в глуши, а мыслит правильно, то есть так, как и я изо всех сил стараюсь мыслить. Впрочем, излагал свои соображения бухгалтер недолго — явился председатель.

Обрадовался он нам как родным — видать, ему крепко намылили шею за невыполнение графика госпоставок, а выполнить его он не мог — для этого требовалось зерно, а его не было. Неомолоченный хлеб стоял в скирдах, а для того, чтобы намолотить его в достаточном количестве, не хватало людей. Он лично повел нас к пустовавшей, но еще не разваливавшейся избе, отведенной нам под общежитие,

а потом привел в другую и познакомил с милой, приветливой женщиной, ее хозяйкой. В этой избе нам предстояло питаться три раза в день, а этой женщине нас кормить — быть нашей поварихой. Чтобы больше к этому не возвращаться, скажу, что все три раза нас кормили хорошо и вкусно — с мясом. Думаю, что настоящие колхозники так не питались. Так что в каком-то смысле нашей милой хозяйке повезло — по случаю этого аврала смогла подкормиться и она с маленькой дочерью. Но доброжелательна она была не поэтому, а по свойству натуры. Продукты ей для нашего пропитания выписывались щедро. Видимо, председатель понимал, что без этого от людей, ослабленных тюрьмами и этапами, настоящей работы не дождешься. Забегая вперед, скажу, что настоящей работы он все равно не дождался, но произошло это не по нашей вине. О чем — чуть позже.

Сытно поужинав, мы вернулись к себе и стали располагаться на ночь. Изба, отведенная нам, как и весь порядок, стояла если не на самом берегу озера, то вблизи него. От этого и название деревни — Кульча (Куль по-татарски — озеро). Кстати, в этой деревне, да и во всем районе, немалую часть населения составляли татары. Но они были мало заметны, ибо по-русски говорили так же, как все остальные деревенские. Познакомился я в Кульче с юношей татарин, тяготевшим к культуре и очень любившим русские народные песни. Я поначалу и не знал, что он татарин, пока он не стал диктовать мне свой адрес — уж слишком эти песни звучали в его устах как свои, неотрывные от его существа. Кстати, от него я впервые услышал «Одинокую гармонь» Исаковского, появившуюся, видимо, когда я сидел в тюрьме. В общем контексте — правда, с некоторым удивлением — я и эту песню принял за народную.

Но это к слову. Остановился я на том, что мы начали располагаться в отведенной нам избе. Размещались, естественно, на полу — никакой мебели в избе не было — и стали, как говорится, травить баланду. Другими словами, «начались у нас подначки да байки» — никто так много не смеется, как арестанты и лагерники. Между тем начало быстро темнеть, окна почернели, наступил вечер. И вдруг я осознал, что из-за озера уже некоторое время доносится какое-то протяжное тоскливое завывание. На мычание коров, за которое я его случайно принял, оно похоже не было.

Оно меня тревожило, но я не особенно старался угадать, что это означает. Мало ли что — я ведь вообще не привык к сельским звукам. Но кто-то вполне буднично сказал мне: «Слышишь? Это волки!» — и я сразу узнал волчий вой. Узнал, хоть услышал его тогда впервые. Он был очень похож на все его описания, которые мне приходилось читать. Должен вслед за всеми сказать, что ничего приятного в нем нет. Приятно было только то, что нас от этого воя отделяло широкое озеро и крепкие стены избы. Это придавало нашему пристанищу ощущение человеческого уюта и защищенности цивилизацией, хотя бы в том виде, в котором она существовала в этой глухомани.

Только подумалось: да, мы в Сибири. И вспомнилась реакция Филиппо на слово «Сибирь» (кто-то из сокамерников как-то предрек ему полушутя: «Поедешь в Сибирь — там увидишь»):

— Сибир... Сибир... — пробормотал он, напряженно что-то припоминая. И внезапно вспомнил: — Сибир!. Там... Там... Лупо!

И глаза его расширились. Вероятно, «лупо» были для него существами из страшных сказок о диких странах.

Что ж, так оно и оказалось — только ничего сказочного. Вокруг Сибирь, а за озером — «лупо».

Наши трудовые будни, а заодно и близкое знакомство с трудовым энтузиазмом советских колхозников, начались на следующее утро. Ровно в пять, когда за окнами еще было темно, а вся деревня мирно спала, нас разбудил стук в окно и доброжелательный голос председателя:

— Подъем, ребята! Собирайтесь.

Собраться нам было просто, мы ведь и спали одетыми. Мы быстро вскочили и, кое-как приведя себя в порядок, поплелись к нашей «столовой». Так повторялось каждое утро. По-моему, там мы и умывались. Завтрак, горячий, вкусный и сытный — суп с лапшой и с мясом, — был уже почти готов. Ели мы не торопясь, с удовольствием — ведь все, кроме меня, были недавними лагерниками, отсидевшими свои «червонцы» и почти забывшими вкус домашней пищи. А хозяйка наша готовила хорошо, по-домашнему — иначе не умела. Мне тоже после тюрьмы и пересылок эта пища была очень кстати. Да и вообще — без всяких пересылок — кто бы в нашем общежитии, даже из тех «богачей», кто получал из дому посылки с сушеной картошкой,

не обрадовался бы такому высококалорийному, вкусному, да еще трехразовому питанию? Мы были искренне благодарны председателю и нашей кухарке. Не скажу, что нами от этого овладел трудовой энтузиазм, но желание отблагодарить работой было. Особенно в первый раз. Потом по причинам, от нас не зависящим, оно сменилось индифферентностью. Однако расскажу по порядку.

Наши рабочие впечатления начались с того, что примерно в начале седьмого снова появился председатель и повел нас на ток. Для тех, кто этого не знает (а я был именно таким), ток — это как раз то место, где молотят хлеб — раньше вручную цепями, а теперь при помощи молотилок и комбайнов. Но когда мы туда пришли, ток — он был расположен недалеко, почти сразу за околлицей — был пустынен и вид имел нежилой. В лучах морозного рассвета одиноко стыли комбайн (его использовали как молотилку) и трактор, который должен был приводить весь агрегат в движение. Но сейчас казалось, что он никогда не работал. Во всяком случае, никогда не заработает. Было минимум половина седьмого. Председатель смущенно потоптался.

— Ничего, ребята! Колхозники сейчас соберутся, — произнес он бодрым тоном. И добавил: — Ну я пойду, а то делов по горло.

И зашагал к деревне.

Однако кохозники не спешили собираться — ни один не попался ему навстречу, пока он не скрылся из глаз. Мы остались на току одни. Делать нам было абсолютно нечего. Мало-помалу мы стали зарываться в копны — досыпать. Колхозники по одному начинали собираться ближе к девяти. И так было каждый день. Но в нашем распорядке ничего не менялось. Председатель по-прежнему как ни в чем не бывало будил нас в пять утра, и по-прежнему приблизительно в то же время мы являлись на пустынный ток досыпать. Только что без сопровождения председателя, поскольку теперь и сами знали дорогу. Энтузиазм от этого появиться не мог.

Зачем председатель будил нас так рано, для чего и сам вставал ни свет ни заря, я не пойму, наверное, уже никогда. Демонстрировал этим, что у него все с утра пораньше рвутся на работу — так жаждут быстрее «выполнить долг перед государством» и «засыпать хлеб в закрома Родины»? Вряд ли. Да и перед кем? Был там, правда, уполномочен-

ный райкома Завьялов (служащий из райцентра, мобилизованный в качестве «толкача»), но он занимался реальными делами (толкал хлебосдачу) и вообще ощущался как толковый организатор — такие демонстрации его не интересовали. Так в чем же дело? Я думаю, председатель просто привык безуспешно требовать трудовой дисциплины и на нас отводил душу. Все же мы были компактная и дисциплинированная группа: разбудил, встали, поели и явились на рабочее место. Ведь положение его было очень непростым. Непросто каждый день заставлять людей делать то, что им делать не хочется. В первый еще день я был свидетелем такого диалога на сельской улице (только имена, употребляемые в нем — вымышленные, подлинных я не помню).

Я стоял рядом с председателем. Он был настроен весьма благодушно и разговаривал с нами о чем-то интересном, но вдруг углядел колхозницу с ведрами на коромысле — та ничтоже сумняшеся переходила улицу.

— Мария, ты что?

— А что? — поинтересовалась Мария не без некоторого вызова.

— Как что? На работу чего не выходишь?

— Так видишь же — постирушкой занята. А то дети только что не завшивели.

— А вчера почему не вышла?

— Яйца в Чумаки на базар возила. А то денег совсем не стало, а детям в школу идти.

— Ой, дожدهшься, Мария, соберем собрание и вышлем тебя отседа.

Тогда — короткое время — действовала такая практика. Нерадивых колхозников, не выработавших достаточного количества трудодней, можно было решением колхозного собрания выслать куда-то подальше из родной деревни. Так что угроза была реальной. Но Марию она нисколько не испугала. Наоборот, вдохновила.

— Что? — чуть не взвизгнула она. — Вышлешь? — и голос ее приобрел оттенок сарказма. — Сделай милость! Вышли! Нинку Завьялову ты выслал, а с неделю назад Верка ихняя письмо от нее получила. Пишет: «Живем в городе Хабаровским, рабочий день — восемь часов, получаем шестьсот рублей в месяц. Спасибо председателю — век за него буду Бога молить». Давай высылай!

Председатель только крикнул — что он мог на это возразить? Попытался перевести разговор на скабрзные темы: стал объяснять ее пыл отсутствием мужика, предлагать ей для утешения какого-то местного калеку, который, дескать, на нее засматривается (а засматриваться было на что). К этой теме она отнеслась серьезней, это была реальная проблема.

— Да нет, он же никуда.

— Ну и пусть никуда. Мужиков-то нет. Сиську погладит, и то хорошо.

На это она не ответила. Это была обидная правда, но грех было над этим шутить, не говоря уже о том, что эта незаслуженная обида многих баб, особенно деревенских (но не только), была историческим несчастьем всей страны. Но председатель (тем более тогда) так думать не умел (как, впрочем, и я), он просто таким путем вышел из неудобного положения. Сталинское государство вышло из него еще проще. Но об этом — позже.

А пока вернемся к нашему первому трудовому дню в колхозе. Как я уже отмечал, колхозники по одному начинали появляться ближе к девяти. Разводили маленький костер, грелись, разговаривали, пели, пекли и ели принесенную из дому картошку. Все это было хорошо и интересно, но не было работой. Примерно в полдесятого кто-то вспоминал, что было бы все же не худо и поработать. Народ живо откликнулся — действительно, раз явились, то надо и честь знать. Но некоторое время раскачивались. Потом, когда дело было около или чуть больше десяти, трактористка Шура, крепкая и широкая в кости, но вполне женственная девушка лет двадцати, подходила к трактору, и начиналось действие. Трактор был ХТЗ. В просторечии имя этого первенца пятилеток расшифровывалось как «Хрен, товарищ, заведешь», и расшифровке этой он соответствовал. Заводился он вручную. Шура вставляла ручку в отверстие стартера и начинала ее вертеть рывками и плавно, мотор не реагировал. Впрочем, иногда он начинал фырчать, но тут же замолкал. Шура, почему-то стеснявшаяся при мне материться, — это в ней проявилось как-то сразу, не выдерживала и обзывала трактор всякими нехорошими словами. В том числе и «Ах ты, б-ский рот!» Потом, в хорошую минуту, когда травили баланду, я подходил к ней и спрашивал невзначай:

— Шура, а какой у трактора рот?

Она смущалась. Хорошая и трогательная была эта высокая и сильная девушка.

Но вернемся к первому дню. Шура долго пыталась завести свой ХТЗ и в конце концов устала, и за ручку стали хвататься мужики. Результат был тот же. Но в конце концов через час-полтора трактор завелся, и началась горячая работа. Однако минут через сорок, приблизительно в половине первого, трактор замолк. Наступило время обеда. И все разошлись по домам. Мы тоже отправились к нашей кухарке. Пообедали, поточили лясы (для отдыха) и часам к двум вернулись на ток. И повторилась та же история. Ток был теперь ярко освещен предзимним негреющим солнцем, но на нем, как и в утреннем полумраке, не было ни души. Колхозники понемногу собрались только часам к трем, и через некоторое, тоже немалое время Шура начала заводить трактор, он по-прежнему сопротивлялся, по-прежнему ее сменяли мужики, в том числе и наши. Между тем быстро темнело, и когда трактор завелся, оставалось для работы максимум минут сорок. Должен признаться, что мой ретроспективный хронометраж рабочего времени поневоле «лакировочен». На самом деле мы в целом работали даже меньше, чем те восемьдесят минут (т.е. один час двадцать минут) в день, как у меня теперь получилось. Подводит память — все выглядело еще фантастичней.

Но и так, как описано выше, бывало только при самом благоприятном стечении обстоятельств, а его почти никогда не бывало. Чаще всего после того, как с таким трудом заводили неизменно сопротивляющийся трактор, вдруг раздавался чей-то изумленный возглас. Например:

— Воды!.. А где вода?

Воды — не для питья, а для охлаждения мотора — не было. О ней вовремя не позаботились. Начиналась перепалка — выясняли, кто именно сегодня должен был обеспечить трактор водой. Обычно выяснить это не удавалось, кто-то запрягал быков и отправлялся к далекому колодцу за водой. Минут через сорок воду привозили, и опять начинали заводить трактор. Тем же порядком. Иногда на месте не оказывалось самих быков. Обнаруживалось это почему-то только после того, как трактор наконец заводился и надо было приступить к работе. Но работать было невозможно. Быки были необходимым элементом высокомеханизированного процесса молотбы — с их помощью отгребали

солому от неподвижного (используемого только как молотилка) комбайна. Конечно, когда комбайн, как ему положено, двигается и одновременно убирает и обмолачивает хлеб, ему никакие быки не нужны: солома разбрасывается по полю, и отгрести ее не нужно. А когда стоит — если не будет быков, он будет сразу завален соломой.

За быков отвечали мальчишки-подростки. Накануне они отпустили быков пастись по жнивью и теперь начинали спорить, чья очередь сегодня вовремя пригнать их.

— Не я! Я позавчера их ловил.

— А я вчера!

Виновный, естественно, не обнаруживался, но всем уже было не до того. Путем опроса выясняли, кто, где и когда последним видел этих быков пасущимися, и спорящих вместе отправляли на розыски по всей окрестности. Набегавшись, они этих быков находили и пригоняли. Уходил на это опять целый час, если не больше. И опять начинали заводить ХТЗ.

Но тяжелее всего бывало, когда трактор неожиданно останавливался из-за того, что вдруг кончился бензин. Это было упущением правления — Шура вряд ли сама умела рассчитывать расход топлива. Теперь надо было спасать положение. Уполномоченный Завьялов (он был энергичным человеком и хорошим организатором, но чему это могло помочь?) бежал в правление, запасался документами и лошадью и отправлялся на МТС. Бочку бензина он привозил, но до того момента, когда Шура опять начинала крутить ручку стартера, уходило часа два, не меньше.

Иногда эти накладки сменяли одна другую в один и тот же день. Но поразительно другое. Независимо от того, были ли накладки и сколько их было, пятьдесят — восемьдесят минут полезного времени было как бы нашей нормой. Ниже нее мы не опускались и выше не поднимались. Только один день — последний — отличался от этой схемы, работали много и жарко, и ничего у нас не портилось. Видно, азарт конца передался и механизмам. И мы кончили молотить. Правда, кончали мы молотить только для хлебосдачи, а для себя — на трудодни и семена — колхозники могли молотить дальше и сами. Тут жестких сроков не было.

Что делал там я? Честно сказать — не помню. Подавать на вилах снопы я вряд ли бы мог, во всяком случае, долго. Видимо, я подносил их. Кажется, водил и быков. Переры-

вы на работу были столь краткосрочны, что такой каприз памяти неудивителен. Из моих чисто сельскохозяйственных впечатлений от деревни Кульча у меня осталась только фантастическая организация работ, общее впечатление от бывших со мной рядом колхозников (конкретно помню только Шуру), а о себе самом почти ничего не помню.

Была ли такая «работа» сознательным саботажем? Я говорю не о ссыльных — ссыльные были не прочь благодарно отработать хорошую кормежку, да и кто бы с их опытом стал теперь искать новых (лагерное выражение) «приключений на свою задницу» — тем более по такому мелкому поводу, как хлебосдача захудалого колхоза. Не говоря уже о том, что все эти люди вообще не были политиками, что политика только была им «пришита». Нет, я говорю о работе местных колхозников, так сказать, полноправных советских людей, от которых, кстати, зависела и наша работа. Уверен, что они и в голове не держали никакого саботажа. Он получался у них сам собой, стихийно — просто не очень хотелось работать, ибо труд этот был принудителен и почти не имел для них смысла — при любом старании не сулил ни достатка, ни улучшения жизни. Так что лучше было не стараться, а беречь силы для своей, домашней, единственно важной и осмысленной для них работы. Им все время трубили про их долг перед Родиной. Во время войны слова эти что-то значили и для них, не говоря уже о том, что у всех на фронте были сыновья и мужья. Но война кончилась три года назад, и теперь это важное слово превратилось в звук пустой, в обычное пустословие начальства, на которое не надо возражать, но лучше пропускать мимо ушей. Кто их мог научить долгу? Кто руководствовался хотя бы подобием долга перед ними? Никто. И это они видели — даже те, кто не формулировал, это ясно ощущали.

Товарищ Сталин, по-видимому, был бы не прочь сохранить напряженность и самоотдачу военного времени на долгие годы — для исполнения своих величественных планов. Но люди хотели жить. Правительства всех стран — и победительниц, и побежденных — признавали, да и не могли не признавать за своими народами это право, даже руководствовались этим в политике. Но на народы нашей страны, которые имели счастье жить под водительством Сталина, это не распространялось. Даже сам Л.М.Каганович, раболепие которого не только перед живым «гением», но и

перед его исчезнувшей тенью было вне конкуренции, потом говорил Феликсу Чуеву (Феликс Чуев «Так говорил Каганович»), что, конечно, в период войны и восстановления от народа требовались жертвы, но потом великий Сталин сделал ошибку — надо было дать народу передохнуть, а он не дал. Конечно, это высказывание отвратительно своим спокойным, естественным отечески-собственническим отношением к народу: мол, надо было дать народу чуток передохнуть, перед тем как погнать его опять «на штурм высот», — но сейчас меня интересует только констатация факта. Никакого передыху народу не давали, даже с точки зрения Кагановича. И делалось это сознательно. Не знаю, к какому периоду относил Каганович октябрь 1948 года — к восстановительному или к следующему, — но никакого своего долга работать не на себя кульчинские колхозники тогда уже не чувствовали. А на себя — могли только на своих приусадебных участках, производительность на которых — многие этим гордятся — по слухам, была самой высокой в мире. Но обходилась эта производительность дорого. Желających узнать об этой системе самоэксплуатации подробнее отсылаю к замечательной работе Льва Тимофеева «Технология «черного рынка», или Крестьянское умение голодать». Обходилось это дорого. И не только для здоровья земледельца, но и для его отношения к вещам — вредно было привыкать к сознанию, что основной массив земли есть нечто лишнее, отвлекающее от главной работы. Все это, конечно, аукается и сегодня. Но об этом еще будет повод говорить.

К сожалению, я был тогда в смятенном состоянии, не представлял своего даже самого близкого будущего и не запомнил разговоров у костра. Помню только, что часто расспрашивали меня о моей диковинной для них жизни, вообще просили что-нибудь рассказать, слушали внимательно. Много шутили. Почему-то запало, что однажды в шутильвых пререканиях Миша Зонов назвал Шуру, у которой после ее очередной неудачной возни с трактором щеки были в саже, «чумазой»: «Эх ты, чумазая!», и она как-то искоса посмотрела на него: всерьез он с ней заигрывает или нет? К сожалению, не всерьез. А ведь парней для нее вокруг не было. Тогда я об этом не думал, а сегодня мне больно — хорошая была девушка, а что ее ждало? Она однажды потом заходила к нам, когда приезжала по каким-то делам в

Чумаково, — просто так. У нас были хорошие отношения. Все такая же и все одна.

Еще у костра, как везде в России, часто любили петь. Хорошо бы тут начать распространяться о красоте народных песен, действительно прекрасных. Но получилось так, что услышал я эти песни только в Москве. А в деревне тогда пели в основном те песни, которые слышали по радио или в кино — сюда иногда заезжала кинопередвижка. Так я, как я уже здесь рассказал, впервые услышал «Одинокую гармонь».

Кстати, с пением у меня произошел странный казус. Должен сознаться (а может, я уже говорил здесь об этом), что я начисто лишен не только голоса, но и слуха. И когда уступаю душе, которая иногда и во мне поет, окружающие вежливо, а более близкие и невежливо предлагают мне заткнуться. И я всегда с пониманием отношусь к этому предложению. А тут у костра у меня впервые получилось не так. Кто-то спросил, знаю ли я какие-нибудь песни. Я ответил, что в тюрьме слышал (от Алексея Михайловича на Лубянке) и запомнил одну замечательную песню, но ее надо петь, а я неспособен. Ребята и особенно Шура потребовали, чтобы я спел как умею. И я начал «напевать» «В воскресенье мать-старушка...» Как ни странно, всем очень понравилось. Меня не удивило, но сначала я отнес это одобрение к тексту песни, на самом деле замечательному. По чьей-то просьбе я записал слова и считал свою миссию выполненной. Но потом Шура попросила, чтобы я «спел» еще раз. Я спросил, зачем. Оказалось, что, по ее мнению, у меня хорошо получается. Я очень удивился и запротестовал, но ее поддержали другие. Пришлось «спеть» еще раз. И опять был успех. Что сей сон значит, я и теперь не знаю. Объяснение этого успеха музыкальной неграмотностью слушателей отпадает. Есть эта грамотность или нет, но что такое пение, в деревнях знают, ибо поют много и многие, и поют хорошо. Не думаю, что они принимали мое звукопроизнесение за пение, но что-то им действительно нравилось. Недавно я для хохмы «спел» эту песню (и еще песню Ю.Алешковского «Семейка») моим друзьям, талантливым вокалистам Нине Савицкой и Сергею Григорьеву, и они тоже заставили меня несколько раз повторить «выступление». Понравилось. Мелькала у меня мысль, что мое «пение» было для них тем же, что для пушкинского Моцарта несуразные зву-

ки скрипки уличного музыканта, которого он привел к Сальери, но непохоже. Да и знали они, что мне и до этого скрипача далеко. Но это у меня случилось только с теми двумя песнями. Окуджаву, которого я очень люблю, меня никогда никто не просил повторить, наоборот, просили замолчать, если я начинал петь сам. А тут — пожалуйста. Тайна сия велика есть. Мне больше нравится, когда поют другие. Все. В том числе и обе эти песни. Впрочем, для моего повествования это «музыкальное отступление» лишнее. Просто этот факт меня самого развлекает, и я не мог удержаться от упоминания о нем.

А заговорил я о пении потому, что ничего конкретного, кроме него, от дружеского общения у костра в моей памяти не осталось. Только общее ощущение человеческой теплоты. А ведь я участвовал в разговорах, рассказывал, спрашивал, слушал. И ничего не запомнил. Слишком и я, и все мы были в этой деревне краткосрочными и пришлыми. Не говоря уже о том, что слишком задавлен я был непроходимой туманностью ближайших перспектив. Да и мое искусственное мировоззрение и мироощущение мешали мне пока почувствовать жизнь деревни и реальную ценность ее людей, хотя меня к ним влекло. Я так и не стал деревенским, но к какому-то пониманию людей деревни я все же пришел, даже к некоторому сближению с ними. Только чуть позже.

Впрочем, разговоры чаще случались между нами — теми, с кем я приехал и жил. Мы ведь жили все вместе, домой приходили рано (поскольку осенью рано темнеет), и деваться нам было некуда. Кроме того, были и дождливые дни, когда молотить было нельзя. Вот и трепались. С этими дождливыми днями связан смешной эпизод. Нас пытались пристроить к ручным молотилкам. Один из наших поляков, пожилой пан Станислав, очень милый и деликатный человек, возмутился. Сказал, что нам это не по силам, спросил: почему мы должны делать то, о чем не договаривались? Ему ответили словом, понятным каждому советскому человеку:

— Надо!

Но пан Станислав не был советским человеком и возмутился:

— Надо!.. А може, им корив доить надо?

Впрочем, ручная молотьба у нас не пошла, нас с нее сняли. И мы вернулись к своим разговорам. Не скажу, чтобы эти разговоры были очень содержательны. Вопрос о выборе пути для страны или, допустим, о сепаратизме этих «политиков» не интересовал. А опыт за спиной был общий, объяснять друг другу ничего не надо было. Вот и пробивались лагерными байками. Или просто зубоскальством.

— Наум, ты сколько лет учился? — спрашивает кто-то.

— Два с половиной года в Литературном институте.

— А до этого?

— Ну, девять лет в школе. За один год два класса прошел, — отвечал я, не понимая, к чему он клонит. Оказалось, что все это выспрашивается затем, чтоб сострить:

— Видишь, так много учился — вот и сел.

По тем временам двенадцать с лишком лет учебы многим еще по-прежнему казалось высоким уровнем образованности. Разговор этот ленивый, никому не обидный, затейный для проведения времени, вовсе не имел в виду задеть кого-то за живое. Но — задел.

— Не хфакт! — раздается вдруг из угла страстный и отчасти возмущенный голос: — Не хфакт!

Принадлежит он Чванову (я запомнил его фамилию, потому что так звали и моего симского одноклассника), человеку мрачному, крупному и измученному лагерным голодом (говорили, что он рылся в лагерных помойках), но при этом спокойному и доброжелательному. В разговор, да еще так страстно, он вмешивается впервые.

— Ты что? — удивляется заведший эту бодягу. Вроде тут выходить из себя было не с чего. Не спорить же всерьез о том, почему кого и за что сажают. Что «не факт»?

Но Чванов не унимается. Ведь речь идет о том, из-за чего ему испортили жизнь. От волнения он даже встал во весь рост в своем углу.

— Не хфакт! — убежденно повторяет он. И убедительно разъясняет: — Я неграмотный!

Избу сотрясает гомерический хохот. Все присутствующие без Чванова знают, что образование тут ни при чем, как ни при чем тут все что угодно. Большинство из них — жертвы «тридцать седьмого года». Но и остальные — два поляка, пан Станислав и пан Лендэк (мы называли его просто Ленья), арестованные в тридцать девятом или сороковом, когда поляков в «освобожденных» местностях под-

метали под метелку, — тоже это знают. Но все всё равно хотело. Это был катарсис — все, что произошло с ними, в судьбе Чванова предстало в наиболее адекватном, то есть гротескном виде.

Впрочем, поляки хотя бы знали, что сидят за то, что они поляки, что СССР помог немцам уничтожить их страну и теперь преследует их как ее граждан. Конечно, их очень тянуло называть СССР Россией и говорить: «Россия в который раз разделила Польшу», но такие «мероприятия», как арест и наказания людей по такой дикой, нечеловеческой причине (а так это и было) не ассоциировались даже с тем отталкивающим образом России, который исторически существовал в сознании многих поляков. Но как бы дико и противоправно ни было это «объяснение», у них все-таки было объяснение. У остальных и такого не было — сидели потому, что посадили, потому что не повезло.

Например, Ваня Смородин, с которым я потом сошелся ближе. Родился он в какой-то глухой приуральской деревне — то ли в Башкирии, то ли в Оренбургской области. Семнадцати лет приехал в город Белебей (неподалеку от Уфы) и поступил в тамошний зооветтехникум. И учился старательно, и выучился бы. Но год, к его несчастью, был тридцать восьмой. Кругом разоблачали врагов. Ваня об этом слышал, но интересовался мало — грыз гранит науки. Но однажды утром за завтраком в техникумовской столовке один из студентов шепотом спросил его:

— Знаешь такого-то, с четвертого курса?

Вопрос был обычный, и Ваня ответил не задумываясь:

— Знаю. А что?

Но обычное на этом кончилось.

— Его сегодня ночью арестовали, — сообщил студент. Но и на этот скользкий лед Ваня ступил с простодушным бесстрашием. И отреагировал на него естественно, по-деревенски, по-человечески:

— Жалко... Вроде хороший парень...

Но время было нечеловеческим, и следующей же ночью Ваню арестовали. Белебеевскому райотделу НКВД тоже надо было выполнять разнарядку* Большинство тогда сажали за

* Сегодня у многих есть тенденция не верить таким действительно неправдоподобным, но реально действовавшим «нормам» того времени (сила советского строя была в его неправдоподобии). В связи с этим я вынужден сослаться на документ. Называется он «Приказ Народного

придуманные прегрешения, а здесь по сравнению с ними был реальный состав «преступления»: выражение сочувствия и симпатии к разоблаченному органами НКВД врагу народа (согласно внушаемой в те годы аксиоматике понятия «арестованный органами НКВД» и «разоблаченный» были синонимами). Все это нелепо и фантазмагорично, но свой «червонец» Ваня Смородин получил и отсидел вполне реально. В день ареста ему было семнадцать, а когда его «выпустили в ссылку» — двадцать семь. Весь его жизненный опыт был лагерный, все воспоминания — о лагере.

Таким был Ваня Смородин, «враг народа» и довольно типичная «жертва тридцать седьмого года». Такой же жертвой был уже упоминавшийся «неграмотный» Чванов. Такими же жертвами были, как уже сказано, все остальные члены нашей «команды». Тот факт, что остальные были более грамотными и развитыми, чем эти двое, ничего не меняет — к «политике» они имели такое же отношение. И справка для интересующихся: евреев в этой команде, состоящей из «набора» тридцать седьмого года, тоже не было. Кроме меня, но я к этому «набору» не относился.

О том, что я считаю несчастьем для страны и приход к власти «старой гвардии», и такой ее разгром (замену сталинщиной), я уже не раз писал. Но здесь этой «гвардией» и не пахло. Не устану демонстрировать, что «чистки тридцать седьмого» касались не только коммунистов, тем более не только евреев коммунистов, как некоторым теперь хочется думать, а кого угодно. Наверху Сталин и до этого потихоньку вытеснял евреев, но это мало кто замечал, даже евреи. И массовые репрессии конца тридцатых антиеврейской направленности тоже не имели. За антисемитизм тогда еще вполне могли и посадить («подрыв дружбы народов СССР»). Конечно, и это обвинение тогда чаще тоже бывало лож-

комиссара Внутренних дел СССР № 0047 от 30 июля 1937 года» и подписан Ежовым. Полная фотокопия этого приказа впервые опубликована в книге Е.Альбац о КГБ в качестве приложения. В нем по графам указано, сколько в какой области людей (не определенных, а по неопределенным признакам) должно быть в короткий срок отправлено в лагерь, а сколько расстреляно. Номер приказа фигурирует в решении Военной Коллегии Верховного Суда РФ в качестве одного из оснований для отказа его автору Ежову в реабилитации. Было это, господа. И Ваня Смородин был. А может быть, он и сейчас еще есть, может, Господь вернул ему отнятые у него годы.

ным — такой был стиль работы ежовского НКВД, — но речь сейчас не об этом, а о составе нашей команды.

В ней не было ни одного интеллигента. Но дело не в отсутствии интеллигентности. Покойный Владимир Максимов, вышедший из рабочей среды, рассказывал мне, что его дядья и отец были рабочими, но, выпив, иногда спорили до мордобоя об анархо-синдикализме. Среди тех, с кем я тогда жил, за такое никто бы никому морду бить не стал — не волновали этих «политиков» такие материи, чувались они таких терминов и тем.

Морду, правда, у нас один раз все-таки набили. Причем до крови. И не кому-нибудь, а Ване Смородину. Но не за политику, а за самоутверждение. За то, что упрямо врал, будто пил газированную воду, которой в глаза не видел — в Белебее до войны она, видимо, не продавалась. Как началось, не знаю, меня в это время в избе не было. Когда пришел, мои сожители лежа перебрасывались осудительными фразами по поводу Ваниного упрямства. Тут я и услышал о газировке. Ваня вошел в избу через минуту после меня. Вошел молча, зажимая платком кровоточащий нос. Остальные поучающе молчали: дескать, не спорь со старшими и более опытными. Наказание явно превышало прегрешение. Но нервы у всех были слишком напряжены, и их несоразмерно раздражило Ванино азартное упорство в противостоянии их опыту и памяти. Не выдержали. Другого смысла этот эпизод не имел.

Впрочем, однажды прозвучала угроза избиения и на политической почве. Исходила она от поляка, пана Лендэка (Лени), и относилась ко мне. Видимо, я высказал свои взгляды на мир и на нашу судьбу, и они его закономерно возмутили. Видимо, он полагал, что при таких взглядах я могу и «настучать».

— Я вообще вас (имелось в виду евреев) и так не люблю, но будешь мне такое говорить — смотри!

«Стучать» я не собирался, хотя по логике своих взглядов и боязни потерять свою ложную верность и совсем оторваться от любимой творческой власти был бы должен. Это противоречие вскоре поставило меня перед страшным выбором и чуть не погубило мою душу. Удержался я на самом краю бездны.

Вскоре после возвращения в Чумаково я встретил на улице старшего лейтенанта Патрушева и оказался его по-

путчиком. Начался разговор, самый обычный, с банального вопроса: «Как живешь?», на который, как всякий зануда, я стал отвечать подробно — рассказывать как близкому по взглядам человеку о своих духовных муках. Реакция его была поразительной. Он вдруг остановился, повернулся ко мне и объявил:

— А в Америке тебе все равно было бы хуже!

И дальше стал мне (но думаю, что больше себе самому — он ведь тоже был человеком) объяснять, что все не так просто:

— Ты что думаешь, среди вашего этапа нет враждебно настроенных людей? Есть!

Я честно согласился: думаю, что есть, — не врать же товарищу по борьбе.

И тут в нем проснулся работник МГБ.

— А кто?

Я ответил, что точно не знаю, только чувствую. Но он этим не удовлетворился. Заговорила должность.

— А насчет кого чувствуешь?

И я дошел до крайней точки своего падения — назвал Леню. Естественно, Патрушев и этим никак не мог удовлетвориться — последовал уточняющий вопрос:

— А из чего это видно? Что он такое говорит?

Я прекрасно знал, из чего это видно и что говорил Леня, но тут, так же как в нем эмгэбист, во мне проснулся зэк. Да, в Лене я чувствовал врага всему, что любил и во что любой ценой старался верить, а эмгэбистов считал духовно более близкими себе людьми (лубянский консилиум по вопросу о том, как верней меня погубить, видимо, отодвинулся в моем сознании на задний план), но все равно Леня был моим товарищем по несчастью, и все во мне восставало против такого предательства, против такого способа решения идеологических разногласий. Этого я сделать не мог — вопреки всем моим взглядам и помимо логики. И тяга к откровенности покинула меня. В последний момент. Ибо только теперь я стоял у последней черты. Ведь все, что я говорил до сих пор, было хоть и отвратительно, но не было компроматом, а в отличие от тридцать седьмого года тогда уже — и я это знал — для ареста недостаточно было ощущений и подозрений — их к «делу» не подошьешь. Требовался компромат — конкретные высказывания или поступки, пусть даже выдуманные. Короче, я знал, что все ска-

занное мной до сих пор реально еще Лене ничем не грозило. «Честный ответ» на последний вопрос Патрушева перенес бы меня через эту грань. Но при всей моей любви к откровенности и даже хорошем отношении к Патрушеву я не мог сказать правды — Бог замкнул мои уста.

И я «нечестно» ответил, что при мне Леня ничего такого не говорил. Я ничего не знаю — просто ощущение.

— Вот видишь, — сказал Патрушев, — не знаешь, а мы обязаны знать!

Он опять решал какую-то свою психологическую проблему — доказывал себе важность своей деятельности.

Ничего страшного из этой моей беседы не могло произойти и не произошло. Леня спокойно жил и работал в Крещенке, а через год-полтора его вообще отпустили в Польшу. По дороге он заезжал в Чумаково оформлять документы, и мы встретились на улице. Вполне дружески. За это время я стал как бы совсем другим человеком, на самом деле — самим собой. И я ему рассказал и о том, что от той чепухи, которую молол, уже года полтора ничего во мне не осталось, но добавил, что я все равно перед ним виноват, и рассказал, в чем — передал ему свой разговор с Патрушевым.

— Ерунда, — сказал великодушно Леня, — а конкретно ты ему ничего не рассказал?

— Конкретно нет, — ответил я. — Сказал, что ты при мне ничего такого не говорил.

— Тогда это вообще чепуха! Ты просто ему ничего не дал. Забудь.

Юридически он, конечно, был прав: я ему ничего дурного не сделал и — вопреки мировоззрению — старался не сделать. Но вспоминать об этом все равно тошно. Тем более что у меня нет оснований валить вину за этот эпизод на Патрушева. Он меня не вызывал, не вербовал, ничего не пытался.

Это я сам так сохранял свою цельность и верность своей диалектической вере. Царство Божие безусловно берется с бою. Но в «идейные времена» с бою иногда берется и царство сатаны. Это когда душа рвется к Богу, но ей внушен идейный долг подавлять это естественное стремление души. И более того, она считает это делом чести. Это крайняя степень несвободы — самому корезить свою душу во имя

верности какой бы то ни было идее. Тем более страху остаться без нее!

На дворе тогда был год 1948-й, шли последние недели моего одурения сталинщиной. Должен признаться, что такая психологическая коллизия, в общем виде свойственная молодежи моего поколения, редко в ком из этого поколения (а тем более возраста) доходила до такой остроты, какая была у меня. Я как бы хватался за традиции молодежи «славных двадцатых» и начала тридцатых годов, традиции, если можно так выразиться, «последней идейности». У нашего поколения была унаследованная верность этой идейности, точнее, ностальгия по ней, дотлевающие угольки былого пламени. Это не странно, ибо, как я уже говорил, у нас тоже не было иного представления о духовных ценностях. Но фанатизма не было.

Это, конечно, хорошо, но утопия требует фанатизма — отсутствие фанатизма без отказа от утопии примиряет с повседневной ложью. Фанатизм не был мне сопринроден, но я им спасался от этой лжи и был неуместно логичен. К счастью, не до конца. Это равнение неизвестно на что было свойственно тогда почти всем, кто пытался мыслить. Вячеслав Кондратьев рассказывает, как нашел в своем доверенном, совершенно личном дневнике фразу о том, что одна из самых важных задач, стоящих перед ним, — побороть в себе пережитки мелкобуржуазной психологии. Тогда это было написано всерьез, а теперь он прочел эти строки и удивился, ибо не мог понять, что он тогда имел в виду.

Но хватит об этом. Этот эпизод, как ни неприятно мне теперь его вспоминать, не занял большого места в моей жизни. Бог и на этот раз меня спас.

К счастью, мой противоестественный роман со сталинщиной скоро кончился. Конечно, полностью свободным человеком я стану только через девять лет, но от сталинщины, от крайней степени несвободы, в которой я жил и задыхался последние несколько лет, от противоестественного, навязанного самому себе долга перед подлостью (и неловкости из-за невыполнения этого долга) я освободился вскоре. Только уже не в Кульче, а в библиотеке райцентра. Туда и переходит теперь мое повествование.

В райцентр, в Чумаково, я рвался чем дальше, тем сильнее — в Кульче мне уж совсем ждать для себя было нечего, а там — районная столица. Однажды я даже захотел уйти

туда один пешком, и Миша Зонов даже грозился меня застрелить, если я это сделаю. Но я этого не сделал. Почему, не помню, но не из-за этой угрозы. Конфликта, в общем, не получилось, и с Мишей у меня все два с хвостиком года сохранялись дружеские отношения. Я и теперь сохраняю добрую память о нем. Но потянуло меня тогда уходить уже перед самым отъездом. Дня через два нас как-то (как, тоже не помню) перебросили в Чумаково. В деревню, где я в общем и прожил безвыездно все эти два с хвостиком года ссылки.

Деревня под названьем Чумаки

Общее описание и первые знакомства

Название подглавки пришло из стихотворения, которое я написал вскоре после прибытия сюда. Вот оно:

Деревня под названьем Чумаки.
Вокруг лежит сибирская Россия...
...Какие с Украины мужики,
Ища земли, зашли в края такие?
Они прошли тяжелый, торный путь.
Им ноги жег сухой песок и камень.
И чтобы вышутить свою судьбу,
Они село назвали Чумаками.
Стояло солнце очень высоко,
Почти не грея... Только степь горела...
А все дороги вольных чумаков
Лежали там, где это солнце грело,
Где не осталось больше ничего.
Лишь только боль... Лишь только соль, пожалуй.
А здесь земля лежала без всего —
Как жаждущая женщина лежала.
Лежит земля, и вовсе нет людей —
Лишь только коршун замер в смертном круге.
Паши и сей. И заводи коней,
Хоть как-то наспех заслонясь от вьюги.

По-моему, я его нигде не печатал, но теперь мне захотелось привести его полностью. В основном оно навеяно ретроспективными ассоциациями, вызванными чувствительным для выросшего на Украине человека словом «чумаки». Больше ничего украинского в этой абсолютно русской деревне не было. Только несколько не запомнившихся

мне «обрусевших» фамилий на «ков» (вроде Коваленков), где проглядывали украинские корни. Но выражение «сибирская Россия» мне и доселе дорого. Хотя «Сибирь ведь тоже русская земля» существовало задолго до моего рождения. Какую-то реальность и жизни вообще, и моего тогдашнего самоощущения это стихотворение все-таки в себя вобрало. Причина достаточная для того, чтобы привести его в мемуарах.

Но к описанию своей собственно деревенской жизни я приступаю с некоторой робостью — впечатления разбегаются... С одной стороны, я, как уже здесь говорилось, деревенским человеком за эти два года, конечно, не стал, даже не становился. И именно поэтому одним из факторов, влиявших на мое состояние, был ужас, вызванный вполне возможной перспективой быть задержанным здесь навсегда. Происходил он не из боязни «похоронить себя в глуши», а из-за полной неприменимости, неспособности себя здесь прокормить. Этот страх всегда висел надо мной. Он определял многое в моей тогдашней жизни, но не все. Была еще и другая сторона — я стал чувствовать деревню, серьезность жизни ее людей, а через это — и жизни вообще. Ценность человеческой личности, в частности, — любой личности, а не только «сложной» или «интересной». И это неудивительно: деревня ведь ближе к истокам бытия, чем город.

А кроме того, здесь наглядней проявлялось, лучше было видно, что происходит с Россией сейчас и произошло вообще, и это, как показало будущее, для меня было очень важно. Сталинщина казалась вечной, а моя жизнь — особенно временами — лишенной перспектив, но в глубине души я все равно надеялся жить и состояться. И как губка впитывал все, что я там видел и чувствовал. Как бы впрок. И конечно, мой деревенский опыт — неотъемлемая и ценнейшая часть моей биографии, моего нынешнего внутреннего мира. Не тематически — ни изображением, ни воспеванием деревни я никогда не занимался. Это не моя стезя. В понимании, детальном знании, а тем более в изображении деревенской жизни я (даже если бы был прозаиком) никак не могу конкурировать с талантливыми авторами «деревенской прозы». Они уже давно все это описали. И к этому описанию мне, в общем, нечего добавить. Но я пишу не прозу, а мемуары. Пишу о том, как это виделось мне и на мне отражалось, как это соотносилось с развитием моих

представлений о жизни и ее ценностях. Разумеется, я буду говорить и о деревенской жизни. Не думаю, что жизнь эта будет выглядеть у меня иной, чем у них, или даже по-иному оценена. Просто я буду рассматривать ее сквозь призму другого опыта, другими глазами. Не противореча этим авторам, но и не дублируя их. Надеюсь, что это тоже может представлять интерес.

Конечно, не меньше места занимали в моей тамошней жизни и дружеские в основном отношения с другими ссыльными, а их все прибывало. Этап за этапом. Кстати, пока мы трудились в Кульче, в райцентр прибыл еще один этап. В них самые разные люди, пути которых в нормальной жизни вряд ли бы пересеклись. Например, примерно за год до моего отъезда прибыл этап эстонцев, в основном эстонской интеллигенции. Там проводилась чистка по правилам доселе никому не понятной сталинской социальной (на самом деле антисоциальной) гигиены. Прибыли они семьями и держались особняком, но вскоре стали входить в торговые отношения с остальными — торговать красивыми, с узорами и другими рисунками, варежками и носками, которые их жены вязали из шерсти, присылаемой невысланными родными из Эстонии. Люди они были приятные, но замкнутые, и я о них, к сожалению, мало знаю. Сенсацией было прибытие в ссылку матери Попкова, главного действующего лица вымышленного «ленинградского дела» — она прибыла с одним из последних при мне этапов. Впрочем, о самом «ленинградском деле» мы ничего не знали — но было удивительно, что сажают и представителей сталинской знати. За что? Ведь не идейные или идеологические расхождения могли быть у них со Сталиным! А ведь арестовали как больших. Даже мать — не причастную, естественно, ни к взлету сына, ни к его падению — выслали. Словно она сестра какого-нибудь Тухачевского (которую тоже не за что было арестовывать, но это другая тема). Мы еще не понимали, что просто маразм набирал силу. С матерью Попкова я знаком не был, даже не видел ее ни разу (может быть, ее в Чумаках и не оставили). Говорили, простая женщина крестьянского типа.

Сенсаций больше не было, а экзотики и без эстонцев хватало. Еще этапы, еще люди, еще характеры, еще трагические истории. Это были люди разных слоев и уровней развития, разного, но всегда нелегкого и чаще непрямого

жизненного пути. Но общие обстоятельства, общая беда проявлялись на частных судьбах по-разному, часто очень причудливо. Пригнали, например, однажды повторницу, еврейку из Западной Украины (владела чем-то — она или отец). Не успела она осесть, как вслед за ней приехал добровольно ее муж. Мы о нем так и говорили: муж-декабристка. С той только разницей, что никакой Сенатской площади за ними обоими и в проекте не было. Хотя и он отсидел свое и тоже мог оказаться повторником (за то, что тоже сам или через отца владел чем-то вроде магазина).

Все эти обстоятельства, впечатления и тревоги — вместе и порознь — влияли на мое взросление и возмужание, все это интересно и важно, но одно практически неотделимо от другого, составляло единую жизнь. И с чего начинать о них рассказ — непонятно. Но начинать придется.

Начну с деревни, точнее, с райцентра. Ибо Чумаковым, как я потом узнал (сам бы не догадался), называлась только северная (правобережная) его часть. Вдоль левого же (южного) берега речки Омь (по-местному Омки) тянулась двумя порядками, как и Чумаково, другая деревня — Ушково. Улица была длинной, но этой прибрежной улицей Ушково и исчерпывалось. В Чумакове же были еще две или три улицы, параллельные прибрежной, а также одна перпендикулярная им. На ближней параллельной располагались почти все районные учреждения. В правом ее торце, если стоять спиной к Омке, на единственной перпендикулярной улице стояло двухэтажное здание райкома-райисполкома, в левом — одноэтажное, но аккуратное здание МГБ. С этой стороны улица соединялась с прибрежной маленьким перпендикулярным проездом. С правой стороны этого проезда лицевой частью к прибрежной улице стояло здание и усадьба клуба, а с левой — чуть по диагонали, как я уже говорил, в торце параллельной улицы — здание МГБ. Проездик этот уже за параллельной улицей как бы замыкался зданием милиции. Обе деревни близко к речке подходили только в одном-двух местах, а на остальном своем протяжении отстояли от нее метров на двести—пятьсот. Но воду брали из речки, носили на коромыслах. Колодцев до приезда ссыльных почти не было. Соединялись эти деревни мостом, который в паводок снимали, чтоб не мешать лесосплаву, то есть прохождению плотов, заготовленных где-то выше по течению, в районе Крещенки, в «урмане» — то

есть в тайге («урман» по-татарски — «лес») — как самим крещенским леспромхозом, так и лесозаготовителями, командированными предприятиями и учреждениями прилегающих к речке районов. В том числе и нашего.

Наш Михайловский район находился на стыке лесостепи и тайги. Лес тогда заготавливали в районе Крещенки, километрах в семидесяти от Чумакова, но с севера тайга подходила почти к самим Чумакам. Пусть не вплотную, но довольно близко. Может, теперь там давно все вырублено — это вполне могло произойти и при доперестроечном государственном, и при постперестроечном частном хищничестве. Но при мне и сразу после меня там никаких лесозаготовок не производилось.

Я забыл сказать, что ни в одной из деревень района, где мне пришлось побывать, вздыбленных изб, на которых пастется скот (как в первых двух по дороге со станции в Чумаково), не было.

Но была одна особенность в этих деревнях. В них не было зелени. Издалека они не зеленели, а чернели — бревнами изб и других строений. С непривычки это удручало. А когда привык, возникло удивление. Конечно, фруктовым садам в Сибири неоткуда взяться, но ягод — малины, смородины, черемухи — в окружающей тайге полно. Обсадить свой участок такими кустами по межам мог каждый. Но почти никто этого не делал. Предпочитали раза два за лето сходить в «урман» и принести лукошка два. Не думаю, что это последствие коллективизации — если б это было раньше, что-нибудь бы да осталось. Но этого не было и в помине. Оно, конечно, сибирская неприхотливость, но зачем жить без ягод и зелени? Этого я и теперь не знаю.

Еще меня угнетала свекла. Но здесь «неприхотливость» уже, скорее всего, была последствием внедренной безынициативности. Свеклу здесь из года в год сеяли, но какую-то белесую, выродившуюся, похожую на кормовую. Словно бы другая здесь не росла. Но на следующий год ссыльным родные прислали семена, из которых свекла выростала настоящая, свекольного цвета. И те аборигены, с которыми они делились, охотно их брали, сажали и были этим довольны. А ведь хватило бы одной восьмикилограммовой посылки на весь район: закажи и пользуйся, но некому было проявить инициативу. Думаю, что раньше свекла эта обновлялась, об этом заботилось сельское общество. Или

хотя бы легендарный лавочник Абрамович, живший, по преданию, в этой деревне. Советская власть при Сталине прикончила и общество, и Абрамовича, и теперь позаботиться о семенах было некому. Вот и привыкли к выродившейся.

Но это уже мысли и наблюдения чуть более позднего времени. А пока я только привыкаю к черноте здешних деревень — мы ведь только вернулись из Кульчи. Там мы были временно избавлены от необходимости решать свою судьбу, а теперь она снова стоит перед нами, особенно передо мной, в прежней остроте. Я даже не знаю, оставят ли меня в райцентре. Впрочем, мне это обещали, и судя по всему — оставят. Но все же пока меня это беспокоит. Впрочем, и начальство понимает, что мне нечего делать в леспромхозе.

Да это и не такой важный для него вопрос — в принципе оставляют всех, кто хочет. Принцип простой — где человек нашел работу, пусть там и живет. Но я нигде не нашел. Таких лучше оставлять при райцентре, все-таки пристроить легче. Тут все-таки учреждения, даже маленькие предприятия, а в остальном районе, кроме леспромхоза, только колхозы да несколько маслозаводов. А что мне делать на маслозаводе? Да там и штаты укомплектованы — хлебное место.

К слову, масло этих маслозаводов было невероятно высокого качества. Более вкусного я никогда не ел. Это то самое «барабинское масло», которое увозили во Францию, а потом привозили в Петербург и продавали там под названием «парижское». Местные коровы были малолитражны — в лучшее время давали не больше восьми литров молока в сутки. Но молоко было очень жирным и вкусным. А у каждого хозяина было по несколько десятков таких коров. Теперь в лучшем случае одна. Во всем колхозном стаде — не больше, чем раньше у одного не самого лучшего хозяина. Но это сказывалось на количестве молока, а не на его качестве. И поэтому (как теперь, не знаю) не на качестве масла.

Разумеется, такие диаграммные «Вчера и сегодня», жившие в сознании и памяти каждого, в отличие от пропагандистских стендов с таким заголовком (в тридцатые годы их ставили в каждом скверике), действовали. Конечно, больше всего на старшее — помнящее — поколение. Не зря ведь существенная часть довоенной пропаганды работала на компрометацию «отсталого сознания» старших. У «честных коммунистов» эта подрывная пропаганда как бы оправдыва-

лась идеей создания нового человека (для чего вообще требовался подрыв всех старых основ бытия), а Сталину после коллективизации это нужно было только прагматически — он вообще воевал с памятью. Впрочем, во время войны «прагма» потребовала другого, и забивание памяти приобрело другие формы — прошлое стали подменять и возвеличивать. Правда, больше насчет воинских традиций. Но общее положение в деревне было таково, что молодежь сама стала прислушиваться к старшим, помнящим другую жизнь. И даже делать какие-то выводы. Ни к чему, правда, не ведущие — деревня была давно уже разгромлена и обескровлена, — но и не таящиеся.

Первые контакты — сплошная «пятьдесят восемь/десять»

С тем, что тут никто никаких своих жизненных впечатлений и выводов не таит, я столкнулся почти сразу, в первые минуты обживания Чумакова. Вернулись мы, по моим расчетам, четвертого ноября, аккуратно перед праздниками. В клуб нас больше не пустили, но временно поселили в разных местах. Может, большинство сразу отправились в Крещенку — не помню. Ваня Смородин почему-то не поехал. Может быть, рассчитывал пристроиться здесь, что вполне могло быть. Забегая вперед, скажу, что потом все-таки поехал. Видимо, понял, что в леспромхозе сможет намного больше заработать. Но это потом. А пока меня с ним поселили в райпромхозе. У нас ничего не было. В МГБ нам выдавали деньги на хлеб — по рублю, кажется, в день. И все. Но у нас было несколько картофелин. Мы их купили на деньги, вырученные мной за давно не стиранную рубашку. Какой-то парень подошел к нам, увидел ее и предложил за нее какие-то деньги (или прямо эту картошку — не помню) — в деревне с мануфактурой было плохо, — и я с радостью согласился. Рубашка была грязной, денег (или картошки?) он за нее давал мало, но намного больше нуля, и вечером Ваня в каком-то чугушке сварил нечто среднее между картофельным супом и просто картофелем. Было очень горячо и вкусно. Наутро я зашел на почту отправить срочное письмо домой с просьбой выслать телеграфом деньги по адресу (откуда взялись деньги на письмо — не помню). И вдруг милостивая, городского вида девушка, которой я

отдал конверт (ее звали, как я потом узнал, Аня Баранова), взглянув на обратный адрес, выхватила из пачки письмо и сказала:

— Это вам.

А когда я, поблагодарив, собрался уходить, крикнула вдогонку:

— Вам еще перевод. Спросите в том окошке, где телеграф.

И я получил перевод на целых сто рублей! В городе эти деньги были ничтожны, но для тогдашней деревни, особенно для нас с Ваней, — это была сумма. Отсутствие у нас паспортов препятствием для получения денег не явилось — по возвращении из Кульчи мне выдали в МГБ филькину грамоту — листок газетной бумаги, где было сказано, что такой-то, имярек, является административным ссыльным, находится под гласным надзором органов МГБ, не имеет права выходить за пределы райцентра и обязан являться на регистрацию в райотдел КГБ два раза в месяц в такие-то числа (вскоре в связи с ростом международной напряженности количество регистраций увеличили до трех)*. Обратная сторона этого листика была разграфлена на клеточки — места для отметок о явке на регистрацию.

Так что документ у меня был, и деньги мне выдали. Это было радостно. Но встал вопрос, куда девать этот капитал. Ведь впереди были чуть ли не три праздничных дня, а жили мы почти что на улице. Оставить их было негде, а таскать с собой страшно — их можно было потерять. А потерять такой капитал в нашем положении — значило потерять вдруг появившуюся возможность продержаться. Выручила та же Аня Баранова. Услышав, о чем мы с Ваней беспокоимся, она по-женски просто вывела нас из затруднения:

— А вы идите, пока не поздно, в сберкассу — а то она скоро закроется. Вон она, напротив. Там и положите эти деньги. После праздников возьмете.

Мы так и сделали, оставив себе рублей тридцать. Но в связи с этим я впервые столкнулся с реальным проявлени-

* Это не острога, а принцип сталинской карательной политики, ее «театра для всех». В лагерях в связи с нюансами международной политики ужесточали и смягчали режим. И даже с важностью говорили об этом. Вели, так сказать, борьбу. Так, в двадцатые годы в ответ на какую-нибудь «ноту Керзона» расстреливали профессоров — нанося, так сказать, ущерб враждебному классу в целом. Кровавые ритуальные игры идеократии.

ем отношения местных жителей к «современной действительности». В данном случае жителей молодых.

За окошком и здесь сидела миловидная девушка. Вообще среди местных девиц были девушки с вполне интеллигентными, даже аристократическими лицами. И только когда они начинали говорить, становилось ясно их происхождение. Впрочем, Аня Баранова говорила правильно и чисто, а как говорила эта девушка, я не помню. Я ее вообще не помню, помню двух парней, которые, стоя у окошка, развлекали ее. Я для них явился поводом для нового развлечения...

— А ты откуда? — спросил меня один из них.

— Из Москвы.

— А что там делал?

— Был студентом.

— Где учился?

— В Литературном институте Союза писателей.

До сих пор шел обыкновенный треп, которому я не придавал значения. Но реакция этого парня на мой последний ответ была для меня неожиданной и из ряда вон выходящей.

— А, писатель, значит? — догадался парень. И тут же добавил: — А ты тут про нас напиши — еще дальше поедешь!

Парни и девушка захохотали. А я только смотрел на них раскрыв рот и молчал. Только что при мне в государственном учреждении была произнесена фраза, за которую не глядя применяли статью 58/10 и отваливали червонец, а никто — кроме меня и Вани, конечно, — этого не понимал! Ведь почти никто из ссыльных, отсидевших свои «червонцы», да хотя бы тот же Ваня, не сказали ничего равного по наказуемости. Тем более публично, тем более в государственном учреждении, тем более — так резко и уверенно. И вдобавок это еще было встречено сочувственным смехом присутствующих. Такая пожива для лубянских мифотворцев пропадала, такие широкие горизонты это открывало перед любым честолюбивым проверяющим из Центра (будь он на моем месте)! Как минимум групповое дело — антисоветская организация. А поскольку ее пропаганда достигла таких успехов, подумать только — дошла до рядовых людей (на то, что такие «высказывания» — отражение реальности их жизни, не могли намекнуть и высокие адресаты проверяющего — их бы самих включили в эту организацию), то в

духе времени должно было «стать ясно», что она широко разветвлена и что во главе ее стоят и «покрывают» ее (тоже любимая гэбистская формула) руководители района. А может, и области. Налицо — крупный антисоветский заговор, раскрытый благодаря бдительности проверяющего. Не сделают ли его за это министром?

Но «проверяющих» из Москвы сюда не присылали. Я не слышал ни об одном таком деле (в послевоенные времена). Конечно, знаменитое «ленинградское дело», вероятно, задело и районные кадры, но по другой причине — «заговор» сочиняли тогда по чисто верхушечной схеме. У нас в районе за время моего пребывания посадили трех человек, но колхозников и просто местных жителей среди них не было. Один из них был пожилой и спокойный немец по фамилии, кажется, Тиц, который после десяти лет лагеря вряд ли проявлялся активно — видно, тут поработал какой-то стукач из ссыльных. Второй была полуурка, оставшаяся с мужем от первого этапа, по-моему, от него остались только они и еще один человек, — она во время танцев на новогоднем вечере в клубе лихо проорала какие-то непочтительные частушки о Сталине. Третьей была тоже женщина, причем очень экстравагантная — о ней еще будет речь. Она отказалась подписаться на заем и весьма недвусмысленно объяснила причину своего отказа комсомольским активистам, предложившим ей это, — комсомольцы обиделись и донесли. Как видите, все арестованные у нас за политику были ссыльные. Колхозников не трогали.

Они, видимо, и так воспринимались как наказанные.

Только потом я понял, что если бы сельских жителей арестовывали по статье 58/10, то в стране просто бы не осталось сельского населения. И что вообще с деревней настолько не стеснялись, настолько откровенно выжимали из нее последние соки, что даже не требовали от нее обязательной для прочих граждан верной любви к партии, правительству и товарищу Сталину. Не бунтуют, и ладно — темнота! Было ли это сознательным решением верхов или просто воздействием ситуации на функционеров, не знаю. Но такое впечатление, что среди колхозников даже не вербовали стукачей. А если и вербовали, то те не знали, на что доносить. Ибо и сами брякали в том же духе — «по жизни».

Все это я понял довольно скоро — в деревне такие высказывания звучали на каждом шагу, но, конечно, еще не тогда. К этому надо было привыкнуть. И лучше познакомиться с деревенской жизнью. Впрочем, вскоре произошло событие, в этом смысле еще более потрясающее.

Мне и даже Ване делать пока было нечего. И есть тоже. По-видимому, мы продолжали жить в райкомхозе, где днем шла обыкновенная конторская работа. Так что днем нам и пищу себе приготовить было негде. И вообще деваться было некуда. Приходилось слоняться без дела. А это и скучно, и неприятно. Правда, я стал много времени просиживать в библиотеке. Но одно дело сидеть там, потому что хочется или надо по делу, а другое — потому что деваться больше некуда. У Вани и этого отвлечения не было. Теперь он уж явно собирался в Крещенку, но всё машины не было.

Мы ежедневно являлись к Патрушеву для получения денег на хлеб и узнавания новостей о нашем трудоустройстве. Однажды он нам предложил:

— А может, пойдете поставить плетень Марине Прокофьевне? Она вас и покормит.

И объяснил, что Марина Прокофьевна — жена начальника МГБ, капитана Кошелева, ныне находящегося на курсах.

Я растерялся — никакой способности ставить плетни я за собой не знал. Но Ваня взял инициативу на себя и согласился.

— Правильно, — погасил мои сомнения Патрушев, — а ты, Мандель, будешь ему помогать.

— Конечно, — сказал Ваня. — Не бойся. Я тебя научу.

И Патрушев взялся за телефонную трубку:

— Прокофьевна! Я тебе сейчас двух мужиков посылаю — плетень ставить, — примешь? Ну, хорошо. Бывай, — и повесив трубку: — Ну, идите. Вон, по правой стороне второй дом от угла.

И он в окно указал нам на этот дом. Мы вышли.

— Не бойся! — сказал мне Ваня на улице. — Я все сделаю, а ты когда надо будет, подсобишь.

Наперед скажу, что надобность в моей помощи возникала редко.

Дом начальника МГБ был действительно вторым от угла по той улице, которая была параллельна прибрежной, пер-

вым был дом начальника райотдела милиции Шевченко. Согласно топографии обе усадьбы задрами должны были примыкать к задрам клубной усадьбы, но так ли это было в реальности — не помню. Могли и чьи-то огороды врезаться между ними.

Но фасадной стороной дом начальника МГБ выходил на ту улицу, по которой мы шли. Напротив этого дома стояло двухэтажное здание школы-десятилетки, а правей, через несколько домов от школы, — почта. А еще через дом или два улица кончалась, создавала, как теперь говорят, Т-образный перекресток, точнее, упиралась в здание райкома-райисполкома. От сберкассы до дома, куда мы шли, было домов четыре-пять. Улица эта была широкой, но короткой. Собственно, это и был райцентр. Здесь были расположены главные учреждения, здесь же и жил районный бомонд.

Слово в данном контексте странное. С ним еще могла бы как-то ассоциироваться жена секретаря райкома Шейкина, преподавательница литературы. Откуда-то я слышал, что преподавательницей она была хорошей и культурной. Так ли это, не знаю — завязать какие-либо коллегиальные отношения с женой секретаря райкома нам по ее положению было не то что опасно (для обеих сторон), а просто невысказано. Но к ней, возможно, это иностранное слово в каком-то, на худой конец в ироническом смысле, могло бы иметь отношение.

К Марине же Прокофьевне, к которой мы шли, супруге одного из районных тузов, это французское определение не шло никак. При этом я не хочу сказать о ней ничего не только плохого, но и иронического. Я сохранил о ней самую теплую и уважительную память. Она была женщиной властной (не по положению мужа, а по характеру), но умной и доброй. Ни дать ни взять — мать-командирша. По положению гэбисты не имели права посвящать жен в подробности своей деятельности. Она и не вникала в них. Разве что «как следует» принимала у себя начальников мужа, когда те приезжали в служебные командировки. Своим делом она полагала вести дом и хозяйство. И то и другое у нее было в образцовом порядке, дети были ухожены и воспитаны. Нас она приняла очень приветливо и радушно. Когда мы пришли, показала, где надо ставить плетень, но через корот-

кое время позвала обедать. По природе она была простой русской бабой. Кормила часто, вкусно и сытно. Расспрашивала, выслушивала наши истории, сочувствовала, жалела нас и наших родителей. Никакой настороженности и даже осторожности она не проявляла. Словно это дом не начальника МГБ, а какого-нибудь врача или агронома, женившегося на простой женщине. Дети — мне запомнилась девочка лет тринадцати, но, кажется, был еще и мальчик — относились к нам тоже сочувственно и с любопытством — особенно ко мне как к представителю культуры и знания. Не ведаю, куда их потом занесло в жизни и кем они стали. Должность и судьба отца (его уволили из органов в годы «восстановления ленинских норм») могла поставить их в ложные отношения с людьми и ценностями. Жаль, если так случилось. Это были хорошие дети, и я не хотел бы, чтобы на их судьбе как-нибудь — влиянием или последствиями — отразилась должность, на которую выдвинули, которой соблазнили их отца.

Работа наша продолжалась несколько дней. В один из этих дней я и стал свидетелем сильной сцены, имеющей прямое отношение к затронутой мною чуть выше теме. Конюх райотдела Василий Непомнящих (дядя Вася — приходившийся в самом деле дядей Мише Зонову) привез Марине Прокофьевне бочку воды, сгрузил ее и поставил на место. Это он делал каждый день — снабжать работников райотдела водой было одной из его обязанностей. Обычно никаких разногласий по этому поводу не возникало. Но в тот день Марина Прокофьевна собиралась устроить постирушку. И поэтому, увидев дядю Васю, она выскочила на крыльцо.

— Василий, — обратилась она к нему, — привези мне еще бочку — я стирать буду.

В этом тоже не было ничего необычного. И реакция дяди Васи тоже была соответственной.

— Ладно, — ответил дядя Вася. — Только погоди маленько, завезу сначала Патрушеву, потом Лесничему (Лесничих — новый молодой сотрудник райотдела, кажется, лейтенант), а уж потом опять тебе. Тебе ить я уже одну привез.

Судя по начавшемуся диалогу, отношения дяди Васи с женой всесильного начальника МГБ были вполне простецкие и свойские. И это нисколько не коробило Марину Прокофьевну, выглядело в ее глазах вполне естественно. «Ко-

робило», точнее, задало ее другое — что воду ей привезут не по первому требованию.

— А я тебе говорю, привези сначала мне! Я стирать буду.

— Нет, — стоял на своем дядя Вася, — сначала надо Патрушеву, потом Лесничему, потом тебе опять.

И тогда вырвалось на волю то, что на самом деле волновало Марину Прокофьевну:

— Ишь вы какие! Коля уехал, так думаете, плевать на меня можно? Над семьей его измываются?

— Никто не измывается, — продолжал дядя Вася разъяснять ситуацию. — Завезу. Только сначала Патрушеву, потом Лесничему. И тебя не забуду. А ты пока из этой бочки бери. Завезу же.

Слова были разумны, но Марину Прокофьевну, видимо, и впрямь заело.

— Ах ты, гад! — кричала она вне себя от ярости. — Сви-нья неблагодарная! Забыл, как мы с Колей тебя от колхоза спасли? Забыл? Ишь ты, Коли нет — и измываться стал. Ну, погоди, придет Коля, я ему скажу — мы тебя обратно в колхоз отдадим — подыхай там!

Кричала она это в самом центре районной советской власти, в двух шагах от МГБ и милиции, в пяти от райкома-райисполкома, рядом с домом начальника милиции. Ну, допустим, начальник милиции (мы с ним однажды разговорились — не о политике, конечно) не был ни стукачом, ни интриганом. Но ведь по улице ходили люди, разные, кто-то из них мог быть и интриганом, и достаточно грамотным, чтобы сообщить властям предержавшим, как клеветает на советскую власть и колхозный строй жена того, кто по должности обязан следить, чтобы «фактов подобных высказываний», тем более публичных, не было. Ведь из ее слов выходит, что колхоз — это место, где подыхают, от чего спасают и куда опять могут отдать — на закление. Куда уж дальше? И о колхозе, и о власти.

На дядю Васю эти угрозы жены начальника желанного впечатления не производили. То есть он, конечно, знал, что колхоз — это именно такое место, от которого его спасли. И перспектива быть отданным назад в колхоз не очень расходилась в его сознании с выражением: «И подыхай там!» И знал, что хотя теоретически «отдать его назад в колхоз» уже нельзя (после того как его «от колхоза спасли», он стал

относиться к привилегированному сословию «рабоче-служащих»), но если всесильный начальник МГБ захочет, то отдаст. Все это было для него очевидностью, которую знают все. И вряд ли дядя Вася в словах Марины Прокофьевны видел какую-нибудь крамолу — ведь говорила она вещи общеизвестные, само собой разумеющиеся. И если при этом он продолжал спокойно стоять перед ней, переминаясь с ноги на ногу, и на все ее филиппики и угрозы иронически повторять:

— Ишь ты! Ишь ты! Ну конечно! Сейчас же! Тебя послушали! — то только из уверенности, что начальник — серьезный человек, мужик и такой гадости ему из-за бабьего каприза никогда не сделает. Тем более что воду-то он все равно хоть в очередь, но скоро доставит, и баба успокоится. И был, конечно, прав. Как в оценке общего положения, так и в отношении Марины Прокофьевны. В том, что ее не боялся. Она была вспыльчива, но вряд ли сама кому-либо делала зло — непосредственно или через «Колю».

Этот внешне смешной эпизод я вспомнил здесь не для того, чтоб рассказать о том, как дядю Васю обижает жена его всесильного начальника. Их взаимоотношения достаточно человечны. Оба они простые люди, а люди (и не только простые) иногда и не из-за такого ругаются. И если это не имеет последствий, кому какое до этого дело. А эта перепалка не имела последствий — дядя Вася занимал свою высокую должность и через два с лишним года, в день моего отъезда из ссылки.

Страшно не это, страшна та система отношений, которая встает за этой перепалкой, где кого-то можно «отдать» и «не отдать», где о том, что со всех полос и экранов объявляется верхом благоденствия, говорится: «от колхоза спасли» и «подыхай там!» — и все эти слова понимают однозначно, как констатацию очевидности. И терпят это, и служат этому, и воспринимают это как порядок вещей.

Так, еще ничего не узнав и не увидев, я получал представление о мире, где мне предстояло жить. Я и до того боялся попасть в колхоз, но главным образом не потому, что там плохо (хотя слухи доходили), а потому, что он был мне не по силам и не по сноровке. А тут это получило статус общепринятой констатации.

И все же безнаказанность Марины Прокофьевны была отнюдь не столь абсолютна, как для большинства остальных

ных местных жителей, то и дело «допускавших антисоветские высказывания». Она была такой же, как они, но положение ее было другим. На них давно плюнули, а на нее могли и обратить внимание. Возможно, начальники и коллеги ее мужа хорошо к нему относились, но ведь при квалифицированном доносе они могли и испугаться обвинения в покровительстве и сочувствии. И тогда бы и ей, и ее мужу не поздоровилось. Видно, просто Бог ее хранил.

Работали «мы» (конечно, «мы пахали», но все-таки и я при Ване) несколько дней, и все время Марина Прокофьевна относилась к нам по-человечески, исправно подкармливала нас. Но работа кончилась, и больше я никогда ее не видел. Это странно, живя в одной деревне, но это было так. Может быть, потому, что скоро вернулся ее муж, а частные отношения политического ссыльного с семьей начальника МГБ — вещь нелепая. Но я ее и на улице ни разу не встретил. За два года. Так получилось. Но вспоминаю я ее все равно хорошо и благодарно. За ее естественность и доброту.

После окончания этой работы Ваня Смородин почти сразу уехал в Крещенку, и больше я его тоже никогда не видел. И мало что знаю. Только смешной эпизод, рассказанный мне милой интеллигентной женщиной из нашего этапа. На воле, в Москве, она была учительницей литературы, а в Крещенке работала в бухгалтерии леспромхоза. Из-за Вани там возникла целая история. Шла подписка на заем, а Ваня ни за что не хотел подписываться. Его долго мытарили, уговаривали, уламывали и так, и сяк — отказывался. Для руководства это было неприятное ЧП — он срывал всю кампанию, портил показатели. И вот какой разговор произошел в ее присутствии в главной конторе.

— Ну чего ты упорствуешь? — сказал ему то ли парторг, то ли директор. — Выгоды своей не понимаешь! Ну, подумай сам. Ну, отдашь ты свои сто рублей. Но ведь выиграть можешь десять тысяч. А то и все сто!

— Не хочу обманывать советскую власть, — ответил Ваня.

— Что он, не в себе? — комментировала его слова рассказчица.

Нет, Ваня был вполне нормален и разумен. Немного только наивен, потому что весь его жизненный опыт (отрочество, юность и молодость) ограничивался лагерем. Ему действительно было жалко денег, не хотел сам себе сни-

жать зарплату. Больше он ничего не имел в виду. И хитрил. Я думаю, что его не посадили тогда за эту простодушную хитрость только потому, что сочли блаженным (или выдали за такого — способных прямо и равнодушно погубить ближнего было и тогда не так уж много). Но так или иначе, он был хорошим человеком — честным, работающим, доброжелательным, всегда готовым подставить свое плечо более слабому (например, мне). Таким он и остался в моей памяти.

Власть, которая способна сажать в тюрьму по политическому обвинению, всерьез допрашивать и десять лет держать за это в лагере такого человека, не стоит того, чтоб о ней говорить. Но приходится. Отнюдь не все действительно разумно.

Райпромкомбинат. Первая неудача

Примерно в тот же день, когда Ваня узнал, что есть машина, и, быстро собравшись, уехал в Крещенку (навсегда из моей жизни, но не из памяти), Патрушев договорился о том, что меня примут на работу в райпромкомбинат. И началось мое внедрение в местную жизнь.

Зачислен я был «разнорабочим». Видимо, слово «чернорабочий» было за неприличие из официального языка исключено — слова «социализм» и «черные работы» как-то плохо подходили друг к другу. А тут «разное», намек на некоторую творческую универсальность. Тем более что самому «контингенту», который занимался этими работами, на название было наплевать. Правда, местные жители, занимаясь этим, обозначали иногда свою «должность» или «круг обязанностей» как — «начальник кто куда пошлет». Но чаще говорили проще: «Я (он, она) на физической работе». Интересная деталь тогдашней сельской психологии — ни на трактористов, ни на слесарей МТС, ни на плотников, ни на столяров, ни на какое-либо вообще ремесло понятие «физическая работа» не распространялось. Характерный разговор:

— У меня брат на МТСе работает.

— Кем — трактористом или на станке?

— Не, он на физической. Не учился, так теперь что...

Вот на «физическую работу» меня и устроили. Не от подлости, не для издевательства, а просто потому, что больше

некуда было. Теперь я ночевал в конторе райпромкомбината. На первых порах ночевали там со мной еще несколько ссыльных, работавших на комбинате. Один из них был сапожник, который успел уже здесь жениться и развестись, другой просто мужик и еще два татарина — Боря и Юра. Оба были ребятами добрыми и сильными. Особенно отличался большой физической силой Боря. Незадолго до моего появления на комбинате с ним произошел следующий анекдотический случай. Парни из близлежащей деревни Вялково (километра три восточнее Чумакова) пришли его бить, дабы отучить гулять с нашими девками. Пришли и стали толпой у крыльца, вызвали Борю. Боря вышел, высокий, сильный, страшными глазами молча обвел эту толпу и прорычал:

— У-ух, хор-рошо!.. Д-дав-в-н-но я что-то ч-человеч-чины не пр-р-робовал!

И толпу вялковских мстителей как ветром сдуло.

Навели Юра с Борей страх и трепет и на председателя сельсовета Себякина. Правда, без театральных угроз. Просто Юра однажды пришел к нему по делу, касающемуся и Бори, и возник у них с Себякиным какой-то конфликт. Председатель решил взять Юру «на горло», поставить зарвавшегося ссыльного на место.

— Вы по какой статье сидели? — грозно спросил он.

— Мы? Пятьдесят восемь пункт восемь.

— А что это значит?

— Террор, — пояснил Юра.

— А кого же вы убили? — снизил тон Себякин.

— Председателя сельсовета, — невинно ответил Юра.

Председатель вовсе не был глуп, но когда здесь «действовала банда», такие факты отнюдь не были абстракцией и газетной романтикой. Мало ли что — с такими лучше не зарываться. И он тут же (от греха подальше) выдал Юре требуемые бумаги. Кстати, я совсем не уверен, что у этих ребят действительно была эта статья, а если даже была, сомневаюсь, что они действительно кого-то убили — ведь реальное политическое или квалифицированное как политическое убийство означало бы для них расстрел и исключало бы нашу встречу. Скорее всего, Юра просто разыгрывал председателя с целью получить нужное ему, и в этом преуспел. У меня с этими ребятами были хорошие отношения, они даже немного меня опекали. Потом Боря совер-

шил нечто неполитическое (что, не помню, но явно не подлость), за что его арестовали. И в местном КПЗ он сидел вместе с прокурором Шевченко (о нем чуть позже), которого привезли на суд и которому от Бори, как я слышал, здорово там доставалось. Не ведаю, знал ли об этом Боря, но, как увидит потом читатель, Шевченко это заслужил. Не как представитель системы, а сам по себе.

А пока жизнь меня воспитывала, и отнюдь не во вред мне. По-моему, в первый же вечер (или днем в воскресенье) произошло никем не замеченное по своей обыденности, но очень значительное для моей жизни событие, весьма важное для моего развития и самосознания. И при этом очень простое — в том и вся соль. Случилось это так. Мы начали готовить ужин (лагерники готовили хорошо), и один из поваров вдруг между делом обратился ко мне:

— Наум, возьми вон в углу два ведерка и набери воду из проруби.

Он сказал это просто, вовсе не стремясь меня испытать или озадачить, а тем более воспитать. Просто понадобилась вода, а тут я подвернулся. Он и обратился ко мне, как ко всякому другому. Он и внимания не обратил на эти свои слова. Сходить за водой, в его представлении (и на самом деле), было делом самым простым — бабы легко справлялись, а я хоть и не ахти какой, а все же мужик. Но я внутренне похолодел.

Райпромкомбинат стоял в правом, если по течению Омки, конце деревни. Речка тут вплотную подходила к его строениям. Но к ней надо было спуститься по косоугору, по размокшей глине, ступить на лед (летом на мостки), потом набрать воду и вернуться тем же путем с полными ведрами в руках. Я знал, что все это не проблема для любого мужика, бабы, девки или парня. Но ведь не для меня! Как я это сделаю? Я ведь не умею! В общем, воспринял я это предложение катастрофически. Я? С ведрами к реке? Из проруби воду? Мне эта задача казалась невыполнимой. Однако проявить свою растерянность я не мог — уж слишком это всеми вокруг воспринималось как ничто. И я взял ведра и пошел. Спускаться по глинистому косоугору было не совсем просто, но при некотором напряжении вполне возможно, а возвращаться с водой еще проще — тяжесть придавала устойчивости — и я, внутренне торжествуя, вернулся в контору.

Мой подвиг и мое торжество никем не были замечены и оценены. Только тот, кто меня послал по воду, буднично и опять между делом сказал: «Поставь их вон там, у печки», — и это было мне высшей наградой. Потом мне приходилось носить воду и за три улицы, и на коромысле (что легче, но мне тоже до этого казалось чем-то очень хитрым и сложным), но это уже никогда не ставило меня в тупик и не воспринималось как проблема или победа.

То же было и на работе. Мне вдвоем с кем-то дается задание — перенести длинную, широкую и высокую — в общем, нескончаемую — поленницу дров на другое место, метров на тридцать—сорок. Это дело тоже поначалу представляется мне чем-то вроде подвига Геракла, требующего вмешательства богов или мифологических героев. А себя я к таковым вовсе не отношу. Приступаю я к работе как к чему-то, чему конца не будет. Но охалка за охалкой мы переносим и укладываем поленья, и не сразу, но метр за метром сокращается одна поленница и вырастает другая. И чем явственней это видно, тем скорее движется работа. К обеду поленница уже споловинена, к концу дня (а иногда к обеду следующего дня — зависит от поленницы) ее уже нет. И становится ясным, органически входит в сознание и мироощущение смысл русского присловья: «Глаза страшатся, а руки делают».

Занимался я и какими-то другими работами. Все это было очень благотворно в плане общего моего формирования и развития личности — в общем, во многих отношениях. Но сказалось это не тогда и не там. А сказавшиеся там экономические результаты моей работы были плачевны — заработал я рублей шестьдесят и порвал две рубашки стоимостью как минимум в сто двадцать. И мог бы повторить (только с бóльшим основанием) за Колей Глазковым то, что он сказал, отработав день на мучном складе, куда его пристроили, чтобы поправить его материальные дела: «И я понял, что если так будет продолжаться, то я умру с голоду». И уволился.

Когда я отправлялся за разрешением в МГБ, работавший на промкомбинате китаец Коля попросил:

— Пойдешь в ҮМГЫБЭ, скажи насиальника Патылу-сава, один китаец в пыломкомбината тозе хочета в лесы-пылухоза ехата.

Почему он сам не мог пойти к начальнику и попроситься в Крещенку — не знаю. Ему бы в леспромхозе точно было бы лучше, а таким переводам не препятствовали. Лишь бы человек был при месте.

Но все это было потом, когда я уже жил на квартире. А пока я жил в конторе и знакомился с людьми. В конторе, где я спал, часто задерживался бухгалтер, солидный человек, по-моему, раненый фронтовик. Звали его все по имени-отчеству, но я их забыл. Человек он был умный, явно честный, но ему, как он выражался, не хватало образования. Например, он не умел обращаться с дробями. Но он обходился и без этого образования, ибо виртуозно владел обыкновенными конторскими счетами и производил на них самые головокружительные операции. С удовольствием мне это демонстрировал, поскольку поначалу относился ко мне несколько настороженно, как к человеку более грамотному. Потом прошло.

Безусловно и это — исторический тип, человек и поднятый, и обделенный, ученный и недоученный «культурной революцией в СССР». На уровне бухгалтера райпромкомбината он вполне справлялся со своими обязанностями. Но сколько таких людей, оторванных от корней, от своего уровня, но не вышедших на другой уровень, хотя и выдвинутых на еще более высокий (большевики, и особенно Сталин это любили), вынуждены были защищать свое (на самом деле, не свое) место в жизни, инстинктивно навязывая свой уровень всей жизни и культуре. Их комплекс неполноценности выразился в той какой-то непререкаемой надменности, которая застыла в их глазах на их портретах. Но это рассуждения об историческом типе. У этого бухгалтера ничего подобного не было, был он человек скромный и добросовестный. И отношения у нас сложились хорошие.

У него я однажды видел ведомость на зарплату (кажется, он попросил меня что-то проверить и пересчитать) и прочел в ней полное, как всем вокруг, вероятно, казалось, имя китайца Коли, что меня, конечно, очень позабавило. И вот чем. Звали Колю по-китайски, допустим, Кай Линджун. Не знаю, есть ли такое китайское имя (точнее, имя и фамилия вместе), но я говорю только о фонетической схеме — откуда взялся «Коля». В лагере для краткости и понятности он приспособил свое, допустим, «Кай Лин» под Колю.

Но здесь «Кай Лин-джун» было, конечно, принято за фамилию. Это естественно — я до пересылки тоже так считал. А раз так, то нельзя же было, чтоб человек в официальном документе числился только по фамилии. Тем более что все знают, что он Коля. Но опять-таки — не именовать же человека в официальном документе «Коля» — он не маленький. Вот и появился в ведомости «Кай Лин-джун Николай». Так «Кай Лин» (или нечто подобное) превратился в Николая. Впрочем, на «Николая» Коля и в быту откликнулся вполне естественно. Деревенские люди в разговорах, обращаясь друг к другу, часто употребляют полные имена. А «Николая» уважали — работник он был отменный и безотказный.

В совершенно невероятных его рабочих качествах я убедился года через полтора, когда некоторое время опять вернулся на комбинат и работал при пилораме — вместе с Колей подносил и закреплял бревна, подлежавшие распиловке. Эта работа лимитирована пропускной способностью машины, и я с ней в общем справлялся. Но однажды возникла потребность очистить яму, куда сваливались опилки, и Коля вполне простодушно предложил это сделать мне. Я не менее простодушно взял деревянную лопату, залез в яму и стал выбрасывать оттуда опилки вверх. Это было мне очень тяжело, набиралось трудно и мало, опилки летели обратно, мне в лицо, я быстро упарился, а дело шло медленно. Если шло вообще.

— Ты сиево делаиси? Отойти! Не так надо! — крикнул мне Коля и, прыгнув в яму, отобрал у меня лопату. И — заработал. Но как заработал! Я видел, как выполняют тяжелую работу русские, когда хотят, и работа спорится (участвовал тоже, но без соответствия). Работают хорошо, с азартом, красиво. Но Коля работал не так — он работал, как экскаватор, который в начале работы включили на полную мощность, а в конце выключили. Ажник страшно стало. Такой работы я больше нигде и никогда не видел, хоть по миру поездил достаточно. Такой он был работник. Естественно, и относились к нему соответственно.

Николай вообще вращался в жизнь сибирской деревни. К тому времени он, по-моему, уже был женат на местной женщине и вполне обжился. Его чудовищный русский язык все понимали, и он всех понимал. О политике он обычно не разговаривал, но не скрывал, что недоволен советским

уголовным кодексом. Собственно, не кодексом вообще, а тем, что там есть статья о контрабанде.

— Сито такой контылабанда? — искренне возмущался он. — Я купила, тебе нада, ты купила — сито такой контылабанда!

Из этого я заключил, что за Колей почти за единственным из встреченных мной все-таки было нечто, содержащее хоть какой-то состав преступления. Разумеется, наказание намного превысило преступление, но у других и преувеличивать было нечего. Правда, удивительно, что не воспользовались возможностью вклеить ему и шпионаж — он ведь нарушал нашу границу, а тогда внушалось, что такое совершается только с целью шпионажа или диверсии.

Много позже я однажды слышал от одного из уроженцев тех мест, что контрабанда на Дальнем Востоке до войны никогда не прекращалась. Старики из его деревни и из окрестных приграничных поселений, зная места и имея давние связи, запросто ходили через границу за китайской дешевой водкой, и, наверное, не только за ней (правда, до войны — при коммунистах ходить стало не за чем). Как говорил этот человек, пограничные власти знали про это, но мирились, не видя в этом особой опасности. Видимо, старики особо не нагличали, обслуживали только самих себя, а контролировать всю границу у командования все равно не хватало сил. Может, эти связи и тропы использовались самим командованием — ведь наши разведчики тогда ходили в Харбин и дальше (это я знаю от бывших харбинцев, живущих в Америке). Но, видимо, какие-то меры против того, чтоб эти «местные контакты» не стали взаимными, судя по Колиной судьбе, все-таки принимались. А может быть, Коле просто не повезло. Но вообще в моем сознании не укладывалось, что можно из экономических соображений идти на такой, я бы сказал, тотальный риск.

Рядом с главным зданием тогда (потом комбинат разросся и даже был перенесен в другое место) была расположена небольшая избушка. В ней жили и работали двое ссыльных. Оба они были моими приятелями, хотя помню я только фамилию одного (Тихомиров) и имя другого — Леша. Тихомирову шел пятый десяток, относился он к жертвам тридцать седьмого. Был он то ли инженером, то ли техником, но главным образом — народным умельцем, причем

таким, который любил и умел применять книжную премудрость на практике. Сейчас он занимался организацией мелкого кожевенного производства — потому его сюда и взяли. Леша был его помощником и ассистентом.

За что посадили Тихомирова — забыл. Было какое-то банальное глупое обвинение — политикой он и теперь не интересовался. Был умен, порядочен, не шибко образован, но и совсем не темен. Может быть, в прошлом был военным. Однажды зашел разговор о войне, не о конкретной, а вообще. Я что-то говорил о роли сознательности.

— Конечно, но в конкретной ситуации еще что-то. Вот помню, во время Гражданской войны я стою перед красноармейцами, положение тяжелое, я им что-то разъясняю. Слушают, но все подавлены, и поделать я ничего не могу. Не действует. Но служил со мной один бывший кадровый офицер, он взял меня тихо за руку и говорит: «Нет, так не пойдет. Не так надо. Вот смотри!» И вышел вперед, встал, бравый, строгий, оглядел строй и сразу: «Здорово, орлы!» Только и всего. Но орлы это ж не вороны! — все и встрепнулись. Ну а дальше сказал то, что следовало.

Из этого выходило, что он воевал в Красной Армии. Но на миг мне почему-то показалось, что происходило это все в армии Белой. Но отношения моего к нему это не изменило. Его в этом эпизоде привлекала не ориентация, а профессиональность, знание дела.

Леша, его помощник, не имел никакого отношения к тридцать седьмому и отсидел не «червонец», а только пять лет — тогда ведь и впрямь казалось, что это «только». Но история его была более красочной. Году, кажется, в сорок втором он попал в плен. Голодать ему не хотелось и, когда предложили, согласился поступить в германскую разведшколу. Окончил курс и, не возбуждив подозрений, был заброшен куда-то под Самару с рацией, шифрами, документами, пятью тысячами рублей и заданием. Распорядился он этим так. Рацию до времени спрятал, деньги в спешном порядке пропил (чтоб зря не пропадали), а потом явился в ближайшее отделение милиции и доложил. После чего и получил свои пять. Он говорил, что и все, кто так поступал (а их было немало), получали столько же. За что? Родине они не изменяли и не собирались изменять, вреда ей не приносили и не собирались приносить, наоборот, прино-

силы сведения о противнике, шифры и если не явки, то пароли. Они ведь шли и приходили к своим. На этом основании наша разведка могла успешнее вести дезинформирующие радиогры с противником. В любой стране им бы спасибо сказали. Но наша была подчинена паранойе Сталина, а у него, как мне уже приходилось отмечать, не было своих.

Раз человек попадал в плен, а не кончал самоубийством, значит — он изменил лично Сталину и подлежал государственной мести. Видимо, наряду с убеждением, что все простые люди по природе и обязанности должны были быть в него влюблены, в его сознании не умирало подозрение-понимание, что особых оснований для такой любви у них нет. Отсюда следовало, что человек, насмотревшийся на то, чего советским людям видеть не положено, обязательно должен был прельститься этим и вполне мог прийти с заданием. В связи с чем Леша автоматически получил свой «пятерик», потом не менее автоматически, как все лагерные «политики», ссылку до особого распоряжения (благодаря чему мы теперь и встретились), а через год, по получении этого «распоряжения» — тоже как все наши лагерники — ссылку вечную.

Это действовала черная наивность параноика. Голубая наивность игнорирует и не понимает дурных человеческих качеств, а черная — хороших. И то и другое ведет к просчетам. И наоборот. Вождь стимулировал подлость, но подлость и его предала, когда прошло его время.

Естественно (для меня тогдашнего, а вообще противостоит естественно), хотя я и сочувствовал Леше, все-таки считал происшедшее с ним малозначительным на фоне имеющих быть великих свершений.

Но это не сказывалось на личных отношениях. В тех условиях людей сближает не мировоззрение, а человеческая суть — порядочность, человеческая достоверность. С Тихомировым и с Лешей я сразу подружился, мы вместе готовили пищу, вместе ели, много разговаривали. Хорошее отношение и доверие друг к другу сохранялись у нас и потом, когда мы общались уже не так тесно и часто.

Заканчивая рассказ о райпромкомбинате — о первой попытке моей трудовой деятельности в ссылке, — я не могу обойти молчанием двух его руководителей — замдиректора

Александра Иванова (все его звали просто Сашей) и директора Светюкова — имя-отчество забыл. Не как о руководителях — по своей производственной незначительности в производственные отношения с ними я не входил, — а как о людях. Начну с Саши Иванова.

Был он фронтовиком и инвалидом войны, вернулся с фронта без руки. Но при этом совсем не выглядел инвалидом. Ни по повадке, ни по виду, ни по общему впечатлению. Был он очень силен физически, высок, строен, держался прямо, и если случалось, никакой физической работой, несмотря на свое положение и медицинские показания, не брезговал. Скорее брезговал обращаться к кому-то по мелочам — говорю о производственных, а не о личных нуждах. Разве что просил подсобить, когда не было другого выхода. Например, меня один раз, когда понадобилось распилить бревно. И даже стойчески вынес мое неумелое партнерство — ровно пилить я так никогда и не научился. Сказывалась естественная для него благородная снисходительность более сильного к более слабому. Но была у этого сильного и гармоничного человека противоречащая всему этому слабость — не врожденная, а приобретенная: вывезенный им то ли с фронта, то ли из госпиталей антисемитизм.

Выражался он в основном декларативно.

— Везде я бывал, всяких людей видел, хуже еврея никого нет.

Каких евреев он видел, что они ему или на его глазах другим сделали — он при мне никогда не прояснял. Помоему, он их вообще видел мало и вряд ли бы знал, что я еврей, если бы я сам не сказал и если б это не значилось официально. Скорее всего, я был первый еврей, с которым он непосредственно имел дело. И однако, та фраза: «Везде я бывал, всяких людей видел, хуже еврея никого нет», — чаще произносилась именно при мне и со значением, с желанием меня задеть и обидеть — не за то, что я совершил, а за то, чего от меня, по его представлениям, следовало ждать. Он как будто искал во мне доказательств правильности своего предубеждения.

И при этом реальный факт — что я плохо умел пилить — не воспринимался и не выдавался им за мою хитрую попытку уклониться от работы, хотя вроде бы это само напрашивалось... И понятно почему. Это происходило на его

глазах, как бы вместе с ним, он чувствовал мою напряженную добросовестность и неловкость и относился к этому по-доброму — опять-таки как сильный к слабому. Но без всякого повода, вообще — он про меня «все знал и понимал». И позволял себе высказывать это.

А однажды, через год или два, он это реальное доказательство моего непотребства получил. Произошло это так — в жаркий вёдренный день, в самую страду, когда все вокруг были на работе, он обнаружил меня лежащим раскинув руки на травке у одного из домов строящейся деревенской улицы. Это возмутило его до крайности. Не административно — я уже давно не работал в райпромкомбинате, — а просто по-человечески.

— Ты что лежишь? Работы, что ли, кругом мало? И как не стыдно! — лежит, и хоть бы что! Трютень!

Не знаю, знал ли он, как правильно произносится это слово, но «трютень» вместо «трутень» как-то особенно резко выражало его презрение и отвращение. Больше всего его раздражало и приводило в ярость то, что, несмотря на все эти филиппики, я так и продолжал лежать, раскинув руки. Это ему казалось крайней наглостью. А было это крайней усталостью. Мы в это время строили дом, под солнцем месили глину для самана, и я совершенно выдохся.

Мы с товарищем оторвались от работы, нам надо было сходить по делу, он зашел по дороге — по делу же — к знакомому, а я его ждал и пока отдыхал. За этим грязным делом меня и застал Саша. И небось лишний раз убедился, что все, что он о «них» слышал, — правда. Он не знал, в чем дело. Если бы знал, воздержался бы от своих филиппик. То, что я устал, работая на себя, а не на государство, его бы не оскорбило. Во-первых, строительство дома для себя было в его глазах делом серьезным (а кому ж его строить), а во-вторых, он прекрасно понимал, что моя работа при моей производительности имела смысл только при строительстве собственного дома (или в порядке помощи другому), ибо там — что ни сделаешь, все на пользу, поднес кирпич — и хорошо, он назад не вернется. А то, что не так быстро и не так много, — не суть важно. Работа конечная. Все помощь. А работать так на производстве — проработаешься. Он мог попросить меня подсобить, когда пилил, но вряд ли ему бы пришло в голову определить меня в пильщики. Раздражало его не то, что я работал на себя, а что,

как ему казалось, совсем не работал, лодырничал. Мне до сих пор жаль, что он так ко мне относился, видел и в упор не хотел понимать, что я есть я, а не то, что он слышал неизвестно о ком. Жаль, что произошел этот досадный эпизод с «трютнем». Жаль, потому что я до сих пор ощущаю Сашу Иванова хорошим и даже справедливым человеком. Больно сознавать, какую большую власть над людьми и человеческими отношениями иногда приобретают внушение и предубеждение.

Директор райпромкомбината Светюков был человеком совсем иного склада и калибра, чем его заместитель. Не скажу даже, умнее — тот тоже не был и не казался глупым, но сложней и образованней. На нынешнюю свою должность он был смещен с поста председателя (или заместителя председателя) райисполкома — следовательно, относился к районной партноменклатуре.

Кстати, о партноменклатуре — не в связи со Светюковым. Именно в Чумакове я впервые столкнулся с этим явлением и даже словом — в Москве это было не столь наглядно. Любой снятый с должности — в том числе за пьянство и развал работы — районный руководитель (если речь о номенклатуре районной) никогда не превращался в ничтожество, а переводился на другую, тоже руководящую работу. Не так уж редка была такая картина. Ходит по селу некий деятель, которого только что со скандалом сняли, а на вопрос: «как дела?» с достоинством отвечает, что ему еще не подыскали подходящую работу, — та же, которую предлагают, ему не подходит. Конечно, слишком много выкобениваться нельзя было — «решала партия», а ей следовало подчиняться, — но все-таки. Принадлежность к партноменклатуре (правда, с этим я столкнулся не тогда, в Чумакове, а чуть позже, в Караганде) иногда освобождала и от уголовного преследования. Объявлялось, что человек уже получил партийный выговор, а это для коммуниста (особенно воровавшего или бравшего взятки. — *Н.К.*) страшной любого другого наказания. Его и не наказывали. Еще это у них считалось чутким отношением к человеку. Забывали только добавить: «принадлежащему к номенклатуре».

Интересна история этого термина. В одном документе, извлеченном из Смоленского архива и датированном началом тридцатых, Западный (Смоленский) райком ВКП(б) сообщал районным руководителям, что в связи с ухудше-

нием продовольственного положения часть актива приходится снять с дополнительного снабжения. Предлагался ряд мер для смягчения их участи. В заключение предписывалось «номенклатуру товарищей», оставляемых на дополнительном снабжении, представить в крайком к такому-то числу. Так что номенклатура с самого начала — это товарищи по снабжению (или другим привилегиям). Видимо, так это началось, а потом привилось и развилось, стало неграмотной сталинской попыткой создать опору трона — правящее сословие наподобие дворянства. Дворянства из него не получилось. У дворянства было больше личных прав и гораздо меньше безнаказанности. Получился — особенно наверху — клубок змей. Прежде всего потому, что в такой атмосфере лично нуждался создатель номенклатуры. А из клубка змей сословия не создашь.

Но Светюков был не сословием, а человеком, и человеком, мне симпатичным, — в сословие вообще попадали люди, и о каждом следует судить отдельно. Я согласен судить сословие, но не согласен судить за принадлежность к нему. Тем более что у многих тогда она складывалась стихийно, они попадали в него, заранее даже не подозревая о его существовании — просто росли по службе (а куда еще было девать свою активность, тем более в таком Чумакове?) и на каком-то уровне оказывались в сословии: получали ежемесячные тайные конверты с дополнительными зарплатами, другие секретные блага и... некоторую «непотопляемость». Разумеется, многих это развращало, но как кого.

Безусловно, я вызывал любопытство Светюкова — вызвал еще до Кульчи, на «смотринах» в МГБ. Может быть, даже тем, что он почувствовал искренность моих интеллектуальных усилий оправдать строй. А человек, за плечами которого был опыт председателя райисполкома, очень нуждался в таком оправдании. И мы несколько раз осторожно беседовали — применяли к нашей действительности марксизм, насчет которого он тоже что-то соображал.

Однажды я спросил его, почему теперь (я знал это по газетам) идет борьба за расширение посевных площадей. Ведь людей не хватает. Не лучше ли сконцентрировать их на меньших площадях, но интенсивней обрабатывать поля? Он ответил — этого ответа я никогда не забуду:

— Внешне вы правы... Но диалектически получается, что выгодней расширять.

Так вот — думаете, я рассмеялся (хотя бы в душе)? Нет, я понимающе кивнул. Конечно, представить этого я себе не мог, но многое в нашей жизни получало объяснение только через «диалектику». Я привык к этому. А он? Думаю, что тоже. Конечно, он мог так ответить мне просто чтоб отвяжаться — разговор приобретал опасноватый оттенок. Тем более это было в тон мне. Но ведь вопрос этот был реальным и не мог не вставать перед ним и до этого разговора. Его ответ, как и мое согласие с ним, были глупостью. Но как мы еще могли объяснить себе это глупое мероприятие? «Мы» — потому что при всей разности наших биографий и «статусов» он находился в том же положении, что и я. И думал — а склонность думать у него была — примерно так же, как говорил.

Конечно, деятелю сталинской эпохи сподручней было бы вообще не думать — но не все это умели. И старательно думали глупости. Как я, например. И как секретарь райкома Шейкин, к которому я приходил однажды за помощью как к единомышленнику. Он тоже не был темен, не показался жлобом, но тоже отговорился какой-то диалектикой. А что ему было еще делать? Сковырнуть советскую власть или Сталина? Но ведь я и сам бы тогда наотрез отказался участвовать в таком предприятии. Мы все ходили под Богом, точнее, под тем, кого принимали за Бога — под его имитатором. А имитатор Бога (Imitator Dei) — это, как известно, дьявол, сатана. Кто-то из нас потом из-под этого выбрался, кто-то навсегда в этом погряз. Но это уже не имеет отношения ни к Светюкову (дальнейшая судьба которого мне неизвестна), ни к райпромкомбинату.

Просветление во тьме

Эта глава или подглавка очень важна для меня. Она о том, как я отказался от своей «личной версии» плененности сталищиной. Поскольку она была усложненной, то и освобождение от нее было непростым. Вероятно, и рассказ об этом будет утяжеленным — тут без общих рассуждений не обойтись. Но я ведь и пишу для тех, кому это интересно. Итак, продолжаю.

К моменту ухода из промкомбината я жил уже на частной квартире. Ее нашла мне Б.Г., которая не раз будет поминаться в этой главе. Познакомила меня с ней моя одно-

этапница Лида Стасюк, бывшая студентка Ленинградского института физической культуры им. Лесгафта, а сама Б.Г. прибыла в Чумаково, когда мы были в Кульче — со следующим после нас этапом. Как с Б.Г. познакомилась сама Лида, к этому времени работавшая медсестрой на периферии (в дальней деревне Черный Мыс), — не помню. О существовании Лиды я узнал раньше, чем получил какое-либо представление о ней. В Свердловске на пересылке на стенке прогулочного дворика я прочел интригующую записку (или просто надпись): «Лида Стасюк едет в Новосибирск». Познакомился я с ней только на станции Кожурла. Она оказалась очень милой, еще молодой женщиной около тридцати лет. И тоже жертвой тридцать седьмого года. Тогда ей соответственно было около двадцати. Она и теперь была очень недурна, а тогда — и говорить нечего. Короче, она наслаждалась всем этим: молодостью, здоровьем (как-никак студентка Института Лесгафта), красотой, производимым впечатлением. Никакой вольности поведения у нее не было и в помине — да это и не в моде было тогда, — но она очень любила танцевать и вообще светскую жизнь. Не только о политике, но и о том, что вообще происходит рядом, не думала. Именно поэтому она с радостью откликнулась на чье-то — кажется, какого-то финского гражданина — приглашение провести вечер в финском консульстве. Она имела там успех и стала исправно посещать тамошние вечера и особенно «файф-о-клоки». И — цвела. Тем более что до определенного времени это допускалось. Но она пропустила рубеж, когда это время кончилось. И ничего не поняла, когда однажды в институте ее вызвали к выходу, а когда она вышла, там никого не оказалось, кроме трясущегося от страха швейцара.

На следующую, кажется, ночь ее арестовали. Естественно, как финскую шпионку. Не помню, дали ей полный шпионаж или только ПШ (подозрение в оном), но это и неважно — на сроках заключения это различие не отражалось. Такими и были в основном жертвы «патриотического» (по мнению нынешних националистов) «тридцать седьмого». Не относилась она ни к еврейской, ни к революционной, ни к интернационалистической среде. Более того, отец ее до революции служил боцманом на императорской яхте «Штандарт». После войны его стали даже за это «подни-

мать» как ветерана русского флота, а тогда это еще не котировалось — тогда его вполне могли за это приспособить к делу. Достаточно было только «правильно» осветить факты. И стало бы ясно, что ходила она в консульство не просто так, а по его заданию — он через нее пытался восстановить контрреволюционные связи. И все. Ясно как день. Как обыкновенный ясный день тридцать седьмого года. Почему-то не приспособили — руки не дошли. А может, и не знали. В блокаду несчастье дочери спасло жизнь ее родителям. Они накопили много сахара — для посылок в лагерь. И тем спаслись, когда Ленинград был отрезан. Так тоже бывало. Так вот эта Лида и познакомила меня с Б.Г.

Б.Г. была много старше и житейски опытней, чем я. Мой образ жизни ее ужаснул, и она взяла надо мной опеку. Она то и устроила меня на квартиру. Потом наши отношения стали и ближе, и сложнее, мы вместе жили, но об интимной стороне отношений я говорить не буду — не вижу смысла в такой исповеди. Не называю даже имени этой женщины, которой за многое благодарен, ограничиваюсь обозначением Б.Г. Выяснить, кто это, наверное, можно, но я далеко не Пушкин, и имею основания надеяться, что у научной пытливости не появится искушения разгадывать эту загадку. Во всяком случае, я ей в этом не помощник. Не стоит копаться в отношениях женщины, которой время изрядно поломало жизнь, с юношей, оторванным (может быть, навсегда) от своей среды и предназначения. Но говорить об этой женщине я буду потому, что отношения наши были, при любой сложности, дружескими и тесными, касались многого, представляющего общий интерес. Б.Г. из моей тогдашней жизни не выбросишь. Да и желания нет. Только хочу отметить — когда Б.Г., так сказать, «брала мою судьбу в свои руки» и начинала устраивать меня на квартиру, дальнейшее развитие наших отношений еще не проглядывалось: она просто выручала интеллигентного мальчика, мало приспособленного к решению практических вопросов бытия, которые, тем не менее, настоятельно требовали решения.

«Снять квартиру» (то есть стать квартирантом) в Чумакове в принципе не было тогда делом сложным. Материальные возможности для этого у меня были, ибо родители регулярно присылали рублей триста в месяц. Сумма эта там, откуда ее присылали, была очень небольшой (в первую же

послесталинскую реформу они были сразу превращены в тридцать), но в послевоенном Чумакове она была достаточной для безбедного существования. Ибо там, откуда их присылали, платили за работу деньгами (достаточными или нет — другой вопрос), а большинству сельских жителей за работу денег не платили вообще, но в то же время налоги с них требовали, и деньгами. Да и вообще деньги людям, даже живущим «на всем своем», бывают нужны. Хоть какие-то. Вот они и продавали по дешевке свою продукцию на базаре. Квартиры и услуги стоили там недорого тоже поэтому. Об этой системе еще будет речь, но если б она была другой, я бы там не выжил. Правда, я бы и в ссылке не оказался.

Но так или иначе, найти квартиру в Чумаках было вполне возможно. Но я не знал, как за это взяться. Б.Г. это сразу поняла и взялась за это сама. Решила она эту проблему просто — решила поселить меня в доме, где уже квартировал «на всем готовом» один ее одноэтапник. Дом этот был расположен на том же краю деревни, что и райпромкомбинат, где я тогда трудился, только на противоположной стороне улицы, в этом месте расширявшейся — в расширении помещался небольшой базарчик, функционировавший только по воскресеньям. Б.Г. однажды после базара зашла к своему одноэтапнику посмотреть, как тот устроился, и ей очень понравилась его хозяйка. И когда перед ней встал вопрос о моем жилье, она сразу вспомнила об этой женщине. Навестила ее, договорилась о плате (с готовкой и даже стиркой) и привела меня. Хозяйка эта, если мне не изменяет память, Федосья Максимовна, действительно была очень славной женщиной, с приятным, милым лицом, так и лучившимся добротой и сочувствием.

И я стал жить в этом доме. Жил я в нем недолго, но это был первый дом, в котором я жил. Жил, окруженный радостью и заботой Федосьи Максимовны — «как у себя дома». Она вносила дрова, топила печь, варила, стирала, убирала, среди ночи вставала и быстро растапливала докрасна «железку» — железную печурку, стоявшую посреди избы, — когда казалось, что изба начинает выстывать. После чего сама падала на пол, поскольку жара становилась невыносимой. В этом она была неоригинальна — это вообще было местной особенностью.

Сибиряки легко переносят холод на улице или в лесу, а намерзшись в дороге и еще не войдя в дом, пьют в холод-

ных сенях воду со льдом из стоящей там бадьи (сам так делал, и с удовольствием), но не выносят малейшего намека на прохладу в доме — особенно ночью. Так или иначе, дел у Федосьи Максимовны было по горло. Она вела дом и ухаживала, в сущности, за тремя мужиками — двумя квартирантами и стариком отцом. И все это она проделывала легко и естественно, словно это не стоило ей труда, а только доставляло удовольствие. Неудивительно, что хорошие отношения с ней и у меня, и у Б.Г. сохранились до самого конца.

Выражение «как дома» преувеличено только в том смысле, что сидеть и маяться целый день без дела на глазах у людей — хозяйки и ее отца — все равно тошно. А после ухода из комбината я часто именно этим занимался, не знал, куда себя девать. Тем более что изба была не пятистенная, а однокомнатная, без горницы — и все всегда были друг у друга на глазах. Правда, я много времени проводил в библиотеке, но потом стал брать книги домой. В общем, дома я бывал все-таки подолгу.

Тем временем началась настоящая зима, задула пурга, скорость ветра — пятнадцать и более метров в секунду. Ничего подобного я до того не видел и не испытывал. Ты идешь и упираешься в воздушную стену,двигающуюся навстречу. Пробираться приходится боком, чтоб меньше парусить. Но порой внезапным порывом тебя все равно подхватывает и относит метров на десять, а то и больше назад. Такие погоды были несколько раз за эту зиму. Как ни странно, в следующие полторы зимы, проведенные мной в Чумакове, таких ветров не было больше ни разу. Я слышал, что и в последующие годы этого тоже долго не было. Климат, что ли, изменился от всяких насилий над природой? Впрочем, недавно вроде такие ветры опять вернулись — так что, может, климат изменился, но на время.

А тогда я воспринимал это как данность, и эта данность мне даже нравилась. Сибирские ветры, сибирские морозы — а что еще должно быть в Сибири? Все нормально и, в общем, нестрашно — «Сибирь ведь тоже русская земля». Тем более что возвращаешься домой, а в доме светло и чисто, жарко натоплено — сразу отходишь. Чувствовал я себя хорошо и бодро. Вот только девать себя все равно было некуда.

Вот обычная картина. Я сижу на топчане или за столом, если он свободен, — читаю или пишу. Федосья Максимов-

на возится по хозяйству, старик, ее отец, лежит на печи. Больше молчит. Но если включено радио, он занимается тем, что на гэбистском языке называется «клеветнические комментарии». В основном на сельскохозяйственные темы.

Например, диктор заливается:

— Мы сейчас стоим у комбайна, на котором комбайнер Василий Уланов только что убрал двести гектаров...

— Ну да! Стоять-то легко, — комментирует дед.

Это, конечно, тоже оскорбление советской прессы, но еще куда ни шло. Но вот диктор деловито сообщает, что в таком-то колхозе люди хорошо потрудились и получили на трудодень по пять (а то и по десять) килограммов зерна.

— Ври больше! — осаживает диктора дед. Но тот не слышит и продолжает. То, что радиотарелка — прибор без обратной связи, спасает и диктора, и деда. Диктора от неловкости, а деда от более крупных неприятностей. А машина вертится. Возможно, тому, что говорилось о кознях Америки, дед верил — не помню. Скорее всего, он этим просто не интересовался.

Но вот интересная деталь. Однажды мне захотелось почитать Библию, и я спросил Федосью Максимовну, не знает ли она, у кого можно ее одолжить на время. Ответила она мне как-то даже испуганно:

— Да нет... Что ты, Наум! Это тут старики были... Собирались, толковали... Мой к ним не ходил.

Здорово тут, видимо, в свое время давали шороху по борьбе с религией, если до сих пор у вполне разумной женщины такой рефлекс. Странная вещь! Сколько я здесь уже слышал самых резких высказываний про жизнь, про порядки, про колхозы и даже про власть. Об этом говорили что вздумается. А вот чтоб говорили о Боге — не припомню. Не то чтобы я сам был тогда сильно склонен к таким разговорам, но — не слышал. От местных. Ссылные сектанты иногда нарушали это, уже анахроничное, — о чем местные не догадывались — табу.

Вторым квартирантом Федосьи Максимовны был знакомый Б.Г., сапожник-заготовщик*, Лазарь Цанкер. Заготовщик — это была его первоначальная профессия. В момент ареста был он профессором, преподавателем марк-

* Заготовщик создает «заготовки» — другими словами, голенища сапог и верхние части любой другой обуви.

сизма и вел историю партии в одном из брянских институтов. К своей первоначальной профессии пришлось ему вернуться в лагере. Звал я его тогда, конечно, по имени-отчеству (он был лет на двадцать старше меня), но отчества его я точно не помню. Похоже, что Осипович. Так и буду его здесь именовать.

Трансформации Лазаря Осиповича из сапожников в профессора и обратно происходили вполне в соответствии с этапами развития большевистской революции. Начать с того, что заготовщиком он был не в России, а в Польше, где он родился и приобрел эту хорошую профессию. С ней он мог бы неплохо жить и дальше, во всяком случае, до самой войны. И даже потом, если бы как беженец или житель Восточной Польши оказался в СССР частным гражданином. В этом случае, уйди он с армией Андерса или останься в СССР, профессия эта все равно помогла бы ему выжить.

Но судьба судила иначе — он уверовал в коммунизм и вступил в польскую (подпольную) компартию. И поэтому вскоре — то ли спасаясь от полиции, то ли по другим причинам — перешел вождеденную советскую границу и прибыл в отечество трудящихся всего мира. Тогда, году в 26—27-м, переходящих границу коммунистов встречали еще не как шпионов и тайных агентов империализма, подлежащих немедленному аресту и разоблачению, а как товарищей по борьбе, которым надо оказывать всемерную помощь. Цанкера повезли в Москву и определили учиться в одно из наиболее привилегированных тогдашних учебных заведений в стране — Коммунистический университет народов Запада (был еще и народов Востока — там учился, например, Чжоу Эньлай). Поскольку заведение было сугубо партийным, а прибыл Лазарь Цанкер на родину трудящихся в самый разгар внутрипартийной борьбы, то есть разгрома оппозиций, то его воспоминания об этом университете были в основном переполнены ее перипетиями.

По его рассказам выходило, что все эти коммунистические студенты, и он в том числе, всегда и неизменно поддерживали генеральную линию. Ни я, ни он еще тогда не знали, что это к тому времени было давней традицией интернационалистов, живущих в Москве. Точнее, сознательным, хоть и неофициальным решением работников

Коминтерна: «мы должны поддерживать ту фракцию, которая победит» (читал я это, кажется, у итальянского «рenegата» Силоне).

Впрочем, у Цанкера и его товарищей это получалось стихийно — по-видимому, не могли они представить, что в отечестве трудящихся может побеждать неправая сторона. И всю мощь диалектики обращали на то, чтоб доказать себе и другим, что побежденные неправы. И поддерживали победителей — с энтузиазмом освистывали всех лидеров всех оппозиций, которые почему-то являлись к ним за интернационалистическим сочувствием. Кстати, оппозиций этих было гораздо больше, чем поминалось в «Кратком курсе» (например, были оппозиции Стецкого-Марецкого, «комсомольская», «толмачевская», о которых я никогда не слышал). И еще какие-то. Рассказывал Цанкер, как освистали они однажды и самого Бухарина. Тот постоял, помолчал и ушел.

Если б я тогда знал то, что знаю сегодня, я бы поинтересовался, как им, таким шустрим, стало известно, что Бухарин — оппозиция. Ведь он защищал то, что только что, на последнем съезде, было объявлено генеральной линией, а Сталин объявлял его оппозиционером, нападая с позиций, только что объявленных оппозиционными. Но я тогда этого не знал. Хотя и тогда мне пришла в голову шаловливая мысль: а как бы еще мог общаться Цанкер с Бухариным без помощи свиста? Бухарин был хоть и заблудшим, но интеллектуалом, а Цанкер — грамотным, но уверовавшим ремесленником. Далее, страну эту Бухарин хоть как-то, но знал и чувствовал, а Цанкер — никак. Как же тут спорить без свиста? А ведь по природе Цанкер был человек и добрый, и честный. Прошу национально мыслящих читателей, если такие будут, отметить, что он хоть и Лазарь, и Цанкер, и интернационалист, и даже впрямь не знал и не чувствовал страны (тогда — потом пришлось и познать, и почувствовать), неизменно, как и все его товарищи-интернационалисты, и голосовал, и бесился исключительно за «патриотического», «русского из русских» (по выражению казака Кондратенки) Сталина, а не за всякого рода «интернационалистов» типа Троцкого, Зиновьева, Каменева (и Бухарина тож, хоть он и не еврей).

Эта верность вождю при любом изменении его программы и его «генеральной линии» не прошла у Лазаря Осипо-

вича и после окончания университета. Его отправили не «поднимать восстание в тылу» (А.Копштейн), то есть среди «народов Запада», к чему вроде готовили, а преподавать марксизм и историю партии в одном из институтов города Брянска. Там он сразу или спустя срок и стал профессором. Естественно, он оставался и партийным активистом, был на хорошем счету и по-прежнему все одобрял. Такая у него была вера. Казалось бы, странная на обычный взгляд, но обычная в то сумасшедшее время. И не то чтобы ему так уж нравился Сталин — он, например, не соглашался со сталинским утверждением, что евреи не нация. Но это ничему не мешало — он одобрял. Нет, он не был ни плохим, ни глупым человеком, но он был соблазнен, это была окрылившая его вера, которая его подняла и несла. Над многим, над чем парить не следовало, но он этого не знал. От культуры предков он был оторван, ее заменила не более широкая, а зыбкая, партийная. Постигание истины ему заменило угадывание линии партии (сиречь воли Сталина) в каждый данный момент. И в тридцать пятом, и в тридцать шестом тоже. Искренне, истово и честно он доказал, что один из профессоров его кафедры протаскивает в лекциях бухаринские взгляды. Этого мнимого (кто б тогда решился быть подлинным!) «протаскивателя» ожидал неминуемый арест, но, может, и обошлось, ибо дня через два арестовали самого Цанкера. Нет, не за этого профессора — берите крупней! — за шпионаж в пользу Польши. В той фантазмагории это могло и спасти разоблаченного (враг, маскируясь, клеветает на честных советских людей, но мы бдительны!), а могло и не спасти (враг, чтоб войти в доверие, говорит иногда и правду, но мы бдительны), но о его судьбе Цанкер ничего не знал. И не беспокоился. Рассказывал он об этом сам и не каялся — он и теперь был искренне уверен, что правильно истолковал какие-то слова коллеги и, следовательно, был прав и чист — естественно — перед партией (которую Сталин тогда изничтожал). А перед кем еще надо было быть чистым?

И еще меньше он думал об этом коллеге, сидя в одиночке брянской тюрьмы. Разве в том плане, что — какая несправедливость! — до конца выполнял свой долг, а его в тюрьму. Долг он продолжал выполнять и здесь — и проявлял при этом настоящий героизм. Его били, издевались над

ним, но он ничего не подписывал. Только однажды якобы согласился дать «чистосердечные» показания, но только собственноручные. И получив бумагу и карандаш, написал заявление на имя товарища Сталина, в котором разоблачал контрреволюционные безобразия, творимые брянским НКВД. Конечно, кроме новых побоев он в ответ ничего не получил, но он действительно согласен был скорее умереть, чем оплевать свою чистую (перед партией) жизнь, свою преданность делу.

Помог ли ему этот героизм? Отчасти да. Он одержал победу — вменить ему шпионаж действительно не удалось. Правда, для него победа эта была номинальной — получил он тот же срок, но не 58/6 (шпионаж), а по спасительной (для энкавэдэшников) ПШ — «подозрение в шпионаже», которая признания не требовала. Так что победа имела для него лишь моральное значение. Но это что-то значило только внутри той аморальной партии, которую Сталин к этому времени успешно добивал и подменял своей КПСС, хоть называлась еще по-старому — ВКП(б). А эта «партия» изначально не имела никакой, даже своей частной («партийной») морали и общности — ее такие победы не касались. Но хоть все это так, хоть несмотря ни на что получил Лазарь Осипович свои запланированные десять лет, все равно факт этот остается фактом — он проявил личный героизм, на который оказался способным мало кто из его товарищей по мировоззрению, да и просто товарищей по несчастью.

Подчеркиваю опять, он не был плохим человеком. Не был и глупым, хотя интеллектуалом, которым его сделала партия, тоже не был. Он был человеком соблазненным, каких было много, и отнюдь не только среди евреев. Коммунизм тем еще был страшен, что привлекал «высокой целью» людей, способных на многое ради добра, и превращал их в орудия зла.

Сегодня в России его эстафету подхватил нацизм. Впрочем, годы ссылки, а также, конечно, и лагеря, Лазарь Осипович, хотя он во многом сохранял верность мировоззрению, был вполне порядочным человеком. Теперь ему бы не пришлось в голову кого-либо в чем-либо разоблачать, и ему вполне было можно доверять.

Зимой 1949 года началась антисемитская кампания, названная борьбой с космополитизмом. Для него это было

очень важно — ведь и коммунизм в значительной степени его привлек тем, что объявлял евреев равноправными, а тут такое. Но иногда его реакции были наивны. Например, прочитав чью-то статью, шельмовавшую составителей какой-то энциклопедии за то, что они зловредно уделили статье о еврейской литературе больше места, чем статьям о грузинской и армянской вместе (что действительно было ляпом и бестактностью, но по халатности, а не по зловредности), он сказал:

— Как же так можно... Ведь еврейская литература — древняя!

О том, что эти две литературы тоже весьма древние, он просто не знал. В этом смысле он был похож на ту (кажется, киргизскую) министершу культуры, которая, приехав в Ереван, публично заявила (говоря о достижениях советской власти):

— До революции армянский народ, как и киргизский, не имел своей письменности...

Дальше должны были следовать слова о том, как все в этом смысле при советской власти переменялось к лучшему. Но не последовало. Зал взорвался от возмущения.

Кстати, я совсем не уверен, что Лазарь Осипович так уж хорошо знал еврейскую литературу. Конечно, читал Шолом-Алейхема и около, но вряд ли имел четкое представление об остальном. Кроме как о том, что она — древняя. Ничего не поделаешь — так он учился. Кое-что знал неплохо, а кое о чем — о движении культуры, духа и мысли — и представления не имел. Как многие тогда — на то и культурная революция. Кстати, марксизм к этому вовсе не обязывал. М.Лифшиц и Г.Лукач тоже были марксистами. Но они работали в другой, чуждой Цанкеру области, а кроме того, их взгляды были ошибочными (поскольку «были признаны» таковыми — для него до ареста это было тождественно) — чего ж ему было в них вникать? Да и не очень он был подготовлен к такому марксизму. Учился все больше политике и рабочему движению, партайтаги* изучал. Нас всех учили им вместо европейской истории XIX века, а уж в таких «университетах» — и подавно.

* Партайтаг (нем.) — в переводе «партийный день» — так назывались съезды германской социал-демократии, история которой прилежно изучалась в средней школе и гуманитарных вузах. В Литинституте при мне — тоже.

Но говорить об этой кампании я хочу главным образом не в связи с Цанкером, а в связи с самим собой. Хотя разворачивалась она весьма далеко от Чумакова, где я тогда жил, и с тем, что тогда происходило со мной и вокруг меня, она сюжетно никак не была связана. Тем не менее мое соприкосновение с антикосмополитской кампанией безусловно явилось главным событием моей ссылочной жизни и одним из главных в моей жизни вообще.

О самом ходе и перипетиях кампании я ничего нового рассказать не могу. Об этом достаточно написано теми, кто был непосредственно в гуще событий. А я «только» сидел в районной библиотеке и читал центральные газеты. И рассказать могу только о том, как эти газеты действовали на меня и — главное — как это отразилось на моем сознании.

Точности ради хочу напомнить о том, что пакостная суть этой кампании не ограничивалась антисемитизмом — она ставила задачей любой ценой оторвать страну от мировой жизни и культуры, сеяла недоверие и ненависть ко всему остальному, особенно цивилизованному миру. Этой стороны я сейчас касаться не буду, ибо в тот момент это мне не казалось диким. Меня по моему мировоззрению больше обижало то, что евреев громили как природных представителей противоположной тенденции, то есть как примиренцев с буржуазией. Надо ли доказывать, что это чушь, что евреи функционеры были бы и дальше, как и все остальные «воспитанные Сталиным», представителями любой тенденции, которая исходила от него. Не ко двору оказались не их якобы тенденции, а их происхождение. Но это мне как раз предстояло понять. Однако не будем забегать вперед.

О начале этой кампании я впервые узнал из московской радиопередачи. Она была откровенно и глумливо антисемитской. Из нее становилось ясно, что начинается новая кампания, и можно было бы понять, каков будет ее характер. Но поверить в это я еще не мог. Я еле дождался газет, приходивших в библиотеку примерно на третий день, и к ним приник. Облегчения мне это не принесло. Иного смысла в ней не было. И чем я больше читал, тем яснее становилось, что людей клеймят и топчут только за их происхождение — причем за происхождение, общее с моим. Другими словами, что топтали бы и меня, окажись я на месте.

Но тот, кто решит, что я тут же рассердился и отринул Сталина, ошибется. Слишком дорого мне стоило его при-

ятие, слишком много диалектики я на это употребил. Слишком многие подлости и нелепости привык оправдывать высшими интересами. И даже то, что произошло со мной, заставил себя считать частностью. Как же я мог взять и, как теперь говорят, заикнуться на еврейском вопросе? Почему? Потому что дело коснулось евреев? А когда касалось крымских татар? Или немцев? Вон сколько их, высланных из Поволжья, живет в Чумакове и в районе! Допустим, в начале войны их высылка могла еще как-то объясняться стратегической необходимостью — Сталин боялся, что они все скопом выступят и подсобят Гитлеру. Но их ведь удерживают и сейчас, почти через четыре года после войны. Почему? Разве это не преследование людей по национальному признаку, прямое отклонение от идеологии, оскорбляющее мои чувства интернационалиста? Однако терплю, утешаюсь диалектикой. А теперь не вытерплю? Да что ж я, еврейский националист, что ли? Что ж я, врал всю жизнь другим и себе? Нет, такой измены себе я позволить не мог.

Теперь, в конце жизни, я думаю иначе, хоть и теперь не стал еврейским националистом. Теперь я считаю, что реагировать на национальные оскорбления и преследования отнюдь не значит становиться националистом, впадать в узость и «мелкотравчатость». Но так же я теперь отношусь к любым преследованиям и несправедливости, к любой лжи. Теперь я вообще не играю ни в какие диалектические игры и не присваиваю себе функций творца жизни и человека (скромнее — участника заговора «творцов»), берущего на себя (пусть только в мыслях, на интимном уровне) право ради этого жертвовать кем-то или чем-то. Моя жизнь по-прежнему пронизана Россией, другой нет. Но любые нацистские и КПРФ-овские наскоки ничего, кроме отвращения, во мне не вызывают. Их возможная победа, хоть вызвана она, может быть, только отчаянием народа, и связанные с этой победой дискриминация евреев, издевательства над ними, а то и их уничтожение не заставят меня отказаться от того, что я люблю (а это никогда не исчезнет полностью), но будет вызывать мое отчуждение и враждебность. В жизни бывает всякое, но человек не должен себя допускать до нацизма.

Тот стиль жизни и мысли, который я принял в первые послевоенные годы — все видеть и констатировать, но находить этому объяснения и оправдания, — с тех пор стал

для меня невозможным. Но тогда он определял мой путь и был предметом моей гордости, хотя вел меня из тупика в тупик. Думаю, что и на тот раз я все-таки собрался бы с силами и заставил себя перешагнуть и через «еврейскую обиду». Я ведь привык перешагивать, подчинять чувства «главному».

Спасло меня то, что драма эта разыгрывалась в литературной среде, которую я хорошо знал. Для затравки завели разговор о театральных «критиках-антипатриотах», но пламя, разгоревшееся из этой искры, тут же перекинулось на литературу. В отличие от всех других областей жизни и мысли, куда вмешивалась партия, здесь я знал, о чем и о ком говорят. И главное — кто говорит. И зачем. И в чьи руки попадает литература.

Конечно, не обошла эта буря и Литинститут. Главное действие развивалось не там, но это было наиболее близко ко мне. В одной из центральных газет, кажется в «Комсомолке», я прочел репортаж о том, как там на комсомольском собрании громили космополитов. Репортаж был осторожен, но из него было ясно, что там поносили Антокольского (как руководителя семинара) и, кажется, Поженяна. Насторожило меня то, что большое значение при этом приобрел Малов, о котором я рассказывал в предыдущей книге. И не тем насторожило, что он, может быть, имел некоторое отношение к моему аресту, а полным несоответствием творческого и культурного уровня приобретенной вдруг роли. Он был для меня знаковой фигурой.

Но гораздо важнее было впечатление от репортажей о собраниях в самом Союзе писателей. Я долго старался вникнуть в происходящее, уловить какую-то другую руководящую мысль, стоящую за этой вакханалией, и терзался — ничего приличного не получалось. В Литинституте действовал Малов, а тут Софронов.

У меня не было никаких отношений с Софроновым (потом раза два я с ним пересекался, обменивался незначительными фразами), но я читал некоторые его стихи — они были тяжело бездарны, даже версификационно. Но запомнился он мне больше в ресторане писательского клуба — такой был агрессивный, готовый на все молодец в компании других таких же. Чего они ждали? К чему готовились? Того и ждали, к тому и готовились. Я даже не уверен, что он был антисемитом, «творческое» сотрудничество с ком-

позитором Сигизмундом Кацем не прервалось и когда он достиг вершин (откуда не опустился и после смерти Сталина — какая сила его держала?). Кто еще? Версификационно более способный, но чистый имитатор Грибачев, искренне ненавидевший «теорию самовыражения», под которой подразумевал присутствие личности в творчестве, — это и ненавидел. Были и другие, чьи имена нет необходимости воскрешать.

С позиций своего сегодняшнего знания могу сказать, что хотя «борьба с космополитизмом» и была грязной антисемитской кампанией, суть ее была не в антисемитизме. Антисемитизм существует и сейчас, и в чем-то сегодняшний (март 1999-го) даже страшней и опасней тогдашнего. Но природа его сейчас не только такая, как тогда. Сейчас это часто плод отчаяния, неумение и нежелание осознать подлинные причины крушения. Среди нынешних антисемитов, к сожалению, есть и талантливые писатели — Белов, Распутин и другие. Среди «борцов с космополитизмом» не было ни одного. Теперешний антисемитизм — опасное падение ума и духа. В антикосмополитской кампании ум и дух вообще не присутствовали, даже в стадии падения.

Тогда это была только борьба за места, причем не за свои. В данном конкретном случае за должности в некоем Министерстве литературы, «Министерстве Союза писателей», как точно определил его потом Булат Окуджава, за их распределение и перераспределение. Потом я понял, что это явление всеобщее для сталинщины (и вообще для большевизма, но это еще было мне не по зубам), ибо «места» — единственный капитал, которым владеет такое государство. Но это такой капитал, который зависит не от продуктивности человека, а от его положения, от места в иерархии. Сталин был тем и велик, что всегда был занят распределением этих «мест» в иерархии — от места в Политбюро до места в камере смертников — в кажущихся и реальных интересах своей личной власти. Из такого распределения антисемитизм и вообще расизм вытекают сами собой. Именно поэтому я когда-то (много позже описываемого времени) сказал, что «единственно устойчивая форма социализма — национал-социализм». А как иначе распределять, если распределение не зависит от выхода продукции? Правда, Сталин во время космополитской кампании пошел дальше. Подлежащими распределению оказались не только штат-

ные должности секретарей, заведующих отделами, консультантов и т.п, но и положения «выдающегося писателя», «известного писателя», даже «прославленного писателя» и тому подобное.

Трудно точно сказать, зачем ему это было нужно. Безусловно, лично он был антисемитом, был им всегда, но всегда мало с этим считался. А теперь решил это проявить. Зачем? Известно, что у него были новые величественные и никому, кроме него, не нужные планы, требующие от народа новых жертв. И, может быть, он решил таким способом создать нужную ему для этого новую верную опору. И думал, что ею станут те, кто благодаря его антисемитской политике получают от него некие толики власти. Не думаю, чтоб его расчет был верен. Те, на кого он мог опереться в связи с антисемитизмом, вряд ли могли бы в острый момент удержать массы или империю. Но только для них, только для формирования новой «когорты кадров» имела реальное значение эта борьба. Ведь даже в качестве повода для возбуждения массового антисемитизма эта кампания провалилась — обстоятельства литературной жизни мало кого волновали. Не то что потом «жуткие преступления» «врачей-отравителей».

Да и вообще в многонациональной империи шельмовать какую бы то ни было этническую группу за то, что все ее представители — «беспачпортные бродяги в человечестве» и «люди без родины», — неосторожно. Это значит напоминать многим другим, что они-то не «беспачпортные», что у них есть своя «собственная и отдельная» земля, и тем самым способствовать центробежным, а не центростремительным тенденциям. Сталин сам разрушал Империю, восстановление которой он считал одной из самых главных своих заслуг.

Но это сегодняшние мысли, основанные на другом знании. И не ошибки Сталина меня сейчас интересуют, а то, что происходило со мной и во мне. А по моему тогдашнему мировоззрению тогда я уже почти был готов и с этим примириться, доказать себе, что и евреями, видимо, надо пожертвовать. Во имя... Наверное, уже подыскивал соображения, по которым это исторически необходимо (словно впрямь главная забота человека должна быть о соответствии истории, а не о душе и добре).

Но однажды, когда я сидел в библиотеке, доказывая себе, что «да, и этим надо пожертвовать», в моем мозгу (и в

душе) вдруг мелькнула неожиданная мысль, вполне даже коммунистическая — другой у меня тогда и быть не могло, но все-таки тогда для меня шальная, пронзившая меня насквозь: «А что же остается? Сплошной Софронов? Ведь он ничего, кроме таких, как он, не оставит». Действительно, что оставалось? Идеологией (напоминаю — порочной, но мне еще тогда дорогой, какой официально все еще клялись) пожертвовали, людьми, которым был дорог ее смысл, пожертвовали, заменили бессмысленными попками, о которых я когда-то в своей юношеской поэме «Утверждение» (о Павле Когане), «принимая время», писал как о людях: «Пусть менее по вкусу цели, / Но более полезных ей». В каком-то смысле в этих строках — сущность всей моей идиотской «диалектики приятия» сталинщины — попки, выполняющие историческую работу! Нет, попки делали только свою «попкину» работу — давили и потребляли. Без нынешнего беспредела, но сколько позволяло место у отведенной кормушки. Часто — чуточку больше. А с годами — все больше. Но не надо забегать вперед. Важно, что этим «попкам» теперь отдавали и литературу и, так сказать, всю сокровенность духа. Так что же остается? Где же еще мог оставаться самый «дух преобразований», весь тайный, но светлый смысл происходящего?

Задал я себе эти вопросы и ответил: на первый — «НИЧЕГО», а на второй — «НИГДЕ»... И все полетело, все мои построения послевоенных лет.

Злодеяния Сталина, все хитросплетения и глупости сталинщины предстали передо мной не выражением некоей сложной сущности, внешним (с неминуемыми, конечно, издержками) проявлением тайного огня веры, а во всей наготе — тем, чем они выглядели на поверхности: злодеяниями, подлостями, низостями и больше ничем. Ибо допускались они не для «чего-то» (что я тогда считал если не нормальным, то простительным), а «для ничего» — существовали только личные расчеты, комплексы и амбиции Сталина. И этому была подчинена жизнь огромной страны и — дорогого тогда еще для меня — мирового коммунистического движения.

Так тогда, в библиотеке, сидя над газетами, я вдруг в одночасье освободился от Сталина.

«Только и всего?..» — могут презрительно бросить мне те, кому эта свобода досталась бесплатно. Но не такое уж

это было «только». Для меня это было освобождение от обязательной подгонки восприятия и осмысления под каждый чих этого ублюдка, от необходимости находить разумные объяснения его разрушительным нелепостям и бесчеловечности. Кому-то сегодня это может показаться мелочью, но у меня тогда как камень с души свалился. Да, я еще верил в «настоящий коммунизм». Но поскольку он, по моим новым представлениям, был весь в прошлом, может, в будущем, но никак не в настоящем, сверять мне по нему свое отношение к повседневности, к людям, к их страданиям и мукам больше не было ни необходимости, ни возможности. Теперь ничто уже не препятствовало нормальным человеческим реакциям, они вышли из подполья.

«Только?» Но ведь вокруг все жило по-прежнему. Сталинщина еще полностью владела страной, замутняла мысли и восприятие многих множеств, надо мной по-прежнему все время висел ее топор... Но отныне все это стало для меня только (опять «только»!) внешним, хотя по-прежнему страшным обстоятельством, бешеной собакой, от которой надо уворачиваться. Я стал относиться к этому так же, как, сознавая это или нет, относились все вокруг, большинство людей страны. Мои односторонние духовно-идеологические коллизии с МГБ теперь закончились (меня перестало смущать, что я с ним не откровенен) и упростились мои отношения с людьми. Я перестал «в хорошие минуты» внушать им жестокую чепуху. Я еще верил в коммунизм, но стал более свободным человеком, чем вытекало из «мировоззрения».

Поэтому главное для меня в антикосмополитской кампании — не просчеты и ошибки Сталина в ее планировании, а то, что в ее ходе я понял сущность сталинщины и советского социального строя вообще. В частности, мне больше не надо было спорить с очевидностью, возражая Б.Г., с которой я тогда много общался.

Рассказав о своем прозрении, я не могу не сказать о том, что в это вносила Б.Г. Не о влиянии, ибо влияния собственно не было. Как видел читатель, скрытые от многих факты советской истории я знал и до знакомства с ней, а своим объяснениям и конструкциям оставался верен, несмотря на все ее возражения — пока они сами у меня на глазах не рассыпались в один миг. Дело было не во влиянии, а в ней самой, в ее жизни. То, что она рассказывала о

себе, расширяло мои представления о происшедшем и как-то поддерживало меня...

Ее семья была одной из тех многочисленных еврейских семей, которые в 1915 году по приказу тогдашнего начальника Генерального штаба Российской армии генерала Янушкевича были в массовом порядке заподозрены в шпионаже (объясняющем поражения Русской армии, им руководимой) и принудительно эвакуированы из фронтовой полосы в центральные губернии (где до тех пор евреям за определенным исключением вообще жить возбранялось). Мероприятие это проводилось более гуманно, чем выселение немцев из Поволжья в 1941-м (никого ни в какие «трудармии» не забирали), но было само по себе потрясением. Не все выдержали — отец Б.Г. в эвакуации умер. Неудивительно, что эта «эвакуация» явилась фактором, революционизирующим обстановку в целом. Можно ли удивляться, что в среде, с которой так обошлись, часть молодежи откликнулась на пропаганду крайнего интернационализма?

После смерти отца мать с двумя дочерьми так и осталась в России. Советской, разумеется. В партии Б.Г. никогда не состояла, но по младости сочувствовала ее «Sturm und Drang» («Буре и натиску») и потому дружила со многими троцкистами. За одного из них, молодого инженера, сына старого большевика и племянника одного из делегатов I-го съезда РСДРП, она вскорости и вышла замуж. К огорчению «национально мыслящих» должен отметить, что, несмотря на свой троцкизм и революционную родословную, муж ее, как и большинство российских революционеров, евреем не был. Троцкисты тоже отнюдь не сплошь были евреями. Они были только последовательными большевиками.

Среда эта, в которой вращалась Б.Г., была традиционно политизированной, честно верующей и по преимуществу интеллигентской (муж ее был инженером). Б.Г. была в ней своим человеком, но я не помню в ней особой тоски по мировой революции. Думаю, что объединяло их другое — ненависть к сталинской идеологической brutality, к насаждаемой пустоте, к тому, что он нес. Понимание этого было единственной сильной стороной троцкизма и троцкистов. Ничего мудрого и несущего выход стране в их мировоззрении и программе не было, как не было этого вообще в большевизме. Их победа (в принципе невозможная) никакой радости России бы не принесла. И все-таки я убеж-

ден, что все равно она была бы для России лучше, чем сталинщина. Нет, не из-за программы. А только потому, что свою дикую программу Троцкий формулировал открыто, а это оставляло мозги людей неразрушенными.

Проведение этой утопической программы в жизнь обязательно наткнулось бы на всевозрастающее сопротивление. И — поскольку она открыто формулировалась — на осознание ее причин. Троцкому пришлось бы либо отступить и начать реформы (на это он был способен — он ведь предложил нечто вроде НЭПа за год до Ленина, когда тот еще надеялся, что обойдется без этого), либо настаивать на своем и вызвать взрыв. В обоих случаях — изменилась бы или погибла советская власть — Россия бы уцелела.

Но Сталин ничего своими словами не называл и изобретенное большевизмом взаимодействие террора с пропагандой употребил не на внедрение какой-либо, пусть и более чем сомнительной, но все же цельной идеологии, а на оглушение прострацией, на то, чтобы человек вообще утратил связь между словом и смыслом. Он инстинктивно добивался не только разрушения связей и взаимопонимания каждого с каждым, но и каждого с самим собой, со своим восприятием, разумом и опытом.

Реальность существовала и при нем (жили-то все равно в реальности), но она как бы не участвовала в сознании. Это было оруэлловским «двоемыслием» (Double think), дьявольщиной. Но не дьявольски-гениальным планом, а просто перманентным эмпирическим заметанием следов и маскировкой ужасающих последствий своих гениальных планов и непререкаемых решений. Для этого надо было отменить и изгнать из мозгов реальность как таковую. Всякую. В том числе и реальность самой идеологии — при полном сохранении ее легитимизирующих его власть аксессуаров. Подавлялось не сопротивление или инакомыслие, подавлялось сознание как таковое (что видно и по моему делу). Троцкий был жестким и безжалостным доктринером, фанатиком, как Ленин и Гитлер. Но это была его реальность. У Сталина реальности не было. Он был фантом. Даниил Андреев называет его сатаной. По-моему, это все-таки преувеличение, но что он был счастливой находкой сатаны, для меня безусловно. Вырваться из тисков этой сатанинской фантомности было невозможно, и свою гибельную работу Сталин проделал до конца.

Но это к слову. Я просто хочу сказать — мне кажется естественным, что в двадцатые годы интеллигентная и полунинтеллигентная, но ищущая молодежь (из принявших коммунизм, конечно) между Троцким и Сталиным выбирала Троцкого. Примыкание к Троцкому казалось этой молодежи единственным способом сохранить осмысленность существования. До тревог Бухарина и Рыкова она еще просто тогда не доросла, да и выступали они в союзе со Сталиным, ухмыляясь по поводу его проделок, выгодных пока и им. Правда, как только Сталин с их помощью разгромил Троцкого и остальных «левых», он стал эти же проделки применять против них самих, но наперед они этого почему-то не знали. К «честным» большевикам вообще всегда возвращалась бумерангом допускаемая ими нечистоплотность, но это другая тема.

Неудивительно, что многие из них, несмотря на поражение, продолжали конспирировать. Хотя я и теперь не понимаю, в чем именно могла состоять их конспирация. Вероятно, в основе было просто нежелание подчиниться брутальному подлогу. Они готовы были обратиться и непосредственно к «рабочему классу», но с их лозунгами соваться к «массам», как точно отметил Авторханов, было бессмысленно. «Работу» они могли вести только в партии — например (так я предполагаю — Б.Г. мне этого не говорила), распространять издававшийся Троцким за границей «Бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев». Желающих почитать этот «самиздат» того времени в тогдашней партийной среде, вероятно, находилось много, и не только среди сторонников Троцкого — Сталин многим был тошен. Но если и читали, то только чтоб отвести душу — политического эффекта это иметь не могло. Однако товарища Сталина любое несогласие все равно обижало, а ГПУ все больше становилось его личными когтями. Их сажали. Может, и не за «Бюллетень» — Б.Г. мне о нем не рассказывала.

А рассказывала мне она — теперь это общеизвестно, — что в конце двадцатых некапитулировавших троцкистов стали систематически арестовывать и после следствия либо помещать в политизоляторы (привилегированные тюрьмы «для своих»), либо отправлять в ссылки. Году в тридцатом выслали в Уфу и мужа Б.Г. Но пока еще отношение было как к своим заблудшим. Он стал работать главным инженером строительства электростанции в Черниковке под Уфой.

Б.Г. поехала за ним. Жили отнюдь не роскошно — на дворе свирепствовала «романтическая» первая пятилетка. Думаю, что трансформация океана лишений и страданий в светлый романтический образ — страшный грех тогдашней пишущей братии.

Запомнился мне один эпизод из ее рассказов. Ей очень долго не привозили полагающиеся мужу по штату дрова. Дошло до того, что просто каждый день надо было изворачиваться, чтобы найти, на чем готовить пищу. Муж каждый раз отвечал: дескать, подожди — нет свободного транспорта. А мимо дома все время везли лес и дрова на строительство. И однажды Б.Г. не выдержала — самовольно завернула два воза дров и велела их сгрузить у себя во дворе. Возчики жене главного инженера перечить не стали, но муж устроил ей за это грандиозный скандал.

— Ты меня позоришь! — кричал он. — Что про меня подумают? Я не могу возить себе дрова, когда на стройке не хватает транспорта!

Полагаю, что возчики ничего не подумали. Чать и инженерше чем-то топиться надо — тем более положено. Просто муж Б.Г. при всем своем коммунизме был традиционным русским интеллигентом. Такое было правило — себе в последнюю очередь, иначе неприлично. Так вели себя все, независимо от происхождения и взглядов. Таким был, например, и муж моей двоюродной тетки Давид Михайлович Яхнин. Во время войны и после нее, в трудные годы, он был главным врачом поликлиники в Замоскворечье. Хорошили его спустя много лет при большом стечении народа. Нянечки плакали. И повторяли:

— Какой человек был хороший! Совестьный. Всегда сначала людям, а уж только потом себе. Не как нынешние...

Такие люди были еще и в мое время. Они не вымерли. Их выбили, вытеснили. На них держалась жизнь. На ком она держится теперь?

В уфимской ссылке было много самых разных — священников, эсеров, меньшевиков, троцкистов. Вряд ли они поддерживали друг с другом тесные отношения, но в 1935 (или 36-м?) году, когда ликвидировали уфимскую ссылку, их объединил НКВД. Не только общим арестом (арестовали всех сразу, чуть ли не в одну ночь), но и общим обвинением. Всех без исключения — священников, эсэров и про-

чих — обвинили в троцкизме. По статье КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность).

Священники к этой дикой метаморфозе отнеслись спокойно — от этой власти они ничего разумного и не ждали, а как эти бесы их именуют, им было все равно. Но вот эсеры и меньшевики были сильно оскорблены — одним росчерком пера зачеркивалась вся их жизнь и стойкость. Их превращали хоть и в оппозиционных, но коммунистов, которых они всегда презирали.

Но следователи теперь вообще были набраны такие, которые не знали и не представляли, что у людей бывают взгляды. Все враги — это те, кто либо продается империалистам и фашистам за деньги (как этот гад Троцкий), либо мстит народу за то, что у них отняла революция. Никакой разницы между ними нет.

Впрочем, у Б.Г. и ее мужа таких драм не было, их обвиняли в том, что они были теми, кем они в самом деле были. Правда, деятельности они никакой не вели, а литера «Д» в аббревиатуре КРТД, применяемой как статья, означает «деятельность». Но это уже мелочь на общем фоне. Впрочем, возможно, мужа обвинили и во вредительстве — как главного инженера в таком не обвинить! Мне это неизвестно, но факт, что расстреляли. А Б.Г. как домохозяйка с тем же «КРТД» поехала на Воркуту.

Рассказывала она, как проходила знаменитая голодовка троцкистов на Воркуте, в которой она участвовала. Требовали восстановления политрежима. Голодовка продолжалась долго, потом был достигнут компромисс, и большинство его приняли. Но несколько человек с компромиссом не согласились, продолжали голодать. Среди них был один старый анархист, грузин. Объяснял он это свое решение так:

— Я на царской каторге работать мог, на немецкой тоже мог. А на этого (он жестом изображал усы) — нэ буду. Ты нэ знаешь, дэвочка, что это за чэловэк. Он такой — если кто ему что-нибудь скажэт, а ему нэ понравытсэ, он помолчит, покрутит усы, и чэловэка нэ будэт... (Грузины, видимо, знали цену Сталину и раньше — не зря он так справился с грузинской интеллигенцией. — *Н.К.*)

Рефреном же в его высказываниях было:

— Я товарищей нэ осуждаю. Товарищи молодые, товарищи жить хотят... А я — нэ могу. Мой дэд нэ был рабом, мой отэц нэ был рабом, и я — нэ буду.

Но мало кому из «молодых товарищей» удалось реализовать свое желание жить. Сталин, ставший великим вождем, вовсе не собирался быть еще и рыцарем. Допустим, держать слово. Вскоре после достижения компромисса и окончания голодовки на Воркуте начались кашкетинские расстрелы, возник лагерь (или барак) смерти «Кирпичный завод». Людей, особенно участников голодовки, отводили в тундру и вталкивали, вминали в этот «завод». Обычно оттуда не возвращались. И о воркутинской голодовке троцкистов, и о «Кирпичном заводе», и о кашкетинских (на Колыме — «гаранинских») расстрелах, точнее отстрелах, я потом много читал, особенно ярко и полно об этом у Марии Иоффе (при всем моем неприятии ее жизни и биографии). Ее, кстати, водили на этот завод, но знакомый комендантурка ее спас — устроил истерику: «Баба? Бабу к стольким мужикам? Не приму!» И не принял. Имела она интересные собеседования и с самим Кашкетиным. Но об этом — в мемуарах.

На Колыме эти отстрелы велись художественней. Вот что рассказал мне о таком, но только более просторном лагере смерти казахский поэт, потом известный актер Мусин, тоже чумаковский ссыльный. Поместили его туда, как и других, не объясняя, в чем дело. Просто вызвали по списку и перевели — дело для лагеря обычное. В один из первых дней вдруг раздалась команда «Становись!» и разнесся слух, что отбирают людей, чтоб вести их на выгодную работу — картошку перебирать (можно подкормиться, а может, и стянуть что-нибудь). Все бросились. Мусин занял место в четвертом ряду, но его вытолкнули в пятый. Раздалась команда:

— Первые четыре ряда шаг вперед!

Первые четыре ряда удовлетворенно сделали шаг вперед.

— Шагом марш! — и колонна в предвкушении убогих лагерных радостей бодро двинулась вперед, провожаемая завистью оставшихся. А вечером приказ — приговор какого-то трибунала: «Таких-то и таких-то (список «счастливых» из первых четырех рядов) за контрреволюцию, бандитизм, саботаж, троцкизм (и за что-то еще, чего не помню) — расстрелять». И примечание: «Приговор приведен в исполнение». А на следующий день кто-то из канцелярии остановил Мусина во дворе:

— Слушай, Мусин, какая у тебя статья?

— КРНД (контрреволюционная националистическая деятельность).

— А кто-то прочел: КРТД! Так тебе ж здесь вообще не следует находиться.

И Мусин был возвращен в обычный лагерь, другими словами, остался жить. А если бы накануне ему «повезло», если бы его кто-то подло не вытолкнул из четвертого ряда — его бы уже не было. Он тогда не сразу понял, что это был лагерь смерти.

Но все это я узнал потом. А впервые я услышал о воркутинских событиях — о голодовке, о «Кирпичном заводе» и кашкетинских отстрелах — в Чумакове, на рубеже 1948—1949 годов от Б.Г. Расстрела ожидала и она сама. Но до нее, слава Богу, не дошло.

Рассказы эти меня волновали, но мировоззрения моего до «космополитизма» не затрагивали, хотя люди, о которых она мне рассказывала, казались привлекательными (я ведь тоже был верующим коммунистом), но не по времени идеалистичными. На мой тогдашний взгляд, исторически необходимо было во всем покориться Сталину (хоть я и понимал, что это бы их не спасло). Но и сегодня, несмотря на то, что уже давно к любому коммунизму я отношусь с отвращением, а Троцкого считаю уголовным преступником, я благодарен им за эту наивную обреченную голодовку.

Это была единственная попытка сопротивления полному беспределу в сталинских лагерях, последняя попытка воспрепятствовать обращению с людьми как с бревнами. Она не могла кончиться лучше, но все равно хорошо, что кто-то, причем организованными действиями, показал, что не относится к дикому произволу как к чему-то само собой разумеющемуся и нормальному. Взгляды их были нелепы, история темна. Они, к сожалению, действительно были только «оппозицией большевиков-ленинцев», про них вполне можно сказать — «за что боролись, на то и напоролись». Они сейчас голодали за политрежим, но ведь и до этого он существовал только для оппозиционеров и — в урезанном виде — для социалистов. На остальных политических, на «каэров», он не распространялся, и их это не беспокоило. Они принимали все преступления «честного» большевизма (и следовательно, отвечают за них), а некоторые, кто был постарше, и непосредственно участвовали в них. Все так. Но там, на Воркуте, они погибали не за диктатуру проле-

тариата и мировую революцию, а за элементарное право заключенных быть людьми, за правое дело. И в этом я им сочувствую, а их гибель воспринимаю как поражение всего народа, подавление последней вспышки, нет, конечно, не здравого, но хоть какого-то смысла и достоинства. Потом в лагерях наступила ночь стопроцентного бесправия и подавленности. Лагерные восстания начала пятидесятых — знаменья другой эпохи.

Те, кто видит в массовом отстреле троцкистов благо патриотического возрождения, ошибаются. Массовые, бессудные отстрелы вообще не могут быть полезны — объективно они создают в стране обстановку безучастия и безразличия, недоверия к смыслу и ценностям. А эти отстрелы еще были тайными, ибо субъективно были только личной мстью Сталина тем, кто знал ему цену. Например, знал, что он выполняет их программу — в огрубленном, как они думали, варианте. Или кого он подозревал в том, что он это знал и думал.

Да, троцкисты — коммунисты, у них было много грехов, за которые многие из них и сам Троцкий подлежали бы суду. Но суду, подобному Нюрнбергскому трибуналу, а отнюдь не суду Сталина, который должен был бы стать одним из главных подсудимых на этом процессе (даже если бы он состоялся до его окончательного воцарения). На этом процессе их обвиняли бы не в деяниях, которых они не совершали (или даже физически были невозможны), а в содеянном вместе с партией. Они ответили бы за многое (те, кто участвовал, — многие повзрослели позже). Не ответственные они только за одно — за приход Сталина к власти над страной. Ибо сопротивлялись этому как могли, не считаясь даже с таким большевистским фетишем, как «сохранение единства партии». Видимо, если не сознавали, то чувствовали, что если единство под Сталиным, то никакого «изма» уже не остается. Это они знали и чувствовали.

Ошибка их была в другом — в том, что это давало им чувство правоты. А правота эта была только перед Сталиным — перед всеми остальными, перед всей страной они были кругом виноваты. Этого, то есть порочности большевизма, они не понимали. Как и многие другие. Как известно читателю, не понимал этого тогда, к сожалению, и я.

Но вернемся к Б.Г. Парадоксальность сталинщины. Поскольку троцкистов, которых Сталин ненавидел больше

всех, сажали первыми, в 1935-м, когда машина массовых репрессий еще только разворачивалась, им давали по пять лет лагерей (в то время как домработницы, до которых доходило дело в 1938-м, получали по десять). Правда, в эти пять лет в лагерях шел массовый отстрел троцкистов. Но те, кто уцелел, в 1940-м выходили на свободу. Некоторые даже приняли участие в войне. Б.Г., отсидев свои пять, тоже вышла на свободу. Потом даже стала жить в Москве. Тут ее и замели, когда «превысивший свои полномочия» Абакумов стал хватать «повторников».

Из рассказов Б.Г. о ее третьем сидении я запомнил рассказ об одной малограмотной еврейке из Западной Украины. Кажется, бандеровцы спасли ее от немцев, и была она арестована за связь с бандеровцами. На Лубянке она сильно препиралась со следователем, шившим ей шпионаж.

— Нет, я не шпинярка, — кричала она возмущенно, — какая я шпинярка!

Однажды во время этих препирательств появился какой-то начальник, постоял, послушал их перепалку и изрек:

— Ты говно.

Подследственная ни на секунду не растерялась и сказала, обращаясь к следователю:

— Вот видите, гражданин следователь, пришел умный человек, и он вам сразу сказал, кто я. А вы говорите, что я шпинярка!

Шпионаж с нее сняли.

От Б.Г. от первой в 1948—1949 гг. я услышал о развлечениях Берии с прекрасным полом, о его странном способе ухаживания через подчиненных. Одна из них была ее сокамерницей. История ее такова. У нее был роман с американцем или англичанином, во всяком случае, с союзником, что поначалу не возбранялось. Но потом вышел указ, строго возбранявший такие связи. Стали за это сажать, и женщина испугалась. Она заметалась, но, узнав от кого-то о пристрастиях Берии, сумела сделать так, чтобы быть «завербованной» в его любовницы. И Берии очень понравилась. Когда он был в особом упоении от нее, она ему рассказала о том, что ее тревожило. Но всемогущий Берия, как ни странно, смертельно перепугался и сказал ей, что ничего для нее тут сделать не может. И что больше они не могут встречаться. Вскоре ее арестовали — содействовал ли он этому аресту прямо, не знаю. В принципе он приглянув-

шихся ему дам — даже если они отказывали ему — не сажал. Я потом был знаком с женщиной, которая, будучи к нему доставлена, отказалась его «утешить», но с ней ничего не случилось. Но тут он сам испугался — вероятно, у его сюзерена был на этот счет тогда особый «пунктик». Таковы были «настоящие мужчины», властелины того времени*.

Вдова Берии (с помощью сына) может сколько угодно говорить о рыцарской верности своего супруга. Пускай, если это ее утешает. И я бы ее поддержал молчанием. Но, к сожалению, это не только семейное дело. Это наш общий позор.

Сейчас в обескураженной России рвутся к власти те, кто будет наводить «марафет» на этот наш позор. Но надо сделать все для сохранения исторической истины. Только отстыдившись за то, что мы были во власти таких героев-любовников, мы можем освободиться от этого и жить дальше.

И еще одно — сравнительное воспоминание Б.Г. о каждом из трех ее следователей. Первый, 1930 года, был вполне компетентный в идеологических проблемах поляк, иезуитски разбиравшийся в психологии своих подследственных. Следователь 1935-го был политически и всесторонне малограмотен, ему были безразличны и непонятны не только психология, но и политическая ориентация своих подследственных — все враги и всех — по одной мерке. Но это-то от него и требовалось. И наконец следователь 1948 года — просто выполнявший свои функции. Он лениво пробегал все встречи Б.Г. и выяснял, какие вопросы на них «освещались». По этой терминологии встречи эти должны были выглядеть политическими совещаниями, но он вполне удовлетворялся бытовым наполнением этого понятия. Тем более что Б.Г. была «повторницей», и допрашивали ее «для порядка» (Камил Икрамов просто на допросах играл со своим следователем в шахматы, а дело шло само собой). Однажды она вспыхнула:

— Вам, гражданин следователь, надо, чтобы я...

Но она не договорила, следователь прервал ее:

— Да ничего мне не надо. Ни-че-го...

* Одной из принудительных любовниц Берии его адъютант по «сим делам» полковник Саркисов говорил, что Берия не любит только евреев. Но эта женщина была выраженной еврейкой и не стала от этого менее желанной. Просто у Вождя переменялся «пунктик», и это отражалось на сексуальных предпочтениях его «настоящих мужчин».

И она увидела перед собой усталые глаза. Ему действительно ничего не надо было, и все обрыдло.

Эти три следователя — я не собираюсь решать, кто из них предпочтительней (может быть, первый субъективно, да и объективно виновней остальных) — диаграмма развития системы, и думаю, не только карательной — в сторону бессмыслицы и протрации. Однако пора уже возвращаться от высот, на которые я взобрался, к сельской эмпирике, которая — пусть не по моей воле, но, как я теперь уверен, мне на пользу — и была тогда моей повседневностью.

Районные будни

Так назывались публикуемые «Правдой» очерки Валентина Овечкина о сельской жизни. Сегодня они могут показаться наивными, хотя я не уверен — поскольку в них было не только изображение жизни. Тогдашней? Но ведь любая жизнь потом становится «тогдашней», а произведения, в которых есть дыхание, имеют свойство ее воскрешать. Будет ли так в данном случае? На такие вопросы я отвечать не могу. Но тогда его очерки поражали своей приближенностью к правде, к тому, что мы видели вокруг себя. Валентин Овечкин был вообще человеком искренним и правдивым. Когда-то, еще задолго до коллективизации, он был энтузиастом колхозного строя и еще во времена моей ссылки верил в возможность исправления ситуации. Надо, мол, только довериться хорошим и честным секретарям райкома и колхозным председателям. Кстати, такие в природе, безусловно, существовали.

Но, во-первых, система их не выносила и подминала под себя, а во-вторых, колхозный строй был создан не для лучшего производства, не для процветания крестьян, а для более удобного их ограбления. Потом, когда Овечкин в этом смысле стал прозревать, он этого не вынес и ушел из жизни. Его судьба и трагедия исчерпывающе раскрыты в замечательном очерке хорошо его знавшей Сарры Бабеньшевой, к которому я и отсылаю читателя. Этот очерк через трагедию одного очень хорошего человека раскрывает трагедию времени вообще.

Но во времена «бесконфликтности» и беспроблемности очерки Валентина Овечкина возвращали реальность, обна-

жали тот простой и очевидный факт, что проблемы и конфликты, с которыми сталкивались все окружающие, — и в самом деле существуют. И как бы при этом они в этих очерках ни решались, это было глотком реальности, минутным освобождением от обязательной протрации. Кто-то, наверное, эти очерки проталкивал — это мне понятно. Хотелось верить, что дело поправимо, что работа в «Правде» имеет смысл. Но, видно, и Сталин эти очерки счел полезными. Неустройство сельской жизни слишком выпирало из всех щелей, и делать вид, что его нет, стало невозможно. А тут выяснялось, что все дело не в системе, созданной вождем, а в зазнавшихся Борзовых. Вопрос о том, кто такие «кадры» подобрал и посадил на шею народу, как-то затуманивался. Просто предлагалось плохих Борзовых заменить хорошими Мартыновыми, так сказать, настоящими коммунистами. Публикация этих очерков была для Сталина очередным «Головокружением от успехов». Менять свои заменимые «кадры» он любил. Но что думал Сталин — его дело, а очерки Овечкина были пронизаны жизнью и все равно плохо сопрягались с господствующей протрацией. И они — достаточный повод, чтобы помянуть теплым, благодарным словом этого человека и писателя — особенно если используешь его заголовок.

Пройдут времена тусовочного снобизма, и его вспомнят с уважением и благодарностью — взгляды не все в человеке, есть еще и душа. Он не мог спасти советское сельское хозяйство, хоть к этому стремился, но как бы то ни было, он сохранил душу и помогал ее сохранить другим, хоть вряд ли ставил перед собой эту задачу и — человек иного времени и воспитания — вряд ли задумывался над ней. Я благодарен ему за его творчество и жизнь.

Естественно, мои «районные будни» были иными, ибо иным было мое положение. Местный Мартынов, даже если бы такой нашелся, не стал бы со мной делиться сокровенными тревогами, а обходил бы меня стороной — ему при этих тревогах не хватало только «связи с политическим ссыльным». Безусловно, смотровые точки были бы разными, но видели бы мы одну и ту же жизнь. Было бы о чем поговорить.

Конечно, масштабами района мне мыслить не пришлось — от районных забот я был отделен, если можно так выра-

зиться, герметически. Впрочем, слова: «интересы района» или «интересы области», — и потом для меня отдавали демагогией, причем даже с точки зрения советской экономики, — я понимал только, что значат интересы хозяйства и интересы страны. Конечно, «люди района», их жизнь, положение и судьба меня живо интересовали, но к мышлению «масштабами района» они имели не больше отношения, чем я.

Но однажды я столкнулся с явлением районного масштаба и даже счел благоразумным принять в нем участие. Это было участие в строительстве «методом народной стройки».

В те дни газеты много писали о том, что то тут, то там трудящиеся по своей инициативе методом народной стройки, то есть совершенно бесплатно, исключительно за счет трудового энтузиазма и высокой сознательности, дружно строят клубы, электростанции и другие полезные объекты. Наш район долго не откликнулся на эту всенародную инициативу, но, видимо, дальше уже терпеть нельзя было, да и втык начальство, наверное, получило. Короче, были назначены день и час начала нашей, первой в районе народной стройки. Оказалось, что стихийно по собственной инициативе народ решил строить... новое здание райисполкома. Со стороны такое применение обязательного энтузиазма выглядело намеренным издевательством, но таковым не было даже субъективно и уж точно так не воспринималось. Ибо привыкли. Остальное, к чему привлекали народ, было не лучше. Издевательством была вся жизнь.

Как народ узнал, что он так решил? А просто — по телефонограммам из райкома окрестные колхозы и учреждения выделили людей, и главное — транспорт. Конечно, были развешаны и объявления. Я и такие, как я, пришли для демонстрации лояльности, девушки — в неясных надеждах, многие парни — тоже. И началась народная стройка. Перипетий я не помню, просто немного поработали и разошлись. Что делали, не помню, но и в день моего отъезда никаким зданием и не пахло. И никого это не волновало. Большая часть «энтузиастов», особенно колхозников, справедливо не видела разницы между призывами начальства и его приказами, с которыми лучше не спорить. Так же они шли на всякие дорожные повинности и «срочно мобилизовывались» во время лесосплава на ловлю упущенного по

халатности райисполкомовского плота (дрова и лес, заготовленные для райисполкома и его работников). Почему считалось, что колхозники обязаны это делать, вряд ли кто мог бы объяснить. Просто все привыкли к тому, что они являются собственностью районного и всякого иного начальства (в основном тоже вышедшего из этой среды). Это было в порядке вещей. И то, что в газетах и по радио это оформлялось как непрерывный энтузиазм, тоже.

Так что поговорить с местным Мартыновым, если бы он существовал, вполне было бы о чем. Но это было бы невозможно. Это было бы смертельно опасно не столько для меня, сколько для него. Такое положение тоже воспринималось как естественный порядок вещей и тоже им не было. Такого вообще никогда не было. А собственно, почему функционеру на личном уровне нельзя было общаться со ссылкой? Даже если бы я и впрямь был противником режима? Откуда такая уверенность, что я смогу сманить этого Мартынова в свою предполагаемую ересь, а не он меня возвратит в свою правильную веру? Но Вождь вовсе не нуждался в том, чтобы вернуть меня в правильную веру. Вождь нуждался в разобшении — чтобы этот Мартынов никогда не узнал того, что знаю и думаю я, и что его смутные подозрения кто-то сформулировал и выразил. Вождь вовсе не верил в свою правоту, он просто в ней не нуждался.

А этот «метод народной стройки» зачем понадобился? В сущности, в нем самом нет ничего нового — он всегда существовал в русской деревне. Люди часто сообща строили дом погорельцу или какое-нибудь нужное им общественное здание (допустим, школу). Делали нужное и понятное дело, мог овладевать ими при этом и азарт работы, после этого пили и закусывали, но ни за какое торжество высокой сознательности и праздник это никто не выдавал. А теперь делалось дело, никому (во всяком случае, из тех, кто его делал) не нужное и не понятное, угощали барабанным треском. И треск этот нужен был сам по себе. И все равно, что там строить — электростанцию или райсовет, главное — трубить об энтузиазме. Главное — разобщать людей, в том числе и собственных функционеров (бессмыслица, которой надо соответствовать, разобщает), с другими людьми и с самими собой. И это действовало.

Сарра Бабенышева рассказывала мне, что человек, с которого Овечкин писал Мартынова, ставший к тому време-

ни секретарем обкома, не принял XX съезда, обиделся за Сталина. Видимо, никак не связывал его с Борзовым. Облучение действовало и на таких. И все-таки мне жаль, что судьба меня не свела и не могла свести с подобным Мартыновым. Ведь путался он в общем осмыслении происходящего, а саму жизнь все-таки видел. Главное не во взглядах, а в желании видеть, в доверии собственным глазам, на которое не без успеха покушался Сталин.

Не знаю, как Мартынову в Средней России, а мне здесь своим глазам верить было иногда трудно, но приходилось.

Одно время Б.Г. снимала койку у одной вдовы-колхозницы. Колхозницей эта женщина была вполне исправной, работала телятницей, получала 400 трудодней в год. Это был ее «оклад» — больше она заработать не могла, сколько бы ни старалась. У нее были свой огород и свое молоко, корова или коза, теперь не помню (да и местные коровы, как я уже здесь отмечал, давали молока немногим больше, чем козы). То есть женщина была неленивая. Так вот у нее не было ни одной целой одежды. Нет-нет, она совсем не ленилась их зашивать или латать. Просто все они состояли из стольких громадных дыр, что иголке там уже делать было нечего, не за что зацепиться. Выходила она из положения тем, что надевала несколько таких одежек друг на друга, и целые места одной покрывали дыры другой. И как-то существовала даже в сибирские морозы. А куда ей было деваться? Однажды я подсчитал с ней, сколько она получила ЗА ГОД. Денег она не получала совсем, но все продукты, которые ей выдавали из кладовой колхоза, я мысленно «продал» на местном базаре по местным ценам. Получилось не то 320, не то 330 тогдашних рублей (после хрущевской реформы 32 или 33 рубля). Что это значило? Почти столько же (310 рублей) получали санитарки в больнице или уборщицы в учреждении ЗА ОДИН МЕСЯЦ. Дядя Вася и его жена тетя Паша — тоже. Но все они, ничем от нее не отличаясь, относились к высокопоставленному сословию «рабоче-служащих», что означало «неколхозников», и им это было положено. А поскольку она была колхозницей, крепостной, черной костью — плюнуть и растереть, — она ПОЛУЧАЛА В ДВЕНАДЦАТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ САМЫЙ НИЗШИЙ ПЕРСОНАЛ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ. Я не утверждаю, что разница всегда была столь огромной, но это в принципе отра-

жает отношение сталинского государства к прославляемым колхозникам.

Была у этой женщины дочка — девочка лет четырнадцати. До водворения к ним Б.Г. девочка эта никогда не была в кино, хотя в клубе, находящемся в двух шагах от их избышки, фильмы крутили несколько раз в неделю. Но ведь дневная зарплата ее матери была меньше рубля, который надо было истратить на билет. Б.Г. дала ей этот рубль, и она впервые сходила в кино, познакомилась с этим «чудом XX века».

Я не хочу сгущать краски. Эта вдова жила хуже всех, кого я знал (правда, знал я не всех). В основном дети в кино иногда бывали. И жили все же не так. Но очень часто, когда я нес из магазина хлеб, дети, попадавшиеся мне навстречу, отрывались от своих игр и просили:

— Дядь Наум, дай хлебца кусочек...

Нет, это не было мольбой голодающих. Все они дома поели вдоволь картошки, приправленной молочком, — просто они хотели полакомиться. Для них, для детей хлеборобов, хлеб был лакомством. Особенно в Чумакове — в заречном Ушкове давали на трудодень целый килограмм пшеницы.

Кстати, и в Чумакове, как я потом узнал, дела раньше шли лучше, чем сейчас. Местным колхозом руководила энергичная женщина, умевшая защищать интересы своих колхозников. Но районным прокурором работал некий Шевченко, бессовестный пьяница, регулярно требовавший выпивки с руководителей предприятий и учреждений района. Баба она была с норовом и однажды ему отказала. Он тут же усмотрел в ее деятельности какие-то нарушения (а у кого их могло не быть), подогнал их под то, с чем как раз тогда «велась борьба» (а с чем-нибудь она всегда велась, и это усиливало наказание), придал им соответствующий юридический вид и... упек председательшу в лагерь. «Справедливость восторжествовала» — прокурор восстановил свой авторитет представителя власти и ликвидировал пробел в сети «причитающегося» ему по штату пропивочного обеспечения, а колхоз быстро пришел в то состояние, в котором я его застал.

Прокурор Шевченко все-таки на чем-то погорел. Судила его уже при мне выездная сессия областного суда. Процесс был показательным. Я был на этом суде. Рассказанный выше

эпизод его биографии не был мне еще известен, но все равно он показался мне мужичонкой невзрачным и каким-то гаденьким. Но слова он, конечно, знал все и упирал всё время на предубеждение людей против работников прокуратуры, несущих свою нелегкую и неблагодарную службу. Эпизод с председательшей, видимо, тоже относился к этой нелегкой и неблагодарной службе. Правда, он не упоминался. Большое место в этом процессе занял свидетель Дулев, по-уличному дед Дуля, конюх прокуратуры. Сцена его допроса, вставная для моего повествования, безусловно, требует запечатления. Его показания вызывали веселый сочувственный смех присутствующих, и именно потому, что касается господствовавших тогда нравов.

— Свидетель Дулев, что вы можете сказать по делу?

— Да что сказать? Сказать мне нечего. Кошовку вот я прокуратуре купил (кошовка — легкие сани на полозьях. — *Н.К.*).

— Как это купили?

— Да так. Заказала, значит, прокуратура кошовку в рай-промкомбинате... Ну, звонят отсюда, получайте, дескать, девать некуда. Не в первый раз звонят, теперь грозятся продать кому-то еще. Он — прокурор Шевченко значит — и говорит: «Дед, выручай, заплати за кошовку — срочно надо забирать, а денег на счету нет. Получим — отдадим». Ну и все.

— Что значит: «все»?

— А то, что все. Купил кошовку. Шевченко, пока не сняли, на ней ездил. Теперь прокурор Литвинов... Кошовка хорошая...

— А деньги вам вернули?

— Да нет, кто ж вернет? — и вслед за этим, примиренно: — Да я с него не требую... Ладно.

Видимо, на следствии дед давал показания охотней и менее миролюбиво — возмущен был непосредственной и надеялся, что деньги вернут. Теперь он убедился, что денег ему все равно не вернут, да и топить прокурора не захотелось — все-таки знакомый. Дальше в своих показаниях дед даже начал немного темнить. Например, «забыл», что он и водку покупал за свои — опять-таки при обещании вернуть. Так что прокурор или судья напоминали ему его собственные показания на следствии и грозили ответственностью за дачу ложных показаний. Дед тут же вспомнил, что да, действительно покупал и водку.

— Вас за ней Шевченко посылал?

— Зачем «посылал»? — возразил дед. — Я сам ходил, добровольно, я тоже выпить люблю.

Дед был книгочей и вычитывал из книг диковинные вещи. У Белинского, например, что никого вообще не надо судить. И теперь в кулуарах дед ссылался на какие-то слова того же Белинского из статьи о «Гамлете», тоже понятые им как «не судите — не судимы будете». Начальство улыбалось чудачеству, но не возражало. Что возражать чудаку, да и Белинский тогда был приравнен к классикам марксизма-ленинизма — темна вода во облацех. Конечно, упражнения старика в философии были малограмотны и доморощенны, но он явно был из взыскующих града.

Шевченко все отрицал. Но срок получил. Кажется, потом — доходили такие слухи — ему часть срока скостили. Нашли смягчающие обстоятельства. Но обезглавленный и потому разоренный им колхоз в ближайшие годы на ноги не встал — хотя бы настолько, чтобы упомянутая выше телятница могла заработать дочке на кино.

Председательшу эту я тоже видел. Когда она вернулась — то ли пересмотрели дело, то ли просто срок был небольшой. Скорее второе, ибо положение ее не восстановилось. Когда мы построили саманный дом, она с еще двумя женщинами подрядилась штукатурить и белить стены. Кто она, выяснилось случайно. Она сама об этом заговорила. И я опять услышал эту несложную, но страшную историю. Женщина эта была стройная, крепкая, энергичная, с приятным и умным лицом — иллюстрация к строчке: «Есть женщины в русских селеньях...» В ее рассказе о своей судьбе была горечь, но и презрение к Шевченко. Да и — пусть менее осознанное — к положению вещей, к порядку, позволившему ему развернуться. Районные власти должны были бы ей в ножки поклониться: «Вернись, матушка, помоги, без тебя колхоз в райцентре совсем захирел!» — но теперь у нее анкета была не та, и это было невозможно.

Поразительное дело. Райцентр, где Шевченко все это проделывал, был деревней, где все, и власти тоже, всё про всех знали. И представляли, кто здесь чего стоит. И, уж конечно, подлинный смысл этой истории не был для властей тайной. Вряд ли они сами были заинтересованы в исчезновении стоящего председателя. Но, видимо, против демаго-

гии, которой «к моменту» (кто лет через пять помнил, какой это был «момент»?) воспользовался Шевченко, сделать никто ничего не мог*. Райкому гораздо проще было при случае подвести его самого под статью и таким образом избавиться от него. Благо его далеко не безупречное поведение могло легко предоставить такой случай. Что, как я думаю (но не знаю), и было сделано.

Без райкома наверняка не обошлось. Ибо тогда, как я потом узнал, без санкции райкома уголовные дела против членов партии не возбуждались. Во всяком случае, в последние годы сталинщины и сразу после нее. Я уже говорил, что уголовное наказание могли заменить «более страшным для коммуниста» — выговором. Конечно, если дело возбуждало МГБ, эта санкция превращалась в пустую формальность, штамповалась автоматически. Но тут дело было только о вымогательстве (а не дай Бог, не о высказывании), и райком вполне мог подать голос в его защиту. Мог, но не захотел. Даже если дело возбудил не он. Видимо, Шевченко уж слишком развеселился и стал неудобен.

Но на судьбе председательши это падение ее погубителя не отразилось. И когда она вернулась, для нее и побелка была заработком. Надеюсь, после смерти создателя патологической системы эту женщину восстановили в правах и разрешили реализовать свой потенциал и приносить хоть какую-то пользу родному государству.

Могут сказать: что тут беспокоиться о председателше? Колхозный строй весь никуда не годится. Какая разница? Но, во-первых, речь идет о судьбе живого человека, причем человека талантливого. А во-вторых, вообще о людях. При том же колхозном строе и в тех же природных условиях в заречном Ушкове люди жили лучше, чем в Чумакове. Да и в Чумакове при своей председателше люди все же как-то жили. И райкому для отчетности было лучше. И тот факт, что питейное самолюбие прокурора Шевченко оказалось важнее и тех, и других интересов — очень существенен.

* В чем конкретно ее обвиняли — не помню. Иногда мне кажется, что она просто один раз в отчете занизила урожай, сдала не все и помогла своим колхозникам стать на ноги, а на следующий год расплатилась со всеми недоимками. А невыпивший блюститель государственной пользы раскопал это разумное нарушение. О таких случаях я слышал потом не раз. Правда, конец был всегда тот же, что и в Чумаках — колхоз хирел и обростал недоимками.

Все оказалось ничем перед «политикой», перед «авторитетом руководителя» и перед любой подобной чертовщиной. А чертовщина на то и чертовщина, чтоб никто толком не знал, чего бояться. Если существовала «диалектика», благодаря которой засеивание громадных площадей при нехватке рук и плохой обработке рентабельной интенсивной обработки возможного, то вполне могла существовать и такая, благодаря которой толковый председатель и отсутствие крайней нищеты гораздо меньше соответствуют «интересам народа», чем председатель-пьяница и нищета колхозников. Конечно, в некоторых конкретных обстоятельствах.

Ведь их всех учили, что истина конкретна. А под истинной, как они убеждались на практике, подразумевалась непонятная воля начальства, которую местным руководителям следовало угадывать. Не заметить эти никому не известные и непонятные обстоятельства было для них смерти подобно. Легче было посадить председательшу и разорить колхоз, а потом «бороться» за его возрождение. Жизнь районного руководителя, как я теперь понимаю (хоть с ними не общался), была тоже не сахар.

Кстати, знал я еще одного колхозника из этого горючего колхоза. Точнее, знал его не я, а мой друг Алик Волинский, появившийся в моей жизни чуть позже и о котором — чуть ниже. Алик познакомился с этим колхозником в «урмане», на лесозаготовках и много рассказывал о нем. Однажды я даже был с Аликом у него дома и пил с ним «чай» — кипяток, заваренный на сушеной моркови. Другого чая колхозники тогда не пили. Звали его, кажется, Миша. Был он человеком моего возраста, по-видимому, фронтовиком. Не очень высоким, широкоплечим, крепким и, я бы сказал, насквозь трудовым. Это ощущалось даже в его внешности. Доброе его лицо выглядело мрачным. И это неудивительно. Этот потомственный крестьянин был — безо всяких натяжек — трагической личностью. Более того, носителем и воплощением национальной трагедии. Хотя это слова не из его обихода. Трагедия его заключалась как раз в том, что он был и оставался настоящим крестьянином, мужиком. В каком-то — отнюдь не уничижительном и не смешном смысле — Санчо Пансой. Но жил он во времена, когда Санчо Пансы, ничуть не изменившись, стали выглядеть в родных деревнях Дон Кихотами. Он был человек того же типа, что и Михаил Пряслин из тетралогии Федора Абрамова.

— Вы знаете, какое теперь время? — спрашивал меня уже в другое время С.Я.Маршак. И сам отвечал: — Такое теперь время, когда мужик Твардовский выглядит в собственной стране иностранцем.

Он имел в виду не уровень личности, а только нравственные качества.

Так вот нечто в этом роде.

Но «крестьянские добродетели» Твардовского проявлялись на ином уровне и в иной, некрестьянской деятельности. А Миши — Пряслин и чумаковский — применяли их в той жизни, которой эти добродетели были порождены. И выходило, что они безнадежно отстали от нее. Она их обогнала (только вот жизнью ли она была?) по дороге к пропасти.

Трагедия его усугублялась тем, что работал он очень много, в голове держал тоже очень многое — думаю, что в этом развалившемся колхозе многое из того, что еще держалось, держалось на нем, — но все равно благосостояние семьи держалось на зарплате жены, больничной санитарки. Конечно, его роль в их «подсобном хозяйстве колхозника» была велика, но вряд ли весь его вклад достигал, а тем более превышал те триста десять рублей, которые зарабатывала жена. Жена у него была хорошая, любящая (еще бы, на таком безмужичье да такой мужик!), своим вкладом в семейный бюджет не бравировала, но его самого, наверное, не могло не уязвлять такое положение: мужик, с руками, с головой, сильный, трудится с утра до ночи, а не может за бабой угнаться. Но это только мои «проникновения» — ни от него, ни о нем я никогда ничего похожего не слышал.

Говорил он о том, что творится в колхозе. Да и на лесозаготовках. Везде, где он бывал, его оскорбляли и буквально раздирали ему сердце наглая бесхозяйственность, торжествующая нелепость, надругательство над здравым смыслом. То, что он говорил, не походило на позднейшие знаменитые «разговоры на московских кухнях». Он не стремился блеснуть умом, поразить обобщением (он, может, и не знал, что это такое и зачем надо), он просто изливал свою боль и тревогу по поводу того, что происходило с ним и вокруг него. Болела у него душа не только за людей, но и за рабочую скотину, за безответных быков, с которыми —

хоть в колхозе, хоть на лесозаготовках — озверевшие люди обращались совершенно безжалостно: заставляли вытягивать непосильный груз и почем зря до крови лупили не только кнутами и хлыстами, а большими сучковатыми поленьями. У людей были на это свои резоны, им надо было больше выработать именно сейчас, а остальное — побоку.

Государство всей своей практикой внедряло в людей люмпенское, батрацкое сознание — добивайся ближайшей цели любой ценой, и ладно. А в нем еще прочно жило — пусть атавистическое, пусть не к месту — чувство настоящего хозяина. Как можно не беречь скотину, которая помогает тебе жить и работать! Он, повторяю, был человеком моего возраста и, следовательно, никогда самостоятельно не хозяйствовал. Не «крестьянствовал», как выражался дед, у которого мы жили потом в Ушкове. Крестьянское чувство иногда просыпалось не только в нем. При мне сапожник Гриша, когда я учился потом сапожному делу, рассказывал, с каким чувством вез на корове дрова из «урмана» (это делали многие — получить быков было трудно):

— Погрузил, она везет, а я от нее прячусь — стыдно ей в глаза смотреть. Вроде думает: что ж ты дрова на мне возишь? Совсем совесть потерял? Ты ж молоко мое пьешь!

Это отзывался болью разрушенный мир деревенского человека. Тогда он еще существовал. Существует ли теперь? Не знаю. А что дали взамен? Пустоту? Тем и запомнился мне Миша, что никак не мог примириться с этой пустотой, признать небытие бытием.

Такой выбор стоял перед всеми, в том числе и перед людьми интеллектуальных профессий. Все ли его заметили? Впрочем, иронизировать над этим не стоит. Вспомним дело Даниила Андреева — на то, что говорилось в деревенских избах (и, как мы видели, даже на улицах), органы МГБ обращали гораздо меньше внимания, чем на то, что говорилось в профессорских квартирах. Больше, по-моему, из-за комплексов, чем из понимания опасности — в тот момент ничьи разговоры уже не были опасны Сталину: страна была обессилена и обезглавлена. Не говоря уже о том, что отравлена тотальной дезинформацией.

Впрочем, я несколько отвлекся, даже забежал вперед. Я еще не знаком даже с Аликом, который однажды привел меня к Мише, а не только с Мишей. Просто я хотел закон-

читать разговор о горевом чумаковском колхозе. Больше прямых соприкосновений с жизнью этого колхоза у меня не было.

Меня несколько раздражает бессюжетность моего рассказа о ссылке. Но ничего не поделаешь — «на войне сюжета нету», как сказал об обстоятельствах, имеющих со ссылкой весьма отдаленное, но все-таки сходство, Твардовский. Ссылка — не война, но когда главный фактор твоей жизни — невозможность сдвинуться с места и строить свою жизнь по своим представлениям, сюжет не получается. Получаются впечатления. Впечатления о времени, которое проявлялось и здесь. О времени, когда Россию убивали, а она еще жила. Следовательно, о людях — ссыльных и местных. Но о местных я рассказываю по ходу пьесы. А ссыльные со своими судьбами вываливаются из этого рассказа. Поэтому сейчас я буду рассказывать с ссыльных, об их судьбах.

Начну с уже упоминавшегося Алика (Ольгерда Яновича Волынского). Поскольку в моей ссыльной жизни он всегда присутствовал. Присутствовать в ней он начал даже на несколько месяцев раньше, чем я его увидел. О нем мне много рассказывала Б.Г., с которой он прибыл одним этапом. Хороший интеллигентный мальчик, сын расстрелянных в тридцать седьмом польских коммунистов, в лагерь попал из детдома, теперь он в Крещенке, много читает, любит стихи, хорошо бы его перетянуть сюда. Но «перетянуть» его Б.Г. не имела никакой возможности. Однако он «перетянулся» сам. Однажды он вдруг появился на пороге нашего жилища в Ушкове. Скорее веселый и жизнерадостный, чем угнетенный. Худой, в ватнике. Приехал он именно с этой целью — перетянуться. Наутро он пошел в райотдел — просить о переводе. Такое и вообще было нетрудно, да и судьба ему в этом благоприятствовала. Работники МГБ, уже упоминавшиеся дядя Вася и Миша Зонов, с одобрения начальства пригласили Алика принять участие в каких-то срочных хозяйственных работах, а потом и поехать в «урман» (в ту же Крещенку и на лесозаготовки), откуда он прибыл на плоту. Работал он потом, если мне не изменяет память, в больнице (и тоже зимой выезжал в «урман») и в райпромкомбинате — был учеником плотника Нидера. Но все это были частности. Не частность только то, что начиная с момента, когда он вырос на пороге, мы с ним жили и обща-

лись тесно. Потом вместе строили дом и жили в нем. Он же и проводил меня до тракторных саней, на которых я отбыл из ссылки после конца срока.

Начать бы надо с трагической истории, связанной с пребыванием Алика в «малолетке» — колонии для малолетних преступников. Но в «малолетку» Алик попал из детского дома, а в детский дом — из родительского, в 1936-м или 1937 году, когда его родителей арестовали.

Родители Алика (отец — поляк, мать — еврейка) были польскими коммунистами. В паспорте (которого у него, как у всех нас, не было) он именовался бы Волинский Ольгерд Янович. Домашние, когда они были, называют его Алесем, так его и теперь зовут в Польше, где он живет уже много лет. Но в России он был для всех (и остается для меня и поныне) Аликом. Отец его был членом ЦК польской компартии и жил с семьей в Минске, но временами, видимо, уезжал (или уходил — граница была в двадцати километрах от Минска) в Польшу на подпольную работу. Когда кому-то взбренило его арестовать, он был как раз в Польше, но его не поленились вызвать срочно в Москву. Он нелегально перешел границу — для того чтобы, придя домой, быть арестованным. Мать была арестована вместе с ним или чуть позже. Алика вместе с сестрой Ивонной и братом Мишей тоже увезли из дома. Сначала в детприемник, а потом увезли куда-то в Поволжье. Там Алик и был помещен в детский дом.

Видимо, это был детский дом для осиротевших детей, чьих отцов Сталину почему-то понадобилось арестовать и кончить как «врагов народа». В основном почему-то без публичной клеветы и огласки. Там, например, жил сын бывшего завагитпропом ЦК Стецкого. Тем не менее дом этот был обычным детским домом, где дети жили и учились. Читали. Много читал и Алик. Потом началась война и стало голодно. Директриса детского дома стала подворовывать продукты, обкрадывать детей. Дело советское, житейское. Но у сына «врага народа» Алика по книгам, которые он читал, представление о советском сложилось другое. И он выступил на каком-то собрании и сказал, что такое поведение директрисы не соответствует традициям Макаренко. Директриса обвинила своего тринадцатилетнего воспитанника в антисоветской агитации. И его арестовали. Пришли два амбала с пистолетами — время военное! — и увели.

Воспитатель, стремящийся погубить своего воспитанника и пишуший на него фальшивый донос, — явление доселе не слыханное в истории русской педагогики. Даже по советским меркам считалось, что если ребенок ошибается в своих суждениях, ему следует терпеливо разъяснять его ошибки. Но ведь тут был сын «врага народа», а яблоко от яблони недалеко падает — так я тебе покажу, как мешать воровать! Я предъявляю это обвинение человеку, о котором ничего не знаю, с чистой совестью — если женщина смогла совершить такое неженское преступление против ребенка, то уж, будьте уверены, еду у детей она тоже воровала.

Кстати, у меня сложилось впечатление, что «сталинщина» как жизненный уклад, как открытая и глубоко эшелонированная бессовестность сложилась, как ни странно, только во время войны. Только во время войны психологические последствия того, что было проделано над жизнью, сказались на простых людях, выступили наружу, на первый план. Только во время войны тень моральной атмосферы, царившей в верхах, легла на всю жизнь. Выиграли войну не благодаря этому, а несмотря на это.

То, что нам сегодня в этом времени кажется разумным и принесшим пользу, было разумным, полезным и даже необходимым только внутри этой системы, в нелепых ситуациях, ею же создаваемых. С создаваемым Сталиным бардаком и хаосом могла действительно справиться только порождающая его «железная сталинская воля». Поэтому все разумное и полезное, что удавалось сделать, обходилось нам максимально дорого, иногда разрушительно дорого. С такими выдвигенцами, как эта директриса, это не могло быть иначе.

Ее «сигнал», конечно, был принят, Алик арестован, его даже привезли в Москву и там водили на допросы. Небось со стороны выглядело красиво — впереди и сзади два лба, укрывшихся здесь от фронта при полном вооружении, а в середине Алик в коротких штанишках. Похоже, и следователю было допрашивать его неловко. И он даже добился приема у министра. Но встреча провалилась.

Алика ввели.

— Ну, что скажешь? — спросил министр. Но Алик в ответ мрачно молчал. Почему — я и теперь не знаю.

— Ну что ж, молчишь? Тогда уведите его, — сказал занятый делами руководитель. И то сказать — обращению с детьми он не учился.

Такое было время, что идиотский донос осатаневшей бабы оказался сильнее, чем остатки здравого смысла двух видавших виды и отнюдь не сентиментальных мужиков — следователя МГБ и министра.

И Алик в 1943-м или в 1944 году получил пять лет лагерей. Существенную часть своего срока он отбыл в детколонию. Тут-то и произошла (не с ним) та история, которую я хочу рассказать.

Колонией, куда он попал, руководил энтузиаст и впрямь последователь Макаренко. Разумеется, «пятьдесят восьмой» (кроме Алика, но он был исключением) среди его подопечных не было — одни уголовники. И он всерьез взялся за их перевоспитание. Подобрал соответствующий коллектив и начал активно работать. Открыл школу-семилетку, которую окончил и Алик, — вообще добился ощутимых успехов. Но обернулись они трагедией. Дети исправлялись, даже начали строить планы на будущее. Однако все его мотивированные просьбы о досрочном освобождении исправившихся оставались втуне — в крайнем случае им уменьшали срок на несколько месяцев. А это было не только несправедливо, но и опасно. Когда кончалось «малолетство» этих исправившихся, их забирали на взрослый этап и сажали согласно статье вместе со взрослыми уголовниками. А те с ними расправлялись, как с «суками» — попросту убивали: в ГУЛАГе тогда шла описанная В.Шаламовым «сучья война». Эти несчастные юноши завидовали Алику: «Тебе, Алик, хорошо, тебя к политикантам посадят, они тебя не только не убьют, а еще и подкормят... А нам...» — и безнадежно махали рукой. Так в сталинском государстве изничтожалось доверие к хорошим, нормальным словам и намерениям.

Но гибель ворвалась и в колонию. Сталин ввел двадцатипятилетние сроки, а с середины тридцатых все санкции в полном объеме применялись и к несовершеннолетним. В колонии стали поступать малолетки с двадцатипятилетними сроками, которым ничего не было ни страшно, ни жалко. Они повели против исправившихся «активистов» систематический и подлый террор. Отрубит такой «активисту», пусть даже популярному среди товарищей, голову топором

и бежит сдаваться на вахту, под защиту закона. Закон ему не страшен — он ему опять отвесит те же двадцать пять. Но у нас сроки не плюсятся — значит, только те 2—3 месяца, которые он уже отсидел. Так что бежит он не от закона, а к закону — ему главное избежать отщепенства товарищей.

Все, что начальник колонии сумел создать за несколько лет, полетело прахом. Он запил и спился, чуть ли не кончил самоубийством. Пострадал он за то же доверие к советской идеологии, к тому же Макаренко, что и сам Алик. Верил, что государство действительно заинтересовано в том, чтобы перевоспитать оступившихся несовершеннолетних. А государство — все государство — было заинтересовано только в том, чтоб угодить Сталину, которому пришла в голову очередная гениальная мысль.

Потом Алик сидел во «взрослом» лагере, и действительно среди «политикантов», и действительно они его не обижали, а опекали. Интеллигенции всех формаций и профессий там хватало, и они его многому научили. Во всяком случае, в ссылке я встретил вполне интеллигентного товарища и собеседника.

Рассказывал он истории и смешные и страшные. Особенно про малолеток. Например, малолетка спер у кого-то или где-то большой кусок масла. Его поймали и стали избивать кулаками, поленьями, железяками — чем придется. Малолетка же согнулся в три погибели, подставив мстителям спину, а сам, укрывшись под ее шатром, даже не стонет — ему некогда, и рот занят. Он занят запихиванием этого масла в рот, чтоб успеть побольше отъесть (или все съесть) — пока не отобрали. Рационалист и прагматист. Жиры нужны для выживания.

Или другое. Лагерь где-то под Архангельском во время войны — при заводе, выполняющем оборонный заказ. В инструментальном цехе работает один старый меньшевик — мастер высочайшего класса (мелькает мысль, не Гвоздев ли это, описанный Солженицыным?). От него, как от нашего симского Сергея Боровикова, зависит выполнение этого, по-видимому, очень важного оборонного заказа. Работает он добросовестно, высочайший мастер, но становится беспомощным без очков. А очки у него непростые — сразу не заменишь. Малолетки угадывают наиболее острый момент, когда или выполнение заказа под угрозой срыва, или

когда, наоборот, еще немного, и заказ будет выполнен, когда, возможно, уже отрапортовали, что все в порядке, и именно в этот момент выкрадывают у старика очки. И прячут их так, что и с собакой не найдешь. Их, конечно, можно арестовать, осудить, даже расстрелять за пособничество врагу, но выполнению заказа это не поможет. А Центр в данном случае ждет запланированной продукции — невыполнение задания весьма чревато для всей цепи начальств. По законам военного времени. Приговоры малолеткам его не удовлетворят. И приходится начальству вступать в переговоры с этими малолетними пособниками Гитлера и выполнять их требования. Правда, у тех фантазия не очень богата, да и требовать лучше то, что можно получить: масло, тушенку, хлеб. И — получают. Конечно, все эти товары на строгом учете и оформить такую растрату трудно. Но — справляются. После чего непостижимым образом, как будто и не пропадали, появляются очки, и заказ выполняется в срок.

Забавно. То есть тогда было слушать про это забавно. Хотя мальчик, спрятавшийся сам под себя и поедающий под градом побоев украденное масло, — картина не такая уж забавная. Но сегодня, в исторической перспективе, которая тогда не была так ясна, это выглядит вообще невесело.

Это шла закалка той психологии, которая поражает сегодня страну и весь мир своей полной свободой от всего человеческого. Дореволюционные уголовники тоже не были сентиментальны, но перед выбором: «умри ты сегодня, а я завтра» их никто не ставил. В «мертвом доме» обходились, конечно, без разносолов, но сытость не была проблемой — ни дистрофии, ни пеллагры не было. Да и предыстории за ними такой не было. Их (или их родителей) не пропускали через массовое воспитание бессовестностью в виде коллективизации, раскулачивания, да и трупов на улице они не видели. Все это не только было страшно само по себе, но и дало толчок мощному процессу. Который, как показывают эти факты, уже и в послевоенные годы достиг высокой стадии. Дальше он только развивался. Сегодня он властно овладевает государственными структурами. А как сегодняшней беспредел отражается на психологии нынешних малолеток — я об этом однажды читал в «Литературной газете», — и думать страшно.

От Алика же я впервые услышал историю из серии (вполне, кстати, правдивой), «С.М.Буденный и тридцать седьмой год». История не такая красочная, как не однажды описанная о «круговой обороне», которую, узнав, что на него выписан ордер, маршал-конармеец держал против органов НКВД, пока Сталин не очухался и не сообразил, что Буденного сажать ему незачем. Но все же впечатляющая.

В связи с каким-то из оборонных заказов на завод, где работали заключенные, прибыл инженер из министерства. Однажды, оставшись наедине с группой заключенных и желая преодолеть некоторое естественное отчуждение, инженер сказал:

— Да я вас, ребята, хорошо понимаю — я чуть сам не оказался среди вас. Меня Буденный спас.

Аудитория удивилась. Все знали, что спасти никто никого не мог. Но оказалось, что Буденный и не обращался ни в какие инстанции, а действовал самостоятельно — «по-нашему, по-простому». Правда, используя при этом свое высокое положение. Используя то, что, кроме всего прочего, он был заместитель наркома сельского хозяйства по коневодству, что как-то затмевалось его прочими должностями и званиями.

— Мы с ним друзья еще по Гражданской, — объяснил инженер. — Иногда встречались, выпивали. И вдруг вызывает он меня к себе и говорит: «Вот что. Завтра, не откладывая, поедешь на Кубань». «Это еще зачем?» — спрашиваю. «Будешь директором конесовхоза». Я ему: «Ты что, Семен, спятил? Я же инженер, я же в коневодстве ни бельмеса». А он мне: «А ты жить хочешь? Не видишь, что творится? Вот тебе назначение, билет, и чтоб завтра к вечеру твоей ноги в Москве не было». Я и поехал. Года два там проработал, а потом волна схлынула — вернулся. И вот живу.

Не знаю, уцелел ли он во время второй волны — в 1948—1949-м, — тогда не только сажали «повторников», но и подбирали «остатки» (вспомните моих лубянского сокамерников Богданова, Соколова и Уралова). Но тогда уже было не так страшно — уже не расстреливали.

Знаю, что таким же образом Буденный спас отца моего друга, Геннадия Иванова. Тот был красным партизаном где-то в Сибири, уже немного посидел в родных местах, но его выпустили. Однако вскоре он почувствовал, что тучи над ним опять сгущаются. Рванул в Москву и явился к Буден-

ному, которого хорошо знал, — просить бумагу, удостоверяющую, что он действительно был красным партизаном. Буденный его выслушал и в просьбе отказал.

— Не дам, — твердо сказал он.

— Ну что ж, — грустно сказал проситель (в те дни и не такие предательства были обыденными), — тогда я пойду. Поеду домой.

— Не поедешь! — сказал Буденный.

— Это почему? — испугался гость.

— А я тебя не пущу, — объяснил Буденный.

— Да почему же?

— А потому, что дома тебя арестуют и кончат.

И применил свой универсальный рецепт:

— Поедешь на Кубань, директором конесовхоза.

Буденный не знал «диалектики», не размышлял, что это значит, а просто видел, что происходит. И вел себя по-народному — понимал, что в этой вакханалии (хотя вряд ли он употреблял это слово) главное — увернуться. И уворачивался. И кого мог, «уворачивал» тоже. Ум и интеллектуальность — отнюдь не тождества. Он совсем не был интеллектуалом, но был умным человеком. И пусть по-своему, но порядочным, причем в обстановке тотальной непорядочности. И это до сих пор вызывает мое уважение к нему. И благодарность. Хотя спасал он не меня и не кого-нибудь, кого я знал. И хотя рассказ об этом только краем касается моих воспоминаний об Алике.

Рассказывал Алик и смешные истории, связанные с его пребыванием в Крещенке. Например, об одном пожилом человеке, прибывшем с нашим этапом. Я его помнил. На вид провинциальный бухгалтер. Носил он белые валенки-чесанки, подбитые снизу красным, как бы обутые в красные галоши. А так как это сочеталось с невероятно гордым видом, то он почти сразу получил прозвище «Гусь лапчатый». Привезен он был сюда из Таганрога, где он жил и откуда, кажется, был родом. История его и специализация сводились к тому, что он был кляузником. То есть непрерывно писал жалобы на работников местных органов, находил поводы и писал. У должностных лиц из-за него даже бывали неприятности. Однажды, кажется, кто-то из них даже лишился своего поста. Это его совсем окрылило и... погубило. Он написал обстоятельную докладную записку в Москву, что все работники суда, прокуратуры и милиции Рос-

товской области — жулики, взяточники и проходимцы. Это уже было клеветническим обобщением и не могло остаться безнаказанным. Арестовывать его явился сам городской прокурор.

— Ну, писатель, дописался! — торжествуя, объявил он. — Теперь собирайся, поехали! Там писать будешь...

Слова прокурора — конечно, против его ожидания — сбылись. «Гусь лапчатый» и в Крещенке не прекратил своей деятельности. Вел обширную переписку с различными инстанциями. И даже заставил сельсовет вернуть ему пятнадцать рублей, на которые был оштрафован за отказ от прививки — в результате долгой переписки доказал, что прививка эта ему противопоказана. Ушло на эту борьбу немногим меньше, чем ему вернули. Кто-то спросил у него, почему он не бросает это бессмысленное занятие.

— А чем мне еще заниматься? — ответил «лапчатый». — Так хоть я письма пишу, жду ответа...

Видимо, у него эта страсть развилась от одиночества. Думаю, что писал он в основном правду, но вряд ли он всегда разбирался в том, о чем писал. Но ведь трудящихся со всех амвонов призывали проявлять общественную активность и сигнализировать. Конечно, призывали больше во времена его молодости, но и потом тоже. Так что в принципе он отзывался на призыв партии. Но что бы он ни писал, на его письма при любом строе можно было реагировать или не реагировать, но сажать за письма «на высочайшее имя» пожилого, не совсем здорового человека (а хоть бы он был здоровый!) могло только сумасшедшее сталинское государство. Но в нем мы и жили.

Последняя история связана не столько с Аликом, сколько вообще со ссыльными. Продолжу эту тему. И поскольку речь зашла о друзьях, я хочу рассказать еще об одном друге — о Паше Цветкове. Я никогда не видел его после ссылки и не знаю, как сложилась его жизнь потом, но в душе всегда хранил и храню светлую и благодарную память о нем.

Встретился я с ним впервые на пересылке — то ли только в Новосибирске, то ли еще в Свердловске. Но помню, что он мне сразу понравился. Улыбчивый, доброжелательный, с добрым, умеющим расслабляться и сосредотачиваться лицом, одновременно и скромный и уверенный в себе, аккуратный, собранный — это был тип культурного

ленинградского* квалифицированного рабочего, кем он и был до ареста и каким я себе этот тип тогда представлял. Сел он в 1937 году, когда он, несмотря на молодость, был уже квалифицированным слесарем. А он был молод — ему, по-моему, и в момент нашей встречи не было тридцати — общались мы как ровесники. Я начисто забыл, что ему вменяли. Не то что-то кому-то нечто вольное сказал, не то кто-то что-то такое про него выдумал. Тогдашний «ширпотреб», потому и не запомнилось.

Человеком он был надежным и, естественно, порядочным. Он нам вполне доверял, как и мы ему, но особого интереса к политике этот «политзаклученный» и теперь не проявлял. Конечно, наша судьба говорила сама за себя, он это, естественно, понимал. И когда другие говорили, слушал и вообще участвовал в разговоре, но заикливаться на этом не хотел. Не видел смысла — что зря себя растравлять... У него были не только золотые руки, но и несомненная хозяйственная жилка. Он быстро продвинулся по службе, стал завхозом больницы — должность по чумаковским масштабам, особенно для ссыльного, почти номенклатурная. И был он всегда надежным товарищем. К нему вполне можно отнести оруджавские слова о Ленке Королеве — что «если другу / станет худо и вообще не повезет, /он протянет ему свою царственную руку, / свою верную руку и спасет». Только что не царственную, а просто руку — в тех условиях было не до царственных жестов, вообще не до жестов. Важны были только поступки.

Поступки бывали. Касались они самых будничных дел, и я их не запомнил. Только один запомнил. Относится он ко временам, когда мы строили дом. Дом был саманный. Подходила осень и необходимость прикрыть построенное крышей. Но если до сих пор все обходилось без нужды в продукции нашей тяжелой индустрии, то теперь все уперлось в нее — понадобились гвозди, а их хоть убей не было. Во всей округе. По-моему, даже в Новосибирске. А еще немного, пойдут дожди, и — капут. И тогда Паша «протянул свою царственную руку». Он в это время жил в деревне Зоново, километрах в тридцати от Чумакова (откуда и пошли Зоновы), где работал завхозом на строительстве тамошнего масло-

* Повторяю, я употребляю здесь тогдашние названия «Ленинград» и «Свердловск» только потому, что они деталь тогдашнего восприятия. Мне вовсе не хотелось бы их вернуть.

завода. Оно, конечно, и на строительстве гвоздей не было, но они их производили сами — кузнечным, практически ручным способом, выковывали каждый гвоздь отдельно. Сколько он стоил — пусть подсчитывают экономисты. Но это цена планового хозяйства. И вот рюкзак этих гвоздей насыпал мне Паша. Сказать, что это было рискованно — значит ничего не сказать. О том, чего стоила эта эпопея мне, я расскажу в своем месте, а сейчас — разговор о Паше. Познакомился я и с его отцом — он приезжал из Питера навестить сына, повидаться после долгой разлуки. Такой же ладный и серьезный, та же кровь.

— Это вы правильно делаете, — сказал он, — так и держитесь друг за дружку.

Мы и держались.

Но это был разговор о друзьях. А ссыльных было много, и самых разных, я просто не всех уже знал. Этапы приходили один за другим. Теперь сплошь политические. Но некоторые были очень примечательны. Особенно ярок был украинский националист, «галичанин» Филипп Кук. Настоящий националист, хотя тоже посаженный, кажется, ни за что. То есть за принадлежность к националистической семье. Брат его был осужден на казнь еще довоенным польским судом — видимо (я так и не уточнил), за работу на немцев в надежде на освобождение Украины. Во всяком случае, в своей речи на суде он предрекал, что все его судьи скоро отсюда побегут со всех ног.

До него я встретил только одного ссыльного украинца галичанина, крестьянина. Однажды мы с ним оказались недолгими попутчиками на лесной дороге, и он, обрадованный встречей с человеком, говорящим по-украински, пустился в откровенности, всю дорогу радостно рассказывал. Выслали его, видимо, за то, что он жил «бия лису» (возле леса) и поневоле, под страхом смерти, помогал то бандеровцам, то советским. Вероятно, бандеровцам он сочувствовал больше, но, измученный вечным страхом, давно забыл об этом и был счастлив, когда его выслали. Еще бы, это спасло его от неминуемой смерти. Но это сейчас его интересовало меньше всего. Всю дорогу радостно рассказывал, как он пользуется открывшимися здесь возможностями легко жениться, разводиться и снова жениться, о которых он дома, где тогда еще нравы были строгими, и

мечтать не мог. И не то чтоб он считал эти нравы неправильными, он просто радовался отсутствию этой строгости здесь.

Мысль о том, что все это — результат страшного несчастья, не то чтобы ему была непонятна, но просто была ему неинтересна. Ему это было удобно и приятно. Это вырвалась на волю свинья. У него дома, на западе Украины, традиционный уклад тогда еще был силен, а тут все, что нельзя, стало можно. Если бы этот мужик был из-под Полтавы, он не испытал бы такого перепада давлений и — при любых нравственных качествах — так бы не радовался, ибо дома у него все выглядело бы примерно так же. А этому все было в диковинку.

Но ни национальное, ни региональное объяснения тут не годятся. Люди, уступающие соблазнам, есть во всех регионах и нациях. Потом мне приходилось видеть галичан, побывавших в ссылке, таких песен никто не пел. Но этот, видимо, устоять перед соблазном не мог. Дома (на воле) эту свинью, сидящую в нем, держали в узде и заставляли его быть человеком, здесь (в неволе) свинья освободилась и торжествовала. Освободители человечества, приступая к выполнению своей столь увлекательной и соблазнительной миссии, всегда должны опасаться освободить свинью. Чем и славен наш сокрушительный век.

Филипп Кук был человек иного склада, уровня и калибра. Мои отношения с ним поначалу складывались не совсем гармонично. И ничего удивительного, ибо познакомились мы с ним, когда я еще держался за Сталина. Некоторое время он сохранял недоверие ко мне и после этого, но через Б.Г. и Алика недоверие растаяло. Национализм, точнее, жгучий интерес к национальным проблемам, сидел в нем глубоко. Это он обратил мое внимание на украинское происхождение некоторых местных сибирских фамилий (с окончанием на «ков»). Но интересовали его не только украинцы. Он не раз обращал мое внимание на проявление советского государственного антисемитизма, даже на завуалированные его формы (в частности, он увидел это в кинофильме «Сказание о земле Сибирской»). Его это даже радовало — конечно, не само по себе, он был чужд антисемитизма, — а как признак разложения ненавистных ему идеологии и строя. Думаю, что в своей ненависти к строю он даже несколько обрусел.

При всем своем национализме никакого пренебрежения к местным жителям он не испытывал, простотой их не пользовался и явно им сочувствовал. Помогал им чем мог. А иногда он мог — ибо работал завхозом разросшегося к тому времени райпромкомбината. Но должность свою он использовал и для того, чтобы вредить ненавистному ему строю — тоже чем мог. Но тут его возможности были ограничены и в основном сводились к моральным победам. Помогал и вредил он одним и тем же способом — помогал воровать. При этом сам он был абсолютно честен и порядочен. Людям (безусловно, и товарищам-ссылным) он помогал — чтобы им помочь, ибо иначе выкрутиться было невозможно (как нам с гвоздями — хоть нам помог не он, а Паша), а начальству — для собственного удовольствия. Он испытывал мстительную радость, видя разложение правящего слоя ненавистной ему системы. Поэтому и те и другие считали его хорошим человеком, каковым он и был.

Кстати, сегодня я не очень уверен, что его моральное торжество над воруящим начальством было вполне оправданным, ибо, как уже говорилось, придерживаюсь мнения, что «все мы — товарищи по несчастью». Но его отношение к простым людям отличалось трогательной уважением и стало для меня уроком естественного демократизма. Какого у нас не было не только у начальства, но и у интеллигенции (впервые появилось у Твардовского и в «деревенской прозе»).

Все-таки какие-то черты подпольщика у Филиппа были. Он откуда-то всегда знал, что происходит в МГБ. Я никогда не интересовался, откуда эти сведения, но они подтверждались. Правда, ничего особенного там при нас не происходило. За исключением трех вышеупомянутых арестов, о двух из которых и знать особенно не надо было. После Шуркиных частушек и выступления Лидиной сожительницы их арест был для всех предрешен. Тайной остаются только причины ареста Тица. С этим грустным событием связан смешной эпизод. Нашей приятельнице из Крещенки понадобилось зачем-то к начальнику. Она вошла во двор МГБ (вход был через двор) и, увидев там работника МГБ дядю Васю, возившегося с лошадьми, спросила:

— Начальник у себя?

— У себя, — ответил работник МГБ, — только ты не ходи. Они сейчас заняты — секретный арест готовят.

Но вряд ли Филипп Кук знал наперед об этом аресте. Он был для всех неожиданным — я даже подозреваю, что инициатива была не местной.

Помог Филипп однажды и нам. Во время строительства дома и после него Алик работал в райпромкомбинате. Нам некуда было девать книги, и он, будучи учеником замечательного мастера, немца Нидера, сколотил для нас под его руководством этажерку. Встал вопрос о том, как ее вынести. В принципе люди и не то выносили, но все-таки риск. Обратились к Куку. Филипп сказал:

— Сделаем так. Я тебе выпишу на нее накладную. Если попадешься, скажешь, что у меня есть накладная. А если пронесешь — я ее порву.

Все обошлось, и накладная была порвана. Думаю, что так Филипп помогал не только нам. Но отношения наши не были прагматическими. Сохранились они и после ссылки. Однажды, году в 1971-м, незадолго до моей эмиграции, мы даже встретились в Москве.

Хочется еще рассказать об агрономе Желязко, болгарине из Бессарабии. Милый, добропорядочный, интеллигентный человек, он и здесь, в ссылке, работал агрономом где-то на периферии и иногда, приезжая по делам в район, останавливался у нас. История его такова. Во время революции он жил в Одессе. Жить было очень тяжело, а семья его оставалась в Бессарабии, граница с которой тогда отнюдь еще не была на замке и, наоборот, почти не охранялась. Поэтому однажды зимой двадцатого или двадцать первого года, перейдя по льду лиман, он ушел в Бессарабию. Политикой он не интересовался, но в принципе, как и многие бессарабцы, сочувствовал тому, что происходило в России. Думаю, что больше по ностальгическим причинам. И когда произошло воссоединение с Бессарабией (отторжения которой СССР никогда не признавал), он встретил советские войска восторженно и сразу изъявил желание сотрудничать.

Это его и погубило. Ведь сотрудничество требовало заполнения анкеты, а он привык говорить и писать о себе правду. Тем более что причины, по которым он решил когда-то перейти границу, были явно частными, и ни о какой враждебности к советской власти они не свидетельствовали. Его ошибка была в том, что он писал людям, а те, кто читал анкеты, были не совсем людьми и человеческих мотивов поведения не понимали и не признавали. Тем

более в момент проведения «операции по очищению присоединенной территории от враждебных элементов» — когда нужно проявлять рвение и повышать производительность труда. А тут такая зацепка, как «незаконный переход советской границы». Вот и получил он лет семь-восемь лагерей. И ссылку после них. Слишком жестокое наказание за нормальное человеческое доверие к людям, в условиях сталинщины — за наивность.

Как видит читатель, все эти люди, как они ни разнятся между собой, — «политики», «пятьдесят восьмая». Но я уже говорил, что все этапы после нашего были политическими. Отдельные уголовники, попадавшие в этих этапах, были редкостью. Паша рассказывал, как однажды при разборе рабсилы завербовал к себе на строительство кирпичного мастера. Посадил его на телегу и собрался везти. Только тронулся, как из клуба, куда обычно и завозили этапы, вышел один «свой в доску» и проводил отъезжающего презрительным возгласом:

— Мужик! Что, пахать поехал?

«Пахать» — то есть вообще работать — было для него делом самым глупым и недостойным, знаком падения. «Ну-ну, — подумал Паша, — посмотрим, как ты тут потом, зимой запоешь?» Как ни странно, мы все еще верили здравому смыслу и трудовой этике. Тогда.

Не овладевает ли постепенно в силу многих причин эта идея «своего в доску», то есть отношение к труду этого урки, массаами и не становится ли она таким образом материальной силой, губящей Россию? Впрочем, тогда такие обобщения в голову не приходили.

Да и не с чего было. Такие «свои в доску» во всех, кроме первого этапа, повторяю, погоды не делали. Осознание этого факта местным населением (о впечатлении, которое оставил по себе здесь первый, урочий этап, я уже упоминал) одна баба проявила так. Стоя на людном месте, возле ушковского сельмага, она по случаю прибытия очередного этапа орала своим подругам:

— Бабоньки! Вы энтих, которых сейчас пригнали, не бойтесь!.. Берите их в квартиранты!.. Это не бандиты... Это хорошие люди — китриционеры!

За этот крик она безусловно «подлежала». Называть контрреволюционеров хорошими людьми было нельзя (вспомните «политика» Ваню Смородина). Но никакому случив-

шесю туг стукачу, разве если бы он был из ссыльных, не пришло бы в голову доносить на это ее обращение. Не из порядочности даже, а просто потому, что политическая сторона этой информации была всем, как и ей, непонятна и безразлична, а важна была для всех информация фактическая — что эти приехавшие люди в обычном и единственно важном для них смысле — порядочные. А значит, можно их безбоязненно пускать на квартиры — не обчистят. Правда, и это было в обход обязательной (хотя и несуществующей) идеологии. Но ведь все, что они видели вокруг себя, тоже шло в обход.

Вообще естественное непонимание того, что можно и чего нельзя говорить, — об этом уже шла речь — не переставало меня удивлять. Ярво проявлялось оно и в связи со ссыльными.

Одна из местных колхозниц до войны, когда это было в моде, была объявлена знатной дояркой, ее, кажется, даже наградили орденом и «приняли» в партию. Она, естественно, ничего для этого не сделала, просто работала. «Потом пришла война, разруха», она потеряла на войне мужа, и за этим всем о своей и с самого начала не очень нужной и понятной ей «знатности» и «партийности», как и все вокруг, забыла. Райком тоже не часто вспоминал об этой своей «рядовой», в прошлом даже и передовой коммунистке. Но вот появились ссыльные, и знатная доярка вышла замуж за своего квартиранта, дядю Ваню Кайдыка, о котором речь впереди. И тут райком о ней вспомнил. Ей велено было, имея при себе партбилет, явиться на прием к первому секретарю. Ну что ж, зовут — надо идти. Она достала из комода, где у нее аккуратно хранились на всякий случай все ненужные бумаги, партбилет, и «явилась».

Секретарь райкома Шейкин начал свою речь как положено — в привычном разносном тоне. Он объяснил ей, что она вышла замуж за политически недостойного человека, и указал на недопустимость для коммуниста такой беспринципности. В конце концов он прямо пригрозил ей, что она «положит партбилет» — угроза, сильно озадачивавшая пьяниц-председателей и даже редких трезвенников, если они оказывались «срывщиками хлебосдачи». Но на эту бабу угроза не произвела ни малейшего впечатления. Она внимательно и уважительно вслушивалась в слова Шейкина и долго не могла взять в толк, чего от нее хотят. Она ничего

не знала о правах человека или о недопустимости вмешательства в его частную жизнь. Она просто долго не могла понять, за что на нее гневается столь большой и уважаемый начальник. Но наконец поняла, хотя и не очень поверила своим ушам.

— Так вы что? Хотите, чтоб я мужика на эту бумажку променяла? — спросила она удивленно. И уяснив, что это так и есть, с готовностью протянула Шейкину партбилет: — Берите!

Это никак не было актом политического протеста. Просто она не имела к партбилету никакого отношения. Тогда почему-то ей его всучили, теперь почему-то отбирают — их дело, а мужик-то при чем! Мужик — дело серьезное. Я с этой женщиной не был знаком, никогда ее не видел. Знаю только, что потом дядя Ваня от нее ушел. Почему и кто прав — мне неизвестно. Но думаю, что если она после этого тосковала и жалела о чем-либо, то уж никак не об «этой бумажке», не о том, что пожертвовала из-за неудачного замужества партбилетом. Это не было для нее жертвой — просто лежала ненужная бумага среди других таких же, а теперь не лежит. Вот с мужиком не вышло — это худо.

Да не заподозрят меня в том, что я при всей доброжелательности воспринимаю ее простодушие хоть в каком-то смысле высокомерно или иронически — так сказать, со своих «интеллектуальных высот». Как бы не так! Она была явно не шибко грамотна, но она сохранила естественное отношение к окружающему, и как ее ни вовлекали, не отнеслась всерьез, не восприняла душой бессмысленные атрибуты торжествующего небытия. Ни Шейкин, ни я до этого тогда не доросли. В ту эпоху неграмотность иногда спасала душу. Должен сказать несколько слов и в пользу Шейкина. Он ведь вполне мог дать этому делу ход — «покатить бочку», если не на нее, то на дядю Ваню Кайдыка и его разлагающую работу. Не покатило. Чувства юмора, вероятно, хватило. И на том спасибо — его хватало не у всех в те смешные и кровавые времена.

Кстати, о некоторой внутренней свободе чумаковцев говорит и их отношение к выборам. Нет, они не бойкотировали их, Боже сохрани. Как раз наоборот — относились как к празднику. Как же, событие, в клубе пряники продают, да и выпить по этому поводу не грех — «всемирный праздник»! И единственное, что на выборах не интересовало

этих присяжных избирателей, это сами выборы — куда и кого выбирают — в Верховный Совет СССР, РСФСР, в местные Советы или вообще в народные судьи. Отличались выборы одни от других только сопутствующими бытовыми подробностями:

— Да нет, не о том говоришь! Это было не на те выборы, а на другие. Когда Федька с Колькой надрались и стекла в клубу побили... Помнишь? То-то... А ты говоришь!..

Меня это удивляло — неужто так трудно запомнить, что за выборы? А теперь мне это, скорее, нравится. Ведь все эти выборы не имели для них (и вообще для людей) никакого смысла, исход их не только был predetermined, но и не имел ни для кого никакого значения — так зачем забивать себе голову их отличиями? Отличались друг от друга не выборы, а связанные с ними праздничные дни — их и запоминали. Праздников-то было тогда мало.

Но это были местные жители — не политики. А мы, ссыльные, считались политиками, хотя в массе ими тоже не были. Такие идеологи, как Цанкер или полковой комиссар Усвятцев, о котором я уже рассказывал в другой связи (это он сказал, что бывают времена, когда честные люди только мешают делу), или аз многогрешный, были среди этих «политиков» исключениями. Но все остальные тоже понимали, что их судьба связана с политикой. И что кому-кому, а уж им следует держать ухо востро, а язык за зубами. Впрочем, и тут случалось разное.

С одним из этапов прибыл странный человек, москвич, не лагерник и, как я, с очень маленьким сроком ссылки. Как раненый фронтовик, он вскоре и здесь стал получать свою пенсию — для местных условий немаленькую.

История его была такова. Несколько лет он служил в кремлевской охране и знал систему управления светофорами на «правительственной трассе» (на Арбате) — другими словами, знал, за какими невинными ящичками спрятаны рубильники, каждый из которых при включении экстренно перекрывал движение по всей трассе. Но после фронта или до него он оттуда уволился или был уволен (скорее всего, за пьянство) — во всяком случае, давно там не работал. Но в один прекрасный день его с пьяных глаз занесло на Арбат. И увидев знакомый ящичек, он подошел к нему, открыл дверцу, включил рубильник и перекрыв все движение на Арбате. Поднялся страшный переполох. Что

случилось? Почему перекрыто движение? Для теракта? Но ведь Вождя на трассе нет. Кто ж это сделал? Где? Мгновенно обежали все рубильники, нашли выключенный и возле него нашего героя — он и не собирался куда-либо убежать — стоял, опершись рукой о чудесный ящик.

— Ты включил рубильник?

— Я, — ответил наш герой, демонстрируя свою компетентность.

Естественно, его тут же арестовали. Поначалу начальники дрожали. Кто и каким образом мог проникнуть в тайны правительственной сигнализации? За такие упущения по головке не гладили. Но когда выяснилось, что никто никуда не проник, а виновник торжества свой, только выпивши, — успокоились. А самого героя, дабы больше такое не повторялось, решили сослать подальше.

— Поедешь в Сибирь, — сказал ему кто-то из успокоившихся начальников и добавил: — Там, в тайге, включишь рубильник — все медведи останутся.

Но в тайгу наш герой не торопился. Он интенсивно пропивал свою пенсию и собирался... в Москву. Да, он собирался в побег, о чем оповещал всех и вся на каждом шагу. В том числе и на базаре, покупая продукты на дорогу. Никто эту болтовню всерьез не принимал. Но в один прекрасный день он исчез. В управление МГБ стали вызывать ссыльных — что они об этом знают?

Вызвали и Б.Г. Она работала машинисткой на собственной машинке, присланной сестрой. Потом, по приказу МГБ — не в связи с этой историей, а просто в очередную кампанию по повышению бдительности — ее уволили, а машинку заставили продать. Дабы исключить использование этого множительного аппарата для антисоветской пропаганды. Но это потом, и вряд ли это была местная инициатива. Но тогда, в переполохе, они как бы между делом интересовались: не напечатала ли она ему на машинке какой-либо документ? Делалось это для проформы. Документ беглецу нужен был только один — паспорт, а паспортных бланков в распоряжении Б.Г. быть не могло. Да и заполняются они не на машинке, а от руки. Не было в ее распоряжении и никаких штампов и печатей, без которых документов не бывает. И вообще никто не обвинял ее в изготовлении фальшивых документов. Кроме всего прочего, у нее просто не было потребной квалификации для этого. Да и не был беглец

таким предусмотрительным человеком, чтоб запастись документами — те, кто столь предусмотрительны, не кричат о своих намерениях на базаре. Все это, наверное, было понятно и «сотрудникам», но надо было реагировать на побег. Б.Г. в ответ на вопросы разразилась филиппикой:

— Как же это так, гражданин начальник! Спрашиваете, слышала ли я о его намерениях. А кто о них не слышал? Он ведь везде о них трубил. Удивительно, что вы не знали!

Начальник, конечно, об этих его обещаниях знал. Но, как и все, кто их слышал, не принимал их всерьез. Менять неизвестно на что относительную свободу, да еще при достаточной пенсии, обеспечивающей безбедное существование, — это было невообразимо. Ведь не какой-то же это был бунтовщик, фанатический борец за что-то, а спившийся охранник Сталина. Скорее всего, его быстро поймали — не представляю, как могло бы быть иначе. Впрочем, кто его знает. Ведь он мог совершить и что-то настолько дурацкое, что и МГБ бы запуталось. Мог он и к уголовникам пристать. Все могло быть.

Странно, что разговор о трагических обстоятельствах нашей истории вдруг прерывается такой интермедией. Что делать! Эти обстоятельства нередко захватывали и таких индивидов — и тоже не по их воле. И не их вина, что они несли сквозь эти страшные обстоятельства свой монолог, часто не очень осмысленный и внятный. Впрочем, разве менее осмысленный и внятный, чем все остальное? Чем та же многолетняя ссылка за мелкое и отнюдь не злостное хулиганство?

Но за спиной большинства ссылных, как здесь уже не раз отмечалось, не было даже и такого проступка. Уже упоминавшийся здесь инженер Григорий Григорьевич Головин сидел, по-видимому, за то, что он — Головин. В те времена, когда его посадили, его фамилия еще сама по себе звучала почти как криминал. И хотя за это время она стала уже звучать почти почетно, — как-никак потомок адмирала-патриота! — выпускать Григория Григорьевича, даже когда он отмотал весь свой срок «от звонка до звонка», никто и не думал. Как знает читатель, он, наоборот, получил в довесок ссылку «до особого распоряжения», которое не замедлило обернуться бессрочной «вечной ссылкой».

Был в чумаковской ссылке еще один дворянин, Николай Васильевич Радко, по профессии оркестровый музы-

кант, «лабух» — это слово я впервые услышал от него. Помоему, он был доставлен сюда не из лагеря, а, как и я, из Москвы, где жил, был арестован и приговорен к ссылке. Какую чепуху ему вменили, не помню — политикой он не только не занимался, но и не шибко интересовался. Если он и побывал в лагере, то по тем временам довольно давно, лет десять назад. Он был потомком генерала русской службы Радко-Дмитриева, легендарного освободителя Болгарии. В том и был бред поздней сталинщины — генерала уже славили, а потомка за родство с ним — преследовали. Ибо если вцепились — не выпускали.

У меня даже строки такие были, никуда не вошедшие, пришедшие в голову не в связи с ним, но относящиеся и к нему:

Первый раз осудили ни за что ни про что,
А второй раз за то, что он был осужден.

Впрочем, сталинская система отличалась великолепным, чисто у́рочьим даром имитации. Вдруг ни с того ни с сего кого-нибудь освобождали. Это должно было создать впечатление, что кто-то там наверху бдит, беспокоится и, если обнаруживается, что человек сидит зря, исправляет эту несправедливость. Не знаю, действовала ли эта косметика раньше, но в мое время впечатления она не производила — даже на тех, кто благодаря ей получал свободу. В нашем районе, кроме поляка Лендэка, к этому не относившегося (его ведь вообще не столько освободили, сколько передали «народной Польше»), при мне освободили еще одного человека, на этот раз гражданина СССР. Это был молодой парень с немецкой фамилией, но, может быть, и не немец. Впрочем, фамилию его я тоже забыл, звали его, кажется, тоже Леня. Взят он был в ежовщину, в Мурманске, лет 10—12 назад, отсидел весь свой червонец и часть «вечной ссылки», но вдруг был признан полностью невиновным. Я его встретил, когда он уже оформил документы о реабилитации и по дороге рассматривал их. Конечно, он был счастлив, но вдруг был признан вовсе не был.

— Вот смотри — невиновен. А десять лет забрали. За что? И кому я помешал? Если б я еще жил в Крыму, а то — Мурманск, Север...

Он сидел достаточно долго, чтобы понимать, что остальные не более виновны, чем он. И то, что освободили

его, а не, допустим, Ваню Смородина или Володю Вильневшица, — случайность, гэбистская рулетка. Остальные — все, кого я знал, — радовались, что товарищу повезло, но отнюдь не торжеству справедливости. Не могли ж они про себя думать, что в чем-то более виновны. Не действовало ничего. Даже принадлежность к семье доблестного героя и освободителя Болгарии, атрибута русской воинской славы, которая тогда на все лады воспевалась.

Вот и сидел Николай Васильевич в ссылке. У него была одна странность: он знал и любил всякое женское рукоделие — шитье, вышивание, готовку, стирку, — на какой-либо основе завязывал тесные, но не романтические отношения со многими деревенскими бабами и ссыльными дамами. Ибо, в отличие от них, он был в этом деле виртуоз. К нам он приходил как к своим — отвести душу. Из его общих высказываний я помню только соображение о том, что советская власть, когда ей что-то нужно было по-настоящему, плевала на все свои «классовые» предрассудки и обращалась к тем, кто знает дело. За этим вставала казавшаяся мне тогда анахронизмом обида человека, которому надо было преодолевать преграды, выставляемые в свои «первые романтические годы» советской властью перед лишенцами. Анахронизмом мне это казалось только в результате возрастной аберрации — кончилось это максимум лет тринадцать-четырнадцать назад, и для него это было достаточно живо.

В деревне Николай Васильевич был немногим более уместен, чем я (у меня не было и такого применения), но все же как-то уместней. С другой стороны, он еще более выделялся на общем фоне. Высокий, интеллигентный, с острым и плоским носом и, главное, черноволосый, он бросался в глаза. Вся деревня, включая многих ссыльных, не сомневалась в том, что он еврей. Насчет меня, Б.Г. и других сомневались, иногда не знали, а насчет него — и тени сомнения не было. Враждебности не было, а уверенность была. Особенно она окрепла, когда начальство для порядка, чтоб не болтался, заставило его трудоустроиться и, поскольку не было ничего лучшего, направило его через райпотребсоюз торговать в клубном ларьке. Тут уж если у кого и были сомнения — отпали. Однажды я был свидетелем такой уличной сцены.

Темным вечером на улице встречаются два приятеля.

— Мишка, ты где водку брал? — озабоченно спрашивает один.

— Да у еврея, мать его перемать! — отвечает с досадой Мишка. — Больше негде.

— Вот тудыть-растудыть! — разделяет Мишкину досаду встречный. — Куда денешься!

Меньше всего их сейчас интересует Николай Васильевич, его «еврейство», еврейский вопрос и еврейский народ в целом. Причина их досады в том, что магазины уже закрыты, торгует только клубный ларек «еврея», а в ларьках — наценка. И ругают они вовсе не «еврея», а самих себя — за то, что вовремя не позаботились, теперь приходится переплачивать. Вот смысл этого обмена междометиями. Но из него же видно, что национальная идентичность Николая Васильевича для обоих, как и для всей деревни, несомненна.

Об этом должны помнить мечтающие о еврейских погромах — как бы самих не пришили.

Но тогда дело шло не к погрому, а, скорее, к Освенциму, о чем тоже пока никто не знал. И откуда было знать? Правда, смерч борьбы с безродными космополитами уже пронесся над главными городами страны. И слегка задел деревенский актив. Даже здесь, в Чумакове, секретарь райкома Шейкин собирал по этому поводу местную интеллигенцию — разъяснить, чтобы не путали, что скрывается за этим диковинным словом. И разъяснил, как мне говорили, вполне доходчиво. Заостряя внимание на еврейских злодействах. Местная интеллигенция, возможно, и возмущалась, но, в общем, ей было не до театральных критиков и литературных взаимоотношений. Да и не до евреев тоже. Конечно, где-то там, на Лубянке и в Суханове, уже раскручивали дело ЕАК, готовился «процесс врачей». Но хотя события эти назревали, хотя «сионисты» постепенно становились жупелом, нашей колхозно-ссылочной местности не достигали тогда даже слухи об этом.

Кстати, в Чумакове среди ссыльных был один настоящий сионист, доктор Перпер — во всяком случае, он сам себя считал таковым. Тогда этому термину не был еще высочайше придан мистический, точнее, inferнальный ореол. Сионизм не был именем дьявола, а был названием общественного движения, ставящего себе задачей воссоздание еврейского национального очага в Палестине. Он, ко-

нечно, в СССР преследовался, как и всякое другое национальное движение, но не больше. Термин тогда еще употреблялся только в его прямом значении.

Взяли доктора, как и агронома Желязко, в Бессарабии после ее «освобождения» в 1940 году. И, скорее всего, не за сионизм, а в порядке той же общей чистки от буржуазных и враждебных элементов (чистка эта проводилась НКВД не только в Бессарабии, во всех присоединяемых областях и странах). Короче, арестовали его только за то, что он был видным человеком в своем городке.

Впрочем, разрушение естественно сложившихся иерархий — не сталинское изобретение. Это проделывали — иногда очень виртуозно, с творческой выдумкой — еще и «честные ленинцы»* Интуитивной целью таких мероприятий было превращение населения в аморфную массу, которой можно было придать любую форму. В том числе и идеально-го «нового человека». Сталина никакие «идеальности» не волновали, но волновало удобство управления, и он это очищение от скверны индустриализировал — поэтому, в какой бы местности мы ни оказывались, мы первым делом и сразу снимали там весь верхний слой. Кстати, в нашем районе среди ссыльных было много представителей «солнечной Молдавии» — молдаван, евреев, украинцев и болгар, отобранных по тому же признаку. Причем интеллигентом из них, кроме доктора, был только уже упоминавшийся агроном Желязко.

Был еще, может, не в прямом смысле интеллигент, но очень милый, работающий, порядочный, неизменно вежливый украинец из Кишинева Майборода, которого вслед за китайцем Колей все называли просто Борода (у него действительно была небольшая, но окладистая борода). У меня с ним были отношения не близкие, но теплые. Часто — это когда я потом работал с ним на пилораме — он перед по-

* Николай Адамов, покойный муж тоже уже покойной Ольги Львовны Адамовой-Слиозберг, с которой меня связывала многолетняя дружба, герой Гражданской войны и упрямый троцкист, много за это сидевший, рассказывал, как он и другие хитроумные ребята-комсомольцы «обезвредили» популярного сельского священника. Мужики откуда-то прознали об этой акции и выставили охрану — в случае чего ударили бы в набат. Но «ребята» инсценировали нападение на менее популярного священнослужителя и, когда мужики бросились на его защиту, тихо арестовали нужного. Николай Адамов после всех своих лагерей все равно гордился хитроумностью этой «операции».

лучкой одалживал у меня небольшую толику денег и в поллучку всегда аккуратно возвращал. Однажды я поинтересовался, почему его посадили, чем он занимался в Кишиневе.

— Мав ресторант, — коротко ответил он.

«Ого!» — подумал я. Тогда ведь мне, как и большинству советских людей, за словом «ресторан» виделось нечто роскошное и богатое, праздничное, с роскошными люстрами, где люди не просто едят и пьют, но «проводят время». Как это было у нас — даже когда это был «ресторан 3-го разряда». Все равно он наглядно отличался от всех окружающих столовых и закусочных. На Западе (и, видимо, в Румынии) это было не так. Там, конечно, тоже есть роскошные рестораны типа «Волдорф-Астория», но в то же время рестораном может себя назвать и любая закусочная. И, наоборот, фешенебельное парижское заведение «Этуаль», расположенное на знаменитой площади с тем же названием, считается просто кафе. И никто не путает.

Но какой бы ни был у Майбороды «ресторант» — пусть даже самый роскошный, — почему б ему было его не иметь? Я еще по инерции признавал логику классово-борьбы, но эмоционально этот вопрос себе задавал. И меня не смущал тот факт, что я сочувствую «мелкому (а может, и не мелкому) буржуа». И действительно, как ни отрицай частную собственность и ни признавай экспроприацию, почему было его после нее отрывать от семьи и столько лет мучить лагерем и ссылкой?

Я, конечно, помнил, что эксплуататорские классы имеют тенденцию сопротивляться, а это надо пресекать. Насчет классов все было ясно, но передо мной был не класс, а живой, достойный, порядочный человек Майборода (цену порядочности я, как любой зэк, знал хорошо), которого явно преследовать было не за что. Вероятно, как и многие другие во всех странах, я отговаривался тем, что это (классовую борьбу?) надо делать не так. Решение вопроса о том, можно ли это делать не так и как именно, если не так, в таких случаях обычно откладывается на неопределенный срок. Простой ответ, что этого делать нельзя вообще, ибо в любом случае это выйдет только так, дался мне только лет через восемь-девять. Все простое давалось моему поколению очень трудно.

Но вернемся к доктору Перперу. Сионизма среди нас он не проповедовал. Политические рассказы его больше каса-

лись жизни еврейской общины его городка, ее участия в выборах. Они хотели выставить и своих кандидатов, имели на это право, но румынские власти этому препятствовали. Не официально, а как-то тайно-подметно, точнее, физически. Хватали кандидатов вместе с теми, кто их выдвигал, под любым предлогом, ложность которого «выяснялась» к концу дня, и держали в кутузке несколько часов до истечения срока регистрации.

Однажды, зная об этом, представители общины прибежали в мэрию рано утром, к ее открытию, когда полиция еще не работала, и успели зарегистрировать своего кандидата. Полиция этого не знала, и на обратном пути они были арестованы. Но когда обрадованные собственной ловкостью евреи рассказали капралу, что зря он их задержал, ибо дело уже сделано, тот позвонил в мэрию, проверил эту информацию, и убедившись, что они не врут, признал, что на этот раз состязание проиграл, и спокойно их отпустил.

Конечно, откровенность поведения полиции поражает, но то, что обе стороны знали правила игры и не делали вид, что дело в чем-то другом, — все-таки было нормальной того, что мы видели вокруг. Конечно, нехорошо, что власти кому-то препятствовали в выдвижении кандидатов, но раз они так стараются, следовательно, выборы чего-то стоят. У нас бы не угодный начальству кандидат (если бы такой мог быть выдвинут, что само по себе было фантастикой) даже не был бы вычеркнут, он бы просто незаметно исчез. И хорошо, если только из списка кандидатов. Да и кто стал бы его выдвигать? Зачем?

У доктора Перпера был старший брат, который до революции редактировал «Вегетарианскую газету» (или «Вегетарианские ведомости» — теперь не помню) и поэтому иногда общался с Л.Н.Толстым. После революции он жил в СССР, а не в Бессарабии, но не был арестован. То ли вегетарианцев, в отличие от, допустим, эсперантистов, сочли чудаками неопасными (и даже полезными при нехватке мяса), то ли просто Бог миловал, но НКВД почему-то им не заинтересовался. Так или иначе, он уцелел, и я его видел, когда он приезжал в Чумаково навестить брата. Мягкий человек, интеллигент старинного покроя, чтивший и знавший Толстого, как Библию. Оба они были «из семьи врача», но в самом докторе этой старинной интеллигентности было меньше — то ли в более раннем возрасте ока-

зался вне этой среды, то ли лагерный опыт накладывает отпечаток. Но все же и доктор образован был не по-нашему. Например, когда его пациентами бывали немецкие спецпереселенцы (а они составляли значительную часть населения), он, принимая их, свободно общался с ними на их родном языке, что для некоторых из них было большим облегчением и вообще повышало его авторитет среди них.

Отношения у него вроде со всеми были ровными и хорошими. Естественно, никакой политикой он не занимался. Тем не менее он чуть не кончил трагически. Это было во время «дела врачей», когда я уже жил в Караганде. Начальник райотдела капитан Кошелев, муж Марины Прокофьевны, начал — по своей ли инициативе, по приказу ли прямому или косвенному — создавать в Чумакове собственное «дело врачей». Естественно, в центре этого заговора в роли местного Вовси должен был выступать доктор Перпер.

Страшная советская коллизия поздней сталинщины. Капитан вовсе не был злым человеком, скорее доброжелательным, чем коварным, а взялся за такое страшное дело — ведь «оформить» его без крайней жестокости, без истязаний было бы невозможно: кто будет без этого возводить на себя такую чудовищную напраслину?

Прельщали ли капитана лавры Рюмина? Или боялся оказаться недостаточно бдительным? В их «профессии» эти два мотива переплетались тесно — не расплеться. Шутка ли, ведь тут дело шло о настоящем сионисте — принадлежность доктора к этой дьявольщине значилась в «Деле», и он этого даже не отрицал! Правда, доктор, давая это показание, не знал о зловещем inferнальном ореоле, который потом по воле Вождя обретет этот обыкновенный термин.

Впрочем, и капитана можно понять. Для него этот термин только в этом inferнальном ореоле и существовал. Сталин вовсе не учил свою политическую полицию разбираться в политике и в политической истории — ее воспитывали на тех же штампах, что и всех остальных. И в том, что сионисты — агенты иностранных разведок и отравляют честных советских людей, капитан не сомневался искренне. А тут явный сионист, и притом в белом халате, у него под носом — и не раскрыт! Проморгаешь такого — по головке не погладят. Да и перед людьми стыдно — все вокруг раскрывают их сколько надо, а ты, выходит, один — губошлеп.

Правда, капитан не разбирался в медицине. Что ж, он нашел себе квалифицированного консультанта. Им стал доктор Бойко. Этого человека я неплохо знал, он у нас бывал. Высокий, широкоплечий богатырь лет сорока—сорока пяти, родом казак, он попал с семьей в эмиграцию и был арестован в Братиславе, по-видимому, в 1944-м, когда через нее проходили наши войска. Получил он, похоже, пять лет лагерей (за связь с мировой буржуазией?) и в 1949-м, когда кончился срок, как все, получил довесок — ссылку «до особого распоряжения». Так он оказался в Чумакове. Был он веселым человеком, шутником. Рассказывал, как, получив после университета работу, он впервые был приглашен одним из коллег на день рождения. Исходя из этого, он не пообедал — зачем, если зван на именины? — не переждать же. И отправился в гости натошак. А там «угощали» кофе с маленькими тартинками, что этому богатырю было как слону дробина. Вернулся домой голодный, а поскольку все магазины и харчевни были уже закрыты, пришлось голодать до утра. И поэтому, когда настал его день рождения, он им «отомстил» — задал настоящий пир на весь мир, знай наших! Потом гости по одному подходили к нему, благодарили, говорили, как все было замечательно, и неизменно добавляли:

— Но, доктор, ведь это очень дорого!

Он был несколько легкомыслен, бонвиван, но что он может совершить такую подлость, мне в голову прийти не могло. Почему он себя до этого допустил? Идеологические мотивы я исключаю. Конечно, антисемитизм в белой эмиграции был весьма распространен (в виде убеждения, что революцию устроили евреи). Но когда приходили немцы, как правило, русские эмигранты евреев не выдавали, не котировалось это как-то. А тут ведь от него требовалась подтасовка — в лучшем случае, объяснение медицинских ошибок злым умыслом. Конечно, ошибки бывают у всех, могли они быть и у такого опытного врача, как доктор Перпер, но их не могло быть слишком много. В основном речь могла идти о еще более очевидной напраслине.

Чем же можно объяснить участие доктора Бойко в этом грязном деле? Конкурентными чувствами? Думаю, что возможность таким способом конкурировать превышает то, на что способен был доктор Бойко — он прошел через лагерь, но все же не был ко всему привыкшим советским деятелем.

Его заставили сотрудничать угрозами, то есть насильно? Может быть... Не знаю. Если это так, это снимает часть его вины. Но только часть — вина слишком огромна.

Скажу только одно — хорошо, что Сталин издох. Это спасло не только доктора Перпера, но и самого капитана Кошелева (хотя он, наверное, был очень обескуражен тем, что все провалилось и что в Москве, оказывается, все тоже так). А может, даже доктора Бойко спасло. Разумеется, я имею в виду души. Говорят, потом, когда райотдел закрыли, капитан Кошелев работал в Каинске (тогда Куйбышеве) заведующим базой то ли «Заготзерна», то ли «Заготскота». Что ж, эти учреждения тоже звенья советской сети выкачивания, но они в советских условиях имели смысл — без них — в этих условиях — страна не могла бы существовать. К тому же эта служба не вынуждала к обязательной подлой жестокости, как сталинское МГБ.

И опять меня угнетает бессюжетность. Судьбы, размышления, но вокруг чего? Конечно, главный сюжет этой книги — этапы моего пути «к откровению от лжи». Но здесь, в Чумакове, после резкого отказа от сталинщины, этот сюжет практически не развивается, происходит только глубинная работа, накопление впечатлений и реакций.

Но был же и какой-то внешний сюжет, была же какая-то смена событий? Была. Сейчас, чтобы к этому не возвращаться, изложу ее в нескольких словах. События развивались в смене квартир и смене работ.

Начну со смены квартир. В Ушкове мы с Б.Г. сменили три квартиры. Впрочем, фактически две — в одной из них, на которую мы выехали спешно (свою пришлось уступить Лиде Стасюк, к которой приехали на лето мать с сыном), жили недолго. Хозяйка ее, вдова с ребенком — девятилетней, как мне кажется, девочкой, жила одиноко и замкнуто, но всегда была сдержанной и спокойной. Бросалось в глаза, что и повадка ее, и речь были не совсем деревенскими. Она должна была бы быть учительницей, но в этом случае она бы не могла пустить нас на квартиру — учителя считались работниками идеологического фронта и не имели права столь тесно общаться со ссыльными. Кто она, я так и не понял. К откровенности она расположена не была, но отношения у нас с ней были ровные и спокойные. Съехали мы от нее только потому, что нашли комнату более удобную и просторную. Больше мне о жизни на квартире у

этой загадочной вдовы вспомнить, к сожалению, нечего. Потому я и вставил воспоминание о ней в беглый перечень. О хозяевах тех квартир, откуда мы к ней переехали и куда от нее съехали, я расскажу более подробно — когда об этом пойдет речь. Сейчас я отмечу только, что, живя на следующей квартире, мы втроем — Б.Г., Алик и я — начали строить дом. Но уже не в Ушкове, а на окраинной — Северной улице Чумакова, куда потом и переселились. Здесь застал меня и конец ссылки.

Теперь о смене работ. После Промкомбината я несколько месяцев был безработным. Но порядок требовал моего устройства на работу, и под давлением начальства, да и с его помощью я устроился учеником сапожника в местную артель «Заря». К сожалению, через некоторое время ученичество мое кончилось ничем, и я опять оказался безработным. Других работ для меня не было, а устройству на «физическую работу» мешала грыжа. Мириться и с таким положением МГБ не могло. После операции, сделанной по его настоянию, я некоторое время проработал на пилораме в том же промкомбинате (вместе с упоминавшимися здесь Колей-китайцем и Майбородой). Но операция (о ней позже) оказалась неудачной, грыжа вышла снова, и осенью 1950 года, незадолго до истечения официального срока ссылки, мне пришлось уйти с пилорамы.

Больше я нигде не работал. Теперь, поскольку я, выполнив все требования начальства, оказался инвалидом, все взятки с меня были гладки, и начальство больше меня по поводу трудоустройства не беспокоило. МГБ было организацией гнусной, но я бы не хотел, чтобы то, что я рассказываю о своих «трудовых мытарствах», воспринималось как рассказ о травле со стороны местных работников. Нет, это было исполнение формальных требований, в которых они отчитывались. Как бы они отнеслись ко мне во времена «дела врачей» — не знаю (верили и ужасались сообщаемому не только работники МГБ), но от себя они меня не травили. Когда пришло известие о моем освобождении, они (об этом позже) явно за меня обрадовались. Но до освобождения эта проклятая «невозможность меня использовать» угнетала меня самого. Я ведь не был уверен, что меня отпустят, а что бы я делал, если бы вместо расписки о получении справки об освобождении я бы должен был расписаться под уведомлением о «вечной» ссылке? Угроза эта висела.

В смысле сюжета смущает меня еще одно обстоятельство — сроки. Ведь, в сущности, я жил в Чумакове (после возвращения из Кульчи) всего два года и два месяца, а время это казалось мне, да и теперь вспоминается, долгим. Сколько времени я жил на одной квартире, сколько на другой, сколько в «собственном доме»? И когда мы его строили — в сорок девятом или в пятидесятом? Ибо если в пятидесятом, то сколько же я в нем прожил? Ведь в начале января 1951-го я уже освободился. А у меня ощущение, что и в этом доме я жил долго. Так что в каком-то, сугубо локальном смысле мои воспоминания о Чумакове не во времени, а только в пространстве. Честно говоря, я не думаю, что это недостаток. Я и не ставил перед собой задачи рассчитать эти два года и два месяца точно по месяцам и неделям. Не так уж важно, когда именно что с кем произошло и когда именно были высказаны или пришли в голову те или иные слова. Важно, что вообще имело место или было высказано — там и в то время в целом. Эти два года и два месяца для меня и для этой книги, для моего рассказа о времени важны в целом. Я рассказываю не об исторических событиях (таковые происходили не в Чумакове), а об исторической эпохе (а она отзывалась и на Чумакове).

На нашу первую ушковскую квартиру Б.Г. переселилась из Чумакова от той нишей телятницы, у которой вся одежда была из дыр. Дом этот (точнее, пятистенок, где нам сдали горницу) был расположен в самом «центре» Ушкова, рядом (отделял только небольшой пустырек) с правлением колхоза. Этот дом в сравнении с предыдущим — поражал достатком. Жила в нем мать с двумя сыновьями. Один из них был постарше — моего возраста, но по-мужички более взрослый. В деревне вообще быстрее взрослеют (во всяком случае, раньше так было). Однажды, когда мы уже сошлись поближе — а отношения у нас всегда были хорошие, — он (имя его я, к сожалению, забыл) ткнул пальцем в свою верхнюю рубашку и спросил:

— Узнаешь? — и когда я не понял вопроса, добавил: — Твоя. Я у тебя купил, когда ты еще жил в райкомхозе.

Я смотрел во все глаза. Я этого парня не узнал. Помнил, что тогда, в райкомхозе, еще до получения первых денег из дому, я с удивлением согласился на чье-то предложение (именно согласился на предложение — самому бы мне предлагать и в голову не пришло) продать за деньги или кар-

тошку какую-то свою смятую пропотевшую тряпку, бывшую когда-то рубашкой, но кто это был — не запомнил. Теперь на нем была вполне нормальная, почти выходная рубашка — чувствовалось, что она побывала в заботливых и толковых женских руках. Парень и теперь еще был доволен сделкой. А я впервые подумал, как это несправедливо — что даже засаленная измятая «городская» рубашка для деревенского человека — ценность. Ценностью были и дешевые, но праздничные городские леденцы в виде колбасок, которые мне присылали из дому. Здесь конфеты только изредка «давали» (как сахар и муку) — и больше перед праздниками и «на выборы» — да и не такие, а извечные «подушечки». Оно, конечно, в городе живет гегемон, в городе делаются все главные дела страны (что в деревне «делается» сама возможность жизни, мне тогда не казалось главным), но все-таки нехорошо получается.

Помню, как мы с младшим сыном хозяйки, Юрой (с которым я сошелся короче, чем со старшим), однажды вместе подошли к колхозному правлению, у входа в которое стоял в упряжке рысак Марсик. Стоял он спокойно и ждал хозяина, благосклонно, но с достоинством принимая наши поглаживания. Он мне очень понравился, и мне захотелось угостить его сахаром из своих запасов. Я быстро сбегал домой и принес пару кусочков. Юра взял один и попытался вложить его Марсику прямо в зубы. Но тот никогда ничего подобного не пробовал и не знал, что это такое, и разомкнуть зубы упорно отказывался. Вероятно, принимая его за камень. Разомкнул он их только после того, как Юра просветил его через обоняние — вложил этот кусочек сначала в одну ноздрю, потом в другую. И когда после этого он опять поднес его к губам Марсика, конь спокойно разжал зубы, принял сахар и как ни в чем не бывало им захрустел. Второй кусочек он уже принял без уговоров. А сколько мы читали о том, как лошади любят сахар, как благодарны своим хозяевам за такое угощение! К немногочисленным колхозным лошадям это не относилось...

Да и как могло относиться, если и дети видели сахар очень редко. Причем не только потому, что его редко продавали. Ведь даже тот, который завозился на праздники, долго не раскупался — не было денег. И запасались им, как это ни парадоксально, почти одни ссыльные — те из них,

кто получал помощь из дому. А ведь сельские жители тогда еще составляли большинство населения страны.

Семья, сдавшая нам горницу, была семьей специфической. Прежде всего мать этих двух братьев была прекрасной хозяйкой и хорошо готовила. Это не так удивительно для русской деревни, но здешние женщины почти все готовили не очень хорошо. Конечно, сказывалась и бедность. Но это сказывалось только на сибирской кухне — пельменях, шанежках, драниках. Если раньше пельмени, например, были всеобщим ритуалом — ради них хозяйки собирались вместе и наготавливали их на всю зиму (потом выставляли мешки на мороз), — то теперь они стали чем-то вроде предмета роскоши. Если кто еще и был в состоянии заготавливать их впрок, то только для особо торжественных случаев — и муку, и мясо надо было расходовать бережно.

Но это сибирские, так сказать, фирменные блюда. Обо всем остальном — о супах, мясных блюдах, даже щах, они имели, по-видимому, слабое представление. Все это получалось у них, как правило, не очень вкусно. Меня это удивляло. Везде, где я бывал, русские женщины, в том числе и крестьянки, готовили хорошо и вкусно. А тут Сибирь, и такая невзыскательность.

Было ли это результатом некоторой опущенности в связи с разгромом деревни или просто такова была локальная культура приготовления пищи в этой местности — не знаю. Но наша хозяйка сильно выделялась на общем фоне — готовила хорошо и вкусно, и не только местные блюда. Потом выяснилось, что она одно время жила в прислугах у Абрамовичей и научилась у них этой премудрости. Причем вовсе не еврейским блюдам — никаких сладковатых борщей и даже фаршированной рыбы она не готовила, — а самым обычным. Лично я запомнил ее мастерство по яствам чисто крестьянским — как это ни банально, по хлебу и квасу. Ни такого хлеба, ни такого кваса я больше нигде никогда не пробовал. Буханки этого хлеба, высокие, широкие, громадные, обладали при этом невероятной плотностью и питательностью. И были очень вкусны. Практически этот хлеб не черствел. А квас был шипучий, кислый, терпкий и какого-то очень крепкого настоя — ничего общего по вкусу даже с самым крепким квасом, продававшимся на улицах Москвы. Вполне вероятно, что и хлеб, и квас были обыкновенными, крестьянскими, но значит к тому време-

ни это обыкновение кончалось. Но в этом доме оно еще не кончилось.

Семья была дружная. Приходили к ним еще родственники, какая-то бабуся, дочка которой была замужем за чеченцем по имени Мурат. Чеченец был тоже послелагерным ссыльным, но сидел по статье не 58-й, а 593-й — вооруженный бандитизм. Это не означало, что он обязательно принадлежит к уголовному миру (у горцев были свои нормы поведения, не всегда соответствующие общепринятым), но о нраве, крутом и опасном, свидетельствовало. Теща жутко его боялась и со страхом произносила его непривычное ей имя как «Мрак». Он был широк в кости, очень силен и действительно черен. Водку и бражку он, несмотря на мусульманское происхождение, принимал, во всяком случае на семейных празднествах. Однажды после такого праздника он мне так изъяснился в любви:

— Наум, я тэбэ лублу. И знаешь, почему? Потому что ты еврей. Я всех евреев лублу. И знаешь, почему? Потому что их выгнали из своей зэмли и разогнали по всему свэту. Тэпэр мой народ выгнали из своей земли, и он живет вэздэ, толко нэ дома. И я лублу евреев.

За такую критику сталинской национальной политики тоже можно было огрести срок. Впрочем, как я уже писал, и в других домах тоже не стеснялись в выражениях. Но все же не мы, не политические ссыльные. А Мурат не был политическим.

Но все это — заурядные для того времени бытовые подробности. А стороной я узнал об этом доме и нечто, поражавшее воображение. Дошли до меня сведения — правда, так и оставшиеся не очень подробными и конкретными, — что какие-то члены этой семьи были когда-то связаны с «бандой». Другими словами, с крестьянским восстанием против коллективизации. Об этом восстании я и раньше слышал, но тоже только в общих чертах. Была, дескать, у нас когда-то в крещенском урмане банда. Против колхозов.

Я даже поэму пытался писать, исходя из этого факта. Конечно, не халтурно-героическую, а трагическую, о той же тяжести поступательного хода истории, которая тогда наполняла для меня жизнь смыслом. Написал какие-то куски, но до самой «банды», слава Богу, не дошел. Ибо ничего так и не узнал. Надеялся что-то узнать, но и теперь конкретно не знаю ничего. Что послужило поводом для восста-

ния? Как эта «банда» собиралась? Что делала? Что говорили власти? Как подводились войска? Быстро ли эту «банду» разгромили? Что сделали с ее участниками? Провозили ли их через деревни? Как воспринимало их население? Эти темы не возникали ни в одном разговоре, словно это с самого начала никого не касалось. Как выпало из памяти. Была некая «банда» — и все.

Разумеется, определение «банда» было изобретено не жителями. Оно было ими усвоено из официального словаря тех лет — против «нас», как известно, всегда бывают одни только бандиты, растратчики и сумасшедшие. Поначалу слово «банда» было единственно легальным и неопасным при разговоре на эту тему. Потом к нему привыкли. Привилось. Как прививалось все при советской власти. Как сама она.

Конечно, прикосновенных к «банде» родственников моих хозяев здесь, в округе, уже давно и в помине не было, односельчане о них не вспоминали, у них не было имен, с ними не были связаны никакие сельские истории, они вообще как бы никогда не существовали. Кто-то, правда, мне намекнул: мол, смотри, Наум, люди они особые. Ихние ведь там были... в урмане, в банде. И опять — ни имен, ни деталей.

И хозяйева мои тоже не проявлялись. Только однажды хозяйка, после того как мы вдруг прервали разговор при ее появлении, сказала мне потом:

— Ты что, Наум, думаешь, мы докажем на вас? Ты что? Мы не такие.

И я почувствовал, что и впрямь — не такие. Но откровенничать она и тут не стала. А если б стала, разве я, тогдашний, понял бы ее до конца? Конечно, не донес бы, даже посочувствовал бы по-человечески, но не понял бы ее погребенной под спудом торжествующей повседневности правоты. А как легко носить в душе оклеветанную правоту — это я знаю. И она не пыталась воскресить того, что было погребено в душе. Что было — было, душа хранит боль, но жизнь «ушла вперед», никому ничего не докажешь, и надо жить по нормам этой жизни, как будто того, что было, не было. Вот так у нас бывшее быльем порастало. Зарастало.

Поразительная вещь, как для нас для всех — от профессоров до крестьян, от идейных коммунистов до безыдейных сталинских цекистов — зарастали пустоты, создавае-

мые в живой толще жизни бешеной властью, зарастали заподлицо, так что и швов видно не было.

Это тотальное выпадение памяти походило на какой-то пассивный заговор. Уже через много лет мне с двумя журналистами пришлось разъезжать по целине, в том числе по землям Сибирского казачьего войска, составлявшим теперь северные районы Северо-Казахстанской и Кустанайской областей. Люди разговаривали с нами охотно, помнили многое, но все, от сидящего на завалинке в синей казачьей фуражке очень старого казака Петровича в станице Пресноредуть до пожилой учительницы из Пресногорьковки (тоже местной уроженки), ничего — ну совершенно ничего! — не помнили о Гражданской войне

Петрович помнил войну Германскую, помнил, как попал в плен в Мазурских болотах, помнил, как решал — «или себя прекратить, или как?» (был слух, что германцы казаков в плен не берут и всячески издеваются над ними). Учительница помнила, как Казачьим обществом в Пресногорьковке была открыта гимназия и как она в ней училась. А вот как дело доходило до событий Гражданской, оба они, да и все остальные, обрывали любой сердечный разговор:

— Не помню. Ничего не помню.

«Не помнили», а внуки уж и впрямь не знали. Вот и верят теперь иногда всякой сволочи.

Так что теперь уже можно сказать, что зарастали эти пустоты только для нас, для наших глаз, а на самом деле они зияли, как медвежьи ямы-западни, чуть прикрытые сучьями. Зияли независимо от нашего согласия смотреть и видеть. И до сих пор еще есть шанс всей стране провалиться в эти пустоты, в эти ямы-западни.

Жили были дед и баба

Но я отвлекся. Речь шла о первой нашей квартире в Ушкове. Потом, как я уже говорил, мы недолго жили у странной (не по характеру, а по социальной принадлежности) вдовы, и наконец, поселились «у дедушки с бабушкой» — так мы их всегда называли в глаза и за глаза. Их дом, тоже очень крепкий, стоял по другую сторону от правления колхоза, слегка по диагонали от него, почти на самом верхнем (по течению Омки) краю деревни.

За ним стоял еще только один дом, где жил с семьей охотник. В тридцать седьмом его, малограмотного человека, арестовали по обвинению в том, что он затаившийся до лучших времен колчаковский офицер. Потом я с ним познакомился ближе. Он мне рассказывал, что сидел среди разных диковинных ученых людей, которые раньше были против царя, а теперь вроде против и этой власти (раз за это сидят). От голода он в тюрьме не страдал — многие в камере получали из дому передачи и отдавали ему свою баланду. Между тем страдал он в тюрьме очень, но страдал в основном от вынужденного безделья. Оно было для него непереносимо. Он, правда, старался за всех «дежурить», то есть убирать по утрам камеру, но времени у него это занимало немного — все остальное время он не знал, куда себя деть. Другие читали книги, вели между собой непонятные ему, но весьма занимавшие их беседы, а он, не представлявший для себя никакой иной жизни, кроме работы — только маялся. Как я уже отмечал, при Ежове его, слава Богу, осудить не успели, и когда пришел Берия, его выпустили. Будь проклято государство, где таких людей сажали и допрашивали как политиков!

Нет, он не был Кренкбилем, жертвой недоразумения, несообразности, человеческой тупости. И жертвой фанатизма тоже не был. Он был жертвой целенаправленного государственно-организующего сумасшествия Иосифа Сталина, скорее всего, выразившегося в бессмысленном людоедстве оперативного приказа Ежова № 00447 и предшествовавших постановлений ЦК ВКП(б), о которых мне уже приходилось писать*.

А человек он был хоть и малограмотный, но серьезный. Конечно, вернувшись, разобраться в причинах происшедшего с ним он не мог и не пытался, рад был, что вернулся домой и оказался в своем мире. И приступил к делу. Он был опытным охотником-промысловиком. Ходил по округе, расставлял капканы на лис и волков, стрелял белку. Шкурки сдавал в отделение «Союзпушнины», откуда получал порох и всякого рода боеприпасы. Там действовал свой преискурант, особо ценилась, кажется, «белая лиса». Я видел у него шкуру такой лисы, но мне так и не удалось выяснить,

* О том и другом см. мою статью «Будни тридцать седьмого года» («Континент» № 91).

кто это — просто лиса-альбинос или настоящий белый песец. Похоже, белые песцы в этих широтах не водятся. Рассказывал он и всякие охотничьи истории. Например, о волке, который перегрыз себе поправшую в капкан лапу и при появлении охотника ускакал на трех.

— Теперь ни его, ни его родичей не поймать. Ведь он им сказал: этого, рябого, увидите — бегите со всех ног.

И вот таких людей вырывали из мира, где они были на месте, где они сильны и мудры, и отдавали на расправу неграмотным ошалевшим следователям тридцать седьмого, чтоб те задавали допрашиваемым непонятные им самим вопросы, а потом «оформляли» их в лагеря — на выучку к уркам.

К соседу я относился хорошо, но общался с ним сравнительно редко, и рассказывать мне о нем, кроме истории с его колчаковским офицерством — нечего. Охотничьи истории в основном забылись, а на общие темы он не особо высказывался. Даже не из осторожности — просто он мало в этом понимал, а говорить любил о том, что знает.

Но наши последние квартирные хозяева — дед и бабка были людьми гораздо более словесными, то есть выражающимися в слове. И рассказывать о них можно больше.

Прежде всего — бабушка. Кстати, это она намекнула мне на то, что мои предыдущие хозяева — люди особые:

— Смотри, Наум. Они не просто так. Ихние там были, в урмане, в банде.

Правда, и те предупреждали, что бабушка не того — короче, может и донести. Потом, уже после ссылки, Б.Г. рассказывала мне, что бабушка и впрямь на нас стучала. Представить этого я себе не могу. Не из-за моральной невозможности, а просто она, как и все вокруг, не знала, на что стучать — иначе ей пришлось бы стучать на собственного деда и на саму себя. К тому же мы на общие темы при ней всегда говорили так, чтобы ей было понятно. А бежать мы не собирались, и приготовлений к побегу она заметить не могла. Так что если и стучала, то так глупо, что и тогдашней ГБ было без пользы. Разве что сообщала, кто у нас бывает, чтоб было что подшить к делу. Но это не было секретом. Думаю, что если она и делала нечто подобное, то только потому, что ее распирало от активности и жажды деятельности. Это и привело ее когда-то в ряды активистов

колхозного строительства. Впрочем, это она теперь яростно отрицала. Однажды я совершенно простодушно, в интересах предполагавшейся поэмы, спросил ее:

— Бабушка, я слышал, вы помогали колхоз организовывать...

Но она не дала мне договорить:

— Кто это тебе сказал? Не верь, Наум, не было этого! Врут!.. Враги мои врут! Не верь, Наум!

Должен сказать, что таких «врагов» у нее, видимо, было много, ибо говорили мне это многие. Но я не думаю, что она врала. Не было у нее никакой необходимости, чтобы именно я думал иначе. Да она ведь и видела, что я спросил без подвоха. Просто теперь, когда результаты ее активизма стали очевидны, срабатывал процесс вытеснения. И поэтому все в ней жило сразу. С одной стороны: «Не верь, Наум!.. Врут!.. Враги мои врут!», а с другой — все равно: «Смотри, Наум... Ихние там были, в урмане, в банде». То есть те, кто был против колхозов, — худые люди. Традиция тогдашнего (времен «банды») противостояния в ней не умирала, но причастности своей к «колхозному строительству» она теперь сознавать не желала.

В принципе колхоз организовывала не она, а ее зять, кажется, тридцатитысячник, присланный в деревню на коллективизацию. Я его не знал — при мне он в деревню не приезжал. Видимо, смотреть на плоды своих трудов его не тянуло. Ни из того, ни из другого не следует, что он обязательно был плохим человеком — в национальной трагедии бывают замешаны и хорошие люди. Здесь он женился на дочери нынешних моих хозяев, Христине. Теперь они жили на Кузбассе, в Сталинске. Дед по этому поводу выражался так:

— Зять мой тут наделал делов и уехал, а ты отдувайся, расхлебывай.

Зятя его я, как уже говорилось, ни разу не видел, но дочь Христина при мне приезжала гостить со своим уже зятем — мужем своей дочери, человеком вполне разумным и симпатичным. Христина тоже была вполне нормальной, хорошей женщиной. Вовсе не злыдней, не активисткой и не врагом людей. К нам, несмотря на то что мы были политическими ссыльными, относилась вполне доброжелательно. И то сказать — ведь и ее муж, несмотря на все свои «заслуги перед партией» (а может, и благодаря им), и она

как его жена сами вполне могли оказаться на нашем месте. А то и еще дальше. Но это теперь, а тогда...

Может, и бабушкино участие в коллективизации было связано не только с ее природной активностью, но еще и с материнскими чувствами, а застарелые ее счеты (например, с моими предыдущими хозяевами) были основаны на памяти о страхе за дочь и зятя — противная сторона в этой сознательно спровоцированной братоубийственной «классовой борьбе», наверное, тоже не была слишком мягкосердечной со своими врагами и обидчиками. Такие зацепления возникали между людьми.

Была у стариков еще одна дочка, замужем за работником райкома. Те при нас в доме почти не появлялись. Только на особых семейных торжествах, и я их не помню — мы в таких торжествах не участвовали. По-моему, они даже сопротивлялись нашему водворению в дом родителей — все-таки связь, — но напоролись на жесткий отпор: «А кто нам эти деньги возвернет? Вы?» Пришлось примириться — списали, видимо, на отсталость родителей. Тем более размещать ссыльных где-то надо было, и начальство на это смотрело сквозь пальцы. А может, бабушка в порядке компенсации согласилась стучать. Не знаю.

Приходил только внук «партийных» родителей, приятный мальчик лет двенадцати, разговаривал и со мной о всяких книжках. Правда, однажды после его ухода у меня пропал... листок бумаги. Да, небольшой листочек бумаги, не имевший к нашим с этим мальчиком разговорам никакого отношения. Я это заметил сразу, ибо при всей моей безалаберности вел строгий учет всем своим бумажкам, даже черновикам, даже стихов только начатых и отброшенных, если текст, который эта бумажка содержала, казался мне хоть немного опасным. Я по возможности их уничтожал, а остальные помнил. Ибо хорошо понимал, что при случае любая такая бумажка могла меня погубить. И вот одна такая бумажка, на которой было начертано несколько рискованных строк неудавшегося стихотворения, пропала. И сразу после ухода мальчика. Какой там был текст, я теперь не помню, но тогда знал хорошо. И очень встревожился. Обыскал всю комнату, перебрал все бумаги. Этой не было. Появилась она недели через две после следующего визита этого мальчика — так же неожиданно и необъяснимо, как пропала.

Последствий это не имело. Почему — не знаю. Может, потому, что текст был не прямо политический, а констатировал перипетии моего внутреннего трагического освобождения, и родителям этого мальчика, не очень искушенным как в литературе, так и в идеологии, он был не совсем понятен. И значит, испугался я только по принципу «на воре шапка горит» — я-то знал, чем вызваны были строки. Вероятно, они — кому охота губить человека — удовлетворились этим непониманием: хочется о людях думать лучше. Хотя превращать мальчика в бессмысленного доносчика — тоже не высший класс. А может, мальчик зажегся романтическим пламенем и сам пошел таким безопасным для себя способом на бой с врагами — кто знает! Мутная была эпоха.

Не знаю, впрямь ли стучала бабушка, но отношения с ней, в частности у меня, были хорошие. Она была не слишком грамотной, но отнюдь не глупой. Разговаривать с ней было интересно. Удивляли меня ее реакции. Однажды по ее просьбе я прочел ей «Сказку о царе Салтане», но она особого впечатления не произвела. Но на «Сказку о золотой рыбке» бабушка реагировала очень живо:

— Ишь ты какая! Всего ей было мало... Вот и получила!

Вообще она была склонна к притчам. Например, она одобрительно относилась к тому, что я любил кормить собаку.

— Это правильно, Наум. Собак кормить надо. Мы ведь все едим собачью долю. Да, да. Ведь раньше колос с зерном был такой большой, как нынче стебель, а стебель, как нынче колос. И люди совсем стали ставить хлеб ни во что — краюхами попки детям вытирать. Господь рассердился и сжег все посева. Год... Второй... Пес и взмолился:

— Господи, а мне за что помирать? Я не виноватый.

Господь пожалел пса.

— Ладно, — сказал. — Твою долю я оставлю.

И оставил он только собачью долю — короткий колос на длинном стебле. Как теперь. Вот видишь!.. Нет, собак мы кормить обязательно должны — едим-то мы теперь от собачьей доли.

Вторая запомнившаяся мне притча была даже несколько странной в устах деревенской активистки. Зашел разговор о колхозах.

— А что, Наум, так и случилось, как старые люди говорили. Жил у нас тут когда-то давно, еще при царе, один — то ли ссыльный, то ли кто. Посмотрел он, как мы живем — а жили мы хорошо, богато, да все чем-то недовольны, — и говорит:

— Вы еще беды не знали... Вот когда будете ходить со своей краюхой на чужое поле, тогда узнаете.

И гляди — так и случилось.

Разумеется, грозил когда-то давно местным сибирякам пришлый человек крепостным правом, которого не было в Сибири, а случилось нечто гораздо более страшное. Но такое было у бабушки отношение к колхозному строю, за установление которого многие в деревне ее до сих пор ненавидели.

В трагическую мы жили эпоху. Радость ложного творчества соблазняла не одних только интеллектуалов. И трагедия, связанная с ее крушением, настигала не только их.

Дед был тоже человеком интересным и умным. Это именно ему принадлежит соображение о том, почему так много людей сидит и такие большие срока́ дают («строить надо, а денег нет»). Помню, как это было. В нашей горнице сидели несколько человек, в том числе Алик, рассказывавший трагическую историю о колонии малолеток, мной уже здесь пересказанную. Рассказывали в тот вечер и другие истории.

Тут дед и изрек свои соображения. Стреляный народ, который прекрасно понимал, что бывает не только за высказывание, но и за их выслушивание, принялся деду как бы возражать:

— Да что вы, дедушка! Не так это!.. Конечно, не так.

Но дед при всем своем уме принимал эти возражения за чистую монету. И кроме того, он переживал радость открытия: ему ведь действительно никто этого не говорил — сам догадался. И он стоял на своем:

— Нет, не говорите... Так это и есть... Я вижу.

Он многое видел, о многом догадывался. Но не видел, что мы боимся, и не догадывался — чего.

Дед был умен и догадлив, но замысловатость советской власти при Сталине оказывалась не по зубам его догадливости и уму. Однажды он попал впросак, найдя объяснение тому, за что нас сюда сослали:

— Вы работать не хотели там, где жили — вот вас сюда и сослали. А наших, которые здесь не хотят, отседа еще куды-нибудь. А люди — за это деньги платят.

Я не сразу понял, что это значит, и опешил. У меня даже мелькнула мысль, не подался ли дед в антисемиты. Но нет, ларчик открывался более просто. В этот день дед узнал о том, чего я уже здесь касался — правление колхоза получило бумагу с требованием уплатить по две тысячи рублей с головы за каждого нерадивого колхозника, высланного по решению колхозного собрания. Решало, конечно, не собрание, а правление по требованию райкома — собрание только покорно ратифицировало эти «предложения». Но считалось (и по форме выходило), что решало собрание, а государство только это его независимое решение выполнило. И естественно, что теперь оно требовало оплатить свои услуги. Словно его отношения с колхозами и колхозниками действительно были коммерческими. Но они были совсем другими. И цель рассылки этих требований была отнюдь не меркантильной. Таким образом Сталин отменял развернутую им было кампанию по высылке нерадивых.

Суть была в том, что эта кампания провалилась. Как мы видели (вспомним разговор кульчинского председателя с «нерадивой» Марией), наказанные часто от этого наказания выигрывали, вызывая зависть наказавших. Но отменять свои гениальные решения или признавать ошибки товарищ Сталин не любил. Потребовав оплаты за услуги (хотя о том, что это удовольствие платное, никто заранее предупрежден не был, но с вождями не торгуются), он выходил из положения, ничего не отменяя и ни в чем не признаваясь. Отпадала даже необходимость отменять эту кампанию — она прекращалась сама собой. Деньги (для колхозов непосильные) потом, я думаю, списывались. Тем самым дополнительно проявлялась забота о колхозах и колхозниках.

Дед всех этих идиотских тонкостей знать не мог и попал тут впросак. Но обычно он попадал в точку.

Никогда не забуду деда в день каких-то очередных «все-народных выборов». Выборы в деревне — я уже этого касался — были чем-то вроде праздника. Но никак не для деда. Отношение деда к советской действительности было предельно простым — он ее не столько даже не принимал, сколько не уважал. Конечно, не политически, а эмпирически, но в общем и целом. Особенно не уважал он действительность колхозную.

— Я бы тоже плохо жил, но у меня — спасибо — сына убили, — саркастически объяснял он.

Сын погиб на фронте, но поскольку он был офицером, старики получали за него пенсию — четыреста рублей.

Но на выборы дед ходил исправно, поскольку таков был порядок, а бунтовщиком он не был. Да и пионерчики донимали. Так что на избирательный участок, помещавшийся в правлении колхоза, дед пошел безропотно.

Я же — как человек, точно знающий, что следователи МГБ всегда сильно интересуются отношением подследственных к своему долгу избирателя, и не ищущий новых «приключений на свою задницу», проголосовал сразу после открытия участка и теперь сидел за столом в кухне, что-то читал. Сидел я у торцовой стороны стала. Над небольшим окном — оно было справа от меня — висело небольшое зеркальце. Дед вернулся после выборов почему-то очень мрачный. Он разделся, повесил тулуп на вешалку и подошел к столу. Остановился, и, высокий, стройный, несмотря на свои семьдесят семь лет, стал, глядя в зеркальце над окном, расчесывать свои уже седоватые, но еще вполне жесткие волосы. Продолжалось это минут пять. Дед расчесывал волосы и молчал, я молча читал. Мы друг другу не мешали. И вдруг среди этой мирной тишины из его уст громом вырвалось неожиданное восклицание:

— Неправильно!

Я опешил. Решил, что это «неправильно!» относится ко мне, что я чем-то помешал деду, и спросил:

— Что, дедушка?.. Что неправильно?

Но деду было не до меня.

— Да это... Все!.. Твою мать! «Дедушка!.. Дедушка!.. Сюда, дедушка!» Да что я, маленький?

И я понял, что его возмутило. Действительно, пожилого, привыкшего себя уважать крестьянина вдруг начинают «окружать заботой». Суют ему в руки абсолютно ему ненужную бумагу, подхватывают под руки, ведут и показывают, куда эту ненужную бумагу следует опустить. Дед был возмущен не фиктивностью выборов, не отсутствием настоящих избирательных прав (не было б их, он бы о них и не думал), а тем, что с ним на старости лет обращаются как с ребенком — навязывают роль манекена или комедианта. Роль, которую большинство более молодых и «современных» соглашались играть, даже не замечая этого. В этом корень всех наших нынешних бед.

Это было естественное чувство собственного достоинства, свойственное сибирскому мужику.

В Первую мировую войну дед и его «лелька» (двоюродный брат по-местному) были взяты в армию, в слабосильную команду. Все, конечно, относительно. Слабосильным дед и теперь не был. А лет тридцать назад, лет в сорок пять, и говорить нечего. Однако по закону люди его возраста относились к слабосильным. Но «факт» в другом. Однажды фельдфебель этой команды сунул «лельке» зуботычину. Факт хоть к тому времени и запрещенный, но вполне обычный. Фельдфебель вряд ли придавал ему какое-либо значение. Как, впрочем, и все окружающие. Но наши «лельки» были потрясены. В отчаянии они залезли на какой-то высокий чердак, чтобы броситься оттуда вниз головой — жить, получив или имея шанс получить зуботычину, им казалось невыносимо. Они уже стали решать, кому первому бросаться. Остановило их только то, что высота этого чердака была; по их мнению, недостаточна, чтоб убиться, а оставаться навек калеками не было резону. Очень неосторожно поступали колчаковские офицеры, когда позволяли себе пороть сибирских крестьян. Даже когда бывали справедливо возмущены ими.

Дед вовсе не был антисоветчиком. Он просто в своем отношении к жизни и во всех своих оценках был настоящим крестьянином. Однажды это проявилось с наибольшей полнотой. Мы с дедом вышли из дому вместе, встретили соседа (не «колчаковца» — другого), поговорили, пошли дальше. И тут дед меня удивил категорическим высказыванием по его адресу:

— Никудышный мужик!

На мой вопрос, почему он так думает, дед еще более категорически ответил:

— А ты посмотри, как он живет... Изба у него какая... Да и в избе у них нет ничего...

— Так ведь, дедушка, колхозы... — попытался я робко вступить за соседа.

К колхозам дед относился без всякого пиетета, но тут это на него не подействовало:

— А он и до колхозов плохо жил...

— Так что он, лодырь? — спросил я. На лодыря сосед не походил.

— Да нет, не лодырь, — скривился дед, — а так... Ну ты сам посуди. Ни плотничать, ни столярничать, ни бондарничать, ни шорничать не умеет... Разве это человек?

Последние слова дед произнес с такой убежденностью, что я смутился.

— Так я ведь, дедушка, тоже не умею.

Но на деда эти слова вообще не произвели впечатления, как не относящиеся к делу:

— Так ты ж не крестьянствуешь!

Счет он предъявлял только крестьянам, как я иногда только поэтам.

— А знаешь, Наум... Вот есть мужик — пока в работах живет, ему цены нет, а сядет на свое хозяйство — не идет. Тут другое надо иметь.

Разумеется, это наблюдение крестьянина сибирского, не знавшего, что значит безземелье. Но оно правильно и вообще. И не только в применении к крестьянству. Есть люди, могущие вести хозяйство, есть умеющие только хорошо или квалифицированно выполнять свои обязанности. Квалифицированный рабочий не всегда значит меньше, чем директор. А дед по своей природе был хозяином.

Хотя в молодости «сесть на свое хозяйство» ему было совсем не просто. Началось с того, что отец за что-то сильно рассердился на него. За что — дед не рассказывал, но в тоне его рассказа не было осуждения. Сейчас он относился к этому как к факту и фактору — без оценки, как старается современная передовая проза. Но фактором это было серьезным. Ибо отец не только тут же, посреди зимы, выселил сына с его женой и двумя маленькими детьми из дома в баню, но и твердой рукой выделил его из общего семейного хозяйства. Причем выделил так, чтоб максимально затруднить своему сыну начало самостоятельной жизни. Единственное, что не беспокоило сына, — это то, что больше всего беспокоило выделяемых в других местностях: вопрос о земле. Земли вокруг было сколько угодно — бери и распашивай.

Впрочем, отец дал выделенному сыну немного скота, даже две или три лошади. Но это — все. Ни инвентаря, ни упряжи, ни — что самое страшное — зерна для посева он сыну не дал... Положение было аховым. С отсутствием инвентаря и упряжи сын как человек мастеровитый еще надеялся к весне как-то справиться. А вот отсутствие «посевно-

го материала» озадачивало его всерьез. Выяснилось, что отец строго-настрого запретил окрестным хозяевам ссужать его сыну. И когда он приходил просить об этом, ему отказывали и откровенно объясняли почему. Пошел он и к лавочнику Абрамовичу. Тот его выслушал и сказал:

— Я б тебе, конечно, отдолжил зерно, но отец твой не велит.

Дед и теперь не осуждал ни этих мужиков, ни Абрамовича. Насчет Абрамовича он, понимая щепетильность его положения, даже отметил сочувственно:

— Не мог же он пойти против отца.

Выручил тогда деда какой-то очень крепкий крестьянин. Может быть, даже из другой деревни. Когда дед явился с просьбой, тот усадил его за стол и начал расспрашивать, как он собирается вести хозяйство. Угадав в просителе будущего настоящего хозяина, он согласился ему помочь. Дед и теперь с удовольствием вспоминал все нюансы их непростой и умной беседы, беседы двух умных крестьян, и до сих пор был благодарен ему за то, что тот первый признал в нем настоящего хозяина. А то, что возратить дед обязался во много раз больше мешков зерна, чем брал, дед вообще ни во что не ставил. Главное — спас! Благодаря ему дед потом и смог стать хозяином.

Поскольку здесь опять как бы всплыл проклятый еврейский вопрос, уточняю, что дед хоть и знал, что я еврей, но мало меня с этим понятием идентифицировал — так что соображение об Абрамовиче было высказано вполне спонтанно, а вовсе не из тактичности. В Сибири во времена дедовой молодости вообще почти не было антисемитизма, а семья Абрамовичей, судя по упоминаниям вскользь, которые мне приходилось слышать из разных уст, органически вошла в местную жизнь и оставила по себе в деревне хорошую память. Как ни странно для «национально мыслящих», судьба Абрамовичей вообще была связана с судьбой органической жизни. Их выкорчевали одновременно с ней. Выгнали их или они сами сочли за благо уехать — не знаю.

Чуть выше, рассказывая про неудачную дедову догадку о причинах нашей ссылки, я употребил фразу: «У меня даже мелькнула мысль (сразу же отпавшая), не подался ли дед в антисемиты». Именно «не подался ли». Ибо ни из каких других его высказываний это не вытекало. Естественно, никаким размышлениям о еврейском вопросе он не преда-

вался. Но по деловому опыту (разумеется, доколхозных времен) у него сложилось представление о евреях как о людях разумных и полезных. С уважением (не специально, а рассказывая о другом) отзывался об Абрамовичах, с удовольствием вспоминал о некоем Левоне (Леоне — как только сегодня, через пятьдесят лет, я вдруг догадался) Моисеевиче. Отличился этот Левон Моисеевич вот чем. Однажды, когда в этой местности, во всем Каинском округе, был такой страшный неурожай, что у мужиков не было семян ни на озимые, ни на яровые, этот Левон Моисеевич, кажется, каинский аптекарь, съездил куда-то и «пригнал» оттуда товарный состав с зерном. Зерно это он стал ссужать мужикам. Опишу, как это происходило, то есть какие были нравы. Мужики подъезжали, приказчик или сам Левон Моисеевич спрашивал, имея в виду количество мешков зерна:

— Сколько тебе?

Мужик отвечал. После этого ему говорили, сколько он должен будет вернуть после урожая, мужик кивал, грузил на свои подводы зерно и уезжал. У него не только не брали расписки, но и не спрашивали ни его имени, ни названия деревни, где он жил. Дед взял у Левона Моисеевича шесть мешков.

— Привезешь тридцать, — сказал приказчик, ничего никуда не записывая. И дед отъехал. Помнить, сколько надо отдать, предстояло ему одному — больше это нигде не значилось. Но дед помнил. И никто не забыл. Левон Моисеевич, по-видимому, знал свою клиентуру.

Осенью дед ему исправно и с великой благодарностью отвез все эти тридцать мешков и выгрузил их в указанном месте. У него опять ничего не спросили, никто не поинтересовался, сполна ли он выполнил обещание. Обе стороны знали, что уговор дороже денег — такие еще были времена.

— Какой умный был человек Левон Моисеич, — вспоминал дед с благодарностью, — и мужика выручил, и сам заработал.

Никакого желания подсчитывать барыши Левона Моисеевича дед не испытывал. Ему важно было только то, что тот совершил полезную работу — выручил мужика. А иначе что? Переться каждому мужику за зерном в «Ташкент — город хлебный» (как герою повести Неверова) или в другую даль за хлебом? Проездишься, да и дома дел хватает. А тут Левон Моисеич съездил один за всех и всех выручил. И

сколько б он на этом ни заработал — все его. Спасибо. После урожая тридцать мешков зерна весили для деда и других мужиков намного меньше, чем перед севом — шесть.

Всплывал этот Левон Моисеевич в рассказах деда еще раз — уже в качестве аптекаря. Когда не то к деду, не то к бабке привязалась какая-то изводящая хворь, с которой не было сладу, этот Левон Моисеевич дал ему какие-то «аппетитно-мытные», не то «вытные» (мятные?) капли, от которых через некоторое время эту хворь как рукой сняло. Эти капли потом помогали от всех болезней. Но после этого дед этих капель нигде достать не мог — никто их не знает. Так вот — не слыхали ли мы о таких каплях? Мы не слыхали и, естественно, не знали, что он имел в виду. Думаю, что от большинства болезней деда и его близких вылечивали не эти капли, а несокрушимая сибирская закалка и здоровая жизнь. Но деду нравилось верить в эти сказочные капли. Хотя особой склонности к сказочным объяснениям дед не питал.

И, может быть, поэтому его воображение потрясла обыкновенная радиопередача. Мы поставили у себя репродуктор-тарелку, и когда дед услышал из этой тарелки радиоголос: «Внимание! Говорит Москва!» — его восхищению не было предела.

— Едрить твою мать! Ты подумай: в Москве говорят, а здесь слышно!.. Ну и ну!..

Никакого желания иронизировать над наивностью деда в связи с этой реакцией я не испытываю. Думаю, что лучше бы нам иронизировать над самими собой — над тем, что мы потеряли ощущение, что удивительно удивительно. Если бы не потеряли, больше бы дорожили.

Да, представлений о радиоволнах дед не имел, они до тех пор никак не сказывались на его жизни. Но о том, с чем ему пришлось соприкоснуться, он имел вполне ясное и четкое представление. Окружающую жизнь и людей он знал и чувствовал. И такие вещи, как упоминавшаяся вера в капли (тоже пришедшие не из его мира), с ним случались редко. На моей памяти он проявил наклонность к сказочному объяснению явлений еще только один раз. Когда рассказывал про мор, когда-то напавший на скотину. Причем это страшное бедствие было описано им вполне реалистично. Скотины у всех было много, и погубил этот мор ее много. Фантастическое появилось только в конце рассказа:

— А потом этот мор обернулся птицей, два раза крикнул и улетел. И скотина пропадать перестала.

Разумеется, это не объяснение, а образное видение. К тому же, если мор был птицей, то все равно неясно, почему эта птица прилетала в Каинский округ и почему улетела. Но иронизировать не стоит. Ибо кто из самых ученых и просвещенных сегодня объяснит, почему приходит и почему уходит грипп. Ясны пути его распространения, ясны его возбудители — вирус, конечно, более ясный объект, чем птица, которая кричит два раза перед окончанием мора, но почему он вдруг в какой-то момент возникает и движется, мы также не знаем и не представляем. В этом смысле не так уж далек вирус от птицы.

Разумеется, все эти дедовы рассказы относились к доколхозной жизни — теперь и мору делать было уже почти нечего.

Впрочем, и теперь дедушка с бабушкой жили в некотором достатке. Несмотря на возраст, вели хозяйство. С них как с престарелых колхозников и налоги теперь были поменьше, что немаловажно.

Кстати о налогах. Городские жители просто не представляют, чем были эти налоги для сельских жителей. Представить этого себе не могли и враги. Через много лет в Кишиневе на пропагандистском стенде, озаглавленном «Не забудем! Не простим!» и посвященном зверствам оккупантов, я видел приказ румынского губернатора Трансильстрии (довоенной Молдавской АССР и Одесской области), генерала Александриу, который именем правителя Румынии, генерала Антонеску, строго объявлял, что жители Трансильстрии облагаются продовольственным налогом в пользу доблестной румынской армии, ведущей сейчас тяжелые бои с большевиками. Но поразила меня не наглость временных победителей, а размеры налога. С каждого двора, имеющего птицу, полагалось неукоснительно, под страхом наказания сдать ДВЕ КУРИЦЫ И ДЕСЯТОК ЯИЦ. Не хватало у румын творческой фантазии. В Чумакове с каждого колхозного двора (есть в нем птица или что другое, государства не касалось) полагалось в год ЧЕТЫРЕСТА ЯИЦ. Или денежный эквивалент. То же про мясо, про шерсть и про что угодно. А кроме того, был и денежный налог. Налогами, хоть и менее тяжелыми, но тоже многообразными, облагались и «рабоче-служащие», но они — если имели хозяйство.

Колхозники — всегда. По мысли налогооблагателя, иметь хозяйство они были обязаны. Не зря ведь в районе так много было недоимок и недоимщиков, а продукты на базаре стоили так дешево. И тут ничего удивительного — на ограблении деревни существовало тогда все: государство, промышленность, культура даже. Конечно, и торговля полезными ископаемыми кое-что приносила. Главным источником ограбления недр стало потом. А тогда еще все держалось на ограблении и хищнической эксплуатации деревни. Из нее под гром литавр и втихаря высасывались все соки. Пока не высосали. Тогда стали думать, что с ней делать. Но это потом... А пока — грабили.

И послабление в налогах, конечно, было существенным фактором благосостояния наших хозяев. Наряду с коровой и огородом. Каждую весну их огород вспахивали при помощи колхозных быков. Иногда быков (с плугом и пахарем) присылал колхоз (осуществлял заботу о престарелых колхозниках), иногда дедушка с бабушкой нанимали этих же колхозных быков приватно. Однажды за плугом по их просьбе ходил и я. Работа простая, но совсем не легкая. Надо изо всех сил давить на ручки, вжимать плуг в почву, чтоб он пахал, производил работу, а не волочился без толку по земле. А это — особенно без привычки — совсем не просто. Я еле выдерживал, хотя земля была отнюдь не целинной.

Но хватит об экономике и хозяйстве — тем более что в последнем я уж совсем некомпетентен. Да и для этой книги важнее жизненные впечатления. Ну хотя бы отношения деда с бабкой. Со стороны они выглядели забавно, особенно материальные. Упомянутую «пенсию» за погибшего сына они делили строго пополам. Дед свою половину относил в «банк» (почему-то именно в банк, а не в сберкассу), а бабушка на свои вела домашнее хозяйство: покупала хлеб, соль, сахар и прочее. Это была рутина. Но деньги, получаемые от нас, поначалу вызвали у них некоторую напряженность. Деньги от нас получала бабушка, и дед поставил вопрос ребром — эти деньги тоже следует делить пополам.

— Хорошо! — возмутилась бабка. — Бери, бери половину! Только все сам теперь будешь покупать! Плати за хлеб, за сахар, за карасин — за все!

Деда почему-то эта логика не устраивала.

— Ишь ты! А сама на дармовщинку хочешь?

Однако какую-то брешь в своей позиции дед, видимо, уловил и сам — во всяком случае, на дележе он больше не настаивал.

Имелись у них друг к другу и нематериальные претензии, давние и наболевшие. И, конечно, не столь забавные. Дело в том, что дед был раньше — и не только в молодости — большой, как теперь говорят, ходок, любитель женщин... И надо полагать, пользовался взаимностью — он и теперь еще был красив и статен. Жаловались нам по этому поводу друг на друга обе стороны. Бабушка — несколько раз.

— И ты знаешь, какой он был? Все у него полюбовницы да полюбовницы, — говорила она.

— А вы его любили, бабушка? — спрашивала Б.Г.

— Да как же не любила! По ночам плакала — а его все нет да нет. И знаешь, что он делал, ирод? Из дому полюбовницам носил. Из дому!

Из дому носить — это было самое глубокое оскорбление. Видно, дед не только пользовался, иногда и самого сильно забирало, раз нарушал естественные крестьянские каноны: нес не в дом, а из дому. Но и у него были застарелые претензии к бабушке, раздражение и даже обвинение:

— Ты, Наум, ей не верь. Что она так — «тю-тю-тю», «тю-тю-тю»... Враг!.. Суший враг!.. Знаешь, я по бабам ходить любил. Она, холера, конечно, злилась, фырчала. И знаешь, что надумала?.. Семь лет назад, — деду в момент рассказа было семьдесят семь, — знаешь, что надумала? У нас тут одна была — травами тут лечила, заговаривала. Так привела ее перед тем, как мне в баню идти, — та что-то мне подсыпала в воду, пошептала, и — все! Конец! С тех пор — ничего. Семь лет! Я ж тебе говорю — враг!

У каждого из них были планы на случай кончины супруга. У бабки:

— Когда этот ирод помрет, я продам дом и уеду в Сталинск к Христине. Буду внучат (на самом деле правнуков) нянчить.

У деда:

— Когда этот враг помрет, я продам дом (продажа дома входила в оба плана) и уеду на рыбалку.

Все это, конечно, были слова. Они оба друг в друге нуждались — не зря же они при всем при том жили дружно и слаженно. Все это проявил случай. Однажды дед ушел ненадолго в лес высмотреть себе «лесины» для ремонта дома. Он

знал, что через несколько лет надо будет менять нижние венцы дома (сейчас они были еще почти в порядке, но это ведь не навсегда), и хотел заготовить их загодя. Он предвидел, что сходить в «урман» и искать там нужные «лесины» через пару лет ему может стать и не под силу. Да и «лесинам» полежать у дома несколько лет тоже не лишне — сырой лес на венцы не годится пусть полежат, высушатся, дойдут до кондиции. В тот день дед собирался только высмотреть эти «лесины». Срубить их и привезти он надеялся потом, когда найдет транспорт и людей в помощь.

Другими словами, в лес он собирался ненадолго. Так и бабке сказал. Но ушел утром и... исчез до позднего вечера. Тут-то и выяснились настоящие бабушкины чувства. Часов с двух-трех, когда ему вроде пора б уже было вернуться, бабка просто места себе не находила. Ходила по дому, смотрела в окна, справлялась у меня, как я думаю, что случилось, и даже плакала. Потом оказалось, что дед встретил в лесу возчиков, договорился с ними, и они втроем разом проделали всю работу. Но вернулись, когда уже было темно. Дед был очень доволен собой и тем, что сделано, может быть, последнее важное дело в его жизни. И бабка сияла. Возникшая было возможность исполнения мечты — продать дом и ехать к Христине — в тревоге за деда не была ею замечена, и поэтому исчезновение ее не могло восприниматься как утрата.

В общем, был это обыкновенный, а потому анахроничный сибирский крестьянский дом, со своими драмами, со всякой живностью и своим черным котом Васькой. Сначала был еще котенок. В жаркий день, когда все двери и окна бывали распахнуты настежь, они развивали кипучую деятельность: с невероятно деловым видом оба — Васька впереди, а котенок следом — на бешеной скорости врывались из сеней в кухню, потом из кухни в горницу, пересекали ее по диагонали и выскакивали в дальнее окно. Потом обегали дом, и снова опрометью в сени, через сени в кухню, из кухни в горницу, и — в окно. И так бесчисленное количество раз — деловито и целеустремленно. Словно делом занимались. Потом котенок пропал, а бегать одному Ваське, видимо, показалось несолидно — одно дело вести за собой юношество, а другое — просто так носиться. И Васька эти пробежки прекратил.

Отличался кот еще тем, что умел открывать дверь на себя — просунет лапу под дверь, зацепит когтями и потянет. За бабушкой ходил, как пес.

— Вот гляди, — сказала она однажды, — скажу что-то в голос, он тут же и явится.

Так и произошло. Кот спал в кухне на печи. Мы сидели в горнице, дверь была закрыта. Но как только бабушка громко заговорила, послышался звук прыжка, и тут же почти тихо отворилась (на себя) дверь, и с независимым видом появился Васька, сел в сторонке. Словно просто так зашел, на огонек. А когда бабушка вышла, он так же независимо вышел вслед за ней.

Все это быт, точнее, рудименты деревенского быта. Я никогда с ним так тесно не соприкасался. В доме этих стариков я впервые по-настоящему соприкоснулся если не с крестьянской жизнью — ее уже не было, — то с внутренним миром крестьянина, с миром крестьянских ценностей. Может быть, потому этот мир и смог сохраниться в этом доме, что хозяйка его имела некоторые заслуги по его разрушению и некоторую все-таки близость к властям предрешающим. Я этого не исключаю, такие парадоксы соприсродны сталинщине.

Прожил я в их избе не очень долго: сколько — теперь не сосчитаешь, максимум чуть больше года. А вынес очень много... Разумеется, вокруг жила деревня, и это тоже дополняло и оттеняло мои «домашние» впечатления. Но и они бросали свою проекцию на все остальное.

Этого мира давно уже не существует, да и тогда он уже существовал только как пережиток. Нашло ли человечество более высокие ценности, чем те, которые были разрушены — у нас насильно и до конца, а в остальном цивилизованном мире — естественно и не до конца? И найдет ли? Хотелось бы, чтобы нашло. И чтобы эти найденные ценности в чем-то были и родственны исчезнувшим — ну хотя бы в здравости и органичности. Но тогда государство у нас делало все возможное, чтобы подорвать веру людей в здравый смысл и доверие к своей органичности. И, к сожалению, в этом преуспевало.

— Нынче каждый гражданин, — «политично» выбирая для гостей солидные слова, резюмировал однажды это положение дед в разговоре за рюмкой со случайными ночев-

щиками, — нынче каждый гражданин только и глядит, как другого объегорить.

Деревня по таким законам раньше не жила и к таким сентенциям не располагала.

Love story (Любовная история)

Пусть этот заголовок никого не настраивает на лирические ожидания — эта любовная история произошла не со мной, и вообще не в ней тут дело. Кончилась она трагедией, в чем вроде нет ничего удивительного — любовная история, особенно такая экзотическая, как та, о которой я сейчас расскажу, всегда имеет шанс кончиться трагически. Может, она бы кончилась плохо (правда, по-иному плохо) и без вмешательства внешних сил. Но я сейчас рассказываю об этой истории именно потому, что главную роль в ней сыграло именно вмешательство внешних сил — в данном случае сталинского государства. А заговорил я о ней именно сейчас, в этом месте повествования потому, что пока еще не совсем ушел от рассказа «о деде и бабе». Ибо началась эта история — для меня — в их доме. Впрочем, никто еще не знал, что она началась.

Однажды, когда я сидел у себя в горнице (пятистенная изба состоит из кухни и горницы) и чем-то занимался, писал или читал, из кухни послышался звяк щеколды, кто-то вошел, и сразу начался какой-то оживленный разговор. Все это я отметил чисто механически, ни на секунду не отвлекаясь от того, чем был занят. Меня это не касалось — мало ли кто мог прийти к старикам. Но через некоторое время я услышал веселый призыв бабушки:

— Наум, или сюда... Цыганенок пришел.

Я вышел. В кухне у дверей стоял высокий, стройный, необычайно красивый, очень розовощекий и чернобровый (как насурьмленный) парень лет семнадцати-восемнадцати, почти мальчик, с которым бабушка вела беседу. Я его видел впервые, но не очень удивился, ибо в артели «Заря», где тогда работал, повстречал его отца, бородатого цыгана средних лет, который говорил, что прибыл сюда с семьей и собирается здесь поселиться (вышло постановление, обязывавшее цыган перейти к оседлой жизни). Видимо, цыганенок приходил знакомиться, налаживать контакты. Дед в это время спал, но бабка его разбудила:

— Старик, вставай — цыганенок пришел.

И завязался у них разговор на цыганскую тему, с шутками и подначками. Старики отнеслись к нему как к забавному развлечению. В основном паренька все время возвращали к склонности цыган воровать. Помню, как в ответ на изложение планов цыган осесть и где-то работать дед выразился прямо:

— Так вы ведь украдете...

Надо сказать, что и цыганенок не остался в долгу и резонно заметил:

— А теперь и не только цыгане крадут! Все тащат, если плохо лежит, — с чем дед, как человек честно мыслящий, не мог не согласиться.

Потом цыганенок ушел, и я его больше не видел. Зато многое слышал. Ибо у него завелся громкий роман с женой «шапошника» Шуркой.

Перед тем как начать рассказывать о романе, надо рассказать о самом «шапошнике». В деревне он упоминался только под этой кличкой, обозначающей его профессию, а как его звали, я, если и знал, не помню. Они с Шуркой были почти единственными, кто остался от первого, урочьего, этапа — остальные разбежались. Кроме них я знал только одного человека, о котором ниже. И еще вышеупомянутого Мурата. Ничего удивительного — уркам паспорта не нужны, а из уголовных после лагеря в ссылку отправляли не просто урок, а только бандитов, осужденных когда-то по статье 593.

По ней же был осужден когда-то и «шапошник». Я однажды приходил к нему по какому-то делу — может, даже шапка понадобилась — и разговорился. Конечно, бандитом он не был, был просто «пришит» к ним «делом», но какие-то дела с бандитами он имел (возможно, покупал у них материал для шапок — в начале тридцатых достать его было практически нигде), за что его и уравнили с ними в правах, то есть осудили по той же, самой страшной и почетной (среди урок, конечно) статье 593. Но при первой возможности (а она представилась только после полной отсидки, по прибытии в ссылку) он от этого почета отказался и вместе с женой Шуркой осел в деревне.

С Шуркой он сошелся в лагере. Она тоже сидела по урочьей статье, но по какой, не знаю. Может, и не по бандитской. Поэтому не знаю, прибыла она сюда вместе с мужем

по этапу или сама приехала к нему потом. Во всяком случае, когда я сюда прибыл, она уже здесь жила в качестве его жены. Лет ей было около тридцати. Была ли она красива? Не знаю. Была несколько суховатой, угловатой, с вызовом — некоторым такие нравятся. Вроде особой верностью мужу она и до этого по необузданности натуры не отличалась, вроде и скандалы с мордобоем бывали. И, кажется, ее скандальный роман с цыганенком, о котором все знали, тоже не обходился без мордобоя, но это все слухи, а может, и ошибки памяти. С ней, да и с «шапошником» у меня не было никаких отношений, и знал я их плохо. Так что и слухами о ее страстном романе с цыганенком я тоже мало интересовался. Они меня удивили, но не взволновали. Только жалко было «шапошника» — человек уже в летах, а такой театр имеет на дому. Но то, что случилось дальше, поразило всю деревню. И меня тоже.

Случилось это в клубе на новогоднем вечере. Бес на него занес и Шурку. Вероятно, с цыганенком. Естественно, была выпивши — ради праздника. Плясала. Разошлась. И ошалев от водки, танцев и любви, она в разгар веселья выскочила на сцену и стала во весь голос исполнять матерные частушки о Сталине. Она никогда до сих пор не проявляла интереса к политике, сидела по уголовной статье, а тут вдруг такое. Откуда взялись эти частушки? Урки в своей среде вообще презрительно относятся к власти, к любой. Кроме того, в их среде отнюдь не по природной склонности вошло много кулацких сирот, имевших персональные счета к великому Вождю — было кому это сочинить и подхватить. Но публично исполнять их на «фраерском» вечере — такое урка мог бы себе позволить только в лагере, если имел почему-то расчет заслонить свою уголовную статью «пятьдесят восьмой» — такое бывало. А Шурка ни с того ни с сего — позволила.

Конечно, случай из ряда вон, но в нашей глухомани он все равно мог бы пройти незамеченным. Если, конечно, на вечере не было сотрудников райотдела МГБ и вообще начальства. А его, скорей всего, не было — какому начальнику захочется в новогоднюю ночь «сливаться с массами» в клубе? Да и что могло произойти? От ссыльных (политических) эксцессов не ждали, на местных плевали, кто мог предвидеть, что бывшую уголовницу (или «бытовичку»?) Шурку вынесет на трибуну? В общем, беспокоиться было

нечего. Большинство присутствующих вряд ли вообще уловили крамолу — то ли еще говорили они сами и все вокруг! Да и что обращать внимание на пьяную бабу. Так бы, наверное, и начальство думало. Ему тоже не шибко было нужно это приключение — тем более за пьяную Шурку ордена не дадут. Так бы и сошло. Но — «поступил сигнал». А не принять меры, когда поступил сигнал о публичном поношении имени Самого, Вождя, Хозяина — этого и в глухомани никто не мог. Судьба Шурки была решена.

Сигнализировал директор клуба, «товарищ Орлов» — так его все и называли, что в деревне вовсе не было принято. Чем он был закомплексован, я не знаю, но закомплексованность эта ощущалась. На первый взгляд, его поведение объяснимо — страх. Он директор клуба, и на его объекте при стечении народа произошло такое антисоветское действие. Как же не принять меры, не просигнализировать! Все это так, если бы речь шла о городе, где все было пронизано стукачами, а не в далекой деревне, где и стукачи, если они там были, не знали, на что стучать, ибо и сами — и отнюдь не с провокационной целью — каждый день наговаривали на 58/10. Короче, вполне возможно, что «товарищ Орлов», донося на Шурку, руководствовался не страхом, а комплексами. А возможно, что и просто «положение обязывало». Однако комплексы у него были. Почему-то они в основном были направлены на преследование ссыльных. То ли он возвышался над ними своей незапятнанностью, то ли упивался их беззащитностью и своим — пусть хотя бы воображаемым — могуществом, но при любой возможности он старался их притеснять. Правда, возможностей у него было немного, они ограничивались пределами клуба. Но поскольку клуб одновременно был и местным кинотеатром, а кино посещали и ссыльные, то какие-то возможности были. И он их всегда использовал. Входил во всякие вздорные конфликты с ними (по поводу билетов, мест и тому подобных) и по любой чепухе обращался непосредственно к капитану Кошелеву или вообще в МГБ. На меня он тоже раз пожаловался капитану, но я оказался прав, и он после этого долго меня ненавидел. Даже стремился подловить меня на политике. Но я, зная эти его склонности (о них знали все), был бдителен.

Впрочем, потом его отношение ко мне круто переменилось. Произошло это в начале лета, когда еще не был вос-

становлен мост (снимаемый на время лесосплава) и связь между Ушковым и Чумаковым поддерживалась лодками райкомхоза. Мы с ним оказались случайно вдвоем у переправы в Ушкове. Поздоровались и — делать нечего — стали разговаривать. Слово за слово, он спросил, как я живу. Я сказал, что трудно, стал рассказывать о своих невзгодах: ничего не получается, за что ни берусь, все валится из рук и тому подобное. У меня это болело, я об этом и говорил. И в связи с этим отпустил какую-то шутку по своему адресу, вроде того что у меня руки не тем концом вставлены — но более изысканную. И тут он вдруг весело рассмеялся, и не только рассмеялся, а — просиял. Видимо, мучавшие его комплексы отступили, когда он увидел, что я вовсе не важничаю перед ним, а открыто говорю и шучу над своими слабостями. И он сразу расположился ко мне дружески — стал приглашать приходиться в кино в любое время, все равно, есть билеты или нет — стул он мне всегда найдет. И так он и делал, что было для меня немаловажно, ибо моя близорукость вынуждала меня искать место только впереди. После этой встречи оно мне было обеспечено. Оказалось, что он может быть отзывчивым и даже добрым. Господи, что делают с людьми комплексы, и в какое множество человеческих душ внедряла их наша взбаламученная эпоха! Да не только внедряла — стимулировала их и использовала.

Возможно, его комплексы отыгрались и на Шурке. Скорее всего, он и к ней отнесся как к ссыльной, не очень понимая ее отличие от других ссыльных. И то, что проделала Шурка, его, может быть, даже не столько испугало, сколько оскорбило наглостью: мол, вот как они на меня плюют. Но, с другой стороны, в случае, если бы он скрыл, а оно открылось, ему бы очень даже не поздоровилось. Там ведь тоже «все ходили под Богом», хоть и отнюдь не «под самым боком».

Вынужденно или нет доложил о происшествии «товарищ Орлов» начальству, но доложил. И теперь уже Шурку не мог спасти никто. Ее тут же или наутро через день арестовали и водворили в изолятор райотдела МГБ, аккуратное здание, стоявшее во дворе этого учреждения. Это была сенсация. Если бы Шурка попала в изолятор милиции, в КПЗ — ничего удивительного. Но Шурка в изоляторе МГБ — это сенсация. Ведь Шурка же!

И тут лавстори приобрела предельное выражение. Любowników разлучили, но цыганенок, вместо того чтобы горевать в укромном месте, как приличествовало советскому человеку в таких случаях, стал проделывать невероятное. Он все время бродил вокруг изолятора МГБ, а по ночам стремился прокрасться во двор, забраться на крышу и прокрикивать всякие нежные слова своей возлюбленной! Другими словами, входить в контакт с изолированным антисоветчиком. В любом городе его бы самого за это посадили. Но глубинка есть глубинка — в ней еще оставались пережитки здравого смысла, — его только отгоняли.

Через несколько дней другая сенсация — Шурка повесилась, ухитрилась проделать это в камере изолятора. Воспользовалась неквалифицированностью охраны — на Лубянке бы не дали. Из-за чего? Первое, что приходит в голову, — из-за любви, от которой ее так жестоко и бесповоротно оторвали. Вероятно, в любом случае это имело значение, ибо сказывалось на ее состоянии. Но только ли от этого? Я не настолько хорошо ее знал, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос. Так или не так, но разрушать человеку любовь и отнимать у него на долгие годы физическую свободу из-за каких-то пьяных частушек можно только в обществе, где все представления о человеке и ценности его жизни — вытравлены.

Я почти ничего о ней не знал. Но помню, что некоторые, знавшие ее лучше, за самоубийство ее хвалили. Почему? А потому, что у нее где-то жила сестра, которая недавно то ли получила хорошую работу, то ли удачно вышла замуж (теперь не помню), и если бы эта сестра вдруг получила родственницу с «пятьдесят восьмой», это сильно могло бы осложнить ее жизнь (уголовная статья родственника карьере не препятствовала — с кем не бывает). Одобряли Шурку за то, что своим самоубийством она мужественно и разумно освободила сестру от такого родства. Она ведь ушла из жизни во время следствия, не будучи еще осужденной по этой статье, а мертвых у нас почему-то и тогда не судили. Короче, получалось, что она совершила подвиг — ушла из жизни, чтоб спасти анкету сестры. Не знаю, этим ли руководствовалась Шурка, уходя из жизни, но что так ее за это хвалили — факт. И самое страшное, что это соображение было по тогдашнему времени вполне здравым.

Вот что порой было здравым смыслом в сталинском СССР. Избавились ли мы от этого страшного наследства за эти годы? Кто знает. Ведь это была не подлость, а здравый смысл сумасшедшего дома.

Артель «Заря»

Рассказанная выше история — случай для Михайловского райотдела МГБ исключительный. Занимался он больше нами, политическими ссыльными, народом стреляным и смиренным. Хлопот мы ему в принципе не доставляли. Но за нас надо было отчитываться. В том числе и за мое трудоустройство. А после райпромкомбината у меня с ним дело обстояло плохо. И на меня жали. Потому что жали и на них. Я отнюдь не собираюсь оправдывать это страшное учреждение, но люди везде люди, и ни на кого не надо клеветать — те три-четыре человека, которые составляли штат Михайловского райотдела МГБ Новосибирской области, специально, «от себя», меня не преследовали. Просто не слишком навязчиво, но настойчиво требовали, чтобы я подыскивал себе новую работу. И однажды нашли ее мне сами — предложили поступить учеником сапожника в артель «Заря».

Я это предложение принял, и даже с радостью. Я, как и раньше, был совсем не прочь освоить какое-либо ремесло, а ремесло сапожника особенно. Оно в тогдашних условиях казалось мне особенно заманчивым. Ибо, овладей я им, оно предоставило бы мне если не свободу, то независимость — даже в лагере. Но — «что же делать, если обманула / та мечта, как всякая мечта»? Не пошло у меня и это дело. Максимум чему я научился, — это сучить дратву и ставить заплатки на кирзовые голенища. Так что рассказывать о том, как я осваивал ремесло, а оно не давалось, я не буду — разве что к слову придется. Ограничиваюсь констатацией. Как и раньше, говорить буду о людях или о жизни в связи с ними.

Многое в моей памяти смешалось. Конечно, такого, что не было для меня важным. Помню, например, что артель «Заря» не считалась чисто сапожной, но не могу припомнить ничего, кроме сапожной мастерской. Не помню ни других цехов, ни даже помещений, где бы они могли располагаться. Даже конторы не помню. Впрочем, она мне была

не нужна — ученикам зарплата не полагалась. Может, остальные производства были раньше, но постепенно отмерли? А может, какие-то работы выполняли надомники? Этого я ничего не помню и не знаю. Все мои воспоминания связаны только с сапожной мастерской. Правда, к мастерской прилеплялась еще конюшня, где властвовал политический ссыльный, в прошлом алтайский пахарь, дедушка Иван Андреич. У него еще были другие, неопределенные и тем более неопределимые отсюда функции. Допускаю, что он еще мастерил какую-то упряжь. Но даже если это было так, коллег он явно не имел. И помню я не конюшню, а его самого, как участника всякого рода обсуждений. Ибо мастерская, куда по делу и без дела заявлялся разный люд, была еще и клубом, даже форумом. Этим она мне и запомнилась больше всего.

К сожалению, помню сегодня не всех, кто там работал, хотя благодарен всем. За ту атмосферу сочувствия и доброжелательства, которая там царила и которой я там был окружен.

Прежде всего это относится к моему первому наставнику сапожнику Грише, доброму, сердечному человеку. Я уже упоминал здесь о нем — это он совестился своей коровы, когда вынужден был возить на ней дрова из «урмана». Повидимому, он был инвалидом войны — одну ногу ему заменил протез. Помню еще одного сапожника, низкорослого и крепкого, по имени Иван Попов, доброго, но молчаливого — так что и рассказывать о нем нечего. Мало чего я могу вспомнить и еще об одном работнике — то ли сапожнике, то ли завхозе, тоже инвалиде войны и тоже с протезом вместо ноги. Кроме того, что был худошав и что лицо у него было доброе, а главное, что фамилия у него была графская — Олсуфьев. Он знал это и даже немного этим гордился. Был еще молодой парнишка, кончивший передо мной курс обучения у Гриши. Он пытался рассказывать еврейские анекдоты, но поскольку он не знал, что такое еврей, то еврейский акцент в его исполнении заключался в том, что еврей, как дети, вместо «р» произносили «л». Но ничем зlostным эти анекдоты не были, ни меня, ни Цанкера он с этим одновременно мифологическим и анекдотическим племенем не идентифицировал.

Бригадиром сапожников скоро стал Коля Балыбердин, приехавший с матерью к ссыльному отцу. Ссылным его

отец был не политическим, а уголовным — тем самым четвертым (после «шапошника», Шурки и Мурата), кто остался в Чумакове от первого, то есть бандитского этапа. Ничего у́рочьего в его облике и поведении не ощущалось — серьезный и заботливый отец семейства. Таких метаморфоз с бандитами не бывает. Я никогда особенно с ним не сходился и не знаю, за что его посадили. И в бандиты тоже могли оформить под кампанию — допустим, борьбы с «кулацким сопротивлением», когда что угодно могли легко приравнять к бандитизму. Точно я тут ничего не знаю, но с самим Колей отношения у меня были хорошие и короткие. Был Коля хорошим мастером, веселым сельским бонвиваном и успешным ухажером. Последнее, при той нехватке мужчин, которая после войны поразила страну и особенно деревню, было делом несложным, но думаю, что Коля был бы по этой части не промах и в других обстоятельствах. Был он остроумен и находчив. Вот как он ликвидировал пьяный скандал, возникший в клубе после последнего сеанса. Едва народ устремился к выходу, как какой-то надравшийся здоровяк почему-то стал, расставив ноги, в дверях и этот выход закрыл. На все призывы, внушения, просьбы, проклятия и даже угрозы упорно отвечал:

— П-пошли к ...! Н-не п-пуш-шу!

Ругательства мужчин сливались с женским визгом, получалось нечто невообразимое, его толкали, щипали, били (правда, в основном женские руки), но он упирался — стоял, расставив ноги, и ни на что не реагировал. Словно знал, что делал:

— Все р-равно!.. Н-не п-пуш-шу!

И тогда к нему спокойно подошел Коля, тронул его за плечо и сочувственно произнес:

— Долго ты тут будешь с бабами разбираться? Да ну их к ...! Лучше пойдем отсюда.

— Пр-равильно! — взревел здоровяк, обрадованный сочувствием и пониманием. — Ну их всех к ... Пошли!

И вышел, обнявшись с Колей. Кстати, этой несложной хитростью Коля спас от неприятностей и самого здоровяка. Таков был Коля. Но в целом мое пребывание в мастерской запомнилось мне не личными отношениями, а общей атмосферой. За отдельным столиком у входа стоял работал Цанкер. Отношение к нему со стороны других сапожников было уважительное — уважали за мастерство и ученость. И он им

действительно объяснял при случае всякие непонятные слова и явления. Правда, иногда он дерзал учить их правильному русскому языку, что мне было смешно. Безусловно, сапожники не знали норм русского литературного языка, говорили по-деревенски, употребляли местные слова и обороты, но говорили вполне по-русски, не нарушали духа и строя языка. Цанкер же легко мог выразиться примерно так:

— Я сейчас вам дам заготовку — такие «туфлички» получатся!

Туфельки и в самом деле получались хорошие, но этого «туфлички» ни один сапожник не произнес бы ни при какой погоде. Мог сказать «тухельки» или даже «тухли», мог бы сказать «туфельков», но никак не «туфличек». Сапожники, конечно, никаких «туфличек» не перенимали и, несмотря на его «уроки», говорить продолжали по-прежнему, но тем не менее выслушивали и его языковые (к счастью, нечастые) замечания с тем же уважением, что и все остальные. Впрочем, и с ними он выступал не часто — когда спрашивали или в общем разговоре. Отношение к нему в целом было сочувственное. Помню, когда к Цанкеру приехали в гости жена и дочь (они теперь жили в Харькове), Гриша просто прослезился:

— К Лазарю жена приехала. И дочка... Тринадцать лет не видел их... Подумать только. Тринадцать лет!

Конечно, «простая душа» Гриша. А подумайте вы, «сложные»! Ведь такие долгие разлуки мужа с семьей только в романах случались. И часто отнюдь не в лучших. В основном в приключенческих — чтоб читателя больше заинтересовать и взволновать. Впрочем, про это и «Одиссеи» сочиняли! А теперь один только Гриша благодаря своей особой сердечности чувствует масштаб несчастья. Ибо это — у всех вокруг. И все мы привыкли, притерпелись. Это для нас не роман, и не приключение, и не особый повод для проявления чувствительности — рутина. Превратил товарищ Сталин то, что поражало воображение, — в ширпотреб. И удастся ли когда-нибудь нам преодолеть эту патологию, ставшую рутиной?

Механизм внедрения этой патологии ярко проявился в любопытном разговоре, произошедшем в стенах мастерской между нашим приятелем, ученым-садоводом Густавом Александровичем Мебертом, и конюхом артели «Заря», алтайским пахарем «дедушкой Иваном Андреевичем» (так мы его

звали). Густав Александрович, человек лет сорока, высокий, благообразный, интеллигентный, с большой и ухоженной профессорской бородой, очень хорошо воспитанный, на разговор этот вовсе не нарывался. Он даже не предвидел его возможности (впрочем, как и все остальные), ибо ничего спорного не говорил. Он просто рассказывал о своих обстоятельствах.

Дело в том, что Густав Александрович был немцем, но попал он сюда не «в общем порядке», как десятки тысяч других немцев в начале войны, а после лагеря — как одна из жертв «тридцать седьмого». Правда, скорей всего, жертвой этой он стал в связи с тем, что был немцем. Но не в порядке национального преследования, а просто потому, что принадлежность человека к «враждебной» национальности облегчала возможность что-нибудь ему приписать: шпионаж в пользу Германии или нечто подобное. Приписывали ведь тогда кому что вздумается.

За шпионаж в пользу Германии отсидел срок и теперь жил в Чумакове один весьма скромный еврей Ефим Гирин, мастер на лесопилке из белорусского местечка. Вина его была велика. За несколько лет до его ареста, еще до прихода Гитлера к власти, на лесопилку устанавливать оборудование приезжали немецкие инженеры. И он с ними, естественно, «сотрудничал». В установке оборудования, но сотрудничал. И тогда они его завербовали — германскому Генштабу необходимо было все время получать оперативные данные о работе местечковой лесопилки. Но зря старались — ибо в пору повышенной бдительности славные органы Гирина разоблачили, и Гитлер вынужден был начать войну, не имея точных данных об этой работе.

А уж если Ефима Гирина оформили немецким шпионом, то Густава Меберта и сам Бог велел. И оформили. Но пока он отсиживал срок, выслали в Казахстан, в Кызыл-Ординскую область — теперь уже «в общем порядке» — всю семью.

Все это время Густав Александрович тосковал по семье, переписывался с ней. И теперь, оказавшись в ссылке, естественно, стремился с ней воссоединиться. Формально это было вполне доступно — ведь и он, и семья жили в местах расселения ссыльных. Но просить о переводе семьи сюда было бы с его стороны нелепо — здесь не было садов: и значит, перспектив на работу для него, а там сады были. Он

и просился туда. Ему не отказывали, но дело тянулось. В конце концов его туда пустили, но пока уверенности в этом быть не могло, и он нервничал.

Зачем он пришел в мастерскую и к кому, не помню (мог и ко мне), но помню, что он стал подробно отвечать на вопрос: «Как дела?» И между прочим, выразился так:

— Я ведь ничего незаконного не прошу. Я прошусь тоже в место ссылки, а не на свободу. Там я буду так же отмечаться, но только буду жить с семьей и работать. В этом случае удерживать меня здесь незаконно.

Густав Александрович развивал свою мысль вполне толково и логично, и ему никто не возражал, все сочувствовали. Но тут неожиданно на сцену выступил Иван Андреич. Он был высок, крепок и, несмотря на горб, складен и соразмерен в движениях. И, несмотря на то что всегда был занят каким-то делом, всегда был страстным участником всяких обсуждений и споров.

Однажды он напустился на дядю Ваню Кайдыка — о нем чуть ниже. Тот, рассказывая что-то из своей богатой биографии, мимоходом обронил:

— А Махно був як Исус Христос.

В Бога дядя Ваня не верил, но кощунствовать не собирався. Имел он в виду только способность Махно чудесным образом появляться со своими хлопцами, наносить удары и исчезать. Но Иван Андреич рассвирепел:

— Да ты что? Думай, когда говоришь! Исус Христос? Таких больше вообще не было. — Потом подумал и добавил: — Вот только, может, Ленин! В него стреляли, а он: «Не убий!» Вот только он, может... А ты какого-то бандита с ним сравнил... Думай, когда говоришь.

Конечно, Ленин, руководствующийся принципом «Не убий!», — факт мифологический.

Но Густав Александрович говорил не о Христе и не о Ленине, а о своих делах. Однако его слова заключали нечто, что буквально взорвало Ивана Андреевича. И самым неожиданным образом.

— Что? — взревел Иван Андреич. — «Незаконно»? Законы тебе подавай? Шустрый ты мужичишка, однако! (Слова «шустрый» и «мужичишка» совсем не вязались с солидностью и благообразием Густава Александровича и потому звучали уж совсем уничижительно.) Закона ты хочешь? А ты послушай. Два комсомольца у нас ночью напильсь и

подрались, и один другого убил — кулацкое добро поделить не могли. А меня за холку: «Ты подучил!» Подучил не подучил, а десять лет дали. А что такое десять лет? — Закон! Меня и в лагерь. Таперича десять лет отсидел — значить мне домой иттить? Нет, — говорят, — до особого распоряжения. А что такое особое распоряжение? — Закон! Таперича сию я до особого распоряжения три года. И приходит мне распоряжение. Что — домой иттить? Да нет. В ссылку на три года. А что такое три года? — Закон! А таперича на днях придет еще распоряжение — оставить навечно! А что это будет? — Закон! Так что ж ты мне тут про закон талдычишь? Сидишь ты тут — и весь закон. А то — «незаконно»! Шустрый ты, как я погляжу, мужичишка — закон ему подавай! Ишь ты!..

Кстати, насчет оставления «навечно» Иван Андреич как в воду глядел — такое распоряжение насчет него вскоре пришло. Впрочем, он уже знал, что такие «распоряжения» на других к тому времени тоже приходили. Должен сказать, что меня все это сильно тревожило — показывало призрачность и моего срока. Но слава Богу, пронесло. Как выяснилось, я относился к другой категории — моя ссылка была приговором, а не особым распоряжением, и в тот момент это что-то значило. Могло и не значить. Темна вода во облацех.

Но тут меня занимала не реальность, а восприятие Ивана Андреевича. Ведь он вылил на ни в чем не повинного Густава Александровича всю свою накопившуюся ярость и отчаяние. А тот стоял под градом непонятных обвинений и выглядел совершенно потерянно — не мог понять, чем вызвал этот взрыв гнева.

Он ведь апеллировал не к закону, отсутствие которого вполне испытал на самом себе, а к тому, что формально именовалось законом. Играл по тем правилам, которые установили те, от кого он зависел. Эти правила допускали, а в каком-то смысле поощряли (интересами наибольшей производственной пользы) его воссоединение с семьей. Он на это и жал.

Ивана же Андреевича возмутила сама апелляция к закону после всего, что они оба пережили и видели. Настолько, что он в тот момент ненавидел Густава Александровича больше, чем тех, кто на самом деле испортил ему жизнь. Те были далеко, как бы испарились за словами и формулами,

а Густав Александрович тут, рядом, уповал на закон и надеялся при его помощи возвратиться к семье.

А сколько лет не видел семьи Иван Андреич? И апеллировать ему было не к чему — почему-то в Алтайском крае ссыльных не размещали, и «законных» оснований проситься туда у него не было. Да и оставалась ли у него там или где-либо еще семья? Жизнь этого работающего и вполне приспособленного к труду человека была разбита вдребезги.

Никогда не устану повторять, что вина за это никогда не будет снята с коммунистической партии, в том числе и с «настоящих коммунистов» — за то, что допустили это. Но все равно эта стихийная переадресовка ненависти с виновных на одного из тех, кто из-за них попал в беду, — страшна и опасна. Она может предопределить многое в судьбе страны.

Такие разговоры бывали в сапожной мастерской.

Иногда у нас случались собрания. Председатель артели, рябой, невысокий, хитрый мужик, имел обыкновение выражаться так:

— Некоторые что-то такое делают (допустим, прогуливают или опаздывают) и думают, что никто не знает. Напрасно. Об этом знает председатель. И в том числе правление артели.

Эта оговорка характеризует не столько положение дел в артели, сколько психологию властей вообще.

Появлялся он не очень часто. Собственно, основной круг его забот был вне помещения артели. Он, в частности, обеспечивал мастерскую работой, то есть материалом. Ведь в мастерской не столько ремонтировали обувь, сколько шили ее. Конечно, в значительной степени из материала «давальцев», но таких не хватало. И он отправлялся за кожей в Новосибирск. Своими подвигами там он (не на собраниях) хвастался примерно так:

— Да, съездил вот... Достал я кожи... Думаешь, просто? Там такие евреи сидят, что ого-го! Ухо надо держать востро.

Думаю, что евреи (и неевреи — евреев он употреблял для мифологического устрашения) там, в облпромкоопсоюзе, действительно сидели именно такие — других бы не держали, но он и сам был не промах. К тому же обе стороны в этих его новосибирских «диалогах», безусловно, были заинтересованы друг в друге, а ворон ворону глаз не выклюет. Сапожники внимали намекам на его подвиги равнодушно — такая у него работа.

Произвела на меня большое впечатление встреча нашего коллектива с директором районного отделения Госбанка. Человек явно толковый и знающий. Сапожники жаловались, что им нерегулярно платят зарплату (сегодняшнюю регулярную невыплату тогда никто и представить бы не мог, но задержки случались и тогда). Отвечал он на это очень толково. Обещал, что, конечно, постарается помочь чем будет можно, но предупреждал, что это будет непросто. И вот как он это объяснял:

— Поймите, товарищи, вы независимые производители, добровольно объединившиеся в артель. Вы не имеете никакого отношения к государству, и оно за вас не отвечает. Есть у вас на счету деньги, вы получаете зарплату, а если нет — никто вам не обязан.

Логичный был товарищ и эрудированный. И знал правила игры. По которым полагалось не знать, что независимых производственных объединений у нас нет и не должно быть. И что не может существовать (разумеется, открыто) выручка, не проходящая через Госбанк, он тоже знал. Как будто сапожники объединялись в артель потому, что у себя на дому были бы не в состоянии заработать себе «детям на молочишко» безо всякого Госбанка.

И приходит мне в голову, что такая форма речи была выработана в беседах не с сапожниками (такая артель во всем районе была одна), а с колхозниками. Они ведь тоже были отдельными производителями, добровольно объединившимися в артель, и тоже поэтому должны были отвечать сами за себя, не рассчитывая на государство. Ибо и без того много у него, у бедного, было нахлебников. Правда, если речь не об артели, а о колхозах, государство, не отвечая, тем не менее определяло, когда и как пахать, что сеять, и вообще весь круг работ. С промкооперацией все-таки было легче.

Я не верю, что этот банковский работник не знал истинного положения вещей, но не тороплюсь обвинить его в личной подлости. Человек он был явно неглупый, но, как и все вокруг, постепенно привык к тому, что Оруэлл называл двоемыслием. Не думаю, что этот банковский работник понимал всю порочность системы, к которой привык (другой он, как все мы, не знал), но в то же время ясно видел, что происходит. Но я ему благодарен — из-за его способности формулировать я яснее понял сущность колхозной системы, хоть говорил он не о ней.

Сапожникам он скорее понравился. Несмотря на их отъединенность от государства (а не государства от них?), он обещал, что постарается им помочь (и потом действительно помог). Да и вообще директор райконторы Госбанка хоть тоже был начальством, но приходил по делу и говорил о деле — поэтому его слушали и с ним общались. Но однажды по какому-то личному делу зашел другой представитель Системы — третий секретарь райкома, — для всех нас начальство почти поднебесное. Он принес сапоги, которые не вовремя прохудились, пришел как частный человек. И был принят вполне прилично. Коля, внимательно осматривая сапог, говорил что-то при этом обстоятельно и серьезно, но вокруг него мгновенно выросла незримая стена отчуждения. Обычно говорливая, даже шумная мастерская погрузилась в гробовое молчание. Сапожники целиком ушли в работу. Сам секретарь, по моему ощущению, человек вовсе не плохой и не злой, чувствовал это и неуклюжими шутками пытался пробить эту стену. Тщетно. Сапожники вежливо подхмыкивали, но целиком были заняты тем, что внимательно вбивали гвозди в подметки.

Что это было? Проявление враждебности к власти или партии? Да нет. Они такой враждебности не испытывали. Нет, было это не враждебностью — просто отчуждением. Просто этот человек жил какой-то другой, не очень им, впрочем, интересной, непонятной жизнью, не имевшей ничего общего с их жизнью, руководствовался другими правилами, и разговаривать с ним им было не о чем. В такое положение он был поставлен. Сапожники вовсе не оспаривали этого положения, они его скорей принимали. Но формой этого приятия было отчуждение.

Должен сказать, что году в 1955-м в вагоне электрички Москва—Раменское я сам попал в такое положение. И тоже из-за своей «должности». Разговорился я с группой молодых рабочих Раменской мануфактуры, разговор был откровенный. Но когда узнали, что я писатель (что в их глазах было равнозначно «пишущий в газеты», то есть представитель начальства), как они тут же забили отбой:

— Да вы его не слушайте! Все это так... обывательские разговоры... Да ничего этого нет.

И преодолеть стену этого внезапно возникшего отчуждения я уже так и не смог. Это смешно, они просто непра-

вильно истолковали мою «должность», но там отчуждение относилось именно к должности. Зря те писатели и журналисты, которым приходилось бывать в «глубинке», были убеждены, что проникали в местную жизнь. Она была от них — за семью печатями. Всех нас считали представителями начальства и распространяли на нас свое отчуждение от него. В Чумакове я этим отчуждением окружен не был. Передо мной там все было открыто (как в Симу на заводе), и я благодарен за это судьбе.

Особого разговора заслуживает уже упоминавшийся дядя Ваня Кайдык — личность во многих отношениях замечательная. Прежде всего он был человек стихийно талантливый, на все руки мастер. Родом он был откуда-то с Донбасса, где принял деятельное участие в Гражданской войне. За это ли, за другое ли или просто так он получил в «тридцать седьмом» свой «законный червонец». Отсидев этот срок, он прибыл сюда тем же этапом, что Б.Г. И тут же устроился на работу — налаживать движок (кажется, числясь при этом за райкомхозом). До него в райцентре электричества не было, хотя столбы с проводами были установлены. Тогда-то и произошел эпизод с вышедшей за него замуж «знатной дояркой» и ее партбилетом. Работать на движке он не стал, а ушел в кузнецы. Однако и там его душа не нашла покоя. И уже при мне он перешел в артель «Заря», стал сапожничать. Все эти работы он знал досконально. О его тогдашнем отношении к труду можно судить по такому разговору. В мастерскую почти одновременно с ним пришел другой Иван — поступил в ученики и, в отличие от меня, стал делать успехи. И вот однажды, поглядев на то, что делает этот маленький Иван, большой Иван (Кайдык) эпически неопровержимо прознес:

— А ты, Иван, м...к.

— Это почему еще? — тут же вскипел тот. Выросший на картошке, маленький, круглый («кругом шашнадцать»), он был очень самолюбив.

— А потому, что ты еще хорошо работать не умеешь, а уже работаешь хреново (выражение мной смягчено. — *Н.К.*).

— А ты, что ли, хорошо?

— Хреново, — столь же эпически спокойно отозвался Большой, не отрываясь от работы.

— Так чего ж ты?

— А я могу хорошо, — так же равнодушно констатировал дядя Ваня, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.

— А толку что?

— А то, что если надо будет сделать хорошо — а бывает так, что надо, — я сделаю, а ты — тык-мык, и — ничего.

Маленькому такая перспектива не понравилась, и он задумался.

Но это было не только отношение к труду, это вытекало из его общего отношения к советской действительности. Однажды райцентр потрясла новость. Присланные из Новосибирска молодые специалисты, работники культуры — баянист и, кажется, художественный руководитель — сбегали, украв из клуба баян и другие инструменты — все, что смогли унести. Событие обсуждалось везде, в том числе в нашей мастерской. В основном в плане: поймают — не поймают. Высказал свое отношение к делу дядя Ваня. Оно было неожиданным:

— А я не хочу, чтоб их поймали — пусть гуляют.

— Да ты что? Они же украли!

— Ну и что?

— Как — «ну и что?» — украли ведь!

— Не у меня ж они украли.

— Вот ты какой!

— Да, такой. Вот если б они у меня украли, — он оглядел ошарашенную аудиторию, — или, допустим, у тебя, все равно у кого, но у человека — я б его сам этими руками, — он показал свой кулак, действительно весьма внушительный. — А там... Там кладезь неисчерпаемый.

«Своими руками» — это не для красного словца. Дядя Ваня рассказывал мне — не по этому поводу, а просто так, что однажды в лагере, получив посылку от жены, он взял ее под мышку и понес к себе в барак. И тут на него напал урка, специально дежуривший у посылочной кладовой, подбежал и выбил эту посылку из-под рук. Дядя Ваня мгновенно поднял кулак и опустил на урочью голову. После чего поднял посылку и понес ее дальше, а урка, оглушенный ударом, остался приходить в себя, лежа на асфальте. Случалось ему заступаться и за других — так что и это не фраза.

В сущности, в парадоксальной форме и в неподходящий момент он выразил всенародное отношение к собственности: посягать на чью-то личную собственность отвратитель-

но, а на государственную или социалистическую — ничего страшного. Они охранялись всей мощью государства, но не народной моралью.

Думаю, что ограбленный народ имел право на такое отношение, но оно все равно было развращающим. И такое отношение, и приобретенные при этом навыки не проходят автоматически вместе с породившими их обстоятельствами. Оно порождает остаточные деформации в психике. А уж в данном конкретном случае дядя Ваня и совсем уж был неправ. Эти выпускники какого-то клубного техникума или техникума культуры обокрали не начальство, не кладезь неисчерпаемый, а непосредственно тех, кто хотел учиться играть на этих инструментах. В кои-то веки в наш заштатный клуб недавно прислали эти инструменты чуть ли не вместе со «специалистами» — жди теперь, когда пришлют еще раз. Все это для этих «специалистов» было ничто по сравнению с выпивкой.

«Примат общественного над личным» приводил к полному забвению «общественного», то есть других людей вместе с их «личным». В наше время, на исходе века, этот посев дает еще более впечатляющие всходы. Вопрос о том, почему культура, которой они обучались в техникуме, смыслом и сутью обошла их сознание, я оставляю сейчас в стороне. Видимо, в их случае она свелась только к усвоению технических приемов. Это теперь часто бывает. К сожалению, слишком часто.

Однако не было у этих «культуртрегеров» не только культуры личности, но и элементарной предусмотрительности. Подумали бы, куда они смогут деться с краденными инструментами? Где смогут поселиться и работать? Ведь на них был объявлен розыск, и пользоваться своими документами они больше не могли. А как жить без работы и прописки? Уголовники жили, но у них были свои «хазы» (чтоб укрыться хотя бы на первое время), свои фабрики фиктивных документов, свои связи. Да и потом они не нуждались в работе. Но эти ведь пока не были уголовниками. Стали потом? Тоже перспектива нерадостная. Так что жалость к этим сбежавшим культуртрегерам я еще понять могу, но для сочувствия им не было никаких оснований.

Еще раз выразил дядя Ваня свое отношение к действительности в напутствии кому-то, кто собирался в отпуск

поехать куда-то — не то в Красноярск, не то еще дальше на восток от нас:

— А ты, смотри, не увлекайся, а то в Иркутск заедешь. А там и во Владивосток попадешь. А там, смотри — уже и до Колымы рукой подать. Смотри не попади. Но это все еще ничего. Самое страшное, если еще дальше поедешь — тогда конец! — в Америку попадешь. Совсем несчастным будешь. Будешь получать пятнадцать долларов в день, машину купишь, двухэтажный дом... Ну я ж говорю — конец.

Такие перспективы из чумаковского прозябания действительно выглядели «страшно». Точнее, неправдоподобно. Но за это и погореть можно было — «восхваление Америки». Однако он говорил, и, видимо, никто на него не донес. Конечно, как я говорил, в деревне мало понимали, что можно говорить, а чего нет, но думаю, что вообще желающих донести в мастерской не было.

Почему дядю Ваню посадили в тридцать седьмом, я то ли забыл, то ли вообще не спрашивал, хотя отношения у нас были дружеские. И если не спросил, то не из деликатности — она тут была ни к чему, — а просто к слову не пришлось. И если забыл, то тоже из-за несущественности этого вопроса. Попался на глаза — вот и посадили, а в чем обвинили — абсолютно неважно. А на глаза попался или из-за остроты языка, или, скорей, за то, что участвовал в Гражданской войне.

А в Гражданской войне он участвовал красочно. Однажды он диктовал мне свою автобиографию. Часть ее, посвященная Гражданской войне, поражала своей калейдоскопической пестротой. Он помнил названия всех отрядов и частей, в которых воевал. Большею частью эти отряды бывали красными. Но не всегда, хотя воевал он всегда против белых. Общим у этих отрядов было другое — белые их один за другим — независимо от «окраски» — разбивали. Впрочем, этот калейдоскоп «окрасок» — дело для тогдашнего Юга обычное. Когда белые выбивали красных из Новороссии, остатки разбитых частей и отрядов подхватывал кто угодно, а чаще всего — Махно, который вел против белых партизанскую войну. От опыта пребывания в его отрядах и родилась та фраза, которая так возмутила Ивана Андреича.

Какая нелегкая несла этого толкового и умелого парня в эту стихию, я не знаю. Это сегодняшней мой вопрос — тогда он мне в голову не приходил, ибо, несмотря на «про-

светление», я считал такой выбор естественным. Впрочем, большой страсти переделывать человечество (или тоски от того, что это не вышло) я в дяде Ване не заметил. Следов склонности к грабежу — тоже. Он явно был порядочным человеком, всегда рассчитывавшим на свою невероятную силу, смекалку и умение работать. Пристал он к этой «борьбе», видимо, только по младости. Захотелось участвовать в борьбе за установление всеобщей справедливости. А заодно и погулять. Теперь этого не было и в помине. Дядя Ваня мне очень нравился, и я ему вполне и во всем доверял. Отношения с ним у меня оставались и после моего ухода. Впрочем, с другими тоже.

А уйти пришлось. Потому что я был балластом, зря занимал место. Ведь порядок был такой: когда ученик начинал осваиваться, он первое время — конечно, под присмотром мастера — работал на него. Это была последняя стадия ученичества и как бы плата за учебу. От меня такой платы было не дожидаться. Это, смущаясь и краснея, объяснил мне мой учитель Гриша, и я ушел, сохранив навсегда самые теплые воспоминания и о Грише, и о мастерской в целом.

— Видишь, ничего у тебя не получается. А мне это невыгодно. Я б за это время кого-нибудь обучил, и он бы некоторое время на меня работал.

С работой в артели «Заря» связано и мое выполнение дорожной повинности. До этого я, честно говоря, и не знал, что такие бывают. Видимо, такие повинности бывали всегда. Сельское общество выделяло средства или людей для весенней починки дорог, которые за зиму сильно портились. В Чумакове это еще было связано с разбиранием моста через Омь перед паводком и лесосплавом и восстановлением моста после того, как плоты проходили и вода спадала. В наше время сельского общества не было, и районные учреждения, а также местные колхозы по разнарядке сельсовета выделяли для этого мероприятия людей. Артель «Заря» выделила на разборку моста на один день меня, справедливо считая, что мое отсутствие на рабочем месте будет для артели наиболее безболезненно. Именно на разборку моста, на остальные дорожные работы люди мобилизовывались как-то иначе. Должен сказать, что мое участие в разборке моста было хоть не максимально полезным, но не зряшным. Я, конечно, сам непосредственно мост не разбирал. Это делали более квалифицированные люди. Они же

после паводка и собирали его, но на эту «повинность» меня и таких как я не мобилизовывали. Но я вместе с другими исправно оттаскивал от места работ и складывал в штабеля балки и стесанные бревна. Работа была нелегкая, но вполне мне под силу. Если бы попытался таким способом зарабатывать деньги, прогорел бы, как в промкомбинате, но работа была разовой, и я в ней был полезен.

Руководил работами председатель сельсовета Себякин, здоровый и крепкий мужик. Я уже здесь упоминал о нем. Это он испугался терроризма Бори и Юры. О нем я слышал еще многое — забавное и не очень.

Самым красочным был следующий эпизод. Собственно не эпизод, а монолог. Однажды поздним вечером этот представитель советской власти шел пьяный, точнее выпивши, по деревенской улице и вслух, даже очень громко рассуждал о своем и общем житье-бытье. Рассуждения его носили характер лирической исповеди и сводились к недовольству той властью, которую он здесь представлял.

— Туды твою мать! — восклицал он на всю улицу. — Советская власть называется! Твою мать! Двести пятьдесят рублей председателю сельсовета платит. Таковую власть к хренам собачьим надо. Колхозы понаделали, а теперь живи! Счастливая жизнь, твою мать. Вся деревня на тебя волком смотрит — за такое счастье... За заем им отвечай, твою мать... Никто платить не хочет. А кто захочет? Ведь свои кровные (в деревне с подписавшихся на заем деньги не вычитали постепенно по частям, а изымали целиком в момент подписки — вот и торговались). Недоимщиков, говорят, у тебя много — прижать надо. Да прижимай! Выжимай из козла молоко! Двести пятьдесят рублей, туды твою мать! Все липа. Говорят, что вот начнется война, и мы Америку в два счета распатроним! Это еще вопрос, кто кого в два счета... Двести пятьдесят рублей, твою мать!

Двести пятьдесят рублей было действительно очень мало, мне родные присылали триста. Потому что жили в городе. Но вопрос в другом — на чем же и на ком держалась эта фантастическая власть? На таких — тоже несчастных — себякиных или непосредственно на дьяволе?

Сейчас он тоже был при исполнении — руководил. Руководство его заключалось в том, что он полулежал чуть в сторонке на пригорке и давал указания. Он вовсе не упивался своей начальственной возможностью руководить и не

работать — наоборот, он от этого страдал. «Сила-то по жилочкам так живчиком и переливалась». Но положение обязывало наблюдать с пригорка за тем, как это делаю, допустим, я. Я ничего особо неправильного не делал, но ведь он бы все это делал намного толковей, сноровистей и быстрее. Но положение не позволяло. И он страдал:

— Наум!.. Наум... твою мать! Правее держи, там лучше ляжет... Куда ж ты... твою мать...

Он вовсе не подгонял, а именно страдал. Потом, через много лет, в одном московском журнале у меня была опубликована статья «Все мы товарищи по несчастью». Я и теперь так думаю. К этим товарищам по несчастью я отношу и Себякина. Убежден, что если бы можно было всерьез крестьянствовать, он бы начальствовать не пошел. Конечно, он не был борцом за правду и разум, но ему тоже было в той обстановке не очень хорошо.

Так или иначе, попытка обрести ремесло провалилась, и я опять потерял работу. На которой я, правда, ничего не получал, но которая давала мне легальность перед МГБ. Больше для меня тут нигде никакой работы не было, только «физическая», на которую я не годился из-за грыжи. Некоторое время я не работал, но потом по настоянию МГБ, которое не могло мириться с таким беспорядком, лег в больницу на операцию, чтоб после нее стать «годным». Годным я стал, как увидит читатель, только на пару месяцев, но зато таким образом впервые столкнулся с положением в сельской медицине.

Нет, я не собираюсь поносить ни врачей, ни сестер, ни нянечек — они делали все, что могли. Не собираюсь я поносить и саму ее организацию — она мне представляется разумной. Судить о том, насколько были квалифицированы тамошние врачи, я некомпетентен. Во всяком случае, на моих глазах ничего худого или глупого они не делали. Главврачом больницы была, по-моему, жена заведующего райздраотделом, женщина энергичная, по профилю хирург. Сама она тем не менее операций не делала, видимо, не хватало опыта работы под квалифицированным руководством, но с удовольствием и интересом ассистировала приезжавшим из Новосибирска специалистам. Кстати, это централизованное медицинское обслуживание, когда вышестоящее медицинское учреждение более квалифицировано и опекает нижестоящие, я и признаю разумным. Осо-

бенно в масштабах громадной страны, с поневоле различным уровнем квалификации врачей и медицинского обслуживания. Конечно, если эта иерархия соответствует реальности. Судить о том, насколько это соответствие соблюдалось в конкретных, в том числе и в известных мне случаях, я тоже не берусь — некомпетентен. Судить по результатам соблазнительно, но неточно — не знаю, что было бы в противном случае, если бы оно не соблюдалось. Но при этом я должен сказать, что положение сельской медицины — независимо от качества и отношения к делу врачей, сестер и организаторов — было жалким. Она лежала за задворками государственных забот.

Впрочем, это проступило не сразу. Общая бедность больницы утвари и одежды, конечно, бросалась в глаза, но казалась естественной — времена-то были послевоенные. Да это и вправду можно было пережить. То, что не было рентгена, было хуже — рентген существовал уже давно, — но об этом я не думал...

Однако лучше по порядку. Лег я в больницу летом (а может, и весной) девятьсот пятидесятого — дня за два-три до операции. К ней, кроме меня, были подготовлены еще два человека — молодой юноша из местных и пожилой кишиневский еврей из ссыльных — вероятно, тоже в прошлом мелкий предприниматель. Операции всем предстояли полостные, по-моему, у обоих моих сопалатников желудочные, и провести их должен был опытный хирург из Новосибирска — его и ждали. Было душно. Но отсутствие кондиционеров не ощущалось, ибо никто из нас не знал, что они бывают — с ними, наверное, и в Америке тогда еще было не густо. Разговоров на серьезные темы не было. В основном кишиневец развлекал нас балагурством на медицинские темы, юноша смеялся. Время шло.

Наконец приехал хирург. Он уверенно осмотрел нас и назначил операции на завтра. Операции прошли быстро и успешно. Он уверенно распоряжался и уверенно работал. Юноша быстро пошел на поправку. Кишиневский еврей тоже, я чуть медленней, ибо грыжа у меня была большая и сложная. Но когда хирург уезжал, все мы были в порядке. Неприятности (со всеми, кроме юноши, который скоро выписался) начались после его отъезда. Впрочем, у меня далеко не сразу, выписался я здоровым.

А у кишиневца дня через два неизвестно почему поднялась температура, и он месяца два жил на антибиотиках. Вообще начинал дышать на ладан. Никто не мог понять, в чем дело, и наконец его самолетом отправили в Новосибирск. Представляю, сколько писанины на это потребовалось — ссылные не имели права на такие перемещения, — но отправили. Уже и перед этим предполагалось (рентгена то не было), что температура вызвана посторонним предметом, зашитым в полость во время операции. В Новосибирске выяснилось, что этим предметом была салфетка, вовремя не убранная сестрой или ассистентом. В оправдание мне рассказали, что такое случается, что иногда в полости остаются даже ножницы.

Все равно вина новосибирского специалиста несомненна — операцию делал он, и он перед зашиванием полости обязан был удостовериться, что в ней ничего постороннего не осталось. Он этого не сделал. Разумеется, никакого злого умысла тут не было, но преступная халатность была налицо. Будь это в Америке, никто бы его не стал объявлять «врачом-убийцей», но в несколько сот тысяч долларов это ему бы обошлось. Но саму эту операцию, не очень простую, он сделал верно. В Новосибирске кишиневцу сделали повторную операцию, салфетку извлекли, температура спала, и он вернулся домой, то есть к месту ссылки в Чумаково. Кстати, и это его «этапирование» в Новосибирск подтверждает мое положительное отношение к организации медицины.

Со мной было сложнее. В меня ничего не зашили, послеоперационное повышение температуры у меня быстро прошло, но когда через несколько месяцев я стал работать на пилораме, грыжа опять вышла из берегов — причем на этот раз она приобрела ужасающие размеры, в нее вышел весь кишечник. Тот же хирург из центра, когда ему ее представили, только покачал головой. Хорошо, что это происходило до «дела врачей». Ибо фамилия его была Нахманович, и ему бы не поздоровилось — несмотря на то что жертвами его националистической деятельности были тоже евреи. Да еще ссылные. У вакханалий — своя логика и свои законы.

Полагаю все-таки, что в моем случае дело было не в халатности, а просто хирургу не хватило квалификации, он просто не смог разобраться, с какой именно грыжей он имеет дело. Это не значит, что он был вообще плохим хирургом, просто, видимо, случай требовал более аналити-

ческого подхода. Да не подумает читатель, что я горжусь сложностью своей грыжи и слабостью своей брюшины как доказательством деликатности моей натуры — ведь и это бывает. Видит Бог, мне это не свойственно — мне больше всегда импонировало «примитивное» здоровье. Да я и не знал, почему грыжа снова вышла. Узнал я это много позже, в Москве, во время повторной операции, году в шестидесятом.

Но в пятидесятом году грыжа моя так или иначе осталась при мне. И так наглядно выпирала, что однажды из-за этого меня в московском метро задержал милиционер. Это было в 1957 году во время фестиваля, когда милиции было предписано проявлять бдительность. Милиционер, сидевший в вагоне метро напротив меня, принял эту грыжу за бомбу в кармане. Пришлось идти с ним в отделение и проверяться. Потом он долго извинялся, удивлялся и чертыхался. Оперировал меня в Москве замечательный хирург Юрий Яковлевич Грицман в сороковой больнице возле ВДНХ. Хирургическое отделение этой больницы, которым заведовал Юрий Грицман, было базой Научно-экспериментального института хирургических инструментов. Он в течение нескольких часов распутывал то, что напутал Нахманович (а я пока лежал с разверстой полостью и питался кордиамином), но потом он все-таки понял, в чем дело, и тогда операция пошла быстро. А продолжалась она часов шесть — для грыжи немало. Результаты ее тоже были не совсем удачны — грыжа вскоре опять возобновилась. Стенки брюшины у меня действительно оказались слишком «деликатны», то есть слабы. Но оперирована была именно та грыжа, которая у меня была, оперирована правильно. Грыжа возобновилась, но в небольших размерах и, главное, не увеличивается — в течение последних сорока лет. Юра предлагал повторить операцию и на этот раз укрепить стенки искусственно, но мне как-то было недосуг. И так по сей день. Но все-таки я не ношу больше кишечник у колена. И Юре я благодарен.

Но я начал говорить о своем пребывании в больнице не в связи с медицинскими проблемами, в которых я профан, а в связи с положением сельской медицины. А оно было бедственным. И я испытал это на своей шкуре. В связи с мелочью, кальцексом — был тогда такой препарат — палочка из нескольких таблеток стоила две копейки (это и на

обертке значилось — «цена 2 коп.»). Считалось, что помогает он от простуды и даже, кажется, от гриппа. Не знаю, правда ли это. Но на меня он действовал. Его и теперь выпускают. Если его принять вовремя, в самом начале простуды, когда только начинает слегка першить в носу, развитие простуды прекращается, она сходит на нет. Кроме того, еще со времен своей первой операции я хорошо помнил, как больно кашлять после операции, когда швы еще свежие, как болезненно отдается этот кашель во всем теле. И вот начало у меня першить в носу то ли как раз в преддверии операции, то ли сразу после нее. Ничего не понимая в положении сельской медицины, я попросил кальцекс. Ответ, который я получил, меня поразил. Оказалось, что кальцекса в больнице нет. До сих пор я был убежден, что в больнице всегда есть полный набор лекарств, во всяком случае общеупотребительных.

Но оказалось, что не только нет, но и нельзя получить, и что на то есть серьезные причины. Оказалось, что больница исчерпала весь отпущенный ей лимит средств на лекарства за какой-то отчетный период (не то за квартал, не то за полугодие), и лекарства ей больше не положены. «То есть как «не положены»? Мне ведь нужно!» — не понял я. Тогда ведь не было сегодняшнего беспредела — т.е. раскрепощения и скрещения безграничных и безответственных эгоизмов. Тогда этим ведало, так сказать, всенародное государство, которое вроде так разумно организовало сельскую медицину. И вдруг такое — не положено. Как не положено? «А вот так!» — ответила медсестра. До нее не доходило, как можно не понимать такие простые вещи.

Оказалось, что этому всенародному централизованному государству, при всей его разумной системе здравоохранения, было решительно и централизованно наплевать на мои нужды и страдания. Демонстративно, спокойно и привычно наплевать. Одно дело организация здравоохранения в деревне, другое — конкретные сельские люди.

И я опять кашлял после операции, и опять содрогался от боли. А ведь могло понадобиться и что-нибудь более важное — касающееся уже не локального самочувствия (хрен с тобой — до свадьбы заживет), а жизни. Не исключено, что потом бы прислали самолет, но на лекарство, которое могло бы предотвратить необходимость его присылки, средств уже не было. Самолет шел по другой графе. Плановая у нас

была экономика, и средства на больных отпускались тоже по плану — что останется от чего-то более важного — не для жизни, для глобальных сталинских замыслов.

Естественно, можно было бы самому купить этот кальцекс за две копейки — но государство и здесь встало на сторону мучительства. Государственные интересы как раз в это время потребовали переучета в аптеке, а во время переучета облегчить страдания оперированного больного, отпустив ему на две копейки товара, не было никакой — ну совсем никакой! — возможности. Это было сродни святотатству. Так сталинское государство воспитывало своих работников, которые вместе с кооптированными наследниками его потом развалили.

Обращение с дамой

В обстановке сталинщины люди тоже жили. Самые разные и по-разному, но — жили. Некоторые даже неплохо. Для этого требовалось только одно — забвение или отключение сознания. Но до конца это невозможно. Прибегали к уже упомянутому оруэлловскому двоемыслию. Грамотности особой для этого не требовалось, сталинщина проникала и в самые неграмотные, то есть элементарные области бытия. Даже в самых тупых душах это создавало известный дискомфорт. Ведь невзначай могло проявиться и «второе» мышление (как у Себякина), а это было и неудобно, и опасно. Поэтому хорошо себя чувствовали в этой обстановке только подлецы. Подлецов и сволочей из этих «всех», кого я считаю «товарищами по несчастью», конечно, следует исключить. Таковыми я считаю тех, кто получает удовольствие от причиненного ими зла и от возможности его причинить или кто действительно на всех уровнях своей жизни «к добру и злу постыдно равнодушны» и умеют видеть свою выгоду и в зле.

Мне рассказывали об одном стукаче, известном конференсье, который с удовольствием принимал заискивание и подбострастие коллег, знавших, что тот в любой момент может их погубить. Конечно, «эпоха войн и революций» с ее классовыми, а потом расовыми преследованиями разобщала и озлобляла людей, порождала патологии, но подлецами становились далеко не все преследуемые, и далеко не все подлецы были из преследуемых. Природа подлости мне

все равно не до конца понятна, но я знаю, что подлецы в жизни (всякой) были и есть. Просто бывают эпохи, особо им благоприятствующие, когда никто, кроме них, вообще не чувствует себя уютно. Сталинщина (в том числе и эпоха поздней сталинщины) была именно такой эпохой.

Впрочем, тогда и подлецы иногда ошибались в своих расчетах. Товарищ Сталин и подлецов только использовал, но ими не дорожил — при случае легко расплачивался и ими. (Дьявол, как известно, не испытывает благодарности к тем, кто ему помогает.) Допустим, если хотел показать, что он к какой-то сотворенной по его приказу подлости не имеет отношения.

Подлецы встречались и на моем жизненном пути. Но на страницах моих мемуаров они встречаются и будут встречаться редко. Не потому, что я наивен, а просто не в них дело. Подлости тогда совершали и неподлецы. Просто потому, что правила подлость.

Думаю, что к одной известной мне подлости был прямо или косвенно причастен и Себякин. Не от него она исходила, более того, все, что произошло, случилось бы при любом его поведении, но участие в ней ему пришлось принять. Просто по должности. Он был обязан эту подлость официально одобрить и завизировать, дать делу ход. Не собираюсь выдавать его за трагического правдолюбца. Нет, он был обыкновенным человеком того времени, когда страну организованно портили. Я утверждаю только одно — что сам по своей инициативе он бы в этой подлости не участвовал. Но случай, вдохновивший людей на эту подлость, произошел в ходе кампании по подписке на заем. Той самой кампании, необходимость участия в которой он — правда, в минуты отдохновения — так лирически поносил. Но за кампанию эту отвечал сельсовет, а случай произошел в служебное время. А произошло вот что: одна женщина, притом ссыльная, следовательно меченая, демонстративно отказалась подписаться на заем. Не просто отказалась — увернуться от этой повинности норовили все, — а демонстративно. А это было ЧП.

О женщине, ставшей причиной этого ЧП, и о ее судьбе стоит рассказать подробнее. Я ее неплохо знал. Она была тоже ссыльной и угол снимала вместе с Лидой Стасюк, о которой я уже рассказывал и которую я время от времени

навешал. По ней время тоже прокатилось всеми своими колесами. Страшнее, чем по Лиде или по мне.

Впрочем, и хозяин дома, где они были угловыми жильцами, тоже заслуживает внимания. Звали его Алексей Яковлевич Иванов. (Получается, что он полный тезка моего лубянского сокамерника, но, может, я путаю что-то в его имени-отчестве.) Примечателен он был хотя бы тем, что и в это время на фоне окружающей послевоенной нищеты он, не занимая никаких постов, был человеком вполне достаточным. Просто он был мастеровым человеком — плотником и столяром — и таким мастером, который даже в тех условиях мог обеспечить себе этот достаток своим трудом. Было ему лет сорок пять, и жил он вдвоем с женой, содержавшей дом в чистоте и опрятности. Ко мне он относился неплохо, но неодобрительно, поскольку я не мог пристать ни к какому делу, а человек без дела в его глазах был существом не совсем серьезным. Я же относился к нему с полным уважением и вспоминаю теперь уважительно. Даже его тогдашнее отношение ко мне имело основание — я ведь и сам относился к себе почти так же.

Советскую власть он презирал и ненавидел четко и сознательно, без романтики и аффектации — просто как нечто одновременно гадостное и несолидное. Естественно, все это выкладывалось непосредственно и своим жилицам, и мне — Впрочем, тут он не отличался от других чумаковцев: правда, я думаю, что он нам доверял. Пиком выражения его отношения к власти был день «всенародного праздника» — семидесятилетия И.В.Сталина. Впрочем, праздник этот сам напросился на выражение его отношения к себе, поскольку пришелся на воскресенье.

Алексей Яковлевич был человек в принципе непьющий. Но по воскресеньям жена к обеду подавала ему четвертинку, и он ее ради праздника выкушивал. Это был заведенный ритуал. Но ввиду совпадения данного воскресенья со всенародным праздником он четвертинку, причитающуюся ему на 21 декабря 1949 года, отменил и перенес на понедельник.

— Чтоб этот зас...ец не подумал, что я за него пью, — объяснил он своим жилицам это нарушение ритуала.

Вот у такого человека жила вместе с Лидой Стасюк та женщина, которую я хорошо помню. Да, забыть ее было бы

мудрено — хотя бы из-за ее биографии. Но я начисто забыл, как ее звали: и имя, и отчество, и фамилию.

Была она штучкой вовсе не столичной, родилась в Кургане, в служилой дворянской семье. Отец ее был, кажется, управляющим в местном отделении Госбанка и умер до революции. Мать ее я видел, когда она приезжала к дочери. Это была милая провинциальная интеллигентная старушка, сильно страдавшая из-за дочери и так и светившаяся добротой и порядочностью. Дочь ее тоже была незлой и вполне порядочной, но ненависть ее к «этой хамской власти» была оголтелой, хотя она была дамой, скорее, декадентской, чем, если использовать современное выражение, «политизированной». Так сложилась ее судьба. Прежде всего женская. Повзрослела, заневестилась она как раз к Гражданской войне и сделала блестящую для провинциальной, хотя и красивой барышни партию — вышла замуж за гвардейского офицера. Но гвардии уже не было, была революция — она-то и забросила этого офицера в их негвардейские места. В это время он уже был или чуть позже стал офицером колчаковским. Она жила или бывала с ним в колчаковской столице — Омске, о Колчаке отзывалась восторженно, но по-институтски — «высокий, стройный, с прекрасными серыми глазами». Потом началось отступление. Сначала оно проходило почти празднично — офицеры с семьями совершали его в фаэтонах с замечательными серыми в яблоках лошадьми. Но постепенно тучи сгущались, полк таял, и офицеры с семьями мечтали уже только об одном — сдать. Но только не партизанам, которыми кишели окружающие леса, а какой-нибудь регулярной части Красной Армии. Но случилось худшее. Однажды они получили записку их полковника, ехавшего с семьей несколько впереди других, в которой значилось примерно следующее: «Господа, езжайте сюда (называлось место), здесь регулярные войска. Отношение самое лучшее». Они и двинулись к указанному месту. Но при подходе к нему на них бросились мужики с берданками. И в секунду раскурочили их имущество, увели серых в яблоках лошадей, сняли колеса у фаэтонов (сами фаэтоны им были ни к чему) и вообще все, что можно. Пленные узнали, что это партизанский полк с ничего хорошего им не сулящим названием «Красные орлы», — тот самый, которым командовал будущий полковник Львов-Иванов, который в «гремящие сороковые»

был начальником военной кафедры и секретарем партбюро нашего института. Его подчиненные настолько были заняты этой «реквизицией», что пленных не тронули — только заперли в каком-то амбаре, где уже находился полковник с семьей. Полковник на коленях просил прощения:

— Простите меня, господа, за эту записку, но они сказали, что убьют детей, если я ее не напишу.

Будучи напичкан революционным максимализмом, а также по младости и отсутствию семьи я, услышав этот рассказ, в глубине души презирал полковника. Как он мог — ведь у других тоже были жены и дети! Но сегодня я просто не знаю, что должен был сделать полковник. Человека нельзя так искушать, ставить его перед таким выбором. Кстати, мне кажется, что придумали эту «операцию» не мужики. Те бы, если бы распоясались, просто перебили бы всю семью. Нет, эту «революционную хитрость» с запиской, скорее всего, придумал какой-нибудь «опролетарившийся» левый интеллигент, верный своему максимализму.

Аналогичный случай произошел в 1936 году в Испании, в Толедо. Франкисты, как и везде, по сигналу «Над всей Испанией безоблачное небо» подняли мятеж и в этом городе, но, потерпев поражение, заперлись в крепости «Алькасар», где выдержали двухмесячную осаду и дождались своих. Но в один из первых часов осады, когда еще не была нарушена телефонная связь с городом, в кабинете коменданта крепости зазвонил телефон. Комендант снял трубку и услышал голос пятнадцатилетнего сына:

— Папа, я звоню тебе из штаба милиции. Они говорят, что убьют меня, если вы не сдадитесь.

Как видите, борцы за всеобщий рай везде не брезгают инфернальностью.

Правда, реакция коменданта была иной, чем у полковника.

— Что ж, мой сын, — сказал он, — придется тебе вручить свою душу Богу.

Сравнивать и морализировать тут не стоит. Комендант командовал боевой частью, которая просто бы не подчинилась приказу сдать, да и вообще это было бы изменой воинскому долгу. А семьи в фаэтонах, только и думавшие о сдаче, уже воинской частью не были. И все-таки не хотел бы я оказаться в положении этого полковника. И того коменданта — тоже.

На следующий день подошли регулярные войска. Явился какой-то вежливый командир или комиссар, поговорил с ними, после чего женщин и детей отпустили. А мужа своего она больше не видела.

После этого она еще два раза выходила замуж — один раз за анархиста (это после гвардейца-колчаковца!), а второй — за беспартийного бухгалтера. Всего у нее было три мужа. Люди это были разные, разных взглядов, темпераментов и политического поведения. Но конец у них был один — все они оказались неуютны, и их расстреляли.

Не миновала лагеря и она. Но теперь ее взяли с воли, из того же Кургана, где она жила и после лагеря. Была она несколько экзальтированной, в косметике и одежде следовала стилю какой-то старомодной, «декадентской» пикантности, хотя в соответствующих кругах не вращалась. Любила употреблять уменьшительные «детские» формы слов («мяско»), да и вообще в чем-то была инфантильной. Может быть, потому, что ей почти не пришлось жить взрослой жизнью на воле. Но была вполне порядочной и ни в чем не желала кривить душой. Пока это происходило среди нас и Алексея Яковлевича — все было в порядке. Но однажды к ней — причем на улице — подошли комсомольские активисты и предложили подписаться на заем. Тут настало ей и «кончение». Ибо и им она ответила в своей манере:

— Ну вот еще! Буду я еще подписываться на ВАШ заем! Не хочу!

И эти то ли ублюдки, то ли идиоты — я при этом не присутствовал и не знаю, кто персонально в этом участвовал — составили акт об этом антисоветском заявлении. И представили его в инстанции. Тут, наверное, и вошел в это дело Себякин, завизировав эту бумагу. Как говорится, делу был дан законный ход. Теперь уже спасти даму не мог никто, если не хотел попасть в покровители враждебных элементов.

Поразительное дело, я знал многих, но никого из этих ублюдков не знал. Только однажды один приходил к моим хозяевам проверять правильность обложения налогами. И для порядка спросил меня, есть ли у меня скот. Я ответил шутливо:

— Только кот.

— А вы не шутите! — угрожающе зарычал молодой активист и чиновник. Поразительное дело — жил в деревне

больше двух лет, а идиотов видел только среди таких. Генерация, что ли, такая была. Не она ли теперь (март 1999-го) берет реванш?

Не помню, вызывали ли нашу приятельницу по поводу ее прегрешения в наш райотдел — если и вызывали, то она наверняка вела себя так же. Но скоро ее просто арестовали и увезли в Новосибирск — на следствие. Туда же потом вызвали в качестве свидетелей Алексея Яковлевича и Лиду. Только Алексей Яковлевич поехал сам, а Лиду, не имевшую права самостоятельно передвигаться, повез капитан Кошелев, видимо, договорившись о том, чтобы допрос по времени совпал с каким-то их областным совещанием. Лида рассказывала, что в поезде капитан водил ее с собой в вагон-ресторан — не оставлять же без присмотра. Там он встречал коллег из других районов, те расшаркивались перед дамой, но, узнав, что она из «прокаженных», сразу меняли лицо на отчужденное и переставали ее замечать. Обращение с дамой, скажем прямо, недостойное. Но отсутствие достоинства тогда было свойственно не только работникам этого ведомства. Правда, призванного и следить, чтоб достоинства не было ни в ком.

Я понимаю чувства нашей приятельницы и ее нежелание их сдерживать. Но думаю, что все же изливать их на активистов не стоило. Не стоило из-за такой чепухи, как заем (на который она и не должна была подписываться, поскольку не имела заработков — просто так и надо было сказать), отправляться в лагерь и подвергать риску других. Нас, слава Богу, чаша сия миновала, хотя и мы с ней общались. Ограничились «домашними». А Лиде пришлось повертеться — она боялась ухудшить положение своей экстравагантной приятельницы и не знала, что та им наговорила. Впрочем, та была порядочным человеком и в отношении других вела себя осторожно. Но тяжелей всех пришлось Алексею Яковлевичу. Лида как-никак была старой лагерницей, следовательно, человеком стреляным. А вот на него они там нагнали страху! Вроде он от этой власти ничего хорошего и не ждал, но все же он был солидным человеком и не привык, чтоб на него орали и ему грозили — вообще, чтобы из него выколачивали что-то. Он ничего плохого не сказал, но был потрясен — такого он себе представить не мог.

— Ну, Лидша! — только повторял он, вернувшись. — Ну и ну!..

А ведь через это и еще более страшное прошли миллионы. Ваня Смородин и половины того не думал и не говорил, что Алексей Яковлевич, но привык. Так всю страну приучили... И теперь вопрос стоит жестко — разучится она или погибнет?

Что нам стоит дом построить

Строительством дома и моим недолгим проживанием в нем завершается мое пребывание в Чумакове. Само по себе это строительство особого интереса для читателя этой книги не представляет. Но, как всегда, представляют интерес люди и человеческие отношения, возникавшие в связи с этим. Представляет интерес и сама идея этого строительства — с чего она вдруг родилась у таких нехозяйственных людей, как мы.

А причины были. Прежде всего это время тогда для нас тянулось долго, а перспективы были туманными. Мы с друзьями понимали тогда в происходящем больше многих, но факт остается фактом — мы от них ничего не ждали. И поэтому всем нам казалось, что мы здесь надолго, если не навсегда. И мне тоже, несмотря на короткий срок, — кто мог полагаться на обязательства сталинского государства перед частными гражданами? Между тем дом давал хоть какую-то защиту — конечно, не от государства, но от положения, в которое оно нас поставило. Давал то место, где хотя бы можно было в случае полного крушения «положить зубы на полку» — в общем, крышу над головой. Во всех случаях, кроме нового ареста или ужесточения репрессий (допустим, внезапного переселения в еще более «безопасную для государства» местность). Но думать об этом при решении жизненных вопросов было все равно, что японцам, затевая новый бизнес, думать о цунами, опасность которых тоже существует там всегда. Много б они там нарасцветали. Правда, от цунами, поскольку работает служба предупреждения, можно хотя бы увернуться, убежать, а нам бежать было некуда. Впрочем, я сейчас говорю не об угрозе жизни, а об угрозе имуществу, созданию материальных ценностей.

Первой мыслью о строительстве пришла в голову Б.Г. Дома строили многие ссыльные. В основном это были люди рука-

стые. Но решили и мы. Нужный для этого основной капитал был составлен неравномерно. Главный взнос поступил по почте от сестры Б.Г., что-то прислали мои родители, кроме того, мы продавали все яблоки, которые нам присылали из дому, а нам их присылали немало.

Маленькое отступление о яблоках. Оно, скорее, относится к началу ссылки, но лучше поздно, чем никогда — хорошо, что оно пришлось к слову. Что такое были яблоки в сибирской глуши? Думаю, что «до колхозов», когда товары поставляли купцы, гонявшиеся за барышом, яблоки сюда привозили. Здесь ведь и покупательная способность не была низкой. Но советская система распределения, которая такой корысти не имела, а другой тоже не выработала, доставлять сюда яблоки прекратила. Люди, конечно, еще помнили, что это такое, но это стало чем-то вроде сказки. И когда (задолго до нашего строительства и торговли) я в первый раз получил из дому яблоки, мне очень захотелось угостить ими моих местных знакомых, дать хоть по одному каждому. И когда я вносил это яблоко в дом — а яблоки были большие и красивые, — у меня в самом деле создавалось ощущение, что я, как это ни банально, вношу в дом маленькое солнце — лица людей мгновенно освещались улыбками, как отсветами этого яблока, словно человек убеждался в существовании света, о чем уже почти забыл. А вот — светит... Помню счастливо улыбающуюся Федосью Максимовну при виде этого яблока — мне до сих пор приятно, что я внес в ее дом эту радость. Но с определенного момента мы яблоки есть и дарить перестали. Все шло на продажу — мы строили дом.

Понимающие люди посоветовали строить его из самана и объяснили, что это такое. Это большие кирпичи из необожженной глины, перемешанной с навозом или соломой. Производить же этот кирпич надо было нам самим. Ну что ж, самим так самим. Заказали формы, и началась работа. Нам выделили участок на новой улице Северной, застраиваемой в основном ссыльными. И примерно в километре севернее этого участка мы устроили нечто вроде маленького разреза, а в добытую при этом глину добавляли навоз или солому (где брали и как привозили — не помню), а также воду (приносимую на коромысле с речки) и подолгу месили это все ногами. И только когда замес достигал кондиции, начинали лепить саманные кирпичи. Деревянные

формы плотно набивались этой глиняной смесью и вываливались на траву рядом с разрезом — сохнуть под солнцем. Погода нам благоприятствовала.

Конечно, одни бы мы с этой простой работой не справились, ибо не знали ее. Например, как бы мы самостоятельно определяли, сколько, чего и когда надо добавлять к глине и достиг ли замес кондиции? Но нами руководила жена Паши Цветкова — он как раз перед этим женился, — милая, красивая молодая женщина местного происхождения, но совершенно не деревенского вида. Как я уже говорил, такие здесь встречались. Работала она ловко, легко и красиво, была не только стройной и обаятельной, но и крепкой. Все у нее спорилось. И культурно-образовательный уровень у нее был выше, чем у большинства ее местных сверстниц. Иметь с ней дело было приятно.

Но была у этой гармонической женщины одна странность, о которой можно было бы и не говорить, ибо на наших отношениях она не сказывалась. Мне кажется, что она представляет интерес не личный, а историко-психологический. Она не боялась никакой работы, но боялась, что ее могут увидеть за таким неподобающим делом — физической работой. Дело в том, что до недавнего времени она работала воспитательницей в детдоме, и, как теперь говорят, «потеря статуса», мнимая, но наглядная, была для нее невыносима. Конечно, беспокоилась она зря — она не теряла статуса даже в самом пошлом смысле этого слова. Она стала женой хорошего, надежного, уважаемого и здесь человека (завхоз больницы, а тем более завхоз крупнейшего в районе строительства — персона) и сейчас помогала его друзьям, без нее беспомощным. Но со стороны могли подумать, что она теперь вынуждена таким способом зарабатывать себе на жизнь.

Можно вразумляюще сказать, что и этого не надо было стесняться. И привести в пример нас — мы-то этого не стеснялись. Мы даже были довольны, что с трудом справляемся. А она справлялась легко, но — стеснялась. Недостойно!

Но так ни говорить, ни думать не стоит. Ибо мы были ссыльные, подневольные, люди с отнятым, а не потерянным статусом — наше все равно оставалось при нас. А у нее была другая стартовая площадка, и ей было страшно: и могло показаться, что она потерпела крушение на взлете. Что делать! Она росла в мире мелких престижей, связан-

ных с мелкими привилегиями, в мире, где «рабоче-служащий» гордился, что он не бесправный колхозник, где реализация образования и само представление о культуре и культурности тоже были связаны с представлением о привилегиях, а потеря статуса означала падение в пропасть. В пропасть, похожую на ту, куда Марина Прокофьевна грозила низвергнуть дядю Васю. Вся эта психология была следствием того декретируемого примата общественного над личным, который привел теперь к столь абсолютному примату шкурного над тем и другим.

Но это общие размышления. Сама эта милая женщина была весьма далека от этих приматов. И как ни говорите — решилась выйти замуж за ссыльного, перекрыть (тогда казалось, что навсегда) дорогу к любой карьере. Я к ней относился, да и теперь отношусь очень тепло. Только вот имя я ее забыл — жалко. Отношения у нас с ней, как и с Пашей, были до конца самыми сердечными. К сожалению, возвратившись в жизнь, я потом потерял их из виду. Даже не знаю, где они жили после Пашиной реабилитации. Но это были хорошие люди.

Нарабатывались мы очень — ведь по технологическим условиям работа эта могла вестись только под палящим солнцем. Но вот количество кирпичей («савманов», как мы их называли) достигло и перевалило за контрольную цифру, назначенную нашим инженером и строителем Николаем Ивановичем (о нем чуть ниже), и встал вопрос об их перевозке к нашему «стройучастку».

Мне это казалось делом простым — главное, достать транспорт: быков или лошадей с телегой. Кто-то мне с этим помог. Я привел быков к разрезу, трудолюбиво нагрузил полную телегу саманами, прикрикнул на быков, чтоб они тронулись, а они — ни с места. Я пробовал хлестать их кнутом, вести их под уздцы — результат был тот же, саботаж продолжался. Дело усугублялось тем, что все происходило под вечер, в чистом поле, и вокруг не было ни одного человека, кто бы мне мог объяснить, в чем дело (хоть из таких состояла вся деревня и все деревни вокруг). Отнюдь не сразу и с большим удивлением я сообразил, что груз слишком тяжел, и быкам просто не под силу сдвинуть такой воз. Как же так — обыкновенный воз, и не под силу? А ведь мог бы сообразить, что саманы — это прессованная глина, а воз прессованной глины — что-то весит. Мог, да

не смог. Стал опытным путем сгружать по одной саманине. В конце концов они тронулись. Кажется, одну езду сделали, а на второй — сломалось колесо. На другой день я обратился за помощью к работнику МГБ дяде Васе. Отношения у нас с ним были хорошие и дружеские, особенно через Алика. Хотя обо мне он говорил с недоумением:

— Наум — хитрый. Хочет, чтоб он писал стихи, а ему за это деньги платили.

Те, кто почувствует в этом недоумении «антисемитский душок», ошибутся. Дядю Васю такие материи не интересовали, а хитрых в Чумакове хватало и без евреев. Он просто был поражен тем, что взрослый человек может строить такие хитрые, но детские планы.

А насчет меня дядя Вася как в воду глядел. Именно этого я и хотел. И через много лет — правда, всего только года два — это у меня даже получалось. А так — не вышло. Еще больше б он удивился, узнав, что и тогда, когда он об этом говорил, у некоторых такие планы вполне реализовывались: с этого и жили, и даже безбедно. Видимо, они были еще хитрее, чем я.

Тем не менее дядя Вася относился ко мне вовсе не плохо. Во всяком случае, когда я рассказал ему о своих мытарствах и попросил помочь с транспортом, он отнесся к моей просьбе вполне дружественно и серьезно: строительство дома — не стихи, а дело нужное, — и сходил к начальнику попросить разрешения дать мне лошадей. Капитан Кошелев разрешил. Но перевозка саманов действительно оказалась не стихами, и колесо в телеге райотдела МГБ я тоже сломал. Лошади были сильные, но повозка больше трех саманов не выдерживала. Правда, дядя Вася чуток подправил ее, и несколько часов я на этих битюгах возил по три штуки зараз. Потом произошел случай психологически более тяжелый, хотя все разрешилось благополучно.

У деда на квартире дня на два-три остановился призывник из дальней глубинки, приехавший в военкомат на регистрацию. Это был молодой крепкий парень с добрым и очень располагающим к себе лицом. Глаза его так и излучали доверие. У него я тоже попросил лошадей на несколько часов. Он с готовностью согласился. И — вы в соответствии с анекдотом, конечно, опять будете смеяться — колесо я сломал и в его телеге. Мне было не до смеха. Мало того, что я подводил парня, которому надо было возвращаться до-

мой на этой телеге (а путь был не ближний), но мне жутко не хотелось, чтобы его первый выход в люди, в большую жизнь был связан с обманутым доверием. И, конечно, чтобы такое приобретение опыта было связано со мной.

И я заметался. То ли время уже было нерабочее, то ли день выходной, но никто мне не мог помочь. Но кто-то надоумил меня зайти к моему приятелю и ровеснику, плотнику Пете. И Петя выручил меня. Мы вышли с ним в сарай, где стоял его верстак, и он там починил поломку. Договорились (в тот момент у меня денег не было), что я ему буду должен за это двадцать пять рублей, которые я отдам недели через полторы-две. Отсрочка его не беспокоила — он не сомневался, что я отдам. Я ему был очень благодарен. Теперь я мог смотреть в глаза молодому парню из глубинки. Я от него ничего не скрыл, но он, осмотрев починенное колесо, остался вполне им удовлетворен. И к вечеру уехал.

Но на этом мои неприятности не кончились. Недели через две я занес Пете деньги, но поскольку не застал его дома, отдал их его матери. Мне это казалось вполне естественным. Правда, заметил я некую хищную радость в ее глазах, когда она принимала эти деньги, но не придал этому значения. Свой долг я считал выполненным. После этого Петя месяца два молчал. Может быть, даже поглядывал на меня искоса, но я не замечал. Лишь спустя немалый срок он при встрече спросил меня как бы между прочим:

— Наум, а ты мне долг когда-нибудь отдать думаешь?

Я опешил. Человек спас меня от величайшего конфуза, а теперь, видимо, имеет какие-то основания считать, что я обманул его, оплатил ему черной неблагодарностью. Я ни в чем не был виноват, но не знал, куда деваться от стыда.

— Как? — удивленно и растерянно ответил я. — Я ведь давно отдал. Как уговаривались.

— Как отдал? — теперь настала его очередь удивляться. — Мне?

— Нет, тебя не было! Я твоей маме оставил.

— Маме? — огорчился Петя. И с досадой спросил: — Ах, зачем ты это сделал?

— А она, значит, тебе не сказала?

— Да нет... Разве она скажет!

Я не знал, что делать. Все равно получалось, что я его надул.

— Знаешь что, Петя! Раз так получилось, раз я допустил оплошку, я тебе заплачу еще раз. Ты меня тогда выручил, и я не могу, чтоб ты думал...

— Да нет, ничего я не думаю, — сказал он устало, — не надо... Ты занес, раз говоришь... А она вообще у меня такая.

Двадцать пять рублей тогда в Чумакове и для него, и для меня были суммой немалой, но он наотрез отказался от повторной платы:

— Да знаю я ее... Знаю.

Но мне все равно было тошно.

Я просто стал жертвой крушения уклада, психологии, норм общежития. Конечно, эта женщина считала себя в своем праве. Она никогда бы не присвоила так чужие деньги, но это были деньги ее сына, на которые она, как ей казалось, имела право. А может, и на самом деле имела, может быть, он плохо выполнял свой сыновний долг? На него непохоже, но не знаю — традиционные нормы семейных взаимоотношений потеряли четкость. Но это явно распространилось и на иные сферы. Ладно, у нее с сыном какие-то счеты, но я при чем? Ну пусть бы денег ему не отдала, но сказать, что я их принес, она должна была? Но она этого не сделала, решила: «сами разберутся». Мы и разобрались в конце концов. Но до этого Петя долго думал, что я злоупотребил его доверием. Я безвинно оказался жуликом. По ее вине. Но это, судя по всему, ее не беспокоило. Впрочем, недостаточно четкими в этом смысле нормы поведения были в Чумакове не только у нее.

Это происходило на фоне того, что воровства в общем не было. Можно было оставить на участке что угодно — никто бы не взял. Да и как возьмешь — деревня.

— Наум, а ты Федьке свою кепку давал? Да? То-то я вижу, он в ней ходит.

В смысле денег тоже. У Аликиного учителя, замечательного мастера Нидера, была та же история, что и у Густава Александровича. Он был немцем, арестованным в тридцать седьмом, а семью его выслали в начале войны, теперь он ее нашел. Только он к ней не просился, а поддерживал ее материально из Чумакова. Он был хоть и крепок, но сильно хромал, сходить на почту было ему несколько обременительно. Поэтому отправить перевод он однажды попросил Алика. Алик сходил, отправил и вручил Нидеру квитанцию. Нидер заглянул в квитанцию и сказал:

— Да, тебе можно поручать такие дела.

Встретив недоуменный взгляд Алика, он пояснил:

— А местным (имелись в виду подростки) — нельзя. Обязательно рублей двадцать самовольно одолжит. Скажет: «Я вам потом отдам». Или: «Я вам картошкой потом отдам». Но одолжит. А моим там жить не на что. Да... Ребята хорошие, но давать им в руки деньги нельзя.

Не знаю, насколько он был прав. У меня такого опыта не было. Впрочем, и в его рассказе чумаковские ребята не выглядят нечестными. Только несколько неаккуратными в коммерческом отношении. Они ведь знали, что деньги эти в конце концов отдадут (и отдавали), как Петина мама знала, что деньги не чужие, а собственного сына.

Но так или иначе, с приключениями и без, саманы в достаточном количестве были произведены и перевезены. Надо было приступать непосредственно к строительству. Впрочем, «проект» дома был давно обговорен с понимающими людьми. Прежде всего с Нидером. Б.Г. хотела, чтобы окна в нашем доме были большими и светлыми, но ее смущало, что в домах аборигенов окна маленькие. Напоминаю, что у деда дом был просторным, но окна такие, что над окном висело зеркало, перед которым дед расчесывал свои вихры. Может быть, мы в своем светлом доме замерзнем? Все-таки у них опыт. Нидера эти слова просто рассердили.

Говорил он по-русски свободно и правильно, но произношение у него было немецкое. Допустим, вместо «Д» он произносил «Т». Рассказывая о его разговоре с Аликом, я эту подробность как-то сгладил, ибо при разговоре не присутствовал, а реконструировать не хочу. Но его возмущенный ответ по поводу местного архитектурного опыта я слышал сам и попытаюсь передать во всей красочности.

— Та, та, опит! — саркастически произнес Нидер. — Торокой опит! Они потому такие маленькие тфери теляют, чтобы опит не сапыть. Утарится калффой — сразу опит вспомнит.

После такого выступления вопрос о маленьких окнах, а заодно и дверях отпал сам собой. Ценные советы по поводу планировки дома и заготовке материала дал и главный строитель нашего дома, вскользь уже упомянутый инженер-строитель Николай Иванович. Естественно, тоже лагерник и тоже ссыльный. Он выполнил роль не только инженера, но и каменщика. Складывать дом тоже надо умеючи — чтоб не

развалился. Николай Иванович выполнял эту работу мастерски, а мы все были его подручными — подносили саманы. Работал он только в вечерние часы — после своей основной работы — и в выходные, но дело спорилось.

История его такова. Стройуправление, в котором он работал в Москве, строило дополнительное здание Лубянки. То, которое заслоняет первоначальное — дом страхового общества «Россия» от Лубянской площади и Мясницкой — вообще почти со всех сторон. Николай Иванович был прорабом строительства этого здания. А может, его части — теперь не помню. Как прораб Николай Иванович сдавал свой объект чинам НКВД, когда строительство (или его часть) было закончено. Ходил с ними по кабинетам, проверял качество паркета и тому подобное. А после того как это здание (или его часть) было «сдано в эксплуатацию», Николай Иванович был арестован. Поскольку теперь слишком много знал. Что ему «шили» конкретно, я не помню, да и значения это не имеет.

Естественно, при своей квалификации и способностях он не пропал и в лагере — в строителях начальство нуждалось. Иногда раздавался клич возобновляемой бдительности: «пятьдесят восьмую использовать только на тяжелых физических работах». Откликаться начальству надо было. Но, с другой стороны, с начальства требовался и выход продукции, а тут уже бдительность к «делу» было не подшить. Николай Иванович почти весь срок работал по специальности. Рассказывал разные истории. В том числе и о стахановском движении в ГУЛАГе.

Однажды по всем ОЛПам (ОЛП — отдельный лагерный пункт) того лагерного управления, где сидел Николай Иванович, все КВЧ (напоминаю: культурно-воспитательная часть) стали трубить о заключенном-рекордсмене, выполнявшем несколько норм на земляных работах. Дело это было невозможное, мало кто и до одной дотягивал. Конечно, и лагерная туфта «строить и жить (точнее, выживать) помогала», но о ней не трубили, да и до таких показателей ни один туфтач не додумывался. Но поскольку такой рекордсмен возник, его стали возить по ОЛПам — делиться опытом. Привезли и на их ОЛП. И сунули бить рекорды как раз на участок Николая Ивановича.

— Ну, выделил я ему рабочее место, — вспоминал Николай Иванович, — и пошел. Прихожу уже после полудня.

Смотрю — почти ничего не нарыто. Спрашиваю: «Сколько сделал?» «Процентов четыреста, — отвечает, — но я к концу дня еще двести сделаю». А там и тридцати нету. Ну, я понял и закрыл ему наряд — 600 процентов. Я понял, что не я первый вижу, что это туфта. Но поддерживают. Значит, заинтересованы. А раз заинтересованы, то мне становиться вдруг умнее всех нечего. Сотрут в порошок — это им раз плюнуть. Да и что мне — больше всех это надо? Им все равно, а мне подавно.

Все, что он говорил, было правдой. Бесправному зэку идти против «перевоспитывающего» его лагерного начальства — нелепей, чем плевать против ветра. Зэк от начальственного произвола не защищен ничем. Для того чтобы его сместить с должности и загнать на лесоповал, не нужно было никаких юридических обоснований, не надо было справляться ни с какими параграфами КЗОТа. Все зависит от расположения начальства и от его интересов. А интересы начальства требовали трудовых рекордов — ГУЛАГ не мог стоять в стороне от стахановского движения. Так было во всей стране, так людей приучали к показухе, к бессмыслице и к безответственности как к основному закону жизни. И люди постепенно привыкали. Теперь отвыкнуть не могут. Не Николай Иванович — он так себя вел только тогда — в настолько противоестественных обстоятельствах, что нормальному человеку их и представить трудно. А в общем своем поведении до конца оставался честным и порядочным человеком. Во всем. И прежде всего — в отношении к труду. Дом он нам построил вполне хороший. Но могли ли все это сохранить или хотя бы потом восстановить более молодые, с менее сформированным отношением к вещам? Строго, целеустремленно и неуклонно вел товарищ Сталин страну к сегодняшнему беспределу.

Однако и строительство, и лето шли к концу. Возникла ситуация, вызвавшая мой марш-бросок за гвоздями в Зонову к Паше Цветкову, который стал недавно завхозом строительства тамошнего маслозавода — я уже о нем здесь упоминал. В сущности, Паша должен был для меня украсть этот дефицитный товар, а я принести краденое к нам на стройучасток. Мне это было и противно, и страшно. Но что было делать? Никаких гвоздей во всей округе не было, а крышу без гвоздей установить было невозможно — нечем было закреплять стропила. До сих пор обходились без гвоз-

дей, а тут — никак. А медлить было нельзя — в случае начала дождей отсутствие крыши грозило нам катастрофой.

И я отправился в Зоново. Деревня эта расположена тоже на Оми, но километрах в тридцати выше Чумакова. Вернее, выше Ушкова — потому что по ушковскому берегу. О сущности этого путешествия я уже рассказал. Но тут важнее для меня сторона психологическая, переживательная. Ибо в общем я был очень не расположен к воровству.

Так что, выйдя утром в путь с пустым рюкзачком за плечами, чувствовал я себя не очень уверенно. Мне удалось поймать попутный грузовик, шофер которого против моих опасений нисколько не заинтересовался, зачем это я отправился в Зоново с рюкзаком, и я мигом, то есть минут за тридцать—сорок (дороги в тех местах не американские), доехал до места, вернее, до того пункта на противоположном от Зонова берегу, где, вероятно, официально был перевоз. Но перевозом и не пахло, перевозчика-водогребщика на месте не оказалось, словно бы и не предполагалось, только внизу под косогором покачивалась пустая лодка без весел и людей. Это меня обескуражило. Я принялся кричать, но ни до кого не докричался. Положение казалось безвыходным и отчаянным. И вдруг я решился — просто лег на дно лодки и начал грести руками. Спасало меня то, что речка в этом месте и в это время была очень узкой — метров шесть-семь, две-три лодки в длину — и я все же не перевернулся, а кое-как добрался и выбрался на берег. Я «причалил» к задам деревенской улицы, на которую тут же и вышел по узкому проходу между усадьбами.

Разыскать в Зонове Пашу было нетрудно: в такой деревне завхоз строительства — личность заметная. И я его скоро нашел. Времени вместе мы провели немного. Он взял у меня рюкзак, отошел с ним куда-то и скоро вернулся с рюкзаком. Только теперь он был полон гвоздями. Эта часть операции была закончена. Больше мне здесь делать было нечего, надо было приступать к возвращению.

Попутных машин или подвод не оказалось, никто о них не знал, и в обратный путь я отправился пешком. Это был очень тяжелый путь. Конечно, не из-за рюкзака — три-четыре килограмма за спиной не груз. И не был этот путь слишком долгов: занял часа два-три, не больше. Но не сама ходьба была тяжела, хоть я не привык одолевать пешком такие расстояния. Наоборот, мне даже нравилось идти,

втягиваться в ходьбу. Это совсем не то, что ходить по улице. Иное качество. Тяжел мне этот путь был из-за страха, который от меня не отступал ни на минуту. Меня пугали все встречные и все, кто меня перегонял на лошадях, — правда, и тех и других было немного, дорога в основном была пустой. И вообще никто мною не интересовался. Но мне все равно было не по себе. Я нес краденые гвозди, сделанные кустарным способом. А что будет, если меня задержат? Ведь и Пашу подведу, и моя жизнь потеряет смысл. Лавры уголовного меня не прельщали. Но если все бросить и прийти пустым — что будет с нашим домом? Все превратится в глину, и прахом пойдут все затраченные средства и силы. Мы ведь хотели бы купить гвозди, достать их законным путем — да ведь н е г д е. Другого выхода нет, а так вся жизнь на кону — из-за трех килограммов гвоздей! Но три часа прошли, и все обошлось. И когда я проходил через Вялково и через Ушково, и когда шел по Чумакову к нашему строительству, никто содержимым моего рюкзака не поинтересовался. Путешествие мое кончилось благополучно.

А назавтра Николай Иванович приступил к установке крыши. И успел до дождей. Кажется, успел и оштукатурить дом снаружи. С нашей посильной помощью, конечно. Теперь уже нам ничего не было страшно — поскольку над головой была крыша, все остальное уже не так поджимало.

В сущности, дом был готов. Планировка его была проста. Половину его занимала комната Б.Г., она же кухня, она же гостиная, во второй половине часть составляла наша с Аликом спальня, часть сени с тремя дверями: одной на улицу, а двумя — в обе комнаты, налево от входной двери в комнату Б.Г., а напротив нее — к нам.

Б.Г. оригинально решила вопрос с рамами. Обратилась к заведующему райкомхозом Королькову. Нет, не как к руководителю учреждения, а как к ...плотнику. Она откуда-то знала, что он до своего «возвышения» был первоклассным плотником. Но теперь он был районной номенклатурой, у него в подчинении было несколько плотников, и теперь он до «простой» плотницкой работы «опускался» редко. Б.Г. решила сломить эту инерцию. И однажды, встретив его где-то на улице, она спросила:

- Извините, пожалуйста, можно с вами поговорить?
- В чем дело? — спросил он.

— А в том, что я бы очень хотела, чтобы вы сделали рамы для нашего дома.

Он спросил, почему она решила обратиться к нему. Она ответила:

— Я знаю, что вы это очень хорошо сделаете. Видела ваши работы.

И предложила ему достойную цену. Корольков удивился, но согласился.

И я получил возможность наблюдать его в деле. Я его встречал и раньше. Почти всегда в легком подпитии и суровой важности. Я уже упоминал, что из-за этой своей страсти он уже отправил двух или трех своих кассирш в лагерь. Он брал у этих неопытных девиц деньги из кассы, они ему послушно их выдавали — он же начальник, — а потом не у него, а у них оказывалась недостача. Но года полтора назад, когда стали прибывать ссыльные, ему сунули в качестве кассира опытного бухгалтера из Армении, и эта лафа для него — похоже, и к его собственному удовлетворению — кончилась. Но интересоваться выпивкой он, естественно, не перестал. А тут пришел как стеклышко, измерил проемы окон, через несколько дней вернулся с рамами, аккуратно и точно вставил их в проемы и закрепил. И с удовольствием чувствовал, что все присутствующие любят точностью его движений, его мастерством. Это был совсем другой человек. И на кой было превращать такого мастера в чиновника, в заврайкомхозом, в районную номенклатуру? Кому нужно было, чтобы он в этом качестве, теряя себя, пропивал чужие жизни и уж безусловно свою?

Я ведь не отрицаю, что нужны и чиновники, и даже что далеко не все могут руководить райкомхозом, но разве такой мастер меньше стоит, чем заврайкомхоза? Каждому свое. Но это не было основным законом общества, где действовали максимы: «Нэзамэных людэй нэт» и «У нас люди растут». Но росли они часто даже не по закону Паркинсона «до уровня своей некомпетентности», а куда-то или далеко переходя за этот уровень или просто куда-то вбок. Потому что для государства это были не «люди», а «кадры». Они, боюсь, и «решили все».

Кажется, Корольков поставил нам и двери. При окнах, дверях, крыше и стенах можно было приступать и к внутренним работам. О женщинах, штукатуривших и беливших

стены изнутри, я уже рассказал, когда рассказывал о председателюше. Но оставался еще «половой вопрос». Б.Г. хотела, чтобы пол был не совсем простой, кажется, из небольших досок, но, конечно, не паркетный. Обратились мы по чьей-то рекомендации к двум работавшим в промкомбинате молчаливым белорусам. Одного — высокого, плечистого — звали дядя Саша, как звали второго — он был чуть пониже, — я не помню. Но все переговоры шли через дядю Сашу. Он был как бы бригадиром. Они пришли, осмотрели фронт работ, выслушали пожелания хозяйки, договорились о цене (по-моему, мы просто сразу приняли их цену), и на следующий день, точнее, вечер (после основной работы) приступили к работе. Рассчитывали они, видимо, что работы здесь на неделю, но прошла неделя, и вторая, и третья. Работали они хорошо, сноровисто и быстро, добросовестно, а работа все не кончалась — видимо, они ошиблись в расчетах. Работы здесь было гораздо больше, чем они поначалу предполагали, и стоила она много больше, чем они запросили. Но уговор дороже денег — они работали и молчали. Естественно, и мы понимали, что они продешевили. Но как-то все было неловко начать разговор. В конце концов Б.Г. решилась.

— Дядя Саша! — сказала она. — Я хотела бы с вами поговорить.

— О чем? — невозмутимо спросил дядя Саша.

— Об оплате вашей работы. Вы ведь, когда назначали цену, не думали, что она займет так много времени...

— Да, мы ошиблись.

— Тогда назовите настоящую цену.

В это время вошел его товарищ, неся на плече доску. Увидев озабоченные лица, он спросил:

— О чем это тут разговор?

— Да вот они видят, что оплаты недостаточно. Исправить хотят.

— А... — сказал товарищ как о чем-то незначашем и продолжал дальше.

Возник маленький спор. Дядя Саша хотел, чтоб цену назначили мы, а Б.Г. резонно возражала, что он лучше знает, сколько стоит их работа, и мы ему вполне доверяем. Дядя Саша подумал и назначил цену. Она была раза в три больше первоначальной, но вполне соответствовала квали-

фикации и затраченным усилиям. И была без возражений принята другой стороной. Такие люди жили в нашей стране. И кому надо было гноить их в лагерях и мытарить по ссылкам?

На этом эпопея строительства закончилась. Она сводила меня с разными людьми. И в общем создавала атмосферу талантливости, честности, доброжелательства, которую я остро ощущал и в которой тогда жил. Правда, повторяю, только на уровне частных отношений. Но над всем этим царила сталинщина, все это губившая и тратившая напрасную.

В этом доме я жил как будто недолго. Соседом у нас оказался «немецкий шпион на местечковой лесопильне» Гирич, к которому приехала семья. Недалеко от нас помещался детский дом, в котором дети жили лучше, чем во многих семьях. Помню, что в этом доме жила гигантская розово-черная свинья с огромными клыками, которая временами вырывалась из детдомовского свинарника и вела себя весьма агрессивно, нападала на людей. Но общими усилиями ее с трудом загоняли обратно.

Детдом был вроде неплохой, но сталинщина была сталинщиной. Неприятно было от того, что детдомовцы-немцы по достижении шестнадцатилетнего возраста посвящались в спецпереселенцы. Им тоже давали не паспорта, как всем остальным, а филькину грамоту, похожую на наши.

Постепенно мы обживали дом, завели даже кота. Приходили гости. Приходил к нам осмотреть дом дед, у которого мы жили. Навестил нас однажды и работник МГБ, дядя Вася. Пил с нами чай, беседовал о жизни. О своей работе отзывался так:

— Жизнь-то, конечно, у многих трудная, но у меня полегче. Организация у меня больно хорошая. — И пояснял: — Сколько раз лошадей просил — всегда давали. И пахать, и убирать, и в «урман» за дровами...

Иронизировать над этими его словами не стоит. Лошади, которых он получал для пахоты, уборки огорода (картошки), поездок в «урман» за лесом и дровами — заметно облегчали его все равно трудовую жизнь. Конечно, все эти работы он выполнял и для всего персонала, но и самому перепадало. Человеку трудно к нормальному (возможности пахать и возить на лошадях) относиться как к ненормаль-

ному. А то, что нормальное становилось привилегией, была не его вина, да и не его забота. За это отвечали другие — те, кто ни за что не отвечал.

Постепенно подходила зима, декабрь, подходил и перешел мой срок: двадцатого декабря. Я, естественно, нервничал. Встретили Новый, 1951 год. Я уже приходил к выводу, что не отпустят. Но вот вечером, числа третьего января раздался громкий стук в дверь. За дверьми в белом тулупе возник задыхающийся и счастливый Миша Зонов:

— Наум (передых). Наум! Давай! (передых) — к начальнику! Срочно!

А глаза сияют. У меня забилося сердце:

— Зачем?

— Там (передых) узнаешь.

А глаза сияют еще ярче.

— Освобождение пришло?

И тут служебная таинственность покинула его, и он радостно закивал головой. Я в секунду набросил на себя пальто (мне его родители прислали, чтоб было в чем ехать) и побежал за Мишей в райотдел. Начальство встретило меня сдержанней, чем Миша, но все-таки все были довольны. У меня спросили, куда я хочу поехать, я сказал — в Тюмень (потому что в Свердловске жили мои друзья Тмарченки, которые мне это через родителей посоветовали). Уезжал я дня через три — все не было транспорта. Вдруг кто-то прибежал и сказал, что от МТС в Барабинск направляется тракторный поезд.

Меня проводил Алик. С трактористами я быстро договорился, что они меня берут, а я по дороге куплю пол-литра. И колонна тронулась. Я уезжал в большой мир, а Алик, который в нем и не жил никогда, оставался. Мы простились, и он долго махал мне вслед руками, одетыми в рыжие «собаки» — большие рукавицы из собачьего меха. Я видел их сквозь слезы. Мне было очень больно оставлять его здесь — ведь он ничего еще почти не видел, кроме «малолетки», лагеря и ссылки. Очень долго стояли у меня потом в глазах эти «собаки».

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ПОЛУВОЛЯ (В «БОЛЬШОЙ ЗОНЕ»)

Вступление в шестую часть

Период моей жизни, который должна охватить эта часть, время после ссылки и до моего окончательного, но экстренного возвращения в Москву в самом конце 1954 года, — период межеумочный. Был он — особенно поначалу — суматошным. И очень опасным. Но ведь и вообще в 1951 году в основном не выпускали, а брали — в том числе и «повторников», в которые я мог легко угодить и очень этого боялся. Начинались и антиеврейские репрессии — и я о них не думал. О них ходили только слухи. Духовно этот период определяется тем, что, как уже знает читатель, я, отнюдь еще не освободившись от коммунизма, был уже абсолютно свободен от сталинщины, пароксизмы которой душили не только тела, но и сознание многих — я имею в виду мыслящих порядочных людей. Это повышало опасность моего существования. Но, видимо, меня хранил Бог. И люди, в большинстве вовсе со мной не согласные. Но об этом и будет речь во всех главах этой части.

Глава первая. Гость с того света

Прикосновение к «воле»

Предыдущая часть кончилась на том, что тракторные сани, на которых я покидал Чумаково, тронулись, и Алик долго махал мне вслед своими «собаками» — большими рукавицами из собачьего меха. Очень долго стояли у меня потом в глазах эти «собаки».

Но сани ползли, и я уезжал. И это было счастье. Я ведь, в отличие от Алика, совсем не приспособился к местной жизни (люди и отношения с ними — другое дело), и то, что меня отпустили, все же как-то повышало мои шансы на выживание. И должно было меня радовать. Но был ли я счастлив в тот момент? Не знаю. Скорее, только взволнован. Непосредственно ведь когда покидаешь насиженное место, вообще больше волнует то, что оставляешь, чем то, что тебя ждет, к чему даже стремишься. А меня к тому же ждала только неуютная неизвестность. Хотелось где-то пристроиться и жить. А «пристроиться» при моих «квалификациях» и в большом мире было почти так же трудно, как и в Чумакове. О перспективах же состояться — заниматься хоть отчасти своим делом — и думать было смешно. Речи не могло быть не только о публикации, а просто о какой-либо легализации своих стихов. Наоборот, надо было зорко следить за тем, чтоб они случайно не попали на глаза кому не надо. Короче, меня ждал мир, где все мои мысли и чувства были нелегалны. Все так.

Но в двадцать пять, и особенно в момент, когда твое положение облегчается, трудно полностью предаваться бесперспективности. И за полной неуверенностью робко таились надежда и радость. И все же вопреки очевидности я собирался жить, следовательно, состояться.

Пора понять, что пафос ложный
Не годен в верные друзья.
И поступать всегда, как можно.
И понимать, чего нельзя.
Уметь молчать, уметь таиться,
От посторонних скрыв вполне
Мощь огнедышащих традиций
У ровных строчек в глубине.
Но только в глубине бездонной,
Закрытой гладью... Для того,
Чтоб тот, кто будет другом — понял,
А враг — не видел ничего.
Как глубину у небосвода,
Когда вокруг метет метель.
Как сердце у бойца свободы
Неслышно бьется сквозь шинель.

Эти стихи — воплощенное желание жить, оставаясь человеком, личностью, самим собой в условиях, когда все

вокруг специально направлено против этого, когда это немислимо, почти неприлично (зря и опасно тревожит людей) и не видно никакого просвета впереди. Стихи эти — тогдашние. Сейчас я исправил только последнее четверостишие — 2-ю и 4-ю строки. Было «Как воздух дней, когда апрель» и «На коем серая шинель». Стало выглядеть не так неловко, а суть не изменилась.

Наверное, и по истокам, и по аксессуарам это стихи большевистские, в них воплощено стремление защитить воображаемую высокую суть этого явления от профанации.

Сегодня, сколько ни повторяй это, все равно многим трудно представить, что — коммунизм в коммунистической России в течение многих лет был запрещенной и свирепо наказуемой идеологией. Нелепо, но что делать — так это и было. Сталинщина не выносила никакой реальной духовной подлинности, но особенно свирепо, если она проявлялась в следовании той идеологии, которую она якобы представляла. Конечно, и эта программа — утопичная и невыполнимая. Не эта, пусть порочная, идеология, а многослойная и властно навязываемая нелепая ложь заполняла все поры общественного сознания. И отчасти бытия. И эти стихи в конце концов — просто о верности себе. И, кроме того, они странный *modus vivendi*, якобы найденный в обстановке небытия.

Ведь было и в тогдашнем воздухе нечто такое, что — и помимо молодости — эту мою «утопию» поддерживало и питало. Не коммунизм — наверное, само ощущение тока жизни, несмотря ни на что воспринимавшейся как единое целое. Целое, которому я все равно ощущал себя нужным. Даже тем, кто слушал меня со страхом — все-таки и их это непосредственно касалось, было их судьбой. То, что происходит сегодня, в конце века, тоже всех касается, но такое впечатление, что это ощущение общей судьбы исчезло. Под «общей судьбой» я имею в виду совсем не то, что теперь в тусовочных кругах надменно именуется политизированностью, а просто ощущение жизни как общей ценности, как общности, без которого нет ни личности, ни искусства. Ни культуры. Вообще ничего нет. А уж во времена моей молодости ощущать эту общность и в ней себя личностью, игнорируя проникшие во все поры бытия политические обстоятельства, было и вовсе невозможно. Таким небожителем можно было только притворяться — пусть перед самим со-

бой. Все равно. Для творчества это непродуктивно. Это отрыв от стихии жизни, а не следование ей.

Тогда эта стихия ощущалась. И тянула жить. И все-таки не обманула. Доказательство? Все эти трудные годы я оставался самим собой, но выжил. Правда, жил я не по столь аристократически вознесенной программе, как в этих стихах. Да это было бы и невозможно — поэзия не заговор посвященных. Но это выяснилось потом, спустя годы. А пока я ехал навстречу неизвестности — своей судьбе, у которой в тогдашних обстоятельствах не было никаких шансов сбыться. Конечно, все это висело над моей душой, но временами, конечно, отходило, меркло перед главным впечатлением — я еду. Другими словами, делаю то, что еще несколько дней назад было для меня немыслимым, каралось двадцатью годами каторги. То есть несколько дней назад я еще был прикован к месту цепью и привычно грустил на этой цепи, а теперь меня с этой цепи спустили.

Стоял тридцатиградусный мороз, но это никого, в том числе и меня, не озадачивало. Наоборот, он и дал возможность этой экспедиции состояться. Такого потепления она уже почти в полной готовности ожидала несколько дней — стоявшие до этого холода парализовали возможности и людей, и механизмов. А теперь тракторный поезд (трактор и несколько тракторных саней с грузом) как ни в чем не бывало двигался по дороге на хорошей пешеходной скорости, а люди, сидевшие в санях, когда начинали замерзать, прыгивали с них и бежали рядом — пока не согрелись и не устали. Так и ехали. И я, и все мои спутники.

Кстати, одним из них оказался Петя. Тот самый плотник Петя, который выручил меня летом — причем в долг — и чья мать не сказала ему, что я этот долг через нее вернул. Компенсацию за этот долг он и сейчас отказывался принимать. Теперь Петя навсегда покидал родную деревню — переезжал в Татарск (станция Татарская) Омской области, куда его звали родственники. Только с ним одним мы оказались попугчиками и после Барабинска — Татарская расположена километрах в ста пятидесяти западней Барабинска по магистрали. Путешествие остальных завершалось барабинской нефтебазой, куда они были командированы за бензином для МТС.

Ночевали мы в какой-то деревне, названия которой я не запомнил. Встал вопрос о выпивке и закуске. Внешне

сложный, потому что магазин уже не работал, но, по существу, простой — потому что хозяева избы, где мы остановились, показали нам дом продавщицы. Тут только с меня взяли «плату за проезд» — 25 рублей на пол-литра. Практически это была не плата, а вклад в общий котел, поскольку нам предстоял ужин. И, как мне кажется, мой взнос не превышал взноса остальных. Разговоров не помню, помню обстановку дружества и сердечности, такую нередкую тогда в России. Участвовали в этом застолье русские и немцы, да вот и еврей в моем лице затесался, могли там быть (а может, и были) и татары — значения не имело. Атмосфера была простой и чистой. Все понимали мое состояние и положение, желали получше устроиться там, где я буду жить (предполагалось, в Тюмени). Атмосферу этого застолья я никогда не забуду.

Утром мы снова тронулись и приблизительно в полдень прибыли на нефтебазу. Оттуда мы с Петей шли пешком. К счастью, у него в Барабинске были родственники, и они нас любезно приняли. Но нам воспользоваться их гостеприимством не пришлось. Мы решили на минуту сбегать на станцию, узнать расписание. Но на первом пути стоял зеленый состав из цельнометаллических вагонов — я таких еще не видел. Оказалось, что это какой-то дополнительный состав на Москву, выбившийся из расписания. Нам сказали, что стоит он уже два часа и простоит еще столько же. Мы бросились за вещами и, запыхавшись, вернулись назад. Поезд, как нам показалось, стоял так же мирно. Мы без спешки купили билеты — Петя, которому было ехать всего ничего, в общий вагон, а я — на среднюю полку в «комбинированный». Трудности это не составило — возле касс никого больше не было. После этого мы спокойно вышли на перрон, полагая, что у нас еще есть час-полтора в запасе. Но оказалось, что это не так. На перроне царил та несколько торжественная напряженность, которая в России обычно предшествует скорому отправлению дальнего поезда. Озабоченно куда-то спешил дежурный, встал на положенном месте милиционер, пассажиры, выходявшие подышать воздухом или купить чего поесть, спешно бежали к своим вагонам, у каждого из которых с флажками в руках ждали отправления проводники. До этого мы собирались, заняв свои места, выйти еще на перрон, прогуляться, даже в буфете посидеть, но тут сразу стало ясно, что такое нам

не светит, что надо спешно прощаться. И мы наскоро простились друг с другом и, расставшись навсегда, бросились искать свои вагоны. Расставшись навсегда! — сказано просто. А ведь это в спешке, в озабоченности — как бы успеть! — навсегда исчез из моей жизни человек. Нет, не близкий, не друг — просто хороший человек, которого я знал и который однажды меня выручил. Уезжая, я не искал его, чтоб проститься (как и он меня), и если бы мы сейчас не оказались случайными попутчиками, я бы теперь в своих сложных обстоятельствах даже не вспомнил бы о нем. Но мы ими оказались, а теперь расстались — оба с частью своей жизни.

Правда, если меня не подводит память, я увидел его еще раз. На другом перроне — в Татарской. Кажется, я даже специально вышел для этого из вагона. И как сейчас вижу его озабоченно спешащего куда-то по этому перрону вдоль состава. И тут мы последний раз тепло кивнули друг другу, ведь здесь, в этой толчее, среди этого множества, больше не было никого, что-либо знавшего о нас. Кивнули, может, выкрикнули что-нибудь на прощанье — и это все. Неужели я все это выдумал?

Но, так или иначе, на каком бы перроне мы с ним ни простились окончательно — на барабинском или в Татарской, — с исчезновением Пети последняя моя связь с Чумаковым оборвалась. Начиналась другая жизнь.

Началась она как бы с символа, — с баклажанной икры. На какой-то большой станции (не на той же ли Татарской?) я увидел за стеклом перронного ларька банку этой икры. Читатель, не читавший или забывший третью часть этой книги, удивится: что это еще за символ! — консервы они и есть консервы. И будет прав. Но именно эта (точнее, такая же) стеклянная банка с металлической крышкой, была моей первой (и единственной) покупкой после денежной реформы и отмены карточек. Недоеденную половину этой банки я при аресте оставил на высоком подоконнике литинститутского общежития. И потом я часто с болью и с досадой вспоминал о ней. Она долгие годы была чувственным воплощением начавшейся, наконец, по-настоящему нормальной послевоенной жизни и одновременно моей — ножом по живому — отрезанности от нее. И даже — особенно поначалу — вообще от гармонического развития.

И вот она стоит, эта банка: бери — не хочу. Она не могла теперь восстановить мою «связь с гармоническим развитием», но что-то напоминала и чем-то взволновала. Восстановленными возможностями, что ли? Не знаю. Но я тут же ее купил и с нею в руках торжественно вернулся на свое место. Здесь раздобыл у кого-то из пассажиров консервный нож и поспешно, предвкушая восстановление блаженства, стал отдирать от нее металлическую крышку. И под стук колес (поезд успел за это время тронуться), одолев это последнее препятствие, приступил наконец к поглощению ее содержимого. Но ожидания не оправдались, особого блаженства я не испытал. Икра была по-прежнему вкусной (я и теперь ее люблю), но ничего чудесного и удивительного в ней не было. Не то, что тогда, три года назад, в первый день бескарточной торговли и последний перед моим арестом! Вероятно, тогда ее вкус был связан с радостью и надеждой. Да и что греха таить — голодней я тогда был. Так или иначе, теперь это яство воспринималось совсем по-другому, чем тогда. Видимо, и вправду нельзя дважды ступить в один и тот же поток.

А поезд шел дальше. В Москву. А для меня пока — в Свердловск. Вагонных впечатлений у меня в памяти почти не осталось. Только помню мрачного, всегда насупленного офицера-гэбиста и его милую жену. Они ехали с маленькой дочерью. Запомнил я эту женщину потому, что она попросила меня уступить на время свою среднюю боковую полку ее девочке — ребенок устал и давно не спал, — и когда я согласился, благодарно мне улыбнулась. Только и всего. Но почему-то эта ее мимолетная улыбка запомнилась мне. Нет, это не промельк несостоявшейся love-story — ничего подобного. Улыбка ее была милой, смущенной, женственной, но никак не кокетливой. Слишком она для этого была занята семейно-дорожными заботами. Вот дочь устроила на отдых, теперь надо мужа обиходить. Пространство тесное, но устраиваться надо и здесь. К тому же сношения с внешним миром, с другими людьми — а в поезде их не избежать — лежали тоже на ней. Муж ее, бирюк, был на это органически неспособен. Где уж тут кокетничать! Да еще с человеком много моложе ее. Она вообще производила впечатление интеллигентной женщины, какого муж ее, гэбэшник, не производил. Уровень ее интеллигентности остался для меня тайной — я с ней и словом не перемолвился, но

в ее улыбке, приветливой, но как бы извиняющейся, явно ощущалась вошедшая в привычку тяжесть мезальянса. Какая судьба свела двух этих людей?

Впрочем, нехватка мужчин — фактор серьезный, и мезальянсы в те годы не были особенно удивительны. Но мне казалось, что разгадка этого мезальянса в другом — слишком мила была эта женщина, чтобы на нее не было спроса. Скорее, этот бирюк женитьбой спас ее в трудных обстоятельствах. Когда ей что-то грозило. Может, в семье кто-то был репрессирован, и к этому придирались. Может, пребывание в оккупации дорогу перекрыло. А может — и того хуже — была на работах в Германии, и из-за этого под подозрением. Много могло быть такого, что считалось тогда виной и прегрешением и могло поставить советского человека под удар. На ней, может быть, уже затягивалась петля, а этот бирюк женился на ней и спас. Такое тоже случалось, если, конечно, сама не была репрессированной. Впрочем, и такой случай мне известен — когда лагерный гэбист ушел со службы и женился на освобождающейся «политической». И только уходом со службы отделался. Все бывало. Всякие предположения крутились тогда в моей голове — возможно, по отношению к ней романтические и придуманные, но для тогдашней жизни вполне реальные.

Впрочем, тогда это меня занимало меньше, чем сейчас, когда я об этом вспомнил. Мне и без того было о чем думать. Из всего, что меня ждало, я мог быть уверен только в одном — что в Свердловске мне предстоит встреча с друзьями, Анкой и Гришей Тмарченко: они меня пригласили и ждут. К ним и влек меня сейчас поезд.

По моим первоначальным расчетам он должен был добраться до Свердловска этим вечером. Но поезд, выбившись из расписания, все время наращивал опоздание, и потом меня начала согревать рабская надежда, что он и дальше будет накапливать опоздание и доберется до Свердловска только утром. Это тоже меня устраивало. Но поезд как назло вдруг припустил и стал быстро нагонять упущенное. Все яснее и реальнее становилась неприятная перспектива выгрузиться из вагона среди ночи. И действительно поезд особо не нагнал, но достаточно, чтоб оказаться в Свердловске не вечером и не утром, а, как я и боялся, в самое неудобное для меня время — на изломе ночи, часа в четыре утра.

Выхода не было, я подхватил свои вещи — не ту ли корзину, с которой меня арестовали? — и вышел из вагона. Январская ночь, хотя и разжиженная вокзальными огнями, было холодна и неуютна. Было зябко. Ехать к Тамарченкам явно было слишком рано. Хоть и друзья, но зачем их будить среди ночи? Да и соседей можно потревожить, а это неосторожно — можно привлечь к себе внимание и вызвать опасное любопытство. Да и ехать было не на чем — трамваи не ходили, а такси было словом не из моего обихода. Как-то не вязался я в своем сознании с выражением «взять такси», оно витало где-то намного выше моего социально-психологического уровня. Но деваться куда-то надо было, где-то надо было ждать наступления утра. Оказалось, что проще всего провести это время на вокзале — к моему удивлению, туда впускали беспрепятственно. И не тревожили. На моей памяти, правда, относящейся к временам войны, такого не бывало. То есть вокзалы, конечно, днем и ночью были переполнены, но тех, кто их переполнял, тревожили довольно часто, — то для уборки, то для санобработки, но в общем, чтоб не залеживались, — под разными предлогами старались выгнать на улицу. Иногда по несколько раз за ночь. Как с этим обстояло в послевоенные годы, я не знал, в эти годы задерживаться на вокзалах мне не приходилось. Но теперь пришлось... вот приятная неожиданность — входи, если надо. Это было для меня большим облегчением...

Людей на вокзале, как всегда, было немало, но тесноты военного времени не было и в помине. Никто ничем не докучал, не спрашивал документы (чего я боялся больше всего — это могло кончиться и трагически). Но несколько часов ждать здесь наступления утра все равно было тягостно. Не только скучно, но и изнурительно. И все же страшновато — документов не спрашивали, но уверенности в том, что так и не спросят, не было — спросить могли в любую минуту.

И поэтому я вздохнул с облегчением, когда часов в семь я все же разрешил себе покинуть вокзал и отправиться на трамвае к Тамарченкам. Приехать к друзьям в восьмом часу и при таких обстоятельствах уже не было большой наглостью. Тем более что чуть позже они могли и исчезнуть — день был рабочий, а я не знал их расписания. Предупредить телеграммой о приезде я тоже не мог. И не только из осторожности — просто сначала не знал, на какой поезд сяду, а потом, — когда этот поезд доберется до Свердловска.

И вот я ехал к Тамарченкам. Снова ехал по городу, по которому последний раз меня, если помнит читатель, провозили в «зэковозе»*. Сейчас я ехал в трамвае среди спешащих на работу «вольняшек» — словечко, усвоенное мною позже, от Солженицына. Конечно, воспринимал я их по-другому. В тот давний мой проезд, глядя на них в щели между фанерными щитами, я им завидовал. Да и день, если помните, был воскресный, светлый, почти праздничный: люди (в моем восприятии) «отдыхали после недели созидательного труда», беззаботно, как мне казалось, гуляли с детьми и парочками.

В это зимнее утро все выглядело гораздо будничней. И не только потому, что теперь я уже не мог завидовать их покинувшей меня причастности к «нашей буче, боевой, кипучей», о своей причастности к которой большинство моих нынешних трамвайных спутников никогда и не подозревали — даже если слышали эти строки. Им было явно не до таких материй, — печать привычной усталости и будничных забот лежала на их лицах. Впрочем, это сегодняшние оценки — тогда я вряд ли бы мог это заметить и осознать, — эта печать лежала на всех, кого я видел вокруг, до и после этого.

Правда, у них было другое, на этот раз, реальное, преимущество передо мной — им не надо было бояться проверки документов. А я побаивался. Впрочем, зря — в переполненных утренних трамваях Свердловска устраивать проверки документов было и нелепо, и затруднительно. Так что доехал я благополучно... И чуть свет явился к Тамарченкам вестником наступавшего утра. Оказалось, что живут они в преподавательском общежитии университета, построенном как бы по коридорной системе, и пройти к ним незамеченным было бы трудно. Но никто не обратил на меня внимания — мало ли кто к кому приезжает в гости.

Занимали Тамарченки две небольшие комнаты, и с моим появлением всем четверым членам их семьи, даже желающим досмотреть последний сон, пришлось пробудиться. Впрочем, уже и время было.

* «Зэковоз» — грузовик с надставленными фанерой, а потому высокими бортами, который в больших городах используется для перевозки заключенных по внутренним объектам — чаще всего из лагеря на работу и обратно.

Эта первая встреча с друзьями произошла не совсем так, как виделась предстоящая встреча с друзьями нашему великому поэту: тоже когда-то хлебнувшему ссылки.

О сколько слез! И сколько восклицаний.
И сколько чаш, подъятых к небесам!

Конечно, и у нас было все, что сопутствует радостной встрече — и слезы, и «чаши», и восклицания, — в общем, все, что полагается. Но температура проявлений была не та. Прежде всего восклицания — они должны были быть поневоле приглушенными. Чтоб соседи чего-либо не заподозрили. Конечно, Россия есть Россия, и гость в доме — понятный повод для выпивки и некоторой суматохи — это не подозрительно. Этих рамок и надлежало держаться — в восклицаниях и во всем прочем. Гость из дальних мест — событие приятное, обязывающее, но ординарное. О том, что я не просто гость, а человек, вернувшийся оттуда, откуда мог и не вернуться, откуда (тогда еще) почти никто и не возвращался, никто не должен был догадываться. Ибо в противном случае это могло кончиться плохо не только для меня, но и для хозяев. Вернувшиеся по истечении срока все равно продолжали относиться к категории «репрессированных», и общение с ними «не рекомендовалось», то есть грозило неприятностями — особенно воспитателям юношества. А предоставление им ночлега, да еще в «режимном» городе, каким был Свердловск, даже наказывалось. Поэтому простая встреча друзей, не связанная ни с какой конспирацией, была подпольной акцией, и ее надо было держать в секрете. Всем — и взрослым, и детям. Держали. Пушкин с такими обстоятельствами не сталкивался. Такую жизнь и Достоевский мог бы себе вообразить с трудом, а мы в ней жили. И с ней сообразовывались — она была нашей повседневностью. Так что шума и помпы не было. Да ведь и не с чего было. Ведь отправлялся я отсюда не в Москву, а в Тюмень, где меня ждала неизвестность. Но была радость оказаться среди своих, откровенные разговоры — собственно, других у нас никогда и не бывало.

Тамарченки сами довольно много пережили за это время. По ним непосредственно проехала своими катками антикосмополитская кампания. Она настигла их в Черновицком учительском институте — причем проехала главным образом не по еврею Грише, а по Анке, несмотря на ее

дворянское происхождение (впрочем, обвинили и в сокрытии оного при вступлении в партию, чего не было). Просто она была не ко двору в этой провинциальной клоаке, и ее «подвели под кампанию». Нелепо, грубо, глупо, но — такие были времена — результативно. Изгнали отовсюду. Так что Свердловск после долгих хлопот, мытарств и многократных поездок в Москву явился для них таким же подарком судьбы, как для меня — ссылка (вместо лагеря). Везунчики мы были. Впрочем, как и все порядочные люди страны, кто тогда уцелел.

Правда, я не могу понять, на чем основывались хлопоты, ради которых они ездили в Москву. Ведь надо было доказать, что ты невиновен в том, чего вообще не было в природе. Но хлопотали. Что-то доказывали. Добивались. Вот и Гришин брат, Давид Тамарченко, работавший тогда в тех же Черновцах и объявленный безродным космополитом на всеукраинском уровне, тоже ездил в Москву хлопотать и в конце концов даже туда перевелся. Именно в то страшное время. Как это получалось? И почему эта кампания была вдруг приостановлена?

Теперь мне кажется, что Сталин только отступил до «лучших времен». Методом проб он продолжал искать подходящие формы компрометации евреев. Космополитская кампания результатов не дала. Но как раз в те дни, когда мы спорили в Свердловске, в пыточных камерах Лубянки, Лефортова и Суханова продолжало формироваться уже упоминавшееся здесь «дело ЕАК» — Еврейского антифашистского комитета. Эта тщательно и втайне готовящаяся провокация тоже не дала результатов и закончилась тайным же (значит, ничего ему не давшим) расстрелом. Но потом Рюмин подsunул вождю «дело врачей». Это было «то, что надо» — «лучшими временами», ради наступления которых он и отступил после космополитизма.

Мой уже покойный друг Владлен Бахнов, который был объектом такой же травли, но в Литинституте, вспоминал году в 1995-м, как при личных встречах вели себя тогда его знакомые, в том числе и часть активных «антикосмополитов», как большинство из них были довольны, когда дела у их затравленных товарищей начали налаживаться. Заключил, правда, он свой рассказ так:

— Тогда все испытывали некоторую неловкость от этого, теперь — нет.

О том, что и почему «теперь», разговор будет в своем месте, но «тогда» было действительно так. Уж слишком это противоречило всему, в чем люди были воспитаны, и уж слишком наглядно проявлялась тут несправедливость и обстановка травли. Сказывалась и естественная порядочность. Думаю, что если такая обстановка создастся опять, то возмущения и смущения будет меньше. Не из-за усиления антисемитизма, а из-за ослабления нравственной ориентации. Слишком часто в последние годы хорошие слова оказывались камуфляжем, слишком часто обманывалось доверие. Слова мои эти для объяснения, а не оправдания будущих свинств. Человек простой и непростой все равно Homo sapiens. И он не имеет права говорить: «Меня до этого свинства довели». (Позволил себя довести — значит, стал свиньей.) Но тут есть одна тонкость — он о себе так говорить не может, но другие о нем — могут и даже должны. Ибо они обязаны думать не о его грехах, а о своих. Иногда — и перед ним. Но это другая тема и опять мысли другого времени.

А о чем и что мы говорили тогда? Конкретно это вспомнить трудно, ибо все это были разговоры того времени. И даже не важно, какие у кого были взгляды. Я ведь тоже придерживался «подлинного коммунизма». Разве что Сталина я теперь отрицал более решительно и абсолютно, чем пока они и почти все мои московские друзья. Но и это определялось не тем, что мне больше «показали» — мне ведь «показывали» долго, а я упирался, — просто я был человеком другого субпоколения и меньше был вовлечен в Сталина.

Начало моей сознательной жизни совпало не с завлекательным для молодой интеллигенции, обманным (только ложь еще удавалось скрывать) энтузиазмом первой пятилетки, а с неправдоподобной и массивной ложью тридцать седьмого года. И отворачивания к ней не могла во мне выжечь никакая Победа и никакая диалектика. Космополитская кампания только освободила меня от насилия над собой. В людях первой пятилетки тоже все это было, но пристрастие к Сталину сидело в них глубже. Раньше стали вкладывать и больше вложили. Потом всякая разница исчезла. Но все равно — у меня, как и у них — все это было блужданием в потемках, подспудным и перманентным сопротивлением разума, духа, здравого смысла и порядочности тому, что теперь называется сталинщиной.

Разговоры и споры у Тамарченок касались не только «материй», но и людей, прежде всего друзей. Тамарченки оказались для меня в тот момент вершиной айсберга. Встреча с ними показала мне, что все мои друзья, о которых, конечно, тоже шла речь, так и остались друзьями. Последующий мой наезд на Москву подтвердил это. И даже больше: во всем моем окружении не было предателей. Собственно, в этом не было ничего удивительного.

Но мир и тогда, и теперь состоял не только из моих друзей, реальных и потенциальных. Приходилось соприкасаться и с другими. Большая часть этих «других» состояла, как в Чумакове, из нормальных людей, которые никому по доброй воле зла бы делать не стали. Но им и не надо было уж слишком идеологически самоопределяться и проявляться. Конечно, в какой-то мере в грех втягивали и их — тоталитаризм никого не оставлял чистым, — но мера тоже имеет значение. Например, мера активности.

Но те два студента, о которых я, собственно, и хочу рассказать, явно были людьми активными. Хотя рассказывать особенно нечего. Ничего ведь не произошло. Просто два студента по какому-то учебному делу в назначенное время пришли к своим преподавателям и не застали их дома — те где-то задержались (за что потом были принесены соответствующие извинения). А не застав, стали их дожидаться... Все это естественно. И то, что, дожидаясь, они обнаружили меня и занялись мной, тоже естественно — во-первых, я был для них новый человек, во-вторых, явно был гостем их преподавателей, следовательно, человеком, как-то связанным с ними и, весьма вероятно, с их профессией. То есть с будущей профессией самих этих студентов, с ее тайной. И при всем при том почти ровесник — с которым разговаривать по-своему было нетрудно. Все это было естественно, и никаких задних мыслей у них при этом не было. И кто я и откуда, они сразу стали допытываться, отнюдь не из бдительности, а из интереса — раз встречен в этом доме, то, наверное и сам литератор или преподаватель, интересно познакомиться. Все это было естественно, но что-то в них было такое, что не располагало меня к откровенности. Много позже я узнал от тех же Тамарченок, что оба эти парня сделали блестящую партийно-идеологическую карьеру — занимались надзором над литературой и мыслью во-

обще. Но тогда я этого о них знать не мог, тогда еще и сами эти парни о себе этого не знали. Но доверия они у меня не вызывали.

На те простые вопросы, которые они задавали (вроде «кто ты?» и «откуда?»), я не стал бы отвечать любым малознакомым людям — даже намного более мне симпатичным, чем они. Обстоятельства и прежде всего долг перед моими друзьями исключали такие откровенности. Но здесь я и сверх того чувствовал, что с этими бойкими ребятами лучше держать ухо востро. Тamarченки после их ухода подтвердили это.

Нет, дело было не в их излишнем любопытстве — оно вовсе не было ни излишним, ни бестактным. Представить, что отвечать на простые вопросы человеку может быть затруднительно, нормальному человеку почти невозможно. Кстати, мое положение было бы не менее затруднительным, если бы эти вопросы задавали не они, а другие мало знакомые люди — даже гораздо более мне приятные. Но кто бы ни задал мне эти вопросы, они были заданы, и нужно было на них незамедлительно отвечать. А как?

Выдать себя за слесаря или фрезеровщика значило вызвать подозрение. Я, конечно, мог бы им некоторое время вешать лапшу на уши (все-таки кое-что об этих профессиях я знал), но уж слишком это было недостоверно. Непохож я был на рабочего. Да и должен был возникнуть вопрос: где я работаю? И тут я мог завратиться. Выдать себя за химика или биолога было еще опасней.

Не проще было ответить и на вопрос, откуда я. Хорошо я знал два места — Москву и Чумаково. Чумаково отпадало. Там я мог быть только агрономом или учителем. Но в агрономии я понимал еще меньше, чем в химии. Да и на агронома я был похож еще меньше, чем на химика. А на сельского учителя? Тоже весьма отдаленно. К тому же в специфике учительского дела эти парни могли оказаться более сведущи, чем я — вероятно, проходили педпрактику. Да и мог встать вопрос, где я учился. Все не получалось. И в конце концов пришлось мне выдать себя за... студента Литинститута. Тут все-таки было только извращение правды, а не чистая ложь.

Я вовсе не рвался хвастать, и когда, узнав, что я студент из Москвы, собеседники спросили:

— А где ты учишься?

Все-таки и на этот прямой вопрос я попытался ответить обтекаемо:

— В институте имени Горького.

Но их на мякине было не провести.

— В институте Союза писателей? В Литинституте? — буквально взревели они.

Пришлось скромно сознаться. Я сразу вырос в их глазах, а во мне все напряглось. Разговор принимал опасный для меня оборот, дело начинало пахнуть разоблачением. Но обошлось. Слишком большое впечатление произвело на парней мое признание. Моя осторожность была принята за скромность. Или, наоборот, за естественную (по их представлениям) надменность. Во всяком случае, за нечто естественное. Ведь перед ними сидел человек, достигший высот, о которых они и не мечтали. Я для них был олицетворением если не успеха, то человека, открывшего себе путь к нему. О том, что потом их поставят всеми такими счастливыми «руководить» (точнее, их контролировать), они, как и я, еще знать не могли.

Все во мне напряглось. Взрыв их интереса ко мне не создал атмосферы близости. Они и прочесть меня ничего не попросили, не полюбопытствовали. Так мне, во всяком случае, теперь кажется. Я ничего о них не знал, но почувствовал, а может, и понял, что это был взрыв интереса к ступени успеха, а не к литературе. Тем не менее мне пришлось отвечать на их вопросы о своих товарищах (из тех, кого награждали и о ком писали) — ходить по острию ножа. Но, слава Богу, три года не срок, и я еще «был в курсе», знал всех, о ком они спрашивали. А в крайнем случае мог правдоподобно приврать — великое дело компетентность! Обошлось. Никаких других неприятных и рискованных встреч и разговоров у меня в Свердловске не было. У Тamarченко мне было хорошо, с ними, с обеими их дочерьми — младшей Верой и старшей, Наташей. С Наташей я даже побывал в театре. Да и просто радовала возможность опять свободно ходить по улицам большого города. Но радость эта была омрачена сознанием, что все это более чем временно, что очень скоро мне предстоял неминуемый отъезд в Тюмень. Неминуемый не только потому, что я не имел права жить в Свердловске, а еще и потому, что согласно выданной мне «справке об освобождении» только в Тюмени, добровольно (по совету тех же Тamarченко) выбранной мной для жи-

тельства, я мог получить паспорт и вообще легализоваться. Должен сказать, что совет этот был вызван самыми лучшими и благородными побуждениями (например, мыслью, что если я буду под боком, мне легче будет при случае помочь), но был при этом абсолютно неквалифицированным (с «эзковской» точки зрения). Впрочем, кто мне мог тогда дать квалифицированный совет?

Так или иначе, побыв в Свердловске несколько дней, я вынужден был его покинуть. Моя несвобода властно держала меня в руках. Случайное обстоятельство — что уезжал я из Свердловска не на запад, а как бы возвращался назад, на восток — Тюмень расположена на полпути между Свердловском* и Омском (я уже проезжал ее по пути в Свердловск) — символично подчеркивало эту мою неосвобожденность.

Тюмень. «Белое безмолвие»

Так что настроение мое, когда я оказался в вагоне поезда «местного сообщения» Свердловск — Называевская (он проходил через Тюмень), было далеко от бравурного. Поезда «местного сообщения» были рассчитаны на обслуживание пассажиров, ехавших на не очень далекие, но существенно более длинные, чем пригородные, расстояния и призваны разгрузить «магистральные» поезда от «промежуточных» пассажиров. Проезд на них стоил столько же, сколько на дальних, но состояли они обычно из вагонов, более близких к пригородным — впрочем, достаточно удобных. Вообще этот поезд связан в моей памяти не только с плохим — на нем я потом раз или два скатал в Свердловск и обратно, на нем и уехал. «Небравурное» настроение мое по пути в Тюмень никак не было связано с качеством поезда.

Прибывал он в Тюмень, кажется, под вечер. Точно не помню. Помню только, что, впервые оказавшись там, я сдал вещи в камеру хранения и что первые две или три ночи пребывания в этом городе ночевал на вокзале. Ведь я здесь никого — ну совсем никого! — не знал. И — хуже того — не

* Напоминаю, если кто забыл, что я не употребляю здесь возвращенное городу имя Екатеринбург только потому, что стремлюсь передать реалии и ощущения описываемого здесь времени. Само же возвращение городам исторических имен, а тем более исчезновение с географической карты имени Свердлова я всячески приветствую.

знал, зачем я сюда явился, чего мне здесь добиваться и, следовательно, куда обращаться... Просто каждую ночь спал на вокзальных скамейках или на полу, дожидаясь утра и «выходил в город» — доезжал на автобусе до центра и начинал бродить по улицам. Большею частью бесцельно, читал газеты, вывески, объявления — как-то пытался сориентироваться в обступившей меня и спешащей мимо меня местной жизни. Ел я в забегаловках, и это было едва ли не самым осмысленным занятием в течение дня...

Представляет ли кто-нибудь из более молодых читателей, что это значит — и особенно значило тогда — оказаться одному в незнакомом городе, если ты прибыл туда не к кому-то в гости, не в командировку, не по распределению после института или техникума, даже не по оргнабору, а «просто так». Да еще с целью, одновременно и туманной, и насущной — а при кричащем отсутствии у меня профессии и при моих-то «правах» и немыслимой, — устроиться и жить. Как это было сделать, если мне здесь без всяких преувеличений не с кем было перемолвиться словом? По причинам частным (отсутствие знакомых), но и общим тоже. Я бы мог, например, посетить полуколлег в местных редакциях и попытаться завязать связи. Обычно это мне легко удавалось. Но это когда я не относился к касте прокаженных. Ведь далеко не каждый решился бы — тем более на глазах у товарищей, в помещении редакции, органа обкома (а где бы еще я мог кого-либо отыскать?), — проявить интерес и участие к незнакомцу с таким «статусом». Тут ведь и «заразиться» было недолго — особенно работнику идеологического фронта, каковыми считались все пишущие... Да и мне самому возникать в этих «сферах» было опасно. Выхода не было. Оставалось бродить по городу, как волку по клетке. Так не в ледяной пустыне Аляски, а в людном русском городе меня обступило «белое безмолвие», плотная стена абсолютного отчуждения...

Надо было сквозь это прорываться. А куда? Этот город белого безмолвия был в тот момент единственным местом в стране, где мое пребывание было абсолютно легальным: единственным местом, где я мог получить паспорт. Конечно, меченый, но хоть какой-то. Ведь в моем единственном документе — справке об освобождении — прямо значилось, что на жительство я направляюсь именно сюда, в Тюмень. Легальней в моем положении ничего и быть не могло.

Это стало причиной нелепого приключения. Не зная, куда деваться и куда обращаться, но сознавая свою абсолютную легальность, я не нашел ничего лучшего, как обратиться за советом к вокзальному милиционеру в штатском (перед этим обозначившему себя тем, что задержал какого-то воришку). Страж порядка потребовал предъявить документы и, увидев мою справку, счел за благо меня задержать и представить своему начальству. Его шеф, начальник вокзального отделения железнодорожной милиции, естественно, тоже не знал, что со мной делать. Никаких правонарушений с моей стороны не было, а была справка, направлявшая меня в Тюмень, где я в данный момент и находился. Все было в порядке. Но справка была выдана райотделом МГБ, и, хотя она была об освобождении, автоматически относила меня к тем, по отношению к которым следовало всегда быть бдительным. А поскольку, как проявить эту бдительность в данном конкретном случае, он не знал, а забот, причем вполне реальных, осмысленных, у него и без меня было выше головы, то решение отправить такую крупную птицу «по принадлежности» пришло к нему автоматически.

— Отведи его к Кондратову (за фамилию не ручаюсь), — приказал он милиционеру. И пояснил для меня:

— Это в доротдел МГБ. Там разберутся.

Соображение, что человек, ни в чем не обвиненный и находящийся там, где ему положено находиться, задержан неправильно и должен быть немедленно с извинением отпущен, показалось бы ему, может быть, и весомым, но не имеющим отношения к жизни. К власти нелепостей он, несмотря на то что в основном имел дело с реальностью, привык.

Доротдел МГБ помещался не на вокзале, а на некотором расстоянии от станции в невзрачном одноэтажном доме без вывески, расположенном на одной из привокзальных улиц. Человек, названный мной Кондратовым, при тусклом свете прочел мою справку и тоже испытал некоторую растерянность перед ней. Не знаю, чем занималось его подразделение, но явно не проверкой документов у пассажиров. К тому же вряд ли в его практике встречалось много людей с такими справками — похоже, это был первый случай. Но никакого испуга он не испытал. Даже сделал передо мною вид, что ему все это давно известно. И ему действи-

тельно было понятно, что справка об освобождении, выданная другим подразделением его учреждения, есть справка об освобождении. Коротко расспросил меня, что я собираюсь делать, и узнав, что деньги на съем квартиры у меня есть, посоветовал мне обратить внимание на доски с объявлениями — среди них появляются и о сдаче жилплощади. Совет был полезный — до этого я искал объявления в газете. Естественно, он и отпустил меня. Не Бог вещь что, но, забегая вперед, скажу, что более человеческого отношения к себе я не встретил ни разу за все время моего пребывания в городе Тюмени. Впрочем, за исключением еще одного человека, даже попытавшегося — пусть поневоле робко, не входя со мной в отношения (не нарушая «белого безмолвия») и, конечно, щетно — мне помочь. Но о нем — чуть позже.

Конечно, для Кондратова общение со мной не представляло никакой опасности, даже входило в круг его обязанностей — я был, так сказать, его контингентом, — но все же он явно проявил добрую волю, дал практический совет — спасибо. Я вовсе не стремлюсь этим обругать тогдашнее население Тюмени, обвинить его в отсутствии этой воли (да и вообще в чем-либо), не считаю, что там тогда собрались какие-то особо черствые люди. Не их вина, что у меня не было никакого ходу к ним, никакой зацепки для установления отношений. Не сомневаюсь, что мимо меня, не замечая меня, как я их, проходили и потенциальные друзья. Я даже понимал, что в этом нережимном тогда городе должны быть люди, подобные мне. Но где их было искать? С одним, правда, я случайно соприкоснулся на автобусной остановке. Я спросил, каким автобусом мне надо ехать, а он спросил, откуда я приехал, и узнав, откуда, «сознался», что и он сидел по 58/10.

— За язык, — пояснил он. — Во время войны (трепался по поводу связанных с ней бытовых трудностей).

И прочел мне чье-то четверостишие, содержащее неловкую самоиронию по поводу таких, как он, «жертв войны». Сидел он недолго и вообще был местным. Многих тогда переполняла жажда чувствовать себя невинными кроликами. Это казалось удобней и спокойней... Никакого желания общаться дальше мой собеседник не проявил. Больше таких встреч не было. Одиночество мое ничем не нарушалось.

Впрочем, в первое утро я вышел в город (из помещения вокзала) довольно бодро. Не то чтобы мне было море по

колени, это было невозможно, но некоторую надежду на то, что все как-то устроится, я все же ощущал. Видимо, просто от взаимодействия утра и молодости. К тому же все же один план устройства у меня был, и он не казался мне несбыточным. Я собирался устроиться избачом в каком-нибудь дальнем районе (а Тюменская область огромна — простирается до Северного Ледовитого океана). Как я полагал, это значило стать сельским библиотекарем. Сиди, выдавай и принимай книги — и пиши втихаря. И даже какие-то радужные картины мне рисовались — любовь и прочее. Только потом, много позже, я узнал, что на самом деле это значило стать мальчиком на побегушках у председателя сельсовета. Кроме того, я должен был бы ведать сельской самодеятельностью, в первую очередь баяном, может, даже играть на нем. Как бы я с этим справился? Что бы я там делал в такой глуши при такой оторванности и зависимости? Но, с другой стороны, никакая другая должность мне на территории этой огромной области тогда не светила. Впрочем, как вскоре оказалось, не светила и эта. Однако в первый свой выход в город я ничего этого не знал. И сохранял бодрость. Но по мере того, как передо мной разворачивались день и город, уверенность моя таяла. Даже найти областной отдел культуры, который ведал «избачами», ничего и никого в этом городе не зная, было трудно. Как я все же его нашел, уже не помню. Может, случайно на него набрел в своих бесконечных шатаниях по городу, может, просто узнал адрес в киоске «горсправки» (если такой киоск там тогда был).

Но, скорее всего, узнал этот адрес в областной библиотеке, на которую действительно набрел случайно и где проводил много времени, которое некуда было девать. Помню, что там я впервые прочел «Бесы» Достоевского. Что-то, конечно, запало, но по-настоящему я этот роман воспринял только через несколько лет. Но речь не о романе, а о библиотеке. Ее читальный зал был, пожалуй, единственным местом в этом городе, где я «бывал». Похоже, нужный мне адрес я узнал у кого-то из сотрудниц этого зала — отдел культуры был их начальством. Впрочем, никаких других частных отношений или просто разговоров с работниками библиотеки у меня не возникло. Атмосфера «белого безмолвия» не нарушалась ничем. И меньше всего моими

контактами с областным отделом культуры, до которого я все же сравнительно быстро добрался.

Эти контакты представляют интерес сами по себе. Сегодня, конечно — тогда мне было не до «интересов». Они — experience, опыт или приключение, — называй как хочешь, но что-то в атмосфере тех лет они проясняют. Во всяком случае, в них есть нечто, о чем, безусловно, стоит рассказать.

Помещение, которое занимал этот отдел, представляло собой, как мне кажется, переоборудованную квартиру в одном из домов на главной улице города. Если доверяться моей памяти, его контора состояла всего из двух комнат — помещения, где сидели инспекторы, и кабинета начальника. Но так не могло быть. Наверняка была еще бухгалтерия, может, еще какие-то кабинеты, но я помню только эти две комнаты. Впрочем, только в них мне и пришлось побывать. Обстановка была самая заурядная, конторская.

Когда я пришел туда впервые, в комнате инспекторов был только один сотрудник. Видимо, время было обеденное и остальные его коллеги — все они, как потом оказалось, были женщины — разлетелись по своим неотложным делам. Наверное, таких дел было немало. Я потом этих женщин видел — не думаю, чтоб им жилось слишком легко. Но это к слову.

Инспектор, которого я застал — молодой (но чуть старше меня) человек в полувоенном, — оторвался от бумаг и спросил, по какому делу я пришел. И, естественно, кто я такой. Я ему подробно ответил: и кто я, и откуда, и почему. Я почувствовал, что он заинтересовался мной и захотел помочь. Но реалии 1951 года были сильнее чьих-либо желаний.

— Я не знаю, что могу для вас сделать, — начал он. — Максимум на что вы можете рассчитывать — это место избача... Значит, заведующего избой-читальней в деревне...

— Да ну! — легкодумно ответил я. — Я два года прожил в деревне... А тут все-таки работа.

— Но и этого я пока не могу вам обещать... — продолжал инспектор. — Начальника сейчас нет... А как он решит... А он будет дня через два-три... Зайдите в конце недели.

Дня через два-три! В конце недели! Еще несколько дней «белого безмолвия»! Когда ночуешь на вокзале и блуждаешь по улицам, потому что приткнуться негде. А видимая

цель этого блуждания по зимнему городу при этом не проясняется и не возникает... Кроме той, что связана с отделом культуры. Но ведь и она не радужна, да и с ней все сомнительно.

Впрочем, с ночевками на вокзале я скоро покончил. Все-таки совет Кондратова пригодился. На одной из досок с объявлениями я все же однажды увидел бумажку с заветными словами: «Сдается комната». Конечно, я сразу устремился по указанному адресу... Сдавалась она в каких-то Кузнецках* — это не имело значения. Только бы какое-нибудь пристанище! Только бы легализоваться! Ведь без квартиры я и паспорта не мог получить. Расспросив у встречных дорогу, я тут же бросился по указанному адресу — доехал на автобусе до нужной остановки, нашел дом и, почти не глядя, снял эту комнату. В тот же день я в ней и поселился: съездил на вокзал, забрал вещи из камеры хранения и перевез их сюда.

Комната эта и хозяева, сдавшие мне ее, — особый сюжет, о нем чуть позже. Но когда я ее снял, возник еще один, промежуточный сюжет — в первом отделении милиции города Тюмени мне отказывались выдать паспорт. Начальник паспортного стола объявил, что справку об освобождении я должен был получить в двух экземплярах. Видимо, освобождающимся из лагеря справка эта действительно выдавалась в двух экземплярах, а такие птицы, как я, в первое отделение города Тюмени еще не долетали.

— Ведь может быть и так, — объяснил мне начальник, — что где-то вы уже один паспорт получили, а теперь пришли за вторым. Я должен проверить.

Проверить он собирался путем отправки служебного письма в Чумаки с запросом обо мне — операция, которая, по его словам, должна была занять пару недель. Это был новый удар, причем оглушительный. Я опять повисал в воздухе — еще две недели «белого безмолвия»! — без паспорта нельзя было ни устроиться (если бы меня взяли избачом), ни уехать. Посылать этот запрос служебной телеграммой начальник наотрез отказывался. Мое предложение сделать это за мой счет было отвергнуто с ходу. И действительно, оно было глупым — служебные телеграммы не могли

* Тогда это был ближний пригород. В 1972 году, когда я с группой писателей опять попал в Тюмень, он был уже полностью поглощен разросшимся городом, даже название его никому ничего не говорило.

оплачиваться частными лицами, это ведь и оформить было невозможно. Отчаяние — дурной советчик. Положение казалось безвыходным.

Но отчаяние подсказало и выход — послать частным порядком срочную телеграмму-мольбу в Чумаково, прямо в райотдел МГБ капитану Кошелеву. Звучала она примерно так:

«Умоляю срочно подтвердить служебной телеграммой адрес первого отделения милиции города Тюмени получение мной только одного экземпляра справки об освобождении без получения паспорта. Мандель».

Влетела мне эта телеграмма в копеечку (из-за срочности и потому, что во избежание недоразумений я старался все высказать наиболее полно), но на следующий день, когда я пришел в милицию, начальник паспортного стола, увидев меня, сказал: «Все в порядке. Подтверждение пришло. Заполняйте анкету и приносите фотокарточки». Все-таки капитан Кошелев не подвел. Конечно, это была его обязанность. Но ведь и он мог замедлить с ответом, послать его по почте, подождать, пока придет официальный запрос. Да ведь и тюменский начальник прекрасно видел, что я не из тех, кому нужно два паспорта, мог бы в местном МГБ (к которому, кстати, тогда относилась милиция) выяснить, что значит мой документ — не захотел. Я для него не был человеком. А в Чумаках сработали патриархальные отношения. Все-таки «мы все были из одной деревни». Впрочем, думаю, что к доктору Пейперу капитан относился не хуже, чем ко мне, а понадобилось — стал формировать из него «дело врачей» районного масштаба.

Итак, паспорт был мне выдан. На вид самый обыкновенный паспорт. Только в графе «На основании каких документов выдан паспорт» значилось: «На основании справки об освобождении № такой-то, выданной там-то и тогда-то и статьи 38 положения о паспортах». Это был милицейский код. Статья 38 считалась не столь свирепой, как статья 39, которую после отсидки ставили в паспорта большинству «политиков», она менее жестко ограничивала количество городов, в которых человек имел право жить. Но разницы между этими статьями я на себе не почувствовал.

Однако жить в Тюмени я имел полное право. Тот же начальник в тот же день или на завтра меня прописал, и я

стал здесь персоной совершенно легальной. Помогло это мне как мертвому кадилло.

Когда я пришел вторично в отдел культуры, мой знакомец представил меня начальнику, худощавому сдержанному мужчине в цивильном, которому я повторил свой рассказ о себе. Выслушал он меня вежливо и внимательно, но ответил уклончиво, чтобы я зашел через несколько дней, поскольку ему надо выяснить, есть ли у них для меня вакансии. У меня не сложилось впечатление, что он просто тянул время. Ему это было ни к чему. На том же кодовом языке он бы мог мне сразу сказать, что вакансий, к сожалению, нет. Не сказал. Видимо, все-таки был не прочь помочь и стал что-то выяснять по своим каналам...

С тем я и вышел из кабинета. На этот раз весь женский коллектив был в сборе и разглядывал меня с любопытством, но, как показало дальнейшее, без всякого участия. Но не стоит забегать вперед.

Мой разговор с начальником был краток, но это все-таки было общение. Теперь оно кончилось. И я опять оказался на улице, где меня опять, как вода утопающего, обступило привычное (хотя к этому привыкнуть нельзя) «белое безмолвие». Я вышел, но мне абсолютно некуда было идти. Разве только в библиотеку — но книги никогда не могли заменить мне живой жизни. «Но ведь можно было пойти и домой», — скажет внимательный читатель. Он ведь помнит, что к этому времени мной уже была снята комната... Чего бы мне там не укрыться в трудный момент? Да, жилье у меня к этому времени было, но было оно таким, что укрыть ни от чего не могло. И возвращаться «к себе домой» мне всегда было тяжело. Ибо это был не дом.

Нет, дом был вполне домом — новый, крепкий — видимо, вся округа была свежей застройки. И комната была вполне комнатой, уютной, светлой. Все в этой комнате пахло свежей стружкой и свежей краской. Но на всей площади крашеного пола, когда мне впервые показали эту комнату, я не увидел ни одного предмета мебели. Комната была абсолютно пуста — хоть в крокет играй.

— А где мебель? Кровать, например? — робко осведомился я.

— Это все, — невозмутимо ответила хозяйка. И добавила: — Могу табуретку поставить.

И в углу у окна на крашеном полу действительно встала табуретка. Почти как у Ван Гога. Но это — все.

Может быть, следовало подождать, поискать другое жилье, но, как помнит читатель, такой возможности у меня не было. Ждать следующей возможности надо было, ночуя на вокзале. Пришлось спать на полу, расстелив то же заветное ватное одеяло и накрывшись пальто.

Такое неустройство в доме застройщиков меня поражало. Строились ведь тогда люди положительные и хозяйственные. Они далеко не всегда соглашались пускать квартирантов. Но предлагать квартиранту пустую комнату сочли бы делом несолидным. В крайнем случае сбили бы из досок какой-нибудь топчан и стол со скамьей. А этим было море по колено.

Хозяев было двое — дядя Саша, работавший в гараже на бензоколонке — накачивал бензин вручную, и его жена, имя которой не могу вспомнить. Дядя Саша, несмотря на физическую работу, был мужичонка щуплый, выглядел слабосильным — во всяком случае, таким (речь не об интимностях) воспринимала его жена, баба видная и в теле. Ее светлые с рыжинкой волосы гармонично дополняли ее формы. Люди они были, скорее, хорошие, во всяком случае, расположенные к людям. И в элементарном смысле честные — желания меня обокрасть я в них не чувствовал. Но все равно я не рисковал оставлять дома деньги. Не доверял я не их честности, а их образу жизни, с которым столкнулся в первый же вечер. Впрочем, в первый вечер я еще не понял, с чем столкнулся. Да и что я мог заподозрить — хозяева искренне и радушно (я и теперь не ставлю этого под сомнение) пригласили меня к столу. Странного в этом не было ничего — естественный способ знакомства и сближения с новым человеком. Так я к этому и отнесся. И тоже выставил на стол все, что у меня было. Явился живший неподалеку их приятель (назовем его Сергеем) — тоже не с пустыми руками. И не скажу, чтоб закипел пир горой, но посидели приятно. На следующий вечер водку счел своим долгом выставить я. Опять посидели в том же составе. Сергей, видимо, сбегал сюда от жены, не одобрявшей этот образ жизни. На следующий вечер водку опять выставил кто-то из них. Я уже начал от этого уставать. А когда я встал утром, хозяйка предложила мне выставить водку сегодня вечером. Я отказался. Объяснил, что вишу между небом и

землей, что денег не зарабатываю и поэтому тратить вынужден их скупно. Все это она прекрасно знала, и все трое мне в этом сочувствовали, но вечер без водки пугал пустотой, и она стала браниться. Но отношения не испортились. Ибо довольно скоро, таким же утром, она с полным доверием завела со мной вполне рискованный разговор:

— Наум, ты человек грамотный. Скажи, если дом мы построили на деньги его родителей, присудят, нет ли его мне, если я его брошу?

Читатель уже понял, что «он» — это дядя Саша. Оказывается, вот какие коварные (к счастью, несбыточные) планы созревали в ее полурыжей голове. Возможно, и у этого, как и у их пьянства, были причины, возможно, ее замужество ее не устраивало, возможно, кровь играла и находила выход в таких планах и водке — ведь движущей силой этих выпивок была она. Но все-таки бытовая простота подобной подлости и коварства меня поражала. «...Ужасней простоты/ Нет ничего на белом свете», — писал когда-то о такой простоте покойный Евгений Винокуров.

Конечно, я не ответил на ее вопрос. Не только потому, что мне не хотелось, просто я не был компетентен в таких делах. Думаю, что в сталинском СССР (да и в сегодняшней России) ее афера бы не прошла — право на подлость и коварство было почти полностью узурпировано государством. Граждане могли их совершать тоже в интересах государства. В своих собственных — далеко не всегда. Впрочем, в современной Америке оставила бы такая бабенка своего дядю Сашу без дома и даже без штанов совершенно запросто. Суд из идеологических соображений (освобождение женщины!) поддержал бы ее иск. Господи, что происходит с демократией!

Но тогда я еще не знал, как будет развиваться демократия, и не думал об этом. Думал о том, куда я попал. Кстати, этот разговор внес ясность еще в одну тайну этого дома, объяснил удивившее меня несоответствие социального статуса застройщика и пустоты в доме. Оказывается, реальными застройщиками были не дядя Саша с женой, а «его» родители, пытавшиеся таким способом поставить на ноги заблудших детей. Возможно, и мебель в моей комнате раньше была — только пропили.

Этот разговор мне и теперь вспоминать противно. И мало кого удивит, что тогда, в 1951 году, в Тюмени он был в

числе обстоятельств, которые, мягко говоря, не способствовали желанию возвращаться домой. И что возможность туда вернуться не нарушало абсолютности «белого безмолвия», в которое я выходил, покидая отдел культуры — единственное место, посещаемое мной «по делу».

Посещал я отдел культуры еще несколько раз. Выяснение вопроса о «наличии» для меня места все не завершалось. В один из последних приходов, подходя к двери, я услышал громкие женские голоса. Один что-то доказывал, остальные играли роль поддерживающего хора.

— Да что вы говорите! Вы только посмотрите, как он смотрит — мрачно, исподлобья... Ему все здесь не нравится! Куда его?

Я с удивлением почувствовал, что это говорят обо мне, хотя так обо мне никто никогда и нигде не говорил — ни до этого, ни после, — так меня никто не воспринимал. Но тут, конечно, речь шла не о моем характере, не о внешности, а о плохо скрываемой враждебности. Совбабы упоенно проявляли бдительную пронизательность, жили духовной жизнью. На них нашло. О том, насколько враждебно в действительности я относился к тогдашнему порядку вещей и к их идолу, насколько то, что я думаю, отличается от того, что в них вдолблено, они и представить себе такого просто не могли. И не это, конечно, имели в виду. Взгляд исподлобья означал в их разгоряченно-бдительном представлении ненависть ко всем советским людям. Но этого не было. Я даже их самих после этого, случайно подслушанного, не возненавидел. Но мне до сих пор больно, что так недобро, так бесчувственно была истолкована ЖЕНЩИНАМИ тяжесть бездомности и неприкаянности, печать «белого безмолвия», которую они видели на моем лице. Все это пробежало в моем мозгу, да что в мозгу, во всем моем существе в единый миг. Я был потрясен.

Когда я вошел, я увидел всю мизансцену — они явно атаковали моего благодетеля в полувоенном, а тот смущенно от них защищался. Позиция его ослаблялась тем, что он был евреем, и кое-кто мог истолковать его попытку мне помочь как взаимовыручку евреев. Я уверен, что это было не так, просто он был несколько интеллигентней своих коллег. И понимал мое положение. К тому же он со мной разговаривал, а они — нет. Кстати, их начальник, человек вполне русский, как я уже отмечал, был по-человечески

совсем не прочь мне помочь — потому и тянул. Да мне и не показалось, что и сами эти бдительные бабы имели в виду его «нацпроисхождение» — просто поддались азарту бдительности и топтания упавшего. Но сам он должен был — особенно после «космополитизма» — учитывать это обстоятельство. Оно затрудняло его положение в таком споре.

При моем появлении бдительность осеклась. Топтать незнакомого, ничего дурного им не сделавшего человека легче, когда его не видишь, не смотришь ему в глаза. Бабы смущенно замолчали и разошлись по местам. В глазах у них было больше растерянности, чем враждебности. Но эта сцена, этот невольнo подслушанный женский разговор был кульминацией моего пребывания в Тюмени, моего «белого безмолвия». Еще раз подчеркиваю, что это «безмолвие» — вина не города Тюмени, даже тогдашнего, а только стечения обстоятельств, в которых ни этот город, ни его люди не виноваты. У меня просто не было возможности войти в его жизнь.

Но вернемся к сюжету. В завершение этой сцены мой благодетель смущенно сказал мне, что пока, к сожалению, все еще ничего не известно, но чтоб я зашел на днях, даже, кажется, завтра, тогда все выяснится. А когда настал этот следующий раз, он объявил мне, что ничего не выгорело. Впрочем, после описанной сцены это было вполне естественно. Да и как могло выгореть? Начальник был умнее этих баб, но правила глупость. Какой начальник в те годы мог бы пойти против бдительности своего коллектива? Прости, Господи, этих ошалевших баб, ибо не ведали, что творили и что в них вдолбили. Кстати, я вовсе не думаю, что все они были дурами. Не дурами — одураченными и натравленными. Да только ли они в те годы...

Теперь «белое безмолвие» потеряло последние просветы. Ведь я почему-то считал себя приговоренным к Тюмени. Но нет худа без добра — от отчаяния гипноз прошел, и я вдруг понял, что могу и переменить местожительство. Многие города для меня были закрыты, но какое-то право передвижения мне вернули. И я решил им воспользоваться.

Решение созрело мгновенно. Возможно, с чьей-то телефонной или почтовой подсказки я решил съездить в Москву и Киев, повидаться с друзьями и поселиться где-то поблизости. В тот же день я пришел в милицию выписываться — в анкете написал, что еду в Белую Церковь (чтоб через Москву и Киев).

— Я так и знал, что вы здесь не задержитесь, — сказал начальник паспортного стола, намекая на какую-то мою хитрость. Дескать, Тюмень мне понадобилась только для получения паспорта... Как будто я еще в Чумаках не мог получить прямое направление в Белую Церковь. А удивительнее всего, что он знал, а я нет. Я ведь всерьез собирался здесь осесть.

Тем же вечером я выехал из Тюмени. Навсегда (краткий мой приезд с делегацией писателей в начале семидесятых не в счет). «Белое безмолвие» кончилось. И больше не повторялось. Нигде. Даже в эмиграции. И даже почти не вспоминалось — а что было вспоминать? Но сейчас пропустить этот вроде бы незначительный эпизод моей жизни я почему-то не считал возможным. Кое-что я все-таки вывез и оттуда.

Ехал я сначала в Свердловск, чтоб потом, дня через два (Тамарченок в это время не было, были только дети, остававшиеся с их приятельницей), выехать в Москву и Киев. Билет же в Свердловске (еще до выезда из Тюмени) я решил взять тоже до Белой Церкви. Чтоб не было противоречия — в этом случае и Москву, и Киев я посещал как бы просто по дороге. До самой же Белой Церкви можно было и не доехать (там несколько часов я побывал только в 1965 году). Так я и поступил. То есть вел я себя как опытный конспиратор. «Конспиранси» по-английски означает «заговор». Но у нас в стране конспирировали в те годы отнюдь не заговорщики, которых у нас тогда, к сожалению, вообще не было, а обыкновенные граждане. Заговорщики же, если даже, как думает А.Авторханов, все же появились, то произошло это несколько позже, и только в верхах. К моей конспирации, имевшей целью повидать друзей и как-то прижиться, они отношения не имели.

В Москву с «мамками»

Дня через два или три на свердловском вокзале мой план был воплощен в жизнь. Правда, были затруднения, никак не связанные с ним или моим положением. Впрочем, положение даже помогло. Но потом. А когда я, провожаемый приятельницей Тамарченок, приехал на вокзал, мы узнали, что, как часто тогда бывало, на московские поезда (а их через Свердловск проходила тьма) билетов нет и неизвестно когда они будут. Отъезд явно задерживался. Но вдруг

у одной из касс мы увидели очередь,двигающуюся весьма быстро — шла оживленная продажа билетов. На какой поезд? Оказалось, на московский. Но билеты продавались на основании справки об освобождении. Я, хоть и освободился уже почти месяц назад и в моей справке значилось, что отправляюсь я в Тюмень, все же решил попытать счастья. Билет мне продали без звука. А уж куда продавать билет — в Белую Церковь, Фастов или Кривой Рог, — кассе было все равно. И я уехал из Свердловска на запад. В сущности, продолжил путь возвращения, начатый в Чумакове и Барабинске. Кстати, продолжал я свой путь на том же поезде, на котором начал — он так же и под тем же номером следовал из Владивостока в Москву. Потом оказалось, что и состав, и поездная бригада были теми же.

Выяснилось это случайно. На какой-то станции я столкнулся с проводником вагона, в котором ехал в Свердловск, и он меня «опознал» — весьма, кстати, враждебно.

— Не признаешь? А я — признаю. Я тебя рейса два назад из Барабинска в Свердловск возил. И опять ты тут как тут. Ездишь! Какие такие у тебя дела? Смотри, доездишься!

Говорил он еще резче и обвинительней — точно я его слов не помню, а может, главное было не в словах, а в интонации. Во всяком случае, в его словах я ясно ощутил уверенность в том, что дела, из-за которых я ношусь по свету, темные. Вот только недосуг мною заняться.

Конечно, это была чушь. Но чушью это могло выглядеть только в нормальном сознании. И в нормальном обществе. То, что несли тюменские культуртрегерши, тоже было чушью, однако эта чушь возобладала — ей подчинился их более умный начальник, и мне пришлось уехать. Короче, эта встреча меня встревожила. Конечно, подозрения и предположения этого проводника были фантастичны и сами по себе даже по тогдашнему времени мне ничем не грозили. Но если бы он «дал делу ход», я попал бы в поле зрения «органов», а для меня это было опасно. Тогда продолжалось вылавливание «повторников», и меня вполне бы могли «приплюсовать» к ним для повышения производительности труда. Железным правилом безопасности освобожденного зэка в отношении с органами было, по мнению бывалых людей, не напоминать о себе. А этот «проницательный» проводник мог обо мне напомнить.

И дело ведь было не в том, что он был такой уж активист, требующий от всех активного участия в «самоотверженном патриотическом труде советского народа». Ему вряд ли он и нравился. Скорее наоборот. Но ему было обидно, если кто-то уворачивался. Полагал, что это из-за таких шустрых все так плохо — выжужливают и разворовывают. А поскольку обо мне он ничего не знал, но дважды встретил разъезжающим, то и меня отнес к этой воображаемой категории. А что? Какой-то мрачный субъект, к тому же еврей, тихий и вежливый. И все ездит. Зря ездить не будет! Знаем мы вас, таких тихих и вежливых.

Эта потребность и способность находить корень всех бед обязательно в ближних, доступных, желательно беззащитных (опять вспомним тюменских деятельниц культуры), потребность, побочным образом воспитанная, точнее, усиленная опытом жизни в советской действительности, — наша беда. Эта психология опасна, она жаждет сведения счетов (чаще мнимых), но не способствует решению жизненно важных вопросов и спасению страны. В последние годы на нее сильно поработали Гайдар и К°. Всякого рода Березовские и Смоленские.

Впрочем, эта неприятная встреча не имела для меня никаких последствий. Видимо, проницательный проводник удовлетворился собственным хамством. Или его донос не был принят во внимание. На что, собственно, он мог донести? Что недели три назад некий гражданин приехал из Барабинска в Свердловск, а теперь едет из Свердловска еще куда-то? Это и для поездного опера — не материал. Ведь о том, что я отношусь к категории «освободившихся», он не знал. Не знал он даже, в каком вагоне я еду.

А я ехал в вагоне, где, кроме освободившихся, почти никого и не было. «Почти» — потому что как-то расстарались попасть в него два гэбэшника или, скорее, работника лагерной администрации с семьями. Вероятно, спешили в отпуск из какого-нибудь «Нейрыплага», добрались до Свердловска, а там выяснилось, что в обозримый период мест на поезда нет и не предвидится — сиди «загорай», а отпуск пусть тает. И когда они узнали, что к самому ближайшему, можно сказать, вот-вот отходящему поезду специально прицепляют целый вагон для освободившихся зэков, они вспомнили о своей ведомственной причастности к этому сосло-

вию и как-то сумели ее реализовать. И хоть так, но уехать. Советские дефициты подчас ударяли и по своей опоре.

Интересно другое — что сталинское государство, спокойно объявлявшее *urbi et orbi*, что для незапятнанных советских граждан «местов нет и не будет», проявляло такую трогательную заботу об отсидевших зэках. Самые отверженные на миг становились самыми привилегированными. Конечно, трогательность эта объяснялась предусмотрительностью — чтоб не «скопились» на больших вокзалах. Ибо народ опасный — кто в криминальном отношении, кто — доведенностью до отчаяния. Пусть лучше мирно разъезжаются.

Так или иначе, я опять оказался среди зэков. Правда, в основном среди неполитических. Как ни странно, я и уголовников среди них не припомню. Видимо, те не очень стремились следовать по объявленному им маршруту, а возвращались к прерванной тюрьмой деятельности сразу же, как только представлялась возможность. Основу населения этого «зэковского» вагона, как всех тюрем, вагонзакв и пересялок, где мне пришлось побывать, составляли люди, которые бы ни в одной стране никогда ни с какой пенитенциарной системой не столкнулись. И не то чтоб они все сидели совсем ни за что или по выдуманному поводу, как политические. Нет, этого не было. Но все же сидели они или за то, за что нигде не сажают (например, за те же колоски), или за прегрешения, которых нигде быть не могло, которые вытекали из существа патологической системы отношений — таковы все торговые преступления, возможные только при советской системе торговли, являвшейся блудной дочерью советской системы распределения.

Или такие наивные девушки, как чумаковские кассирши из райпромхоза, которые выдавали своим начальникам-пьяницам деньги без расписки по любому их требованию, а потом оказывалось, что у них крупные «недостаки», что они растратчицы (значит, брали деньги себе), а начальник ни при чем: никаких доказательств, что деньги изымались по его распоряжению — нет. Хотя вся деревня это знает и видела, как он их пропивал. Но это к делу не пришьешь. И поэтому всё — тюрьма, суд, срок и лагерь — валялось на головы таких девушек. А как после такого жили эти начальники, мы видели на примере чумаковского Королькова — нанимали других таких же и продолжали пить. Выдвиженчество и безбожие делали свою работу.

Конечно, в лагере от своей первозданной деревенской наивности такие девицы навсегда избавлялись... К сожалению, чаще всего вместе с естественным доверием к людям и жизни вообще.

Но эти размышления основаны на более долгом опыте, не только и даже не столько на впечатлениях, вынесенных из этого «зэковского» вагона, но и на них тоже. Тем более что в купе общего вагона, где мне удалось пристроиться, они составляли большинство. Правда, были они на другом витке своей судьбы, на них уже был лагерный «лоск», в них чувствовался лагерный опыт, более того, опыт женщины в лагере. Начать с того, что в большинстве они не отсидели своих сроков, а были по указу освобождены как «мамки». Тогда время от времени издавались такие — непубликуемые — указы, освобождавшие женщин, ставших в лагерях матерями. Конечно, если они были осуждены не по страшной 58-й и отчасти (только отчасти!) приравненной к ней статье 593 (вооруженный бандитизм), а по какой-нибудь «бытовой» мирной статье — растрата и тому подобное. Но речь не о системе наказаний, а об этих девушках, ставших в лагерях «мамками».

Как воспринимали себя и свою судьбу эти молодые женщины? Ведь самое интимное, самое поворотное в их судьбе было скомкано и подменено случайной, а то и вынужденной связью. Оно, конечно, и на воле тогда из-за недостатка мужчин с этим было немногим лучше. Но все же оставалась какая-то свобода выбора своего поведения. В лагере мужчины были в избытке, и некоторым, наверное, удавалось устроить свою судьбу. Но в принципе у большинства с таким выбором было хуже, чем на воле... Слишком велика бывала зависимость одних от других. Как могли чему-либо противостать такие девушки, для которых все происшедшее с ними — и преступление, и наказание — было непостижимо, несоразмерно и не связано с их сознанием и волей? Не способствовало это появлению и укреплению представления о суверенности и значимости своей личности и личной жизни. Нет, они вовсе не были разбиты или подавлены, наоборот, оживленны и веселы — ведь они ехали домой. Допускаю, что некоторые и рожали с этой целью. Таковы были, по их «повзрослевшим» представлениям, параметры жизни, с которой они освоились, которые приняли за норму, с которыми — в какой-то степени сравнялись. В этих

«параметрах» они выживали и теперь тоже ехали дальше в них жить — только все-таки в более легких условиях. Я не утверждаю, что это новое представление о жизни полностью их поглотило, тем более всех, но думаю, что кое-что из этого унесли в себе многие из них.

Лагеря понижали общее представление народа о самом себе, о возможном и должном. И это понижение (ломать — не строить, энтропия не требует усилий) обрело определенную устойчивость, уцелело в душах до наших дней и не способствует нашему спасению.

Но и это — взгляд на их судьбу и ее значение из сегодняшнего дня, взгляд обогащенный (и удрученный) всем, что я узнал, пережил и понял за прошедшие с тех пор полвека, а не тогдашнее восприятие. Да я и сегодня не утверждаю, что они — тем более все — были или выглядели тогда аморальными оторвами. Нет, но они, независимо от своих персональных качеств, были невольными носителями и распространителями такого «знания» о жизни, такой способности примирения с недопустимым. Но это больше о нашей истории, чем о них. А сами по себе они тогда вовсе не производили дурного впечатления.

Просто рядом со мной и вокруг меня, так же как и я — в тесноте, да не в обиде, — пристроились и ехали «на запад» эти, конечно, уже бывалые, уже крепко ударенные жизнью, кое-что о ней узнавшие и как-то в ней сориентировавшиеся, но несколько не унывающие молодые женщины. Младенцев, из-за которых их освободили, при них не было. Во всяком случае, у большинства из них — не припомню, чтоб в купе пеленали младенцев. Их уже относительно давно, то есть при первой возможности, увезли домой родители этих матерей-одиночек, как изящно именovalo их сталинское законодательство. Предстоящая встреча со своими детьми — они об этом говорили — явно поднимала их настроение. Несмотря на звериную вольность нравов, которая была им принудительно привита в лагере, они были весьма далеки от *woman liberation**.

Но больше говорили о лагере — тема для всех вокруг понятная и близкая. Рассказывали лагерные байки, выясняли, кто из них за что сидел. А также за что сидели те, кого они знали. Выяснялось, что все — ни за что. В выраже-

* Женское освобождение. Практически, во всяком случае в США — как я уже отмечал — освобождение женщин от женственности.

ниях не стеснялись. Заявить на полвагона: «Да чего говорить? Все вообще сидят ни за что!» — было для любой из них раз плюнуть.

Кстати, справедливо ли это утверждение? Буквально нет. Сидели ведь и убийцы, и грабители — тех, кого не жалует ни одна полиция мира. И все же я думаю, что в их устах оно было справедливо. Во всяком случае, правдиво. И потому, что преступлением считалось то, что никогда и нигде не считалось преступлением, и ввиду вопиющей несоразмерности в большинстве случаев масштаба содеянного и грандиозности расплаты. Наказание в таких случаях воспринимается не как справедливое возмездие, а как просто несчастье.

Но эти девушки-матери говорили настолько откровенно, что однажды я увидел, как после одной из таких фраз один гэбист (или лагерный администратор) с самоуважением профессионала подмигнул второму и выкрикнул (из-за чего я и осознал их присутствие в этом вагоне):

— Ты слышишь, что говорят?! Клеветнические опровержения!

Но второго, видимо, причастность к профессии сейчас не волновала. Он был в отпуске и этого интеллектуального разговора не поддержал. По-моему, те, кто вызвал это высокоумное замечание, его просто не заметили, как и вообще присутствия столь важных персон в эковском вагоне. Так и сошли в Москве, не зная этого.

Между тем за такие высказывания еще недавно хватали вполне автоматически — в любом социальном слое. И я не думаю, чтоб к тому времени вышло указание, чтобы в отношении малых сих смотреть на них сквозь пальцы. Но, видимо, сама гильотина потеряла прежнюю прыть и в этом безнадежном направлении работала спрехвалá (как мы видели на примере Чумакова). Кто-нибудь приткий мог бы при случае и кому-нибудь из этих девчат вклеить 58/10, но особого уважения у коллег это бы не вызвало. От обескровленной им деревни Сталин подвоха не ждал, а работники органов к этой категории граждан, из которых многие из них вышли (и которых так блистательно «переросли»), привыкли относиться с презрительной снисходительностью как к темным и непонимающим. В их глазах это было лишнее рвение — «проявить себя» можно было и без этого, «работы» хватало. Чего стоило «обслужить» репрессиями и «правильно оформить» дела лиц всех возрастных в количе-

стве категорий, по которым вождь считал необходимым срочно нанести превентивный удар. И ведь каждого надо сломить, заставить. Короче, работы и так выше головы — зачем еще сюда совать темных и непонимающих «колхозников». Впрочем, насколько я знаю, без таких «колхозников», проходивших по статье 58/10 (а не только, допустим, «за колоски»), дело и тогда не обходилось.

Были у меня спутники и другого рода. Наиболее примечательный — один латыш. Крепкий, молчаливый, он часами сидел за столиком, расположенным в проходе под боковой полкой, молчал и даже в окно не смотрел. Я подсел к нему и завел разговор. Он отозвался. Оказалось, что он фермер, почему и был арестован, когда органы «осваивали» Латвию. А брат его был из тех латышских стрелков, которые ушли в Россию и стали там основой пролетарской диктатуры. В результате брат давно расстрелян, а он все-таки пока что жив, вот из лагеря вышел. Усмехнулись оба... Денег у него почти совсем не было. Я немного угощал его в дороге и дал ему на дальнейший путь три рубля. Конечно, это покрывало его элементарные потребности в дороге, но мне до сих пор больно и стыдно, что дал я так мало. Дело не в скупости, а в том, что я не знал, не был уверен, чем меня встретит Москва, кто примет меня, а кто побоится (а вдруг все побоятся?), и мне было страшно тратить деньги.

Так же скупко подкармливал я и еще одного приглянувшегося мне человека — молодого парня, привлечшего меня спокойствием и разумностью. За что он сидел, не помню (но вроде не за политику). Был он то откуда-то из Львовской или Ивано-Франковской области — кажется, с Карпат, в общем из Галиции. Был украинцем, но даже со мной говорил по-русски. И должен сказать, что его русский был не только грамотен, но безупречен. Без малейшего акцента. Что редко встречается среди жителей этих мест. Но симпатичен он был мне не поэтому, а вообще. Вызывал полное доверие и доверия не обманул. Постепенно к исходу одной из ночей поезд стал подходить к Москве. Стали мелькать знакомые станции. В Мытищах поезд несколько задержали, и я даже постоял на перроне. В полпятого утра он стал подходить к Ярославскому вокзалу. Я решил сначала отвезти вещи на Киевский вокзал, и если выяснится, что никто в Москве меня видеть не хочет, тем же вечером уехать в Киев. С этим чувством я и въехал в Москву... Мои друзья ничем

не заслужили таких сомнений в себе, да и Тamarченки были этому ярким доказательством, в общем, я это знал, но напряженность ожидания оставалась — сказывалось зэкoвское чувство прокаженности.

Приезд в Москву был отмечен небольшим приключением. Поскольку ждать открытия метро было еще долго, я договорился с некоторыми из «мамок» (среди них были и украинки) и еще с кем-то, что вместе возьмем такси на Киевский. Своему галицийскому приятелю я сказал, что его долю этого расхода беру на себя. И если Москва меня примет, что-нибудь ему еще добавлю. В такси сразу набилась уйма зэков (человек 7—8) со своими сидорами, деревянными чемоданчиками и прочим скарбом. Поехали по предутренней Москве. Таксист, увидев такую толпу провинциалов, готовился, как скоро выяснилось, «сорвать крупный куш». Но он не знал, с кем связался. Признаться, и я тоже.

Когда мы прибыли на Киевский, на счетчике было 22 рубля, но таксист безапелляционно объявил:

— С каждого по десятке.

Но на моих «мамок» эта безапелляционность не произвела никакого впечатления.

— А в нас грошей нэма... Мы з лагэра, — невозмутимо ответствовали они, схватившись за свои «тлумки» и стремясь как можно скорее выбраться из машины.

— Да вы что! Мне ведь и счетчик надо оплатить.

Но на «мамок» это не действовало. Таксист растерялся. И счетчик с «на-чаем» оплатил я. Почему-то мне было неловко перед шофером.

— Но на меня вы не обижаетесь? Больше дать я не могу.

— Да нет, — расстроено ответил он. Счетчик он оправдал, на чай получил, но куш сорвался. Девки, как видите, показали, что кое-чему в лагере обучились.

Мы с приятелем вошли в хорошо знакомое мне здание. Народу, как всегда, было много. Мы сидели на скамье и ждали. В голове стучало: «Примут — не примут?» Неужели я проеду Москву, так в ней и не побывав? Зачем тогда жить, если я никому не нужен?» Звонить еще было рано. Особенно Ляле, которая жила в коммуналке. Почему я решил звонить именно Ляле? А не Жоре*, допустим? На этот вопрос трудно ответить. Может быть, потому, что она близка Та-

* Ляля — Ольга Игоревна Ильинская, Жора — Георгий Борисович Федоров. О них обоих смотри часть 3 этой книги.

марченкам, с которыми все уже было в порядке. Впрочем, кому-то из холостяков я все же позвонил раньше, но попал к другим людям и был справедливо обруган — видимо, изменился номер. Это нельзя было принять за отказ, но все откладывалось. Оставалось ждать — уехать ведь тоже было нельзя. Хоть уезжать мне не хотелось.

Наконец, кое-как стрелка доползла до девяти... Теперь уже вроде прилично звонить и в коммуналку. Бросаю гривенник, набираю номер. Долго не берут трубку. Наконец взяли.

— Простите, пожалуйста, — стараюсь говорить как можно обыденней, — можно Ольгу Игоревну?

Проходит полминуты, и я слышу Лялино «Алло!». И после моего отклика сразу:

— Эма! Наконец-то! Ты откуда? Приезжай скорее!

Я даже удивился. Меня ждут. Но ведь я и сам не знал, что поеду в Москву, мечтал где-то укрыться, спрятаться, а здесь понимали, что мне не миновать ее... Это сразу наполнило меня радостью. Раз меня ждут, значит все на месте и, несмотря на статью 38 положения о паспортах, я вернулся. Значит, опять вокруг меня моя Москва.

Попрошавшись с попутчиком, я оставил ему то, что намеревался оставить в этом случае (что — не помню, но совсем немного), спустился в метро и поехал к Ляле. Жизнь опять обрела свои очертания.

В Москве 1951-го. Снова у Ляли

Ехать было недолго. Всего только от «Киевской» до «Арбатской» — две остановки. Максимум минут через тридцать (все же и площадь надо было перейти, чуток пройти по Поварской и чуток по их переулку) я уже сидел в знакомой Лялиной комнатухе в Мерзляковском. Описывать, как тепло меня приняли, не буду — это ясно из телефонного разговора. Да и не очень я это умею. В принципе и Ляля, и Борис Сергеевич, и Лялина мама встретили меня, как обычно, что мне и надо было больше всего. Может быть, только чуть радостней, чем обычно. Все-таки давно не видались, да и вообще могли не увидаться. Но в общем все было, как прежде. Это значило, что в главном мы не переменялись — ни по отношению друг к другу, ни вообще. Да и накопилось за это время много друг другу несказанного и нерассказан-

ного — это тоже накладывало свой отпечаток на атмосферу встречи, на разговор. Естественно, много рассказывал я (все, что я мог рассказать, читателю этой книге уже известно), но многое стремились рассказать и они. Этим многим была пережитая ими в непосредственной близости антикосмополитская кампания. Как знает читатель, эта кампания меня потрясла, явилась поворотным пунктом в моей внутренней биографии, но проходила она все-таки вдалеке от меня. По Тамарченкам она ударила непосредственно, но на периферии, где она была «к месту» использована против них, основные же смрадные ее бури прошли не над их головами, разворачивались не на их глазах. И даже не рядом с ними.

Что же касается Ляли и Бориса Сергеевича, то хотя непосредственно ни один порыв этой бури никого из них не задел (их не травили на собраниях или в печати, не глумились над ними, не вынуждали неизвестно в чем каяться и не выгоняли с работы), но все ее перипетии, все уродства и падения разворачивались или на их глазах, или на глазах их друзей — в непосредственной близости от них. И переживалось ими тоже непосредственно. Смрадность эта была для них, как для многих в Москве и в других главных центрах, еще менее умогнительна, чем на периферии. Отчетливей было видно, кто и как на этом вылезает наверх. Они были оскорблены этой кампанией. Как и многие другие, кого она тоже непосредственно не задела — порядочных людей в России было много... Ведь в ней оскорбительно было все: воскрешение гитлеровского антисемитизма через три-четыре года после победы над ним, после многих лет тотальной антигитлеровской пропаганды — так же обязательной для усвоения, как теперь «антисионизм»; да и вообще ее кричащее несоответствие прокламируемой идеологии (к которой, повторяю, мы относились серьезно и из-за которой многие со многим мирились). Такое наглое обращение Сталина с тем, что он сам внушал, не могло быть не унижительным ни для кого, кто имел дело с такими материями. Даже для аппаратчиков. Просто это чувство подавлялось еще в подсознании.

Мое нахождение вдалеке дало мне определенные преимущества — мне легче давалось обобщенное понимание ее значения, ее места в исторической перспективе. Поэтому мои суждения о природе этой кампании и ее возбудителях были резче и определенной, чем их... Это было един-

ственное, в чем я был не согласен с ними (и с Тamarченками, и со многими другими), но это нас несколько не разделяло. Ибо возражения их не были слишком упорными, смрад этой кампании не располагал к этому, а то, что я тогда считал истиной — было только остановкой в пути по направлению к ней. И я, и они интеллектуально и духовно находились внутри «настоящего коммунизма». Только мне теперь ничего не стоило ассоциировать с ним Сталина, а они продолжали за него держаться. По-настоящему не за Сталина, а за коммунизм. Но почему умные, незаурядные, образованные, честные и безусловно достойные люди, по своему социальному происхождению чаще всего относящиеся к «враждебным классам», так прикипали к этому лжеучению, что даже держались за его фальсификацию?

У нас, можно сказать, и выбора не было, и если открывалось какое-либо его интеллектуальное (а не вульгарное) истолкование, то люди за него хватались. Но ведь и на Западе он многим светил. Возможностью исторического творчества, деятельности во благо. Смыслом жизни, дружеством, чувством локтя... Да так светил, что когда коммунизмом овладел чуждый им по духу Сталин, он автоматически овладел и их душами! В реальность Сталина трудно было поверить и посторонним — слишком невероятны по масштабу его преступления, но людям, отдавшим себя коммунизму и всем хитросплетениям его диалектики, поверить в возможность такой беспредельной измены своему делу было еще труднее. И они стали предавать все это — и смысл жизни, и дружество, и чувство локтя.

Психологическая коллизия это была свойственна и многим из нас, но «предавали» — это больше о Западе. У нас это было свойственно только некоторым старым большевикам-партийцам при воцарении Сталина. К моим друзьям, не только к Ляле и Борису, ко всем — сюжет с предательством не относился, они, во-первых, не состояли в партии, во-вторых, не предавали никого и ничего. Дружество и чувство локтя, сохранение самоуважения для них было превыше всего — нам казалось, что мы вместе храним верность настоящему коммунизму, растоптанному то ли Сталиным, то ли его приспешниками независимо от него (потому что у него руки не доходят) — в том и были расхождения. Но мои друзья прежде всего были людьми. Во-первых, не все уже держались за Сталина, а кто держался,

то без всякой страсти. В целом все, в том числе и я, держались теперь только за некую объективную прогрессивность строя. Мыслями мы в чем-то могли расходиться, но чувства и ощущение реальности были общими.

Тем более по отношению к космополитской кампании. Лялю не трогали, но над ее друзьями измывались — причем чаще всего те, кто им в подметки не годился. И нельзя было громко ответить ни на какую чушь, надо было перед ней унижаться. Впечатления были незабываемы. Особенно в Лялину память врезалась некая Демешкан, которая подвизалась в этой кампании на видных ролях. Фигура эта весьма примечательная, тоже одна из иллюстраций нашей трагедии... Она была то ли любовницей, то ли приятельницей жены, во всяком случае креатурой, тогдашнего секретаря ЦК Г.Александрова, «курировавшего» эту кампанию, и поэтому ничего не боялась и не стеснялась. Она не скрывала, что сводит счеты с евреями. Но какие и за что? За то, что во время Гражданской войны ее родители, бессарабские дворяне, были расстреляны ЧК. Я вполне допускаю, что среди принимавших решение об этом расстреле и приводивших его в исполнение чекистов все или большинство были евреи. К сожалению, это не исключено. (Только не убежден, что она могла это точно знать — ведь мала была.) Возможно, эти евреи в ЧК тоже сводили счеты — среди бессарабских дворян было много черносотенцев (Пуришкевич, например). Но даже если эти расстрельщики все или в большинстве были евреями, это никак не давало ей права измываться над достойными людьми, не сделавшими ей ничего дурного и не имевшими никакого отношения к этому расстрелу, — только потому, что они тоже евреи. Думаю, что это отвратительно и низко. Это было бы отвратительно даже, если бы она так действовала в условиях Белой реставрации — то есть открыто исходя из констатаций, которые и я теперь считаю правильными, а именно: что большевизм — организация насильников, красный террор — кровавое преступление, а ЧК — преступное учреждение. Тогда бы такое возражение зарвавшимся мстителям — а они всегда бывают — было бы уместно.

Но ведь эта Демешкан выступала не от имени Белого мщения, а от имени коммунистической партии, при покровительстве секретаря этой партии по пропаганде (офи-

циально коммунистической). И дело не в этой бешеной (и подлой — раз она использовала такую ситуацию) бабе, а в Сталине. В той обстановке протрации, которую он насаждал. Баба эта к концу кампании покончила жизнь самоубийством — вряд ли от укоров совести. Возможно, когда Сталин стал лавировать, она стала неудобной. Возможно, ей даже помогли уйти — Сталину в любом деле нужны были исполнители, а не энтузиасты. Возможно. Но все это домыслы — я не разу не встречал ни ее, ни кого-либо, кто ее знал. Я отнюдь не преуменьшаю значения ее беды, но, к сожалению, среди потерь, которые она понесла, была и порядочность.

Мне приходилось встречать тех, у кого в ЧК погибли родственники и близкие (Ляля первая), но порядочные люди не срывали зло на невинных. И вообще не занимались травлей невинных — особенно когда у тех были связаны руки. Не по-дворянски как-то выглядело. Конечно, большевики делали все, чтоб «раздворянить» дворян, но не в отношении всех это удалось. В отношении г-жи Демешкан их старания увенчались успехом. Другой вопрос — пошло ли им это на пользу? Нет, им ничего не пошло на пользу.

Говорили об этом много. Но не только об этом. Мелькнула и неприятно поразившая меня информация (кажется, исходившая от Лялиной подруги, Тамары Лурье — кстати, тоже замечательной женщины, необыкновенно умного и благородного человека) о том, что на одном из «этих» собраний выступила Юля Друнина и приняла участие в травле П.Г.Антокольского. Мне стало очень больно, трудно было поверить, что Юля могла так измениться. О ней еще будет речь, скажу только наперед, что нет, не изменилась. К Юле я еще вернусь.

Но пока мой рассказ не о Юле, а о Ляле и Борисе, об их доме, с которого началось мое возвращение в Москву и в котором я вовсе не перестал бывать и потом — в этот приезд, в остальные и вообще всегда... И в котором, как и до моего ареста, не перестали бывать всякого рода интересные люди. Атмосфера высокого и честного интеллектуализма никогда не покидала этот дом. В основном там бывали друзья. Старые и новые, то есть приобретенные за три года моего отсутствия... Существенную их часть составляли Лялины студенты — еще учащиеся и уже закончившие курс. В основном сценаристы, режиссеры и киноведы... Из старых

знакомых — сценарист Будимир Метальников. Однажды, придя к Ильинским (иногда их звали так — по Ляле, иногда Емельяновыми — по Борису), я обнаружил у них другого гостя — высокого, стройного и черноволосого парня с черными же усами. Парень встал с кушетки, где сидел рядом с тоже красивой, под стать ему женщиной, и по Лялиной просьбе представился:

— Гриша.

Это был будущий знаменитый кинорежиссер Григорий Чухрай. Потом Ляля познакомила меня с Гришиной женой Ирой, с той красивой женщиной, которая сидела рядом. Должен сказать, что хотя с тех пор прошло без малого полвека, красивы они оба до сих пор. И дружба моя с ними обоими, начавшаяся этой встречей, тоже продолжается до сих пор. В доме Ильинских—Емельяновых завязались многие дружбы. И это не случайно. Люди, которые собирались в их доме вообще, были близки друг другу. Прежде всего профессионально — в основном это были гуманитарии и люди искусства. Но и тут происходил отбор. Естественно, сам собой. Особенно это видно на примере студентов. Ляля вообще была популярна среди них... У всех ее бывших студентов, к какому бы поколению они ни относились, российских и бывших «демократов», с которыми мне приходилось встречаться, теплели глаза, когда я о ней спрашивал. Ничего удивительного: институт, где она преподавала, был элитарный, творческий, и хотя предметы, которые она читала, назывались «Иностранная литература» и «Теория стилей», она, читая их, попутно читала эстетику — вскрывала тонкие взаимосвязи искусства и бытия, искусства и истории, раскрывая жизненную, по существу религиозную (хотя считала себя атеисткой), суть искусства. К ней прибивались люди, наиболее к этому расположенные. Других больше волновали проблемы «чисто профессиональные», которых в кино действительно много и которые порой (не только в кино) эту суть заслоняют — в свободном мире чаще, чем тогда у нас. Людей, которые прибивались к Ляле — будь то наш общий старый друг, талантливая актриса Малого театра, кондовая интеллигентка Таня (Татьяна) Панкова (потом народная артистка СССР), или такие люди, как Гриша Чухрай, или аз многогрешный, происхождения гораздо более разночинного, — отличал интерес к сути искусства.

Гриша, в отличие от меня, был фронтовиком — да еще каким! Война его началась в июне сорок первого... Правда, первое свое ранение он получил еще по дороге на фронт, когда его часть попала под бомбежку. Но вскоре после госпиталя — осенью 1941-го, — узнав, что идет набор добровольцев в воздушно-десантные войска, он выразил желание стать десантником и в этом качестве воевал всю войну: неоднократно прыгал в тыл противника и возвращался, выводил оттуда людей. Войну он закончил старшим лейтенантом ВДВ. Несмотря на безупречность биографии, храбрость, ордена и верность идеологии, именно благодаря своей честности (в том числе и по отношению к идеологии) наткнулся на всякие неприятности, в том числе и на «органы», несколько раз был чуть ли не на грани ареста, но вступались «разведотделы». Обходилось.

Гриша был чудесный рассказчик. Многие фронтовые истории буквально оживали перед глазами, во всяком случае, переживались слушателями. И к нему и к его рассказам я, наверное, еще не раз буду возвращаться в этом повествовании... А сейчас вспомнил о его способности рассказчика в связи с одним эпизодом, высветляющим атмосферу этого дома, а отчасти и времени.

Однажды Чухрай рассказал о том, как ранней осенью сорок второго, возвращаясь с задания, он (и его друг Павел Кирмас) выводил из вражеского тыла к Сталинграду группу десантников и приставших к ним солдат разгромленных частей. Вокруг была сухая горячая степь, заходить в деревни было опасно, а у них не было еды. А воды — полторы-две фляжки на всех. Чухрай и распределял эту воду. Мерилась она наперстками — те, кто слабее, получали по два наперстка, те, кто крепче — в том числе и сам «дистрибьютор», — по одному раз или два в день. Благодаря таким, как Чухрай и Кирмас, — в людях просыпалось все лучшее, хотя все при этом оставались живыми грешными людьми. Рассказ изобиловал смешными эпизодами.

Рассказ этот произвел колоссальное впечатление на присутствующих. (Мне до сих пор обидно, что Чухрай не сделал из него фильма — фильм был бы как раз по нему.) Все слушали, раскрыв рот. Среди слушателей был и друг Ляли и Бориса Рудак — Евгений Александрович Рудаков, личность яркая и интересная. Он был человек колоссальных знаний и умений, обладал высокой квалификацией во мно-

гих областях. Но сейчас все его квалификации и умения пропадали втуне, ибо, как и я, отбыв свой срок (только в отличие от меня лагерный), находился в Москве нелегально. Правда, он уже принял решение прописаться в Боровске (город в Калужской области, больше чем в ста километрах от столицы, что и требовалось). Но дело не в этом. А в том, что к существующему строю он относился не просто критически, а начисто отрицал его достоинства. Лялю это огорчало — она ведь еще не только от коммунизма, но и от Сталина не освободилась. И она в связи с этим часто пикировалась с Е.А. Пропустить такой выгодный момент, как произведенное Гришей впечатление, она не могла. И в следующий раз, когда Рудак их навестил, задала ему невинный вопрос:

— Ну как вам Гриша, Евгений Александрович?

— Что сказать — очень хороший человек.

— Нет, не просто хороший человек, — назидательно сказала Ляля. — Разве вы не понимаете, что это продукт эпохи?

Е.А. на минуту задумался и даже согласился:

— Пожалуй, вы правы, но вся беда в том, что эпоха сначала создает этот продукт, а потом его поедает.

Атака была отбита, и Ляля сама это признала. Но суть не в атаке. Думаю, что в этих словах суть и трагедия того героического «советского поколения», о котором я уже здесь не раз говорил. В нем были вызваны самые высокие чувства и качества, которые были употреблены ни на что, а то и во зло. И которое горько поплатилось за это.

Хочется мне еще сказать несколько слов о ближайшей Лялиной подруге Тамаре — об упоминавшейся Тамаре Нове Лурье, с которой и у меня всегда были теплые, дружеские отношения. Она была дочерью еврейского писателя Ноя Лурье и вдовой известного критика-«теченца» Владимира Гриба. Но и сама по себе она была личностью незаурядной. Прежде всего опытным тонким литератором, редактором. И вообще очень ярким, образованным, умным и хорошим человеком. Но тогда она могла работать только как «негр» — выполняла работу по договорам своих друзей. Заключение договоров на свое собственное имя она не могла: фамилия Лурье не подходила. Но ее друзья, люди, как теперь выражаются, «этнически русские», выручали ее — доставали ей работу на свое имя. И даже стыдно отметить, что совершенно бескорыстно — без комиссионных. Само пред-

положение о такой возможности было бы для них (и для меня по отношению к ним) оскорбительно. За деньги «негры» писали пьесы за героя антикосмополитской кампании Сурова — ибо ему по должности следовало к доверенному ему «общему руководству литературой» время от времени добавлять и собственную литературную продукцию. И скучные «производственные» пьесы, основанные на пресловутом «конфликте хорошего с отличным», писали за него те, кого он шельмовал и кого вообще «не допускали». Это было время, о котором Николай Глазков (его я, естественно, тоже навестил), выражался так (объясняя почему он занялся переводами):

— Понимаешь, Эмка, надо переводить. То, что сейчас печатают, настолько плохо, что претендовать на авторство — идиотизм. А так пусть деньги частично будут и тебе, а слава — целиком ему.

Про себя я скажу, что тогда я его советом воспользоваться не мог (мне бы переводов не дали), а начал переводить я в другое время и с настоящего поэта — Кайсына Кулиева. Впрочем, и со мной случалось.

Тамара и теперь зазвала меня в гости, обдала теплом, ободрила. Похвалила стихи, особенно «Легкость» — о Пушкине.

Вот круг людей, в котором я оказался, придя к Ляле и Борису. Разумеется, эти впечатления не только того утра. Надо бы больше рассказать о первой послесъюзочной встрече. Но хронологически мне трудно отделить разговоры, которые были тогда, от более поздних. Сейчас я могу передать только атмосферу. Но возвращаться к Ляле я буду еще не раз — и в этот приезд, и в последующие. А пока придется перейти к другим впечатлениям и встречам. Прежде всего к дому Яхниных.

Сага о носителях анахронизма

В первое мое посещение после первых объятий Ляля вдруг вспомнила:

— Да, не забыть! Эма... Позвони своей тете, Розалии Ефимовне... Она очень просила... Она явно хорошая женщина и хочет принять в тебе участие.

Розалия Ефимовна Яхнина была двоюродной сестрой моей матери, я еще и до ареста знал о ее существовании в

Москве, но не торопился установить родственные отношения. Потом она смеялась:

— Ты, наверное, думал: «Зачем мне какие-то еще бердичевские родственники?..»

Признаться, нечто подобное я и думал. Потом, когда моя мама приезжала в Москву после моего ареста и когда проезжала через Москву ко мне в Чумаково, ее кузина приняла в ней большое участие. Отсюда она и знала Лялю. Конечно, участие теперь нужно было и мне. Прежде всего мне негде было ночевать. Конечно, на очень худой конец можно было переночевать и у Ляли, в их двенадцатиметровке — в тесноте, да не в обиде, — но теснота была уж слишком буквальной. Правда, я еще не думал о ночевке, думал о встречах, ведь вокруг была Москва. Уж где-нибудь как-нибудь переночую. И в принципе я был прав.

А позвонил я своей тете не поэтому, а потому, что я чувствовал себя обязанным, и потому, что Ляля сказала.

— Наконец позвонил? — сказала тетя. — Приходи скорее, а то у Ольги Игоревны и без тебя тесно.

Дала адрес и объяснила, как доехать и как дойти.

— Запомни все и ни у кого ничего не спрашивай, — присовокупила она — Не привлекай к себе внимания.

И я отправился в Замоскворечье, к тете Розе (так я ее начал называть почти сразу, называл при жизни и так буду ее называть здесь). Хоть Панской улицы, на которой жили Яхнины, я не знал, но их район — возле Даниловского универмага — я представлял прекрасно и дом их нашел быстро... И, как было велено, никого ни о чем не спрашивая, поднялся на пятый этаж (лифта в доме не было) и позвонил в дверь указанной квартиры. И мне открыли... И мы познакомились. Потом пришел с работы ее муж, Давид Михайлович. Знакомство с ними было одной из высочайших удач в моей жизни. Родственники оказались отнюдь не «бердичевские». Сейчас старики жили одни. Их сын Женя, фронтовик, офицер, выпускник Военно-химической академии, жил в Саратове, где преподавал в военном училище, а старшая дочь Вера еще до войны вышла замуж за знаменитого летчика-испытателя Николая Степановича Рыбко, многожды описанного в различных мемуарах, посвященных советской авиации, и жила отдельно. Кстати, столь близкий контакт его тещи со мной мог поставить под воп-

рос всю его дальнейшую работу. Они это понимали, но не могли изменить своим традициям. А традиции были.

Указание тети Розы насчет того, чтоб я отыскал ее квартиру самостоятельно, никого в доме (на лестничной клетке) ни о чем не спрашивая, не было в ее устах спонтанной предосторожностью — это было правилом конспирации, а она была опытным конспиратором. Этот опыт приобретен был ею и до революции, когда она состояла в эсерах (или только была связана с ними — я этого не уточнял), и после нее — когда она (до 1937 года) была членом коммунистической партии. И до революции, и после нее она помогала тем, кого преследовала полиция. Так что то, что она появилась в моей жизни в далеко не самый безоблачный ее момент, что мне немедленно был предоставлен кров и стол, было для нее естественным и традиционным. Кстати, кров и стол автоматически предоставлялся мне каждый раз, когда я приезжал в Москву — до самой смерти Сталина, когда по «ворошиловской амнистии» я был восстановлен во всех правах и предоставление мне ночлега в Москве перестало быть наказуемым деянием. Тогда она мне сказала:

— Вот что, Эма! Друзей у тебя много, все они тебя теперь примут — так что живи у них, а то я уже стара, и обслуживать мне тебя трудно.

Многих эти слова покорабят или хотя бы удивят. Между тем удивляться надо не этим ее словам, а совсем другому — тому, что они не были сказаны раньше. Ведь и за два года до этого разговора, когда я только появился в их доме, они с Давидом Михайловичем уже были почти так же немолоды, как теперь. И тете Розе взваливать на себя дополнительную тяжесть было почти так же нелегко. Тем не менее тогда она не только не говорила этих слов, а проявляла инициативу, никак из них не вытекающую — по своей воле взвалила на себя эту дополнительную тяжесть. Она могла бы просто не возникать в моей жизни в такой тяжелый и опасный момент. Кто бы ее осудил — ведь мы и знакомы не были. И пока это было опасно, безропотно несла на себе связанные с моим пребыванием тяготы. А опасность — словно бы ее действие на эту немолодую женщину вообще не распространялось — в расчет вообще не принималась. Конечно, у друзей мне и до этого момента случалось ночевать, и не раз, но базой мне, когда я приезжал в Москву, всегда служил дом Яхниных. При моем полулегальном по-

ложении это было удобно — у меня было надежное пристанище в Москве.

А теперь — тетя Роза была права — я мог свободно ночевать у всех своих друзей, даже у тех, кому раньше было трудно на это решиться, которых у меня и вправду было много, и не доставлять ей лишних хлопот — она свое дело сделала, свой долг передо мной (если мог быть у нее такой долг) исполнила.

Все это было самоочевидно, и разговор этот, естественно, не привел ни к какому, даже минимальному, даже к краткому охлаждению отношений. Посмеялись, и все. Естественно, я продолжал у них бывать, а в экстренных случаях и заезжать к ним. Правда, теперь уже ненадолго. Да и вообще жизнь пошла иная, и скоро — в конце 1954 года — я окончательно вернулся в Москву. Добрые, дружеские, близкие и теплые отношения продолжались у нас до самой их смерти.

Люди они и впрямь были замечательные. Я не знаю, что делала тетя Роза в эсеровской партии или при ней до революции, и даже толком не выяснил у нее (тогда это еще мне казалось естественным и понятным), почему она потом стала коммунисткой, но знаю другое — что и став коммунисткой, она продолжала помогать эсерам и неэсерам, когда они попадали в беду. Марусю Спиридонову, Женю Ратнер и многих других тогда знаменитых людей она иногда упоминала запросто... Но занималась она не только знаменитыми. Рассказывала она о том, как в каком-то городе, где она работала в каком-то учреждении, местная ЧК ни за что ни про что арестовала и быстро (прежде чем тетя Роза смогла вмешаться) расстреляла учителя или директора местной гимназии. Ее это возмутило. Ему помочь было нельзя, но оставалась семья... И тетя Роза взяла в оборот председателя ЧК, простого полуграмотного рабочего, плохо понимавшего, что он делает, и доказала ему, что тот расстрелял человека ни за что. Тот устыдился и в конце концов под ее давлением выдал семье справку, что ее глава героически погиб за революцию. А как бы она жила, если бы считалась семьей расстрелянного контрреволюционера?

В другое время она помогала попадавшим на ее пути раскулаченным — что потом аукнулось — помогло мне, о чем чуть позже...

Была она знакома и с большевистскими лидерами, например, наркомфином Гринько и секретарем КП(б) Укра-

ины С. Косиором. Впечатляющим было ее воспоминание о последней встрече с ним. Увидев его в каком-то учреждении, она спросила:

— Почему вы перестали ко мне заходить, Станислав Викторович?

— А разве вам будет приятно, если я к вам приду в сопровождении цербера, Роза Ефимовна? — ответил он вопросом на вопрос.

К «старой гвардии» я отношусь отрицательно. Даже если на фоне сталинских выдвиненцев она и выигрывает, то этот фон создала она сама. К Косиору же я отношусь хуже, чем к большинству ее представителей — он непосредственный организатор искусственного голода на Украине — «голодомора». Конечно, он был только исполнителем, только проводником линии ЦК, то есть лично Сталина. Даже не совсем безмолвным. Недавно я прочел, что он все-таки пытался этот «голодомор» предотвратить — ездил к Сталину и доказывал, что план хлебозаготовок сильно завышен и необходимо его сократить. Однако когда был «поставлен на место», одно из самых страшных преступлений века совершил. И даже взял его на себя*. И сошел он с этого места, отнюдь не по своему желанию, но и не за свои преступления, только в могилу. Извинений ему нет.

И все-таки я и теперь не испытываю удовольствия, когда думаю о том, что перед окончательным исчезновением ему еще пришлось походить с цербером. У этой преступной партии, взявшей на себя божественные функции творения мира (определение, услышанное мною от Н.А.Струве), все-таки была и своя трагедия. И ее не стоит игнорировать. И потому что она имеет отношение к духовному опыту человечества (в отличие от сталинщины, которая, может быть, и бич Божий, но духовным опытом не является). И еще потому, что она наложила на трагедию страны. Сталинских клеветов последних призывов присутствие церберов вовсе не оскорбляло, они к этому относились как к чему-то само собой разумеющемуся, даже почетному — значит ценят. А ведь это было не слежкой, не подслушиванием, даже не открытым наблюдением, а наглым неотступным следованием (под видом охраны) за человеком. И применялось

* Сталин вообще любил, чтоб брали на себя. Например, все его антисемитские, в том числе и кровавые преступления (дело ЕАК), кампании связаны с именем Маленкова, который вовсе не был антисемитом.

это не по отношению к реальным или мнимым недругам, а к лицам, в официозной печати именовавшимся вождями (потом «руководителями партии и правительства»). Правда, и они, когда предвкушали наступающую немилость, начинали этих церберов опасаться. Но уж никак не оскорбляться. Право оскорблять было уже в их глазах естественной прерогативой Вождя и любого другого начальства. Так что это их иногда пугало, но отнюдь не оскорбляло. Косиора еще — оскорбляло. Говорить, что избавление от таких рудиментов не налагало ничего на историю страны и ее облик, все-таки нелепо.

Кстати, тетя Роза тоже была «партийкой», пока ее в 1937 году не исключили — кажется, за связь с «врагами народа». Видимо, исключили ее слишком поздно — начался откат, Ежова сменил Берия, и ее не посадили. Потом ей даже предлагали восстановиться в «рядах», но она этого делать не стала. Возможно, потом это спасло ей жизнь — о ней забыли. Но как показывает случай со мной, она отнюдь не перестала быть самой собой.

Между тем муж ее, Давид Михайлович, продолжал пребывать в партии. Правда, к партократии он не относился — работал рентгенологом в районной поликлинике на Щипке. До этого он был главврачом этой поликлиники. Думаю, что ушел он с этой должности по возрасту, а не из-за «жидоморства». Был он настоящим русским интеллигентом. Это о нем я вскользь рассказал, что, когда его хоронили, пожилые нянечки и санитарки плакали:

— Какой хороший человек был! Когда в войну главврачом работал, себе в последнюю очередь брал... Теперь таких нет.

Представить, будто он не понимал, что мое пребывание в их доме грозит неприятностями, невозможно. Понимал. И что тут его членство в КПСС явилось бы отягчающим обстоятельством — понимал тоже. Но он ни разу не проявил при мне никакого беспокойства по этому поводу. Причем, если самоотверженность тети Розы как-то еще можно было объяснить родственными чувствами (весьма, впрочем, искусственно — напоминаю, мы и знакомы до этого не были, а мою мать до моего ареста она видела раз или два за всю жизнь), то Давид Михайлович был мне только свойственником, к тому же весьма отдаленным. Конечно, почти сразу мы стали близкими людьми, но ведь до этого надо было

захотеть меня приютить. Конечно, потом я беспрепятственно ночевал у многих своих друзей, но ведь они были друзьями (дружбу Сталин, несмотря на все старания, разрушить не смог), а тут мне пришли на помощь — да еще как! — практически совсем незнакомые люди — из чистого благородства. Безусловно, это было традиционное поведение русского интеллигента. Но ведь из многих Сталин эту традицию выбил. Из них — нет.

Кстати, при этом Давид Михайлович, в отличие от своей жены (все-таки бывшая эсерка), существующий строй вовсе не отрицал. Он часто мне говорил:

— Эма, не впадайте в бальзаковскую ошибку.

Сегодня это выражение мало кому понятно. Не говоря уже о том, что мало кто теперь читает этого гениального французского писателя. Связано это выражение с каким-то высказыванием Маркса, сводящимся к тому, что Бальзак из ненависти к буржуазному строю стал легитимистом, но как художник он объективно изображал современное ему общество и классовые отношения. «Бальзаковская ошибка» — это отрицание более прогрессивного общества из-за его язвы, которых раньше — во всяком случае, в таком количестве — не было. Я был согласен с Марксом насчет Бальзака, но не согласен был, что она применима к современному нам строю. Сталинщина явно не была в моих глазах прогрессивной и, как я потом понял, не была строем — и стабильность, и монументальность ее были локальны, не имели в себе ничего самодвижущего или самовыживающего. Держалась она на тотальном насилии и тотальном обмане, а также на бессовестной трате природных богатств, позволявших как-то до времени откладывать решение нарастающих проблем. О роли насилия и обмана я знал (что она громадна), но в целом это мысли иного времени — прозрачность наших индустриальных достижений тогда не было ясна и мне.

Впрочем, о «язвах», о том, что такое сталинщина и Сталин, обо всех его проделках на пути к воцарению Давид Михайлович знал больше меня. И говорил об этом прямо. К ситуации относился с отвращением, предоставлял мне пристанище... Только что боялся «бальзаковской ошибки».

Честность его была невероятна. Его сын, ныне доктор химических наук Евгений, когда в 1955 году увольнялся из армии, проходил медкомиссию. Какая-то заминка вышла с

рентгенологом. Дело затягивалось. Кто-то спросил его, нет ли у него в Москве знакомого рентгенолога, и, услышав, что им является родной отец, обрадовался:

— Вот хорошо. Только вы ему скажите, чтоб он написал это вот в такой форме (невинно сгущавшей краски), и вы получите преимущество после увольнения.

— Ты ж понимаешь, как бы отец воспринял такое предложение, — говорил мне потом Женя. — Конечно, я ему ничего такого не сказал... Просто он сделал рентген и описал то, что увидел. И я уволился нормально.

Конечно, и сам Женя не был склонен к таким махинациям, тем более дающим какие-то материальные выгоды. Но уж для Давида Михайловича и сам разговор об этом был невыносим. Он был бы потрясен, услышав такое предложение от родного сына.

Однажды кто-то попытался всучить ему взятку — не для каких-то льгот, а чтоб лучше лечил. Существовало уже такое поверие в народе. Давид Михайлович об этом поверии не знал или его не понимал. И был до глубины души оскорблен. Но при этом оставался в пределах вежливости. Он только запер дверь и сказал:

— Деньги свои вы, пожалуйста, заберите. Заберите, прошу вас.

Растерянный пациент счел за благо их взять и рванулся уходить.

— Нет, задержитесь, пожалуйста, — продолжал Давид Михайлович. — Я хочу понять, почему вы решили мне дать эти деньги. Может быть, что-то в моем поведении дало вам повод так думать обо мне? Вы скажите, что именно, чтоб я мог это учесть и больше такого повода не давать... Скажите, разве я дал повод?

Не знаю, понял ли его пациент, думаю, что он был счастлив, оказавшись на улице. Давид же Михайлович еще долго не мог успокоиться, потому и мне рассказал.

Честность его не имела границ. Через год с этим столкнулся и я. Тогда я уже был студентом Карагандинского горного техникума (о том, как я стал им — позже) и возвращался с каникул. По каким-то причинам я на несколько дней задержался в Москве и опаздывал в начале занятий. Кажется, и начало занятий несколько запаздывало. Но мне было бы удобней, прибыв, предъявить справку о болезни. Я знал, что Давид Михайлович относится ко мне хорошо,

даже любит меня, понимает мое положение, знает, как мне важны эти несколько лишних дней в Москве. А справка эта не давала мне никаких материальных выгод, а просто нужна была для соблюдения формы. Я не сомневался, что Давид Михайлович сделает мне это пустячное одолжение. Однако он наотрез отказал мне.

— Что вы, Эма! Как я могу вам дать справку, что вы больны, если вы здоровы? Это невозможно... Ну, в крайнем случае, я могу вам дать справку, что вы ко мне обращались.

Мне такая справка помочь бы не могла, но когда я вернулся в Караганду, обошлось без всякой справки — такое это важное было дело.

Этот эпизод меня озадачил. У меня было полно знакомых врачей, и любой из них выдал бы мне эту справку незамедлительно — почему не помочь увернуться от бессмысленной бюрократической строгости человеку, который ничего дурного не замысливает, ничем поживиться не собирается? Ведь так же отнеслись бы к ней и в техникуме — никто б и не подумал справляться о моем самочувствии или поздравлять с выздоровлением — все цену таким справкам знали, но просто желательно, чтоб в бумагах все было в ажуре. Эти справки — одна из уловок народа, уворачивающегося от системы.

Но Давид Михайлович, несмотря на свой партбилет, был «человеком раньшего времени». Он был врачом, доктором, это была его функция в жизни, и каждая подписанная им справка могла быть только точным медицинским документом и никак не филькиной грамотой. Иначе он переставал бы быть функционален, потерял бы себя и свое представление о себе, перестал бы себя уважать. Я понимал, что это анахронизм. И действительно, такое отношение к делу в наших условиях было слишком громоздко, часто просто неуместно. Но я и тогда почувствовал, чего нас лишили, превратив эти необходимые человеческие качества, это цивилизованное отношение к делу — в анахронизм...

Разврат, конечно, шел сверху. Ведь сатирическое выражение «Чего изволите?» отражало тенденцию, крайность, а при Сталине это стало нормой всей государственной и общественной жизни, чуть ли не критерием добронравия. От этого государственного, часто жестокого «добронравия» народ защищался своим, подпольным, но очевидным добро-

нравием. Даже взятками, которые тоже были иногда оправданны. Вряд ли взятки врачам — врачи обязаны лечить. Впрочем, в рамках ненормальной системы все нормальные правила не абсолютны — ведь и врачам сильно недоплачивали. Защищались и фиктивными справками. Ради целей иногда более гуманных и разумных, чем те, ради которых выдвигались нарушаемые требования. И они давались — и я не помню, чтоб за деньги. И все это вместе ни к чему хорошему не вело. Ибо в жизни должны быть параметры, твердые ориентиры. Справка от врача должна точно констатировать состояние здоровья — для того и выдается. В нормальном мире.

Но мы жили в мире, очень далеком от нормальности, а Давид Михайлович упрямо продолжал жить по законам нормального мира. От других того же не требовал (вообще не морализировал по поводу других), но по отношению к себе самому требований не смягчал. Вечная память этим двум очень порядочным, благородным и храбрым людям, сумевшим сохранять свое достоинство и требовательное уважение к себе. Во времена, когда это было запрещено и даже как-то «выглядело несолидно».

Встречи с друзьями (1951—1953)

Сегодня расстояние между этими двумя датами кажется кратким, как черточка между ними. Немногим больше с такого расстояния кажутся и четыре года. Но с этим спорят строки песни Окуджавы, начинающейся словами «Четвертый год подряд/ Война твой дом, солдат» и заканчивающаяся ненавязчивым, совсем вроде неполемическим напоминанием: «А война была четыре года / Долгая была война».

Я не сравниваю солдатские будни со своей тягомотиной: для солдата ведь каждый день и каждый час мог оказаться последним — все эти четыре долгих года войны, а для некоторых это распространилось на несколько часов и даже дней после Победы. Равняться с этим человеку моего поколения, не побывавшему на фронте, — бессовестно. Но это не отменяет того факта, что наше время вообще было длинным. Это было длинное, как лагерный срок, время несвободы, хоть далеко не все это сознавали. Тем более что несвобода его становилась все глубже — она развивалась в соответствии с

медицинским состоянием Сталина. А в эти два года она, как известно, развивалась особенно интенсивно.

Встречи с друзьями начались у меня с первого дня моего появления в Москве за эти два года. Ну хотя бы с Ляли и Бориса. А ведь Ляля и Борис — это еще целый круг людей. И я сразу «пошел по рукам». Приезжал я в Москву (проезжал через нее с длительными остановками по пути в Киев и обратно) раза четыре, и, возможно, мне будет трудно дифференцировать эти «разы» — что к какому относится. И мало отличаются мои впечатления за эти два года. Так что я буду говорить о своих впечатлениях и встречах, почти не дифференцируя. Тогда друзья молодые — самым старшим тридцать — тридцать два года. Теперь большинства из тех, кто меня тогда принимал, уже нет на этом свете. Это требует от меня особой осторожности — ведь они уже не могут ни поправить меня, ни ответить.

Меня принимали все, но нет правил без исключения. У меня таких исключений было два. Одно из них имело серьезное объяснение, которого я тогда не знал. Касается оно Максима. Его я отыскал одним из первых. Это было непросто, он продолжал жить у своих теток, без телефона. Но откуда-то я узнал, что он теперь завлит Театра имени Станиславского. И однажды дозвонился до него. Результаты были ошарашивающими. Он сухо и твердо отказался со мной встретиться. Такое, как я думал, предательство меня обескуражило. Что ж будет с другими? Но с другими ничего не было. Встретились мы только после смерти Сталина. И он рассказал мне, что накануне того дня, когда я ему позвонил, был арестован Платон Набоков, с которым он тогда тесно дружил. И ему было страшно усугублять свое положение встречей со мной. Обстоятельство, смягчающее вину. Ведь мы не были членами заговорщицкой организации, которые как бы берут на себя обязательство быть готовыми к любому повороту событий, а были просто литераторами, частными гражданами, за которыми бессмысленно охотилось сошедшее с ума государство.

Второе предательство тоже объяснялось страхом, но вспоминать о нем мне гораздо более неприятно. И не только потому, что там не было такого смягчающего вину обстоятельства, как у Максима, а из-за формы проявления этого страха. И именно эта форма превращает этот незначительный вроде эпизод в общезначимый...

А дело было вот в чем. Примерно за год до ареста я где-то познакомился и сразу подружился с двумя своими сверстниками — студентами школы МХАТа Таней Гулевич и ее тогдашним мужем Ф. Собственно, познакомился с гораздо более широким кругом театральной молодежи, их друзьями и товарищами, но особенно тесно я подружился с этими двумя. Теперь я думаю, что из-за Тани. С этой прелестной, умной и благородной женщиной я сохраняю самые теплые дружеские отношения и сейчас. То тяжелое приключение, о котором я сейчас расскажу, никак на них не отразилось. Причем отношения наши никогда не имели романического привкуса. Даже в самом начале, даже с моей стороны — хотя она и теперь очень красива, а уж тогда — и говорить нечего. Связывала нас и связывает только нежная дружба, если здесь уместно это «только» — ничего другого никогда не предполагалось*. Но и ее тогдашнего мужа я тоже считал своим другом.

Мы много и всерьез говорили о природе искусства, о том, как оно связано с жизнью. И в связи с этим о том, какова жизнь тоже. Если помнит читатель, я тогда не был оппозиционным, но сложности бытия меня занимали. Разговоры эти были интересными, иногда увлекательными и, конечно, были связаны с нашими планами. Всем нам хотелось создать что-нибудь настоящее. Так что дружба наша была довольно тесной, они были среди тех, по ком я скучал в ссылке. И, конечно, когда после ссылки я опять оказался в Москве, я предпринял энергичные попытки их разыскать.

Но сделать это было не так просто. Адреса их у меня не было, телефона тоже, а училище они уже закончили. Впрочем, и появляться там мне было небезопасно — демонстрировать, что я в Москве... Общих знакомых, кроме Максима, у меня не было. Что было делать и как я их все же нашел?

Откуда-то мне стало известно, что живут они на Чистых Прудах, у самых Покровских ворот. Видимо, они жили там и раньше, и я у них там раз или два побывал. Это более вероятно, чем то, что я прибегнул к услугам адресного бюро. Ибо тогда бы у меня был точный адрес, а я хорошо помню, что адреса их я как раз не знал и искал их жилье визу-

* Это писалось давно. Теперь она уже умерла, но чувства мои к ней неизменны.

ально по памяти, как бы на ощупь, помня только, что оно должно быть «где-то здесь». И все-таки нашел, методом проб и ошибок, стучась в разные квартиры.

Соседи сказали, что живут они действительно здесь, но домой обычно приходят поздно вечером. Помня короткость наших отношений и краткость моего пребывания в Москве, я пришел к ним часов в одиннадцать или даже позже. Пришел как раз вовремя — они сами только что вернулись. И с ними было еще несколько человек — то ли ученики, то ли коллеги, то ли родственники. Это время и для меня было крайне неудобным — я пришел к ним максимум часа за полтора до прекращения работы городского транспорта, от которого более чем зависел — ходить одному по ночной Москве мне, как знает читатель, было опасно. Но я рассчитывал, что в крайнем случае переночую у них. Друзья ведь, и так давно не видались, и я их так искал — какой же может быть разговор! И если бы это зависело от Тани, то никакого разговора бы и не было. Конечно, люди, тесно, но в тесноте да не в обиде! Однако ситуация, с которой я столкнулся, была совсем не той, какую я ждал.

Когда я позвонил, они собирались не пировать, а ночевать. И встретил меня Танин муж — а он там царил, как режиссер на сцене (он и был режиссером) — неожиданно (для меня) сразу очень нелюбезно. Конечно, прямого вопроса «На кой хрен пожаловал?» задано не было, но тон, которым он разговаривал, а также его мимика и жесты выражали именно это. Разговор протекал примерно в таком стиле. Я что-нибудь говорил, а он стремился меня срезать. Как человек, занятый делом, которому мешают досужие дилетанты. Возникает вопрос: когда я мог стать в его глазах дилетантом? Когда мы встречались, он меня так не воспринимал. Неужели мое положение автоматически переводило меня сразу (в его глазах) в разряд дилетантов?

Вершиной этого его воспарения была такая вразумляющая фраза, ставящая все точки над «i»:

— Да-да, раньше я тоже все время думал об искусстве, а теперь я думаю о ро-ли! О ро-ли — понимаешь?

Слова «о ро-ли!» — он назидательно проскандировал и повторил. Видимо, полагал, что этим окончательно меня сразил, припечатал мое ничтожество...

Сразить он меня этим не мог, но неприятно поразить смог вполне. Это «о ро-ли!» (а не об искусстве вообще)

имеет много этажей глупости и, пожалуй, низости. Прежде всего «буквальный», точнее эстетический. Ни режиссеру, ни даже актеру нельзя не думать об общем смысле того, что он делает. Думать «о ро-ли» — это тоже значит сознательно или подсознательно входить в контакт со зрителем, другими словами — с жизнью. Впрочем, «о роли» (то есть об исполнении порученного) — это то единственное, над чем позволял думать своим подданным товарищ Сталин. О смысле всего остального (в том числе и об искусстве в целом) позволялось думать только ему одному. За отсебятину карали. Испытывать гордость от этой отведенной тебе роли (тоже, как видите, «роли») — занятие, недостойное творческого человека. Это выражение — вариант общей формулы «дело надо делать», которым затыкали рот — часто и в своей среде — любому начинающему что-то понимать. Безусловно, в нашей стране всегда было достаточно людей, любивших «с чувством поболтать», но обычно этой формулой вразумляли не их. Эта вразумляющая самоуверенность страха, а иногда и менее оправданного им конформизма хорошо мне знакома, я с ней сталкивался всю свою жизнь и в России, и в эмиграции тоже — хотя там не было опасности сесть в тюрьму. С этой уверенностью неизвестно в чем не только приспособлялись к тому, что велел страх — она вообще помогала объявлять наиболее комфортным местом тот пятак, куда тебя все равно загнали. Лучше представлять себя свободным трудягой, чем рабом и трусом. Даже когда твоей жизни ничто не угрожает, легче быть тем, кем ситуация тебе позволяет или велено быть. С этим легче поверить, что ты этого и хотел и что это наиболее достойное существование. Звучные решительные фразы очень помогают верить, что ты и впрямь в это веришь...

Но в этой его «о ро-ли!» есть еще один этаж падения — то, что это «о ро-ли!» было обращено ко мне. В чем был смысл этого назидания? Я ведь не мог ему внять, даже если б захотел. Даже если бы «одумался» и последовал его примеру, бросил «пустое умствование». Он ведь прекрасно знал, что в обозримый период никакой возможности «думать о ро-ли!», то есть найти практическое применение себе (пусть даже в ссученном виде), предоставлено мне не будет. Чего же он хотел от меня, да еще столь страстно? А очень простого — чтоб я не появлялся в его жизни и вообще не напоминал о себе, не вносил коррективы в столь интересно

начавшуюся его жизнь. Мир мог гибнуть сколько угодно, но он не должен был мешать ему чай пить. В народе этот комплекс чувств формулировался еще яснее: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Конечно, все мои намеки (довольно прямые — про такие говорят: «обухом по голове») на то, что мне опасно ходить ночью по городу, что любой милиционер может, даже того не желая, стать концом моей свободы и судьбы и что, следовательно, мне бы лучше остаться ночевать — не возымели действия. Конечно, народу у них в этот день было много, и без меня было тесно. Но ведь на весах лежала моя жизнь (впрочем, обошлось без мимикрии — довод о тесноте не выдвигался). Таня опускала глаза — справиться с мужем, когда он был в таком состоянии, ей было не по силам. Он царил и подавлял.

Может быть, я к нему слишком строг. Ему начинала светить карьера, и страх ее потерять понятен и может быть простителен. В такое время мы жили. Но мои друзья, которые меня принимали, рисковали тем же, все они ходили под этой деформирующей тяжестью несвободы, но вели себя иначе. Может быть, он слабее, чем они, а нельзя ненавидеть человека за слабость — тем более покойника. Но я его и не ненавидел, никогда не желал ему зла на этом свете и желаю ему Царствия Небесного на том. Я его не ненавидел, просто был поражен предательством. Вообще был поражен. Я никогда не желал ему зла, но, да простит меня Господь, мне приятно знать, что Таня потом от него ушла. Приятно, хотя я сторонник «легитимизма» и противник разводов. Приятно, но не потому, что ему от этого было плохо (может, и не было), а потому, что иначе Таня не могла бы быть равна самой себе. А по отношению к нему я испытываю некоторую брезгливость.

Может, я и пристрастен, но память о моем «проходе» по ночной Москве после этой встречи не располагает к благодати. Слишком много страха я натерпелся в ту ночь. Правда, должен сознаться, что в этом я и сам виноват. Я мог взять такси — это, конечно, «кусалось», но все-таки было возможно (о чем Танин муж знать не мог и чего мне никто не посоветовал). Но как бы это ни «кусалось», это избавило бы меня от опасностей и страхов этой ночи. Однако, как я уже здесь отмечал, «такси» тогда было словом не из моего лексикона. И мне пришлось пешком тащиться через всю

Москву — от Покровских ворот до Даниловского универмага мимо ночных милиционеров, очень тогда для меня опасных. Правда, у Кировских (Мясницких) ворот я чуть не поймал троллейбус №4, он мог меня, что главное, провезти мимо центра и довести до Калужской площади (тогда его маршрут от Сокольников до Киевского проходил через весь город, в том числе и через Замоскворечье), но он пронесся мимо. И я пошел по улице Кирова (Мясницкой) к центру, а потом через центр к Каменному мосту... Милиционеры тогда в Москве, и особенно в центре, было много, они меня встречали и провожали глазами, и у меня каждый раз екало сердце. Потом я пустился бежать — молодой человек, спешащий домой, вызывал не больше подозрения, чем идущий шагом... Но у самого Каменного моста со мной чуть не произошло страшное. Вместо того чтоб повернуть на Каменный мост, я по ошибке повернул шага на два раньше и побежал... к Боровицким воротам Кремля. Правда, пробежав шага три, я с ужасом осознал, что бегу не туда, и сразу услышал у себя за спиной стук чьих-то быстрых шагов — кто-то спешил ко мне со стороны Ленинки. Это был конец. Но все же я быстро повернул назад и побежал по мосту. К моему удивлению, шаги за спиной сразу стихли, никто меня не остановил и не преследовал...

Оно, конечно, и ежу должно было быть ясно, что я не атаковал Кремль (куда одиночка все равно бы не мог проникнуть), а просто бежал домой и малость ошибся. Но что было бы, если бы я вовремя не опомнился, знать никто не может. Особенно при моих документах. Соблазн сделать из меня террориста мог бы овладеть каким-нибудь честолюбивым гэбистом спонтанно — это ценилось... Правда, скорее всего, дело бы ограничилось отнесением меня к категории «повторников» — и отправкой обратно в ссылку. А вопросы о том, где был и где остановился в Москве — нет, спасибо... До сих пор благодарю Бога, что не вызвал ложного, но опасного интереса кремлевской охраны.

Больше приключений у меня в пути не было, но страх сопровождал меня всю дорогу. Хотя в Замоскворечье милиционеров было меньше. Это мало что меняло. Прежде всего «меньше» не значит «мало», а во-вторых, на меня хватило бы и одного... И поэтому мимо каждого из них я проходил, дрожа, яко тать с добычей. Успокоился я только, когда до-

стиг тети-Розиного подъезда — на лестничной клетке милиционеры не предполагались.

Это ночь была едва ли не самой страшной в моей жизни. Во всяком случае, так она врезалась в мою память. Так что неудивительно, что я не испытываю добрых чувств к тому, кого имел основания считать своим другом, но кто уверенно обрек меня на это опасное, но ничуть меня не обогащающее переживание.

На этой ноте я разговор об этом печальном эпизоде кончаю, он исчерпан. Но Россия сейчас переживает смутное время — расплату за соблазны кровавой эпохи. Даже неполноценность «перестройки» и вера в первоначальное накопление капитала (превратившееся при содействии государства в окончательное разграбление) в постиндустриальной экономике — оттуда... Я, как и многие, надеюсь, что все утрясется и Россия станет правовым государством, где особенно никого подавлять никому не надо будет. Надеюсь, но понимаю, что надежда эта может и не оправдаться. Слишком далеко мы зашли по патологическому пути. Отчаяние народа может опять отдать власть фанатикам подавления (других у нас нет), и тогда многое может повториться. Опять может встать вопрос: как вести себя порядочному человеку? И кое-что, связанное с этим эпизодом, опять обретет актуальность. Нет, не поучительность — только актуальность. Ибо я сам не знаю, как должен вести себя человек в патологической ситуации. Даже в отношении первого Таниного мужа не знаю. Осуждать его можно за то, что он оказался плохим другом. Но не за страх. Ибо боялся он не ветряных мельниц и не плодов своей больной фантазии, а вполне вероятных тяжелых последствий. И в каком-то смысле непорядочен был не он, а я, который пришел к нему гости и нарушил его покой, обрек его на риск. Правда, я считал его своим другом, а дружба тоже важная ценность, вершина человеческих отношений. Но кто дал мне право испытывать его дружбой? Может, с моей стороны вообще достойнее было бы повеситься, а не встречаться с людьми, не разговаривать с ними? Не знаю. Кто знает, как достойнее вести себя нормальному человеку в противоестественном, терроризованном обществе, где достоинство запрещено...

Я не требую ни от кого, чтоб он в таких обстоятельствах обязательно проявлял самоотверженность и героизм. Не все на это способны, а те, у кого возникнет такая потребность,

не нуждаются в требованиях со стороны. Я не требую от всех, чтоб они гласно игнорировали навязываемый идиотизм, — в тоталитарном обществе это тоже может быть опасно, и это непростое требование. Люди, удовлетворяющие ему, тоже всегда найдутся, им заранее мое уважение и преклонение, но и те, кто на это не может решиться, кто из страха перед занесенной секирой поддакивает — тоже люди. Чужую беду своими руками разводить легко.

Сегодня самое страшное для меня в бывшем Танином муже не то, что он сделал (это тогда было страшно, но обошлось и можно забыть), а то, что он при этом говорил, вся его повадка. Этот страх и конформизм, выдаваемые за гордость и уверенность. Вот только этого я прошу избегать, если опять придет такая беда. И что бы вас ни заставляли говорить и делать — в условиях несвободы человека насильем можно заставить сделать все, что угодно, — сознавайте свое положение, степень своей искренности и неискренности, не заглушайте самосознания громкими фразами, не позволяйте страху в ваших душах обернуться гордостью — не теряйте себя. Особенно это страшно и невосполнимо для художника и интеллектуала. Для них это смерть. Воспитывайте в себе чувство самосохранения личности. Если она хотя бы в глубине души остается, если человек продолжает себе верить и сознает свое положение — тогда еще не все потеряно. В личном плане и в общественном тоже. Это залог освобождения. А иначе — чему освобождаться?

Эти мои сентенции серьезные, они имеют отношение ко многому, но будем надеяться, что той ситуации, подготовкой к которой они рождены, не будет, и в этом конкретном смысле они не понадобятся.

Ну и хватит об этом. Я так много внимания уделил этому эпизоду отнюдь не потому, что он был характерным для людей, с которыми я дружил. Он и впечатление произвел на меня своей исключительностью (хотя и сквозь него проглядывают закономерности — только не круга моих друзей, а времени). Но я рассказываю о себе, а в моей жизни таких случаев больше не было. Больше друзей, которые бы меня так встретили, у меня, как я уже говорил, не было.

А встреч было много. В том числе и курьезные. Одному из первых я позвонил Жоре (Г.Б.Федорову — см. ч. 3). Не назвал и начал разговор:

— Здравствуй, Жора!

— Здравствуй, — последовал холодный отклик.

— Это я.

— Понимаю, что ты.

— Я приехал.

— Очень приятно, — отвечивал Жора.

— Так ведь увидеться надо.

— Я занят, — отрезал Жора.

— А ты знаешь, с кем говоришь?

— Знаю, — продолжал Жора в том же тоне.

Создавалось ясное впечатление, что Жора от меня отгораживается. На дух не переносит. Это было странно. Жора мне всегда передавал приветы, вообще как мог поддерживал, и вдруг — как отрезало. Он вообще никогда не отрекался от друзей. Но мало ли что бывает. Я повесил трубку. Но через несколько дней я все же позвонил опять. Кажется, по какому-то делу, узнать о ком-то (не о Максиме ли?). Трубку взяла Майя.

— Здравствуй, Майечка. Извини, пожалуйста, это Эма говорит, — начал я предупредительно.

— Эма?! Ты в Москве?

— Да... Уже несколько дней.

— Так чего ж ты не заходишь, не звонишь?

— Я звонил... Но Жора не захотел со мной видеться.

— Жора? — рассмеялась Майя. — Не может быть! Он, наверное, принял тебя за кого-то другого... А ты где? Его сейчас нет. Он придет и тебе позвонит.

Я объяснил, где я и как звонить. Через полчаса звонок и радостный Жорин голос:

— Эмка, ты что? С ума сошел? Приходи скорее.

За кого он меня принял в первый раз, я так никогда и не узнаю. Но это и неважно. Важно, что друзья оставались друзьями и в это страшное время, и в этих непростых обстоятельствах. Круг моих знакомых не только не сужался, а расширялся. У Жоры я познакомился тогда с физиками-теоретиками Владимиром Берестецким, ныне уже покойным, и Виталием Гинзбургом, с их женами Олесей и Ниной, ныне академиком. В общем, совсекретные ребята. Рисковали больше, чем Танин муж, но ничего — общались. Впрочем, бывали там не только физики, но и гуманитарники. В основном народ академический, «остепененный». В том числе и старый друг Жоры, химик, к тому времени

доктор наук Павел Бутягин с женой Миррой, режиссером-кинодокументалистом.

В это время среди таких людей — преуспевающих, но порядочных — был в моде культ светской жизни, общения на уровне умственной элиты. Встречи обставлялись соответствующим антуражем, всякими чашками-блюдцами, установка была на изысканность. Но, в общем, это было детской игрой, попыткой создания своего особого мира, отделенного от окружающей рабской суетни. «Нам за работу, которую мы любим, платят больше, чем другим, мы умственная элита, так будем хоть в своем кругу свободными и культурными!» Разумеется, «социальность» этой «аристократичности» была мнимой — несмотря на мое социальное и имущественное ничтожество, я воспринимался этим «светским обществом» как свой и не скажу, чтоб его атмосфера не была мне приятна. Кстати, говорили в этом обществе обо всем откровенно. Такой была одна из форм противостояния интеллектуальному, нравственному и личностному небытию, насаждаемому Сталиным. В условиях несвободы каждый спасает свой внутренний мир как может, но все равно такие условия деформируют всех. Однако люди, входившие в это общество, все были не только честными, но еще серьезными и умными. Так что эти игры в светскость им скоро самим надоели и испарились сами собой. Примерно через год или два Володя Берестецкий, с которым я потом подружился, и сам вспоминал об этой причуде с иронией. Но это была одна из гримас того патологического времени.

Ничего дурного из этих игр не вышло. Они испарились, а дружбы остались. Причем дружбы интеллектуалов из разных областей знания: естественников, технарей и гуманитариев. Это создало уникальный культурный слой, которого в таком виде теперь нигде нет. Не хотелось бы, чтоб он исчез и в России.

Впрочем, розы без шипов не бывают. Замкнутость и ориентировка на «свой круг» помогали выстаивать, защищать свою творческую мысль от тоталитарного давления. Но она же помешала этому слою во время «перестройки» стать во главе всего общества и вывести его из тупика. А все ее попытки реализовать свои кружковые представления о политике и привели к тому, что КПСС (в лице КПРФ) смогла приобрести свое сегодняшнее влияние. Эти рассуждения,

основанные на опыте другого времени, нелишние в этой книге, не имеют никакого отношения к воспоминаниям о моем тогдашнем общении и к людям, о которых я пишу. Они не отвечают за безвыходность тогдашнего положения и за глупости сегодняшнего, до которого большинство из них не дожили. Роз без шипов не бывает, но никто из-за этого не отказывался от роз. Эти люди сумели быть хорошими и достойными, мыслящими людьми в обстановке, в которой сама память о том, что можно такими быть, вытравлялась. И этого достаточно. Кто мог тогда больше, тот был мудрее, однако лично я таких тогда не знал. Но с этими людьми я тогда только познакомился, а речь шла о встречах с моими старыми друзьями. Выражение «старые друзья» в применении ко мне тогдашнему (мне тогда только что исполнилось двадцать пять лет) мне сегодняшнему, с «высоты» моих нынешних семидесяти четырех* на минуту показалось смешным. Но только на минуту. Двадцать пять лет — особенно в такие эпохи — солидный возраст. За спиной у каждого было слишком много пережитого. То, что в общих воззрениях большинство из нас не преодолели внушенной и выработанной (через унаследованное поклонение революционным традициям) инфантильности, причудливо сочеталось с богатым жизненным опытом и личной взрослой ответственностью за свое поведение. Жили ведь не в общих вопросах. С предательством в своей среде, за исключением описанного случая с театральным деятелем, я не сталкивался.

Коля Старшинов и Юля Друнина (найти их не представляло труда — они жили в той же квартире, при том же телефоне), как только я им позвонил, тут же зазвали меня к себе и очень тепло приняли. Собственно, как всегда. Только разговоры были о другом. Естественно, они жадно расспрашивали меня о том, что я пережил и видел, — ведь тогда это было равносильно репортажу с того света (хотя свет был этот, и очень даже — этот). Рассказывали о том, что в мое отсутствие происходило в Москве. В том числе и о недавно (года полтора назад) отшумевшей антикосмополитской кампании, которая все еще остро переживалась, отзывалась стыдом и болью. В основном ее «конкретика» — как все это проходило, кто как проявлялся.

* Мой возраст в момент, когда писалась эта глава.

Для Юли с Колей эта тема была болезненней, чем для других, поскольку, как я уже слышал и здесь это отметил, Юля и сама оказалась невольной участницей этого шабаша — неожиданно для всех выступила на комсомольском собрании в Литинституте с горячей обвинительной речью против П.Г.Антокольского. Естественно, в то время и в тех обстоятельствах такое выступление выглядело погромным. Это поразило почти всех — с «Юлькой» представление о погромных страстях и наслаждением травлей никак не вязалось. Она была чужда и антисемитизму, и карьеризму. В чем же было дело? У нас были достаточно короткие отношения, и я задал этот вопрос прямо. Оказалось, что ларчик открывался просто — дело было в ее личной ненависти к Павлу Антокольскому... В чем была конкретная причина этой ненависти, я так никогда и не узнал, но она и теперь не могла без ярости произносить его имя. Поручусь за одно — это не имело никакого отношения к его национальному происхождению.

Она была в полной мере тем, что называлось тогда «положительным героем наших дней», была им не в казенном смысле, а, как ни странно это звучит, в реально-романтическом, продолжающем традиции Павла Корчагина и пр. (так и на фронт пошла). Антисемитизм с этим никак не вязался. Просто все давно привыкли, что все должно вязаться не с логикой, а исключительно с гениальностью Сталина (оно же историческая необходимость, воля истории и пр.). Нельзя сказать, что Юля с этим воевала или этому противостояла или, наоборот, что была наивной или глупой — мои стихи о тридцать седьмом годе ее, как и многих, вовсе не оскорбляли, об этой стороне действительности (значит, не только о жестокости, но и о пронизанностью ложью) она тоже имела представление. Но, как и многие другие, как и я временами, она, воспринимая это как одну из сторон жизни, и ухитрялась жить как-то вне этого, сохраняя — тоже как многие хорошие люди тех времен — излишнее доверие к действительности, не акцентируя внимания (тем более что склонности теоретизировать она не имела) на разладе с ней. Это ее и подвело — она не заметила, что мы все оказались в клоаке.

Подвела ее и наша общая нравственная невоспитанность. Выступая на этом собрании, она считала, что поскольку говорит то, что думает и чувствует, что считает правдой, то

все равно, где она это говорит... Мне было легче разговаривать с ней, чем многим, потому что, в отличие от них, я тогда и сам относился к Антокольскому без всякой нежности, считал его, говоря по-нынешнему, воспитателем конформизма в поэзии, очень недобро вспоминал его «остроумную», а по существу, зачеркивающую меня фразу, сказанную в середине сороковых: «В наше время тот не поэт, кто не может отоварить свои стихи». Потом мое отношение к нему смягчилось. Я вообще перестал ставить каждое лыко в строку — особенно когда это «лыко» касается того естественного времени.

Потом я узнал, что он в то время всячески помогал молодым поэтам, тем, кому сложно было помочь — например, по своей инициативе, даже без их ведома относил их стихи в издательства и т.п. — вообще, всячески проявлял добрую волю. Короче, мое отношение к нему потом переменилось. Но тогда оно еще оставалось прежним. И это облегчало мое положение в этом разговоре, когда я старался объяснить Юле ее ошибку. Я говорил ей, что на таком собрании нельзя выступать и с правдой, ибо и правда подкрепляет ложь и подлость... Она меня слушала и, хоть температура ее ненависти к Антокольскому не снижалась, все-таки соглашалась со мной. Впрочем, она уже и раньше это поняла, даже жалела, что поступила так. И все же от своих слов не отрекалась.

Но от нравственной невоспитанности, о которой я заговорил чуть выше, был тогда несвободен и аз многогрешный. И совсем не зря я назвал ее «нашей общей». Да, я понимал, что выступать на таком собрании не надо. Но, во-первых, сказывалось традиционное интеллигентское (не только еврейское) отношение к антисемитизму как к чему-то грязному и стыдному, во-вторых, я трезвее оценивал и поэтому шире видел политический фон происходящего. То есть моя нравственная позиция если не полностью определялась, то подкреплялась, легализовалась позицией общественно-политической. Я вовсе не говорю, что я был безнравственным, да и Юля ведь всю жизнь была человеком нравственным. Я говорю о нравственной воспитанности.

Что это такое? Сошлюсь на пример послереволюционной — «первой» — русской эмиграции. Антисемитские настроения и воззрения были распространены довольно широко. В сознании многих евреи прочно связывались с

большевистской революцией, испортившей им жизнь. Бесспорно, интерполяция эта неверна — начать хотя бы с того, что евреи жили и в эмиграции. Но такие настроения были. Конечно, заражены этим были отнюдь не все, но речь сейчас не об этом. Какие отношения были у евреев с остальной эмиграцией — точно не знаю, но думаю, что всякие. Как всегда между людьми. Следовательно, плохие тоже. Но вот пришли немцы... Как известно, во всех оккупированных странах они стремились уничтожить всех евреев. Но многие евреи прятались. Уж, кажется, тут эмигрантам и карты в руки — помогать немцам в окончательном решении этого проклятого вопроса. Но мало кто воспользовался такой возможностью. Я лично просто не знаю случая, чтобы кто-то донес на такого еврея. Это не значит, что таких случаев не было (в семье не без урода), но они были очень редки. Одно дело — общее отношение (его мало кто изменил), другое — донос на и без того затравленного человека, обрекающий того на уничтожение.

Психологически отражает это положение рассказ одной старой эмигрантки, теоретически настроенной вполне антисемитски. Ее покойный муж, белый офицер, кажется, первопоходник, был настроен так же. Жили они до войны и во время оккупации в Праге. И вот однажды при немцах они встретили на пражской улице знакомого еврея. Но не просто еврея, а человека, видимо, явно, по их мнению, не порядочного и к тому же сделавшего им какую-то гнусную пакость. Тот, увидев их, затрясся.

— Ну вот, Андрей Викентьевич, — обратился он к ее мужу, — теперь вы можете сделать со мной все, что хотите.

— Нет, только не теперь, — ответил офицер и джентльмен.

Для того, о чем я хочу сказать, абсолютно неважно, был ли этот еврей действительно подлецом, сделавшим им гадость (что не исключено), или они считали его таким несправедливо. Должен сказать, что антисемитизм этой женщины, как, видимо, и ее мужа, носил общий характер и не сказывался на отношении к конкретным людям — плохо, а тем более *так* плохо, она характеризовала отнюдь не всех евреев, которых встречала, а довольно редко. Но дело не в этом. А в том, что об этом человеке они совершенно искренне думали плохо и считали его достойным тюрьмы или виселицы. Не говоря уже о том, что вообще считали

евреев виновниками если не всех, то большинства бед России и их лично. Повторяю, я не знаю, правильно ли они относились к этому человеку, и знаю, что их общее отношение к евреям было неправильным. Но они-то были уверены в своей правоте. И тем не менее все равно им и в голову не могло прийти сводить счеты таким образом — принять участие в государственной охоте на человека, преследуемого не за то, что он сотворил, а в общем порядке. Понимали, что такая победа даже над подлецом не может быть торжеством справедливости... Руководствовались они не взглядами, а своей нравственной воспитанностью, порядочностью.

Юля этого тогда не понимала. А понял ли бы это тогда я сам, если бы оказался на этом собрании? Ведь, как, надеюсь, помнит читатель, я и сам в своем чумаковском одиночестве при преподанном мне опыте, да еще при еврейском происхождении, — и то поначалу пытался найти объяснение и оправдание этому шабашу. А как бы я вел себя, окажись сам на этом собрании, в самом центре этой смрадной бури, где тебя поносят непонятно за что и велят в этом каяться — от имени того, что ты и сам признаешь священным? Тут для того, чтобы вести себя правильно, реагировать на ситуацию мгновенно, точно (закачался — пропал: вымажут в дерьме) и достойно, надо не только преодолеть страх (что тоже — ох не просто!), надо с детства ориентироваться на защиту не только взглядов, а прежде всего личного достоинства, а я был тогда по рукам и ногам опутан сетями диалектики! Как хорошо, что меня посадили до этого!

Нет, я и теперь убежден, что то же человеческое достоинство в некоторых обстоятельствах (а отнюдь не всегда, как я думал раньше) требует общее поставить выше личного. На алтарь общего дела иногда кладут и жизнь. Но я уже давно понял, что это не может касаться «обыкновенной» личной совести и личной нравственности в отношениях к людям и с людьми — короче, личного достоинства. Это должно всегда при любом твоём взлете и экстазе оставаться при тебе самом. За это ты отвечаешь прежде всего и главным образом. Это я понял уже давно, но много позже описываемого времени. Тогда мы, и не в последнюю очередь сама Юля, руководствовались этим только инстинктивно. Поэтому и бывали сбои. Это ее выступление и было таким сбоем.

Конечно, разговор наш продолжался долго, далеко за полночь, и, конечно, я был оставлен ночевать, что бывало и потом не раз. Эти ночевки были не совсем легальны, не совсем безопасны для хозяев... Эта нелегальность несколько потом подвела Колину память — ему показалось, что я приезжал нелегально из ссылки. Но самовольное, пусть даже временное, оставление места ссылки считалось побегом и каралось двадцатью годами каторги. На это у меня никогда бы не хватило прыти — да и слишком дорогая это цена за несколько дней пребывания в Москве. То, что это бы значило подвергать и друзей невероятному риску — укрывательство беглеца было уголовным преступлением, — и что я бы на это никогда не пошел, я и обсуждать не хочу, ибо никогда не собирался пускаться в такие предприятия. Но и простое предоставление ночлега товарищу, легально вернувшемуся из ссылки и не имеющему права жить в Москве (разница в том, что таких могли прихватить, но, в отличие от беглецов, специально не искали), тоже требовало мужества. У большинства моих друзей оно было...

Тепло принял меня и Андрей Турков. Причем принял не где-нибудь, а в редакции «Огонька», где он тогда работал. Конечно, журнал тогда еще выходил под редакцией Суркова, а не Софронова, как потом (а это не одно и то же), но все же принимать в «идеологическом учреждении» (каким считалась любая редакция) человека, который был так недавно репрессирован «нашими славными органами», было не совсем безопасно. В тот момент это вряд ли грозило арестом, но принести неприятности, вплоть до потери места, эта встреча вполне могла. Андрей был моим сокурсником (вернулся в институт после фронта и ранения). В институте мы были не то чтоб очень близки (с Максимом и Игорем у меня были более близкие отношения), но в отношениях очень хороших и доверительных, любили друг с другом разговаривать. Во всяком случае, то, что я, приехав, ему позвонил, было естественно и для меня, и для него. И вот мы сидим в его кабинете, на улице Правды (редакция «Огонька» помещалась в комбинате «Правды») и разговариваем. О чем? Точно теперь не помню — о том, о чем всегда: о литературе, о жизни, о поэтах, о Твардовском, которого я тогда только недавно для себя открыл. Да мало ли еще о чем! Сейчас это и не важно — важно, что разговариваем. С той же естественностью и доверительностью, что

и раньше. Разумеется, и о том, что произошло за эти три года, и о том, что пришлось повидать и испытать мне. Среди моих друзей, дальних и близких, не было людей, кто б этим не интересовался. Кем надо было быть, чтоб этим не интересоваться — особенно писателю? Ведь это была скрытая, но неотъемлемая часть действительности, в которой мы все жили...

Одного такого человека я, правда, встретил — к моим друзьям он не относился, он вообще появился, когда меня не было. Теперь он был мужем моей приятельницы, тогда уже как-то заявившей о себе поэтессой... Мы некоторое время шли рядом — она оживленно со мной разговаривала, расспрашивала и тщетно старалась перебросить мост между своим мужем и мной, но он сохранял олимпийскую отчужденность — ему не надо было лишних, тем более мешающих гармоничному мироощущению, впечатлений, ему вполне уютно было и в усеченном мире.

Кстати, такое отношение воскресло, даже укрепилось, и в поэтах «андерграунда котельных» и «сторожек». Я где-то читал о некоем поэте — не названном, но обозначенном как «хороший», — который в начале чеченской войны, когда его приятель заговорил с ним об этом и даже пригласил его то ли подписаться под протестом, то ли сходить на митинг, отказался. Должен сказать, что я и сам не любитель ходить на демонстрации протеста, и просто об отказе от участия в мероприятии я бы и говорить не стал. Задел меня не отказ, а его мотивировка. Поэт объяснил свой отказ тем, что его интересует только поэзия, а подобные материи ему скучны. И продолжил свой путь в ресторан ЦДЛ для «неполитизированного» элитарно-эстетического общения — тогда еще там цены были более-менее доступны.

Мысль о том, что игнорирование пожара в доме, где ты живешь, не только неразумно, но и никак не может быть проявлением художественной непосредственности, ему в голову не приходила. А предположение, что само это отношение — замшелая литературщина, показалось бы ему вообще диким... Я не знаю, о ком речь, но не очень верю, что речь действительно идет о хорошем поэте, как его рекомендует автор. А тут речь именно о человеческой бесчувственности, а не об отсутствии гражданских чувств (требование, которое мне многие с удовольствием припишут). Гражданские чувства предполагают благородное сочувствие

чему-то, лежащему вне нас (или его имитацию), а тут идет речь об игнорировании того страшного и неприятного, что происходит с нами и на наших глазах, но что волевым усилием или снобистской устремленностью насильно отсекается от душевного опыта.

Иногда это подпирается высоким уровнем профессионализма и культуры, заглушается мощью самовлюбленности, вызванной тем, что ты все-таки что-то проносишь, чувствуя благодарность современников, но со временем эта усеченность все равно проступает — причем даже в самых «неполитизированных», вроде и вообще не имеющих отношения к «острым» темам стихах. Ибо усеченность восприятия — недостаточность личности, ее недостоверность. Ложь самим себе для поэта или интеллектуала губительнее, чем ложь другим. Конечно, и последнее никого не окрыляет. Это серьезный этический проступок, часто — подлость, а иногда и преступление, но в этом можно раскаяться, как Пушкину, «прочесть с отвращением жизнь свою» и начать жить заново. Лгуший себе, то есть подавляющий собственное восприятие, перестает себя слышать, теряет себя. Мы, я и мои друзья, были грешны, то сложнее, то проще подгоняли мысли под ответ, но восприятия все же не подавляли. И оно в конечном счете определяло наше личное поведение.

Разумеется, я говорю о своих друзьях, а не о всех людях определенного возраста. Хотя в разной степени это было свойственно всем. Конечно, степень тоже важна. Иногда эта степень была столь мала, что принимала смешные формы. Однажды Андрей Турков (не в этот мой приезд, а в следующий) сказал мне, чтоб я обязательно позвонил NN (он назвал имя нашего сокурсника), что тот очень просил, ибо очень хочет меня видеть. Я несколько удивился. Ничего плохого об этом человеке я не думал (и теперь не думаю), но он никогда не относился к числу моих близких друзей, да и теперь не был мне особенно интересен. Но за эти годы произошло многое, и раз он так страстно хочет меня видеть, то, видимо, у него есть потребность выговориться, что-то для себя узнать и уяснить. И я позвонил.

— А, Эма! — услышал я его озабоченный голос. — Хорошо, что ты позвонил. Нам надо бы встретиться.

— Только я послезавтра уезжаю.

— Жалко, — услышал я дальше... — А сегодня я не могу. Потому что я должен ехать на дачу.

И такое самоуважение слышалось в его голосе, такая естественная уверенность, что назначенный срок поездки на дачу важнее любого разговора — даже с человеком, возвратившимся с того света, что я понял, что настоятельная необходимость меня видеть в данном случае — только манера речи. Могут сказать, что он испугался. Но нет — ему просто сегодня надо было ехать на дачу, а возвращаться завтра для столь необходимой ему встречи как-то нелепо и неудобно. Впрочем, страх в этом случае, по-моему, более достойный мотив отказа от встречи, чем такая респектабельная «занятость».

Встречался я много во время своих приездов и со своими старшими друзьями Борисом Слуцким и Давидом Самойловым. Оба они тогда не печатались, но Самойлов уже начал переводить, а Слуцкий больше промышлял литконсультациями*.

Отношения наши были такими, как всегда — дружескими, но кусачими. Тем не менее читали друг другу стихи. Помню, как поразили меня — тогда и на всю жизнь — стихи Слуцкого «о доме отдыха ремесленных училищ» и многие стихи Самойлова. Им тоже понравились кое-какие мои стихи. Но «цапать» это нам не мешало. Пререкались мы не только в разговорах о поэзии.

Они оба чувствовали и остро, и реально все происходящее в жизни, но при этом, как почти все, кого я знал, от Сталина тогда еще не отказывались. Слуцкий стоял на своем с некоторым фанатическим, отчасти даже презрительным упорством (чему, как я уже говорил, противоречила доброта многих его стихов и общего отношения к людям и к жизни), а Самойлов — с тем легким налетом снобизма, который при своем уме и незаурядном таланте сохранил до конца дней. Но об этом я уже писал.

Бывал у Дезьки и в Мамонтовке на даче, принадлежавшей его тогдашнему тестю профессору Фогельсону. Сам

* Теперь это слово требует объяснения, но тогда его знали все, причастные к литературе. Все печатные органы обязаны были отвечать авторам любых стихов, рассказов, пьес и т.п., в обилии присылавшихся трудящимися в эти органы. Им надо было объяснить, почему их опусы не могут быть опубликованы, и давать полезные советы (читайте классиков и т.п.). Поскольку штатные сотрудники справиться с таким потоком не могли, этим занимались внештатные литконсультанты. Вокруг этого кормилось много народу, но и много настоящих литераторов, особенно «непечатных»...

профессор там бывал нечасто, и дачей практически владел Дезька с семьей... На даче я встречал разных интересных людей. Из встреченных там впервые мне больше всего запомнился отец Дезькиного друга, известного редактора и литературоведа Бориса Грибанова, снимавшего дачу рядом с Дезькой. Компания получалась веселая, шумная и приятная. Вместе бражничали, вместе ходили купаться. И так как-то получилось, что, возвращаясь с пляжа, мы с Тимофеем Алексеевичем — так звали отца Бориса — отстали от общей группы. Отстали не только потому, что были заняты беседой, но и потому, что Тимофей Алексеевич останавливался у каждого киоска, где торговали водкой — а таких киосков, торговавших водкой распивочно («в разлив», как тогда говорили), в те времена было всюду много, — и «отдыхал»: покупал по сто граммов себе и мне. Пил я больше для единодушия, поскольку Тимофей Алексеевич очень мне понравился и меня заинтересовал. Должен сказать, что от выпивки он не становился менее интересен.

Тимофей Алексеевич Грибанов, по природе своей старый русский инженер, занимал крупную инженерную должность в одном из промышленных министерств и характер нелепости советской экономики понимал прекрасно. Всего, что он рассказывал, я теперь не припомню, потом эти вещи говорились с трибуны, освещались в печати (например, в очерках моего сокурсника Анатолия Злобина, одним из первых коснувшегося этой темы), и неудивительно, что то, что он говорил тогда, сегодня почти полностью стерлось из памяти. Но слышать такое из уст работника министерства мне, недавней деревенщине, было вдвойне приятно. И перепадом общения, и... неожиданностью.

Не знаю, мыслил ли он оппозиционно по отношению к советской системе в целом... Быть оппозиционером — значит настаивать на альтернативе. Для человека инженерного склада на альтернативе возможной, а невозможность тогда каких-либо альтернатив была для него очевидна. И он хотел бы попытаться лечить не болезнь, а симптомы — собиравшись обратиться к обществу и правительству с заявлением «о вреде учета и контроля». Мысль его была проста. Он полагал, что на учет и контроль, во-первых, уходит больше средств, чем украли бы при их отсутствии, а во-вторых, что все эти учетчики и контролеры сильно мешают работать. Теперь я понимаю, что истинность этих открытий

относительна. Как выяснилось при распаде советской системы, советский деятель без учета и контроля может украть гораздо больше, чем мог себе представить этот старый русский инженер. А для того чтоб экономика действовала без учета и контроля (впрочем, чтоб без них все не разворовали), нужна самодвижущаяся экономика, другими словами, отмена советской (сталинской) экономической системы. О чем тогда и речи идти не могло. Тимофей Алексеевич вовсе не был наивен (с подобными предложениями он так и не выступил), но просто он был по своей природе предпринимателем, руки чесались от желания работать с максимальной отдачей, и мечта об этом предложении была мечтой о приспособлении здравого смысла к непреодолимой нелепости, которая правила жизнью.

Конечно, такие оценки мне тогда в голову не приходили, я ведь и сам отрицал систему только за несоответствие себе самой, то есть не мысля себя и жизни вообще вне ее границ. Так что разумность предложения, которое собирался выдвинуть этот старый менеджер, была и для меня вне сомнения. При всей неожиданности подхода к явлению за ней ощущалось и само явление, сама наша засекреченная от сознания жизнь. И кроме того, в нем самом — в его высказываниях и поведении, — несмотря на его преклонный возраст. Даже в том мальчишеском замысле, которого и я был невольным исполнителем, когда мы с ним, разумеется, по его инициативе и, как говорится, под его руководством незаметно (для меня тоже) отстали от компании — дабы хоть ненадолго скрыться от учета и контроля со стороны близких, препятствующих тому, чем мы с ним занимались: баловаться водочкой ему было строго-настрога запрещено. Я думаю, что этот человек сделал в жизни много, но гораздо меньше, чем позволяли его силы.

Вместе с Грибановыми снимал с семьей полдачи Николай Непомнящий, милый, хороший человек, ифлиец, работавший редактором в одном из издательств. Родом он был из тех мест, которые стали уже при нем Еврейской автономной областью, но, как большинство жителей этой области, был человеком абсолютно русским. Он смешно рассказывал, как на спортивном параде в Хабаровске колонну этой области, которая состояла из четырехсот пятидесяти русских ребят и ста пятидесяти еврейских, обучили, подходя к трибуне, кричать:

— А грус дем хавер Лаврентьев!*

Любил спектакли товарищ Сталин.

Ситуация эта всех нас смешила. Думаю, что и тогда, проходя в строю перед трибуной с этим возгласом, эти русские ребята не были возмущены такой нелепостью. Скорее всего, они ее не замечали. Не потому, что это было правильно — неправильно (искусственно было не только это, но и сама Еврейская автономная на Амуре), а потому, что для них, как почти для всей советской молодежи, особенно активной, это было время доверия. Несмотря на все страшное, что бывало у каждого за спиной и что рядом. Ей казалось, что все, что делается по велению власти, продиктовано благими намерениями и что любая задача, если поставлена, достижима... А уж по сравнению с другими задачами создание советского еврейского очага — далеко не самое трудное дело. И благородное — особенно на фоне того, что творилось тогда в Германии и о чем повествовали антифашистские кинофильмы... «Ну ладно, пускай и у евреев будет своя республика», — тем более земли в этих краях хватало.

В стране были колоссальные резервы доверия, и мне жаль, что они были истрачены ни на что, на веру в нашу непобедимость, на уверенность, что врага мы разобьем обязательно на его земле и малой кровью, на то, что мы живем лучше всех в мире — на все, что было опрокинуто Второй мировой войной. След этой опрокинутости остался если не в сознании, то в подсознании большинства из них... На этом фоне приветствие на идиш товарищу Лаврентьеву, произносимое русскими ребятами, — одна из самых малых составных. Приходилось выкрикивать и более непонятное, и более лживое, хотя и на языке, весьма напоминающем русский, но только лишенном вкуса, цвета и реальности. Расплата за это приходит страшная. В девятичасовой телепередаче программы «Время» от 15 сентября 1999 года в репортаже из Дагестана я видел, слышал, как солдаты, молодые ребята с очень хорошими лицами, грустно говорили, что не понимают, за что они воюют и за что погибли их товарищи. Здесь и сейчас они занимались реальным делом — защищали там цельность и безопасность своей страны, но как им это объяснить? Они уже никому не верят.

* Привет товарищу Лаврентьеву (идиш)! По-видимому, Лаврентьев — фамилия тогдашнего секретаря Хабаровского крайкома ВКП(б).

Нет ни одного ценностного определения, которое на их глазах или на глазах их родителей (а такая информация передается) не превратилось бы в свою противоположность или просто в труху, Россия обречена. А если такое доверие вспыхнет, можно ли поручиться, что кто-нибудь не постарается на нем заработать? Но это дела и страхи не того времени, о котором я рассказываю.

Кстати, о военных. В одно из своих посещений Дезьки в Мамонтовке я присутствовал на торжестве, связанном с присвоением звания полковника нашему общему другу Петру Захаровичу Горелику, в просторечии Пете. Я уже поминал его. С ним с детства дружил Борис Слуцкий, с довоенных времен Дезик Самойлов, Изя Крамов, Лена Ржевская, а с конца 1944 года и я. Одновременно я подружился с его женой (сперва невестой) Ирочкой. Теперь то ли они, то ли Петины родители тоже снимали дачу рядом с Дезькой. Там и происходило это торжество, на которое Петя с Ирой прибыли из Твери (тогда Калинина), где Петя преподавал тактику в интендантской «Академии тыла». Потом Академию перевели в Ленинград, где Петя с Ирой живут и поныне. Естественно, Петя уже давно в отставке. С Ленинградом, где круг общения у них был столь же широк, как в Москве, связан и один смешной эпизод, рассказанный Ирочкой. Какие-то знакомые однажды, придя к ним гости (дело было в конце шестидесятых), вдруг вспомнили нечто их поразившее: «А вы знаете, третьего дня мы у наших друзей видели еще одного интеллигентного военного». Конечно, эта фраза позволяет судить не столько о Пете, сколько об их гостях, а точнее, о том проклятом отчуждении военной интеллигенции от всякой иной, так трагически отозвавшейся в ответственные годы «перестройки» и всеобщих надежд. Но кое-что говорит это и о Пете. Он всегда был человеком не только интеллигентным, но и литературным, хотя собственно литературной работой занялся сравнительно недавно. Пишет воспоминания о друзьях, с которыми прошел жизнь и которых уже нет, занят публикацией их неизvestных стихов и писем.

Но тогда мы не знали, кому о ком придется писать воспоминания. Тогда Петя только что получил полковника, и мы обмывали это событие. Радовались искренне. Отношение интеллигенции к армии по разным причинам испортилось много позже. А тогда, через шесть-семь лет после вой-

ны, к армии все, в том числе и я, относились хорошо. Ее никак не воспринимали как опору всего, что нам не нравилось. В.Корнилов, который тоже одно время служил офицером, в одной из своих позднейших поэм даже отмечал «антагонизм армии и жандармов». Мне кажется, что либеральная интеллигенция по-настоящему оттолкнулась от армии и оттолкнула от себя армию в начале «перестройки». Ибо, отрицая все, для чего использовалась армия, она в своей риторике никак не желала принимать во внимание положение и интересы военнослужащих. Речь идет только о риторике, по-настоящему влиять на события она не могла, и нынешнее тяжелое положение профессиональных военных произошло из-за нее. Но она была застрельщиком взаимонепонимания этих групп населения, сегодня (пишу это в сентябре 1999 года) очень опасного для страны. Конечно, после всего ею пережитого извинительно, что она могла «нести только свой монолог», но это несчастье, ибо ее функция в этих тяжелых условиях — налаживание взаимопонимания, а кроме нее, выполнить эту функцию было некому.

Но тогда, в 1951—1953 годах, к армии относились без всякой отчужденности. А некоторая ее сепаратность была во благо. Например, как говорил Петя, в армии тогда не была принята политика «задвигания евреев», которая к тому времени утвердилась во всех областях государственной и хозяйственной жизни. Во всяком случае, она не была столь абсолютной. Наглядным доказательством этому был сам Петя. Его еврейское происхождение не помешало его нормальному росту по службе. Вот и полковника получил. За обедом произошел его короткий, но забавный диалог с матерью. Петя объяснял, через какие промежутки времени присваивается каждое звание. Сколько майору (в академию Фрунзе он с фронта пришел майором) нормально надо служить, чтоб стать подполковником, и сколько подполковнику, чтоб стать полковником. И тут мать полюбопытствовала:

— Ну а генералом когда ты станешь?

Петя задумался... Видимо, генералов тогда еще не выпекали как блины.

— Нет, генералом я вряд ли стану. Генерал — это другое дело. Тут правила чиновпроизводства не действуют... Может, если будет война...

Тут мать прервала его.

— Знаешь что, Петя! — живо отозвалась она на эти слова... — Оставайся лучше полковником.

Все рассмеялись. Должен сказать, мне было лестно, что мой друг стал полковником. Хотя сам я, как, может быть, помнит читатель, по-настоящему и до рядового недотягивал.

В таких социокультурных перепадах проходила моя жизнь. Хочу напомнить, что эта встреча и чествование не могли произойти в мой первый зимний приезд-проезд — какие дачные «гулянья» могли быть в январе! Но я уже предупредил читателя, что все мои приезды до моего окончательного приезда в Москву спутались в моей памяти. Ибо у всех у них была одна общая черта — привкус полуполюгальности-полузапретности. После того как я стал студентом Карагандинского горного техникума и приезжал в форме (а тогда время было супермундирное), я стал выглядеть более легально. Но только выглядеть — до первой проверки документов: отметка в паспорте оставалась прежней. Но в форме я меньше привлекал внимание.

Остановившись на дачных встречах, я как бы упустил московские встречи. Прежде всего Леночку Ржевскую и Изю Крамова. Сколько я их знаю, они много работали и поэтому очень дорожили временем. По-моему, проблема выделения на меня времени их занимала неизмеримо больше, чем риск, связанный с моим посещением. Но время всегда выделялось — для общения. А уж если в том была нужда — допустим, мне надо было переночевать, — то тут и говорить нечего. Изя умер, когда я жил в эмиграции, Леночка хоть и не очень здорова, но, слава Богу, жива и работает не менее напряженно и никак не менее интересно, чем раньше. Из всех моих старших, другими словами, «ифлийских» друзей (к ним я отношу и Слуцкого, который никогда в ИФЛИ не учился) Лена и Изя были мне наиболее близки. Я имею в виду близость не идеологическую (тут мы изменялись в одном направлении, но не всегда совпадали по фазе) и даже не литературную (все-таки работали в разных жанрах), а более глубинную, человеческую, если так можно выразиться, эмоционально-культурную. У них обоих было то, что я когда-то назвал, говоря о давней Леночкиной повести (но черта эта присуща всему Леночкиному творчеству) «уважением к жизни».

Сегодня и по этому поводу можно иронически улыбнуться. Дескать, подумаешь, кто этого не знает! Кстати, я

вовсе не уверен, что современная тусовка это знает. Это не совсем то же, что уважение к велениям своей левой ноги (именуемой в их среде личностью) или к работе органов внутренней секреции. Нет, я имел в виду нечто другое: уважение к жизни, определяющей человеческую судьбу, ощущение этой судьбы, причем отнюдь не элитарной, а обыкновенной, как определяющей жизненной ценности.

Изя много занимался историей революции, общественной мысли, с нею связанной, и очень интересно рассказывал об этом. При любой его ориентации его ощущение исторических деятелей было всегда объемно, история оживала во всей ее драматичности. Уважение к жизни, другими словами — к людям, не покидало его никогда. Я помню его ответ на чьи-то сетования, что народ плохо относится к интеллигенции:

— А что вы хотели! До революции простой человек видел в студенте заступника, который о нем думает, всегда готов помочь... А теперь — кого он видит в студенте?

Это правда. Не знаю только, можно ли в этом винить интеллигенцию. Думаю, что это разобшение — одно из достижений советской власти. И знаю твердо, что это беда. Особенно остро и трагически она проявилась в полной ее неготовности к перестройке, к тому, чтоб вести себя как элита, а не как отдельная группа. И не так уж удивительно, что ее наследницей стала тусовка.

Я не помню ни одного человека (и сам им не был), кто бы тогда заметил это явление. Мыслящая интеллигенция была всегда под ударом, всегда подвергалась шельмованию власти и, что ни говори, восстанавливала и спасала ценности, так что как будто критики со стороны своих не заслуживала. Но Изя видел шире. Конечно, ни перестройки, ни беспомощности интеллигенции в судьбоносные моменты он, как и те, кому он тогда возражал, не предвидел, но видел кое-что и за пределами одолевавшей всех нас злободневности...

А злободневность одолевала не случайно. Ведь встречались мы в трудные для честного человека дни. За спиной — антикосмополитская кампания, впереди — нависавший «процесс врачей», которого никто из нас не предвидел (патологическую надо было иметь для этого фантазию), но все мы дышали той гнетущей атмосферой, в которой вполне можно было объявить нечто подобное. Атмосферой, воз-

воззрения не могли объяснить. И дело не только в нашем происхождении — естественно, никому не нравится, когда его ни с того ни с сего начинают поносить и шельмовать; но и само мировоззрение трещало. И люди наверх выходили слишком ясные в своей низости. Для них и антисемитизм был способом продвижения. И они захватывали командные высоты. Как это можно объяснить?

Впрочем, мне было легче — я освободился от Сталина. И, естественно, защищая свои взгляды, был убедителен. Даже в рамках мировоззрения. Со мной не соглашались, но возражали мне вяло. Кстати, напоминаю: критика в рамках мировоззрения была делом самым опасным. Ибо она ставила под вопрос легитимность сталинщины.

Времена были страшными. И отнюдь не только для евреев. Люди сокращали общение до минимума. И дело даже не в недоверии — просто из слишком тесно общающихся Лубянка в любой момент могла создать организацию, любого знакомого могли арестовать и тебя к нему пришить. Необщающийся или общающийся только организованным порядком народ — это, видимо, было мечтой Сталина, которую он стремился воплотить в жизнь. Впрочем, свое окружение он довел до такого состояния. Но мы, слава Богу, не были его окружением. Люди мало общались, но я, приезжая ненадолго, общался со всеми, с кем мог. Так что многие друг о друге узнавали от меня. Но такой способ жизни накладывал отпечаток — людьми овладевало и прямое недоверие к хорошим знакомым. И все боялись за меня. Выглядело это часто смешно. Икс, узнав, что я посетил Игрека, настораживался:

— И там ты говорил то же самое, что здесь?

И услышав утвердительный ответ, восклицал:

— Сумасшедший!

То же происходило на квартире Игрека. И все получали от меня информацию о надежности друг друга — таким образом, я становился связующим звеном в человеческих отношениях. Политических тогда просто не бывало — их выдумывало МГБ.

Особняком среди моих тогдашних встреч стоит моя встреча с Владимиром Солоухиным. Особняком не потому, что теперь о нем — после двух его последних книг «При свете дня» и «На последней черте» — многие и слышать не хотят.

Для этого есть основания. Хотя в обеих книгах есть хорошие страницы. В первой, «При свете дня», посвященной Ленину, хороши прежде всего страницы о Ленине. Не только они, но и о той российской действительности, которую он загубил, но речь сейчас не об этом — он вообще был подлинным писателем. Что же касается страниц о Ленине, то они печатались и раньше — это была одна из первых публикаций, десакрализирующих образ «самого человеческого человека». Но это заслуга, а не компромат. Беда в том, что эти страницы занимают мало места в этой книге. На большинстве остальных он занят тем, что стремится вывести преступления Ленина из его частичного (впрочем, он намекает на полное) еврейского происхождения.

Мысль простая и вредная: в российской беде виноваты инородцы, особенно евреи. Это неблагородно, неразумно и вредно — народам бесполезно думать, что в их исторических несчастьях виновны не они. Но, кроме того, это неправда — евреем из предков Ленина был только один из его дедов — доктор Бланк. А этого мало для таких грандиозных (и при всей опасности все равно несерьезных) выводов. Для производства впечатления необходимо, чтоб он был кругом евреем. И Солоухин «доказывает» это. Как? Довольно сложно — путем нагромождения неприкрытых и нескрываемых домыслов, которые он и не выдает за доказанные факты. Задача — не выяснить истину, а внушить ложь, которую он, по-видимому, считал полезной для возрождения страны. Это становится ясным после прочтения его следующей, последней, не побоюсь сказать, позорной книги «На последней черте».

Удручает вдруг посещающая его потеря исторического воображения. Она позволяет ему верить, что ЧК отравила Блока и Короленко. Словно ему невдомек, что отравлять дело суматошное, сложное и что никто не мешал бы ЧК расправиться с Блоком своим особым способом. Я вообще не знаю случаев, относящихся к началу двадцатых, когда бы ЧК прибегала к столь сложным способам избавления от тех, кто мешает. Да и кто такой был для них Блок? Малоизвестный в их кругах декадент — чего с ним церемониться? Если б это был Горький, или Кропоткин, или хотя бы широко известный поэт Надсон — тогда б еще можно было задуматься. Но их не отравляли. Могли б они поискать обходных путей, чтоб избавиться от Короленко, — но тоже

не искали. Революционная мысль еще до этого не дошла. Правда, Солоухин утверждает, что когда Короленко заболел, приехала из Харькова комиссия из двадцати видных врачей и... по приказу ЧК залечила его.

Но ведь это было невозможно. Я уж не говорю о том, что это было еще невообразимо для тех времен. Не было тогда той таинственной тотальности, как при Сталине. Чтоб целых двадцать видных врачей (а невидных близкие на порог не пустили — они ведь знали, кто есть кто) могли согласиться на такое — этого в тогдашней России произойти не могло. Я читал воспоминание одного врача-сиониста, арестованного после войны в Харбине. Где-то на пересылке он столкнулся с немецкими (!) генералами, справедливо или нет осужденными за военные преступления (надо полагать, не в последнюю очередь перед евреями). Один из них заболел и попросил автора воспоминаний (поскольку тот говорил по-немецки) сходить с ним в медпункт. Выяснилось, что ему нужна какая-то процедура или лекарство. И тут произошло нечто невообразимое. Охамевшая от тюремной безнаказанности медсестра наотрез отказалась помочь больному. Сказала что-то вроде того: «Буду я таким помогать!» (точно не помню, да и неважно). Харбинский доктор обомлел, но взял себя в руки и вместо перевода придал ее словам легальный оттенок. В том смысле, что, дескать, у них, к сожалению, то ли испорчено оборудование, то ли сейчас нет нужного лекарства. Но рассказываю я это для того, чтоб привести его заключающее рассказ об этом эпизоде предложение: «Я не мог перевести ее слова буквально, мне было стыдно обнаружить перед иностранцем, как низко пала русская медицина».

Конечно, судить об общем моральном уровне тогдашних российских врачей по этой медсестре несколько опрометчиво, но, с другой стороны, во времена, когда этот доктор жил в России, такая медсестра была невозможна... Однако привлечь сейчас ваше внимание я хочу не к этому. А к тому, что этот харбинский сионист, который уже по этой причине никак не выдавал себя за русского патриота, все равно с гордостью ощущал себя русским доктором, членом великой корпорации русских врачей и не мог уронить перед иностранцами представление о ее высоком моральном уровне, к которому он привык. А у Солоухина получается, что двадцать видных членов этой корпорации со-

гласились действовать во вред пациенту, да еще такому, которого сами чтили. И всю жизнь молчали об этом, хотя времена были смутные, и наверняка часть из них занесло в эмиграцию. Такие методы, свойственные временам Борджиа (только тогда они применялись тайно, через доверенных людей, а не с привлечением всей тогдашней «медицинской общественности»), по свойству своего характера смог применять только Сталин, и то когда стал всевластен. Чекисты начала двадцатых способны были на многое, не только на любую жестокость, но и на любой самый подлый обман (вспомните Агранова в «таганцевском» деле), но до такой изощренности в управлении людьми еще не доросли. Но для Солоухина все просто, поскольку среди чекистов много евреев. Да только ли чекисты! Даже Канегиссер, застреливший Урицкого, делал это, как придумывает Солоухин, «по заданию», дабы развязать «красный террор». Словно он, да и вообще кто-нибудь, мог заранее представить, что в ответ на выстрел эсера большевики могут начать расстреливать статских советников! Поскольку били по классу. Это продолжалось долго. В двадцатые годы в ответ на какую-нибудь «ноту Керзона» расстреливали профессоров (поскольку они того же буржуазного класса). Так было, но представить это заранее в 1918 году не мог бы никто, даже сами большевики.

Последняя книга Солоухина «На последней черте» куда страшней, чем эта. Это манифест нацистского антисемитизма. Справедливость требует сказать, что не только. Временами она переполнена острой болью за происшедшее с Россией, за оскудение русской жизни, особенно сельской. Она производит странное впечатление. Ведь Солоухин был не только талантливым, но и высокопрофессиональным писателем, а эта вещь названа романом, однако никакого не только романа, но и вообще никакой стройности и складности в ней нет. Такое впечатление, что издал ее не он сам: в здравом уме и твердой памяти книгу в таком виде он выпустить из рук не мог. Впечатление такое, что выпущена она не им и уже после его смерти. Или когда он был очень болен. Ибо она совсем не завершена — не только в смысле построения, но и внутренне.

Самое удивительное, что в этой книге с антисемитским заданием никакой ненависти к евреям или клеветы на них нет. В отличие от предыдущей книги, гораздо менее невин-

ной в этом отношении, но не доходящей до апологии гитлеризма, он вообще игнорирует категорию вины... Просто после революции, сильно ударившей по всем высшим классам России, в больших городах опустело много квартир, а евреи — ювелиры, зубные техники, ремесленники и т.п. — были больше готовы занять их, чем крестьяне. А дети этих евреев стали интеллигенцией — так образовалось «еврейское засилье». Не думаю, что это объяснение исчерпывающее, но, безусловно, оно имеет некоторое отношение к реальности. Об этом можно говорить. Конечно, противоестественная революция создавала противоестественные диспропорции. Но Солоухин ведь нигде не говорит, что эти «понаехавшие» евреи и, допустим, чекисты — одно и то же, что они действовали слаженно — одни террором освобождали места (в домах и в структуре жизни) специально для того, чтобы другие эти места занимали. Нигде не говорит и о том, что их дети плохо делали, что учились. Другими словами, он не разделяет здесь распространенного среди постсоветских антисемитов детективного представления о евреях как народе-заговорщике. Более того, многие евреи (из которых некоторые вовсе не евреи) ему нравятся больше, чем вроде бы близкие ему по духу «русачки-правачки» (по нынешней терминологии, «левачки» — все смешалось в доме Облонских).

И вот вывод, без ненависти, без клеветы, а только из соображений статистики — Гитлер был в чем-то прав. Евреи представляются ему такой бедой и силой. Хотя в основном он доказывает «оккупированность» на примере работников, да и посетителей ЦДЛ — Центрального Дома литераторов — писательского клуба с рестораном.

Опасность эта настолько значительна, что он даже чтит Сталина как избавителя. А саму коллективизацию и раскулачивание он прощает как инерцию революционного духа, которую «бедный» Сталин не мог преодолеть в один прием. При этом игнорируется все, что описывается и говорится и в этой, и в других книгах Солоухина — что коллективизация и раскулачивание как раз и были тем фактором, который разрушил все устои русской жизни. Внушать, что Сталин не был единственным, хитрым и изворотливым инициатором этого губительного мероприятия, можно только тем, у кого руки не доходят до знакомства с материалом. И хотя я отнюдь не оправдываю «настоящих революционеров», но

они только («только» это огромно, но не по сравнению с коллективизацией, раскулачиванием и внеэкономической индустриализацией) создали условия, при которых Сталин смог осуществить (из сугубо тактических соображений) это супертотальное мероприятие.

Беда нынешнего русского национализма (а без подъема национального чувства Россия не возродится) в том, что он никак не может изрыгнуть из себя Сталина, хотя, естественно, всегда спотыкается на коллективизации... Обычно выходят из положения «по-нашему, по-простому» — объявляют, что это инициатива Кагановича, с которым Сталин тогда еще ничего поделать не мог. Это и само по себе чушь (не такие у этих людей были отношения), но ведь потом он, по этой логике, мог с ним сделать все, что угодно — почему ж не отменил? Хотя бы после войны, когда все этого ждали. Да и свалил бы на Кагановича — тем более тогда он как раз сворачивал на антисемитские рельсы. Нет, не свалил и не отменил.

Солоухин по этому «кагановичскому» пути не пошел, а предпочел вопреки всему своему творчеству нивелировать это мероприятие: инерция, законы физики, ничего не поделаешь. Но инерция не может быть сильней толчка, ее породившего. Чтоб Солоухин не понимал нелепости таких построений, я, неплохо его знавший, представить себе не могу. Неужели он под конец жизни решил заняться откровенной пропагандой?

Неужели впрямь было так велико влияние на него главного героя этой книги, знаменитого фотографа с аристократической фамилией (уверен, что речь не о фотографе, а о художнике Илье Глазунове), который раскрыл ему глаза на эту величайшую опасность, приобщи к этой истине и даже «позвал на борьбу»? Правда, в конце «романа» этот герой оказывается довольно близким к органам. Это (хотя это и сразу было видно — оппозиционер, получивший по ходатайству «друга из МИДа» роскошную квартиру, где регулярно принимает иностранных дипломатов и корреспондентов) приводит автора в смятение — тем более тот чуть не подвел его под монастырь, дав некую книгу для распространения. Господи, сколько таких книг прошло через мои руки и через руки моих друзей, в том числе и самого Солоухина — мы их читали и передавали друг другу без всяких

«заданий»! Дело это было не совсем безопасным, но обыденным. А тут такая драма.

Но «роман» кончается словами благодарности этому фотографу, который, несмотря ни на что (в данном случае, на прямую подлость), хоть таким путем, но все же открыл ему истину. Такова эта книга, хотя чувствуется, что автору душно, как в тенетах, находиться под влиянием своего аристократического друга, но почему-то других истин он не находит. Повторяю, в книге есть не только это, не говоря уже о вошедших в нее замечательных и горьких очерках, написанных ранее. Но это — доминанта. Неужели с тем и ушел из жизни? Мне очень больно, что он до этого опустился, унизил до этого свой талант и свою боль.

Мне очень больно, ибо этого человека я всегда считал своим другом и он меня как будто тоже. И теперь все равно вспоминаю о нем хоть и с болью, но как о друге. Мы встречались не очень часто, но всегда радовались друг другу. У нас был общий взгляд на происходящее, ибо и меня интересовала не только Москва. И я тоже ощущал «Великий Октябрь» историческим несчастьем России. Собственно, и Глазунов привлек его отрицанием большевизма. К сожалению, многих отрезвление от коммунизма привело к опьянению антисемитизмом. Но даже когда он подвергся этому влиянию (он датирует это довольно точно), в отношениях наших ничего не изменилось. Я встречался с ним и в эмиграции, когда он приезжал в Америку. Он пытался даже мне помочь, заступиться за меня. Короче, я все равно считаю Солоухина своим другом, молюсь за упокой его души. И буду это делать до конца жизни. Конечно, теперь уже немного осталось, но это уже от меня не зависит.

А тогда нам обоим до смерти (конечно, если МГБ не подсобит) было еще очень далеко. И мне еще только предстояла встреча, с которой, собственно, и начались наши отношения. Прощание в общежитии было только их предысторией, завязкой. А то, что было до него, не было еще личностными отношениями...

Но завязка была, и мне захотелось встретиться с Солоухиным. Я знал, что он уже окончил Литинститут (он был моложе меня курсом), знал, что он часто печатает очерки в «Огоньке» (как выяснилось, он там работал разъездным корреспондентом), но абсолютно не знал, где его искать. И вдруг где-то прочел, что он назначен ответственным секре-

тарем приемной комиссии в Литинституте. И я отправился в Литинститут. Способствовало моей решимости то, что тогда были зимние каникулы и я не очень рисковал встретить знакомых — мало ли на кого можно было напороться, да и вообще слухи пошли бы: в моем положении лучше всего было «не возникать» — выражение более позднее, но точное... Но мне повезло, знакомых я не встретил. Даже Василь Тарасыча не было на месте. Даже незнакомых было немного. Но достаточно, чтоб расспросить, где размещается теперь приемная комиссия. Это подозрений вызвать не могло, мало ли кому могло захотеться стать писателем. В помещении комиссии застал двух молодых женщин, тоже мне незнакомых. Была еще там обитая дерматином дверь, за которой, видимо, заседало начальство. Спросили, зачем пожаловал. Я сказал, что хотел бы видеть Солоухина.

Женщины снисходительно улынулись:

— Ну знаете... Многие бы хотели.

Меня явно принимали за абитуриента, желающего лично познакомиться с членом комиссии. От таких они и должны были охранять, а то бы работать было невозможно. Я это понимал, но что мне было делать? Не вступать же в спор и не называть же себя (могли знать мою фамилию) — запечатлеться в их сознании мне не хотелось.

— Ну что ж, — смирился я, — может, и многие... Возможно, я оставлю ему записку?

— Пожалуйста, — сказали милые церберши.

И оставив короткую весточку: «Володя! Я в Москве. Позвони по телефону (следовал номер тети Розы). Эма» — я удалился.

К счастью (я слишком часто употребляю это слово, но ведь и впрямь везло), не доходя до «Шашлычной» (теперь вместо нее и всего квартала разбит скверик, отделяющий «Макдоналдс» от Тверского бульвара), я встретил группу знакомых студентов. Они были на первом курсе, когда меня забрали с третьего, и сейчас как раз кончали Литинститут. Но институт был крошечным, и полгода мы с ними все-таки проучились вместе, и поэтому знали друг друга хорошо. Завязался оживленный разговор: одно дело — понимать необходимость осторожности и совсем другое — встретить знакомых ребят... Я расспрашивал, что есть интересного в Литинституте — естественно, я имел в виду поэтов, поэзию. В ответ они назвали несколько имен тех, кто

выделялся своим талантом... Меня удивило, что среди них не было имени Евгения Винокурова. И спросил — вполне нейтрально:

— А Женя Винокуров как?

Ответ, который я получил, был странен, но, как мне кажется, характерен для литературной среды:

— Ну, Женя не в счет... Он вообще поэт.

Должен был возникнуть естественный вопрос: а чем тогда выделялись все другие, кого они назвали? Но его я задать не успел.

Тут важен не этот невысказанный вопрос, а их удивившая меня констатация. Винокуров отличается от прочих тем, что он поэт, но остальные тоже делают что-то хорошее в поэзии, и будучи лишены этого качества. Что это за логика? Что сей сон значит? На этом я и хотел бы остановиться подробнее.

Прежде всего это не логика, а психология.

Эти ребята кончали Литинститут, жили в литературной атмосфере, были достаточно образованны и умны, и прекрасно знали, что существует «гамбургский счет». И когда доходило до дела, то они знали, что Винокуров отличается тем, что он поэт на самом деле. Это делает им честь, ибо все свои лучшие стихи Винокуров написал позже. Но кем были другие, которых они хвалили? Я вовсе не утверждаю, что эти другие зря учились в Литинституте, что их не надо было принимать. Люди развиваются по-разному. Иногда человек подает надежды, но их не оправдывает. Об одном молодом тогда поэте Николай Глазков говорил так: «Он — вундеркинд: в тринадцать он писал лучше всех, а теперь пишет как в тринадцать». Литинститут никому не гарантирует литературного успеха, его диплом никому не присваивал звание прозаика, поэта и вообще писателя — только неопределенное звание «литературный работник». Но он давал квалификацию, развивал вкус... Многие его выпускники, не став писателями, потом успешно работали в разных редакциях и издательствах. И если у них были ум, вкус и вообще навыки, были вполне полезны литературе. Кроме того, литературе бывают нужны и поделки. Тогда преимущественно, но и в нормальной жизни тоже. Важно, чтоб они не заслоняли литературы, но это уже другой вопрос. Должен сказать, что в мое время Литинститут закончило сравнительно много настоящих писателей, но я никогда не

имел ничего против остальных, они были и остались моими товарищами.

Но ведь сейчас шел разговор не о людях, а о поэзии. Назывались имена людей, которых хвалили, говоря о поэзии, но поэтами при этом не считали.

Только через много лет я понял, что явление это гораздо более широкое, чем литинститутский междусобойчик (который имел место, но именно для Литинститута был в общем не очень характерен), и связано оно не только и даже не столько с советским строем. Это болезнь современной культуры — я бы даже сказал: мысли. Ибо это подмена мысли, внутрипрофессиональная (и потому противоестественная) шкала ценностей. Сегодня этого в России гораздо больше, чем при большевиках. В западном литературоведении довольно долго господствовало парадоксальное представление, что «критика» (так они называли литературоведение) может существовать и без литературы. И что вообще во всех жанрах главное — «профессиональность», которая может существовать и без того, ради чего эта профессия появилась. Разумеется, всегда были люди, которые этому сопротивлялись. Но этот центр мысли оттеснен на периферию культурной жизни этих стран. И у нас, когда открылись границы, поначалу кивали не на эту «периферию», а на то, что в центре. Благо и удобно. Не нужно ни сути, ни откровения — только «профессиональная художественность»... К счастью, в России теперь началось и сопротивление этому хаосу, причем блистательное и очень квалифицированное (см. отделы критики «Нового мира» и «Континента»), но пока это тоже на периферии — в центре тусовка...

А начинается все иногда с некоторой почти невинной «профессиональной» ограниченности, точнее, «ограниченность» — почти на бытовом уровне... Один мой покойный друг, человек, никак не лишенный ума и вкуса, каждый раз, возвращаясь из Дома творчества, начинал убеждать меня, что такой-то и такой-то как поэт вовсе не так плох, как я считаю. Между тем этот «такой-то» (речь, конечно, шла не о подлецах) ничего отличного от того, в осуждении чего он со мной раньше запросто соглашался, не написал, просто сидели в столовой за одним столом, тот оказался приятным собеседником, да и просто живым человеком: верил, что делает то, что надо, и другу моему очень не

хотелось его огорчать — даже мысленно. Должен сказать, что такой добротой я, как и многие мои друзья по Литинституту и помимо него, не обладал. Конечно, часто это не от «круга», а от характера — другой мой покойный друг, замечательный поэт, человек высочайшего вкуса В.Д.Берестов, вообще не любил огорчать кого бы то ни было, всегда находил примирительные формулировки... Иногда я от этого свирепел и орал:

— Валька, ты уже и мыслить стал вежливо! Перестань!

Он улыбался. Но иначе не умел. А в глубине души сохранял четкую строгость вкуса. Но таких, как он, — мало.

Далеко завела меня эта невинная в общем фраза. Она меня удивила, но мысли сейчас я излагаю иного времени. Тогда я и обдумать ее не успел. Ибо сзади, со стороны института, вдруг послышался чей-то крик:

— Эмка!

Я обернулся. К нам бежал Володя Солоухин в наброшенной наспех куртке и, по-моему, без шапки. Очень спешил. Бросились мне в глаза какие-то очень высокие сапоги (а может, и валенки), в которых он был... Видимо, в деревню собрался или в командировку — к декоративному «стилю а-ля рюсс» никакого пристрастия он никогда не имел. Он был очень рад, что меня не упустил... Я тоже был очень рад — и ему самому, и его радости. Обнялись.

— Эмка! Ты подожди... Я сейчас — только стол запроу, и пойдем, — выдохнул он, от волнения окая больше обычного.

Видимо, когда я в Литинституте разговаривал с милыми «цербершами», он тоже был там — в кабинете за дерматиновой дверью. И когда они передали ему мою записку, он тут же бросился меня догонять. Дело было почти безнадежным. Он не мог знать, что я задержусь с ребятами, а прошло минут десять. За это время я должен был уйти довольно далеко в любом направлении, исчезнуть в Москве, как иголка в стоге сена. И все-таки он бросился меня искать. И русское «авось» иногда творит чудеса — все завершилось удачей, мы встретились...

Я распростился с ребятами, Володя сбежал запереть стол, минуты через три он вернулся. И мы пошли.

Куда пошли, я не помню, это как-то стерлось из моей памяти. Помню только, что в конце концов оказались в маленькой комнатухе у Трубной, которую он тогда сни-

мал. Смутно мне сейчас даже кажется, что он предложил мне ресторан, а я объяснил, что лучше не надо — разумнее купить вино и еду и укрыться в каком-нибудь укромном месте. Фиксация такой встречи грозила неприятностями и ему, а уж мне — и говорить нечего. Это вполне могло быть преподано как демонстрация. Впрочем, я не уверен, что мы тогда были столь благоразумны. Все-таки, может, побывали и в ресторане. Но это я бы, наверное, запомнил — ибо столичный ресторан был для меня тогда экзотикой. Не думаю, чтоб мы к ней стремились. Стремилась мы не пировать, а — поговорить. Вот когда обретает подлинную весомость утверждение Сент-Экзюпери, что общение — высшая роскошь. И мы роскошествовали.

За мной был опыт, который, с одной стороны, был ему нов, представлялся, как и всем несидевшим, абстрактно, а с другой — сближал меня с ним. Что ни говори, и я теперь знал деревенскую жизнь не понаслышке. Конечно, происхождение мое крестьянским от этого не стало, но взаимопонимание увеличилось.

В отличие от упомянутого выше мужа моей приятельницы, он жадно расспрашивал меня обо всем, что я видел, и его это живо интересовало. Ни я, думаю, и ни он еще не отказались тогда ни от советской власти, ни от коммунизма. Но мы говорили о жизни. Даже не о коллективизации вообще, а о том, что из нее получилось — о том, что мы сами видели и знали. И о поэзии. Я ему сказал, что любил Твардовского. Он тоже. Многие удивятся — дескать, что такому вообще любить. Но ведь в литинститутские годы он вовсе не был чужд изыска — его и в модерн затягивало. Кстати, и самого Твардовского тоже, над чем он сам потом открыто иронизировал в каком-то автобиографическом очерке. Все мы, и я тоже, отказывались от модерна, когда у нас появлялась потребность сказать и выразить то, что мы инстинктивно ощущали ценностью. Развиваясь, мы оба пришли к Твардовскому.

Я пожаловался на то, что почему-то не могу достать его книг. Тогда Володя снял с полки две его книги — «Поэмы» и «Книга лирики», в сущности вобравших все, что к тому времени было написано и издано поэтом, — и подарил их мне. Конечно, приобрести эти книги ему было проще, чем мне их достать, но все же эти книги он сам любил и сейчас отрывал от себя. И для меня это был воистину царский

подарок, ибо дорогá ложка к обеду. Это было то, что мне было тогда нужно. Твардовский мне нравился и до этого, но многого — особенно это касается стихов — я тогда еще вообще не знал, да и в то, что уже знал и любил, впервые смог теперь вникнуть по-настоящему. Приобщение к Твардовскому очень помогло мне в последующие годы продержаться на плаву в профессиональном смысле — не чувствовать себя отделенным и даже вырабатывать «свою эстетику», точнее, утверждаться в своем взгляде на поэзию.

Ушел я от Володи поздно, в сущности, мы провели с ним весь день. Этот день в январе или феврале 1951 года я никогда не забывал и не забуду. Хотя, казалось бы, о чем речь? Посидели, выпили, закусили и поговорили. Да и с самим Солоухиным у нас это потом бывало не раз. И еда бывала вкусней, и вино получше, и беседы не хуже. Даже серьезней — ведь тогда, в пятьдесят первом, Володя, хоть уже считался и был талантлив, — не написал еще ни одного из своих наиболее значительных произведений. Тогда мы оба только еще нащупывали то, что поймем только потом, и это накладывало отпечаток на нашу беседу и сегодня — на воспоминание о ней.

Но день на день не похож. Никогда больше не было пятьдесят первого года, моей неприкаянности, нависавшей опасности, и прозрения тоже нависали. Этот день был и навсегда остался в моей жизни и памяти. И всегда для меня он будет перевешивать все то отрицательное, что связано с его именем. Хотелось бы с ним поговорить, все выяснить, поругаться (и не разругаться все же), но это не в нашей власти. Остается только одно — молиться за упокой его души. Мир праху твоему, Володя.

Мой рассказ о своем первом после ссылки приезде в Москву подходит к концу... Мне хотелось бы рассказать о каждом, кто меня тогда принимал и привечал. Пропустить кого-либо — грех, ибо я в этом очень нуждался, а люди, что ни говори, рисковали. Но человеческая память — аппарат несовершенный... И если я о ком-нибудь забыл упомянуть, пусть они простят меня и все равно примут мою благодарность.

Активистов тусовки мой рассказ должен раздражить. Их слепое, корыстное и натужное презрение к людям предыдущих поколений должно быть оскорблено моим отношением к товарищам. Но, как любил говорить мой покойный

друг Михаил Дудин: «Пройдет и это». Ничего не поделаешь, мои друзья жили в страшное, невероятное время, но были хорошими и значительными людьми. Такими они и останутся в истории, если таковая не кончилась.

Но сколько веревочке ни виться, а надо было ехать в Киев — повидаться с родителями и друзьями... С этой целью я приезжал в Киев не раз и не два — и до, и после этой поездки. Но эта поездка отличалась от остальных. До и после нее я приезжал оттуда, где жил и куда потом должен был вернуться. Теперь я не жил нигде — приезжал туда практически ниоткуда, не имел права жить там и не знал, куда оттуда уеду. Впрочем, кажется, тетя Роза уже объяснила мне — пока в общих чертах, — что мне имеет смысл поселиться в Калуге, но это еще не было реальным планом и на моем настроении не сказывалось. И об этом вообще потом. Таким было мое положение, но это не значит, что я был расстроен или подавлен. Ничего подобного. Я уже привык к неопределенности своего положения — меня несло.

Снова в Киеве

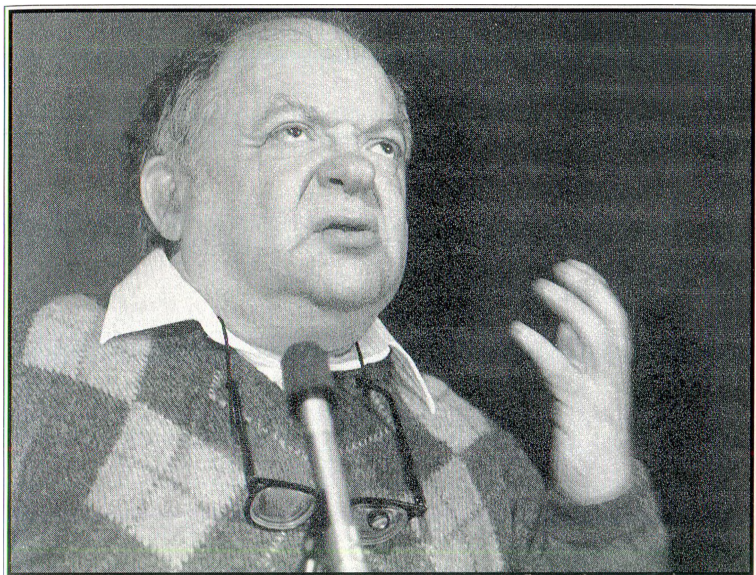
Я отправился на Киевский вокзал. Билетов, как всегда, не было, но у одной из касс теснилась очередь. Выяснилось, что здесь компостируют билеты по справкам об освобождении. Я решил опять попытать счастья, и по этой справке, где значилось, что я «следую» из Чумакова в Тюмень, я закомпостировал приобретенный в Свердловске билет в Белую Церковь. Никто на это и внимания не обратил. Кстати, напоминаю: билет в Белую Церковь, где жить я имел право, но куда ехать не собирался, я купил для конспирации — чтоб замаскировать свое намерение оказаться в Киеве, где жить мне было запрещено, чтоб получилось, что я сошел как бы невзначай по дороге или того лучше — для пересадки. А Белую Церковь я выбрал именно потому, что прямых поездов из Москвы, проходящих через Белую Церковь, не было вообще. Но и здесь вышло затруднение (для меня — другие его и не заметили). Пассажирам, которым предстояло ехать дальше Киева, билеты на поезда Москва—Киев не компостировались, а мне согласно билету надо было ехать до Фастова — оттуда отходила ветка, на которую сворачивали поезда, проходящие через Белую Церковь, — в основном они выходили из Киева... Поэтому самым удоб-

ным для меня был бы поезд Москва—Киев. Тогда бы и вопросы не возникали. Но он отпадал. И опять возникала опасность привлечь к себе внимание, что меня никак не устраивало — тем более что Киев, по моим представлениям, всегда отличался особой склонностью к бдительности...

Но когда я робко сказал кассирше, что мне было бы удобнее сделать пересадку в Киеве, это ей не показалось подозрительным — ведь это и впрямь было удобнее — и против моих ожиданий, она без звука закомпостировала мне билет на поезд Москва—Одесса до Киева. Естественно, до Киева же я оплатил и доплату за «скорость» (может быть, и с плацкартой — теперь не помню). Вот такие были у меня переживания и опасения... Конечно, это была перестраховка. Сойти в Киеве я мог и закомпостировав билет до Фастова — зато без лишних объяснений, которых я тоже старался избегать. Да, это было бы проще — думал я, — но где? У кассы, при компостировании, где никто никого не видит... А в вагоне? — там ведь все друг у друга на виду. Там вполне может привлечь внимание такое несоответствие — зачем человек платил лишнее, если выходить ему раньше? То, что лишнее это были копейки, роли не играло — важно было не привлекать внимания.

Был ли я прав, так опасаясь всего? Трудно сказать. Мои опасения были нелогичны, но ведь и обстоятельства, которых я боялся, не подчинялись логике, и были вполне реальны. Конечно, у страха глаза велики — и тогда далеко не все были столь внимательны к чужим делам. Но ведь всех и не нужно было. Достаточно было бы одного бдительного, и я бы опять «загрел».

Однако успех моей «конспирации» превзошел все ожидания. В вагоне проводник был обеспокоен только тем, чтобы я не остался в вагоне после Киева. И несколько раз строго предупреждал меня, что компостер и «скорость» у меня только до Киева, и там я обязательно должен выйти. Я покорно соглашался. Он мне вроде верил. Но облегченно вздохнул только в Киеве, когда увидел, что я действительно выхожу и меня встречают — следовательно, выхожу всерьез. Он был нормальным человеком. Мелкое несоответствие между моим билетом и компостером беспокоило его только потому, что это могло соблазнить меня и не выйти в Киеве, а это могло затруднить его положение... Ведь в Киеве мог прийти с билетом на мое место другой пассажир, а





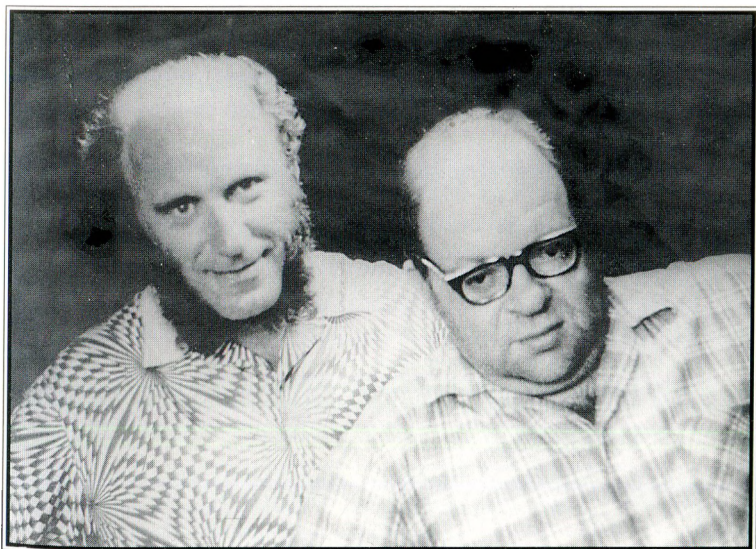
С другом Риталием Заславским, Киев



В гостях у Кайсына Кулиева в предгорьях Эльбруса



На киностудии "Мосфильм", 1969 год



С Меликом Агурским



С Аленом Гинзбургом, Андреем Вознесенским и Людмилой Штерн



С Александром Галичем и Владимиром Максимовым



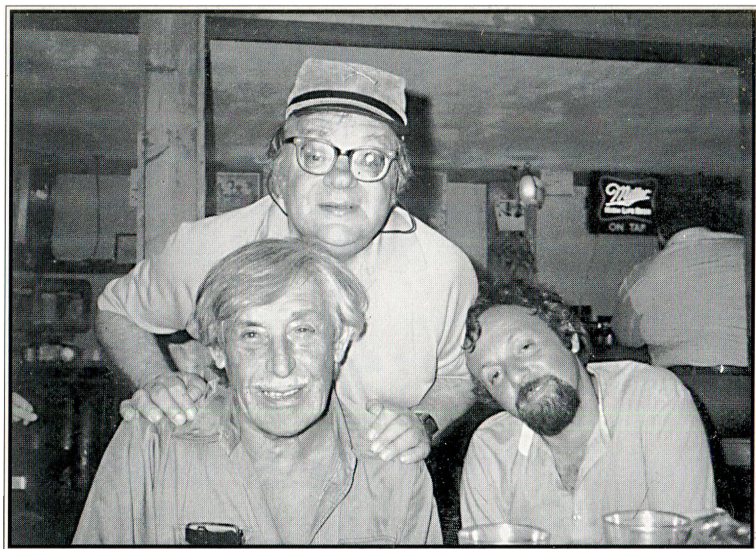
С Владимиром Войновичем и Виктором Некрасовым



С Любой в США, начало 1980-х



С Бенедиктом Сарновым



С Виктором Некрасовым и Михаилом Маргулисом



С Булатом Окуджавой и Фазилем Искандером, Вермонт



С Робертом Риделем в Германии, 2000 год



Деревня «Москва» в Вермонте



*А. Тмарченко, А.Д. Сахаров, А. Горлов, Г. Тмарченко
в доме Янкевичей*



Встреча в аэропорту «Шереметьево». Первый приезд в Москву в 1989 году. С Валентином Берестовым и Николаем Нагорным



С Мариной и Валентином Берестовыми



С Булатом Окуджавой



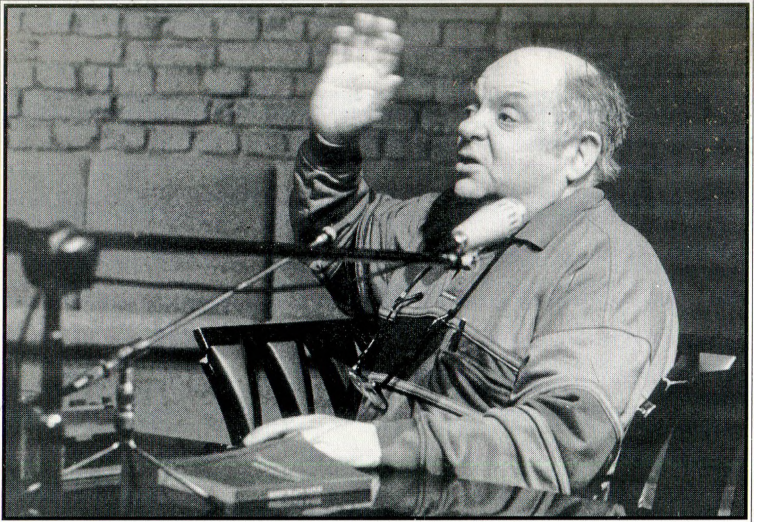
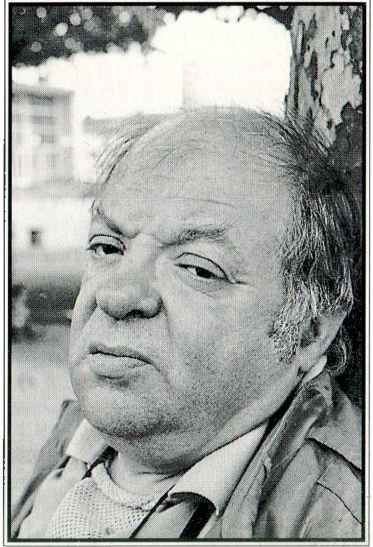
*С Иннокентием Смоктуновским
и Булатом Окуджавой*



С Фазилем Искандером



С Юрием Щекочихиным и Любой



кому нужны лишние разборки и вообще упущения по службе? Ловить же непрописанных, если они не выглядели «мазуриками» (поездными ворами) и у них были на руках билеты, он своей обязанностью явно не считал... Бдительности «в наших массах» было явно недостаточно — как сетовали тогда «сознательные» гэбэшники. И вправду, сколько их ни натаскивали, большинство оставались людьми. Я это знал и чувствовал... Но правила безопасности я старался соблюдать — знал, что было с чего осторожничать и чего бояться... Мои товарищи — и в Москве, и особенно в Киеве — тоже.

Тем не менее в Киеве на перроне меня встретили Яша с Людой и Ритик. Конечно, ситуацию понимали мы все. Поспешно обнялись. Яша деловито схватил мои вещи, и мы двинулись. Доехали мы быстро на троллейбусе, который теперь останавливался возле Золотых Ворот, прямо напротив Людиного дома (теперь они с Яшей поженились и жили здесь вместе). В дом входили, соблюдая некоторую осторожность, но вряд ли она имела значение — посторонних мой приезд не заинтересовал... Отпраздновали мой приезд, довольны пообщались, а потом пошли к моим родителям. Тут уже осторожность соблюдалась тщательней и была не лишней... Кто-то побежал вперед и предупредил родителей, они заранее открыли дверь, и мне удалось прошмыгнуть в их комнатку незамеченным. Опасались соседей, даже живших в нашей довоенной комнате, довольно милых людей, с которыми мать ухитрилась испортить отношения. Но были и совсем не милые — так что опасаться следовало в любом случае. Так было каждый раз, когда я к ним приходил. Или встречались мы не у них, а у двоюродной сестры Люси, у которой, помнится, я тоже тогда и в другие приезды иногда жил — так сказать, «скрывался». Ни дать ни взять — подпольщик, террорист, сбежавший с каторги! А не лопух, с разрешения начальства вернувшийся из краткосрочной ссылки, у которого всех тайн — «только» сам факт своего существования! Ибо если вспомнят — могут посадить.

Иногда я слышу (от желающих верить, что Россия всегда была «такая»): «Подумаешь! Если бы ты при «старом режиме» приехал в Киев без «права жительство», было бы то же самое». Нет, все-таки не то же самое! Да, я бы рисковал, но только штрафом и высылкой домой. Не такое уж это, конечно, «только» — узаконенная дискриминация. Она унижительна. Для всех. Но больше всего для тех, кого дис-

криминируют — хватают за шкурку и волокут в участок. Но никому это безобразие не грозило полным крушением жизни, тем более крушением повторным, крушением робкой попытки хоть за что-то уцепиться и жить.

Теперь она грозила — и никто в этом не сомневался, — хотя мне вроде и сталинский закон запрещал только постоянную прописку в таких городах, как Киев, посещать эти города он не запрещал. Но какое это имело значение? Посадили бы меня не за посещение Киева, а за то, что годился в «повторники» и попался на глаза. Видит Бог, моему отцу, не имевшему до революции «права жительства», но тем не менее неоднократно и тогда посещавшему Киев, ничего такого не грозило. Впрочем, вообще обходилось без неприятностей. Слава Богу, и со мной обошлось — не попался.

Но это не значит, что все мое пребывание в Киеве было наполнено только или преимущественно страхом. Страх был только фоном, на котором происходило все остальное, только присутствовал при всем, что происходило. Нет, я не собираюсь преуменьшать значение этого «фона». Но все-таки главным, что происходило, была радость встречи и общения. И она затмевала страх. И эта радость запомнилась больше всего.

Я не случайно упомянул об общении — были беседы, разговаривали много и почти все на запрещенные темы. Как и в Москве, обмен пережитым в отрыве друг от друга... Нет, мы не «точили мечи», не «собирали силы», не «готовились к будущей схватке» — вообще вели себя не так, как нас учили революционно-романтические книги и учебники нашего детства. Какой-нибудь «герой-победитель шестидесятников» (их теперь тьма) обрадуется: «Ну да, я так и думал — болтали! только на это и были способны»... Что ж, он прав — только на это. И очень жаль, на это были тогда способны отнюдь не все. Болтали — потому что старались что-то уяснить для себя — преодолеть давление сверхтотальной лжи и сверхтотального террора (тотальными они были у Ленина — Троцкого и Гитлера). Расплата за эту «болтовню» предусматривалась статьей 58/10, иногда с добавлением статьи 58/11 (организация — это если беседы происходили в более-менее постоянном дружеском кругу). Вся мощь государства была направлена против того, чтоб люди могли осознать себя и почувствовать друг друга, против общения, против дружбы... Не терпел великий вождь дружбы — ни вообще, ни особен-

но рядом с собой. Все ему казалось, что там, где собираются двое, там его и поносят — переоценивал он нас, но отчасти был и прав. Так что это было тогда очень важно и совсем непросто — «болтать» о том, что волнует... Это сохраняло очень многое и защищало разум от облучения прострацией, защищало мысль... Даже если мысли наши были еще в плену идеологии. Не должно было быть никакой.

Итак, и в Киеве я в основном разговаривал. А о чем? Естественно, о том же, что и в Москве, — всех волновало одно и то же. Но проблема антисемитизма занимала здесь больше места. И не только потому, что здесь я почти не выходил за пределы еврейской среды. Просто здешний антисемитизм был душнее и спонтаннее московского. Сказывалось и наследие нацистской оккупации, и многое, чего я касался уже в третьей части этой книги... Так что легализация антисемитизма антикосмополитской кампанией нашла здесь горячий отклик. Это отнюдь не значит, что он был тотален. Лучшие украинские писатели — например, поэты Павло Тычина, Микола Бажан и Максим Рыльский — не принимали в этом шабаше никакого участия, старались сгладить его последствия. Но справиться с обстановкой они не могли. Казалось, что на них прервалась «связь времен», остановилось движение украинской культуры. Разряжаться эта обстановка стала только к концу пятидесятых, когда в культурной жизни появились «украинские националисты» — Лина Костенко, Юрий Петренко, Владимир Пидпалый, Виталий Коротич, Иван Дзюба, Иван Драч, Дмытро Павлычко и другие — целая плеяда талантливых поэтов и интеллектуалов, восстановивших эту почти утерянную связь... Но тогда, в 1951-м, о них еще и слышно не было. Свирепствовал Андрий Малышко, человек способный, но не просветленный по сравнению с другими «хуторянами», как их потом называли «националисты». Виктор Некрасов (с которым, правда, я познакомился несколько позже, и не в Киеве, а в Москве) называл их «малышкеюгенд» — дело не в названии. Важно, что это давило и занимало.

А что еще я могу вспомнить о Киеве 1951-го? Если говорить о событиях — ничего. А что было? Были старые друзья, верные и в опасности. Все, кого я назвал, и школьные: Тамара Стояновская, Женя с семьей, Люсик Мамут, Белла Черняховская и другие. Все они тепло встречались со мной, вели откровенные разговоры. Представление, что в

те времена все боялись друг другу слово сказать, сильно преувеличено (в то же время, как в моем случае, могли наступать и те, с кем ты вообще не разговаривал). Познакомился я и с новыми для меня, то есть приобретенными за время моего отсутствия друзьями и подругами моих друзей, в одну из которых я даже влюбился.

Все это было. И еще был зимний, но какой-то уже предвесенний Киев с тем густым, мохнатым и влажным снегом, какой, как мне кажется и теперь, бывает только в Киеве и только в эту пору... Таким город моего детства я последний раз мог видеть только в отрочестве, в начале 1941-го, десять лет назад (в студенческие годы я часто бывал в Киеве, но не в эту пору). Десять лет составляли тогда две пятых всей прожитой мной жизни, а сознательной — не меньше, чем три пятых, — срок изрядный. Да и как много вместились в эти десять лет! Все это создавало особое настроение, крайним выражением которого и была эта влюбленность. Потом, уже в Калуге, я написал несколько стихотворений, объединенных в цикл «Влажный снег», которые я и теперь печатаю. Правда, когда я их недавно перечел, я немного пожалел об этом — мне показалось, что кое-что в них надо было бы доделать, а кое-что из них просто выбросить. Строки, вызванные чувством, не всегда несут в себе это чувство. Но я пишу не об этих стихах и даже не об этой влюбленности, а о своем тогдашнем состоянии. Наиболее сжато, по-моему, его передает начало последнего стихотворения этого цикла:

А это было в настоящем,
Хоть начиналось все в конце.
Был снег, затмивший вас.
Кружащий.
Снег на ресницах. На лице.
Он нас скрывал от всех прохожих,
И нам уютно было в нем...
Но все равно — еще дороже
Нам даль была в уюте том.
Сам снег был далью... Плотью чувства,
Что нас несло с тобой тогда.
И было ясно, было грустно,
Что так не может быть всегда.
Что жизнь не даст, чтоб так надолго,
Что ждут за далью снеговой
Твои привычки, чувство долга,
Мой быт меж небом и землей...

Цитирую я здесь только первую половину этого стихотворения не потому, что считаю его плохим (от него при всей его наивности я, в отличие от некоторых других стихотворений этого цикла, вовсе не думаю отрекаться), а лишь потому, что вторая его половина не имеет прямого отношения к моей нынешней теме. Но должен оговориться. В последнем (из цитируемых) четверостишии первая и четвертая строки даны здесь в первоначальном варианте. До этого я публиковал их в варианте «улучшенном». Теперь мне это «улучшение» очень не понравилось — приходится восстанавливать. Что ж, и на старуху бывает проруха.

Этот влажный снег может быть эмблемой моего пребывания в Киеве — нечто прекрасное, но непрочное, даже эфемерное такое, в самой радости своей содержащее намек на свою временность, на то, что все это вот-вот кончится, испарится... И в самом деле — нельзя же было бесконечно продолжать свой «быт меж небом и землей» — существовать без прописки, работы и какого-либо намека на устройство. Да и не планировалось это. Так что неудивительно, что в один прекрасный день друзья проводили меня назад, в Москву.

Это «возвращение» само по себе ничего не меняло в моей судьбе, висеть между небом и землей я вполне продолжал, но в Москве и тогда все-таки было больше возможностей. Одна из них — тоже потом оказавшаяся эфемерной — мне уже как будто светила. Называлась она — Калуга. Чуть выше оно уже мелькнуло в этом повествовании — в связи с тем, что именно там я написал несколько стихотворений, составляющих цикл «Влажный снег». И, по-моему, уезжая в Киев, я уже знал, что, вернувшись в Москву, потом поеду на жительство в Калугу.

Предложение это исходило от тети Розы. У нее там были знакомые. Его поддержала Ляля. У нее там в пединституте работал товарищ, кажется, даже родственник, которого я тоже знал. Родственники, к тому же колоритные (дядя с женой-француженкой), были там и у Рудака, Евгения Александровича Рудакова, полагаю, уже знакомого читателю. Сам Евгений Александрович, правда, как я уже отмечал, официально обосновался не в Калуге, но тоже в Калужской области, в Боровске. Все это в смысле перспектив было довольно неопределенно, но ничего более определенного я тогда и представить себе не мог. Так что поневоле верилось в это, и Калуга манила меня всеми своими неведомыми мне огнями.

Калужская попытка

Тогда электрички по Киевской дороге вроде уже ходили, но недалеко — только до Апрелевки. Железнодорожное сообщение между Москвой и Калугой ограничивалось одним традиционным «паровозным» поездом в сутки. Отходил этот поезд очень поздно — не то в час десять, не то даже в два десять ночи — с тем чтоб добраться до места не среди ночи, а в более приемлемое время — к утру. На нем я и отбыл строить оседлую жизнь. Вооружен я был для этого теплыми напутствиями, добрыми пожеланиями, одним адресом, одним телефоном, а реально — только письмом тети Розы своему знакомому с просьбой помочь. Причем тетя Роза была твердо уверена, что этот человек поможет. И скажу наперед: она не ошиблась — помог. Конечно, тем малым, что было в его возможностях, но помог. Добавлю только, что это малое имело для меня тогда колоссальное значение — в Тюмени оно бы избавило меня от «белого безмолвия».

Кстати, это знакомство само по себе представляет некоторый интерес. И было оно вполне в духе этой замечательной женщины. Ибо завязалось оно тогда, когда ее нынешний адресат увертывался от последствий раскулачивания, а может быть, и от депортации — то есть когда его существование на земле было вне закона. Насколько я помню, связана она с ним была только тем, что он приходился близким родственником, кажется, даже дядей ее тогдашней домработнице. И, конечно, причиной ее участия в нем были не эти «родственные связи», а то, что она увидела рядом достойного, порядочного человека, которого преследуют. То, что преследовала его та правящая партия, в которой она состояла, не имело для нее значения: хотя при случае могло ей сослужить дурную службу. Тогда в СССР оказаться «защитницей кулака» было таким же ритуальным преступлением, как вскоре в гитлеровской Германии «защитницей евреев» — и те и другие не имели права на существование и сочувствие.

Справедливость требует напомнить, что «старая гвардия» в целом — разумеется, в частном порядке, в своем кругу — относилась к раскулачиванию, а тем более к депортациям, отрицательно. Ни на политическом поведении, ни на ис-

полнении функций это, конечно, не отражалось, но даже мне известно много случаев, когда ее представители (в частном опять-таки порядке) кого-нибудь выручали, усыновляли детей и т.п. Это «природные» большевики, а тетя Роза все же в прошлом была эсеркой. Впрочем, сказывалась не партийность, а натура, чувство справедливости и сострадания, не увядшие от диалектики чувства долга и достоинства. К ней никак нельзя было отнести горькие (хотя, может быть, и не совсем справедливые по отношению к себе) слова Пастернака: «Но я испортился с тех пор, /Как времени коснулась порча». Ее эта порча не коснулась.

В чем именно она помогла человеку, к которому теперь направила меня, она мне не говорила, но, наверное, в чем-то существенном. Впрочем, для человека в его тогдашнем положении всякая помощь существенна — даже просто ночлег в Москве. Но, видимо, сделала она для него нечто более важное, ибо, отдавая мне письмо, она сказала:

— Обращайся к нему спокойно. Это хороший и надежный человек. Ничего, поможет — в свое время я ему тоже достаточно помогла.

Насколько я помню, она не знала его адреса, знала только место его работы и как звать-величать. Может, точно знала, что баня называлась, допустим, «Центральная» или «№1» (она и впрямь была расположена на одной из центральных улиц, которая вела к ней прямо с вокзала), но нашел я его легко и быстро. Конечно, прибыл я для таких поисков слишком рано, и мне пришлось некоторое время, оставив вещи в камере хранения, побродить по городу. Но в нормальное время явился в баню. Там спросил, как найти заведующего (я назвал его по имени-отчеству, к сожалению, теперь, как и фамилия, начисто забытых мной), и мне показали дверь в его кабинет. Чувствовалось, что его здесь уважали. Я постучался и вошел. За столом сидел худощавый собранный человек с лицом одновременно и добрым, и строгим. Он вопросительно поднял глаза.

— У меня к вам письмо от Розалии Ефимовны, — ответил я на его невысказанный вопрос и подал конверт. При звуках этого имени лицо его осветилось улыбкой, и он внимательно прочел ее короткую записку. Потом осведомился о ее здоровье и житье-бытье и сказал:

— Вы пока погуляйте немного, а потом в обед зайдите снова, и пойдем ко мне. У меня и остановитесь пока.

Пусть читателю эти его слова, сказанные свалившемуся ему неожиданно, как снег на голову, абсолютно постороннему человеку, не покажутся слишком сухими. Говорили между собой два человека, прекрасно понимавшие, что их встреча не должна привлекать внимание. Но этим человеком были сказаны именно те слова, которые и должны были быть сказаны и в которых я сейчас больше всего нуждался. И которых я так ни от кого и не услышал в Тюмени.

Естественно, в назначенное время я явился снова, и мы пошли. Тихий наш разговор по дороге я теперь восстановить не берусь. Новый мой знакомый выслушал мой краткий отчет о моей истории и настоящем положении более чем сочувственно и, особенно не высказываясь (многолетняя привычка!), дал понять, что хорошо понимает мое положение и состояние, что и сам испытал нечто подобное. Идти было недалеко. По этой улице, которая шла от вокзала к бане, мы дошли до другой, еще более центральной — тогда не то Ленина, не то Сталина, — которая спускалась к Оке. Немного побродив, я уже это знал. Как и то, что за Окой городских построек не было — был виден только заснеженный лес. Такой тогда была Калуга. Но повернули мы не направо, к нарядным зданиям и Оке, а налево, на продолжение этой «губернской» улицы, где стояли одноэтажные домики и все сразу приобретало почти деревенский вид. Не очень долго шли и по ней. Жил мой новый знакомый в одном из этих домиков по правой стороне этой улицы, аккуратном и прочном, под стать ему самому, явно собственной постройки. Но при этом очень недалеко от пересечения центральных улиц.

Встретила нас его жена, женщина, несмотря на долгую жизнь в городе, вида почти деревенского, строгая и радушная. Хозяин представил меня ей, сказал, что от Розалии Ефимовны. За обедом обсуждали мои невеселые дела. Конечно, в целом понять, что мне делать, они, как и я сам, не могли — слишком фантастическим был мой случай. Единственное, на что я мог претендовать, это на место уличного книгопродавца — благо такие, согласно прочитанному мной объявлению, требовались. Но и для этого надо было сперва где-то прописаться. Сошлись на том, что прежде всего я буду искать квартиру, а пока буду ночевать у них. После обеда я быстро съездил на вокзал за вещами, а потом пошел бродить по городу. Не помню, сколько дней я пользо-

вался их гостеприимством, но очень скоро я нашел себе жилье. Тем же способом, что и в Тюмени — по объявлению. Но с той серьезной разницей, что благодаря этим хорошим людям надо мной при его поисках не висела перспектива в случае отказа от самого неприемлемого предложения опять ночевать на вокзале. А это очень даже немало.

Говорили мы не так чтобы много. Дело было не в осторожности или несловоохотливости моего хозяина, а просто он предпочитал иные виды общения: быстрым взглядом, короткой репликой. Как ни странно, таким способом мы успели «поговорить» обо всем, и между нами установилось взаимопонимание по всем вопросам. В том числе и о коллективизации.

Поразительная вещь! Ведь к тому времени я отказался не вообще от коммунизма, а только от Сталина. И, скорее всего, только от «перегибов и искривлений» в коллективизации, связанных с личностью Сталина, а не с самой «линией». Но поскольку я уже кое-что повидал, и все, что я видел и слышал, относилось исключительно к этим «перегибам и искривлениям» или к их следствиям, то я сочувствовал всем, кто оказался жертвой этого «прогрессивного мероприятия», причем не просто как людям, попавшим в беду, а как жертвам несправедливой и нелепой жестокости.

И как было относиться иначе, если сам этот человек был наглядным доказательством этой нелепости? Я уж не говорю о правовой стороне дела, о том, что нельзя преследовать человека за деятельность, которая имела место, когда была разрешена и даже поощрялась*. Ибо власть эта устами своего основоположника сама объявила себя «не ограниченной законом». Я говорю о простой жизненной целесообразности (которую, собственно, и должен охранять закон, но не будем спорить с ленинской «философией права») — ведь этот человек, который меня приютил, был человеком, полезным любому обществу. Как сельский хозяин или городской предприниматель он бы наверняка достиг больших успехов, обогащал бы себя, страну и давал бы заработать на жизнь (полезным трудом) всем, с кем имел бы дело. Он явно обладал хозяйственной жилкой, здра-

* Первым (во всяком случае, в наше время) эту простую мысль высказал в одной из повестей Юрий Нагибин. Такую очевидность вроде и высказывать не стоит, но нашему сознанию все очевидности приходится восстанавливать. Они были отменены.

вым смыслом, органической порядочностью, вызывающей доверие и уважение окружающих, и вообще умением работать с людьми — умением их использовать на пользу дела и их самих. Такой тип человека, безусловно, представляет общественно-историческую ценность, он вырастился веками и является существенной частью потенциала любого общества, любой страны. Стремление его выкорчевать противостоит естественному. Оно самоубийственно для общества.

Многие такие люди потом вполне пристроились и выжили. Как мой знакомец в заведующих баней. Что ж, деятельность тоже осмысленная и полезная. Но все они не делали того, для чего были рождены, не говоря уже о том, что для того чтобы пристроиться, надо было уцелеть, а это удалось далеко не всем. Да и пристроившимся (если не в бане) надо было приобщиться к люмпенской психологии власти, к ее тотальному пренебрежению здравым хозяйственным и иным смыслом. Так что мой знакомый выбрал благую участь: баня, она при всех соцсоревнованиях — баня, там всегда должно быть вдоволь шаек, тепла и горячей воды. Разумеется, и это в советских условиях обеспечить было трудно, требовало некоторой разворотливости и даже дипломатичности. Но этими качествами мой хозяин вполне обладал, а дело было реальным и нужным. Показателями тут ничего заменить было невозможно. Так вот и жил этот человек — «в стороне от главной магистрали нашей жизни», как сказали бы тогда многие, да и я сам несколько лет назад. В стороне от зла и лжи нашего времени — как было на самом деле. И как я теперь отчетливо чувствовал. И пусть не до конца отчетливо, но сознавал. На этом и зиждилось наше мимолетное взаимопонимание.

С их квартиры я съехал очень быстро, дня через два или три. Поблагодарил за гостеприимство, ушел и больше не встречал (я ведь пробыл в Калуге очень недолго), но благодарность моя и какое-то щемящее уважение остались во мне на всю жизнь. Каких людей мы выталкивали на периферию жизни! А сами где оказались теперь?

Я жил у этих добрых людей, но старался несильно досаждать им своим присутствием — как мне теперь кажется, домик их состоял из одной комнаты. И, как в Тюмени, я большую часть времени ходил по городу. В сущности, это был первый среднерусский губернский город в моей жизни. Город мне нравился, «желтизна правительственных (си-

речь губернских) зданий» отдавала теплотой, хотелось войти в эту жизнь. Я ходил и читал объявления с предложением жилья и работы, и настроение у меня было мрачное. Объявлений о жилье почти не было, а работа предлагалась не та, с которой я мог бы справиться. А какая была бы *та*? Только вот разве устроиться книжным торговцем. Я боялся, что мне и там откажут (так потом и случилось), но для того чтобы хоть попытаться, опять-таки нужна была прописка, а для нее — надо было как минимум снять жилье. А оно не попадалось. Я писал, что нашел жилье быстро. Но это по нормальному ощущению времени...

Позвонил я, конечно, Лялиному родственнику, и он предложил мне встретиться на улице, у пединститута. Мы встретились. Он, естественно, ничем мне помочь не мог (что было чистой правдой), и я не был в претензии. Не припомню, пригласил ли он меня заходить — у Ляли он разговаривать со мной любил. Я несколько его за это не сужу. Калуга — город небольшой, а факультет языка и литературы в единственном пединституте — место заметное. Впрочем, он, кажется, просто был занят — не то экзамены начинались, не то защита была на носу — ведь встретиться со мной у дверей своего института он не побоялся. Это был вполне порядочный человек, и пишу я не о нем — просто рассказываю о своем тогдашнем состоянии.

Посетил я и дядю Рудака и его жену-француженку, порядочных пожилых людей. Приняли они меня очень приветливо, но реально помочь мне ничем не могли, будучи весьма далеки от моей «области»... Впрочем, жена-француженка напоследок сказала мне, что в отношении поисков жилья и вопроса о прописке мне может дать добрый совет их знакомый Kolá Smirnoff, тоже бывший зэк, как-то осевший в Калуге. Люди они были милые, по-старомодному порядочные, и можно только представить, что они должны были пережить в связи с его дворянским и ее французским происхождением. Думаю, что спасла их некоторая старосветскость и некоторая провинциальность Калуги. Они вежливо предложили мне заходить, но уж слишком мало связывало меня тогдашнего с ними. Тем более я закрутился, завертелся, все время курсировал между Калугой и Москвой, а потом и вообще уехал. Так что к ним я больше не заходил. А воспользоваться советами их приятеля Kolá Smirnoffa мне тоже не пришлось — с жильем и пропиской

дело у меня решилось само собой. И это ничего не решило, иначе бы я не уехал. Так что этого «Колю» Смирнова, к сожалению, я так-таки и не увидел. А жаль, наверное, хороший был человек — о нем я слышал много хорошего еще в Москве от Рудака. Короче, и этот визит ничего не прояснил в моей ситуации, не двинул сюжета. Но все-таки остался в памяти и душе еще одной деталью нашей общей трагедии.

Впрочем, тогда — и до того, как я снял квартиру, и отчасти после этого — мне было не до таких соображений... Я продолжал бродить по улицам, читать объявления, строить планы, и мои неприкаянность и одиночество не покидали меня ни на минуту — знакомые и приятели у меня появились, но много позже, незадолго до отъезда. Обедал я в чайной. И, безусловно, печать моей угнетенности, выражаясь по-старинному, «лежала на моем челе» и там. По ней и угадали во мне «своего» два урки, случайно оказавшиеся за одним столиком со мной.

— А у тебя какая статья в паспорте? Тридцать девятая? — почти сразу, после двух-трех общих фраз, спросил меня один из них.

— Нет, тридцать восьмая, — ответил я.

— А ну покажи!

Я показал. Он взглянул и стал меня пугать, что все равно мое дело труба — не пропишут. Урки вообще любили пугать «фраеров». Но потом урка смилостивился и в заключение сказал, чтоб я не «трухал»: может, и пропишут. Впрочем, все эти слова не имели для меня значения. Я и без урока знал, что все возможно — с тридцать девятой в Калуге почти совсем не прописывали, а с тридцать восьмой — «по усмотрению». Так что урка не мог меня ни напугать, ни утешить — моя судьба в Калуге зависела не от благоволения урока. В каком настроении я тогда пришел в эту чайную, в таком и ушел.

Вторая запомнившаяся встреча в чайной была более забавной. Однажды я зашел в эту чайную в обеденное время. Народу было много, все столики были заняты, но обеденное время кончалось, и места освобождались. В конце концов я оказался за своим столиком один. И вдруг среди столиков с причитанием: «Дай, родной, рубль, я тебе погадаю!» стала порхать пожилая цыганка. Кое-кто соглашался, и она ему гадала, но в целом улов ее был небогат. Народ

был в основном рабочий, проводил здесь обеденный перерыв и предпочитал истратить свой лишний рубль, если он завелся, на пиво, а не на посторонние цели. Неподалеку от меня сидел в компании высокий пожилой рабочий, по виду слесарь или крановщик. Она и к нему подкатилась:

— Дай, дорогой, рубль, я тебе погадаю.

Реакция его была мгновенной:

— Что?! Ты лучше дай мне рубль, я тебе погадаю!

Все вокруг, кто слышал эти слова — а сказано было громко, и слышали многие, — захохотали.

Но цыганка отнюдь не была обескуражена — умение терпеть такие обиды входило в ее, как говорят в Штатах, job description — перечень необходимых для данной должности качеств и умений. И ее невозмутимость была вознаграждена — быстрым профессиональным взглядом окинул зал, она обнаружила... меня! Хотя и улыбающегося, но явно чем-то удрученного. Для того чтоб это понять, не требовалось ее профессиональной изощренности и психологизма. Это и урки углядели. Да и любой, кто обращал на меня внимание, это видел. А тут — профессионалка! И она тут же подлетела ко мне:

— Ах, милый мой, хороший! Плохо тебе, да? Дай рубль, я расскажу, какая печаль тебе сердце гложет. Не печалься, дай рубль — помогу!

«Помогу!» — это против тех сил, с которыми я должен был иметь дело! Только ее ворожбы тут не хватало. Впрочем, я уже и без того был готов к сопротивлению, ответил жестко:

— Я сам знаю, какая у меня печаль.

Но цыганку это не отпугнуло.

— Дай рубль, расскажу, что с тобой было, — зашла она с другой стороны. Но это уже была тавтология. И ответ мой был соответственным:

— Я сам знаю, что со мной было.

Далее она за рубль предлагала мне сказать, как меня зовут. Эта уловка в контексте этого диалога была уже совсем беспомощной. Она явно проигрывала, и мой ответ:

— Я и так знаю, как меня зовут, — мог быть вычислен заранее, дискредитировал прием. Но цыганка не сдавалась:

— Дай рубль, я расскажу, что с тобой будет.

Это, конечно, могло бы меня заинтересовать — будущее мое было более чем туманно. Но слишком от многих факто-

ров оно зависело, чтобы ассоциироваться с возможностями цыганки. И я ответил в том же духе:

— Доживу — сам узнаю.

Короче, мною были отбиты все ее заходы. Но поторопится тот, кто решит, что я выиграл это состязание. Ибо цыганка круто изменила тактику:

— Ну, вот ты какой! Ладно. Дай мне рубль, у меня дети голодные.

Это был другой разговор. Предположить, что ее дети не слишком сыты, было нетрудно. И я дал ей рубль, отдать рубль голодным детям совсем не то, что истратить его на идиотское гадание. И не это я считаю своим проигрышем.

— Вот ты какой хороший! — умилилась цыганка. — А раз ты такой, я тебе тоже бесплатно погадаю.

Гадание меня не интересовало, но я согласился. Решил, что она в благодарность хочет на прощание продемонстрировать мне свое мастерство — чтобы я на собственном опыте убедился в ее силе; каждому хочется убедить других в силе своего искусства. Мое благодушное любопытство было тут же наказано.

— Сожми правую руку в кулак и положи ее на стол, — велела она.

И я подчинился — почему не положить кулак на стол?

— А теперь положи на этот кулак рубль и плюнь!

Начав починаться, я подчинился и этому. И тут произошло самое главное. Прежде чем я смог что-либо сообразить, она сгребла эту мою рублевку и запричитала:

— Правильно, молодец! И сейчас все выйдет... Только положи еще на кулак пятерку

Я уж было собрался класть и пятерку, но тут до меня дошло, что происходит. И я взревел:

— Пошла вон, старая карга!

Но она отступила не сразу (жалко было расставаться с уже почти побывавшей в руках добычей) и еще некоторое время пыталась меня успокаивать-уговаривать, но я посылал ее подальше в не менее энергичных выражениях. Это ее ничуть не расстраивало, но послужило для нее индикатором — она поняла, что добыча все-таки из рук ушла, больше с меня ничего не получишь, и придется довольствоваться двумя рублями. Тоже неплохо. Она спокойно убрала уже приготовленные карты в сумку и удалилась. Я был взбешен — так опростоволоситься! И все-таки мне было смеш-

но. И отчасти меня восхищала профессиональность обмана. Хотя использовать для обмана добрые движения человеческой души, по-моему, все-таки перебор. Даже в этой странной цыганской профессии.

Но возмутился, посмеялся и забыл — мне тогда было не до того, чтоб разрабатывать кодекс цыганской чести. Тяжесть моя оставалась при мне, я продолжал висеть в воздухе. Как я уже говорил, до и после моего устройства на квартире. Впрочем, об этом устройстве и об этой квартире стоит рассказать отдельно.

Хотя устроился я просто — увидел объявление, отыскал по указанному в нем адресу дом (он помещался отнюдь не в «губернской», а в глубоко одноэтажной части города), договорился и переехал. Как раньше в Тюмени. И дом этот тоже был недавней постройки. Но, к счастью, были и отличия, и весьма существенные. Начиная с того, что, переезжая, я тепло простился с приютившими меня на первых порах людьми и выслушал их сердечные пожелания. Ничего похожего, как, надеюсь, помнит читатель, в Тюмени не было. Но и сама квартира, и ее хозяйева были другими. Они гораздо больше соответствовали типу тогдашнего застройщика. Были людьми вполне положительными, и комната, которую они мне сдали, была не пустая, а хоть и скромно, но вполне нормально обставлена. Какая была в ней мебель, не помню, но она была — как минимум кровать, стол и стул. В ней можно было спать, есть и работать. Большого мне, особенно после Тюмени, не требовалось.

Не помню ни названия улицы, ни номера дома, где я жил. Помню только, что где-то по дороге или рядом была улица Циолковского и его дом, превращенный в музей. Побывать в этом музее мне не привелось — мне тогда было не до музеев, — но мимо этого тоже одноэтажного коричневого дома с вывеской проходить мне случалось не раз.

Когда через десять лет, уже в другую эпоху, мне опять пришлось побывать в Калуге, все для меня там стало неизвестным. Я просто не мог в ней ориентироваться, и если бы даже у меня было время (а его не было — я приехал туда в большой компании литераторов по делам, связанным с выходом «Тарусских страниц»), я бы все равно не смог отыскать этот дом, я даже не знал, в каком направлении его искать — так все переменялось. Может, его к тому времени уже и не было — снесли, а хозяевам предоставили другую

жилплощадь в новостройке — «хрущобе». Все может быть. Я не сужу. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, что снесли. Я только говорю, что в городе не осталось никаких следов нескольких нелегких, но памятных месяцев моей жизни.

Жизнь моя в Калуге, как я уже здесь предупреждал, не задалась — вскоре я вынужден был оттуда уехать. Но произошло это отнюдь из-за квартирных условий или квартирных хозяев. Если бы не экстренные обстоятельства, о которых речь впереди и к которым хозяева мои не имели никакого отношения, я мог бы там прожить и дольше. Правда, без всякого смысла — устроиться мне бы не удалось. Так что в каком-то смысле эти «обстоятельства» были даже к лучшему — раньше уехал. Но и к моему неустройству мои хозяева не имели отношения.

С ними, скажу наперед, у меня сразу установились и все время сохранялись, может быть, не слишком близкие, но вполне нормальные и ровные отношения. Были и две мелкие шероховатости (о них чуть ниже), но обе быстро уладились и не имели последствий.

Между тем людьми они были порядочными и — по крайней мере для меня — занятыми. Особенно хозяин. Его жена (назовем ее Лидой, ибо настоящее ее имя я забыл) была женщиной молчаливой и не очень доверчивой. Обе шероховатости произошли исключительно в связи с ней.

Первая была смешная. Время от времени они уезжали дня на два — на три погостить к ее родным (кажется, и к собственному ребенку, который у них воспитывался) — куда-то, кажется, под Сухиничи. И вот, впервые при мне уезжая, они — явно по ее инициативе — захотели «для верности» увезти с собой и мой паспорт. Чтобы я — мало ли что бывает? — ненароком не удрал, предварительно «очистив все в доме». Вряд ли я лично внушал ей такие подозрения — для этого требовалась не только безнравственность, но еще и некоторая лихость, с которой я вряд ли ассоциировался даже в ее сознании — душой не была. К тому же те, кто «очищает» квартиры, паспортами и пропиской не дорожат: могут оставить паспорт и обобрать квартиру. Наверное, это было понятно и ей, но мрачное недоверие, которое в ней жило, было сильнее ее разума. Впрочем, сама она мне этого требования никогда не предъявляла, а подсылала своего мужа Лешу (его имя я запомнил), который в этом отношении был у нее «под каблуком». В первый раз это меня

рассмешило, и я эту его просьбу легко удовлетворил. Но во второй — это, кажется, было на Первое мая — отказался. У меня появились приятели, которые объяснили мне, что это совсем не смешно, что паспорт надо всегда иметь при себе и что отдавать его в чужие руки не только нелепо, но и запрещено. Конечно, все это повлияло на мое решение. Но еще больше просто то, что за это время мы с ними достаточно узнали друг друга, чтобы такие подозрения не возникали. Они уехали без моего паспорта. И вот что произошло. Собственно, для меня тогда, да и вообще ничего особенного. Ибо смысл происшедшего дошел до меня только сейчас, когда я стал писать об этом эпизоде. А тогда это выглядело так.

Появившиеся приятели по случаю праздника все куда-то исчезали, а я сидел дома и выполнял «негритянскую» работу, которую достали для себя и друзей Ляля с Борисом: переводил (точнее, перерабатывал подстрочник, но это у нас и называлось переводом) выделенную мне часть румынского соцреалистического романа «Митря Кокорь». Автор, фамилию которого я забыл, считался, как мне сказали, румынским учеником Горького, но от Горького, как к нему ни относиться, в романе не было ничего. Это был скучный, схематический (при любом идеологическом настрое) рассказ о том, как румынскому солдату-крестьянину подфартило попасть в советский плен, там просветиться и вернуться домой строителем новой жизни.

Увлечь эта работа не могла, а весной, да еще в праздники, одиночество особенно тягостно. И вдруг (было это, видимо, второго мая) появился Леша. Причину своего преждевременного появления он не объяснил, да она меня и не интересовала. Я искренне обрадовался ему как живой душе. Он тоже — вероятно, тому, что вырвался из-под опеки жены. Сгоряча он даже предложил «пойти по бабам». Я в этом деле был не мастак, но согласился. Пошли мы в какую-то парикмахерскую, где у него были знакомые женщины. Встретили они его хорошо, но на закидоны не отозвались. Может, он не был достаточно настойчив — что касается меня, то я «молчал как рыба». Потом мы с ним купили водки и какие-то консервы, пошли домой и там и выпили. Немного. Никто из нас не был пьян. Но это был первый и единственный раз в моей жизни, когда мне от выпивки стало легче на душе — пивал я для общей атмосферы веселья и

дружества, для общения и разговора, но не для облегчения. А если и пивал с этой целью — не получалось. А тут — получилось. На следующий день приехала Лида, и все пошло, как шло. И только сейчас я догадался, что приехал Леша раньше на день только потому, что Лида выслала его вперед, что все было беспокойно — ей мнилось, что вот она здесь прохлаждается, а в это время я выношу из дома последние пожитки. Еще бы! — чужой человек, да еще и «тюремщик» (так часто в народе ругали людей, побывавших в тюрьме), один в доме!

Вторая «шероховатость» была, к сожалению, менее невинной. Когда я у них поселялся, мы договорились, что платить я им буду весной и летом двести рублей, а пока зима — двести пятьдесят: пятьдесят за отопление. За точность этих цифр не ручаюсь, но разница была именно в пятьдесят рублей. Это было их условие, и я его принял не торгуясь. Наступила весна, топить перестали, но они про эти пятьдесят ничего не говорили, и я безропотно платил по-прежнему. Заговорил о них Леша — в тот день, когда мы с ним выпили. Он сказал, что теперь весна и поэтому платить мне теперь надо на пятьдесят рублей меньше. Видимо, и раньше испытывал некоторый дискомфорт по этому поводу, а теперь расчувствовался. Повторяю: пьяным он как и не был. Я отнесся к этим словам как к естественным — ведь они соответствовали уговору. И через несколько дней, отдавая Лиде очередную месячную квартплату, я, сославшись на эти слова, отдал ей на пятьдесят рублей меньше. Об уговоре она тоже знала.

Вечером ко мне вошел Леша и довольно скандальным тоном стал выговаривать, чтоб я бросил свои еврейские штучки — выдумывать, что мне выгодно, что он ничего такого не говорил, и далее в том же духе. Я ему ответил, что ничего не выдумал, но что если они считают, что я должен круглый год платить «зимнюю» плату, то так и будет. Поскольку ничто другое ни Лиду, ни тем более Лешу в данном случае не интересовало, скандал не разгорелся, и все вошло в свою колею. Случай этот неприятный, осадок от него у меня остался, но я и теперь считаю своих тогдашних хозяев хорошими и честными людьми. Кстати, и передумать они имели право — объявить мне о том, что летнее снижение отменяется, что оно не соответствует местным

ценам. Я бы не спорил. Но надо было сказать, а не контра-
таковать, не дожидаясь атаки.

Не скрою, мне было тяжело и неприятно. Но пришлось проглотить обиду — деваться-то ведь все равно было некуда. Впрочем, отношения почти сразу выровнялись, больше ничего подобного не повторялось. Никакого нахрапистого стяжательства они не проявляли — в них его не было. Ведь они и вправду были честными людьми, никого обманывать не собирались. А тут — просто бес попутал бабу — видимо, одно дело абстрактный уговор, а другое — вдруг получить в руки на полсотни меньше, чем уже привыкла. Не выдержала. Конечно, и порча сказала — когда Леша (пусть только «волею пославшей его жены») попер на меня с антисемитской демагогией. Порча было не в антисемитизме (антисемитом Леша не был — его это просто не занимало), а именно в демагогии, в стихийной прирученности для подкрепления позиции использовать что угодно в качестве подручного средства. Я всегда говорил, что в области демагогии любая советская бабка, пишушая заявление в собес, заткнет за пояс многих членов палаты общин.

Осадок, который остался от этого разговора, вскоре растворился. Никаких дурных чувств я к ним не питал и не питаю. И меньше всего хотел бы их здесь «заклеймить». Они этого не заслуживают. Да и пишу я не о них, а о вздыбленном времени, бессмысленно отрывавшем людей от природных корней, и его гримасах — о том, что пришлось пережить и передумать мне.

А о самих Леше и Лиде я сохраняю добрую память: и о нем, и даже о ней: для нее, кстати, существовало смягчающее вину, хоть и смешное обстоятельство, о котором я знал, но расскажу чуть ниже. Причем не простую память, а и благодарную. За что? Да просто за то, что они меня выручили в трудный момент — не просто пустили меня, «тюремщика», на квартиру и держали, несмотря на фантастические опасения, не просто относились хорошо и нормально (описанная «шероховатость» — исключение), но и приняли участие в моей прописке, в легализации моего существования. Но это уже отдельная история.

Как, надеюсь, помнит читатель, прописка в Калуге мне вовсе не была гарантирована — она зависела от «усмотрения». «Усматривать», как выяснилось, должен был начальник отделения милиции. Выяснилось просто: когда нако-

нец я пришел с домовой книгой в милицию, паспортистка взглянула на мой паспорт и, не входя ни в какие рассуждения, сказала:

— Вам надо зайти к начальнику. Второй этаж.

Я поднялся на второй этаж, постучался в нужную дверь и вошел. За столом сидел офицер милиции с лицом, излучавшим одновременно и доброту, и свирепость. Причем свирепость была одновременно и напускной, и доминирующей. По-видимому, он считал ее соответствующей должности. Он выжидательно взглянул на меня, но только я успел протянуть ему свое заявление и паспорт, зазвонил телефон, и я стал свидетелем отнюдь не секретного, вообще не служебного, но очень примечательного разговора.

Разговор шел о марксистской философии. По-видимому, звонил кто-то, кто так же, как этот его собеседник, посещал в том же «добровольно-принудительном порядке» занятия в вечернем университете марксизма-ленинизма. Не уверен, так ли это тогда называлось — в разные годы это именовалось по-разному, — но сути это не меняет и заботы это порождало те же. Я не помню ни одной реплики из этого разговора, но дело и было не в репликах, не в отдельных высказываниях, а в самом тоне. Говорили эти собеседники о том, как им трудно справляться с этой премудростью. При этом называли споры на съездах, где, с одной стороны, все было понятно: враги, проникшие в партию, подло выступали против Ленина и Сталина и получали достойный отпор по всем вопросам. Это было понятно. Непонятно было только, в чем состояли эти вопросы и в чем заключался отпор. А если вдруг становилось понятным, то почему-то не удерживалось в памяти.

Нельзя сказать, что оба собеседника не чувствовали юмора этой ситуации (судя по ответным репликам, тот, который был на другом конце провода, — тоже), но ирония их относилась, конечно, не к тем, кто принудительно потчевал этой схоластикой, а к себе самим, неспособным по темноте справиться с такой высокой премудростью. Наоборот, они чувствовали некоторую польщенность от соприкосновения со столь высокими и недоступными для них материями. Особенно когда разговор коснулся камня преткновения многих — знаменитого второго параграфа четвертой главы не менее знаменитого «Краткого курса истории ВКП(б)» — «О диалектическом и историческом мате-

риализме». По преданию (в которое, несмотря на все фальсификации и огрубления этой главы, все же верится с трудом), этот параграф написал собственноручно Сталин. Тут верноподданное восхищение своей непонятливостью и ирония по отношению к себе достигали наибольших высот: ну конечно, где нам возвыситься до мудрости Сталина — он философ, ученый, мудрец!. Где уж нам...

Приятно быть под началом человека, мудрость которого непостижима — таков был подтекст всего этого разговора. Странного? Нет, обычного для многих в то время — потому я и говорю о нем здесь.

Но делаю я это не для того, чтоб посмеяться над его «серостью». Конечно, его рассуждения о трудностях философии и истории вызывают улыбку. Но ведь не сам же он влез в эту чуждую ему премудрость. Самому бы ему и в голову не пришло ни думать, ни говорить об этом. А если бы интересовался, знал бы, что это такое, и говорил бы несколько иначе. Но люди, которых он уважал, регулярно совывали ему в руки камень и авторитетно уверяли, что только это и есть хлеб (философия, история, культура и мысль вообще) и что он к этому приобщен. Другими словами, развращали, соблазняли его. На его работе в милиции это сказывалось мало — ловить уголовников и противодействовать хулиганам он мог и без грамотного представления о философии. Но его могли бы на примере той же подготовки послать и культурой руководить — дескать, ты, дорогой товарищ, человек преданный, мы тебе доверяем. И культуры все же кое-какой поднабрался, а остальное на практике доберешь — не бойся, не боги горшки обжигают. Так превращали живых, по природе совсем неплохих людей в бессмысленных гомункулусов. Это многих торный путь. Некоторые до сих пор воюют за утраченные позиции, за золотое время, когда на основании «верности» (неизвестно кому и чему) можно было руководить чем угодно. Теперь у них есть даже доказательство своей правоты: «вот видите, без нас все развалилось». И никогда им не понять, что они (точнее, ими) все и развалили — теперь только обрушилось. Обрушился сук, на котором все сидели, а они из некомпетентной преданности подпиливали. Надеюсь, что с этим начальником ничего такого не произошло, что он так и остался в пределах своей компетентности...

Между тем долгий его телефонный разговор наконец кончился, и он просмотрел мои документы: паспорт и «справку об освобождении». Домовая книга его интереса не вызвала.

— А хозяин твой где? — поднял он на меня глаза.

— Дома, — ответил я удивленно. Был уже вечер, и Леша действительно был дома.

— Пусть придет с тобой — я хочу с ним поговорить. Тогда и решу...

Я не убежден, что он обращался ко мне именно на «ты», но если и обращался, то не от хамства — это просто была манера обращения с более молодыми, а я был существенно моложе его.

Леша быстро собрался и пошел со мной. Принял нас начальник сразу и сразу же стал брать быка за рога.

— Так, значит, пускаешь его к себе квартирантом? — строго спросил он.

— Да, — ответил Леша. — Поиздержались на строительстве.

— Знаешь, кого пускаешь? — еще строже спросил начальник. Словно можно было, нуждаясь в деньгах, пускать на квартиры только близких или хорошо знакомых людей. Тут чаще всего приходилось доверять личному впечатлению. Но начальник игнорировал это, вероятно, и ему понятное обстоятельство.

— Так, человек вроде ничего, — отвечал Леша, взглянув на меня. — А что?

И тут началось самое главное. Предостережение, но отнюдь не политическое.

— А что? — свирепо переспросил начальник. — А то, что если он тебе весь дом очистит, ко мне за помощью не приходи!

Я опешил и стал протестовать, но начальник от моих протестов отмахнулся. Но Леша незаметно дал понять, чтоб я, как теперь говорят, «не возникал». Судя по всему, сообщенная начальником информация не произвела никакого впечатления — слишком много он перевидал людей и знал им цену.

Но эта «информация» произвела, видимо, очень большое впечатление на Лиду, когда Леша, скорее всего, для смеха рассказал ей об этом предупреждении начальника. Видимо, сработал авторитет начальника милиции — дес-

кать, такой человек зря болтать не будет. Наверное, лучше нас, серых, понимает, с кем имеет дело. Вроде непохоже, но чужая душа потемки. Нет дыма без огня — так или почти так ей, наверное, временами мыслилось. Как понял читатель, эта «информация» и есть то смягчающее Лидину вину обстоятельство, о котором я упомянул чуть выше. «Тюремщик», который мог квартиру обчистить, мог и с квартплатой смухлевать.

Но на самого Лешу, как я уже говорил, эта «информация» никакого впечатления не произвела. Он просто понял, что вдруг возникло препятствие, которое надо преодолеть (видимо, я его как жилец вполне устраивал), и почувствовал, как это надо сделать. Поэтому, дав мне знак помалкивать, он изобразил непритворное удивление, близкое к ужасу.

— Да что вы говорите! — вскричал он. — Неужто так? А я не знал! Вроде непохоже.

— То-то, непохоже! — продолжал поучать довольный произведенным эффектом начальник. — Я вот партизанил в войну — иногда смотришь и глазам не веришь. Такой человек — никогда б не подумал... А вот глядишь, и все правда.

Какая была связь между тем, как менялось поведение многих людей в оккупации и моей предполагаемой склонностью очищать квартиры (не вытекавшей не из чего, даже из документов), о коей многоопытный отец-командир предупреждал неразумного Лешу, понять трудно. Просто в его сознании все, о ком ему твердили: кадеты, монархисты, либералы, экономисты, бундовцы, социал-демократы, отзовисты, ликвидаторы, эмпириокритики, белогвардейцы, оппозиционеры правые и левые и все, с кем он имел дело: полиция и уголовники, смешались в одну — не разбери-поймешь — враждебную кучу. К сожалению, не только в его голове — так и учили, чтоб оставалось такое впечатление. Учили от имени Сталина. И как он мог не верить Сталину? Ведь ему самому пришлось партизанить в калужских лесах, когда здесь хозяйничали немцы, а потом мы со Сталиным взяли Берлин. Что со Сталиным и из-за Сталина мы оставили Калугу, было выше его разумения. Только ли его? И с него ли спрос?

Но это опять более поздние размышления, хотя основаны они на тогдашних ощущениях. Леша, естественно, был занят не этим, а поисками верного тона разговора с этим

человеком. Вернее, тем, чтобы с этого тона не сбиться — ибо верный тон он взял сразу, инстинктивно. Это был тон бравого сержанта, почтительно выслушивающего поучения командира... Он почтительно внимал, ужасался и время от времени восклицал:

— Да что вы! Спасибо, что предупредили! Конечно! Буду знать! Буду теперь смотреть в оба!

Это за тем, чтобы я не обчистил его дом. А я, оглушенный всем этим, стоял рядом и не знал, куда деваться. Под это ручательство «усмотрение» начальника решилось в мою пользу — начальник подписал разрешение на прописку. Леша был очень доволен собой.

— Видал, как я с ним! — удовлетворенно сказал он мне, когда мы возвращались из милиции. И потом добавил: — Мужик он неплохой — к нему только подход надо иметь.

Леша этот «подход» нащупал и был собой доволен. Что делать, был этим доволен и я — перестал хотя бы в этом отношении висеть в воздухе. Все мы были жертвами этого извращенного и извращающего времени — и Леша, и я, и сам «неплохой мужик». Ведь он и вправду был неплохой, но сколько зла натворили и творят такие «неплохие мужики»! Такая была жизнь.

Кстати, о «неплохих мужиках». Как раз сейчас я читаю очень ценную книгу бывшего начальника архивной службы при президенте РФ Р.Г.Пихоя «СССР. История власти (1945—1991)». И как раз вчера (3 ноября 1999 г.) наткнулся на цитаты из выступлений работников МВД (фактически МГБ — в тот короткий период их ведомство было слито с МВД) на партийном собрании, посвященном решению ЦК КПСС по разоблачению Л.П.Берии. В архивах сохранился многостраничный отчет об этом собрании, сделанный специально для Н.С.Хрущева, из него и взяты цитаты.

Такие собрания шли по всей стране, и чем бы ни было на самом деле это «разоблачение», воспринималось оно повсюду как шаг к «дальнейшему искоренению беззаконий недавнего прошлого» — для простоты можно обозначить это и так. Повсюду, но не в центральном аппарате ведомства, руками которого эти беззакония творились. Тут снятие Берии было воспринято однозначно — как возвращение к счастливым временам, когда их ведомство, давно уже превращенное Сталиным в свои личные когти, было неприкасаемо. Неприкасаемо, конечно, только снизу — сверху

Сталин имел обыкновенное время от времени свои когти подстригать, но с этим воспитанные им «неплохие мужики» (во всяком случае, пока их самих не касалось) мирились как с чем-то непостижимо нормальным. Непостижимо было ведь все, к чему они привыкли — все, что они говорили и что делали, что обусловило их взлет на «зияющие высоты» (выражение А. Зиновьева). И на этом собрании они возвращали эти «высоты» себе и жизни. Скажем прямо, обстановку они оценили неверно, положение не стало нормальным, но к «ихнему» заплочных дел раю жизнь не вернулась. На радостях они в своем кругу попытались реабилитировать «процесс врачей». Не умели понять, что поворачивать к нему обратно никто не собирается — просто у Берии по сталинскому обычаю отберут заслугу в его разоблачении и припишут ее себе. Но, проводя это собрание, они этого еще не знали и пиروвали духом (нечистый дух — тоже дух). Длился этот «пир» больше недели — с 11 по 18 июля 1953 года, и выступило на нем более чем 1600 человек.

Интересна их аргументация. Они теперь не утверждали, что врачи отравляли, но, оказывается, как они утверждали, профессора Вовси и Коган допускали антисоветские высказывания. Допустим, такие высказывания имели место, примем на минуту совковую логику и согласимся, что это плохо и требует возмездия... Допустим. Но ведь их обвиняли не в этом, а в том, что они сознательно отравляли людей, и выбивали признания, подтверждающие это бессмысленное обвинение. Однако они говорили о незаконности реабилитации этих врачей с неподдельным пафосом. И даже всерьез предлагали обратиться в ЦК с просьбой отменить это «злодеяние Берии». Эта искренность трогает меня больше всего.

Да, я утверждаю, что почти все эти люди в прошлом такие же «неплохие мужики», как и этот калужский милиционер. Так же приученные к почтению к тому, что им внушают, к усвоению без понимания, и руководствоваться этим, выполняя и освящая в своем сознании любую, даже самую дикую волю начальства. Ибо во главе этого начальства стоит гений и корифей наук (к концу жизни и языкознания), легко постигший все трудные для них премудрости, к которым, как и к управлению государством, он прибегает и их. Правда, все эти отзовизмы-эмпириокритицизмы так и остаются им непонятны, но тем ярче сияет в их

глазах его гениальность. И надо быть преданным, и тогда все эти не совсем понятные слова: «троцкизм», «сионизм», «вейсманизм-морганизм» и прочие «наплевизмы» станут понятны. Ибо на практике они означают собачью команду «Фас!». Что ж, они люди дела, а не слов. Они были не только блюстителями, они были носителями и воплощением культа и «культового» сознания. Они нуждались в Сталине не меньше, чем он в них, — только он понимал смысл того, что они творили. Казалось, что и соратники, а они вон что сотворили. Но с исчезновением Берии появилась надежда, что они опомнились.

И они взбодрились: на этом собрании кто-то даже пытался представить компромат на одного из начальников, представителей «нового веяния». Он — подумать только — посмел сказать о Троцком, что тот был «великим оратором» и «организатором»! Представление, что «иудушка Троцкий», общепризнанный (в СССР) изначальный шпион и предатель (о котором они знали еще меньшее, чем об «эмпириокритицизме»), мог при этом быть оратором и организатором, было для этого сталинского гэбиста по определению преступным. Нормальному мышлению этого не понять. Я, например, отношусь к Троцкому резко отрицательно, очень его не люблю, не уважаю и считаю преступником (только не шпионом: это нелепость; и не предателем — своему страшному делу он был предан до конца), но вот оратором и организатором я его при этом спокойно признаю. Но для мира ритуальных табу, в котором эти люди воспитались и действовали, на страже которого поручены были стоять, такое отношение разрушительно — не менее, чем сам он разрушителен для жизни. Но поскольку они полагали, что восстанавливается «их время» (по их представлениям, сама нормальная жизнь, с которой ничего прозойти не может — покачнулось и встало на место), эти слова их начальника опять стали выглядеть убийственным компроматом, ритуальным преступлением. Но они ошиблись во всем — жизнь не была нормальной при них, не стала потом, до сих пор качается, но в то положение, которое они считали исходным, она возвращается и не думала. Троцкий оставался партийным бякой, но шпионом быть перестал и теперь вполне мог быть признан организатором и оратором. Их мир рушился. Хотя по-настоящему он не разрушился еще до сих пор.

Но здесь я рассматриваю вопрос не так широко. Просто я увидел вдруг, что проблема «неплохих мужиков» — тоже часть общей трагедии, и поделился этим с читателем.

А тот калужский начальник, надеюсь, не дорос до таких вершин, откуда неприятно падать, так вот и занимался своим реальным и полезным делом — ловил воров и грабителей, следил за порядком на улицах...

Правда, ни с того ни с сего авторитетно объявил человека домушником — так ведь как-то должны были сказать на нем «эмпириокритицизм», диалектика и поклонение товарищу Сталину. Но все-таки не так страшно, как на его «товарищах по классу» с Лубянки.

Я вовсе не думаю, что он был глуп. Не был, как не был зол. Конечно, встречал я людей и поумнее, и не только среди интеллектуалов (кстати, интеллектуальность не гарантия ума), но и среди самых простых. Думаю, что гораздо более умным человеком — отчасти потому, что жил вне «эмпириокритицизма» — был Леша. Как-никак он его сразу определил, понял и нашел «подход».

Вообще он знал и понимал людей (в случае со мной он уступал жене, а не действительно боялся, что их «обчищу»), этому способствовал его род занятий. Он знал и понимал жизнь хорошо, хотя, конечно, понимал «снизу» — ту, в которой вращался. А профессия у него была странная, почти анахроничная. Если бы я его не встретил, я бы до сих пор не знал о ее существовании в наше время. Но она была как раз по нему — видимо, он ее выбрал по тому же инстинкту, как и верный тон разговора в милиции — дано было такое чутье человеку. Он был — не знаю, как это называлось официально — перегонщиком скота.

Оказывается, существовала государственная организация, которая этим занималась — в ее штате Леша и числился. При мне (это значит зимой и в начале весны) он наведывался в свою контору только изредка — по-видимому, настоящая работа была у него только в летние и осенние месяцы. За это время он должен был заработать на весь остальной год. И, судя по всему, зарабатывал. Думаю, что все начальства, занятые высокими планами и подготовкой к завоеванию мира, не очень замечали эту богоспасаемую контору. Ведь она помещалась между двумя горящими планами — планом мясозаготовок и планом производительности труда на мясокомбинате. Не думаю, что и сама контора

очень стремилась попадаться на глаза — перегоняла, что поручали, и скрывалась из виду. Вряд ли в ней часто случались орденоносцы или герои труда, но неплохо зарабатывали по договорам. А может быть (но это только мое предположение), и еще чем-то по дороге прирабатывали. Ведь люди там, судя по Леше, работали разворотистые, ухватистые — да другие бы и не справились с такой морокой. А такие не очень склонны себя забывать, да и с какой стати? Если даже начальство об этом знало (и это имело место), то закрывало на это глаза — кто-то ведь должен был выполнять эту невидную, необходимую, но невероятно трудную работу (но это только мое предположение), она незаметна, но ее невыполнение почувствуешь!

А уж с этой работой, прогоняя скотину, в сущности, по всей стране и везде вступая в отношения с людьми, узнаешь жизнь. «Снизу», но вполне достаточно. К тому, что сверху, Леша особого интереса и не испытывал: опасно и черт ногу сломит.

Хотя именно от него я впервые услышал о знаменитом теперь «деле» Еврейского антифашистского комитета. Я, конечно, знал об аресте видных деятелей еврейской культуры, но не знал, какую липу им шьют. Не узнал и от Лешы. Ибо до Лешы дошли слухи только о том, о чем я вообще не слышал — о дочернем ответвлении этого «дела». Я имею в виду арест группы евреев, занимавших разные ответственные посты на Автозаводе имени Сталина. Леше рассказал об этом встреченный им где-то (кажется, в Бенине) инженер с автозавода. Что этот арест связан с делом ЕАК, как и самим этим «делом», я узнал много позже. Но интересно, что рассказал этот инженер Леше, а Леша мне. Оказывается, эти автозаводцы — участники грандиозного заговора с опорой, конечно, на Америку, с целью то ли еврейской власти, то ли эксплуатации евреями всех русских.

Но я сейчас рассказываю не об истории антисемитских процессов, а о Леше. Интересно не само «дело», а его восприятие Лешей. На детективную сторону этого злодеяния он почти не обратил внимания. Заинтересовали его только своекорыстные мотивы их деятельности — обратить все в свою пользу. Это вызывало его любопытство и, если можно так выразиться, понимание. Ему эти мотивы казались разумными, нормальными. То есть он отнюдь не собирался уступать этим мифическим евреям. Мы тоже не дураки, нас

это не устраивает, и правильно, что их похватали. В общем, направленность была не «Какие гады!», а «нас не проведешь». Конечно, мне могут сказать, что какой же он умный, раз верит такой чуши? Но многие ли могли противостоять лжи, исходящей из уст самого государства — особенно если она их непосредственно не касалась?

Нет, я не расположен осуждать Лешу — ни за это, ни вообще. И да не уловит читатель в моих суждениях о делах материальных и тени осуждения — ее не было даже тогда. Я рад за всех, кому удавалось урвать свое у власти, отбиравшей все. Да и что он урвал? В крайнем случае домик, в котором жил с женой. Конечно, постройка домика требовала средств, практически непосильных для нормального человека. Но не факт, что он их «урвал» — ему их, возможно, могла дать его богоспасаемая «внеплановая», тяжелая, но денежная работа, да и родители — его или жены — могли помочь. А если не могли, что тогда ему было делать? Работать? А он ведь работал. И тяжело, и если на это нельзя было обеспечить себя жильем — что было ему делать, если не урывать? — где-то ему с Лидой жить надо было. И не у людей же он урывал (если урывал). В этом, как я уже отмечал по другим поводам, и была суть естественного и стихийного, справедливого и... разрушительного для общественной морали народного сопротивления. И если Леша действительно участвовал в таком «сопротивлении» (а я все-таки думаю, что маленько и поучаствовал), то я его нисколько не осуждаю, а с горечью ему сочувствую.

Кстати, никакого другого богатства я у Лешы с Лидой не видел — достаток был самый средний для того времени. А по сравнению с нынешними урвателями... Короче, я рад, что встретил их на своем пути. Ну и хватит об этом, тем более что жилье должно и могло быть условием моей жизни в Калуге, а не всем в жизни. Для жизни — да просто для выживания — нужно было еще многое.

А что было? Ничего более серьезного, чем упоминавшийся случайный перевод с румынского. Да и он был связан не с Калугой, а с моими поездками в Москву. Весьма частыми, так что опытная конспираторша тетя Роза даже тревожилась:

— Ты пойми, это ведь Москва. Тут люди месяцами не встречают друг друга. И если тебя встречают раз в две-три

недели, то у них создается впечатление, что ты никуда не уезжаешь, а просто живешь в Москве.

Если бы у кого-то создалось такое впечатление и оно бы дошло до Лубянки, то мне бы по тем временам несдобровать — это я и сам знал. Но долго высидеть в Калуге все равно не мог — мне там просто нечего было делать. Мои надежды на книготорг лопнули довольно быстро — как только я попытался их реализовать и официально заявил о своем желании сотрудничать с этой «секретной» организацией. Мне там сказали, что подумают день-два, а потом отказали — работа считалась идеологической и требовала политического доверия, которого мне, естественно, не могло быть оказано. Театр абсурда, ставший законом жизни.

Но тогда мне было не до таких обобщений. После этого отказа я должен был бы сразу уехать из Калуги — дальнейшее мое пребывание в ней становилось бессмысленным и бесперспективным, — но ехать мне тоже было некуда. Оставалось только одно — предаться легкомыслию, жить и действовать в расчете на то, что авось что-нибудь случится. А нелегко предаваться легкомыслию, пребывая в состоянии тяжелого одиночества. И я стал налаживать литературные связи. Не для дела — для души. И наладил. Вопреки конспиративному опыту моей тети именно эти местные связи, а не мои поездки в Москву кончились для меня плохо. Впрочем, как я теперь понимаю, не очень плохо. Да, они вынудили меня спешно покинуть Калугу, но это мне все равно рано или поздно пришлось бы сделать. Даже вырвавшись из одиночества, нельзя было так болтаться слишком долго. А раз так, то — чем раньше, тем лучше. Я об этом потом никогда не жалел. Тем не менее благодарности к тем, из-за кого я вынужден был это сделать, не испытываю.

Но об отъезде и его причинах — чуть позже. А пока — о самих этих связях. Прежде всего как их завязал? А очень просто — однажды решил и зашел в редакцию областной газеты. Не помню только, партийная она была или комсомольская* И была ли вообще в Калуге комсомольская газета? Но я пришел в редакцию. Там я спросил, куда обращаться со стихами, и мне показали кабинет, куда мне надо

* Тогда каждому областному городу обязательно была положена одна газета — партийная, орган обкома партии. Но часто бывала и вторая — комсомольская, орган обкома комсомола. И это все. Как было в Калуге, не помню.

зайти. В кабинете за столом сидел худощавый молодой человек примерно моего возраста, но с усами — Николай Панченко (кажется, эта фамилия значилась и на дверях кабинета), в будущем известный поэт. Тогда же это имя я встречал только под стихами в его газете. Конечно, стихи были «газетными», но все же за ними чувствовался литературный опыт и грамотность. И намекали они на возможность у этого автора других стихов — так и оказалось.

Не помню, как у нас начался разговор, но помню, что очень быстро. По-видимому, я представился, немного рассказал о себе, а дальше пошло. В молодости, да еще при общих интересах, это естественно. Ни о чем особенном в этот первый раз мы не говорили — просто обменивались представлениями о поэзии: Пастернак, Твардовский, Межиров, Гудзенко, Наровчатов и другие. Его интриговало то, что со всеми, кого мы называли (кроме Пастернака и Твардовского), меня связывали те или иные личные отношения (через несколько лет чаша сия не минует и его) — молодые мы еще были.

Я стал заходить к нему. Кажется, даже стал посещать занятия литобъединения. Там или просто через него я познакомился со многими другими пишущими людьми. Собирались и на частных квартирах, толковали, спорили... Там у кого-то в гостях я познакомился с начинающим прозаиком Петром Проскуриным. Потом он стал известен. О нем и его творчестве среди тех, с кем я обычно общаюсь, сложилось устойчиво отрицательное мнение. Я не могу его ни поддержать, ни опровергнуть, ибо, к сожалению, никогда не читал его произведений или выступлений. Его относят к крайне националистическому лагерю, к шовинистам и антисемитам. Если так, значит он сильно изменился. Такое бывает, когда человек замахивается на то, что ему не по плечу, он ощущает себя обойденным и часто (но тоже не всегда) приходит к такому объяснению своих неудач и к такой активности. Какой сук Проскуру по плечу, на что он замахивался и что из этого получилось — не знаю. Так же как ничего не знаю ни о его поведении, ни о каких-то совершенных им лично конкретных низостях. Это не значит, что таких не было, но значит, что я о них не знаю. Мне известна только его репутация. А на одной репутации я основывать свое отношение боюсь. Ибо репутация — вещь нена-

дежная. Часто она зависит от случайных безответственных «веяний» и аналогий.

Я никогда не забуду, что на вечере в ЦДРИ, посвященном памяти Федора Абрамова, из всей российской либеральной интеллигенции присутствовали только три человека: ее организатор и ведущий Борис Можаяев (теперь уже тоже покойный), вдова Абрамова Люся и аз многогрешный. Еще можно причесть моего друга, профессора-геофизика Марка Бердичевского, который меня по моей слепоте сопровождал. Но Люся приехала из Питера, а я и вовсе из Бостона — так что, выходит, всю московскую либеральную элиту представлял один Можаяев! Может, был там еще кто-то, кого я не знал, но таких явно было немного. Какие же веяния и аналогии запудрили мозги всех остальных, на каком основании сочли они возможным презреть память большого русского писателя и гражданина? С тех пор никаким репутациям я не доверяю. Это относится и к репутации Проскурина. Кстати, Булат Окуджава, знавший Проскурина по Калуге, счел возможным посвятить ему одно из своих стихотворений. Разумеется, и это ничего не доказывает. Но я ведь ничего и не утверждаю. Я только рассказываю о том, как в 1951 году жил в Калуге, где и когда мы с ним только и встречались, точнее, встретились — раз или два. Тогда он произвел на меня хорошее впечатление: умный, серьезный, вдумчивый, доброжелательный. Общаться с ним было приятно. Не так у меня там много было таких встреч, чтобы эту забыть.

Помню еще одного молодого парня, поэта из глубинки и литсотрудника районной газеты. Помню, как в духе времени (точнее, в духе, навязанном времени) искренне верил в свой местный «приоритет» — доказывал, что какое-то изобретение или открытие прошлого века, имевшее мировое значение, было впервые сделано в их районе. Правда, мои возражения он выслушивал спокойно, не подозревая меня по этому поводу ни в сионизме, ни в общей враждебности к русскому народу.

Говорили мы в основном о литературе. Но, говоря о литературе, трудно игнорировать жизнь — ее историю и настоящее. А и то и другое было делом засекреченным, точнее сказать, табуированным, а рассекречивание его, касание этого табу — криминалом. Но интерес к этому — сознательный и подсознательный — был жгучим. Человеческое

сознание не может мириться с перманентной прострацией и стихийно стремится вырваться из-под ее власти. Поэтому так или иначе разговор соскальзывал на это. В истории последних десятилетий я был осведомлен больше других и иногда это проявлял. Для некоторых то, что я говорил, было непривычно. Ничего, слушали. Иногда с недоверием, но всегда с интересом — страшно было взвалить на себя тяжесть такого знания. Даже (а может, особенно) внутри ленинизма. Кстати, именно на это было прежде всего нацелено МГБ. Это было тогда опасней всего. Но поначалу все мне сходило.

Я отнюдь не был в этом одинок — не только в Калуге, но и в Калуге. Некоторые это (не все, а, как и я, только «это» — в советских рамках) и сами понимали: и тяжесть лжи, и общее неблагополучие. В Калуге, в том кругу, где я оказался, такими людьми были молодые инженеры Павел (Паша) Опилев и его прелестная жена Катя. С ними я и подружился ближе, чем со всеми. Оба они светились какой-то чисто русской, неотъемлемой, почти совсем не сознающей себя чистотой и благородством. Надеюсь, что они еще живы (если они и были старше меня, то ненамного), но по суматошности своей жизни я потерял их из виду. Однако никогда их не забывал, всегда хранил теплую и благодарную память о них. Их дом был для меня родным, я приходил к ним часто, чтоб отдохнуть среди своих.

Я не передаю наших бесед, ибо для современного читателя они сводились бы к констатации очевидностей. Но самое трудное тогда, как и во всю советскую эпоху, было признать очевидное очевидным. И, кстати, среди этого каскада очевидностей утверждение, что водительство Сталина не соответствует коммунистической идеологии — идеям равенства, романтической верности мировой революции и т.п., — было одним из самых страшных и трудных. Мнимость этих «ценностей», которую большинство из нас осознали не в «перестройку» даже, а еще во второй половине пятидесятых, не отменяет этого несоответствия и трудности его осознания. Конечно, несоответствие уровня жизни и социалистического порядка тому, за что это выдавалось, тоже отмечалось нами, но это было вещью наглядной и всем ясной. Правда, она все-таки позволяла принимать себя за локальные «отдельные недостатки», к чему многие прибегали. Идеологическая критика строя сразу обнажала его

тотальную лживость и таких лазеек не оставляла. Мы говорили и о том, и о другом. Разговоры эти не имели практического значения, они были для отвода души. А так ли уж это мало? Да, мы вели их не для выдвижения программы сопротивления — какое могло быть сопротивление в раздавленной стране? — а «только» для того, чтоб ощутить самих себя, сохранить доверие к собственному разуму и восприятию. И это доставляло нам наслаждение, укрепляло нас. Если не ты один помнишь, что дважды два четыре, то это действительно все еще так. Это было именно то, что подсознательно (может, и сознательно) стремился, но не смог убить в людях Сталин (удалось ему это только в своем ближайшем окружении). И чувствовал он верно — сама потребность в таком самоощущении, практически в духовном и интеллектуальном самосохранении — свидетельство независимости и некоторого подспудного оптимизма, который в нас не умирал и который по природе был противопоставлен насаждаемой им фантазмагории и прострации.

Был у Паши с Катей еще приятель — Леша. Фамилию его я не помню, хотя и в Москве потом его встречал. Помню только, что она была еврейская, типа Штейнберг. Парень он был хороший и надежный, но биография его была экстравагантной. Происходил он из вполне благонаправленной еврейской семьи, но отсидел срок по уголовной статье. Причем по обвинению, отнюдь не сфабрикованному. Был он высок, строен, крепок и в отрочестве из лихости пристал к шпане. Ну и загремел вместе с ней. Опомнился он уже перед концом срока и тогда, выражаясь по-лагерному, «завязал», то есть отстал от «хевры». Кстати, это не так просто — надо, чтобы «хевра» в лице совета паханов («толковища») тебя отпустила. И решается вопрос без полутонов: отпустить или убить. Но все же Леша объявил «хевре», что хочет «завязать», то есть отойти от воровской общности и не жить больше по ее «законам». Правда, при этом отметил, что не собирается и «ссучиваться», то есть продавать своих нынешних товарищей и известные ему их секреты. Но он не хочет, чтоб его посвящали в новые.

По-видимому, это была ритуальная форма отхода — Михаил Демин «завязывал» так же. Формула почти рыцарская. Как ни смешно, она напоминает обязательства, которые — правда, не по формуле, а по своей инициативе — брал на себя, переходя на сторону правительства, народо-

волец Лев Тихомиров. Представляете, что бы было, подай кто-нибудь такое заявление в сталинскую КПСС — не подпольную, а правящую? А вот народовольцы — уж на что люди строгие — поверили Тихомирову и отпустили его с миром. Не на волю, а в стан врагов. И не обманулись — он, как и обещал, стал их идейным врагом, но не выдал ни одного их секрета своим новым единомышленникам. Я не сравниваю народовольцев ни с «хеврой», ни с КПСС, хоть при этом отнюдь не их поклонник. Однако это факт — поверили и отпустили. И уж никак я не поклонник «хевры». Но и она в качестве мафии оказалась менее ревнива и жестока, чем сталинская ВКП(б) — КПСС. Паханы собрались, «потолковали», и Лешу отпустили на все четыре стороны. Дескать, молодой, пусть живет.

И Леша жил, женился, был, повторяю, хорошим и надежным человеком. Что-то и писал. Паша тоже. На том мы и познакомились, но что и как они писали — не помню. Наверное, не очень, иначе бы запомнил. Но они были людьми, что в тот период удавалось далеко не всем.

Я помню их очень хорошо, но рассказывать мне о них почти нечего. Сюжета в наших отношениях не было — сюжетом, и довольно драматическим, был сам факт наших отношений, нашей близости, когда все подобное было запрещено и опасно, когда мне некуда было деваться, а деваться куда-то надо было.

Но, как знает читатель, я в Калуге встречался не только с Пашей, Лешей и Катей, ставшими моими друзьями, а и со всеми другими пишущими молодыми людьми, кого я запомнил и не запомнил. И продолжал воскрешать нашу запретную историю, в основном тогда историю партии. Хотя и понимал, что кончиться это хорошо не может. И не кончилось. Нет, в МГБ никто не стукнул — чего не было, того не было. А то бы меня, наверное, не было. Абсолютное большинство слышавших меня вообще не имеют никакого отношения к тому, что произошло. Чтоб избежать кривотолков, отмечаю особо, что к этому большинству относится и Петр Проскурин. Имеет к этому отношение только один человек, работник редакции, которого и я немного знал, поскольку он интересовался литературой и посещал те «посиделки», на которых я себе иногда кое-что «позволял». Слушать он слушал, но потом опасно струхнул. А что он сделал? Почти ничего. Судите сами.

В один прекрасный вечер ко мне неожиданно появились встревоженные Паша с Лешей и сказали, что есть разговор. И я пошел с ними — не то в пивную, не то к Паше. Ясно было, что произошло что-то нехорошее. И вот что они с возмущением мне рассказали.

Этот сотрудник редакции собрал нескольких человек, общавшихся со мной на «посиделках» (или они сами по какому-то поводу собрались, а он этим воспользовался как один из работников редакции) и повел обо мне такие речи:

— К нему надо присмотреться внимательней — вы ведь слышали, *что* он говорит. Он явно агент — весь вопрос: агент наших органов или их. Конечно, если наших — нам неопасно, мы люди верные. А вот если их? Так или иначе, к нему надо внимательней присмотреться...

Вникать в смысл этих слов не стоит. Ни о каких агентах данный товарищ не думал. Он просто испугался и фиксировал «проявление бдительности» — создавал себе алиби, выступал не любопытствующим собеседником, каким был в действительности, а «идеологически правильным» наблюдателем, теперь предупреждавшим товарищей. Квалифицированно отмежевывался от меня и призывал к тому же других.

Я не сужу этого человека. Я вообще никого не сужу за страх, руководивший ими в те годы — было чего бояться. Потому и не называю здесь его имени. Потом, в другую эпоху, я не раз встречал этого представителя либеральной интеллигенции в Москве, и он вел себя как ни в чем не бывало, дружески-приветливо и ни словом не обмолвился об этом своем «подвиге». Это, на мой вкус, уже слишком — так вели себя не все. Но это опять-таки его дело.

Товарищи мои были возмущены, но я меньше всего тогда думал о нем. Я был благодарен друзьям за то, что они мне это рассказали и тем спасли меня. Ибо я уже был достаточно опытным эком, чтобы не понимать, что раз возникли такие разговоры, надо немедленно «рвать когти». Чтоб «кто-то» и впрямь не стал ко мне «присматриваться». Думаю, что и не названного мною работника редакции вполне устраивало мое решение (собственно, не решение — реакция — чего тут было решать?), может быть, даже он его сознательно спровоцировал через Пашу и Лешу. Но так или иначе уезжать было надо, и как можно быстрее.

Зла я ни на кого не держал. Конечно, спешно спасая жизнь, уезжать неприятно. Но для многих это сопряжено с материальными заботами, с возможностью или невозможностью ликвидации приобретенного имущества — у меня таких забот не было: собрался и уехал.

На следующее утро (поезд из Калуги уходил поздно ночью) я сказал о своем решении хозяевам, без всяких приключений и разговоров выписался. Быстро собрал свое «имущество» в корзину, позвонил тете, намекнув, что мне срочно надо уехать. Она не очень удивилась, вздохнула и сказала: «Ну что ж... приезжай!» Остальную часть дня я провел с Пашей и Лешей. Вечером Катя устроила прощальный обед, было грустно расставаться с друзьями, но радостно, что они есть. Потом, провожаемый Пашей и Лешей, я захал к себе за вещами и простился со своими хозяевами. Они уже легли, но мы пожелали друг другу добра и попросили не поминать лихом. Опасений, что я вывезу полквартиры, они на этот раз не проявили.

Ребята проводили меня до поезда, и, обняв этих хороших людей, я уехал из Калуги, где все-таки что-то оставлял. И поезд опять повез меня в Москву, где я хотел, но не имел права жить... А по существу, я опять отправлялся неизвестно куда. Куда-то, где, может быть, можно будет прийтись.

Глава вторая. Караганда

Еду в Караганду

— Так что ты там наделал? — спросила тетя Роза, когда я с вещами на следующее утро — поезд из Калуги приходил утром — явился пред ее светлые очи.

— Понимаете, тетя Роза, — начал я смущенно, — я там сошелся с молодыми писателями...

— Ну и что?

— Ну так... Сходились, разговаривали... И постепенно я стал читать им лекции по истории партии...

— Как? Настоящей? — удивилась тетя и, поскольку я подтвердил это, добавила: — Ты с ума сошел!

Потом я ей рассказал подробно то, что уже известно читателю. Про неназванного работника редакции и его пред-

ложение присмотреться ко мне внимательней — тоже. Рассказ мой ее несколько не удивил.

— Я сразу поняла, что ты что-то такое натворил, а то чего бы ты стал так срочно уезжать. Все тебе мало!.. Ну ладно, раздевайся... Чего еще от тебя можно было ожидать!.

Смушение мое должно быть понятно. Результаты моего «просветительства», мое хождение по острию ножа затрудняли и ее положение.

А зачем я это делал? Если бы кто-то донес, гэбисты стали бы мне шить «антисоветскую агитацию» с чистой совестью: «Подлинный состав преступления — никакой липы!» — такое в их практике бывало нечасто. И однако они бы ошиблись — агитацией и вообще политикой я не занимался. Просто они не знали, что такое агитация, хотя очень усердно за нее сажали. Они искренне верили, что любое, даже не высказанное (и тем более высказанное) несогласие с тем, что насаждается, и есть агитация. Но я никого ни за что не агитировал, только делился тем, что я знал и что меня переполняло — хотел, чтобы они тоже не были слепыми кутятами. Ведь хорошие ребята! (И на самом деле были хорошие — ведь никто, и тот «работник редакции», даже с перепугу не донес.) Это была импульсивная потребность, которой я не мог противостоять, а не агитация. Правда, знание, которым я делился (при том, что тогда оно было относительным), отягощало не только жизнь, но и душу узнавшего. Что делать? — это мне было тогда недоступно. Ведь истина для того и дается, чтобы ею делиться — это естественно. Я тогда об этом не думал и так не формулировал. Но насчет тети Розы я все-таки понимал, что это мое «следование естественности» ложится дополнительным бременем на нее, и без того взявшую на себя существенную часть лежащей на мне тяжести. И то, что сейчас я эту ношу утяжелял, меня смущало. Тут и ангела досада возьмет, думал я. Но тетя Роза раздосадованной не была, только озабоченной.

— Вот что я подумала, — продолжала она начатый разговор. — Нечего тебе делать в Москве и вокруг Москвы. Никуда ты здесь не устроишься, а в конце концов доиграешься. Надо тебе ехать подальше — в Караганду, например...

Помолчала и добавила:

— Моего брата туда сослали. Ты тоже туда поезжай. Я ему письмо с тобой передам — он поможет.

Я поинтересовался, когда и почему «загрел» ее брат. Оказалось, что брат тети Розы, Соломон Ефимович Малкин (Яхниной тетья Роза стала в замужестве), видный московский адвокат, однажды был приглашен на Лубянку, где его стали форсированно вербовать в стукачи. Дело в том, что в его биографии был некоторый, с точки зрения тогдашних мистических жупелов, изъян, который всегда можно было использовать как средство давления — когда-то в юности, в начале двадцатых, он примыкал к молодежной эсеровской группе, был вместе с нею арестован и провел несколько месяцев в Бутырках. После тюрьмы он политикой больше не занимался и как будто политика не занималась им. В двадцатые годы власти, если дело касалось социалистов, вполне довольствовались отходом от «борьбы» и уж тем более переходом на их сторону, то есть признанием их правоты — по видимому, зыбкой уже в глубине души и для них самих.

У Сталина таких сантиментов не было. Но поскольку Соломон Ефимович «на их сторону» не перешел, в коммунисты не подался, а тихо занимался своей адвокатской практикой, он уцелел и в тридцать седьмом. Тогда шла стрельба более чем по площадям, но имелись в виду другие цели. Могли, конечно, прихватить и его, но не попался на глаза. Обошлось. Он имел все основания считать, что о нем забыли. И вот вспомнили. Почему? Вероятно, какой-то гэбистский грамотей просматривал старые дела. Дела тех времен, когда, по его разумению, их благородной организацией руководили враги и их пособники и выручали своих. Вот и набрел на «неохваченного» Соломона Ефимовича. Решили использовать — вызвали, предложили, уговаривали, запугивали, угрожали, но не помогло. То есть ему, конечно, было страшно, но взять на себя такие обязательства еще страшней. Ему сказали: «Пеняйте на себя!», но к ночи отпустили. На следующее утро он пришел к сестре и сказал:

— Знаешь, Роза, никогда не думал, что могу быть героем.

И это было прощанием — чуть ли не на следующую ночь его арестовали. Тогда ведь очищали Москву от «повторников» и «неохваченных». Как и бывшему анархисту Уралову (книга третья)*, ему дали «мою» статью — 7/35. Теперь он

* Точно насчет Уралова я это знать не могу. Меня увели из камеры №60 раньше, чем его, но после того, как его перестали мучить ночными допросами, которыми его не удалось сломить. Но я помню, что однажды, вернувшись с дневного допроса, он сказал, что ему теперь дают ту же статью, что и у меня.

жил в Караганде. И как ни странно было мне это слышать, работал по специальности. Нет, не адвокатом — это и там считалось недопустимым (не знаю, из каких соображений: может быть, из-за публичности этой профессии), но тоже по юридической части — юрисконсультантом в нескольких учреждениях и организациях. Это давало ему возможность содержать не только себя в Караганде, но и семью — жену и двух дочерей-школьниц — в Москве.

Все это поразило меня своей фантастичностью. Тем, что в СССР есть город, где ссыльный может получить работу, которая, не будучи подземной или крайне оборонной, все же позволяет ему кормить семью в Москве! Надо туда ехать. У меня, правда, нет такой профессии. Но ведь и семьи, которую надо кормить, тоже нет. А главное, нет выбора — ехать-то куда-то мне все равно придется, так лучше туда. Там больше шансов — пусть не состояться, а только прижиться — но все-таки шансов. Конечно, не густо с точки зрения нормального восприятия, но тогда мне и этим пренебрегать было бы глупо. Да ведь и не верит молодость в невозможность состояться. В глубине души я надеялся перетерпеть это время, делая при этом то, что и надо было бы делать, если бы это разрешалось. Это была вера в непрерывность истории. Есть ли у меня эта вера сегодня? Но тогда она была и не вызывала сомнений. С этой верой я и отбыл в Караганду.

Почему-то все, связанное с отъездом, стерлось из моей памяти. Завязывался у меня именно в это время роман, из которого очередной раз из-за стойкой моей наивности ничего не вышло, кроме стихов, в которых речь идет скорее не о любви, а о ситуации и состоянии, от которых она меня избавить не могла, даже если б хотела:

Прощай, родная недотрога!
Недолго я пробуду тут.
И снова дальняя дорога,
Уют вагона, мой уют.
Единственный и краткосрочный...
Он вне судьбы, вне мест, вне дня.
И буду верить я, что точно
Там где-то что-то ждет меня.

Уезжал я из Москвы в необыкновенно жаркий летний день (значит, я прожил в Калуге до начала лета). В Москве

уже давно из-за ляпов реконструкции была грубо нарушена пропорция между камнем и зеленью, и Каланчевская улица, по которой я спускался к Казанскому вокзалу, была как раскаленная сковорода. Как я оказался на этой улице, почему не доехал на метро прямо до вокзалов, не помню. Вероятно, зашел проститься к кому-то, кто там рядом жил, а спускаться в метро или добираться до остановки троллейбуса не имело смысла. Но я хорошо помню, что хотя расстояние, которое мне надо было преодолеть, было ничтожным, я преодолел его с невероятным трудом. Не из-за вещей — я не был настолько слаб, да и не помню, не сдали я их предварительно в камеру хранения — а просто дышать нечем было. Кое-как добрался до поезда, но и там было не легче. Легче стало, когда поезд втянулся в дачные пригороды. Я никогда не любил уезжать из Москвы (командировки и отпускные отъезды не в счет), но на этот раз испытывал даже некоторое облегчение — чисто физиологическое, конечно. И это как-то скрадывало горечь расставания с Москвой. Но впереди была не зелень, а Караганда, расположенная — я помнил это по школьным урокам географии — в зоне сухих степей. Если в Москве так душно, что же будет там, в городе, окруженном такими степями?

Забегая вперед, скажу, что в Караганде, как я обнаружил по прибытии, в те дни дышалось гораздо легче, чем в Москве. В ней, во всяком случае в ее Новом городе, строившемся по плану, пропорция между камнем и зеленью как-то соблюдалась. В Москве бюрократическая планировка была разрушительна — вторгалась в архитектуру исторически сложившегося города. К тому же существовали особые требования. Например, не создавать удобства для строительства баррикад, если до них дойдет дело — Садовое кольцо было вырублено с этой целью. Здесь же строили на пустом месте, и разрушать было нечего. А официально бюрократические нормы строительства везде требовали соблюдения нормальной пропорции между камнем и зеленью — она и соблюдалась.

Дорогу до Караганды я почти не помню. Ехал я в том же тридцать втором скором Москва—Караганда, в котором потом ездил не раз в обоих направлениях. В поезде под этим номером ко мне в ссылку ездила моя мать и не могла нахвалиться новшеством — цельнометаллическим вагоном, из

которых он был составлен. Поезд № 32 выходил из Москвы ежедневно, но совпадал каждый день его маршрут только до Петропавловска-Казахстанского. Там два раза в неделю он круто сворачивал с магистрали на юг — на Кокчетав, Акмолинск и в Караганду (дорога шла и дальше — на Балхаш и Дзезказган, но прямых поездов из Москвы туда не было). В остальные же дни недели тридцать второй после Петропавловска шел дальше по магистрали на восток — на Омск и Новосибирск (на нем до Кожурлы и ехала ко мне моя мать) и только потом сворачивал на Кузбасс — к Новокузнецку.

Заезд в Сим (Ностальгическая элегия)

Несмотря на отдаленность описываемого, я ясно помню, с каким именно периодом моей жизни связано то или иное событие, переживание и даже мысль. Но с более точной привязкой всего этого к дате и другим реалиям у меня хуже. Так, я не точно помню, в этот или в другой раз я сделал остановку в Симе. Наверное, все-таки в этот раз, ибо во время этого путешествия я в смысле времени чувствовал себя вполне вольготно, а во время остальных всегда торопился — или в Москву к друзьям, или в Караганду — к началу занятий в техникуме. Да и ездил я потом не всегда тридцать вторым — через Уфу и Челябинск, а следовательно, и через Сим. Иногда, если не было билетов, приходилось и «на перекладных» добираться. И часто совсем другой дорогой.

Так что, похоже, в Сим я заехал все-таки именно в 1951 году, во время этой первой своей поездки в Караганду. Впрочем, это неважно.

Решение это было принято мной заранее. Поэтому, как только поезд стал подходить к станции «Симская», я уже стоял с вещами в тамбуре, и когда он остановился, выскочил на перрон и побежал к кассе отмечать остановку. Прodelать это надо было быстро, потому что, как я знал, касса закрывается почти сразу после отхода поезда, а поезда на таких станциях стоят минуты две. Это сказано не в хулу и не в порядке критики «наших порядков», просто не так уж много людей отмечают на этих станциях остановки, и кассирше торчать в своем окошке абсолютно незачем. Я успел,

остановка в моем билете была отмечена. Поезд за это время ушел, станция опустела, и я опять, как в давние времена, перешел через ее пути к заводскому складу, на выходе из которого надо было сесть в тот же вагончик той же узкоколейки — в этом смысле ничего не изменилось. Знающие люди объяснили, что «кукушка» по расписанию должна отправиться через два часа. Тем не менее они чего-то ждали, хотя были местными. И я приготовился ждать. Да и что я мог сделать еще? Но к расписанию здесь относились по-домашнему, и минут через десять ворота склада открылись и из него выехал знакомый состав — паровозик, груженная платформа и пассажирский вагончик.

Все как осенью 1941-го, когда я впервые ступил на эту землю. А на дворе было уже лето 1951-го. Прошло целых девять лет. А с весны 1944-го, когда я с этого же склада в теплушке отбыл в Москву, и всего лет семь. В масштабах моих сегодняшних семидесяти четырех совсем немного. Но тогда это была почти половина моей сознательной жизни. Да и без масштабов — сколько вместилось в эти семь лет! И сам симский опыт, и Москва, и Литинститут, и Лубянка, и этапы, и пересылки, и ссылка, и — как бы помимо ссылки — Чумаково. И еще «белое безмолвие» Тюмени, и встречи — в Москве и в Киеве. И Калуга с бегством из нее в придачу.

И вот я опять ехал с вещами на «кукушке». Тогда растерянный, отчасти подавленный бездомьем и эвакуацией — с робким ожиданием, что удастся приткнуться, теперь тоже растерянный (сделав остановку по дороге в неизвестность), но без всякого расчета и даже желания приткнуться именно здесь. Ну как тут приткнешься — оборонный завод и поселок при нем! А если и приткнешься, не ровен час, в шпионы угодишь! Владело мною иное желание — встретиться с прошлым, оставившим значительный след в моей жизни.

Обычно, посещая старое пепелище, подсознательно демонстрируют достигнутое. Поразительно, но меня совсем не волновало, что продемонстрировать мне в этом смысле нечего. Почти с любой точки зрения, я к тому времени потерпел полное жизненное поражение. Ни кола ни двора, ни, по сути, права на легальное существование. Но потерпевшим поражение я себя не ощущал. Ни тогда, ни вообще когда-либо. Даже в первые годы эмиграции, где меня сти-

рала в порошок эмигрировавшая часть тусовки (или, точнее, того слоя, который потом развился в тусовку) совместно с американскими русистами, то есть тоже тусовкой, только академической.

В сущности, тусовка бывала всегда, везде и во всем, но не всегда она овладевает столь тотально «командными высотами». Это всегда попытка абсолютизировать какие-то внешние атрибуты какого-либо дела и абстрагироваться от его сути. И в идеале — пока еще, к счастью, не достигнутом, стремящаяся к полному подавлению, компрометации и изгнанию всего, что может оказаться самопроявлением этой сути. Кстати, проблема эта не только локально-советская или российская, но и мировая. Но это проблемы нынешнего времени. А тогда меня вообще не мучили такие проблемы. Я просто отметил, что, несмотря на все, что со мной произошло, у меня тогда не было ощущения поражения.

Теперь — есть. Теперь, на старости лет, мне приходится бороться с этим чувством. Конечно, дело не в старости: старость — это естественный конец, а не поражение. И нет у меня ощущения, что мне его может нанести тусовка — она может многое парализовать, но победить никого и ничего не может. Ибо в моей жизни она — просто еще одно неприятное обстоятельство, а не явление. Ей нечем и нечем побеждать.

Поражение мне может быть нанесено самим, как говорили в старину, «ходом истории». Тем, что реальным результатом освобождения России от тоталитаризма стала власть беспредела и той же тусовки как его эстетического выражения. И тем, что после натовских бомбежек Югославии обнажился тот простой факт, что на свете больше нет Запада как некоей сущности и морального фактора*. Нет и вообще, и для России. И временами кажется, что все ценности, которые лежали в основе моей жизни и творчества, связаны не вообще с историей человечества, а с историей

* Вмешательство НАТО в югославские дела — только обнажение этого факта. Конечно, все еще на месте, но такое ощущение, что по инерции. Неспособность Запада, особенно Соединенных Штатов, защитить от имеющей право голоса охлократии свое образование и элементарные ценности (такие как женственность, иерархия биологических отношений, правосудие, превратившееся в собственность адвокатов) не может не сказаться на устойчивости западной цивилизации. Будем надеяться, что эта преходящая болезнь. Только перенимать ее не надо — у нас своих болезней хватает.

просто одного из ее периодов, пусть громадного, несколько-тысячелетнего, но теперь, в начале третьего тысячелетия от Р.Х., сводятся к нулю, с которого должна начаться какая-то принципиально новая и безусловно страшная эпоха. Душа отказывается это принимать, надеется на ошибку разума (моего). Но если это не ошибка, то я действительно потерпел поражение. Поражение это я потерпел как будто не в плане личной судьбы, а в составе всего человечества. Но и в плане личной судьбы тоже. Ибо все, чем я жил, что защищал, за что переживал, что для себя открывал и считал важным, за что себя уважал, наконец — все это оказалось пшиком, детскими игрушками: чем бы дитя ни тешилось... Временами мне бывает очень страшно.

Но это теперь. Тогда же ничего подобного не было. Я, конечно, ощущал всю подвешенность и неприкаянность своего положения, это меня тяготило. Понимал я и то, что все мои мысли и чувства сейчас уголовно наказуемы, значит, в любой момент я могу оказаться за решеткой и там погибнуть. И в Караганду я ехал не в надежде там состояться, а в надежде как-то прижиться. Так что мое состояние было весьма далеко от бравурности. Но у всего этого были конкретные причины, это были конкретные обстоятельства, которые надо преодолеть, обойти, переждать. Мой мир продолжал существовать. При жизни или после нее я все равно могу взять свое. И никакого ощущения поражения, которого можно стесняться, никакого комплекса неудачника у меня не было. А было ощущение пройденного пути.

Оно было со мной всегда и, конечно, не исчезло в вагончике узкоколейки, который вез меня со станции в Сим. Но думал я о другом. Конечно, и о предстоящих встречах. Что при этом подразумевалось, я бы и сам не мог сказать. Почти все, с кем я был связан и кого помнил по заводу, уже давно возвратились в Москву. Так и оказалось — остались только женившиеся на местных девушках начальник одного из цехов, как это ни экзотично для здешних мест, еврей по национальности, и, кажется, лекальщик Боря Кузнецов. Но я об этом не знал. А если б и знал? С начальником этим я практически не был знаком, знаком был только с его женой, красавицей Полиной, которая была медсестрой и одно время работала с моей матерью — знакомство более чем поверхностное. Да и с Борей Кузнецовым у меня не было никаких отношений, хоть он мне и

нравился. Так что предупреждать кого-либо из них о своем приезде мне было бы странно. Мы и не увиделись даже. Не из принципа, а как-то и вопрос об этом не встал. Конечно, почти наверняка в Симе оставались Хайдуковы, но я не знал их адреса, да и вообще не знал, что с ними, живы ли, вернулся ли их сын Саша с войны. Что же меня влекло сюда (и даже сейчас влечет)? Место? Кстати, насчет «места». Оно раскрывалось по ходу «кукушки». Сначала шли луга, зеленые горы на дальнем плане. Но потом, при приближении к Симу, мне стало чего-то не хватать. И я не сразу понял, чего именно. Но потом я понял — не хватало зелени. Окружавшие Сим «шишки» (Уральские горы) оказались совершенно безлесые, по буквальному ощущению лысыми, точнее облысевшими. Как у человека, чья голова в момент расставания была в густой шевелюре, а при встрече через несколько лет оказалась гладким шаром. Но у человека это произошло естественным порядком, во всяком случае, без прямого постороннего вмешательства, а здесь это было результатом именно такого вмешательства — это сделали люди, когда в очередной раз решали очередную задачу «любой ценой». Мне потом рассказали, как это произошло. В какой-то момент на завод не завезли топлива и, дабы не допустить остановки завода, использовали «местные ресурсы». Указание-разрешение такое, наверно, пришло быстро. Небось и награду получили за местную инициативу от тех, кому уж точно было не жить в обезображенном ландшафте. И с чего вдруг? Даже в самые тяжелые месяцы войны, в 1942-м и 1943-м, когда случались перебои с топливом (а они, как может помнить читатель, случались), такое никому в голову не приходило. Останавливали на несколько дней завод, но этого не делали, не разрушали землю, за которую люди в это время отдавали свои жизни. А в конце войны это вдруг стало необходимым.

Да, именно в конце. Когда я уезжал из Сима — а это было весной 1944 года, то есть достаточно близко к концу войны, — «шишки» вокруг были одеты в леса, и это казалось нерушимым и вечным. Как небо над головой. Следовательно, порушено это было в сроки, еще более близкие к концу войны — перед самой Победой. Не исключено, что и после нее — когда уже вообще в этом не было никакой необходимости. Кроме, конечно, отчетно-бюрократической, освободившейся с концом войны от всякого гнета реаль-

ности. Она сама стала реальностью. И тот, кто, ни о чем другом не думая и не заботясь, таким способом продемонстрировал свою инициативность, знал, что делал. И хотя формулу — «извели страну на показатели» — я придумал много позже, на основании более широкого опыта, но помнится, подсознательно эти облысевшие «шишки» стояли перед моими глазами. И думаю, что память меня не обманывает.

Между тем паровозик подвез свой небольшой состав к Симу и остановился перед заводскими воротами. Правда, перед этим была у него еще одна остановка — при въезде в Сим. И, как я помнил, от нее к Хайдуковым (а мысленно ехал я все-таки к ним) было чуть ближе, чем от завода. Но я не рискнул — не был уверен, что найду их дом. Тем более что по дороге выяснил, что Саша Хайдуков (его уже именовали почтительно «Александр Александрович») вернулся с войны и работает на заводе диспетчером. Решил начать с него.

Найти его действительно оказалось просто. Как именно, не помню — то ли позвонил, то ли кто-то по моей просьбе передал ему, что я его жду, — но помню, что через несколько минут я уже ждал у клуба условленной встречи — примерно на том месте, где десять лет назад мы с отцом ждали мать, пошедшую выяснять, можем ли мы здесь осесть.

И мимо опять проходили незнакомые люди. Хотя тогда это было естественно, а теперь не очень. Не видел я не только московских лиц, но и симских тоже. И речь вокруг была не симская. Может, потому, что на этом «пяточке» в это время можно было встретить только служащих заводоуправления, попавших сюда по распределению после институтов или техникумов. А может быть, просто все симское разводнилось в общероссийском — не знаю. Но для меня это был «глагол времен, металла звон», воплощение бега времени. Нельзя дважды ступить в один и тот же поток — поток был явно другой... Но вот появился запыхавшийся Саша. Мы обнялись. Пошли к нему. Родители его были живы, но, естественно, постарели. С трудом меня разглядели, но узнали. Встретили тепло, расспросили про моих родителей, накормили. Объяснять им, что со мной за это время произошло, я пытался, но не уверен, что они уяснили, они плохо слышали, и слишком далеко это было от их жизни. Поняли только, что со мной случилась беда, какая-

то несправедливость, и сочувствовали мне. Да если бы я оказался настоящим «тюремщиком» (уголовником), они приняли бы меня столь же радушно: «бес, поди, попутал, со всяким может случиться». Но их самих «бес» никогда бы не попутал. Да и про меня они не думали такого, даже в голову не приходило. Саша, конечно, понял меня вполне, но никакого опасения в его отношении ко мне я не заметил. А ведь занимал видную должность на оборонном заводе — единственном серьезном предприятии в Симе.

Но самым сильным впечатлением в этот мой приезд в Сим было посещение школы — той школы, которую я когда-то окончил. Впечатление это было и приятным, и грустным. Учительницы... При воспоминании о них душа моя наполняется теплотой и... испытываю я некоторую неловкость. Неловкость объясняется тем, что я не помню ни их имени-отчества, и фамилий не помню. Не помнил, когда рассказывал, как учился в этой школе (ч. 2-я), и теперь не помню. Они этого никак не заслужили — тем более передо мной, в ком они приняли живое участие. Но что сделаешь с памятью? А в 1951 году нельзя даже сказать, что не помнил, не представлял, что может быть иначе. Они, те, кто меня знал, — время и здесь не стояло на месте — встретили меня тепло, даже радостно. Приятно, когда бывшие ученики взрослыми людьми навещают свою школу. А поскольку во мне они когда-то приняли особое участие, им было вдобавок приятно, что я об этом помнил. И мне это было приятно.

Начались, как водится, вопросы-расспросы. Мой рассказ о моей тогдашней судьбе не поколебал их радости. Все-таки их выпускник достиг некоторой высоты, пусть его даже и сбили, но все равно это произошло в недосыгаемо высоких сферах. И кто его знает — вот жив, заехал, — может, опять взлетит. Мне, конечно, сочувствовали, но и сочувствие было каким-то радостным. Но висела над нашей встречей черная туча, не имеющая никакого отношения к тому, что между нами происходило.

У учительницы географии — теперь то ли директора, то ли завуча — я спросил о ее муже, кстати, единственном из учителей, чье имя, отчество и фамилию я помню и теперь — об Иване Никаноровиче Кузнецове. В мое время он был завучем и преподавал у нас историю. Об этом ярком и умном, незаурядном человеке и роли, сыгранной им в моем

становлении, я уже рассказал во второй части этих мемуаров. Я не хочу повторяться, но об одной фразе, которая и вошла, так сказать, в состав моей личности, все-таки напомним. Фраза была сказана походя, в ответ на уверения учительницы немецкого языка, что беда моя в том, что у меня часто мысли впереди слов. И прозвучала она так:

— Да? А мне казалось, что наоборот — слова впереди мыслей.

Фразу эту можно было счесть и обидной, и я до сих пор горжусь тем, что тогда не обиделся, а удивился и задумался. И почувствовал, что он прав. Это одна из тех фраз, которые сделали меня самим собой. И мне теперь хотелось рассказать ему о том, какое большое значение она для меня имела — хотелось поблагодарить его за это. Но оказалось, что поздно.

— Нет Ивана Никаноровича... Не вернулся... Погиб на войне, — сказала его вдова, учительница географии, с застарелой горечью.

А мне так хотелось с ним поговорить, особенно теперь.

Иван Никанорович был для меня личной потерей. А мобилизовали его «в общем порядке» — вместе со всем десятым классом (в который я поступил, когда он был еще девятым — я, если помнит читатель, за один год окончил два класса). И из ушедших с ним не вернулся почти никто. Как почти никто из тех, кто окончил школу вместе со мной, то есть на год раньше. Например, Сережа Напалков, с которым я дружил. Не вернулся и сын учительницы географии, пасынок Ивана Никаноровича, Володя Новиков, ушедший на войну вместе с отчимом.

Вот она — цена войны и сталинской гениальности! Огромность наших потерь была ощутима везде. И везде, где я бывал. Особенно в деревнях, например в Чумакове. Она там зияла кровавыми пустотами, сказывалась на самом укладе жизни, на ее психологии. Но Чумакова до этих потерь я все-таки не видел и не знал — видел тех, кто вернулся, но не знал тех, кто не вернулся. В больших городах они были не так наглядны. И даже в таких городках при оборонных заводах, как в целом Симе, — они тоже скрадывались. Многие в них были на броне, много присылали и новых мужчин-специалистов. Школьники и учителя брони не имели, и, кроме того, я сам учился с ними рядом. Поэтому огромность этих потерь на судьбе симской школы для меня на-

глядней и ощутимей, чем все остальное, с чем я сталкивался. Ушли почти все — и учителя и ученики, — и всех я знал. Не вернулся почти никто, только Саша Хайдуков — он был из следующего набора.

Ни с кем из своих соучеников, кроме как с Сережей Напалковым, я не успел подружиться или сблизиться. Слишком мал был срок общения — в каждом из этих двух классов я пробыл только по одному семестру. Это вообще срок небольшой. А если учесть столь разительное несходство жизненного опыта и интересов и «ментальность» тогдашних симачей, вообще тяжелых на подъем, не привыкших так запросто раскрываться перед посторонними... Но все-таки отношения у меня с ними были. Хоть и не близкие, но вполне хорошие, доброжелательные. Они были моими товарищами. Я их помнил. А теперь их не было — как корова языком слизала.

Мне тогда было очень приятно с этими учительницами (да и сейчас еще). И все-таки немного не по себе. Грызла мысль (да и до сих пор иногда грызет), что и с Сережей Напалковым, и с Володей Новиковым мы мечтали пойти в армию, но они пошли и не вернулись, а мои хвори и слабости помогли мне избежать их участи. Жизнь моя была (особенно тогда) тяжелой и опасной, но все-таки она была жизнью. Все-таки я был жив, мог уворачиваться и надеяться, мог разговаривать и печалиться о них.

Но, несмотря на эту тучу, на то, что мужей этих учительниц, реальных и возможных (а иногда детей, как у учительницы географии), забрала война, тональность нашей встречи была радостной. Никто даже в глубине души не подозревал меня в какой-либо хитрости и ловкости, благодаря которой я избежал общей участи. Но они ведь меня знали, да и все происходило почти на их глазах. Они просто были рады меня видеть. И я их.

Когда я уходил, меня догнала молодая (даже по тогдашнему моему восприятию) учительница.

— Вы, наверно, меня не помните, — сказала она, — а я вас помню. Вы были в десятом классе, когда я была в пятом.

И я впервые подумал, что, наверно, маленьким я тогда казался легендарной личностью — пишет стихи, за один год сдал экзамены за два класса. Сам я этого не замечал, да и вообще мне было не до маленьких. И вот теперь в словах молодой цветущей женщины это воскресло и прояснилось.

Но чувствовалось, что это не все, что она мне хотела сказать, а что-то еще лежало у нее на душе, переполняло ее душу — другими словами, ей хотелось выговориться. А если сказать проще — рассказать историю своего неудачного замужества. Муж ее был, кажется, тоже симский, стал офицером, какое-то время она жила с ним в части, у них родился ребенок, и когда она с ребенком поехала к родным, он завел другую. Впрочем, кажется, они и до этого плохо жили — точно не помню. Впрочем, история, к сожалению, вполне банальная для нашего времени.

Почему ей захотелось рассказать ее именно мне? Вероятно, тут было все: и детская память о моей «необыкновенности», и моя прикосновенность к неким духовным сферам, к литературе, к чему она, видимо, вообще была расположена (потому это и заинтриговало ее в детстве), и даже тяжесть моей судьбы. И наконец, просто то, что при всем этом я еще был человеком сторонним — как приехал, так и уеду. Встает вопрос: а здесь, в Симе, неужели ей не перед кем было выговориться, излить душу? Она считала, что не перед кем, и теперь я думаю, что, наверное, она была права. И не потому, что тут не было умных, чутких и хорошо относившихся к ней людей, которые ее бы и выслушали, и посочувствовали. Такие люди были. Но все они знали эту историю и вообще все о ней знали. И рассказывать ей им о себе было нечего. Сочувствовали они ей по-доброму, жалели, что и с ней случилось то, что тогда — особенно в послевоенные годы — случалась со многими, что не убереглась от этой общей нивелирующей беды, естественно, и мужа ее поносили за то, что козел. Все это было правдой, но от меня она ждала другого — чего? А чтобы я ее увидел, разглядел, какая она, несмотря ни на что, чтобы самой увидеть моими глазами, как она прекрасна — внешне и вообще, чтобы я рассеял злые чары ее унижения. А оно было. Ибо это была не любовная трагедия, а неудавшийся мезальянс. В чем мезальянс? Ведь она была простой симской девочкой. Простой, да не очень. На Урале в маленьких поселках приютились, притаились разные семьи «из бывших» — купцов, приказчиков, интеллигенции. Может, и она каким-то концом происходила из такой семьи. А может, Господь и без этого заронил в нее такой огонек, тягу к чему-то высокому, не очень даже понятному, смутно ощущаемому. В любви, в браке она этого не нашла, а потом еще и муж от

нее отказался. И что-то в себе, в своей женственности она ощущала, и ей очень хотелось, чтобы я это увидел. И я увидел.

Нет, у нас не было никакого романа. Она не кокетничала, и ей это вроде и не было свойственно. В ней была некоторая уральская тяжесть, как-то органически вплетающаяся в состав ее женственности, и кокетства это не требовало. Короче, она мне очень понравилась. И я совсем был не прочь тогда завести с ней — нет, не роман, — а нечто более существенное. Но ведь мне тут же, на другой день после знакомства, надо было уезжать, и ехать в никуда, где со мной неизвестно что произойдет — плохая диспозиция для завлечения женщины. Хотела ли этого она, я никогда не узнаю. Так что походили мы по Симу часа два и расстались. Расстались так, словно еще увидимся. Но не увиделись. Не получилось. Было ли это для нее хоть каким-то огорчением, хотела ли она от меня чего-нибудь большего, я никогда не узнаю. Впрочем, то, что ей нужно было от меня получить, она получила. Со временем из этого могло что-то развиться или не развиться, но времени-то как раз и не было. Мне надо было уезжать. Не знаю, как сложилась потом ее жизнь. Хотелось бы, чтобы благополучно и радостно. Но слишком неуютно складывалась жизнь у женщин ее поколения, особенно у таких, с неопределенными ожиданиями смысла и красоты, — чтобы быть в этом уверенным. Не знаю, была ли адекватно реализована ее обаятельная женственность, но хочу надеяться. А знать мне это неоткуда — больше я никогда не заезжал в Сим. А общения у нас с ней было — всего только два часа прогулки по симским улицам. Я даже имя ее забыл. А ее самое помню хорошо — прямо-таки вижу перед собой. Плодородной страной еще была тогда Россия.

Уехал я без приключений, дня через два — на следующем карагандинском тридцать втором. Закомпостировал билет просто — видимо, время было еще до поры летних отпусков. Дорожных впечатлений не помню. Только одного добродушного офицера — белоруса, начальника КВ (культурно-воспитательной части) одного из лагерей Карагандинской области (Карлага). Он вез с собой сына — чтоб приспособить того к делу в лагерных мастерских:

— Там у нас знаешь какие мастера! Ого! Научится у них — человеком станет.

Он был, как я сказал, добродушен, зла никому не желал и даже — я почти уверен — сам от себя не делал. Думаю, что, если бы я при нем что-нибудь не то брякнул, он, несмотря на синюю фуражку, не донес бы. Впрочем, он и без того узнал во мне «своего» — добродушно подмигнул мне и выразился в том смысле, что «смотри, в конверт попадешь!» Это его предупреждение ничем не было спровоцировано, и он вовсе мне этого не желал, но просто демонстрировал узнавание — таких и запечатывают в «конверты». Он знал, что это так, но не испытывал потребности решать, хорошо это или плохо. Как ему в голову не приходила в голову мысль, что держать таких достойных и трудовых людей, как мастера, на выучку к которым он теперь вез сына, в исправительно-трудовых лагерях — не совсем естественно. Это было так, они сидели и были хорошими мастерами. Да и достойными людьми. Привезти к ним на выучку сына вполне стоит, дурному не научат. А почему это так, не его ума дело.

Эмигрантский социолог Р.Н.Редлих назвал это качество «фактопоклонством русского народа». Но на моей памяти я встречал это «фактопоклонство» — отношение к навязанным условиям бытия, как к естественным, — отнюдь не только у русских, оно прочно вошло в психологию всех граждан СССР. Это и есть та «совковость», в которой так часто теперь обвиняют друг друга бывшие советские граждане.

Ссылно-поселенческий рай

«Город промышленного бума» — так назвал Караганду Аверелл Гарриман, когда посетил этот город. Не знаю, понял ли он значение многочисленных вышек и проволочных ограждений вокруг многих обычных стройплощадок. Но Караганда действительно тогда была расцветающим городом. Только приезжешь это раскрывалось не сразу.

Московский поезд приходил в Караганду утром. Собственно, не в Караганду, а на вполне соответствующую своему названию станцию «Караганда-угольная» — карагандинского вокзала тогда (как и вообще при мне) еще не было. «Караганда-угольная» была не времяжкой на месте будущего вокзала (он строился совсем в другом месте — у Нового города), а одной из нескольких подсобных станций, где сходились подъездные пути окрестных шахт и

формировались угольные составы дальнего следования. Она и не на магистрали располагалась (магистраль, напоминая, шла дальше на юг, на Балхаш и Джезказган), а на ответвлении, в месте, наиболее удобном для формирования угольных составов. К приему пассажиров она не была приспособлена совсем.

Ничего этого я, конечно, не знал и, глядя в окно, с нетерпением ждал вокзала. Поезд медленно полз среди шахтных зданий, терриконов и прочих ненарядных промышленных строений и вдруг остановился. Я считал, что перед очередным семафором, оказалось — приехали.

Я сошел вместе со всеми на земляную со щебнем платформу, которую не сразу заметил. И пошел вслед за всеми, сначала по платформе, а потом за ворота. За которыми тоже никакой вокзальной площади не было. Я знал, что мне надо сесть в трамвай, но на маленькой пристанционной площадке не было ни столбов, ни рельсов, и места для них не было. Пристанционную площадку полукругом обступали хибарки. Народ устремился в проем между ними, оказавшийся улицей. Я пошел вслед за всеми по хибарочной улице и, пройдя примерно километр, оказался на не очень благоустроенной площади с трамвайным кругом. Это был центр Старого города. Мне же надо было в Новый и даже за него — на мелькомбинат. В районе мелькомбината и жил мой двоюродный дядя Соломон Ефимович, к которому я ехал.

Трамвай тоже шел среди хибарок и пустырей.

Слово «хибарки» никого не должно обманывать. Полуземлянки, которые я так называю, выглядели неказисто, но отнюдь не всегда означали бедность. Внутри они часто были обставлены вовсе не бедно — по тогдашним, конечно, меркам. Люди, которые в них жили, работали на шахтах, часто хорошо зарабатывали (шахтерам тогда платили много) и могли себе это позволить. Я этого не знал, да и не думал — думал о том, приживусь ли. Я уже знал, что живые души можно встретить везде, где живут люди, и хибарки меня не пугали. А тут вообще завиднелись современные строения Нового города и его зелень. Так что к самому месту претензий быть не могло. Город мне в общем понравился. Захотелось в нем прижиться и жить... Но как это было сделать, с чего начать? Оказалось, что «поселок ГШО» (завода горно-шахтного оборудования), где жил Соломон Ефимович, расположен по другую сторону Нового города, от

которого его отделял пустырь, все время застраивавшийся. Для того чтобы туда добраться, надо было пересечь весь город вширь, что было не очень трудно, ибо вширь он был еще невелик. Мне все тут нравилось: светлые дома, бульвар, по которому я шел.

Как мне кажется, к Соломону Ефимовичу я добрался тем же утром. Новый город целиком пересекала красивая тенистая улица — бульвар Мира, как я потом узнал. По этой улице я шел. Мне очень нравилось по ней идти. Проходил мимо разных зданий и учреждений, мимо Горного техникума — вовсе не предполагая, что с ним может быть связана моя судьба, — и вышел к универмагу. Против которого располагалась святая святых — Центральная площадь (кажется, Ленина) и обком КПСС. Эта площадь была началом второй центральной улицы — перпендикулярного бульвару Мира проспекта Ленина. В ларьке у универмага я выпил кружку кваса, очень хорошего, что тоже меня приободрило. Люди вокруг мне тоже нравились. Я почувствовал, что Караганда — рабочий город, а это для меня, еще не избавившегося от большевистской мифологии, имело особый привкус. Впрочем, мне и теперь — без всякой мифологии — это тоже приятно. Правда, карагандинские трудовые люди отличались от многих других трудовых людей тем, что им хорошо платили — это прибавляло достоинства. Я помню разговор, услышанный мной через несколько дней после приезда на автобусной обстановке. Какая-то баба ругалась: «Что ж это творится! Скоро год как живем — до сих пор квартиры не дали!» В каком городе еще можно было тогда услышать такой разговор? Это все равно, что воскликнуть в Бостоне: «Год живу — до сих пор не миллионер!» Но баба считала это безобразием — такое здесь случалось не всегда.

Но пока я только пил квас и смотрел на людей. Правда, я не помню, были ли со мной в это время вещи или я оставил их в камере хранения (полагаю, такая там была). Наверное, все-таки они были при мне. Смутно помнится, что я их тащил, уставал и опять тащил. А когда пил квас, следил, чтоб не сперли. Несчастливым от этого себя не чувствовал. Я уже привык не воспринимать такие ситуации как безвыходные. Тащил. Конечно, в моей памяти действительное в связи с таким маловажным обстоятельством могло спутаться с воображаемым. Но вряд ли совсем. Даже если я

оставил свои вещи в камере хранения, то мне потом пришлось таким же образом проделать этот путь. Но помнится все же, что, перейдя через пустырь и отыскав по адресу дом, я и явился пред светлые очи Соломона Ефимыча с вещами. Он был дома. Помню, что меня это не удивило и что я не боялся его не застать. То ли было воскресенье, то ли дата моего приезда была обусловлена заранее, то ли у него был телефон (чего я в связи с ним не помню), и мы с ним созвонились, то ли просто так сошлось, но мне было куда себя деть в первый момент.

Принял он меня хорошо. Вряд ли как родственника (родственниками мы с ним были десятая вода на киселе), скорее по рекомендации сестры и как «подельника», человека, находящегося в таком же положении, как он сам.

За завтраком он мне рассказал о том, в каких условиях здесь живут ссыльные — и у меня глаза на лоб полезли. В сущности, они здесь жили, учились и работали везде, иногда на довольно ответственных работах. Разумеется, не в «идеологической области». Впрочем, преподавать литературу в школе они вполне могли. Оказалось, что молодые приятели Соломона Ефимовича Юра и Вава, будучи ссыльными, учатся: Юра в Горном техникуме, а Вава даже на факультете языка и литературы учительского института. Конечно, только учительского, но ведь литературы! Ведь он готовил, как тогда по ритуалу считалось, «идеологических работников»!

— Так ведь здесь Эльдorado! — вскричал я, услышав об этом. — Ведь такое нигде невозможно!

— А здесь так, — сказал Соломон Ефимович. Я был вне себя от восторга.

Почему «здесь» было «так», почему Караганда (подобно, кажется, Магадану, Норильску и Воркуте) оказалась своеобразной столицей ссыльных, можно только догадываться. В сущности, прямого запрета на занятие высоких должностей в промышленности не было. На чумаковском небосклоне должность главного инженера райпромхоза, которую, если помнит читатель, занимал ссыльный, Григорий Григорьевич Головин, тоже была высокой. Просто здесь нужда в таких кадрах была больше, да и их было больше. К тому же и в лагерях вокруг таких хватало — не дискриминировать же их по сравнению с лагерниками. И мас-сой брали, население ведь состояло из уцелевших раскула-

ченных (теперь им были возвращены права — якобы за то, что во время войны они доказали свою верность), а также из сосланных немцев и просто ссыльных — бывших лагерников и таких, как мы с Соломоном Ефимовичем. Потом у меня иногда появлялось ощущение, что и МГБ, и МВД на фоне остального населения смотрятся здесь как представители оккупационной армии. Сходство, конечно, чисто внешнее, ибо и те и другие были пришлыми. И следовательно, такого простого способа освободиться, как прогнать «оккупантов», у них не было — такая идея в их головах даже и возникнуть не могла.

Но это мысли более позднего времени и даже основанные на более поздних впечатлениях. А пока мы сидели с Соломоном Ефимовичем и рассказывали друг другу о том, что каждый из нас видел и пережил. Мы ведь были до этого незнакомы. Воспроизвести весь этот разговор я сейчас не в состоянии, да и не имеет смысла. Рассказу обо мне посвящена вся эта книга, а о Соломоне Ефимовиче все главное я уже здесь рассказал. Но рассказать об одной его встрече в Бутырках, относящейся к 1922-му или к 1923 году (точной датировкой его нахождения там я не располагаю) я чувствую себя обязанным, хотя прямого отношения к моему повествованию эта встреча не имеет. Просто Соломон Ефимович, по-видимому, никаких мемуаров после себя не оставил, а он был почти единственным, кто это помнил, рассказанное им может вообще пропасть. А факт этот проливает некоторый дополнительный свет на психологическую историю большевистской диктатуры.

Хотя мне и рассказывать почти нечего. В бутырской камере Соломон Ефимович познакомился и подружился с человеком по имени Эрландо. Человек этот был финским коммунистом, идеалистом. Коммунистические идеалисты в советских тюрьмах тогда еще не сидели — сидели только такие коммунисты, кто был по совместительству уголовником или растратчиком, таких идеалистами не назовешь. А этот был идеалистом, но — угодил.

Они много разговаривали, Эрландо был проникнут величайшей любовью к Ленину, к революции, к русскому опыту. Он был очень удивлен, что «республика» посадила его в тюрьму, был уверен, что все разъяснится (опередил комплекс «жертв тридцать седьмого»), на этой ноте они и простились с моим двоюродным дядей, когда того выпус-

тили. И все действительно «разъяснилось» через несколько месяцев. Дядя открыл газету и с удивлением и ужасом прочел постановление какого-то высокого трибунала о том, что такие-то и такие-то, в том числе и Эрландо, за свою контрреволюционную деятельность и пособничество мировой буржуазии присуждаются к расстрелу и приговор приведен в исполнение. Вот и все, что я знаю об этом. Знаю только, что он не занимался контрреволюцией, возможно, почтительно возражал, говоря о некоторых частных, как ему казалось, вопросах, а те, кому он возражал, сочли их нечастными. Почему же им понравилось его расстреливать?

Меня удивляет не жестокость и не подлость. Преступления «чистого большевизма» мне хорошо известны. Что сравнится по подлости с расстрелом капитана (или адмирала) Щастного? Или с расстрелом офицеров в Крыму? Или вообще с «красным террором»? Да мало ли что еще? Но эти все для них были не своими, как все несоциалисты. К социалистам они вроде относились мягче. Соломона Ефимовича, молодого эсера, выпустили. Поскольку отказался от политической деятельности. Но его товарищей, которые не отошли от эсерства, сослали на поселение или в Соловки и все же не расстреляли. Относились как к заблудшим, но своим — социалистам. Этот же был коммунист, а они его — «в штаб Духонина». Не возражай — не ломай ряды! А может, он знал что-нибудь, кому-то неприятное — допустим, о немецких деньгах? Принимал, оправдывал, но — знал, и они его — того. Непохоже — такая психология больше свойственна Сталину. Который тогда уже втихаря разворачивался, но на что ему был Эрландо? Ничего не знаю. Кроме того, что рассказал — может, кто-нибудь захочет разобраться. Знаю я только, что грязна вся история большевизма, даже в самый «чистый» ее период. И грязен он был всегда не по отношению к «чужим» (к каковым относились не только гамузом — по социальному положению — «классовые враги», но вся несознательная часть человечества), но по отношению и к своим, к самому себе.

Однако хватит об этом. Тем более что о большевизме я и в этой книге, и вообще потом написал достаточно, а тогда ничего из того, что написал потом, я еще не понимал. Эпизод с Эрландо меня, конечно, удивил (тем, что коллизии «тридцать седьмого» существовали уже тогда), но не более того. Вероятно, я его себе объяснил происками Сталина,

тогда уже выходящего на авансцену, и успокоился. Я еще незрел до того, чтобы вглядываться в этот эпизод пристальной, до более широкого взгляда на революцию. А кроме того, мне просто надо было вжиться и выжить, и что-то мне в этом смысле здесь вроде бы засветило, и я рвался навстречу этому.

Да ведь и разговаривали мы с Соломоном Ефимовичем не до бесконечности. Посидев какое-то время дома, позавтракав и почаяевичав, мы вышли погулять по городу, центральные кварталы которого начинались сразу же за пустырем, отделявшим его от поселка ГШО. Оказалось, что у Соломона Ефимовича здесь уже появилось много знакомых, со всеми он раскланивался, но проходил мимо. Пока мы не встретили молодую пару.

— Вот они! — воскликнул радостно Соломон Ефимович, словно встреча эта была договорена заранее и, наконец, он их нашел. — Знакомьтесь. Это Юра и Валерия — я вам о них говорил. А это...

— А этого я и так знаю. По «Молодой гвардии» — я там тоже бывал, — сказал Юра. И знакомство состоялось. «Молодая гвардия» (так в просторечии, как, надеюсь, помнит читатель, называлось литобъединение при издательстве с этим названием) была в каком-то смысле опознавательным знаком для тогдашней московской молодежи, неким оазисом как бы свободного общения. Там создавалась и своя «карманная» (а может, не такая уж и «карманная») известность. На пересылках меня раза два опознавали по этой же «Молодой гвардии». Вот и теперь опознали.

Этих моих новых знакомых особо представлять не надо. Ими были Юрий Айхенвальд, ставший потом известным и как литератор (поэт, эссеист и переводчик), и как человек, близкий к диссидентскому движению, и его жена Вава Герлин.

Так отпечталось наше знакомство в моей памяти. У Вавы оно отпечталось иначе. Оказывается, я сидел в библиотеке (возможно, меня там оставил отлучившийся Соломон Ефимович), а она, проходя мимо, углядела меня сквозь ее «витринные» окна, подошла ко мне и спросила:

— Вы Эмка Мандель?

Я сознался. Мы разговорились, а потом она отвела меня к ним. Разумеется, после того как появился Соломон Ефимович — не мог же я озадачить его внезапным исчезнове-

нием. Но это разночтение несущественно — остальное, в том числе и роль «Молодой гвардии», сходится.

О том, как попала в ссылку Вава, я уже рассказывал — она была арестована и «полностью изобличена в том, что является дочерью Горба Михаила Семеновича» (видного чекиста-«международника», расстрелянного Сталиным) — просто и мило. Юра попал сюда сходным образом. Его отец, согласно сталинскому «Краткому курсу истории ВКП (б)», входил (был даже назван по имени) в ту группу «буржуазной молодежи», которую собрал вокруг себя Бухарин. Почему «буржуазной», понять трудно, — дед Юры был вовсе не «буржуй», а известный критик Юлий Исаевич Айхенвальд, но кого это интересовало? Да и сакраментальна сейчас была не «буржуазность» Юриного деда, а близость его отца к Бухарину. Ведь слово «Бухарин» воспринималось тогда как одно из имен дьявола — согласитесь, сына человека, который общался с дьяволом, оставлять на свободе было бы как-то даже нехорошо. Вот и посадили. Как Ваву. Как прочих «детей врагов народа». Наряду с недосаженными и «повторниками». Такое было мероприятие.

Но раз на раз не приходится — Юре, в отличие от Вавы, сначала старались пришить что-то более крупное, но потом смилостивились и ограничились изобличением в родстве. И он попал не в лагерь, а в ссылку. Правда, к сожалению, в деле оставались не опровергнутые формально рудименты первоначального обвинения, и они потом сработали. Но в момент нашей первой встречи об этом никто не знал. Мы просто были счастливы, что нашли друг друга. Как тут же выяснилось, в Караганде, только в Старом городе, живет на таком же положении и преподает математику в вечерней школе мой старый приятель (через Николая Глазкова) Алик Вольпин — в будущем известный правозащитник, даже идеолог правозащитного движения Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Впрочем, это только одно из направленных его деятельности — круг его интересов и занятий всегда был намного шире. Таким образом здесь, в Караганде, сам собой создавался уголок Москвы. Так что я пришелся сразу ко двору.

Отношения у нас завязались сразу — в тот же день я оказался у них в гостях, может быть, даже пришел с ними вместе. В первый же день я у них познакомился с их близкой приятельницей, тоже москвичкой и тоже ссылкой, Оль-

гой Львовной Адамовой-Слиозберг, которая вскоре после моего прихода зашла к ним по дороге «на огонек», возвращаясь с работы (работала она здесь плановиком-экономистом в пошивочном комбинате) — чувствовалось, что эти ее заходы на огонек уже вошли в обычай — отношения были самые тесные.

Но пора дать хоть какое-то представление о месте, где жили мои новые друзья и где предстояло жить мне. Хотя из моего рассказа все как будто должно быть ясно — жили они в Караганде, в Новом городе, где я их встретил и откуда мы с ними без труда добрались пешком до места их жительства... Все так. Но все-таки место, где они жили и начал жить я, не было Новым городом. Оно и называлось иначе — Большая Михайловка. Статус этого поселения определить трудно. Административно оно относилось к Новому городу, но все-таки оно было чем-то отличным — Большой Михайловкой. Судя по названию, это была деревня. Где-то на другом, очень далеком ее конце была даже железнодорожная станция с таким названием — видно, раньше она и была отдельной деревней и только потом дотянулась до города. Но начиналась эта «деревня» почти сразу за центральным проспектом Мира, в тылах его домов, за небольшим пустырем. Городской базар размещался тоже в Михайловке, и тоже рядом с городом. Улицы в этой деревне были широкими, дома одноэтажными, но тоже большими. Может, на том конце, где станция, Большая Михайловка и была деревней, но это было далеко, я там никогда не был, а здесь это не чувствовалось.

«Коренным» ее населением, теперь постепенно разводящимся, были раскулаченные. Но здесь они сливались с остальным населением, бывшими зэками, просто ссыльными, высланными немцами и прочими ущемленными гражданами. И это сказывалось на атмосфере. Не то чтобы кто-нибудь рвался в «рыцари сопротивления», но все всё понимали и склонности помогать начальству доносами не имели. Наоборот. Вспоминается в связи с этим, как зять хозяев дома, где квартировали и Юра с Вавой, фронтовик, вовлеченный на фронте в партию, придя с дежурства (теперь он работал горноспасателем — не скажешь, что «блатная», «партийная» должность) и немного выпив, заходил в их комнату и, словно убеждая кого-то, твердил:

— Юра!.. Ты меня не бойся... Я хоть член партии, но человек хороший...

Ни в какое доверие он не втирался, никакого интереса к нашим разговорам и спорам не проявлял, а просто не хотел, чтоб о нем плохо думали. «Партейность» эта явно его очень тяготила.

Люди, у которых снимала квартиру Ольга, очень хорошие, добрые, порядочные люди, тоже были из раскулаченных. Многого рассказать не могу, но в доме можно было говорить что угодно, не боясь доносов. Помню только, что хозяйку звали Верой, что была она небольшого роста, но очень энергичная, полная какой-то мягкой, ненавязчивой энергии. И вообще была милой, доброй, совестливой женщиной, всегда готовой помочь. И помогала мне даже потом, если случалась нужда — допустим, общежитие в зимние каникулы закрывалось на ремонт. Причем помогала всегда сердечно и бескорыстно. Чуткая была советская власть: лучших людей находила и слизывала, как сливки, избавляла от них окружающую здоровую среду.

Такие люди жили у нас в Михайловке. Но компактно раскулаченные жили не здесь, а в Тихоновке. Поселение это располагалось за Старым городом у дороги на Темиртау. Жителей его так и называли: «тихоновские куркули». Народ это был в основном трудовой, честный, но, по слухам, и вправду прижимистый. Официально теперь они были уже не «куркули», а «знатные шахтеры», но называли их именно так. Претерпели все они, надо думать, достаточно, но теперь были восстановлены в правах и зарабатывали не то что немало, а даже много — шахтерам Сталин тогда платил щедро. Но при этом они — вспоминаю слова своего покойного бостонского друга, «кулацкого сына» Федора Самоделова, после того, как я выразил беспокойство по поводу его ухода на пенсию (мол, что будешь делать? Захиреешь!): «Не беспокойся, Наум, кулак себе работу всегда найдет», — и приусадебным участком не брезговали. Да еще как не брезговали! — такие слезницы в газету писали друг против друга по поводу переставленного соседом на 15 см в «мою» сторону плетня (то есть оттяпанного клочка земли) — закачаешься! Смешно? А ведь о чем хлопотали? О расширении фронта работ — о чем же еще? — часто ли теперь можно встретить такую страсть к «лишней» работе?

Но сейчас речь не о Тихоновке, а о Большой Михайловке, куда мне предстояло «переезжать». Переезд этот мне хорошо запомнился. Не помню, где я ночевал в эту первую свою карагандинскую ночь — у Айхенвальдов, Ольги или Соломона Ефимовича, — но хорошо помню, что, унося вещи от Соломона Ефимовича, вышел из его дома вместе с ним. И мудро было бы это забыть. Но расскажу по порядку. Пока мы шли через пустырь, а потом по короткой тогда улице Костенко (на которой, кстати, помещалось общежитие техникума, где я потом жил) дошли до проспекта Ленина, все было в порядке. Но черт нас дернул завернуть в угловой гастроном — мне надо было что-то там купить. Соломон Ефимович, как человек более опытный и зрелый, вызвался сторожить вещи — пока я буду занят своими покупками. Я согласился. И зря. Конечно, двигаться по магазину с вещами было бы неудобно, но я в своих многочисленных поездках и пересадках к этому привык и привык не выпускать свои вещи из виду, даже расплачиваясь в кассе и получая товар. Соломон Ефимович такой выучки не имел. И когда я вернулся к нему с покупками и стал укладывать их в одну из своих сумок, ему показалось, что надо это делать не так, и он тут же, повернувшись спиной к охраняемому объекту, стал показывать, как это надо делать по-настоящему. Я, с которого была как бы снята ответственность, к этому времени полностью расслабился и потерял бдительность. Очнулся я только, когда не обнаружил за его спиной чемодана. Но Соломон Ефимович не мог поверить в реальность происшедшего.

— Да вы что? — кричал он мне. — Сейчас они (вещи) найдутся. Подождите, они (на этот раз воры) сейчас вернутся!..

Это была очевидная нелепость. Соломон Ефимович был умным человеком и опытным юристом. Предположение, что вор, унесший чемодан, тут же явится с ним обратно туда, откуда его унес, показалось бы ему в любое другое время неудачной остротой. Но потрясение от внезапного исчезновения чемодана — да еще в результате его отеческого присмотра — было столь велико, что он потерял на время чувство реальности... И долго не мог успокоиться. Я тоже огорчился. Не помню, что в этом чемодане было, но явно вещи нужные и по тем временам трудновозместимые. И все же я примирился с потерей гораздо легче, чем он. И отправился

в Большую Михайловку, к месту нового жительства не только налегке, но и с легкой душой.

Началась моя карагандинская жизнь. Впрочем, это слишком громко сказано. Я довольно долго не мог понять, в чем эта жизнь должна состоять, что мне делать и к чему пристроиться. Писал, читал книги и общался с людьми. Прежде всего с теми же Ольгой и Айхенвальдами. Я бывал у них каждый день. Болтали, делились впечатлениями. Но больше спорили. С Юрой, конечно. Уже потом, в другие времена, полемизируя со мной по другому вопросу, он вспоминал, как в Караганде открывал мне глаза на советскую действительность. Это некоторый перебор. Но правда и то, что он тогда действительно уже замахивался на Ленина, а для меня Ленин еще долго был иконой и «табу». Так или иначе, эти Юрины наскоки меня не убеждали, они казались мне слишком рационалистичными, и я им внутренне сопротивлялся. Были ли они и впрямь слишком рационалистичными или мне так по косности казалось, теперь сказать трудно. К некоторому резонерству, чрезмерному логизированию — особенно в спорах — Юра склонность имел всегда. Но ведь он был прав. И все же... Однажды я застал его за чтением ленинского «гениального» (как и я тогда полагал, не читая) труда «Материализм и эмпириокритицизм».

— Послушай, — обратился он ко мне, — что он пишет.

Я насторожился. И он прочел мне маленький отрывок...

— Ну, как ты это понимаешь?

Я насторожился еще больше. Труд, по общему представлению, был философский, а философию я и теперь знаю только через друзей (как Белинский Гегеля). Насколько я понимал, Юра в этом отношении немного меня обогнал, но только немного. Так какого же черта нам лезть со свиным рылом в калашный ряд? Но то, что он мне прочел, меня неприятно поразило. Не своим философским содержанием — ленинское утверждение, что в философии есть основной вопрос (пресловутое: «что первично, дух или материя?»), не могло бы меня ужаснуть своей неграмотностью — я был еще неграмотней. Марксистская эстетика Лифшица—Лукача, в которой я поднаторел, приобщала к культуре мысли, но в строгом смысле слова не была философией. Поразил меня прочитанный Юрой отрывок не смыслом, а тем, что содержал грубую передержку, которая ста-

новилась отправным пунктом для целого каскада других передержек и издевательств над оппонентами. И чтоб понять это, не надо было знать философию. Достаточно было понимать смысл употребляемых автором слов. Потом Юра мне прочел еще несколько таких мест, из них состояла вся книга. Ленин в философском труде выступал как недобросовестный оратор на политическом митинге. Но у такого оратора всегда есть конкретная цель — ему надо на короткое время заглушить оппонентов и «повести за собой массы». А Ленину что в данном случае надо было?

На мой сегодняшний взгляд, причины, побудившие Ленина предпринять эту «езду в незнаемое», были чисто личные — в трудный для революционера момент захотел утвердиться как философ. Он ждал бури, возражений на эту книгу (тогда бы он им показал!), но не дождался. Он сам, а вслед за ним советская пропаганда, воспринимал их как политические. Но это нелепо — большинству революционеров философские проблемы было неинтересны и непонятны, а те, кого такие материи интересовали, пожимали плечами и проходили мимо — какая уж тут политика!

Это уже при Сталине всех студентов принудительно кормили этим сочинением (как и знаменитым «философским» параграфом «Краткого курса»), чтоб люди, ничего не понимая, чувствовали высокоумность их вождей. Пугачев с этой целью выводил на бумаге бессмысленные закорючки — якобы писал грамоты иноземным государям на их языках... Уверен, что сам Ленин такого эффекта не предвидел и не хотел. Но в этом насаждении невежества все равно виноват. Хотя бы в том, что, придя к власти, позволил себе взять «революционный» реванш за философский провал — согласился опубликовать эту работу. А ведь к этому времени у него уже было некоторое представление о философии — прочел и законспектировал Гегеля (конспект этот остался и потом был издан под названием «Философские тетради»). Присущие этому человеку комплексы и жажда личного самоутверждения, во многом определившие его поведение при решении более важных для страны и мира вопросов, здесь проступают наиболее четко. За грандиозностью проведенных им «мероприятий» разглядеть личные мотивы гораздо трудней. Не только посторонним, но и самим деятелям*.

* Подробнее об этом в моей статье «Власть заговора» в сборнике «Падающий Зиккурат», составленном О. Чухонцевым.

Но тогда я об этом не думал, а просто продолжал считать Ленина воплощением ума и благородства. И именно поэтому такие нелогичности в интеллектуальном наследии своего кумира были мне особенно неприятны. Согласиться с тем, что мой кумир уверенно и высокомерно судил о том, о чем и представления не имел, или, того хуже, просто шулерски передергивал, я просто был не в состоянии. Сегодня я думаю, что имело место и то и другое — что, безусловно, на стиле этой работы сказалось его абсолютное философское невежество, которого он в себе даже не подозревал, но что так же безусловно сказались на нем и его привычки пропагандиста и интригана, способного для защиты своих «философских» положений применять те же методы, что и для защиты «угнетенного класса» и его «авангарда». Поскольку во главе одного он мыслил исключительно самого себя, опять-таки воображал только самого себя.

Передержки били наповал. Даже тогда. Но все же я пытался как-то защитить свое видение мира и как-то возразить Юре. В основном упирая (как все, кто может доводами подкрепить то, в чем они аргюги убеждены), что все тут не так просто, что, вероятно, это оправдывалось обстановкой. Но больше удивленно и подавленно молчал — чувствовал свою беспомощность, но не сдавался.

Не сдавался, естественно, и Юра — жал на мое ленинопоклонство. Однажды, помню, он показал мне полемическую статью Плеханова против Ленина, где Плеханов убедительно и точно доказывал, что выдаваемое Лениным за идеал «сознательного пролетария», на самом деле есть идеал персидского шаха*. Душа всех этих откровений не принимала, но возразить мне на них было нечего, и память поневоле их впитывала.

Об этих спорах вроде и думать нечего: все ясно. Безусловно, я в своих рассуждениях был абсолютно неправ, а на стороне Юры была абсолютная правда. Но все же и в этих воспоминаниях мне чего-то в этой правоте не хватает. Она была слишком ригористичной, слишком, я бы сказал, рассудительной, абстрактной. Как-то не сообщалась для меня с окружающей жизнью, да и с нашей собственной...

* Персидский шах будто бы сказал, отвечая жене французского маршала Мак-Магона, что его идеалом является Россия. Потому что там «Janats — politique, toujours — «Oura!» et puis — fuyitj!» («Никогда — политика, всегда — «Ура!» А потом — фьюить!»).

Попробую объяснить, что я имею в виду. В предыдущей части этой книги я рассказывал, как отказался от Сталина. И обратил внимание на то, что ощутил в связи с этим душевную освобожденность, более близкую связь с другими людьми. Причем произошло это, несмотря на то что это мое «освобождение» не коснулось моей веры в Ленина и в «чистый большевизм». Объяснялось это просто — ни Ленина, ни «подлинного большевизма», ни их идеологии в окружающей жизни не было, от них для меня оставалась только легенда — ложная, но непосредственно на жизнь теперь не влияющая. А Сталина вокруг было более чем много, он заслонял горизонт и в качестве токсической примеси нагнетался в атмосферу, входил в ее состав. И это было то, чему нам приходилось внутренне противостоять. Опираясь на Ленина. Ничего удивительного — почти все пострадавшие, кого мы видели — от просто интеллигентов, кулаков и солдат, сидевших «за плен», до бывших коммунистов, — прямо пострадали именно из-за Сталина (из-за Ленина только опосредованно). Я отнюдь не помягчел к коммунистам. Но надо учесть, что мы имели дело только с ошметками «ленинской гвардии», что все наиболее виноватые, наиболее видные ее представители были расстреляны даже не в тридцать седьмом, а еще в тридцать шестом. А «ошметки» эти часто были люди лично совсем неплохие, только «заталмуженные». Но я ведь и сам был «заталмуженным», даже держался за эту «заталмуженность», как за последнее духовное прибежище. Как в какой-то мере почти все, даже истинно верующие граждане... Конечно, многие из этих «заталмуженных», если бы снова зазвучали их трубы, могли вспомнить молодость и опять стать опасными — отозваться на трубный зов согласием на любую необходимую для «дела» жестокость и подлость. Но этого даже и потом не произошло — дальше «партийных судов чести» при райкомах труба их не позвала — не пустили. Да и они сами по возрасту бы не пошли. Только подписывались под одобрением партийных решений, особенно отвратительных.

К чему я это веду? Только к тому, что Юра был прав чисто академически и интеллектуально. И хоть это отнюдь немало, хоть это тогда требовало и духовного мужества, но то, что никакой духовно-эмоциональной замены нашей фикции он при этом не давал и не искал, умеряло воздействие его открытий на меня, даже настраивало на сопро-

тивление. К тем же (хоть не совсем к тем же) выводам я пришел только через шесть лет и, как говорится, на жизненном материале — независимо от Юры*. Это не претензия. Ибо где мог Юра тогда и там найти эту основу? Ни сборника «Вехи», ни религиозных философов мы тогда не читали. Достаточно, что он самостоятельно отринул всеобщее заблуждение — даже вполне порядочных людей. Я к этому тогда еще не был готов. Ольга, с которой я тогда подружился, — тоже. Хотя самостоятельности ей было не занимать. Пора перейти и к рассказу и об этой удивительной женщине.

Ольга Львовна была человеком живым, умным и одаренным, обладала неиссякаемым интересом к людям, и отнюдь не только своего круга, относилась с уважением, пониманием, сочувствием к жизни самых разных людей, даже весьма далеких от нее по культуре и интересам. Она вообще была удивительным человеком. Это сказывалось в ее ощущении как жизни, так и литературы. Ольга Львовна была из тех читателей, для кого герои любимых книг были знакомыми людьми, а о знакомых людях она говорила как о героях книг. Причем люди могли быть самые простые — мастерицы на ее швейной фабрике, хозяйка нашей квартиры, их маленькая дочка — все, кто встречался на ее пути. Она в каждом уважала заключенную в нем жизнь, чувствовала с ним родство. И поэтому о каждом она говорила интересно...

Ольга обладала несомненным литературным даром — достаточно сказать, что до появления «Одного дня» Солженицына я считал ее мемуары, доступные и известные теперь многим, самым сильным из написанного о лагерях. Может быть, это несправедливо по отношению к беспощадной к читателю, режущей по живому правде Шаламова, с которой живой душе невозможно жить, но без усвоения и преодоления которой всем вместе невозможно выжить, — но я сейчас не решаю вопрос о чьей-либо сравнительной ценности, а говорю только о своем ощущении Ольгиного дара. Я ненароком назвал здесь Ольгу Львовну просто Ольгой, но так я ее начал звать почти сразу и называл ее так всю жизнь, без всякого, конечно, амикошонства: она была существенно старше меня (за тридцать лет

* О своем отказе от Ленина и коммунизма я еще надеюсь рассказать в конце этой книги — если доживу до этого момента.

дружбы мне ни разу и в голову не пришло обратиться к ней на «ты»), но Ольгой я ее называл. Так в дальнейшем я буду называть ее и здесь.

Но я отвлекся. Речь у нас шла не о том, как я называл Ольгу, а о ее даре. Но и это отчасти отвлечение. И проявление этого дара, и мое отношение к нему — факты совсем другого времени, качественно отличного от того, в котором сейчас находится мое повествование.

Вернемся к нему. Подробно рассказывать об Ольге, может быть, излишне — она это сделала сама подробно и интересно. Но кое-что сказать все-таки придется. Первый муж Ольги был профессором МГУ, специалистом по «истории биологии», она сама — плановиком. Были вполне лояльны советской власти, но политикой не занимались и в партии не состояли. Обычные советские люди. Жили своей семьей, растили двух маленьких детей. В принципе «по былинам того времени» репрессиям не подлежали. Но проявили историческую непредусмотрительность — среди их знакомых был один старый большевик. Знакомство — во всяком случае, до 1936 года — было неопасным, даже почетным. Но в 1936-м все перевернулось. Оно могло оказаться и постыдным, и даже опасным. Именно такие стали теперь «подлежать» — и аресту, и шельмованию, и необходимости сознаться в фантастических злодеяниях. И, как правило, в них «чистосердечно» сознавались. Конечно, не в тех, которые совершали на самом деле — те вошли в «летопись побед нашего народа, достигнутых под руководством партии и лично товарища Сталина». И этот тоже сознался — что он злодей-террорист и готовил убийство Кагановича... А поскольку одному такое дело не осилить, то в результате тех же «упрощенных методов следствия», которые уличили в терроризме его самого, он стал судорожно припоминать имена своих знакомых — обвинение было фантастическим, но сообщники нужны были реальные. Так и попали Ольга с ее первым мужем в террористы. Мужа как важного заговорщика расстреляли, а ее как менее важную, чем муж, но тоже очень значительную политическую величину, отправили не в лагерь, как прочую мелюзгу, а в тюрьму с символическим названием СТОН — Соловецкая тюрьма особого назначения, — где полагался строжайший режим и строжайший надзор... Особый и специальный. А сидели там с Ольгой

одни старые большевички, восторженные поклонницы Сталина. Власть играла в куклы, но куклами были живые люди.

Потом власть и сама очухалась, решили зря средств на этот театр без зрителей не тратить и тюрьму раскассировали. А заключенных — кого расстреляли (игра-то все-таки продолжалась), кого уравнили в правах с другими зэками. Другими словами, отправили в лагеря — трудиться и исправляться... Ольге заменили участие в террористической группе на «недонесение» и отправили на Колыму в лагерь «Дальстрой»... О своей лагерной жизни она достаточно хорошо повествует сама в своих рассказах...

Там, на Колыме, после нескольких лет лагерей, уже будучи расконвоированной, она вышла замуж вторично — естественно, тоже за зэка, за Николая Васильевича Адамова, о котором речь потом. Но по окончании срока она все равно вернулась в Москву — к детям... Формально, конечно, не в Москву, а в Александров (знаменитый 101-й километр), но жила с родными на Петровке в коммунальной квартире. И никто не донес. Дожила там до той поры, когда Абакумову пришла пора «превышать полномочия» и хватать «повторников» — тут ее быстро обнаружили. И опять — в Бутырку. Там она и познакомилась с Вавой, арестованной студенткой Ленинского пединститута.

В Караганду с Колымы приехал Николай Васильевич. И вот теперь, незадолго до моего приезда, он опять «загремел». Ольга опять осталась одна. Она и раньше тесно дружила с Айхенвальдами, а теперь и вообще зачастила к ним. Здесь мы и встретились, и подружались. Здесь же решил и мой квартирный вопрос — они с Николаем Васильевичем снимали две смежные комнаты неподалеку от Айхенвальдов, теперь она предложила мне снимать их напололам — одну она, другую я. Я, разумеется, согласился. Жил я в этой квартире недолго. Летом, когда на каникулы приехали ее дети и надо было освободить место, я (максимум до осени, когда я поступил в техникум и получил место в общежитии) жил на другой квартире. Но на какой, у кого? Не у Айхенвальдов же — у них негде было. Так где же? Ума не приложу! Не помню.

Поначалу мне казалось, что прожил я это время в одной странной немецкой семье. Странность ее заключалась в главе семьи, по профессии сапожнике. Но была она, конечно, не в его профессии, а в том, что согласно молве

был этот сапожник, в отличие от своей жены, вовсе не немцем, а, наоборот, евреем. Но, женившись, записался немцем — показалось, что это красивее. Его и выслали. Впрочем, он, вероятно, все равно бы не оставил жену с детьми: семья была дружная и доброжелательная. Но с самого начала версия эта мне казалась сомнительной — в памяти у меня никаких отношений с ними не осталось. Вера с семьей остались, Юрины хозяева остались, а эти почему-то нет. Но теперь Вава мне напомнила, что на этой квартире жил не я, а она с матерью — после Юриного ареста. Что же касается меня, то Вава утверждает, что жил я у ифлийки Ляли Коварской.

Странное дело! Эту милую женщину я вполне помню. Но по Москве — к ней меня привел Сарик Гудзенко, что же касается Караганды, то я не помню не только своего проживания у нее, но и просто ее присутствия в этом городе. К стыду моему, это просто выпало из моей памяти — ведь, если Вава права, Ляля тогда меня очень выручила... А я не помню.

Но на моей дружбе с Ольгой это мое отселение никак не отразилось. Она возникла в тот день, когда я впервые появился у Айхенвальдов, и продолжалась до самой ее смерти в 1992 году.

Теперь Ольги нет, а тогда в Караганде все мы собирались жить и на многое надеялись. Особенно она. И у нее были на это веские основания.

— Пойми, я сидела в Бутырках — и в тридцать седьмом, и теперь. Тогда все было безнадежно, казалось, что так и будет, что это навсегда. А теперь — ну не может так вечно продолжаться. Все — как на вокзале, в неудобных позах, все временно, все вот-вот должно кончиться.

Тут ее рассуждение напомнило мне слова одной партизанки. Она застряла с мужем на одной станции под Коростенем, хотя немцев отнюдь не ждала. Население ушло от войны в глушь и там затаилось. Потом послали на разведку двух «дидов» — из того расчета, что «диды» уже достаточно пожилы, и если что случится — на то Божья воля. «Диды» эту логику считали естественной и пошли. Обошли весь поселок, все посмотрели, увидели рассказчицу, поговорили и с ней. И на ее вопрос:

— Шо ж тэпер будэ?

Ответили:

— Та ни, воны тут ненадовго.

А когда она изумленно спросила, с чего они это взяли, изрекли:

— Та ты сама подывычь (посмотри), дочко... Та хиба ж хазяин, шо йому у тий хати жить, хиба ж вин так зазяйнуэ?

После чего презрительно плюнули и ушли.

Ольге уходить было некуда, но ее ощущение реальности было столь же непосредственным и синкретическим, как этих, может, не шибко грамотных, но мудрых людей. Это ощущение жизни светилось во всех ее воспоминаниях о прошлом и пережитом — об аресте, о тюрьме, о Соловках, о Колыме, которыми она охотно делилась со мной и другими... Потом многие из них вошли в ее рассказы-свидетельства, но тогда она еще ничего не писала. Правда, были у нее стихи, написанные для самой себя в трудную минуту. Стихов этих я не запомнил, (произвели они впечатление не поэтическими качествами, а психологической точностью), но содержание одного из таких стихотворений (потом оно вошло в ее автобиографическую прозу) произвело на меня сильное впечатление и врезалось в память. Строки эти о том, как она в тюрьме перечла «Войну и мир», когда ей однажды посчастливилось получить эту книгу из тюремной библиотеки. Совершенно подавленная, превращенная в ничто, втоптанная в грязь, она принялась за чтение. И, естественно, снова погрузилась в мир переживаний и размышлений героев этой книги и ее автора — и стены камеры как бы раздвинулись. Она опять стала жить, опять ощутила себя самой собой. Воскресла... И вдруг осознала, что раз это так, раз она может так сочувствовать и понимать чувства этих людей и самого Толстого, значит, она вовсе не ничто — плюнь да разотри! — как стараются внушить ей следователи, а такая же, как была, как привыкла о себе думать — человек, равный другим достойным людям. Все оставалось: и тюрьма, и неправдоподобное обвинение, и все, через что ей пришлось потом пройти, но она как бы восстановилась, воскресла. То же самое произошло на Лубянке и со мной, и тоже в связи с чтением «Войны и мира». Но об этом, кажется, я уже здесь рассказывал.

Это специфика только того времени. Когда людей сажали просто ни за что. Когда обыкновенную женщину, мать своих детей, вдруг ни с того ни с сего вырывают из дома,

отрывают от семьи и с ходу обращаются с ней как с разоблаченным убийцей, шпионом или диверсантом. Или когда меня при моей идиотской и даже анахронической преданности отрывали от моего служения (пусть воображаемого) и навязывали мне враждебность всему, что я тогда (к сожалению) любил. Тут было от чего голове пойти кругом — ведь мироздание начинало качаться, самих себя чуть не потеряли. А Толстой все восстанавливал, возвращал на свои места...

Ни с какими диссидентами такого быть не могло. Их арестовывали незаконно, но не «ни за что». Могло быть тяжело, даже страшно, можно было испугаться, некоторые даже не выдерживали и предавали, но преследовали их за то, кем они были и сами себя считали. И кем их считали следователи (риторика о связи с иностранными спецслужбами так и оставалась риторикой). Из этого, конечно, не следует, что книги, подобные «Войне и миру», если к ним попадали, не поддерживали и их в трудную минуту (хорошие книги и не в тюрьме поддерживают), но восстанавливаться и воскресать диссидентам было не с чего...

Во внутренних тюрьмах сталинского МГБ люди, которые сидели за то, кем они являлись на самом деле, были наперечет. Одним из таких людей был второй муж Ольги Николай Васильевич Адамов. Она много о нем рассказывала — тем более что не совсем еще отошла после его недавнего ареста. Но держалась молодцом. Вспоминали его часто и Айхенвальды, на которых он тоже произвел сильное впечатление. Человек он и вправду был незаурядный... Познакомились они с Ольгой и поженились, как я уже отметил, на Колыме, когда они оба были то ли расконвоированными, то ли освобожденными без права выезда «впредь до особого распоряжения». (Скорее, захватили и то и другое.) Попал Николай туда если не за троцкизм (вряд ли у него в середине тридцатых была возможность заниматься такой деятельностью), то как троцкист. Он и был троцкистом, хотя по характеру, скорее, анархистом. Именно поэтому у него было столкновение и с самим Троцким, когда тот еще был наркомвоенмором, а Николай после Гражданской войны служил в армии.

Троцкий явился в полк, где Адамов был помкомполка. Адамов бодро отрапортовал ему, как в подобных случаях положено, и заключил рапорт словами:

— Докладывает помкомполка Адамов.

— А из чего это видно, что Адамов помкомполка? — ехидно спросил Троцкий. — Почему знаков различия не носите?

— Не считаю нужным! — ответил молодой и горячий помкомполка наркомвоенмору.

— Ах, не считаете нужным выполнять приказы! — взорвался в свою очередь Троцкий и тут же уволил строптивного помкомполка из армии.

Я это рассказываю, чтобы продемонстрировать характер Николая Васильевича в действии, а не потому, что считаю его правым. Кто тут мог быть прав?

Исторический фон, на котором разыгрывалась эта сцена, таков. Только что кончилась Гражданская война. Вроде бы победой, но к мировой революции она не привела. Однако власть в руках «партии» сохранила. А что с ней было делать? По существу, нечего, кроме как удерживать — конечно, в ожидании «лучших» времен. А для этого постепенно восстанавливать государство. Государство же требует восстановления регулярной армии, а никакая армия невозможна без знаков различия.

Тогда как раз только вводили знаки различия, и это наткнулось на яростное сопротивление оскорбленных в лучших чувствах командиров из выдвинутых Гражданской войны. «Что это еще за знаки? Мы и без них били любых золотопогонников. Ни к чему нам эти старорежимные штучки! За что ж тогда боролись?» — возмущались они. С этими «нездоровыми настроениями», с «партизанщиной» тогда как раз велась борьба.

Не берусь сегодня решать, кто тогда был прав в этой борьбе. С революционной точки зрения, вероятно, более правы и последовательны были «партизаны», а не Троцкий. Но революционная система ценностей мне давно чужда. И конечно, с точки зрения здравого смысла, более правым в данном случае выглядит Троцкий. Правда, тут резонно встает вопрос (который Троцкий не задал себе до конца жизни): «Если надо следовать здравому смыслу, зачем тогда устраивать социальные революции? Неужто для того, чтоб снова строить государство?» Здравый смысл им (как Лениным, Зиновьевым и всеми вплоть до Сталина) применялся только как средство для его позднейшего полного искоренения

(наравне с «буржуазными пережитками», с которыми революционеру приходится пока считаться).

Все это важно, но об этом я говорю в других местах. Здесь мне это понадобилось только для того, чтобы отметить, что Николай Васильевич в своем противостоянии наркомвоенмору попал еще, как теперь говорят, «под кампанию», под то, с чем как раз тогда, «в данный напряженный ответственный момент» (а у нас после Октября и до Сталина каждый данный момент был «напряженным и ответственным»), велась «борьба». Это тоже способствовало крушению его военной карьеры и столь жесткому обращению с ним наркомвоенмора. Жесткому по тогдашним, конечно, меркам — только выгнали. Тем не менее, когда началась «внутрипартийная борьба», он примкнул именно к Троцкому. Поскольку Троцкий был «левым».

Хочу напомнить, что никакого троцкизма вообще тогда не было. Не было такой платформы. С платформами выступала «рабочая оппозиция», «децисты», партия их, естественно, громила (Ленин из-за них даже пошел на запрещение фракций), но троцкистской платформы не было. Троцкий тогда вполне шел «в русле». Просто многим руководящим товарищам («вождям» по-тогдашнему) было неприятно, что одну из главных ролей в их октябрьском «перевороте» (тогда и большевики не называли его «революцией») играл не один из них, изначальных «ленинцев» (то есть кто-либо из группки лиц, в эмиграции увивавшихся вокруг Ленина), а чужак, человек, державшийся особняком и часто даже довольно ехидно выступавший против их кумира. Поводом для их выступления была статья Троцкого «Уроки Октября». Кого-то из них (Зиновьева и Каменева за их выступление против вооруженного восстания) она задевала прямо; других обижало, что Троцкий, один из творцов Октября, не особенно скрывает, что он это знает; третьим просто было обидно... И (я думаю, по наущению Сталина) они выпустили совместный сборник под тем же названием. Поместили там для объективности статью Троцкого и свои статьи против него.

Я пытался разобраться, в чем состоят разногласия. Это было трудно, ибо все статьи, включая статью Троцкого (его талант журналиста в чисто политических работах не проявлялся), были написаны на тогдашнем партийном жаргоне: тускло, плоско и неинтересно. Смысл их атак против Троц-

кого я для себя сформулировал просто: «Тов. Троцкий, верный своим мелкобуржуазным антиленинским взглядам, утверждает что — «в лоб», в то время как каждый сознательный пролетарий и настоящий большевик знает, что — «по лбу». И на этой основе началась широкомасштабная «борьба с троцкизмом», закончившаяся его полным разгромом. Кипели подлинные страсти, люди искали и находили смысл в этих разногласиях, преследовали товарищей. Причем часто были вполне искренни, верили в непогрешимость ленинского — каким бы оно ни было и кто бы его ни возглавлял. Сами подбирали доводы в его оправдание — как всегда потом. Другие мужественно терпели поношения, которым подвергались, и до конца (до обвинения во фракционности) стояли на своем. На чем? Неужели им так было важно, в лоб или по лбу? Выходит, было. По причинам чисто психологическим. Я бы даже сказал, моральным, если бы весь большевизм не был сознательно аморален (пусть даже для торжества морали в будущем). Николай Васильевич с удовольствием рассказывал, как им то ли во время Гражданской войны, то ли сразу после надо было в одной из деревень «взять» популярного священника. Но мужики про это прознали и организовали оборону. Тогда комсомольцы, «беспокойные сердца», под руководством Адамова применили маневр — сделали вид, что хотят взять совсем другого священника; мужики передислоцировались защищать этого, а лихие ребята в это время арестовали нужного. Никакого нарушения морали Николай Васильевич в этом своем подвиге не видел — ведь это как минимум пособник врага, чего ж с ним миндальничать... Но теперь большевистский аморализм начали переносить, если выразиться словами Солженицына, — с общества на сообщество. На то сообщество, которое, собственно, и взяло на себя ответственность за этот «временный» аморализм. Это обнажало бездну под ними, и с этим «беспокойные сердца» примириться не могли. И они вступались — за любимых вождей и любимые слова, подспудно — за буквальный большевизм как смысл своей жизни.

Одним из таких людей был Николай Адамов... Жил он после армии в Воронеже. Там, по его словам, троцкисты представляли из себя значительную группу, и он был вожаком или одним из вожаков ее молодежной части. Арестовывали его, кажется, несколько раз. Последний раз в трид-

цать седьмом (или тридцать шестом). Он возглавлял в это время какое-то областное учреждение. Перед арестом он обнаружил слезку и, поскольку некоторой способности к игре и хулиганству не утратил, позвонил начальнику в НКВД (как один из областных руководителей другому):

— Слушай, что ж это у вас делается! Тут у вас какой-то дурак вертится, перед всеми хвастает, что он у вас работает... Что это такое?

— Да никого из наших возле нас нет... Ты что-то путаешь! — ответил встревоженный начальник.

— Как знаешь! Мое дело предупредить, — мирно усугубил его встревоженность Николай Васильевич. Разумеется, олух, ходивший за ним, ничего никому не говорил. Но говорил или нет, такое было время, что это невинное «предупреждение» тоже могло обернуться опасностью для начальника НКВД, и он это понимал. Поэтому хоть «никого из наших возле нас нет», но через несколько минут раздалось «вжик-вжик», машина подскочила, сняла «топтуна», опять развернулась и — «вжик-вжик» — умчалась. Доказали несчастный «топтун», что он ничего подобного не говорил, не знаю: Николай Васильевич не поинтересовался. Тем более что его через пару дней посадили. Этот эпизод вызывал у нас злорадный смех — радовались посрамлению врага. И только сейчас, когда я пишу об этом, я впервые подумал, что и этот «олух» — человек, что ему тоже было страшно от невозможности опровергнуть возведенный на него нелепый поклеп. Но ведь и сам он ходил за людьми отнюдь не с благотворительной целью. Занимался он злым и нелепым делом (скорее всего, по комсомольской путевке и в виде особого доверия), а по существу ведь тоже ни сном ни духом. Господи, в какие бессмысленные положения по отношению друг к другу ставила нас эта сумасшедшая власть! Все мы оказывались объектами и никто субъектом. Даже Ежов, даже Абакумов. Не говоря уже об «олухах».

А Николай Васильевич Адамов объектом быть не соглашался. Ольга рассказывала мне, что когда они жили вместе в Магадане, Николай Васильевич работал у Гаранина — у того самого страшного Гаранина, с именем которого связаны «гаранинские расстрелы» (точнее, отстрелы) на Колыме. Тот его ценил как работника и очень с ним считался («Дальстрой» ведь был и хозяйственным объединением). И

вот однажды раздается у Адамовых звонок. Николай Васильевич некоторое время слушает, а потом произносит:

— Да пошел ты (куда не помню, но не близко)! Мудак! — и повесил трубку.

— С кем ты это так? — спросила Ольга.

— Да с Гараниным... Пристал как банный лист.

У Ольги чуть сознание не помутилось. Ведь они были бесправны, их жизнь и смерть целиком зависели и от начальников многими рангами пониже, а тут сам Гаранин! Зевс-громовержец! Весь их призрачный, но такой редкий и дорогой быт летел вверх тормашками.

Но телефон зазвонил опять.

— Ну вот — это другое дело!.. Так бы и говорил!.. Ну да ладно... Ладно. Со всяким бывает. Ладно. Завтра все будет в порядке.

И положив трубку, Ольге:

— Извиняться звонил.

Таким был Николай Васильевич. Ничего удивительного, что, приехав к Ольге в Караганду и поступив на работу в управление трамвайного парка — не помню, в какой отдел, он не ужился с начальством: не терпел наплевательского отношения к рабочим и к их интересам.

И главное, не давал воровать. Но это использовать против него было затруднительно. Конечно, заступничество закоренелого зэка за рабочих можно было представить троцкистской демагогией, но не настолько политически «подкованы» были карагандинские трамвайные начальники. Кроме того, тут могло всплыть и воровство — защищал-то он рабочих от воровства. Поступили проще и привычней — представили два антисоветских высказывания Николая Васильевича, благо в выражениях он не стеснялся. По случаю празднования юбилея Казахской ССР начальство явилось на работу при всех орденах. А Николай Васильевич, как мы уже видели, все эти знаки еще с Гражданской не терпел... Вот он и сказал что-то такое вырядившемуся начальнику. А когда ему указали, что негоже так себя вести в столь знаменательный день — ведь юбилей Казахской республики, отреагировал и вообще непочтительно:

— Е.ал я вашу Казахскую республику!

На этом и сгорел.

— К нему за это могла бы иметь претензии я, а не государство, — грустно шутила потом Ольга...

Я с ним познакомился уже в Москве. Тогдашним — после смерти Сталина политические обвинения в служебных интригах как-то вышли из моды. Оно, конечно, и раньше не все этим пользовались, но многие не стеснялись (получили грамоту вместе с каннибальством), а потом не то что застеснялись. Как говорил мой покойный друг Камилл Икрамов, уже даже после «оттепели», при Брежневле, во время одного из «откатов»:

— Ничего. Пусть даже восстановят Сталина, как было — больше не будет. А знаешь почему? Просто подлецы поняли, что жизнь длинна: поживешь — до всего доживешь. Сейчас выгодно, а потом с тебя же спросят...

Да, тогдашние подлецы поняли, а у народившихся позже такого опыта нет. Будем надеяться, что он и не понадобится.

Впрочем, тем из трамвайных боссов, кто накатали донос на Адамова, краснеть перед ним не пришлось — в Караганде он больше не появился. Конечно, он бы при случае с удовольствием с ними посчитался. Но именно при случае. Специально же заворачивать из-за них в Караганду — много чести. Только делать тогда в Караганде ему уже больше было нечего — ни Ольги, ни Вавы с Юрой там уже не было. С ними, а заодно и со мной, он встретился в Москве. Да и вообще тюремные его одиссеи начались не в Караганде, и не туда ему было возвращаться «по чистой»...

Но ранним летом 1951-го безнравственность этих боссов еще ничто не тревожило, она казалась надежно защищенной порядком вещей, а Ольга исправно носила передачи в тюрьму прочно засевавшему там мужу. По-моему, это продолжалось и при мне. И при мне наступил день, когда передачу у нее не приняли, — Николай Васильевич в очередной раз (вспомните выражение моего лубянского сокамерника) «поехал мучиться». До меня тогда дошли только рассказы и легенды о нем.

А мне надо было начать жить, находить свою нишу в окружающей действительности... Ниши этой не было, и Юра посоветовал мне поступить в Горный техникум, что я в конце концов и сделал. Но об этом потом. До этого я несколько месяцев болтался без дела. Очень скоро появился на горизонте Алик Вольпин, с которым я познакомился еще в 1944 году у Коли Глазкова. Причем Коля не удосужился мне сказать, что Алик — сын Есенина, а сам Алик

на эту тему никогда не распространялся... Просто однажды, когда мы с Колей зашли к Яхонтовым (с самим Яхонтовым я так и не познакомился — он вскоре кончил самоубийством), кто-то из домочадцев между делом спросил Колю:

— А где это еврейское издание Есенина?

Я не понимал, о чем речь, и удивился. Есенина тогда и по-русски не шибко издавали, как же его вдруг издали в переводах на идиш? И главное — почему об этом издании надо справляться у Коли? Увидев мой недоуменный взгляд, Коля ухмыльнулся и шепнул:

— Это Алик Вольпин.

Я не понял, а когда он мне — уже на улице — объяснил, в чем дело, я не поверил. Уж слишком это было невероятно.

— Не веришь, спроси его самого.

При встрече Алик спокойно подтвердил этот факт:

— Да, а что?

В этом «да, а что?» не было никакого кокетства или желания произвести впечатление. Этот факт его действительно не занимал...

В связи с этим родством у Алика произошел такой комический эпизод. Работник МГБ, у которого Алик должен был каждые десять дней отмечаться как ссыльный (как мы в Чумакове), однажды полюбопытствовал:

— А что, это правда, что вы сын Есенина?

Алик подтвердил, как всегда подтверждал всякую истину... Но реакция гэбиста была неожиданной. Вместо того чтоб ехидно констатировать нечто вроде того, что «яблоко от яблони недалеко падает» (Есенин, повторяю, был не в чести, а политическая репутация по официальной шкале была весьма низкой), он разразился упреком:

— Как же вам не стыдно! При таком отце и куда попали!

Словно Есенин был членом ЦК или бардом соцреализма. Но Алик юмора ситуации не понял и только возмутился, почувствовав в этом покушение на суверенность и неповторимость его личности:

— А отца кем бы он укорял! Дедом, что ли?

Дескать, при чем тут отец — он сам по себе.

В Караганду Алик попал после тюрьмы и психушки. О том, почему он попал в тюрьму, он рассказывал так:

— Приезжала в университет иностранная делегация (кажется, французских студентов, точно не помню). Я увязал-

ся их сопровождать. Ну и многое показывал, а заодно и рассказывал...

Слово «рассказывал» Алик многозначительно подчеркивал. Естественно — рассказывал Алик именно о том, что скрывалось, а уж в том, что среди мыслей, которыми Алик делился при этом с иностранными гостями, не было ни одной дозволенной или терпимой начальством, вообще не может быть сомнения. Иных у него не было (кроме как в науке), а выражать не свои мысли Алик просто не умел и не умеет. Так что ему было за что «залететь». Одного такого приключения по тогдашним временам было для этого достаточно. А было их не одно: строй, при котором мы жили, он и на дух не принимал — и выражал это открыто. И не только иностранцам. Кстати, иностранцы в деле даже не фигурировали (и немудрено — их же не вызовешь как свидетелей), фигурировало только чтение стихов (в том числе знаменитого «Ворона») и высказывания, но что от чего пошло — кто может знать?

Кстати, его идеей фикс, которую он ни от кого не скрывал и тогда, и потом, была эмиграция. Об этом он говорил и писал в стихах. И это он осуществил при первой возможности. И при оформлении отъезда на анкетный вопрос: «По какой причине вы решили выехать в Государство Израиль?» откровенно ответил: «В связи с представившейся возможностью выехать из Советского Союза». На возражение, что так писать нельзя, твердо заявил: «Нет, врать я не буду». «Но я не могу принять у вас такой анкеты», — взмолилась инструкторша ОВИРа. «А раз так, я не еду», — безжалостно стоял на своем Алик. Это было немыслимо, но начальство к тому времени жаждало его отъезда еще больше, чем он сам, и смирилось: дескать, отвечай как хочешь, только изыди поскорее!..

Но эмиграцией пока еще и не пахло, и в Караганде Алик жил в ссылке. «Отпустить» его отсюда могли только в лагерь или в психушку. Слава Богу, обошлось. Хотя он делал все возможное, чтоб не обошлось. Проявлению его гражданского темперамента невольно способствовал и аз многогрешный. Своими взглядами, тем, что я во многом не был с ним согласен и спорил, не разделял его строя мыслей и чувств. Например, вовсе не мечтал об эмиграции и вообще не разделял культа Запада. Во многом был прав я, но во многом и он — особенно в отношении к большевизму. Од-

нажды, уходя от нас после дружеской пирушки, где мы с ним о чем-то спорили, он вдруг стал громко орать:

— Да здравствует бактериологическая война!

Естественно, ничего подобного он не хотел и не жаждал, но газеты и радио были полны проклятиями американцам, которые разрабатывают бактериологическое оружие и чуть ли не применяют его в Корее. Вот Алик и кричал нечто противоречащее всеобщему ору, тому, что навязло в зубах. Но именно поэтому то, что он кричал, было абсолютно понятно первому встречному, а в отличие от другой антисоветчины могло искренне его возмутить. Это было опасно. Требовалось немедленно заткнуть ему рот, невзирая на его неповторимую индивидуальность. Что мы и пытались сделать всеми доступными методами. Слава Богу, что со стороны это выглядело пьяным разбирательством.

Второй случай, пожалуй, был еще опаснее. Мы — Вава, Юра и я — посетили его на дому, в уже упоминавшейся Тихоновке: там он квартировал. Не могу взять в толк, чем он мог нас угощать и кто это готовил (заподозрить в этом его самого нет никакой возможности, но помню, что угощение было. И выпивка, конечно, тоже). Гости пили по обыкновению немного, но хозяин несколько перебрал. Все бы ничего, но, к несчастью, как раз когда пришла пора расставаться и Алик пошел провожать нас к автобусу, на шоссе, проходящем через Тихоновку в Темиртау, показались «эковозы», везущие эков домой — из рабочих зон в жилые. И что тут сделалось с Аликом! Он стал карабкаться на насыпь — шоссе тут проложено по насыпи — и ошалело кричать:

— Привет, товарищи! Держитесь! Скоро наступит свобода!

И нечто еще в этом роде. Нам не было достаточно ясно, насколько скоро наступит свобода для проносящихся мимо эков, но было совершенно ясно, что, если не принять срочные меры, мы сами, и причем на самом деле скоро, окажемся рядом с ними.

Машины с бортами, надставленными фанерой, четко вырисовывались в лучах заходящего солнца. Шли они нескончаемой кильватерной колонной, держа интервал метров триста. Этот интервал нас и спас. Мы сталкивали Алика с насыпи, как раз когда подходила очередная машина и он собирался ее приветствовать. Он вскарабкался навстречу

следующей, но мы сталкивали его опять. И так пока не прошли все машины и не стало кого приветствовать. Это происходило на закате, но еще при вполне дневной видимости. Народ вокруг глядел на эту сцену с большим удовольствием, не входя в детали, но понимая, что унимают перепившего, норовящего с пьяных глаз под колеса. Что это еще и «колеса истории», им в голову не приходило. Хотя они и сами — ведь речь о «куркульской» Тихоновке — хорошо знали, каково под этими колесами.

Не монтировался Александр Сергеевич Есенин-Вольпин с повседневностью сталинщины. Однако, слава Богу, выжил. Все бывает.

И потом, в более свободные времена, придумал форму демократического движения, превратил его в правозащитное, в движение за права человека. Тогдашний (времен этого движения) начальник отдела по борьбе с идеологическими диверсиями КГБ Д.Бобков считал эту «борьбу за права человека» самым хитроумным изобретением западных спецслужб. Тут этот неглупый человек впадает в профессиональный идиотизм — на Западе не было кадров, способных придумывать такие мероприятия. Да и решимости не было. Даже нехитрая, предложенная некоторыми советологами идея — натравливать республики на Москву — стала воплощаться уже после Беловежской Пуши. Нет, хитроумная тактика «движение за права» была простодушно предложена Аликом*, причем без всякого хитроумия, ибо он проблему прав понимал буквально и однозначно. У него даже был лозунг «Уважайте Конституцию СССР!», который ставил власти в тупик. Оно, конечно, в Конституции была шестая статья, объявлявшая КПСС основой всех органов управления, из чего выходило, что все противоречащее интересам и воле КПСС — неконституционно. А это практически отнимало у конституционных прав всякую реальность и содержание. Но Алик на это внимания не обращал, а властям публично указывать мировой общественности на это логическое несоответствие тоже было неудобно, — время, когда такая логика казалась нормальной, уже прошло. Так или иначе, смею уверить г-на Бобкова, что он переоценивает идеологическую изощренность своих западных коллег. Логический зазор, образовавшийся внутри про-

* Это подтверждает и такой авторитетный человек, как В.Буковский, в книге «И возвращается ветер...».

пагандистской схемы КПСС, нащупали не спецслужбы, а Алик, и не из хитроумия, а из своего неистребимого стремления к логической последовательности. Впрочем, и область математики, которой он посвятил свою жизнь, называлась «математическая логика».

С этих высот Алик взялся мне помочь сдать вступительный экзамен в техникум, куда я все же решил поступить. Поступить в учительский с перспективой стать учителем неполной средней школы было нелепо, в мединститут — было слишком серьезным ответвлением от моей жизни и судьбы, оставался только Горный техникум. Горным техником я не стал, но об этом выборе никогда не пожалел.

Сначала я хотел поступить на геолого-разведочное отделение — влекла еще романтика странствий, — но оно тогда было только четырехгодичное, для семиклассников (двухгодичная группа для десятиклассников появилась через год). За семь классов надо было сдавать и вступительные экзамены. Я готов был пройти и через это. Но, прочитав проспект экзамена по литературе, узнал, что я должен уметь прочитать с выражением басню И.А. Крылова «Ворона и лисица». Это меня остановило — на такое унижение, на такое «впадение в детство» я пойти уже не мог.

А группы десятиклассников были тогда только на двух отделениях — «Разработка угольных месторождений» — РУМ (в горных институтах РПЭМ — «Разработка пластовых месторождений») и горно-электромеханическое, где учился Юра Айхенвальд, — кажется, ГРЭМ (точного обозначения не помню)... К этому обозначению для определения группы — РУМ или ГРЭМ — прибавлялся еще год ее формирования, а к нашим еще и буква «Д» — десятиклассники. Таким образом наша называлась РУМ-51Д. Была еще и РУМ-50Д — второй курс. Отделение РУМ готовило горных мастеров (по-старому — штейгеров), ГРЭМ — шахтных механиков.

Перспектива стать горным мастером меня тоже мало радовала, но перспектива стать механиком вселяла ужас. Способности разбираться в механизмах я в себе не чувствовал. И я выбрал РУМ. И об этом тоже никогда не пожалел. Правда, не в смысле своей пригодности к производству.

Но опять встал вопрос об экзаменах. При поступлении в двухгодичные группы десятиклассников вступительных экзаменов в принципе сдавать не надо было. Но это относи-

лось только к окончившим средние школы не позже, чем два года назад. Я же окончил школу целых (сегодня это воспринимается как «всего») девять лет назад и этим экзаменам подлежал.

Сдавать надо было три экзамена — историю СССР, русскую литературу и математику, и это меня беспокоило. Конечно, не литература и не история — с ними у меня проблем быть не могло, а вот с математикой они были. Я не отношусь к тем гуманитариям, которые боятся математики. Но, если помнит читатель, курс последних двух классов я прошел за один год, а математику прошел, в общем, спрехвалá — не думал, что когда-нибудь еще соприкоснусь с этим предметом. А вот соприкоснулся — куда денешься, и она стала грозно нависать надо мной...

Стал готовиться. Купил учебники. Углубился. Шло не то чтобы туго, но как-то поверхностно. Ведь тригонометрия и задачи по стереометрии с применением тригонометрии были для меня terra incognita. Но старался. И тут явился Алик. Кто-то — не то Вава, не то Ольга — попросил его мне помочь. Алик тут же согласился. И мы с ним где-то присели, помоему, на улице, на травке. Я хотел взять с собой учебники, но Алик сказал, что это ни к чему.

— Тебе что надо — планиметрию и стереометрию? — осведомился он. Я ответил, что еще и тригонометрию, на что Алик спокойно сказал:

— Ну, это пустяк. Я тебе сейчас всю геометрию расскажу в десять минут, и ты все поймешь. Это нетрудно. — И приступил к делу. — Ты, наверно, знаешь, что все стоит на аксиомах. Это первый ряд. Потом идет первый ряд теорем (он их перечислил), представляющий собой заключения из аксиом. А уж из этих теорем выводится второй ряд теорем (их он тоже перечислил). — И так далее, до самых вершин...

Причем объяснял он не так абстрактно, как я излагаю, а в живом движении мысли...

— А что ты думаешь, — говорил Алик, — школьные теоремы тоже математика. Однажды, когда я кому-то что-то подсказал на экзамене у Колмогорова (имелся в виду великий математик, академик А.Н.Колмогоров), он рассердился, вызвал меня к доске и дал решить теорему о сумме углов треугольника (не уверен, что именно эту, но той же сложности — это на мехмате МГУ!). Я, конечно, такого не ожидал, но стал решать. И решил. Колмогоров

подошел к доске, прочел и поставил мне четверку. И правильно — я эту теорему доказал, но не самым коротким путем.

Алик был завзятым математиком, его высоко ценил друг Колмогорова академик Александров, и четверка была не его отметка, но — поймали, и Алик это признавал. Правда, теперь (речь о феврале 2000 года — *Н.К.*), Алик этого эпизода не помнит (он, как и я, живет в Бостоне, и я справлялся), но я хорошо помню, что он мне это рассказывал.

— Но тебе такое не грозит, — успокоил меня он. — Видишь, как все просто?

Я видел. И, действительно, все получалось и просто, и красиво, я все хорошо понимал. Так удивительно стройно все выстраивалось — хоть иди и сдавай... Я даже — разумеется, под руководством Алика — немного поупражнялся в доказательствах. И все выходило.

Но на другой день в голове моей осталась только блистательная схема всей геометрии, но умение ею пользоваться испарилось начисто. Эта систематизация годилась только для тех, кто и без того все это прекрасно знал. А мне пришлось спешно наверстывать все забытое или пройденное наспех. Не думаю, что я много наверстал, особенно в области тригонометрических преобразований, но кое-как на тройку сдал. Преподаватель был к экзаменуемым очень снисходителен. Впрочем, девушка, сдававшая экзамен вместе со мной, его все же не сдала. Правда, ее, слава Богу, все равно приняли: осенью я встретил ее в аудитории, где собралась наша группа... Видимо, администрация пренебрегла формальностью, и правильно сделала. Да, девушка за несколько лет многое забыла, но сумела все наверстать во время учебы и успешно закончить техникум. Кстати, учиться в нем было совсем не легко — многие, принятые вполне по правилам, отсеялись еще в первом семестре. Забегая вперед, скажу, что техникум этот в силу специфических причин давал очень добротное техническое образование. Конечно, тем, кто мог его воспринять, то есть большинству моих товарищей. Практически всем, кроме меня. Но и мой кругозор он значительно расширил.

Как видите, незаметно для себя я подошел уже к техникуму. Минуя все, что было до него. Но что было? Общения, о котором я уже писал, и впрямь было не очень много.

А знакомые заводились — у Юры с Вавой их было уже немало, они становились и моими... Прежде всего следует назвать дом Недовесовых... Привела меня туда сокурсница Юры — Ника Денисова, с которой я тоже сразу подружился. Она была родной дочерью одной из двух хозяек этого дома, даже первоначальной его основательницы — Ирины Ивановны Страховской. Ирина Ивановна была квалифицированным инженером-строителем, кажется архитектором. Второй хозяйкой этого дома была Вера Григорьевна Недовесова, по профессии врач. Обе прошли через тюрьмы и Карлаг (карагандинские лагеря МВД СССР) и хорошо знали цену человеческому теплу. Не один бедолага был принят и обогрет в этом доме — я из их числа. Первой освободилась из лагеря и приехала Караганду Ирина Ивановна. Она устроилась инженером в институт «Карагандагипрошахт», завоевала сразу авторитет, и вскоре ей дали квартиру. Эту, трехкомнатную, или поменьше (а потом как-то разменяли), не знаю. Я лично ни о какой предыдущей даже не слышал. В Караганде, «городе промышленного бума», из-за обилия строительных лагерей квартирный вопрос ощущался менее остро, чем в других местах, и при случае нужному специалисту могли дать квартиру, превышающую норму. Так или иначе, она получила квартиру — поэтому я и считаю ее основательницей «дома», — и когда вышла из лагеря Вера Григорьевна, ей было где остановиться... Вера Григорьевна тоже очень скоро завоевала авторитет как специалист — стала видным в городе врачом, даже по совместительству работала в местной «кремлевке», именовавшейся, как и везде в провинции, неброско — «Больница совпартактива». Кстати, отношения у этих двух подруг были таковы, что до недавнего времени я был уверен, что хозяйки этого дома — родственницы. Но нет, они были просто друзьями. Но какими! Далеко не все родственники живут так дружно и слаженно.

И ведь жили они в своих хоромах далеко не одни. К Ирине Ивановне вскоре приехала дочь — та самая Ника, которая привела меня в этот дом, а к Вере Григорьевне — дочь Тамара, тоже врач, до этого жившая в Москве с отцом, Николаем Ивановичем Недовесовым, учителем математики, первым мужем Веры Григорьевны. Вскоре к Тамаре приехал ее жених, Юрий Левидов. При мне они уже давно были мужем и женой, и у них была маленькая дочь Алена.

Легко сказать сегодня — «приехали». Переехать из Москвы к репрессированной (но отнюдь не реабилитированной) матери, а тем более к теще, да еще к теще, так сказать, будущей — это чего-то требовало от человека. Не только максимума порядочности, но и мужества. Хотя боюсь, что в те годы даже минимальная доза порядочности требовала некоторого, и часто немалого, мужества. Ведь само государство и весь определяемый им ход вещей требовали от человека — при любых его взглядах и ориентации (подчеркиваю: любых — непорядочности требовали даже попытки честного служения строю) — именно непорядочности, причастия ей, демонстрации этого причастия или как минимум имитации непорядочности. Из этого не следует, что все жившие тогда или все не затронутые репрессиями были насквозь непорядочными. Вовсе нет! Я даже не всех функционеров считаю изначально непорядочными. Но непорядочность лидировала и воспитывала, была основой противоестественного, но все же порядка. А установившийся порядок вещей был для многих убедителен — во всяком случае, убедительней здравого смысла, логики и естественной нравственности. Тем более если это еще подкрепляется пропагандой... Так что сегодня, после того как в тотальной жажде освобождения были восторженно сняты все препоны со всего, в том числе и с этой внедренной Сталиным всепобеждающей непорядочности, разумно ли удивляться тому размаху торжествующей криминальности и тотальной коррупции, жертвой которой оказалась теперь Россия? Но это уже имеет только косвенные отношения к теме «дома».

А дом притягивал людей нашей судьбы. Наплыву гостей способствовало и удобное расположение их жилища — на одной из центральных улиц Нового города, в двух шагах от центральной площади Ленина, то есть от обкома, облисполкома и центрального универсама. В обкоме их гостям по их положению бывать не приходилось, в облисполкоме — редко кому и редко когда, а в универсаме приходилось многим. Тем более что рядом были и другие магазины, в том числе лучшие продовольственные, почта. Удобно было забегать «на огонек». Надо ли объяснять, что главную роль в этом «забегании» играло не расположение (это и то, что квартира аж трехкомнатная, было только удобством), а тепло этого «огонька».

Таков был этот «дом» — на языке нынешних «новоруссов» вовсе не дом, а квартира. Притом жалкая, жактовская. Дома — это на Рублевском шоссе: все отдельное, все свое, все вокруг (и рядом и совсем не рядом) — купленное... Сам себе царь. А по-моему, это все крысиные норы, как бы обставлены они ни были, ибо живут в них бессмысленные грызуны. А та квартира в центре лагерно-ссылочной Караганды была именно «домом» — в старом русско-интеллигентском смысле, — домом, куда забегают «на огонек». Отвести душу, посидеть с людьми, согреться. Помните, у Блока:

Всем ведомо, что в доме этом
И приласкают, и поймут.
И благородным мягким светом
Все осветят и обольют.

С той только разницей, что были не благополучны не только забежавшие гости. Прошли через многое все, начиная с хозяев. Ведь «дом» этот сюда не был перенесен чудом из культурных центров, а был создан уже здесь на пустом месте двумя женщинами, вырванными из своей жизни и оторванными от близких сумасшедшей властью и, яко тати, доставленными сюда по этапу.

Обе сели за мужей, но за разных, и очень неодинаково. Второй муж Веры Григорьевны, Василий Иванович Сусаров, был до 1936 года заведующим Астраханским горздравотделом и, естественно, членом партии — судя по всему, истинно верующим. В 1936 году его «разоблачили» как троцкиста, исключили из партии, посадили и расстреляли*, а она попала в лагерь как жена «врага народа». Ситуация банальная для того времени...

У Ирины Ивановны вариант был покруче, хотя она тоже сидела из-за мужа. Но в другом смысле. Ибо муж ее и посадил. Был он, так сказать, природный пролетарий, и вышла она за него замуж, вероятно, в припадке юношеского идеализма, романтического стремления слиться с рабочим классом, довольно широко распространенного среди тогдашней молодежи. (Ореол быстро поблек, а любви не оказа-

* О своем общем отрицании коммунизма, включая троцкизм, и о том, что «разоблачение в троцкизме» 1936 года вовсе не означает, что Сусаров когда-либо был троцкистом, а также о том, что сажать за троцкизм коммунисты вообще не имели права, я здесь вообще не говорю, ибо о фантазмагории сталинщины говорил уже достаточно.

лось, стало душно.) Совсем не обязательно такие браки мезальянсны, ибо содержание и ценность человека не так уж прямо зависят от его происхождения и даже воспитания. Но этот брак, видимо, был неудачен, что тоже бывает, и она рванулась прочь. Однако ее «освободившийся пролетарий» был по природе подлец. И когда она захотела расторгнуть брак, он пригрозил, что донесет на то, что она скрыла свое дворянское происхождение и что отец ее был даже генералом. И донес — даже представил портрет ее отца в генеральских эполетах. В те годы, когда я жил в Караганде, быть «дочерью русского генерала» было уже безопасно, отчасти даже престижно. Но тогда это производило впечатление ужасающее, а беззаконие обратной силы не имело.

Свой срок она отсидела полностью и, как и вся освободившаяся «пятьдесят восьмая», при Абакумове получила «поселение». К счастью, в Караганду. Она была твердым, чутким, мудрым, умеющим понимать людей и их состояние человеком, в высшей мере обладала тем, что Пастернак обозначил, как «дворянское чувство равенства со всем живущим». Такова была основательница дома.

Кому-то может показаться — подумаешь, подвиг! У людей была трехкомнатная квартира — по тем временам просто хоромы, — почему ж не принимать гостей? Да, по тогдашним представлениям, когда даже отдельная однокомнатная квартира считалась роскошью (да и просто комната в коммунальной квартире была великой ценностью), трехкомнатная казалась фантазией... Но о «тех» временах в этой связи чуть ниже. Сначала давайте оценим эту «жилплощадь» по временам нынешним — так ли уж просторен физически был этот гостеприимный дом? Три комнаты на пять взрослых с ребенком... Что ж, и на современный, пусть не «новорусский», но все же «евроремонтный» взгляд, совсем неплохо. Не очень много, но нормально. А если представить, что все пятеро — люди постоянно и много работающие, занятые и что речь идет не об эпизодических приемах именитых гостей, а о постоянно открытом доме для людей совсем иных... Не так это просто, приходя с работы домой усталым, озабоченным, мечтающим умыться, переодеться, прилечь, неизменно почти каждый день встречать в доме посторонних людей, требующих твоего внимания. И надо не только пассивно считаться с их присутствием, но и активно заниматься ими. И это не раз и не два, все годы под-

ряд. При этих условиях не так уж велика покажется эта жилплощадь не только по нынешним, но и по тогдашним меркам. Дело было не в количестве комнат этого дома, а в широте души его хозяек. Была бы у них одна комната, они бы вели себя так же.

Это был дом, куда люди, многие люди, приходят, когда им что-нибудь нужно — какая-либо помощь (ведь его хозяйки были чуть ли не самыми старыми из поселенцев и все тут знали), или просто излить душу. Или просто оказаться в своем кругу.

И тут вступает в действие еще одно обстоятельство, связанное с этим домом — быть хозяйками такого дома было опасно. Весь репрессивный сталинский аппарат был нацелен на то, чтоб таких домов не было. Другими словами, на искоренение неофициального, неформального — не по работе и не в рамках семьи — общения между людьми. На то, чтоб никакой иной связи между ними не существовало. Это была мрачная утопия, но Сталин к ней — сознательно или нет — стремился не менее упорно, чем другие утописты к утопиям светлым. За каждым таким домом ему чудились заговор и конспиративная квартира. Члены Политбюро хорошо знали, что не должны поддерживать личные отношения друг с другом. И не поддерживали. Никто им этого прямо не говорил, но ведь они сами обладали самой высокой политической сознательностью в стране. И страна у них училась. Особенно те, кому ведать надлежит. Так что любое местное МГБ чувствовало поживу, обнаружив во вверенном ему регионе дом, где бывают многие. И уж не бывалым лагерникам было этого не знать. Конечно, у них был опыт, нюх на стукачей. Но ведь и МГБ накапливало опыт, да и вообще и на старуху бывает проруха... Короче, иметь такой дом было опасно. Они это знали, но шли на это. Для чего? Ведь не конспиративную квартиру они держали, не на какую-то, на этот раз правильную партию они работали. Просто такова была их природа, просто без этого — по благородному складу их душ — они бы не смогли оставаться людьми. Мне опять-таки повезло, что эти люди жили тогда в Караганде и что я их встретил — почти в самом начале своего пребывания в этом городе. Я вообще везунчик.

Были еще знакомые. В Михайловке недалеко от нас жила семья Б-еров — сосланная сюда из-за немецкого происхождения ее главы. Это была обыкновенная русская интел-

лигентная семья — истым немцем среди них был только ее глава, инженер Фердинанд Иванович Б-ер. Но был он настоящим русским интеллигентом. Немецкого в нем была только обида. На то, в какое положение были поставлены русские немцы, а больше того — на антинемецкую пропаганду. Он рассказывал о каком-то мастере-немце, который никак не мог справиться с приданной ему для выполнения какого-то производственного задания полупьяной бригадой, за что его ругали на всех совещаниях. Однажды он не выдержал:

— Ну что это за работа? Мне бы сейчас пяток немцев — я бы это в два дня сделал!

Это было чистой правдой, но спустить такое оскорбление в «данный момент» нельзя было, и мастер в тот же день исчез. Произошло это, как я думаю, не потому, что начальство обиделось, а просто в «данный момент» такое высказывание противоречило «линии» (всегда возводимой в ранг святыни), и реагировать на это положено было как на святотатство.

Но в целом был Фердинанд Иванович просто русским интеллигентом. А жена его, научный работник на кафедре гистологии мединститута, и по крови была русской. Их дочь соответственно полукровкой.

Мне она очень нравилась, я даже в нее потом влюбился. Но ее родным я казался если не коварным, то опытным соблазнителем, а мать к тому же пугало и мое еврейское происхождение. Нет, она вовсе не страдала антисемитизмом, да и боялась не трудностей, с этим тогда связанных (особенно в компоте с трудностями немецкими), а совсем другого — что вспыхнут если не во мне, то в моих родителях еврейские комплексы в связи с нацистскими зверствами и отразятся на моем отношении к ее дочери. Страхи были зряшными — не вспыхнули бы и не отразились, и не дал бы я ее в обиду... Но мать была уверена в обратном. И как только у нас стало отдаленно намечаться что-то похожее на сближение, она тут же стимулировала ее брак с другим человеком. Человек был неплохим, а брак, к сожалению, как я слышал, вышел неудачным. Хорошо б, если бы этот слух оказался неточным. Хорошая была девушка, живая и женственная, чистая, вполне заслуживавшая счастья.

Впрочем, отношения с ней не лимитированы предтехникумовским периодом. Вот стихи о ней, написанные позже:

Вновь как в детстве — с утра и на ноги:
Может, встречу идущей мимо.
Снова двойками по механике
Отмечаются встречи с любимой.

Вновь мечтанья — детские самые...
...Хоть изжить, что прожил — невозможно.
Хоть давно близоруки глаза мои,
А надежды мои — осторожны.

В техникуме и помимо

Так что пора уже переходить и к самому техникуму, учащимся* которого в момент написания этого стихотворения я уже состоял. Пора, потому что в моей жизни два года и три месяца, проведенные в его стенах, занимают особое место. Можно, конечно, считать эти годы потраченными зря — ведь с разной степенью старательности я эти два года учился тому, чем я хоть и собирался, но не очень хотел заниматься (и чем заниматься мне, к счастью, не пришлось). А это совсем не легко — два года «ехать не в ту сторону» и все время сознавать это. Это меня угнетало, порой даже доводило до отчаяния... Конечно, мой карагандинский опыт не ограничивается тем, что было связано с техникумом. Но много все-таки связано и с ним — ведь я не только в нем учился, но и жил в его общежитии. А все это — люди. И отношения с ними были таковы, что потом я всегда вспоминал эти годы с удовольствием, даже с нежностью.

Это так, хотя и в эти годы главные мои жизненные интересы по-прежнему касались поэзии и «взаимоотношения с эпохой», то есть были весьма далеки от технических проблем. Впрочем, эти взаимоотношения и сами не давали о себе забывать. В один из первых дней моего обучения был арестован Юра Айхенвальд... Арестован он был прямо в техникуме. И, разумеется, с тайнственностью. Юра на правах старшеклассника опекал меня на первых порах, как говорится, вводил в обстановку. Короче, мы встречались с ним на переменах. На одной из перемен звонок прервал наш разговор (или спор — теперь не помню), и мы договори-

* По официальной иерархии, в школах учились ученики, в институтах — студенты, а в техникумах — учащиеся.

лись встретиться после следующего звонка. Но, выйдя после звонка из аудитории, я нигде не смог его найти. На последующих переменах — тоже. В конце концов я спросил у кого-то из его сокурсников, где Юра.

— Его вызвали к директору, — последовал ответ.

Конечно, что-то неприятно кольнуло меня, я заподозрил недоброе, но все-таки постарался принять это сообщение за чистую монету. И после занятий помчался в Михайловку выяснять, по какому поводу Юру вызвали к директору. Но Юру я уже не застал, застал только Вава и Ольгу, обе сосредоточенно курили.

— Какой директор? — ответила Вава на мой вопрос. — Арестовали Юру, вот что!

Директор тут и впрямь был ни при чем. Пришедшие за Юрой эмгэбэшники сами вызвали Юру через секретаршу директора (а чего было им стесняться в своем отечестве, где все полуофициально, а значит более чем официально, обязаны были с радостью им содействовать!) и увели его в Михайловку. И даже не скрыли от Вавы, что арест производится по распоряжению из Москвы. Поэтому и пришли за ним днем — за «своими» обычно приходили ночью.

Я понял, что Юра стал жертвой внутригэбэшных интриг. Видимо, в МГБ была ревизия, и кто-то ретивый углядел недосмотр коллег. Ведь обвинения были сняты без опровержения даже со стороны обвиняемого. Короче, Юра пострадал на этот раз потому, что в его деле не было протокола, формально опровергающего обвинения, аналогичного тому, на составлении которого я настоял при закрытии своего дела. Правда, если помнит читатель, я это сделал не из предусмотрительности, а из идеологического пуризма, то есть из соображений идиотских, но думаю, что это меня от многого уберегло. Вот от чего зависела наша жизнь. В техникуме исчезновение Юры прошло почти незамеченным — население было уже приучено не замечать такие исчезновения. Только через пару недель преподаватель электротехники старик Гартман (старик, конечно, по тогдашнему моему восприятию) вдруг, когда я вошел зачем-то к нему в кабинет электротехники, спросил:

— Скажите, пожалуйста, что случилось со студентом Айхенвальдом (ударение на первом слоге)? Вы как будто с ним дружите.

Я ответил на его вопрос, рассказал то немногое, что знал сам. Он внимательно выслушал, потом пояснил:

— Я ведь заведующий отделением, мне надо знать, почему студент не посещает занятий.

Разумеется, спрашивал он не поэтому, причина Юриных «прогулов» ему наверняка была известна официально: арестовали Юру в техникуме, и секретарша директора присутствовала при этом. Просто ему хотелось подробнее узнать, в чем дело. Неистребима человеческая потребность к логике и к пониманию! Разве не поразительно — что все мы в таких случаях хотели узнать, в чем дело, хотя все прекрасно знали, что дело ни в чем? Хотя и такой невинный вопрос тоже был хождением по краю. Но я сделал вид, что верю в официальность его интереса, и даже сказал, что теперь он может исключить Юру из списка студентов. Гартман был этим удовлетворен.

Он был порядочным человеком и настоящим русским интеллигентом, этот сосланный в Караганду за немецкое происхождение московский инженер Гартман (к сожалению, забыл его имя, отчество). И реакция его была — реакция русского интеллигента тех проклятых времен, представителя этого затравленного тогда времени. У него же эта затравленность усугублялась другой — сосланностью за предполагаемую способность и возможность сочувствия и содействия Гитлеру. И поэтому на своих лекциях и в экзаменационных вопросах он сильно упирал на приоритет русских ученых и инженеров в электротехнике. Делал он это не от себя, такова была установка, которой обязаны были следовать все, но он это делал особенно тщательно, дабы избежать подозрений. В чем? Конечно, тотальный приоритет русских ученых и инженеров, который тогда внушался, — глупость. Этого он не мог не понимать, но глупость эту ему приходилось поддерживать... Это было унижительно. Ведь он и сам был этим русским инженером и хорошо знал, что у русской науки и инженерии есть реальные заслуги, которых нет необходимости преувеличивать. Приходилось притворяться, что уважаешь и ценишь то, что на самом деле уважаешь и ценишь. Кстати, те, из-за кого он вынужден был притворяться, об этих заслугах и представления не имели — отчасти поэтому и навязывали истерию. Но он для них был немцем.

Был у нас в техникуме еще преподаватель немецкого происхождения, являвший собой высший тип русского интеллигента — Николай Рудольфович Шмидт. Никаких частных бесед с ним у меня не было, даже такой, как с Гартманом, но его интеллигентность проявлялась и в отношениях академических. Прежде всего в яркой, отчетливой русской речи. И еще — в каком-то тонком, творческом отношении к делу. Преподавал он, по-моему, машиноведение, но прежде всего — и этим запомнился — черчение.

Должен сказать, что в техникуме я довольно быстро научился вполне сносно читать чертежи (думаю, что и сейчас, поднатужившись, смог бы проявить это умение), но чертить я органически неспособен. Чертежи у меня получались грязными, с кляксами, многократно подчищенными и снова грязными. Так вот Николай Рудольфович почувствовал это по первому сданному мной чертежу и установил для меня особую шкалу оценки. Вместо того чтоб ставить мне одни двойки, чего объективно заслуживали все мои «шедевры», за какие-то мои чертежи он ставил мне тройки, а за какие-то даже четверки. Так что имело смысл стараться. Я и старался, а он поощрял это. Правда, однажды по природной студенческой подлости я сдал ему вместо своего чертежа черновик чужого, что было тут же замечено. Он поставил мне четверку, но написал на чертеже, что это нечестно — сдавать чужие чертежи, что я должен чертить как умею, но самостоятельно. Мне до сих пор стыдно — ибо было в этом моем поступке нечто хамское. Больше я так не поступал. Но потом Шмидт перестал преподавать черчение — слава Богу, нашлась для него более соответствующая его уровню работа, и его заменила милая молодая преподавательница. На ребятах эта перемена особенно не отразилась, но для меня она обернулась катастрофой. За несколько чертежей, над которыми я, сознавая важность момента, корпел очень старательно, она мне по справедливости вlepила двойки, а может, и единицы. Я несколько на нее не обиделся — это было вполне справедливо, — но дальнейшая работа над чертежами потеряла для меня всякий смысл. Чертить я перестал, и к концу семестра надо мной нависла катастрофа. Выручили ребята. Поговорили с преподавательницей, объяснили ей, что лучше у меня все равно не получится, и уговорили ее не губить меня и по-

смотреть на это дело сквозь пальцы... Добрая женщина согласилась.

Я ничего об этом не знал. И когда однажды, вернувшись в общежитие, обнаружил в нашей комнате странную суматоху, ничего не понял. На столах вверх ногами были установлены табуреты, в них лампы, над ними снятые с петель окна, и над всем этим шла какая-то лихорадочная деятельность. Долго недоумевать мне не пришлось... Оказалось, что ребята таким образом сводят для меня чертежи. Меня тут же усадили их подписывать, ибо чертежи эти срочно должны были быть представлены мной находящейся с ними в стоворе преподавательнице. Я и теперь не понимаю своей беспечности — кончался учебный год, и отсутствие чертежей грозило мне отчислением. А уж потерей стипендии (что было для меня равнозначно отчислению) — наверняка... Спасибо ребятам, которые не только выполнили эту работу, но и всполошились вместо меня.

Когда я появился в чертежном кабинете со «своими» чертежами, преподавательница просмотрела их, вздохнула и спросила:

— Сколько тут процентов вашего труда? Двадцать?

— Сорок, — храбро соврал я.

И она поставила мне положительную оценку. Какую — не помню, я никакой не заслуживал.

Так спасли меня наши ребята, к рассказу о которых я еще не приступил. Но и преподавательница, которая поняла их озабоченность, тоже чего-то стоит. Все это тоже черта времени — подспудное желание помочь человеку, не по своей вине попавшему в беду. Оно, конечно, нехорошо обманывать и помогать разбазаривать на меня государственные средства (та же стипендия и общежитие). Впрочем, если бы не «грязнули впоследствии всякие хренации»* (вроде смерти Сталина, которая казалась невозможной), мне бы пришлось где-нибудь пристроиться, и средства, затраченные на меня, как-то окупались бы. И как-то бы это мне помогло выжить. Что делать, если государство поставило меня (и меня ли одного?) в такое положение, что я вынужден был учиться в техникуме... Ведь при нормальном положении вещей никакими ветрами не занесло бы меня ни в какое техническое учебное заведение.

* А.Галич.

Таковы были мои ребята... Чтоб дать о них наиболее яркое представление, несколько забегаю вперед, скажу, что в страшный день 13 января 1952 года, когда было опубликовано «Сообщение ТАСС» о разоблачении группы «врачей-вредителей» и все ребята были возбуждены (все верили), а я громко и отчетливо при довольно большом количестве студентов сказал: «Ребята, все это брехня. Я знаю», — все замолчали, хоть и не поверили. Сочувствовали. Не моим словам, а моему положению и состоянию. И ни один не выдал. Впрочем, о «деле врачей», о том, как оно переживалось в Караганде, я буду здесь еще рассказывать отдельно и подробно, когда мой рассказ дойдет до этого времени... А сейчас — только о том, как ребята меня выручили с черчением...

Спасибо и им всем, и преподавательнице, взявшей грех на душу, — они спасли меня. Но это никак не снижает ценность благородного стремления Николая Рудольфовича помочь мне реально, реально развить мое техническое мышление. Ценность его доброты, порядочности и мудрости. Конечно, он был весь из «раньшего времени» (выражение ильфо-петровского Паниковского), но хорошо, что через него эти традиции в такой ненавязчивой форме передавались нам. Что-то ведь оседало. Жаль, что я не сошелся с ним ближе. Но его поведение, при всей его всегдашней доброжелательности, к этому не располагало. Разговоров на посторонние темы он избегал. Может, из осторожности, чтоб не сказать лишнее, может, характер не позволял. Но сущность его, как мы видели, достаточно проявлялась и в процессе работы. Я рад, что как-то соприкоснулся с этим человеком.

Но ни с Гартманом, ни с Николаем Рудольфовичем личных отношений у меня не было. Личные отношения завязались у меня с другим преподавателем — тоже с нерусской фамилией — Николаем Валентиновичем Пагануцци. Но оказался он в Караганде не за итальянскую фамилию (я вообще не слыхал, чтоб итальянцев во время войны выслали), а по более общим причинам. И еще в годы интернационализма, когда все иностранное (интернациональное) почиталось и даже предпочиталось. Он относился к «кировскому набору», когда «в ответ на злодейское убийство товарища Кирова» из Ленинграда было выслано много «быв-

ших», в том числе дворян. Так что попал он сюда (правда, сначала не сюда, а в Тучинск — станция «Курорт «Боровое», Кокчетавской области) — не по этническому, а по классовому признаку. Там он работал по специальности — инженером на золотых приисках. Дальнейшие репрессивные кампании, не обошедшие, например, родственник К.М.Симонова, его, слава Богу, не задела, и теперь с него, с его «категории», все ограничения были сняты. Но в Ленинград он не возвращался — скорее всего, потому, что некуда было. У нас он вел технологию металлов, а потом сопромат.

Естественно, беседовать я заходил к нему в лабораторию на темы, с этими предметами не связанные. Вообще наши личные отношения никак не сказывались на учебных: получал я у него только четверки и тройки — исключительно по заслугам. Не путать личные и деловые отношения было само собой разумеющимся правилом той среды, из которой он вышел. Вспомните Давида Михайловича Яхнина, мужа тети Розы. Он мог вполне приютить меня у себя, что было небезопасно, но наотрез отказался выдать мне ничего не значащую, ничем не грозящую, но все же фиктивную справку о болезни для техникума — право подписывать такие документы было дано ему не для того. Не знаю, как повел бы себя Николай Валентинович (да и Давид Михайлович тоже), если бы дело касалось вообще моей судьбы (как в случае с черчением), но манкировать своей профессиональной этикой им было бы нелегко. Но, слава Богу, двойка по предметам, которые преподавал Николай Валентинович, мне и по совести не грозила, и перед такой дилеммой он не стоял. Но однажды я все-таки протестовал против отметки — правда, поставленной не мне, а моему другу Роберту Риделю (о нем чуть ниже), когда Николай Валентинович поставил ему четверку по сопромату. Я даже ходил к директору по этому поводу. Роберт — человек блестящих способностей, учился он блестяще и в техникуме, через несколько лет так же блестяще окончил институт, потом аспирантуру, стал кандидатом, и четверка, по ошибке (я убежден, что по ошибке) поставленная ему Николаем Валентиновичем, была единственной четверкой в его жизни. Но кто из смертных гарантирован от ошибок? А эта четверка, поставленная Николаем Валентиновичем Роберту,

была именно его ошибкой — никакими посторонними соображениями она вызвана не была. Николай Валентинович вообще был в высшей степени порядочным человеком, как-то естественно, ненавязчиво, но при этом непреклонно порядочным.

Кстати, именно от него я впервые услышал классическую формулу порядочности — «порядочным является человек, не поступающий с другими так, как он не хотел бы, чтоб они поступали с ним»... Вроде ничего особенного, но, как известно, такие понятия и такие определения в те времена не пропагандировались — «воспитание масс» работало на распад связи времен. Такие люди, как перечисленные мною преподаватели (так же как литинститутские Реформатский, Шамбинаго и некоторые другие), эту связь восстанавливали. «Мало мы их стреляли!» — сказал В.М.Молотов по поводу одного «неблагодарного» высказывания И.П.Павлова. И с точки зрения своих мафиозных интересов (пусть мифологически оформлявшихся в его сознании как идеологические и даже идеалистические), был прав — мало. Но на большее их даже с товарищем Сталиным не хватило. И от тех, на кого их не хватило, и нам что-то перепало — иногда в виде представлений, иногда только импульсов. Этого, может быть, было недостаточно, чтоб спасти страну (все-таки перепахали ее эти мафиози основательно), но и на том спасибо. Одним из таких людей был Пагануцци, с которым мне посчастливилось общаться довольно часто...

С чего и как началось наше общение — не помню. Видимо, как-то завязался у нас разговор — в неслужебное время и на неслужебные темы — а потом пошло. Говорили мы с ним о многом. Николай Валентинович кончил когда-то Петербургский технологический и очень гордился демократическими традициями этого института — тем, например, что студенты-технологи, в отличие от студентов университета, называли друг друга не «коллегами», а «товарищами». Но при этом он отнюдь не был сторонником революции, которым я тогда еще оставался. Ее стихия и раскрепощенность инстинктов ему претили. Следы этого были в стихах, которые он мне читал, — а были они вполне литературно грамотными и выразительными. Я даже запомнил две строчки из этих стихов:

Разгорелись глаза рабочие
На брильянты и дым сигар.

Стихи эти явно были написаны в начале революционных годов и явно представляли собой непосредственную реакцию на события.

Но при такой своей «контрреволюционности» он не стоял в оппозиции к сталинщине, а впадал в ту же ошибку, в которую впадал в начале тридцатых часть эмигрантов и некоторые «бывшие» внутри страны, — воспринимал ее как «возвращение к реальности». Ему даже нравилась введенная тогда (по его мнению, восстановленная) табель о рангах и даже мундиры и шинели наподобие военных — с погонами и знаками различия, — в которые облачали тогда работников многих ведомств, в том числе и работников угольной промышленности. Сам он был возведен в ранг, кажется, инженер-майора. Обычно он ходил в штатском, но с удовольствием рассказывал мне, как на Казанском вокзале в Москве, где он, одетый в свою «майорскую» форму, стоял, как все, в очереди и ждал объявления посадки, к нему вдруг подошел вокзальный служащий, любезно попросил показать билет, после чего проводил его к его месту в вагоне, хотя все остальные «бесформенные» пассажиры продолжали ждать объявления посадки. Николай Валентинович наслаждался не потому, что ему было лестно такое внимание — его чувство собственного достоинства не нуждалось в подобном подкреплении, — а потому, что увидел в этом симптом возрождения системы иерархических привилегий как основы естественного порядка. Думаю, что он ошибался не только в сущности сталинщины, а и в смысле этого факта. Просто высокий, стройный (он до глубокой старости занимался альпинизмом), да еще в форменной шинели, он выглядел особенно импозантно и казался причастным к высокому начальству. Возможно, даже к железнодорожному — к тому, что форма присвоена теперь не только железнодорожникам, люди еще не привыкли. Вот и решил, что такому человеку негоже топтаться в общей очереди. Короче, больше ни от кого из горняков таких рассказов о повышенном внимании к своему чину и мундиру я не слышал. Но Николай Валентинович воспринял этот факт именно так...

Это вообще его занимало. Однажды на лекции, увещевая студентов, он особо подчеркивал, что они являются студентами привилегированного учебного заведения, и это нас обязывает (мы получали повышенную стипендию, форму, хорошее общежитие и т.п.). Это было бесспорно — студенты любых учебных заведений обязаны относиться к учебе ответственно. Но для него было важно именно это слово «привилегированного». Оно звучало для него как музыка восстанавливаемой гармонии. Это было наивно. Связь привилегированности с ответственностью существовала только в его сознании. Конечно, страна тогда было опутана системой многообразных иерархических привилегий, но, во-первых, никакой естественности она не соответствовала, а во-вторых, больше ни в чьем сознании этой связи привилегий с ответственностью не существовало — чаще, наоборот, привилегия мыслилась как освобождение от ответственности. Если не считать ответственностью страх барского гнева. Но и видя в сталинщине «возвращение к реальности», Николай Валентинович оставался человеком независимым и толерантным. Меня он за остатки моей инфантильной революционности никак не презирал, во всяком случае, охотно и свободно со мной разговаривал. Кстати, и я, ничуть не поколебавшись в своей революционности, воспринял его строки о разгоревшихся «на брильянты и дым сигар» глазах спокойно, ни на секунду не усомнившись в реальности и адекватности такого восприятия. Для нас обоих важно было не расхождение в мыслях, а самый факт, что мы мыслим. Это сближало. Сталинщина запрещала любые мысли. Разномыслие наше не отражалось и на взаимном доверии. Ведь и его приятие сталинщины было достаточно наказуемым по тем временам — за глаза рабочих, разгоревшиеся «на брильянты и дым сигар», тоже бы по головке не погладили. Кстати, мне и теперь в этих строках не все кажется точным. «Рабочими» ли были те глаза, которые он запомнил? Не представляю квалифицированного рабочего (а тогда ведь еще не было конвейера и рабочий был человеком квалифицированным), чьи глаза так бы уж разгорелись на эти роскошества. Ведь в красногвардейцы шли в основном люмпенизированные солдаты, а не рабочие. Впрочем, восстание выдавало себя за рабочее, а жертвам всяческих, в том числе и спонтанных, экспроприаций и насилий, к кото-

рым наверняка относился и сам Николай Валентинович, и его близкие, было тогда не до того, чтоб разбираться в социальном положении распоясавшихся насильников. Но в принципе одну из «движущих сил революции» Николай Валентинович уловил верно. И я, несмотря на совсем другое представление об ауре революции, почувствовал, что в этих словах — правда, что к некоторым возлюбленная революция поворачивалась такой стороной. Только через несколько лет я понял: добивались сиюминутных политических выгод, разрушая (конечно, временно, но это уже от него не зависело) устои и нормы, выработанные веками цивилизации. Этому разрушению в своем сознании он противопоставлял партию, она была для него как бы гарантом этой временности. Сталин, изначально находившийся вне этой цивилизации и интересовавшийся только ее военно-техническими возможностями, вообще не чувствовал в этом смысле препон и не нуждался ни в каких «гарантах», даже таких мнимых, как партия. Разница между вождями есть, порой даже разительная, но как разрушитель цивилизации Сталин только ученик и последователь Ленина — тот первый открыл и показал эту дорогу. Этой же дорогой — отрицания выработанных цивилизацией норм общежития при использовании военно-технических возможностей — следуют почти все нынешние афро-азиатские освободители. Не зря ведь Саддам Хусейн являлся таким горячим поклонником Сталина. Что он может там вычитать — для меня загадка. Сталин не для того писал, чтоб раскрывать свою кухню. Конечно, что-то можно понять, если хорошо знать историю ВКП(б), тонко разбираться в перипетиях внутрипартийной борьбы двадцатых годов. Вряд ли у Саддама была такая подготовка или квалифицированные консультанты по этому вопросу. Но ничего — справлялся, копировал сталинские методы, без овладения его «теоретическим наследством». Видите, как он, пользуясь чуждыми ему, но обязывающими других нормами цивилизации, ее гуманностью, успешно навязывая свою волю сильным цивилизованным странам... То, что он несколько переборщил и нарвался на эмбарго, ничего не меняет. Все равно он уцелел и сохраняет гордую осанку. Ему позволили это представить своему народу победой, а больше ему ничего не надо — он опять готов к прежним, но также «подвигам». А сколько есть та-

ких же, не так зарывающихся, но так же по-сталински использующих в борьбе против цивилизации не только ее технические достижения, но и ее чуждые им нормы? И ведь им удается — они теснят, а она, извиняясь, отступает. Таково сегодня состояние цивилизации. Неужели эти ублюдки — это все, к чему пришло человечество в результате своего долгого и мучительного развития? Не хотелось бы так думать.

А Николай Валентинович тогда этой глобальной опасности не видел. Он верил в «реальность» (значит, в реальность цивилизации, ее норм и ценностей) и в то, что сталинский СССР постепенно к ним возвращается. Признаться, и я, хоть очень расходился с ним в оценке происходившего, этой глобальной опасности не видел тоже. Она тогда только начинала разворачиваться. Я вообще тогда только упирался лбом в сталинскую узурпацию — избавиться от нее, и все проблемы решены. Свободно, бодро и доброжелательно пойдем к коммунизму. А что будем делать, когда дойдем? Но, будучи в плену телеологического мышления, этого вопроса я себе не задавал. Хотя приходил он мне в голову и много раньше.

Среди остальных преподавателей было тоже немало ярких личностей. Например, Шунери Унченевич Кан, математик — программа нашей подготовки включала в себя предмет «Элементы высшей математики для техникумов», который он вел... По национальности Шунери Унченевич был корейцем.

Не надо забывать, что корейцы были высланы с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан гораздо раньше, чем немцы из Москвы и с Поволжья. Но к этому времени с них уже были сняты все или почти все ограничения (как с кулаков), и они могли спокойно разъезжать по всей стране. А может, только по всему Казахстану — точно не помню. В нашей ссыльно-поселенческой «Пальмире» это было немало. Для сравнения — немцы, учившиеся со мной, без разрешения коменданта не имели права съездить даже к родителям в Темиртау, расположенный километрах в сорока от Караганды. Тем не менее многие корейцы, особенно дипломированные специалисты, продолжали тогда жить и работать в Караганде — видимо, укоренились там прочно...

Вспомнил я о Шунери Унченевиче потому, что благодарен ему — он тоже оказал серьезное влияние на мое развитие... Нет, никаких личных отношений и бесед у меня с ним не было, да и никакого стремления оказывать какое бы то ни было постороннее, в том числе и общекультурное, влияние на кого бы то ни было он не проявлял... Влияние оказала на меня сама математика, которую он преподавал. Я впервые — пусть отдаленно — прочувствовал ее вкус. Нет, не увлекся ею, не проник в ее глубины — в конце курса я удостоился у него той же четверки, которую получал в школе, и это было справедливо, — а именно почувствовал ее вкус, ее стремление и умение точно формулировать почти неуловимые сущности... Конечно, Шунери Унченевич хорошо знал и чувствовал свой предмет, хорошо учил ему, но я совсем не убежден, что все мои предыдущие учителя учили плохо. Вероятно, и в школе при доказательстве теорем они употребляли поразившее меня только теперь выражение «необходимо и достаточно», но оно не производило на меня впечатления. Видимо, не дорос я до понимания его простой сути. А может быть, в школе оно не употреблялось. А ведь это универсальный закон мышления — условием каждого суждения является необходимость и достаточность оснований. Каждый довод должен быть необходим (лишние доводы — это, как потом стали говорить, «шумы», только затрудняющие понимание), и этих доводов должно быть достаточно, чтоб суждение было неопровержимо. Когда говорят об интеллектуальной честности, имеют в виду именно это — способность не делать выводов, не имея необходимых и достаточных оснований.

Впрочем, это не только закон мысли, но и закон вкуса. В стихотворении все должно быть необходимо и достаточно для раскрытия эмоционального замысла, импульса, остальное — от лукавого. Разумеется, с поэзией (и вообще с искусством) сложнее — замысел замыслу рознь, и не всякий замысел поэтичен, об этом всегда идут споры — но это верно как принцип воплощения любого замысла. Это простое речение до сих пор помогает мне жить, мыслить, понимать и общаться. И за это я, безусловно, благодарен Шунери Унченевичу Кану, хотя, видит Бог, подобные результаты вряд ли входили в его намерения.

Блистательным преподавателем горного дела (на нашем отделении профилирующего предмета) был Иван Петро-

вич Рыбаков. По-моему, он был даже заведующим нашим отделением. Был он человеком порядочным и интеллигентным (пусть даже советской формации), любил литературу, мог страницами цитировать «Двенадцать стульев» и «Золотого тельца» Ильфа и Петрова. Отношения у меня с ним были хорошие, теплые (он вообще был хорошим человеком), но поверхностные, как у студента с преподавателем — доверительных бесед у меня с ним не было. И несмотря на вполне добрую память, говорить мне о нем в этой работе — нечего. Из чего никак не следует, что о нем нечего говорить вообще, человек он был вполне достойный и заслуживающий внимания, он занимал в нашей студенческой жизни большое место... Но я пишу воспоминания не о техникуме, а о своем пути сквозь время. Это книга вообще не для того, чтоб воздать каждому должное, для нее важно другое.

Существеннее для этой книги воспоминание, связанное у меня с другим преподавателем, хотя тот только короткое время под конец читал нам калькуляцию. Сам он почти не сохранился в памяти и, в отличие от Ивана Петровича, большого места в нашей (и моей, в частности) жизни не занимал. Я даже имени его не помню. Но с ним, точнее с его предметом, связано одно незабываемое впечатление. Вернее, случай, мало кем замеченный.

Однажды на своем уроке он объяснял нам порядок оплаты сверхурочных в угольной промышленности СССР. И, между прочим, сообщил как о чем-то естественном и логичном, что к оплате каждой тонны угля, добытой в сверхурочное время, прибавляется еще целых сто процентов, только эти сто процентов выплачиваются с учетом коэффициента 0,6.

— Так что, только шестьдесят процентов? — удивленно спросил кто-то, может быть, и я.

— Нет, не шестьдесят, а сто. Но с коэффициентом 0,6, — невозмутимо ответил преподаватель.

А был он то ли начальником планового отдела, то ли главным бухгалтером самого важного учреждения в городе — комбината «Карагандауголь»... И вроде был человеком неглупым и нетемным, дело свое знал, — следовательно, конечно же, не хуже меня понимал, что сто процентов с коэффициентом 0,6 — это шестьдесят процентов. Между тем авторитетно опровергал эту очевидность. И я понял,

что мне следует немедленно перестать доискиваться — во всяком случае, вслух — до логической связи, до элементарного арифметического смысла, что это не только опасно для меня самого, но и нехорошо по отношению к другим, к тому же преподавателю, которого это ставит в трудное положение. Но меня это потрясло.

Лживость советской, особенно сталинской системы и всей ее пропаганды была для меня очевидна и до этого случая. Но ведь здесь ложь касалась не общего положения вещей, а самого рабочего процесса. В своей рабочей повседневности человек должен был соблюдать логику сталинского театра... Сначала начислять (на бумаге) сто процентов, а потом «обрабатывать» результат коэффициентом! Так сказать, заниматься самопропагандой — самому себе внушать, что в нашей рабочей стране рабочие получают за выработанные сверхурочные надбавку в дополнительных сто процентов. А про коэффициент? Подумаешь, коэффициент! — научное словечко, бухгалтерская подробность — иностранцам о нем и говорить не надо, не поймут! Возможно, и сами, да и сам наш преподаватель, верили, что так надо — в сталинской мудрости мало кто сомневался...

Мне было странно — к чему это? Ведь рабочие знают, что они получают — коэффициентами им голову не заморочишь! Если бы шахтер, согласившись отработать вторую выработку за сто процентов, получил бы их с коэффициентом 0,6, в следующий раз он бы любыми способами избежал сверхурочной работы. Впрочем, как раз шахтеров эта бухгалтерская «подробность» касалась только теоретически: на практике они вообще избегали записывать себе сверхурочные — они гораздо больше получали за перевыполнение нормы в свои законные восемь рабочих часов. Как было в других отраслях — не знаю...

Конечно, эта очевидная нелепость, к которой надо было приспособливаться, унижавшая сознание, внушавшая недоверие к собственному здравому смыслу, была частью сталинской системы оглупления. Но тут система, по-моему, несколько переборщила — стала оглуплять самих оглупляющих. Этот случай помог мне ясней разглядеть нечто, понынешнему говоря, виртуальное в тогдашней действительности, что я отчасти уже представлял себе и до этого, но более смутно и абстрактно.

Не могу не упомянуть еще об одном преподавателе — Жанагулове (имя-отчество забыл), который вел у нас историю ВКП(б). Тому, что этот предмет изучался и в техникуме, я несколько удивился — почему-то считал его институтским... Но дело не в предмете, а в преподавателе.

Он был молод, добр, приятен в общении. По национальности казах. Но не из тех, кто получил диплом для торжества сталинской национальной политики и в порядке спешной подготовки национальных кадров. «Выдвижение национальных кадров» было неотъемлемой деталью обстановки в Казахстане. О масштабах этого мероприятия можно судить по тому, что в Караганде, так же как и в других городах, на объявлениях о приеме студентов в институты и техникумы неизменно присутствовало примечание «лица тюркских национальностей принимаются без экзаменов». Как после этого можно было обратиться к врачу-казаху? (Если, конечно, у него не было персональной репутации, что, естественно, тоже бывало.) Результаты этих льгот были плачевны. Когда мы начали учиться, в нашей группе училось десять казахов. «Тянул» только один, не только «тянул», но блестяще соображал, хотя с трудом говорил по-русски. Но именно его почему-то родители месяца через два потребовали обратно в аул. У остальных все шло очень туго. Короче, до конца семестра с трудом доковылял только один, а к концу года не осталось ни одного.

Так что вполне уместно здесь подчеркнуть, что Жанагулов явно к таким не относился, что свой диплом он получил вполне справедливо. Он вполне свободно и грамотно говорил по-русски и в общем знал свой «предмет»... Если связано с ним что-либо смешное, то связано это было не с его личностью, не с его происхождением, а с неопределенностью и зыбкостью этого «предмета».

Так что он никак не был вариантом моего сокамерника по Лубянке Джумагали Аликеева — каракалпака, совершившего кругосветное путешествие, но плохо понимавшего, что это значит*.

Не могу сказать, что он особо тонко разбирался во всяких «отзовистах», «ликвидаторах» и прочих «соглашательских» течениях внутри «нашей партии». Однажды ему по этой теме отвечал Витя Берг, человек способный и умный,

* См. главу седьмую («Расплата») в третьей части этой книги.

отвечал вполне правильно, но он высказал недовольство его ответом. Я, несмотря на то что старался при разговорах на эти темы «не возникать», не выдержал и запротестовал. При этом точно, как мне казалось, воспроизвел ответ товарища. Реакция на мое «возникновение» была для меня неожиданной.

— Ты молодец, Мандель, ты все сказал правильно, а он — нет.

На перемене я спросил у Вити, в чем дело?

— Я ведь только повторил твои слова.

— Да. Но ты произнес слово (речь шла о термине из книги, сейчас не помню каком), а я нет... В этом все дело.

Конечно, смешно, что без этого магического слова этому молодому неглупому человеку и «отзовизм» был не в «отзовизм», но это никак не свидетельство темноты его сознания, а того, что там, где он учился, куда пришел за знаниями, «кто-то камень положил в его протянутую руку». Не только камень, но и камень тоже. Это последствие того, что миллионы людей окунули в мир понятий, им абсолютно ненужных и непонятных, вызванных стремлением сначала «ленинской гвардии», а потом и Сталина, свести давние счеты со своими оппонентами. В историю партии, которая при Сталине сводилась к тому, что все, кто когда-либо возражал Ленину или Сталину по какому-либо, пусть даже самому частному вопросу (равно безразличному тем, кто этому учил, и тем, это изучал), рассматривались как носители первородного греха и человеческой скверны. Собственно, ради этого внушения все и изучалось. И тут ни при чем казахское происхождение Жанагулова, даже если б он происходил из самого глухого аула. В нашей группе учился неплохой и неглупый парень, фронтовик, член партии, долгое время работавший воспитателем в молодежном общежитии. Но вот круг его представлений. Однажды, когда (опять-таки в связи с предметом Жанагулова) я поправил его в чем-то очень простом, объяснив, допустим, что меньшевики террором не занимались, а занимались им эсеры, он в ответ снисходительно улыбнулся и назидательно спросил:

— А какая разница?

Он хорошо это знал. Как же? Ведь он многократно занимался во всякого рода обязательных тогда кружках по изучению истории партии и «марксизма-ленинизма» (в иной

транскрипции называть этот предмет не могу). Там ему, конечно, никто ничего подобного не говорил, но тем не менее всем ходом преподавания именно такое представление внушили.

Он был глубоко убежден в том, во-первых, что он в «этом» хорошо разбирается и что его примитивные представления — истина. И то и другое было фикцией — даже если абстрагироваться от того, что фикция сам коммунизм. Этому неплохому парню тоже положили камень в протянутую руку.

Опровергать его представление о его знании я не стал, в моем положении это было опасно, хотя ничего противоречащего установленному шаблону я не говорил. Не думаю, чтобы он стал на меня доносить «куда надо», но с «товарищами посоветоваться» мог. А тут уж докажи, что ты не «восхвалял» меньшевиков. Был в ходу у следователей МГБ такой термин — «восхвалял». Относился он к немецкой или американской технике, к западному образу жизни и к чему угодно. Ничего хорошего тем, кого ловили на «восхвалении», он не сулил.

Кстати, другой преподаватель истории, только не партии, а СССР, рассказывая о Бунде, оставил у своих юных слушателей впечатление, что бундовцы на Втором съезде РСДРП требовали привилегий для евреев в будущей России. Так оформилось в его сознании бундовское требование «культурно-национальной автономии»*. Для того чтоб представить возможность требования привилегий для какой-либо нации на съезде тогдашней марксистской партии, нужно совершенно не чувствовать атмосферы этих съездов и марксистской идейности вообще. Многие из профессиональных «идеологов» времен поздней сталинщины о том и другом не имели ни малейшего представления. Я, как уже неоднократно говорилось, давно не сторонник марксизма и вовсе не считаю, что всем это так уж важно знать. Лучше бы знали и перечитывали Священное Писание — оно неизмеримо больше знает о людях и жизни. Но учить истории, не зная и не чувствуя ее, значит класть в уже упоминавшиеся руки пресловутый камень, затемнять сознание. Но таких незнающих знатоков готовили специально.

* Как мне кажется, опыт показывает, что воплощение этого требования вовсе не пригодились бы евреям, но помогло бы сохранить целостность страны.

Забавный же случай, о котором я хотел рассказать, связан не с историей партии, а с «философией», той самой, к которой с почтительным испугом относился калужский начальник милиции (книга четвертая, часть первая). Речь идет о знаменитом тогда втором параграфе четвертой главы пресловутого «Краткого курса истории ВКП(б)» (вскоре КПСС) — «О диалектическом и историческом материализме». Говорили, что автором всего «Краткого курса», а особенно этой мудреной главы, был «сам товарищ Сталин». Не буду ни соглашаться, ни оспаривать эту сомнительную заслугу. Как ни относишься к марксизму, это его профанация, примитивизация. Но я здесь не собираюсь оценивать объективную ценность этой работы. Для меня здесь важно другое. Считалось, что сложнейшие вопросы изложены в этой четвертой главе с предельной простотой. Но, судя по реакции калужского милиционера и многих других ее почтительных почитателей, это было не совсем так. Упрощения явно к простоте не привели. По-видимому, нечто подобное чувствовал и сам Жанагулов. Во всяком случае, он делал все возможное, чтоб отложить изучение этой гениальной главы на конец курса, когда мы якобы будем к нему лучше подготовлены. Почему изучение съездов и конференций должно было лучше подготовить нас к изучению этой премудрости — тайна его и тех, кто не рассмеялся ему в лицо. Однако ему было сказано, что товарищ Сталин лучше знает, в каком порядке надо все изучать. И мы приступили к изучению «философии». Облегчало положение Жанагулова то, что Сталин разделил весь диалектический материализм на пункты и признаки. И он задал нам придумать на каждый пункт и признак собственные примеры. И вот к чему это привело.

— Плосконос! — выкликнул преподаватель.

Поднимается Степа Плосконос, мой приятель и ровесник, высокий, худощавый, совсем неглупый парень. Он прошел уже серьезную жизненную школу, был на фронте, работал на разных работах и в разных районах страны... Конечно, он не прочь при случае и пофилософствовать, но, как и все присутствующие, разве что кроме меня, знающего о ней хотя бы понаслышке, о собственно философии представления не имеет. Прямо скажем, не интересовался этой областью мысли.

— Плосконос, — говорит Жанагулов, — назови третий пункт диалектики.

— Это, — начинает Степа, — что все развивается в противоречии.

И дальше по книге.

— Правильно, — одобряет преподаватель. — А теперь приведи пример.

Степа приводит опять из книги. Так полагается.

— Правильно. А собственный пример ты приготовил?

— Да, — мрачно отвечает Степа.

— Ну давай.

И тут начинается нечто невообразимое.

— Луна, — решившись, выдавливает из себя Степа.

— Что Луна? — испуганно недоумевает преподаватель.

— Она ведь к Земле притягивается...

— Ну?

— И не падает, — заключает Степа.

Пантомимы, последовавшей за этим, я никогда не забуду... Степа мрачно уставился в преподавателя, преподаватель — недоуменно в Степу. Степа — не зная, что произойдет, а преподаватель — не зная, как реагировать. Оба не знают, объясняет ли приведенный Степой пример данную черту диалектики или нет. Сколько времени продолжалась эта сцена, не помню. В конце концов Жанагулов как-то полуодобрил Степу, спросил еще что-то и поставил положительную оценку. Что Степе только и нужно было — не посмеяться же над философской мыслью «отца народов» имел он целью.

Но тяжелей всех приходилось в эти минуты мне. Почти невозможно было противостоять раздиравшему меня смеху, при том, что рассмеяться мне тогда на таком «идеологическом» занятии было смерти подобно.

Я знаю, что Жанагулова (он сам в классе говорил об этом) хотели взять не то на комсомольскую, не то на партийную работу. Как же, грамотный, по их меркам, образованный (певец номенклатуры Всеволод Кочетов говорил в таких случаях «эрудированный») казах — чего еще нужно! — блестящий национальный кадр. Особого энтузиазма, судя по тону, которым он об этом сообщал, это в нем не вызывало. По моему ощущению, он хотел бы продвигаться по жизни без допингов. Какой путь избрал он — не знаю. Но в памяти моей отношение к нему остается теплым. Легкая ирония по поводу его вынужденных блужданий в пустынях философии не относится к его личности целиком. Это не

его вина, а наша общая беда... Все мы, как гласит название одного из моих интервью, товарищи по несчастью.

Теплые чувства сохранились у меня и к другим нашим преподавателям, большинство из которых были занесены в Караганду искусственными и жестокими ветрами времени. Для них тоже наш техникум был, как и для меня, спасительным оазисом.

Но жил и общался я в основном не с преподавателями, а со студентами. Кстати, очень скоро мне сшили студенческую «горняцкую» форму, и тут я впервые — правда, страдательно — соприкоснулся с корпоративной солидарностью... Произошло это так. Жил я тогда еще почему-то в Большой Михайловке (а может, просто ночевал у друзей). И вот однажды, когда я спешил в техникум, ко мне стала задираться мелкая, но шпанистая пацанва. Большой опасности это для меня не представляло, я успешно отбивался от них, но пацаны отбегали и все равно сопровождали меня (и изрядно досаждали своим преследованием). И вдруг я услышал сзади:

— Чего пристали? А ну валите отсюда!

Два незнакомых парня в такой же форме, как я, быстро разогнали эту шпану и, дружески беседуя, пошли рядом со мной. Нам было по дороге, было о чем поговорить — мы были свои. Не скрою, что, как это и ни смешно, мне было это приятно — мне всегда приятно чувствовать общность с людьми, а тогда я в ней особенно нуждался. И потом я ведь и вправду собирался стать горняком, как они. Естественно, я не собирался перестать быть самим собой, перестать писать, но мужественно собирался сочетать и то и другое. Что ж, до какого-то возраста это было возможно. А конца сроков, несмотря на очевидную старость «отца народов» и на Ольгины рассуждения, я не видел, будучи не в силах представить его смерть и не веря, что с его смертью что-либо изменится. Так что я вполне разделял то чувство корпоративной общности, которое побудило этих парней за меня вступиться. Но те парни были из основного состава — после семилетки*, — а мне и по возрасту, и по интересам более близки были десятиклассники.

* В техникумах основной его контингент — принятые после окончания семилетки — проходили весь курс старших классов средней школы и получали документ о полном среднем образовании. Вероятно, и теперь так.

По национальному составу большинство или, во всяком случае, существенная часть моих сокурсников (расчетов я не производил) составляли немцы. Это неудивительно, поскольку им больше почти некуда было податься. Жило их здесь много, а выезжать за пределы области они не имели права. А в Караганде из полноценных высших учебных заведений имелся только мединститут. Нельзя сказать, что немцев вообще туда не принимали — ведь и Ира Безлер, и ее будущий муж учились в нем. Но ведь в мединституты в те годы вообще было трудно попасть из-за конкурсов, а к немцам, надо полагать, требования были особенно строги. Кроме того, далеко не всех тянет к себе медицина. Учительский же, где училась Вава, полноценным высшим учебным заведением не был* Он не давал ни полноценного образования, ни полноценных перспектив. Думаю, что немцев туда принимали, как приняли Ваву, но мало кого туда тянуло. Потом появился в Караганде и Горный (потом Индустриальный) институт, но поначалу немцев туда не принимали. Потом стали принимать. Его через несколько лет закончил и даже потом защитил в нем диссертацию мой друг Роберт Ридель, человек выдающихся способностей, о котором еще будет речь. Кстати, несмотря на все его успехи (он стал выдающимся, союзного масштаба специалистом в области открытой разработки угольных месторождений), я все же уверен, что именно его эти ограничения ограбили больше всех. Ему бы в университет, ему бы в фундаментальные науки! Он и без того сделал немало, но мог бы больше. Да и круг общения у него (в чем он очень нуждался и к чему тянулся) был бы шире. Но поезд ушел... Когда это стало юридически возможно, у него уже были жена, дети. И для достижения того (тоже немало), чего он достиг, потребовались героические усилия... Так что нельзя сказать, что эти преследования не отразились на судьбах моих соучеников.

Взять хотя бы Галю Лиринг. В прошлом московская интеллигентная девушка, она была почти моей ровесницей, то есть на несколько лет старше большинства наших товарищей. Естественно, так «задержалась в развитии» она не по своей вине, а по вине «эпохи». Немцем у них в семье

* По-моему, теперь их нет. Двухгодичные учительские институты были наследием «культурной революции». Они давали — так это называлось «незаконченное высшее образование». Их диплом не давал права преподавать в старших (с 8-го по 10-й) классах средней школы.

был только ее отец, инженер, мать была русская. Профессии ее я не помню, но она явно была интеллигентной женщиной. Обыкновенная московская интеллигентная семья. Но когда началась депортация немцев из Москвы, загребли и ее... Забавно, что такие же смешанные семьи, но в которых к депортируемой нации относились не мужья, а жены, депортации не подлежали — видимо, сказалась восточная психология Великого Автора работы «Марксизм и национальный вопрос». Женщин, по-видимому, он не считал носителями национального начала. Из Тум, куда ее депортировали, ее очень быстро забрали в «трудармию». Я уже упоминал об этом изобретении в связи с отцом Рэма Штруфа (книга вторая) — это было нечто вроде концлагеря, но с комсомольской организацией и тому подобным (впрочем, немцев, в отличие от «пятьдесят восьмой», вообще не лишали права быть коммунистами и комсомольцами). Там она пробыла несколько лет, потом вернулась к матери, которая теперь жила в Темиртау, там в вечерней школе завершила свое среднее образование, получила диплом за десять классов, и вот по тем же причинам, что и другие, оказалась в техникуме... А интересовало ее искусство. Это не факт, что она стала бы и захотела бы стать художником. Но это было бы делом ее свободного выбора. И, уж точно, училась бы она не в техникуме. Жизнь ее явно была искривлена уже упоминавшейся «эпохой» (если помните, это была одна из ипостасей Иосифа Джугашвили). Но это люди, которых я знал лучше, чем других, — думаю, что так или иначе последствия этой «немецкой судьбы» сказались на всех учившихся со мной немцах.

У некоторых из них — полукровок — фамилии были русские: Сева Никитин, Жора Глушенко. Но от общей немецкой судьбы это их не спасало. Они также состояли на учете в комендатурах, также должны были в определенные дни приходить туда отмечаться, также должны были испрашивать там разрешение на любое свое передвижение. Но мне кажется, что не все эти «спецпереселенцы» оказались здесь в результате немецкой депортации. По-моему, братья Берги, Виктор и Иван, оказались здесь раньше, задолго до войны, когда депортировали «кулаков». Выслали всю их семью, ну и их в ее составе. В какой момент их перевели из одной категории «спецпереселенцев» — социальной, в другую — национальную, точнее этническую, не знаю. Похоже, тог-

да, когда кулаков «простили» (естественный вопрос, кто у кого должен был просить прощения, к данной теме не относится), но, возможно, это произошло раньше. Общая депортация русских немцев предпринималась, как это объяснялось, «из соображений военной безопасности», и теперь, через шесть лет после окончания войны, эти соображения в отношении как братьев Бергов, так и других немцев продолжали действовать. Теперь «не то» социальное происхождение интернационалистическое государство еще могло простить, а вот «не то» национальное — никак.

И жили мои товарищи в ожидании лучших времен, признаков которого не было видно. Так же как я и почти все население Караганды, состоящее в большой степени из лиц с ограниченными правами. Все, что с ними происходило, для них уже было бытом и как бы не угнетало. Даже необходимость докладывать коменданту о желании посетить родителей было только деталью этого быта. Конечно, лишняя морока никому не в радость (а это была именно морока — не помню, чтобы кому-либо отказывали), но мало ли неприятного во всякой жизни — слава Богу, жизнь этим не ограничивалась, и молодость брала свое. Тем более что в техникуме никто — ни немцы, ни просто ссыльные, ни отбывший ссылку аз многогрешный — не испытывал никакой дискриминации.

Впрочем, простые немцы, придавленные дискриминацией, вообще не имели представления о таких возможностях. Немцы шахтеры, когда узнавали, что Роберт, появившийся у них на шахте во время нашей первой производственной практики, тоже немец и зовут его Роберт, наотрез отказывались верить, что он — студент. Такого, по их представлениям, быть не могло. Немцев в Горный техникум принимали уже как минимум несколько лет, но это настолько противоречило их опыту, всему, что они пережили, видели вокруг себя, что они отказывались верить собственным глазам.

Дискриминация начиналась на работе. Шла она и по производственной линии. Люди с дипломами могли работать по специальности, но в целом немцам было крайне тяжело продвигаться по административно-производственной лестнице, даже если они этого очень заслуживали, а их ближайшее начальство было в этом заинтересовано, хотело этого. Это все-таки было хоть и затруднено, но не исключе-

но. Абсолютной дискриминация становилась в том, что сегодня показалось бы смешным — в гласном объявлении результатов так называемого «социалистического соревнования». Полагалось считать, что этим «движением» энтузиастически охвачена вся страна, что вся она только и думает о показателях родного предприятия и сравнивает их с показателями других... На самом деле заняты этим были только руководители разных уровней и профилей. И тоже отнюдь не из романтических соображений — по этим показателям и месту, занятому его предприятием в этом соревновании, оценивалось соответствие данного руководителя занимаемой должности. От этих показателей зависела его карьера и работа. Я говорю это без осуждения тех, кто вынужден был с этим считаться. Так была устроена жизнь. Этими показателями и соцсоревнованием в начале тридцатых решили заменить «капиталистическую» конкуренцию. Показатели стали самоцелью. Ради них шли на любой подлог, на любые, пусть даже самые бессмысленные, с точки зрения здравого смысла, затраты труда и средств, на любое преступление перед природой, перед будущим. Когда-то где-то (не помню, где) я написал: «Извели страну на показатели». Фраза эта может кому-то показаться слишком броской, но и теперь уверен, что преувеличения в ней нет.

Однако она касается судеб всей страны, а сейчас речь идет только о дискриминации немцев. А к ней это «соревнование» имеет только косвенное отношение — не само по себе, а только тем, что ему обязательно сопутствовало.

Я имею в виду освещение этого мероприятия в печати. Как известно, советская пропаганда в обязательном порядке занималась прославлением «передовиков производства» (это называлось «пропагандой передового опыта»). Но вот беда, в Караганде такими передовиками сплошь да рядом оказывались немцы. Их высоко ценили, считали ударниками, стахановцами, но публично их заслуги оценивались разве что только на уровне цехового профсоюзного собрания и цеховой стенгазеты. Ни в одном печатном издании, включая многотиражки, ни в каком хвалебном перечислении передовиков ни одна немецкая фамилия появиться не могла. Это уже как бы стало законом жизни и само собой разумелось. Конечно, это касалось не только немцев, а всех «ущемленных» — если бы вдруг таким передовиком производства оказался я, моя фамилия тоже не появилась бы. Но я все-

таки (так официально считалось) был в чем-то персонально обвинен и за это осужден, страдал за себя самого, а эти передовики — так, по крайней мере, выглядело — только за то, что они немцы.

Конечно, к этой возне с прославлением передовиков вообще серьезно относиться не стоит. За хорошую работу надо хорошо платить, а не прославлять в печати. И, конечно же, все эти прославления — комедия, детская игра. Но эта игра навязывалась взрослым, и этот навязанный инфантилизм был частью быта, входил в его атмосферу. Над этим посмеивались, но в этом — жили. А поскольку в этом жили, то такая открытая и наглая несправедливость все равно задевала и оскорбляла — была дискриминацией. Причем дискриминацией в самой очевидной и грубой ее форме.

Конечно, эта дискриминация и без того не давала о себе забыть. Ведь в каждом жила память о депортации, а у многих и о трудармии. Да и невозможность выехать за пределы определенной местности каждый раз напоминала о ней — все это никак нельзя сбрасывать со счета. Но и помня все это, люди, особенно молодые, жили. И не могли игнорировать параметров той жизни, в которой жили. Однако моим товарищам встреча с теми мелкими, но чувствительными оскорбительными унижениями, о которых я сейчас говорил, еще только предстояла. А пока их от этого оберегал техникум.

Нелишне отметить, что эта дискриминация, и особенно ее протяженность, исходила исключительно от государства, от Сталина — не сразу, но вскоре после его смерти она кончилась. И ни в коем случае она не исходила от окружающего населения. О случаях дурного отношения местного населения к немцам на бытовом, сиречь на человеческом, уровне (уровне человеческих отношений) я даже не слышал — ни в Чумакове, ни в Караганде, тем более не был их свидетелем. Это не значит, что таких случаев не было совсем — в любой жизни все бывает. Роберт, прошедший во время войны через многие детские дома, однажды наткнулся на воспитательницу, которая преследовала его, десятилетнего мальчика, обзывая при этом «фрицем» и «фашистом». И это единственный случай, который мне известен. Повторяю, такие случаи, может быть, и бывали, но число их было очень незначительно.

Меня могут упрекнуть в одностороннем освещении событий, ведь я говорю о дискриминации только в связи с немцами, забывая, что ей тогда подвергались и другие депортированные народы — крымские татары, балкарцы, калмыки, чеченцы, карачаевцы... Я это знаю. Но я пишу не научно-историческое исследование, а мемуары, рассказ о своей жизни. Не скрываю, я надеюсь, что сквозь него просвечивает история страны. Но только на материале моей жизни — пережитого, увиденного и передуманного лично мной. А с представителями других депортированных народов я почти не общался — только с немцами. А видел еще только чеченцев. Но они проходили по улицам сомкнутым и замкнутым семейным строем по двое в ряду — впереди аксакалы, за ними по старшинству сыновья, затем женщины — тоже по старшинству, затем — дети. Не помню, где было место мальчиков — впереди женщин или за ними, но и оно соответствовало заведенному порядку. Отношения чеченцев с окружающим населением были весьма напряженными — их считали разбойниками и грабителями. Я не верю в огульные характеристики целых наций, но в отношении к какой-то заметной части чеченского населения это суждение, по-видимому, не было совсем уж безосновательным. Потом я слышал (не от чеченцев) оправдывающие объяснения, что после того, как их выслали, лишив всего, им ничего другого делать не оставалось. Но не говоря уже о немцах, — балкарцы, такие же депортированные «кавказцы», как и чеченцы, оставили по себе добрую память везде, куда были депортированы. Судить же огульно о целой нации я не могу, не хочу и никогда не буду. Чеченцем был мой знаменитый друг Абдрахман Авторханов, с нами в общезжитии жил такой же студент, как мы, парень с милым, добрым лицом, чеченец по национальности, к которому все хорошо относились, хотя так и звали — «Сашка-чечен». Иногда ему в глаза ругали чеченцев, он смущенно улыбался и говорил, что так говорить обо всех нельзя. И был прав. Нельзя никого подверстывать под общий образ. Но общее представление господствовало. И напряженность давала о себе знать даже в мелочах.

Однажды я был свидетелем внешне забавной сцены на полупустынной улице в Большой Михайловке. Встретились две десятилетние школьницы, причем обе, как писали в дореволюционных документах, «мусульманского вероиспо-

ведания» — казашка и чеченка. Обе выполняли поручения родителей — одна шла с пустой сумкой в продмаг, а другая возвращалась оттуда с покупками. Разминуться им было легко, места хватало. Они и разминулись. Но одна, пройдя после этого несколько шагов, повернулась лицом назад, высунула язык и презрительно заорала:

— Э... э... э!.. Чэчэн!.. Чэчэн!.. Э... э... э!..

Та не замедлила с ответом — тут же так же повернулась, высунула язык еще дальше и ответила той же монетой:

— Ы!.. ы!.. ы!.. Казах!.. Казах!.. Ы!.. ы!.. ы!..

После этого обмена любезностями обе некоторое время продолжали пятиться — каждая в своем направлении, не убирая языков и продолжая убивать друг друга теми же презрительными словами и звуками. Потом все-таки разошлись. Разумеется, эта сцена была проекций разговоров, слышанных дома. Но самому мне в Караганде вступать в отношения с чеченцами не приходилось, хоть специально я их не избегал.

Именно поэтому, говоря о дискриминации, я говорю главным образом о немцах. Кстати, их дискриминация не закончилась — они так и не дождались разрешения возвратиться туда, откуда их депортировали. Дождались, наоборот, хамского предложения Ельцина покопаться среди неразорвавшихся мин на испытательном полигоне Капустин Яр (где они никогда не жили)*.

Впрочем, и говорить о дискриминации немцев я тоже прекращаю. Кому-то даже может показаться, что я и так уделил ей слишком много внимания. Но это не так. Она происходила на моих глазах, ущемляла не кого-нибудь, а моих товарищей — следовательно, тоже является частью моего душевного и духовного опыта и имеет прямое отношение к этой книге. А кроме того, я вообще считал своим долгом напомнить еще об одном печальном и постыдном эпизоде нашей истории, как будто общеизвестном, но при

* Это заявление было сделано Ельциным в Саратове, когда он оказался перед толпой, протестовавшей против обещанного им же канцлеру Колю (восстановление немецких поселений в Поволжье). Надо сказать, что демонстранты, выступавшие с этим не только несправедливым, но и глупым, вредным для интересов страны и государства протестом, все же в основном оскорбительных выражений против немцев как таковых избегали, а настолько враждебных и издевательских — избегали совсем. Любил нравиться аудитории наш «непредсказуемый». Любой и в любой момент...

этом как-то проскочившем мимо серьезного, пристального внимания нашей либеральной общественности. Но пора переходить к другим темам. Тем более что, как я уже не раз отмечал, в нашем техникуме, в рассказ о котором вклинилась эта тема, никакой дискриминации не было. Не было ее и в отношениях ребят между собой. «По нации» (позднейшее выражение) никто никого не обижал и не оскорблял.

Я храню и до конца жизни (теперь уже недалекого) буду хранить в душе благодарную память о техникуме — о его преподавателях и администрации (включая директора Георгия Евтихиевича Иванченко, человека собранного, умного и здорового, с которым у меня тоже были пусть не очень близкие, но все же неформальные отношения и без которого такого климата в техникуме бы не было). И, уж конечно, о своих товарищах-студентах. С ними я сидел рядом в аудиториях и лабораториях, жил вместе в общежитии, общался, пользовался их расположением, которым очень дорожил и в памяти своей дорожу поныне. Время, проведенное с ними, было единственным периодом моей жизни, когда хорошее отношение ко мне не было связано с моими литературными занятиями, не объяснялось даже близостью интересов. Было просто доброжелательным отношением к живущему рядом, несколько странному в их глазах, и часто беспомощному человеку, с которым их свела судьба. Это было просто товариществом. Я уже рассказывал, как оно проявилось в острый для меня момент — с черчением.

Имена многих, к сожалению, мною забыты. Особенно «маленьких» — тех, кто жил рядом, но учился в группах семиклассников. Далеко не все они на самом деле были маленькими. Например, Коля Кочергин. Он родился в Заполярье (о причинах этого он не распространялся), потом объездил полстраны, работал на различных работах, в том числе и в геологических партиях. И вот, наконец, решил осесть, остепениться, получить образование и диплом. Это и привело его в техникум и в наше общежитие. Теперь он уже кончал геолого-разведочное отделение. «Маленьким» он, естественно, не был.

Был еще один «маленький» — Володя Барсуков, парень с явно выраженной авантюрной жилкой, кажется, тоже будущий геолог. Он объездил почти всю страну. Какая страсть стояла за этой его «охотой к перемене мест» — я до конца

так и не понял. Скорее всего, любопытство и жажда впечатлений. Ездил он большей частью без билета, и из-за этого весьма прерывисто — на больших станциях его довольно часто сгоняли. Наибольшее впечатление на него в этом смысле произвела станция «Биробиджан». Там все милиционеры, имевшие с ним дело, были евреями и говорили друг с другом по-еврейски — больше нигде ничего подобного он не встречал.

Конечно, все эти передраги не могли остановить Барсукова — потеря непрерывности его не беспокоила. На том же поезде, с которого его снимали, или на следующем он таким же способом свой туристский вояж продолжал. Видимо, он был стихийным бернштейнианцем — руководствовался принципом: «движение — все, цель — ничто».

Однажды мы с ним совершили такое путешествие вдвоем. Это было в начале летних каникул 1952 года. Путешествие было вполне законным, отнюдь не безбилетным, но очень прерывистым. Не по нашей, правда, вине... Да и цели у нас были — мы ехали к родным. Он в Серпухов, а я в Киев — до Москвы нам было по дороге. С Москвой Караганду связывал только тот тридцать второй (в обратном направлении тридцать первый) поезд, на котором, если помнит читатель, я в конце концов сюда приехал. Отправлялся он два раза в неделю. Иногда летом давали дополнительный, но теперь его еще не было. Не помню, почему мы не запаслись билетами заранее, но не запаслись. У нас была полная уверенность, что мы сможем их купить на станции. Еще на днях это было вполне возможно, и мы это знали. Но, видимо, накануне или дня за два до нашего выезда положение изменилось — началась отпускная пора. И когда мы добрались до «вокзала» (до закутка на станции «Караганда-угольная», которую он заменял), у окошка кассы толпилась громадная очередь и билетов на нас не хватило. Предстояло позорное возвращение в общежитие. Но в последний момент было объявлено, что билеты на этот поезд продаются, и даже плацкартные, но только до Акмолинска. Мы могли свободно проехать километров двести из трех тысяч трехсот, отделявших нас от Москвы. А до следующего поезда надо было «загорать» дня три. Это нам было, прямо сказать, ни к чему — ребята разъезжались, да и общежитие на днях закрывалось на лето.

— Ладно, едем, а там видно будет, — сказал бывалый и тертый человек Володя Барсуков, и я согласился. Я ведь тоже к тому времени кое-что повидал и из каких-то положений выходил. Что-нибудь подвернется!

И мы поехали. Из попытки купить прямой билет до Москвы (но с компостером только до Акмолинска) ничего не вышло. Железная дорога не без оснований подозревала граждан в намерении как-то исхитриться и не сойти в Акмолинске и старалась исключить такую возможность. Ибо в Акмолинске вагон, в который мы попали, должны были заполнить тамошние пассажиры — в пиковые периоды он один осуществлял железнодорожное пассажирское сообщение между Акмолинском и Москвой.

Так что в Акмолинске — городе, где у нас не было никого и ничего, даже положения транзитных пассажиров, — мы вынуждены были ночью сойти. Впрочем, все наши дела были на его вокзале. Попытались купить билеты на наш же поезд, да где там! — их практически не было совсем. Нависала перспектива «загорать» в Акмолинске, что было гораздо неудобней, чем в Караганде. Но оказалось, что через несколько часов отходит местный поезд Акмолинск—Петропавловск. Я полагал, что уж на этот поезд билетов хватит, но, слава Богу, что мы вовремя подсустились и были чуть ли не первыми в очереди. Нам билеты продали (причем до места назначения), но почти сразу после нас продажа билетов кончилась. И на следующий день мы оказались в Петропавловске. Там мы без труда закомпостирировали билеты (теперь мы уже были транзитные пассажиры) на поезд Омск—Челябинск. Проходили через Петропавловск и прямые поезда на Москву, но ждать их надо было полсутки, да и неизвестно было, чего дождемся. А этот приходил часа через два, и мы решили не пытаться судьбу. Впрочем, и два часа девать было некуда... Послонились по вокзалу, а потом решили — из разумной предусмотрительности и от нечего делать одновременно — загодя проскользнуть на перрон. Но старик, охранявший выход к поездкам, ни за что не соглашался пропустить нас через свои ворота.

— Придет поезд — пропушу.

Однако непреклонного старика мы обошли. Шатаясь без дела, мы — сказалась опытность Барсукова — скоро обнаружили другой, никем не охраняемый выход. Правда, путь, который к нему вел, был несколько витиеватым, но време-

ни на его преодоление у нас было достаточно. И как раз перед приходом поезда мы оказались на перроне. Упрямый старик изо всех сил сдерживал заметно выросшую и рвущуюся на перрон толпу, которую можно было пустить не только после прихода поезда, а после объявления посадки, когда все, кому выходить в Петропавловске, сойдут.

— Привет, папаша! — приветствовал его Барсуков с тыла.

Старик некоторое время ошалело смотрел на нас, но что он мог сделать! — не бросить же ему целую толпу потенциальных нарушителей ради двух реальных! Больше приключений не было. В Челябинске мы быстро закомпостировали билеты на тот же пятнадцатый скорый Челябинск—Москва, на котором мне приходилось ездить еще в сорок втором. А вечером мы выехали на нем прямо к месту назначения. Еще через полтора суток мы наконец прибыли в столицу... Потеряли мы в общей сложности полсутков, а если б ждали следующего поезда, потеряли бы трое суток. Так что наш риск был оправдан — для тогдашних наших лет и сил, конечно (теперь мне о таком и думать страшно). Конечно, и тогда без Барсукова мне было бы труднее это сдюжить, но я был ему достойным партнером. Молодость. Захотелось о ней вспомнить — и, как видите, задержался на этом эпизоде, отвлекся от того, о чем рассказывал.

Но что еще рассказывать о техникуме? Как ни странно, учился я неплохо. Если не считать черчения и предмета «Горные машины» (мне всегда после этого словосочетания хотелось добавить: «Спят во мгле ночной»). Практически это машиноведение, дисциплина эмпирическая и простая. Следовало, допустим, глядя на открытую врубмашину, рассказать ее «кинематическую схему» — как и через какие шестерни (названия которых я, как все, знал) передается движение от двигателя к рабочему органу. Все это было просто и наглядно и ни для кого, кроме меня, не представляло трудности. А я никак не мог понять, что в этом все дело, что ларчик открывается так просто. Искал скрытую тайну. Понял, что ее нет, только после того, как еле-еле сдал этот экзамен. Озарило! И ребята не могли мне этого объяснить, не могли понять, чего я не понимаю.

Было у меня еще одно затруднение — со слесарным мастерством. Преподавал его Роберт — не путать с моим соучеником и другом Робертом Риделем, хотя этот Роберт был тоже немцем и тоже спецпереселенцем, и тоже симпа-

тичным мне человеком. Был этот Роберт настоящим мастеровым человеком, мастером на все руки. И просто хорошим и умным парнем — моего примерно возраста. Может быть, лет на пять старше. Мы с ним часто беседовали по душам на разные темы. Больше всего характеризует его одна вырвавшаяся у него — и на первый взгляд невзрачная — мысль.

— Понимаешь, Наум! Бывает человек... Ну как тебе объяснить... Ну, не умеет!.. Не умеет! А — берётся!

Это был вопль души. Если бы не он, высказывание это и впрямь было бы банальным. Но столько возмущения было в этом «а — берётся!», что я хорошо понял его и вдруг почувствовал с ним родство. Я так сформулировал тогда это родство как родство мастеров — в каких бы областях жизни они ни работали. Конечно, такое самосознание мне льстило. То, что Роберт мастер в своей области, было очевидно для всех, а я, возможно, и преувеличивал свои достижения и возможности. «Область» моя такова, что никогда нельзя быть уверенным, что это не так. Но ведь и я видел, как за мое дело многие, слишком многие, тоже брались не умеючи. И даже не зная, в чем, собственно, состоит это «дело» и зачем оно. И так же мне бывало от этого тошно. Так что родство это было налицо. Правда, в те времена в моем деле те, кто брались за него, не умея и не зная, еще могли становиться учителями и наставниками, а в его — никак: даже в лагере. Но речь сейчас не об этом.

Отношения у меня с Робертом были приятельскими, но на отношениях с его предметом это не отражалось. Ничего похожего даже на самые скромные успехи у меня в нем не было. Все было бы ничего — Роберт, зная мою ситуацию, в конце концов как-то вывел бы мне искомую тройку. Я, правда, тоже «не умел, но брался», да «брался» явно не по своей воле... Но вот беда — в конце курса в качестве экзаменационного упражнения надо было сдать образец работы, выполненный самим студентом. Этот образец должен был быть приложен к его «делу». Я должен был сделать не Бог весть что — молоток. Но как я ни старался, до тройки дотянуться не мог. Этот молоток сделал мне Роберт — сварганил за трешку. При желании он мог бы слупить с меня и десятку — мне ведь все равно некуда было деваться, — но он мне помогал, а не урывал с меня. А пол-литра за такую помощь — святое дело. Да я, кажется, сам ее и предложил.

Ведь в определенном смысле работа эта для Роберта была непростой. Ибо выполнить ее для правдоподобия надо было на тройку, а это требовало от Роберта особого умения и, главное, старания — выполнить ее на пятерку ему было бы гораздо проще.

Еще одна, последняя история, связанная с моей неумелостью. На этот раз смешная. И опять связанная с черчением. Только не с предметом, а с подготовкой к защите диплома. Дипломный проект я разработал вполне грамотно, но камнем преткновения опять встало черчение. Я понимал, что должно было быть начерчено и как это должно было выглядеть, мог кое-как изобразить это на эскизе, но представить надо было аккуратно выполненные чертежи, а это намного превосходило мои возможности. Один чертеж вызвался мне сделать Витя Берг. Он быстро разобрался в моем проекте и эскизе, кое о чем расспросил (проект касался условий Подмосковского угольного бассейна, ему меньше знакомых) и сделал все как надо. Второй чертеж сделала моя первая жена Валя (я тогда только что женился), а по поводу третьего, главного чертежа проекта я планировал обратиться к одной милой девушке, которая в прошлом меня несколько раз выручала с чертежами.

Она появилась в Караганде недавно. Ее вместе с матерью выслали сюда за отца, который был военным, и, видимо высокого ранга. Но насчет ранга — моя догадка. Они с матерью по этому поводу хранили молчание: вообще были замкнуты, о себе ничего не рассказывали. Знал я только, что они еще совсем не устроены, очень нуждаются и что случайные чертежи вроде моих — чуть ли не основной источник их дохода.

Существенная деталь. Я тогда не сомневался в том, что отец этой девушки — власовец. Но — странное дело — относясь к власовцам враждебно как к предателям (а за их замкнутостью чувствовалась любовь к отцу), я и к этой девушке, и к ее матери относился вполне сочувственно. Такие они были милые, интеллигентные, поначалу беспомощные. Такое сочувствие, конечно, нормально, но мы не были воспитаны в уважении к нормальности, и я его немного стеснялся — перед самим собой...

Сейчас мне кажутся смешными не только эти комплексы, а и само мое подозрение. Теперь я знаю, что в это время происходило в Москве с военными, и версия, что глава

их семьи был власовцем, не кажется мне серьезной. То, что изменилось и мое отношение к власовцам, положения не меняет... Я говорю сейчас только о факте. С власовцами разбирались раньше, а с семьями власовцев поступали жестче.

Я совсем не собирался здесь и сейчас касаться общих тем, но, видимо, рассказывая о Караганде тех лет (или просто о тех годах), избежать их невозможно — все равно натыкаешься на них. Но и девушка эта, и ее мать возникли здесь только по дороге к тому забавному эпизоду, о котором я хотел и хочу рассказать. А произошел он потому, что, когда я обратился к этой девушке с просьбой о помощи, оказалось, что она уже (слава Богу!) куда-то устроилась, очень занята и помочь мне не может. Из-за этого я стал искать ей замену и, вняв чьему-то совету, обратился к одному из студентов второго, кажется, курса нашего техникума. Он и есть герой этого эпизода.

Ему передали мою просьбу, и в одно прекрасное утро он явился к нам (мы тогда снимали частную квартиру в той же Большой Михайловке), аккуратный, скромный молодой человек в горняцкой форме, и предложил свои услуги. Произвел хорошее впечатление, и оно не было обманчиво — мой забавный эпизод не имеет отношения к его «моральному облику»... Он меня нисколько не подвел, все сделал хорошо и в срок. Родом он был из Кишинева, учился там в музыкальной школе, говорил о своей склонности к музыке, но почему-то теперь оказался в техникуме. Может быть, его родители решили, что его еврейство (он был евреем) помешает его музыкальной карьере, может, по другим обстоятельствам — не знаю. На «обстоятельства», как известно, эпоха была щедра. Конечно, в деньгах он нуждался и не прочь был немного подработать. Потому и пришел. И за работу он принялся почти сразу — кнопками прикрепил лист ватмана к чертежной доске, проверил чертежные принадлежности, посмотрел мой эскиз и, выслушав мои наставления, приступил. Чертил он действительно красиво и аккуратно.

На следующий день по какому-то поводу я сказал ему — между делом:

— А здесь через каждые два метра расставь стойки (крепления). Диаметр в двадцать сантиметров каждая.

Сказал и вышел. Может, в магазин, может, еще куда-нибудь. Беспокоиться вроде было не о чем — дело простое и ясное. Тем более я все объяснил!

Некоторое время я отсутствовал. Возвращаюсь, вижу — сидит мой помощничек в глубокой задумчивости. В чем дело? Что-нибудь непонятно?

Да, ему действительно кое-что было непонятно.

— Вот смотрите, — заговорил он, — вы сказали, через два метра. А как я могу это сделать? Ведь весь лист меньше двух метров...

Я опешил. Вот так-так!.. Жил человек, худо-бедно кончил семь классов (и не где-нибудь, а в Кишиневе — город не из последних), учится второй год в техникуме и не имеет даже элементарного представления о масштабе! Я показал ему какую-то географическую карту и спросил: как же такая громадная местность поместилась на листе бумаги? Но ничего не действовало: карта — это одно, а чертеж — совсем другое...

Пришлось ему дать предыдущее указание в такой форме:

— Вот тут, отсюда досюда, начерти эти кружочки радиусом в миллиметр каждый через каждые полтора сантиметра (точных цифр и соотношений я теперь не помню).

Так дело пошло быстрее. И чертеж вышел отличный.

Странная получалась у нас комбинация уродств. Он хорошо умел чертить, но не понимал, что он делает, а я, наоборот, понимал, что он делает, а сам чертить не умел совсем.

Я и теперь не могу понять, что было с этим парнем — то ли он вправду был так непроходимо глуп, то ли у него с этим масштабом вышел ступор, подобный тому, как у меня с «горными машинами». Но больше я нигде не встречал людей, которые становились бы в тупик перед «загадкой» масштаба.

Ближе, чем с другими в техникуме, я сошелся с Робертом. Эта дружба сохранилась у нас на всю жизнь, хотя нас всегда разделяли расстояния и виделись мы редко. Сейчас он живет в Германии, в маленьком городке Морбахе, в ста тридцати километрах на запад от Франкфурта-на-Майне и в сорока на юго-восток от родины Карла Маркса — Трира. «Репатриация» его была вызвана серьезными причинами. Меньше всего национальными, хотя пострадать за свое происхождение ему пришлось изрядно — причем в раннем отрочестве, в самом нежном и чувствительном возрасте. По духовной и душевной ориентации он, конечно, человек русский. У него чудесная русская жена Тая, дочь замужем

за русским и сын на русской женат (так что в своей семье он единственный чистый немец). Собственно, из-за детей он и уехал — стал серьезно опасаться за их жизнь. Потому что они занялись частным предпринимательством, дела у них пошли неплохо, и они тут же начали получать угрожающие письма от рэкетиоров. К тому же в Казахстане после развала СССР начала разваливаться промышленность. И ему все больше становилось нечего делать. К сожалению, делать ему нечего и в Германии, где он и раньше бывал как специалист и где его в этом качестве ценили. Но в его отрасли спад, разрезы закрываются, и применения ему нет. Но в одном ему повезло — здесь он получил пенсию, учитывающую весь его рабочий стаж в СССР*, и на нее вполне можно существовать — пусть небогато, но не отказывая себе в необходимом. Тем более что дети у него уже взрослые и сами себя обеспечивают. Итог не страшный, но не очень радостный для человека его достижений и таланта. Однако есть ли в наше время счастливые итоги?

А сошлись мы с Робертом, как ни странно, на математике. Обоих заинтересовала аналитическая геометрия, обрывки которой давал нам уже упоминавшийся Шунери Унченевич Кан. Поначалу чуть ли не только мы с ним понимали, в чем тут дело. Мы и тот уже упоминавшийся казах, который вскоре был отозван родителями домой. Скоро наше академическое равенство нарушилось (я съехал в основном на четверки), но дружба осталась. Роберт обладал живым интересом ко всей области культуры и мысли, быстро все схватывал и очень интересовался мной — моим прошлым и настоящим, моими друзьями. Особенно большое впечатление на него произвел Алик Вольпин — и главным образом не своей экзотичностью, а абсолютной причастностью к культуре, естественным и свободным существованием в ней: тот мир, с окраиной которого он соприкоснулся впервые, был для него очень притягателен... Впечатление, которое этот мир на него произвел, он и сейчас хорошо помнит. Все, что ему перепало, он впитывал как губка и все шло ему на пользу. Жаль, что не так уж много ему перепало. Вот если бы он приехал в Москву после школы!..

* Жена его как русская такой льготы лишена. Впрочем, и он сам, если бы приехал чуть позже, тоже бы такой — полной — пенсии не получил. Получил бы пособие. Правда, тогда пособие получила бы и жена. Но все это было бы меньше пенсии.

Не надо думать, что наша дружба с ребятами была основана только на рациональном обмене. Нет, на обычной взаимной симпатии — просто жизнь светла, почувствовали близость и потянулись друг к другу — как всегда возникает дружба.

Я познакомил Роберта со своими друзьями, а он меня — со своим отцом. Раза два он возил меня с собой в Темиртау на воскресенье. Тогда не говорили «на уикэнд», да их и не было еще, уикэндов, — был один день. Уезжали мы из общежития под вечер в субботу, а в воскресенье вечером возвращались и делали это вовремя...

Общаться с его отцом было очень интересно, хотя образование Ивана Давидовича ограничивалось тремя или четырьмя классами начальной школы. По рождению крестьянин, он, как и миллионы других крестьян, когда почувствовал, что крестьянствовать становится невозможно, ушел из деревни (и сделал это вовремя, до раскулачивания), после чего перепробовал множество разных профессий и в каждой, обладая золотыми руками и хозяйственной сноровкой, добивался высот. Даже в самых тяжелых обстоятельствах, таких как трудармия. Везде его ценили, уважали и даже в каком-то смысле от него зависели. Так что повидал и испытал он в своей жизни много. Имея цепкий глаз и острый ум, людей и жизнь понимал и чувствовал. Суждениями своими он меня иногда поражал. А одно из них — правда, высказанное не при мне, а в приватной беседе с сыном, вообще в чем-то перевернуло мое сознание.

Фраза эта имеет контекст. Дело в том, что тогда Иван Давидович заведовал колбасным цехом при городском промкомбинате, который сам же и организовал, как бы подкрепляя собой традиционное представление о немце колбаснике (из детской дразнилки: «немец-перец-колбаса»). Кстати, в этой дразнилке нет ничего враждебного. Тот факт, что многие немцы всегда умели (могу засвидетельствовать, что и сейчас умеют) хорошо изготавливать различные колбасы, ни этих мастеров, ни народ в целом никогда ни в чьих глазах не компрометировало... У нас в Киеве этой дразнилкой пацаны донимали отнюдь не немцев и даже не колбасников, а своих наиболее толстых товарищей. Иван Давидович, высокий, крепкий и поджарый, с этим «образом» вообще не вязался. Да и вообще он не был «природным» колбасником — колбасное дело он освоил уже в зрелом возра-

сте. Кажется, в трудармии, когда на каком-то из обслуживаемых ею производств понадобился такой специалист.

И освоил он это дело — в совершенстве. Поставил его так, что темиртауская колбаса славилась в округе как лучшая. Именно ее заказывал закрытый обкомовский буфет, хотя в Караганде была своя колбасная фабрика, более центральная, а в СССР все привыкли думать, что чем производство центральной, тем оно должно быть лучше.

Но контекст не в этом, а в том, что эта колбаса, конечно, была основой семейного благосостояния. И это стало беспокоить юношеский максимализм Роберта (а был он с юности человеком чистым и порядочным). Жили они с отцом и его тогдашней женой не то чтобы роскошно (этим и не пахло), но вполне в достатке — прежде всего в собственном доме. Нормально питались, добротно (по тогдашним меркам) были одеты... Так по советским представлениям честный советский колбасник жить не мог и не имел права. Уже через много лет в какой-то советской газетке я прочел разоблачительную статью о некоем закройщике-жулике. Жульничество его доказывалось, в частности, тем, что, будучи «простым закройщиком» (так и писалось), построил себе дачу. Прилагалась фотография маленького загородного домика. На большинство советских граждан, приученных к тому, что те, кто работает, бедны по определению — это действовало, соответствовало их представлениям. И мы с Робертом не были исключением. Кроме того, Роберт не раз видел, как к отцу приходил «отовариваться под завязку» всесильный начальник комендатуры МВД города Темиртау, бог и царь всех находящихся под его наблюдением немцев — с ним обязательно надо было поддерживать отношения. Ведь как-никак Иван Давидович тоже был немцем и спецпереселенцем. Но, вероятно, комендант был не единственным, с кем Иван Давидович вынужден был «поддерживать отношения». Таким образом — зависимость от коменданта не освобождала от общей для всех деловых людей (независимо от их происхождения и гражданского положения) зависимости от остальных начальников. То, что он был немцем, только прибавляло ему еще один лишний по сравнению с другими побор. Все это надо было как-то возмещать. А как? За счет чего? А честно ли это? А хорошо ли это?

Такие или почти такие вопросы задал однажды отцу Роберт в откровенном разговоре наедине. Отца эти вопросы не удивили, не поразили и не обидели. Он был к ним готов. И, главное, был убежден в своей правоте.

И вот что он ответил сыну:

— Ты знаешь, Роберт, как я живу. Я никому ничего плохого не делаю — я работаю. И как ты знаешь, работаю много. Я хочу, чтоб все мы, ты в первую очередь, жили по-человечески. Ты боишься, что я что-то делаю нечестно, обогащаюсь... А посмотри, что у нас есть. У нас есть дом, но мы ведь не можем жить на улице. У нас есть еда, но мы ведь не можем быть всегда голодными. Потом я хочу, чтобы ты учился. Тебе ведь нужно немного денег на расходы — на учебники, например. И одеться тебе надо прилично, чтоб перед людьми не было стыдно. А что у тебя есть? Один костюм, одно пальто, но ведь надо же тебе в чем-то выходить на люди... Какие же могут быть ко мне претензии? Что я еще могу сделать? Я работаю.

Вот что сказал когда-то — в 1952 году — мастеровой человек Иван Давидович Ридель своему сыну Роберту. Конечно, это не фонограмма и не стенограмма его ответа, за абсолютную точность его я не ручаюсь, тем более что я при этом разговоре не присутствовал и знаю все от Роберта. Но за смысл и тональность рассказанного Робертом ручаюсь. Этот разговор я вспоминал и вспоминаю часто. В нем ключ ко всему, что произошло с нашей жизнью. Я пересмотрел свое отношение, в том числе и эмоциональное, к людям, совершавшим тогда так называемые хозяйственные преступления, особенно к тем, кто был занят так называемой теневой экономикой.

Я ни секунды не сомневаюсь в том, что отец Роберта Иван (Иоганн) Ридель был всегда абсолютно честным, порядочным и надежным человеком. Столь же абсолютно я убежден в том, что советские законы он нарушал всегда, когда возникала необходимость, а возникала она, надо думать, нередко. Иначе он бы не мог выйти из положения. А как он из него выходил? Точно не знаю — об этом и Роберт знал немного... Конечно, выходил он из положения никак не за счет плановой продукции — это было невозможно, а он не был самоубийцей. С планом, можете быть уверены, у Ивана Давидовича все было в порядке — план перевыполнялся. Выходил он и не за счет качества продукции, что я,

как рядовой потребитель, вполне могу подтвердить — оно оставалось неизменно высоким. Вероятно, он просто участвовал в том, что потом было названо «левым производством». Когда какой-либо цех ухитрялся производить больше товара, чем значилось в официальных документах, но об этом перевыполнении не подавались хвастливые релижи. Наоборот, избегали всякой огласки. За него не ждали почестей и наград, ибо гораздо лучше (и справедливей) награждали себя сами. И, разумеется, такие дела не могли делаться в одиночку. Прежде всего требовалась материальная заинтересованность и соучастие собственного «трудового коллектива», которому, естественно, тоже кое-что перепало. Но это, конечно, не все... Для выпуска сверхплановой «левой» продукции требовалось получать такое же сверхплановое «левое» сырье — в данном случае лишнее количество мяса и сала. Кто-то должен был это лишнее сверхплановое поголовье выращивать, забивать и вовремя поставлять — часто вместе с плановой продукцией. Разумеется, и эта работа, и риск, сопряженный с ней, тоже оплачивались. И, наконец, оплачивался сбыт — «левая продукция» вместе с плановой или под видом плановой доставлялась в торговые точки и там сбывалась. При сочувственной и оплаченной индифферентности милиции и ОБХСС. Я не знаю, в какой форме проводил такие операции отец моего друга, то есть каким было конкретное воплощение этой общей схемы в условиях тогдашнего Темиртау. Я знаю, что в общем виде эта схема уже многожды описана, и никого ею поразить не собираюсь. Спрашивается: зачем же тогда я о ней вообще здесь заговорил?

Причины есть. Одна из них — мне просто захотелось задать себе и другим «вопрос на засыпку» почти из школьного задачника: насколько же был ограбляем социалистическим государством нормальный производитель благ, если столько людей могло кормиться и сносно существовать от того, что утаивалось от него. Ведь тут ни хищения не было (об этом чуть ниже), ни спекуляции — колбаса продавалась по тем же плановым, государственным ценам в магазинах, а не как дефицит из-под полы втридорога.

Другая причина — хотелось выявить еще одну черту психологии советского государства в ее отношении к жизни и народу. Обратим внимание на то, что отдел МВД, который боролся с такими производителями, назывался ОБХСС —

«Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности». Не будем вдаваться в смысл употребляемого здесь понятия «социалистическая собственность», его можно понимать и истолковывать по-разному, обратимся лучше к смыслу термина «хищение». Смысл этот элементарен и однозначен. Хищение и есть хищение, сиречь воровство — присвоение того, что принадлежит другому: государству, общественной организации или частному лицу. «Хищение» и «воровство» — слова, окрашенные отрицательно в любом народном сознании. Большевики, а тем более сталинские выдвиженцы, были непревзойденными специалистами по использованию таких утвердившихся стереотипов в своих целях — по ходу подменяя их суть. Пример — применение прозвища «кулак» (мироед, ростовщик, жила) к просто состоятельным крестьянам, пользующимся авторитетом и уважением. Так же поступили сталинские выдвиженцы и с термином «хищение». Мы уже говорили о том, как такими расхитителями стали мужики, бабы и дети, которые, чтоб спастись от подступавшего голода, собирали на колхозных (сиречь не так давно отнятых у них) полях оставленные там после уборки урожая полузамерзшие, полусопревшие, никому не нужные и никому не принадлежащие колоски. Но тогда это нужно было, так сказать, «для политики» (приучали надеяться только на колхозные заработки), а теперь — из корыстных экономических соображений.

Задумаемся, что расхищали (по уже привычному мнению государства) отец Роберта и такие, как он? Ведь они ничего ни у кого не воровали, исправно трудились, выполняли свои обязанности. Но за то вознаграждение, которое им за это полагалось по закону, устроить свою жизнь по своим (не таким уж привередливым, даже вполне элементарным) представлениям — дом, нормальная одежда, нормальная еда — было невозможно. Все это имели почти все, даже самые темные и забытые герои Чехова, а тут речь идет о самой активной части потенциального среднего класса, которому, правда, свернули голову, но который все равно существовал как потенция, сохранял способность к регенерации. Конечно, в уродливой форме, но что поделаешь — гони природу в дверь, она ворвется через окно... Великое изобретение Сталина — что людям можно платить зарплату, не обеспечивающую их потребностей, полностью не срабатывало никогда, а с годами — все меньше. И особен-

но в этом слое, без которого все равно нельзя было обойтись. Обычно такие люди являются устоями общества, а у нас они были отнесены к полууголовным элементам. И некоторые сами привыкли так к себе относиться — такое ясное самосознание, как у Ивана Давидовича, было далеко не у всех. И так себя вести. И это отнюдь не пошло на пользу обществу.

Самое трагикомическое было в том, что и само государство поверило, что эти люди — расхитители. Хотя «расхищали» они только то, что сами для этого расхищения создавали за счет своей предприимчивости и энергии. Вот это они и расхищали — свою предприимчивость и энергию. Они тратили их на себя (пусть так, что польза была и другим, но все равно на себя, а надо было на него, на барина). Закройщик не имеет права зарабатывать на дом. И колбасник тоже. Ибо их труд, помыслы, инициативы, возможности (даже потенциальные) изначально и полностью принадлежат социалистическому государству, и если что-нибудь из этого от него утаено, то это простое воровство, сиречь искомое хищение (против которого и создан был ОБХСС). Так, выявляя себя даже в названиях официальных учреждений, проступала никем, даже им самим не признаваемая, рабовладельческая психология этого государства. Ограбленный и ограбляемый народ легко усваивал ее и ненавидел этих «расхитителей» как главную причину своих бедствий. Эта психология была атмосферой, в которой мы жили и которая нас формировала... Простой практический ум Ивана Давидовича оказался невосприимчив к воздействию этой атмосферы, был полностью свободен от ее чар. И, вовсе не имея такой задачи, он заложил основы и моего позднейшего освобождения от них. Но и тогда меня потрясла незамутненная простота, ясность и жизненность этого высказывания.

Спуск под землю

За этими моими воспоминаниями и размышлениями легко упустить, что техникум наш был горный и готовил людей для работы в шахтах, под землей — давать стране угля, как сказано у Высоцкого. Должен сказать, что долгое время я никак не мог понять, где, собственно, в шахте добывается уголь. Как и большинство смертных, я полагал, что уголь добывается в штреках. Ну, такой, знаете, тун-

нель, по ходу пробивания которого и добывается уголь. Непонятно только было, откуда так много его берется — это сколько же штреков надо пробивать! В техникуме наш преподаватель, кстати, не только толковый и квалифицированный, но и интеллигентный — Иван Петрович Рыбаков на мой недоуменный вопрос ответил кратко: «В лаве». То же самое он говорил и на лекциях. Но яснее мне ничего не становилось, я думал, что лава — это частный случай штрека, а что еще может быть?

Видимо, я как-то поделился своими недоумениями с Соломоном Ефимовичем, — во всяком случае, он с кем-то договорился, и мне «по благу» предоставили возможность впервые спуститься в шахту. Это было месяца за два до первой моей студенческой практики, когда я стал работать десятником вентиляции на шахте 19-бис... Об этом я, собственно, и хочу сейчас рассказать, но перед этим надо дать читателю представление о том, где все-таки в шахте добывается уголь. Другими словами, что это такое.

Это звучит смешно, но ведь я этого не представлял. Думаю, что и многие другие представляют это столь же смутно. Между тем это не так сложно. Для разрешения всех моих недоумений хватило и первого спуска. Конечно, уголь добывают не в штреках и вообще не в туннелях. Впрочем, при пробивании штреков и других таких туннелей (не все они называются штреками) тоже попутно добывается некоторое количество угля, но оно ничтожно мало — из-за этого не стоило бы и огород городить. Уголь действительно добывается в лаве. Но опять-таки что это такое — лава?

Начнем с общеизвестного. Уголь обычно залегают пластами. Пласты бывают разной толщины (мощности) и залегают под разными углами к горизонту. В Карагандинском бассейне, на примере которого я только и могу дать представление о предмете, пласты в основном мощные и залегают наклонно. Должен отметить, что представление о шахте я могу дать только устарелое — полувековой давности... Но я не собираюсь (и не в состоянии) прочесть здесь лекцию по горному делу. А понять, что уголь добывается не в штреках, можно и на основании моего давнего опыта — несмотря на весь последующий прогресс горного дела...

Шахте отводится определенный участок пласта в длину и ширину (глубину) — шахтное поле... Этот участок наре-

зается на горизонты... В длину они простираются от, условно говоря, шахтного двора и ствола до края шахтного поля: километра на два или больше, а в ширину (глубину) — метров на 120—150 (так, во всяком случае, было при мне). Первый горизонт расположен наиболее близко к поверхности, за ним следуют второй, третий и так далее — все глубже в землю. Коридоры штреков, тянущиеся вдоль всего горизонта, только отграничивают его сверху и снизу — нижний называется откаточным, верхний — вентиляционным. Несмотря на важность роли этих штреков в производстве, они относятся к выработкам вспомогательным. Уголь добывается не в них, а выбирается из всего пространства между ними, выбирается по возможности весь массив угля. А добывается он в лаве — в очистном (а не вспомогательном) забое, «грудь» которого тянется во всю ширину горизонта от верхнего штрека к нижнему. Длина лавы равна ширине горизонта. В лаве и производятся главные очистные работы, работают люди и механизмы. «Грудь забоя» разрушается взрывами, уголь набрасывается на транспортеры, те тащат его вниз на откаточный штрек, где грузят его прямо в вагонетки (по дну откаточного штрека проложены рельсы), а те уж доставляют его к специальному угольному стволу — для выдачи на-гора.

Через лаву вверх с откаточного штрека к вентиляционному (и через него к стволу и к «дневной поверхности») движется воздушная струя, нужная не только для дыхания людей, но и для дегазации — она уносит выделяемый углем взрывоопасный рудничный газ — метан. Лава (длина которой, напоминая, равна ширине «горизонта») постепенно — смена за сменой (по-шахтерски «упряжка» за «упряжкой») движется вдоль штреков, выбирая (очищая, опустошая) все пространство между ними. Каждый раз после уборки угля крепильщики устанавливают в освобождающемся пространстве, куда перемещаются люди и механизмы, новые крепления, и каждый раз, когда забой проходит достаточное расстояние, посадчики позади, в выработанном пространстве, убирают крепления, обрушивают «кровлю». Из соображений безопасности — чтоб сократить консольное давление отслоившихся во время добычных работ кусков пластов этой «кровли» на крепь. Это люди опасного, воистину героического труда — надо обрушить почти все на самих себя, но успеть убежать.

Когда лава доходит до конца шахтного поля и за спиной шахтеров остается весь «горизонт», они переходят на следующий, где для них уже подготовлена лава и через следующие 100—150 метров вниз новый откаточный штрек. Штрек, до сих пор служивший откаточным, начинает служить вентиляционным. И так пока не выработается все «шахтное поле», пока шахта не углубится настолько, что работа станет или невозможной (из-за подземного жара), или нерентабельной.

Конечно, то, что я здесь сейчас рассказал, не дает представления о шахте в целом — тогдашней, а тем более современной. Это мне не по силам, да и не по теме — для этого существует научно-популярная литература... Но просто мне захотелось дать читателю представление о том, что уголь добывается не в каких-то точечных объектах (вроде мифических коридоров-штреков), а более широким фронтом, «очищающим» по возможности целые массивы. Если некомпетентный в горном деле читать поймет хотя бы это, я буду удовлетворен. Но дать более ясное представление о самой структуре шахты, о взаимосвязи и взаимодействии ее частей я и не пытался.

Вероятно, рассказывая о своей работе на шахте, я попутно смогу кое-что уточнить и в этом смысле, но вряд ли эти уточнения будут существенны. Ибо, как и на протяжении всей книги, занят я буду другим.

Первая производственная практика начиналась у нас, в группах десятиклассников, сразу после первых летних каникул — в начале третьего семестра... Устройством нашим на рабочие места теоретически ведал техникум, но практически каждый устраивался как мог, что в шахтерском городе было несложно — знакомые на шахтах были у многих. Мне опять помог Соломон Ефимович — договорился с главным инженером шахты 19-бис, и тот, когда я к нему явился, тут же без лишних слов отослал меня к начальнику вентиляции для определения на должность десятника вентиляции. И началось мое первое соприкосновение не только с шахтерской, но и просто с нормальной (для тех, конечно, лет) жизнью. До сих пор я, исключая краткое пребывание в Кульче, сталкивался с жизнью только экстремальной, да и то редко как ее участник. Теперь я как бы сам входил в нее.

Первым моим впечатлением в этой, настоящей жизни был, как уже знает читатель, начальник вентиляции Бож-

ков — к сожалению, имени и отчества его я не помню. Встретил он меня хорошо и доброжелательно. Мы быстро договорились, когда: на следующий день или дня через два мне заступать на смену. С его помощью я получил спецовку — тяжелую брезентовую куртку с брезентовым же поясом, такие же брюки, резиновые сапоги, а также твердую (не помню, металлическую или пластмассовую) фуражку-каска для предохранения от случайных ударов (например, от падения оторвавшихся кусков угля или породы), лампу, аккумулятор для нее, прикрепляющийся к поясу, и показали мои шкафчики — для чистой одежды и для спецовки (вместе с той одеждой, которую носят под спецовкой в шахте). Шкафчики эти установлены в разных раздевалках, отделенных друг от друга душевой. Поднявшись на-гора, шахтер сбрасывает спецовку и все, что под ней, в грязном отделении, потом моется в душе и только после этого в чистом отделении надевает свое «цивильное». Все это отнимает время, дополнительное к рабочему (как и вообще выход из шахты «на-гора»). Отсюда и выражение — «ради этого и спецовки надевать не стоит». Так что восьмичасовой рабочий день на шахте — это только восемь часов нахождения непосредственно в забое, остальное не считается. Но шахтеры тогда зарабатывали много и на это не роптали. Впрочем, все это мне еще только предстояло узнать. А пока из всех шахтных впечатлений я остановлюсь на самом нетипичном — на самом Божкове.

Я и застал его за нетипичным для шахтера, но для него, как я потом понял, вполне обычным делом — составлением программ и графиков занятий кружков и курсов техучебы. Входило ли это в его прямые обязанности, я не знаю. Скорее, нет. Думаю, что отчасти такое просветительство было его настоящим призванием, а отчасти он как бы искупал этой активностью недостаточную занятость своими прямыми, крайне неопределенными обязанностями... Он зря боялся обвинения в безделье и зря наполнял свои дни хлопотами. Он вообще был хорошим и добрым человеком — только вот немного не на своем месте. И бояться ему следовало не обвинения в безделье, а совсем другого — неуместной мягкости, чтоб не сказать: бесхарактерности... А на посту начальника вентиляции это не могло не привести к несчастью.

Я понимаю грамматическую несуразность таких определений, как «начальник вентиляции» или «десятник вентиляции». Это звучит как ильфо-петровское «заведующий Провалом». Впечатление (предупреждаю — ложное) какой-то странной фикции усилится, если я скажу, что никогда не слышал, чтобы наше подразделение называли отделом, сектором или еще как-нибудь — просто «вентиляцией». А если я добавлю, что и к вентиляции как таковой это подразделение имеет отношение весьма косвенное — вентиляторами ведает отдел главного механика, — то подозрение в фикции укрепитя неимоверно. Между тем подразделение это выполняло функции необходимые и очень ответственные — оно отвечало за безопасность, практически за само существование шахты.

Штат его состоял из начальника, заместителя, десятников (так сказать, начальников смены) и рядовых газомерщиц. Все они помимо обычных, прикрепляемых к каскам лампочек для освещения были снабжены еще бензиновыми лампами Дэвиса, которые раньше, до появления портативных электроламп с аккумуляторами, были единственными индивидуальными светильниками под землей. Теперь они помимо работников нашей службы (назовем наше подразделение службой) выдавались только «надзорам» (представителям администрации) и служили только индикаторами загазованности — по величине ореола вокруг пламени определяется содержание метана в окружающем пространстве. Газомерщицы были распределены по участкам, каждая отвечала за свой, при котором обязана была неотлучно находиться до прихода сменщицы. При неблагоприятных показаниях индикатора она имела право, точнее, была обязана остановить работы. Без ее разрешения не мог быть произведен ни один взрыв. Естественно, все эти неограниченные права (хотя, скорее, они были ответственностью) имел и я, и все, кто стоял надо мной — в первую очередь сам Божков. Обязанности наши были несложны, выполнение их отнюдь не изнурительно. Но ответственность на нас лежала громадная и требовала от нашей службы дисциплины и четкости. Распушенности здесь не могло быть никакой. Но поддерживать этот порядок Божков был органически не в состоянии. Особенно принимая во внимание контингент, с которым он имел дело. Нет, ничего особо

дурного я об этом «контингенте» сказать не хочу и не могу. Газомерщицы были совсем неплохими, нормальными девушками, но по условиям своего бытия и окружения проникнутыми шахтерской лихостью. На которую наложило отпечаток и послевоенное положение женщины в СССР, связанное с дефицитом мужчин. Война кончилась шесть-семь лет назад, когда они были детьми, но этот дефицит сказывался и на них — как минимум психологически. Они ведь росли в его атмосфере. Наши невероятные военные потери сказывались долго и многообразно.

Так или иначе, контингент, доставшийся Божкову, был непростой и нелегкий. С ним надо было уметь ладить — чтоб одновременно сохранять и нормальные человеческие отношения, и субординацию, без которой невозможна требовательность. Божков не умел ни того, ни другого. Девчонки, чуя слабинку, буквально садились ему на голову. То, что он относился к ним по-доброму, только подчеркивало для них его незащитность и подливало масла в огонь.

Вспоминаю, как на каком-то случайном совещании перед сменой или после нее он делает замечание одной из газомерщиц. Она отвечает ему матом, получая от этого видимое удовольствие.

— Ну как же тебе, Ковалева, не стыдно? — пытается вразумить ее Божков. — Такая девка справная, а такие слова говоришь!

Ковалева и сама про себя знает, что «справная». Она и впрямь хороша собой, в отличие от своих подружек, замужем и даже уже сильно беременна. Но все это сейчас не имеет значения — эта детская зверушечная игра ее развлекает, и на все увещевания Божкова она отвечает веселым и уверенным матом. В конце концов он сконфуженно умолкает.

Как все слабые люди, он стремится взять реванш — не где надо, а где удастся. Попробовал и на мне. Чувствуя мое доброе отношение к нему, он однажды ни с того ни с сего стал делать мне строгое внушение по поводу чего-то, не имевшего отношения к реальности. Замечания были крайне неконкретны, но строги: «Смотри, десятник!» Это было неожиданно и фантастично. И даже обидно. Пришлось и мне ответить ему резко. Больше подобное не повторялось.

Но жертвой его «необузданной властности» мне однажды все-таки стать пришлось. В один прекрасный день я вдруг

увидел его под землей при подходе к лаве. Он был в полном шахтерском облачении. В этом не было ничего удивительного — шахтное начальство обязано было несколько раз в месяц или квартал спускаться под землю, — но я все же удивился, ибо до этого я его здесь ни разу не встречал. То ли хвоста накрутили, то ли все сроки вышли...

— Десятник, — властно сказал он, — иди за мной.

И мы пошли. Куда-то вверх, в давно выработанное пространство. Поднялись под уклон чуть ли не до третьего горизонта (работы шли на шестом), потом ходили по заброшенным штрекам.

— Тут ребятам надо будет кое-где крепления заменить, — пояснил он мне. По-видимому, служба вентиляции отвечала и за состояние некоторых заброшенных выработок, необходимых для чрезвычайных случаев — например, для экстренной эвакуации людей — и обязана была поддерживать их. Для этого имелись особые штаты крепильщиков. Но при чем тут был я? Я ведь этих ребят и в глаза не видел, никто даже в известность меня не поставил о том, что они вообще существуют. И вдруг такое «деловое» путешествие...

Потом мы вернулись к наклонному стволу — шахта соединялась с поверхностью не вертикальным стволом и клетью (подобием лифта), а наклонным, по существу, туннелем, по дну которого были проложены рельсы и ходили вагонеточные поезда.

— Ну иди, работай, десятник, — милостиво разрешил он мне, — а я пойду обратно.

И зашагал вверх по шпалам. А я таким же образом вниз. На это приключение ушло минимум три часа. Когда я вернулся, на меня с проклятиями и угрозами налетел начальник проходческой смены: дело в том, что перед своим путешествием (о котором я знать наперед не мог) я закрыл работу в одной из выработок — она была загазована. За это время подкатили вентиляторы, выработку срочно разгазировали, а бригада проходчиков все равно простаивала. Никто, кроме меня, не мог разрешить возобновление работ, у шахты горел план.

У людей заработка, а я в это время прохлаждался с Божковым. Как-то обошлось, меня ни какие «отчеты» вопреки обещаниям проходчиков не вызвали, но неприятно было быть без вины виноватым.

Зачем Божкову понадобилось таскать меня за собой? Боялся один ходить по пустым выработкам? Может быть, но вряд ли. Скорее всего, это был антураж общей имитации деятельности. Повторяю, был он хорошим человеком, вовсе не глупым. Ему бы бухгалтером быть. Или директором курсов. На худой конец добычный участок возглавлять — там обстоятельства сами ставят задачи, и приходится их решать. Однако на этой обманчиво тихой, но столь ответственной и опасной работе он был совершенно неуместен. И это не могло не привести к несчастью. О чем я в частных беседах предупреждал Божкова. А он то ли пропускал это мимо ушей, то ли покорно плыл по воле волн в слепой надежде, что обойдется.

Но не обошлось. Несчастье произошло. Года через полтора после моей практики, когда я уже не имел никакого отношения к шахте 19-бис, уже после того как мы вообще защитили дипломы, но — произошло.

Понятно, что аварии на шахтах случаются не только по вине людей. Все-таки добыча полезных ископаемых под землей — это работа в тылу природы, и всех ее реакций не предусмотреть — не зря еще не так давно курс горного дела в средних и высших учебных заведениях назывался курсом горного искусства. Но в данном случае авария произошла по вине людей.

Произошло это на проходке. Проходчики пробурили шпур, заложили в них взрывчатку, а тут подошел конец смены, пересменка. Взрывать шпур должна была уже другая смена, но она запаздывала. Ждать ее не имело смысла — все забойщики, работавшие в этом забое, составляли единую комплексную бригаду — выработку им начисляли общую, и заработок за все сделанное потом делился на всех независимо от смены. Короче, простой им был невыгоден, ждать без дела означало зря терять дорогое время.

— Ну что, ребята, рванем? — предложил кто-то.

— А чего — рванем! Сменщики быстрее двинутся.

В этом решении не было ничего необычного, наоборот, все было логично — для того и создавались комплексные бригады, чтобы уплотнить рабочее время. Все было правильно, но возникло мелкое препятствие. Перед взрывом требовался замер газа и разрешение газомерщицы. Тут-то все и началось. Хватились газомерщицы, а ее нет. Она была

новенькой, на первую зарплату купила часики. И когда часики, на которые она то и дело с удовольствием поглядывала, показали конец смены, легкомысленно совершила недопустимое — не стала дожидаться сменщицы (придет — куда денется!) и пошла, помахивая часиками, на-гора.

Но проходчики не растерялись.

— Ладно, ребята! Хрен с ней! Рванем без нее. Ничего не будет.

Заработало то «русское авось», для нейтрализации которого и содержится вся служба вентиляции. Я совсем не уверен, что такая служба нужна и существует на шахтах, допустим, в Германии, где привычка надеяться на «авось» пока не выработана, но в России без этой службы не обойтись, да и ее, как мы видим, не всегда хватает...

Взрыв был внушительен. Мой одноклассник по техникуму, попавший по распределению в горноспасатели, Шалимов рассказывал об этом так:

— Позвонили, говорят: вспышка метана. Приезжаем — какая, к хренам, вспышка — взрыв! Да еще какой — все разворотило.

Да, все разворотило и человеческих жертв было много. Это означало, что проходчики, Царствие им Небесное, воспользовались отсутствием газомерщицы сполна — обошлись не только без замера газа, но и без лопаточек с инертной пылью, проще говоря, мелким сухим песком, который полагалось закладывать в каждый шпур. Это был взрыв не только метана, а и угольной пыли — последствия взрыва одного метана тоже разрушительны, но гораздо более локальны.

А шахта 19-бис была опасной по газу и пыли. Была в этом отношении сверхкатегорной. В таких шахтах в воздухе во взвешенном состоянии находится много угольной пыли, и в случае взрыва она детонирует — волнообразно переносит его на любые расстояния, в закрытом пространстве, каким является шахта, это чревато многим. Упомянутые деревянные лопатки с инертной пылью необходимы как средство локализации взрыва — в момент взрыва эта пыль смешивается с угольной и оседает вместе с ней — детонации не получается. Взрывы без инертной пыли в сверхкатегорных шахтах строго запрещены — и ни одна газомерщица такого взрыва не разрешит... Но большинство склонно воспринимать эту меру предосторожности как стеснение, она

кажется детской игрой в песочек, и многие этим манкируют. Когда удается. Этим — удалось.

Доходит и до конфликтов. Со мной, например, произошел такой случай. Однажды в лаве я обнаружил подготовленные к взрыву шпурсы, в которых не было лопаточек с пылью. И запретил взрывать. Слегка подвыпивший бригадир послал меня по всем адресам и стал подсоединять провода. Я разлегся вдоль «груди забоя» и сказал, что взрывать не дам, пусть взрывает вместе со мной. Но это его не остановило — он продолжал готовить взрыв. Могло кончиться для меня смертью, а для него сроком, но положение спасла взрывница — убежала и унесла взрывную машинку. В оправдание бригадира могу сказать, что в лаве на сильной струе, не дающей газу сконцентрироваться, взрыв хоть и возможен, но маловероятен. Такая «храбрость» и здесь неуместна — все меры безопасности в шахте направлены на избежание исключительных случаев. А уж на проходке, где забой тупиковый, проявлять такую «храбрость» и вовсе недопустимо... Тем не менее, судя по масштабам разрушений и количеству жертв, проходчики именно ее и проявили.

Вот что произошло из-за того, что газомержица не боялась начальника, которого так весело и безнаказанно материли ее товарки. Кстати, потом выяснилось, что девушка эта была допущена к дежурству незаконно — она еще не сдала экзамена и не имела удостоверения. Это, слава Богу, спасло ее от тюрьмы (хотя она наверняка знала, что не имеет права уходить, не дождавшись смены), но это же усугубило вину Божкова. И он, и главный инженер (принявший меня на работу), и еще какие-то работники были отданы под суд. Я вовсе не считаю это торжеством справедливости. В тюрьмах должны сидеть уголовники, а не честные люди, совершившие оплошность на производстве. Для последних достаточно потери репутации и сознания, что по их вине погибли люди. Но это другая тема и не тогдашние мои мысли. Хотя Божкова мне было жалко и тогда. Главного инженера тоже, но я знал его хуже. Но все это было потом и без меня. И приступая к исполнению своих обязанностей, я думал о другом.

Впервые в жизни (и в последний раз тоже, но это к делу не относится) я становился начальником, и мне надо было не ударить лицом в грязь. В подчинении у меня оказались

четыре или пять матерящихся «девок» — на самом деле просто молодых девушек и женщин (из них одна беременная), считавших долгом корчить из себя «оторв». Впрочем, одна из них была постарше, поспокойней и с «судьбой» — она знала лучшие времена. Муж ее сидел за должностное преступление — на шахте, где он был главным инженером, произошла авария. К ней-то уж это слово не могло относиться никак. Но одна она погоды не делала. Я был предупрежден, что с моим «контингентом» надо держать ухо востро. Слухи, надо сказать, оказались преувеличенными. Хотя и не совсем беспочвенными. Например, я сразу усек, что если буду допускать при них мат, мне с ними не сладить. Я строго следил за собой, чтоб этого не было.

Так или иначе, встретили мои подчиненные своего временного начальника с настороженным любопытством, но не враждебно. Вышли вместе из кабинета Божкова, где нас познакомили, сели вместе в вагонетку шахтного фуникулера и покатали под уклон. Кажется, по случаю моего первого раза меня сопровождал заместитель Божкова Аркадий (фамилии которого, по-моему, я никогда не знал), хороший, простой, надежный и симпатичный мне человек. Мы и потом с ним иногда встречались (судьба Божкова его, слава Богу, миновала). Внизу, на шахтном дворе, газомерщицы разошлись по своим постам, а Аркадий провел меня по всем участкам.

Началась моя работа. Но в принципе с газомерщицами производственных хлопот у меня не было. Дело свое они знали, ответственность сознавали, обязанности выполняли — погибать в завале или садиться в тюрьму никому из них не хотелось. К моему авторитету они прибегали в редких случаях — когда их «контрагенты» отказывались выполнять их распоряжения и прекращать работы (они, напоминая, зарабатывали много, получали с выработки, так что «сачковать» не были расположены). Относились мы друг к другу хорошо и доброжелательно. Только с одной из них у меня после одной из первых «упряжек» (по-шахтерски — смен) вышло нечто вроде маленького конфликта. Было это в шахтном дворе, когда мы все вместе ждали фуникулера, чтоб подняться на-гора. У меня что-то не ладилось с электрической лампочкой. И она, как бы пытаясь мне что-то объяснить, вдруг ни с того ни с сего прицельно и сильно

ударил ободком своей лампочки по стеклу моей. И, естественно, разбила его. Конечно, здесь, на насквозь проветриваемом шахтном дворе, в отличие от закрытой выработки на проходке, опасность взрыва была минимальной. Но я опешил — это было явной попыткой издевательства. Не вспышкой враждебности — для нее не было оснований, и я этого за ней не замечал, — а развлечением. Просто она испытывала меня на крепость... Я был в сложном положении — спустить это нельзя было ни в коем случае, но применять административные меры (писать рапорт и т.д.) — тоже. И противно (выглядит как месть за шалость), и портит отношения. Мне кажется, я нашел выход. Я просто строго ее отчитал, устыдил, заставил извиниться и обещать, что такое впредь не повторится. На этом все кончилось. Не знаю, правильно ли я себя вел, но больше ничего подобного не было. Правда, я не думаю, чтобы кто-либо из моих подчиненных воспринимал это как стеснение — относились они ко мне вполне доброжелательно. И моя «обидчица» тоже. Но все же я рад, что с тех пор мне никогда никем не пришлось руководить. Слава Богу — не мое это дело.

Как ни странно, в шахте со своими подчиненными я общался меньше, чем вообще с шахтерами — в основном по делу, обходя участки. Впрочем, сами газомерщицы в шахте общались между собой еще меньше. И по тем же причинам — по условиям работы. Каждая из них должна была всю смену находиться при своем участке. Только я, как караульный начальник, обязан был раз или два в смену обходить все посты, смотреть, все ли в порядке... Я находил газомерщицу, убеждался, что она на месте, она мне сообщала, что творится в забое (в смысле соблюдения мер безопасности на данном этапе работ), и сам смотрел, старался вникнуть. Обычно все было в порядке.

Попутно возникали разговоры с работягами. То есть рядовыми шахтерами — крепильщиками и навалоотбойщиками. Впрочем, последние если состояли не при врубмашине, а при угольном комбайне, именовались помощниками машиниста комбайна. Но функции их были приблизительно те же — сгрести обрушенный так или иначе уголь на транспортер. Работа как будто и несложная, но очень нелегкая — целый день набирать широкими железными лопатами уголь, поднимать его и швырять на громыхаю-

щий транспортер. Платили за это очень хорошо, но — не позавидуешь! То же можно сказать и о крепильщиках. Их работа была ничуть не легче — только сложнее и ответственнее. Впрочем, выражение «целый день» преувеличено, бывали и перерывы. Стояли, например, когда на откаточном штреке возникала заминка со сменой вагонеток под желоб транспортера (а сменялись они отнюдь не автоматически), стояли, потому что не доставили вовремя инертную пыль или взрывчатку. Или еще что-нибудь случалось, допустим, сбой в подаче электроэнергии («Почему стоим?» — «Фазы нет») и так далее. Впрочем, далеко не всегда остановки были связаны с плохой организацией работ — многие были неизбежны. Так или иначе, у шахтеров находилось время заметить нового человека и завести с ним беседу. Тем более такого, как я. Да, я своим появлением произвел большое впечатление на шахтерский коллектив. Но не какими-либо своими высокими или низкими качествами или, допустим, чудачествами, а исключительно... очками. Очкарик в шахте — это тогда (вряд ли и сейчас) было нечто из ряда вон выходящее... До меня в шахте был только один очкарик — начальник участка Колесников, который, видимо, отчасти был чем-то вроде местной достопримечательности. А тут вдруг другой, молодой и для них совсем не начальник. Я тут же получил прозвище «Колесников брат», которое потом, когда ко мне привыкли, как-то само собой забылось. Но очки были как бы предметом чуждого обихода, чуть ли не чуждой цивилизации — вызвали любопытство. Помню, как однажды один веселый круглолицый парень попросил у меня очки — поглядеть в них. Для начала скорчил рожу, собираясь немного потешить публику, но внезапно его лицо приобрело выражение озабоченности, чуть ли не подозрительности.

— Ты что, Керя (от «кореш»)! Как ты в них ходишь? У меня зрение хорошее, и то ни хрена не вижу. А ты?

Разъяснение, что так и должно быть, что очки помогают видеть только при плохом зрении, а при хорошем только мешают, было для него новым знанием. Конечно, наивно, смешно, но с другой стороны — сколько людей еще тогда не имели представления об очках! Сколько и тогда здоровья было еще в России!

Впрочем, любопытство поначалу я вызывал не только очками, а вообще как диковинная для этих мест птица.

Выходили посмотреть на меня, а заодно и поговорить, даже посадчики из выработанного пространства. Я их помню до сих пор. Их было двое — отец и сын, — высокие, крепкие, серьезные. Расспросили, кто, откуда, какими путями, все поняли — Караганда тогда в этом отношении вообще был город понятливый — и, так сказать, приняли меня. Встречая, дружелюбно улыбались. А уж обо мне и говорить не приходится. Мне внимание людей, чья работа непрерывно была связана со смертельным риском, не могло не быть лестным.

Несколько слов насчет упомянутой карагандинской понятливости. Безусловно, почти все жители этого города, за исключением МГБ, МВД и партактива, в настоящем или прошлом относились к тому или другому «контингенту» — отсюда и понятливость. Точнее, сочувствие. Подчеркиваю: к тому или другому — к любому, не вдаваясь, кого на каком этапе застигла «чугунная беда» (А.Галич), кто к какому потоку относится — к «бывшим» (то есть к каэрам), к кулакам или к тридцать седьмому. Вопреки позднейшим построениям «национально мыслящих» не выделяли и «тридцать седьмой». Конечно, если бы довелось, бывшие раскулаченные в массовом порядке не бросились бы на шею тем, кто непосредственно их раскулачивал, выгонял из дома на мороз. Не говоря уже о том, что партийцы вопреки тем же построениям и в потоке «тридцать седьмого» не составляли большинства (и что, тем более, это относится к коллективизаторам — таких встреч я просто не припомню), просто «чугунная беда» стирала эти грани... И те, и другие, и третьи пострадали без всякой персональной вины, знали это про себя и вполне представляли, что то же происходит и с другими. Короче, антагонизма между потоками тогда не было. Не замечал я их и потом, не замечаю и по сей день. Пытаются возбудить его те, кто ни к одному потоку отношения не имел и кто связывает представление о величии России с самой низкой точкой ее падения — со Сталиным. Тогда насчет него никакой разноголосицы не было. Жаль, что теперь это общее понимание и память многими утрачены — гораздо раньше, чем были преодолены последствия этого.

Но это отступление — реакция на нынешний опыт. Просто я вспомнил этих двух посадчиков — их ладность, надежность, солидность, их спокойную уверенность в разумно-

сти своего трудового предназначения и в своем соответствии ему — все приметы, из-за которых их «неправильное» социальное происхождение прямо-таки бросалось в глаза, ну и в то же время их уважительное и доброжелательное отношение ко мне — человеку отнюдь не из их среды. И возникли мысли — об упущенном (хотелось бы думать — не безвозвратно), которыми я захотел поделиться.

Бывших раскулаченных (тогда уже прощенных — pardon, «искупивших во время войны свою вину перед народом») на шахте было много. Конкуренцию им там составляли только немцы — тоже ссыльные (но пока не «прощенные»). И все они работали хорошо. Такие люди, как эти посадчики, были воплощением лучших качеств того социально-психологического слоя, который в начале тридцатых стремился извести и в значительной степени извел Сталин. Они были вершиной этого слоя, но не весь этот слой в целом был достаточно добротен. И конечно, ценен и необходим...

Однако и на старуху бывает проруха... Однажды в выплатной день на шахту 19-бис привезли только часть причитающейся зарплаты. Тогда до нынешнего понимания, что можно вообще не платить ее месяцами и годами, экономическая мысль не доросла, но поскольку такие зарплатоёмкие предприятия, как шахты, уж слишком дырявили волевой бюджет, случались временные (дня на два — на три) задержки в выплате. Ведь на каждую шахту надо было возить миллионы. Вот и не хватило — привезли только часть. Эта задержка ничем никому не грозила, в том, что заплатят, никто не сомневался, но обманывало ожидания — и потому раздражало. На этот раз так совпало, что эту неполную, не на всех, зарплату, привезли как раз тогда, когда посадчики были вызваны на работу. Они работали не посменно, а по вызовам, и работа их была всегда экстренной: без своевременной посадки кровли, запрещено было продолжать угледобычу. Перед спуском в шахту они получили заверения, что уж кому-кому, а им зарплату оставят. Но зарплату хотели получить все, свободный от смены или имеющий возможность отлучиться с рабочего места народ поднапер, и когда посадчики поднялись на-гора, выяснилось, что в суматохе про эти заверения забыли — денег им не оставили. Такое, как им, видимо, показалось, пренебрежение к ним — людям не только необходимого, но и

опасного труда — посадчиков оскорбило. Чтоб не идти домой, они — отец с сыном — одолжили у кого-то из получивших зарплату немного денег, напились и явились в шахтоуправление творить суд и расправу. Свидетелем этих суда и расправы я не был — восстанавливаю их по еще не остывшим впечатлениям очевидцев.

Первой жертвой их самосуда (потому что первым попался) стал начальник шахты Никитин, который вообще вряд ли знал как о полученных посадчиками обещаниях, так и об их невыполнении. Мужчина он был такой же комплекции, как и сами посадчики, но их было двое и на их стороне был фактор внезапности... И поэтому — не знаю, с уроном для себя или без — они ему крепко врезали. На шум и грохот выбежало остальное начальство — физически в основном люди не столь могучего телосложения, как посадчики и Никитин, но их было много. Секретарши испуганно заверещали. И тогда прозвучал призыв отца сыну:

— Ванька, бей почем зря!

И пошли отец с сыном молотить начальство, круша все, что попадалось по дороге.

Задаю себе вопрос — конечно, сегодня, а не тогда — откуда такая ярость? Ведь повод был не такой значительный, чтоб так яриться... Так что они все то сотворили спьяну? Но нет, скорее, они для того и выпили, а выпили, чтоб такое сотворить. Или так выливалась накопившаяся за годы — еще с тех пор как выгоняли их собственных домов и выгружали в пустой заснеженной степи — затаенная ненависть к начальству? Но ведь бóльшая часть местных начальников была того же происхождения и прошла через те же испытания. Или определяли их поведение не поводы, а причины, и в тот момент им вдруг стало неважно, кто и в чем виноват и через что прошел, перед ними все они были представителями той чугунной силы, которая перекожежила их жизнь, заставила умереть страшной, нечеловеческой смертью их родных и близких, столько раз издевалась над ними, а теперь вдобавок еще насчет зарплаты так нагло обманула.

К сожалению, Пушкин прав — не приведи Господь увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Да — несмотря на все возражения — бессмысленный тоже. Бессмысленный не значит беспричинный — причин всегда хватало. Бессмысленными эти бунты бывали потому, что

чаще всего их основной, если хотите, задачей, было стремление выразить чувства, а не достигнуть определенной разумной цели. Ведь и отец и сын прекрасно понимали, что непосредственно сейчас они зарплату не получают, сколько бы ни буйствовали — ибо денег этих на шахте нет. В том же, что они ее получают через несколько дней, вообще никто не сомневался — не было вопроса. Так зачем было табуретки ломать?

Конец этой истории так же нелеп, как и она сама. Естественно, вызвали усиленный наряд милиции (обычный бы не справился), бунтовщиков скрутили и увезли в отделение. Им грозил суд и тюрьма — за злостное хулиганство. Все это было логично, но никто из шахтеров не только этого не хотел (они все, и я в том числе, своим товарищам сочувствовали), но и в такой исход конфликта не верил. И, к счастью, шахтеры оказались правы — дня через два обоих нарушителей порядка выпустили. И не по инициативе милиции, а по просьбе тех, кто милицию вызывал. И не от внезапной вспышки гуманности, а от железной необходимости — надо было и дальше «давать стране угля», а без обрушения кровли в выработанном пространстве (которое, пока они сидели, не перестало расширяться) это было невозможно. Вот и выручили.

Я был вполне удовлетворен и о попрании закона не страдал. Хорошие люди остались на свободе, и мне этого было достаточно. Правовые соображения по этому поводу мне тогда и в голову не приходили. Отчасти по внушенному большевизмом правовому нигилизму — убеждению, что право только инструмент в руках передовой партии. А то, что теперь оно стало личным инструментом Сталина — я так тогда не формулировал, но так к этому относился — никак не стимулировало моего интереса к правовым критериям. Но дело не только в этом — соображения о законности или незаконности чего бы то ни было не могли мне прийти в голову просто потому, что в своей жизненной практике я с законностью как с фактором не сталкивался, не ощущал на себе его воздействия. Сталкивался с тем, что любые деяния власти, чуждые часто не только справедливости, но и смыслу, оформлялись языком юридических формул, но относиться к ним серьезно давно перестал... Судя по всему, у этих «хулиганов» выработалось к тогдашнему праву такое же отношение.

Впрочем, хулиганства их я не видел — знаю только, что оно было ответом на обиду, что сначала все-таки обидели их, а не они. И не хочу сейчас в этом разбираться — тем более применять к этому правовые критерии, которые тогда или не действовали вообще, или действовали только выборочно (что, на мой взгляд, одно и то же). И думаю я сейчас не о юридических нормах, а об этих «хулиганах». В обычной жизни, на своем весьма необычном рабочем месте, рядом с которым я их только и видел, это были спокойные, разумные, доброжелательные люди — такими и запомнились.

Вообще, запомнились они мне если не лучше, то как-то персональней других — вероятно, из-за своей экстремальной даже для шахты специальности. Она их выделяла. А больше я помню общую атмосферу. Ведь работал я на шахте всего недель шесть — восемь, везде, где появлялся, общался сразу со многими и в то же время ни с кем вместе не работал весь рабочий день. Встречали меня, кстати, всегда дружелюбно и весело — шутками-прибаутками и, конечно, розыгрышами... Впрочем, розыгрыши эти не были для меня неожиданностью — ими всегда «угощали» студентов. Но и студенты знали об этом от своих старших товарищей и были готовы к обороне. Я тоже. И номер не проходил. Обычно это происходило так. Почему-то остановился конвейер, шахтеры сидят кружком, «тормозят» (то есть едят принесенные из дому в холщовых мешочках «тормозки» — столовых при подземных цехах не бывает), просто так отдыхают и попутно травят баланду — рассказывают разные истории, в основном шахтерские слушают, комментируют. И я сажусь с ними, принимаю участие в беседе. Обстановка самая мирная. Но внезапно все меняется. Все мгновенно вскакивают и целеустремленно бросаются в разные стороны — ты остаешься один... А ты ведь находишься в ненормальных условиях, под землей, в шахте, «в тылу у природы», как я однажды выразился. А природа не любит, чтоб ей заходили в тыл, и здесь от нее всегда можно ждать любых непредвиденных пакостей. А ребята — народ опытный, знающий. И если они так поспешно вскочили, надо быстрее улепетывать отсюда и тебе. На это и рассчитывала теплая компания, что ты в панике вскочишь и замечешься, не зная, куда бежать. То-то смеху было бы! Но ты, обогащенный

опытом нескольких поколений студентов, остаешься на месте, и все, посмеиваясь, возвращаются. Не вышло так не вышло — все равно потешились. Но однажды я чуть не переборщил в хладнокровии. И когда все вскочили, а я остался на месте, я вдруг услышал:

— Не-не, Наум!.. Сейчас не для смеха... Иди быстрее сюда...

Никакой враждебности шахтеров к студентам — ее и в помине не было, и розыгрыши эти были безобидны. И применялись они не только к студентам — обрушивались на любого новичка, впервые оказавшегося под землей. Да и не только на них — эксплуатировалась любая наивность... Мне с удовольствием рассказывали, как однажды разыграли девушку-мотористку. Была такая странная и, прямо скажем, ненужная профессия в лаве. Функция мотористки заключалась в том, чтобы нажатием на кнопку пускателя по команде бригадира включать и выключать конвейер. Это мог походя делать сам бригадир или любой работяга, оказавшийся рядом с пускателем. Но почему-то в штатном расписании числилась такая должность («едина», как тогда обозначалось). Но это к слову. Нас здесь интересует сама мотористка, а не ее функции. Отмечу только, что ввиду странности ее функций они часто использовались как девушки на побегушках...

Однажды на шахте вдруг остановились все механизмы, в том числе и конвейер. Работа прекратилась.

— Почему стоим? — спросила молоденькая мотористка.

— Да фазы нет, — ответили ей с досадой и вполне серьезно. (Фаза — одна из составляющих трехфазного переменного тока, без которой электродвигатели не работают.)

— Да куда ж она девалась? — удивилась девушка, и скупающие шахтеры встрепенулись — почувствовали открывающиеся возможности.

— Да вот захватить забыли из кладовой и теперь кукуем, — ответил кто-то с наигранной досадой...

— Так послать кого-нибудь надо, — проявила догадливость девчонка.

— Да кого пошлешь? Никто не хочет пехом на-гора за ней переть, — грустно ответил ей бригадир. — Из-за этой фазы ведь и подъемник не работает.

— Давайте я сбегаяю, — благородно предложила мотористка.

— А дотащишь? — усомнился кто-то. — Она ведь тяжелая.

— Да вы что! — рассердилась девушка. — Конечно, дотащу! Вы не смотрите, что я маленькая — я крепкая. Ну, я пошла.

И направилась вверх, к вентиляционному штраку. Успех, кажется, был полный, представление состоялось, но скучающим от вынужденного безделья шахтерам и этого было мало, хотелось продлить удовольствие.

— Манька, ты куда так собралась? — остановил ее голос бригадира...

— Как куда? — возмутилась Манька, горя желанием быть по-настоящему полезной. — На-гора, за фазой!.. Стоим же!.

— За фазой?! — «удивился» бригадир. — А в чем же ты ее понесешь? В руках, что ли?

— А в чем надо?

— Ну возьми хоть ведро.

— Давайте. Целое принести?

— Да нет, хватит и полведерка... Тяжела больно. Так и скажи кладовщику: «Налей быстрее полведра фазы, а то стоим!»

И девушка пошла с ведром за фазой, доставив двойное удовольствие своим товарищам по бригаде — и тем, что уже произошло на их глазах, и предвкушением того, что должно произойти наверху, когда туда явится Манька с ведром требовать налить ей фазы.

Что можно сказать о такой потехе? Конечно, заставляя наивную девчонку топтать зазря взад-вперед по людскому ходу (по наклонному стволу) — дело не рыцарское. Но в целом розыгрыши были безобидными и не имели целью кого-либо обидеть или унижить. Ну, посмеялись над человеком, впервые попавшим в шахту, что он пока не знает, чего надо, а чего не надо здесь бояться. Или не постиг еще, что такое переменный ток и его фазы — так ли уж это обидно? В конце концов все через это прошли, и ничего — целы остались, и отношений это ни у кого ни с кем не испортило.

Но столкнулся я и с некой тонкостью, с которой до этого нигде, даже в Чумакове, не сталкивался. Или сталкивался, но не сознавал. «Тонкость» проста — при всей простоте отношений окружающие *требовательно* видели во мне человека иной культурной среды. Выявилось это так. Как

уже здесь говорилось, подшучивать друг над другом шахтеры любили, всяких шуток-подначек, по существу, как уже говорилось, безобидных, в шахте было сколько угодно. Но это никак не исключает того, что эмпирически они могли быть и обидными, и довольно грубыми — в «гимназиях-прогимназиях» здесь никто не воспитывался. Естественно, объектом таких подначек иногда бывал и я. И отвечал соответственно, считая, что это в порядке вещей, и не очень задумываясь над этим. И когда однажды один сравнительно пожилой (по сравнению со мной тогдашним) шахтер допустил в отношении меня нечто такое (в чем было дело, не помню), я ему привычно ответил в той же тональности и считал инцидент исчерпанным. Действительно, к конфликтным отношениям такие столкновения обычно не приводили. Не грозил никакими последствиями и этот эпизод. И он бы давно забылся, если бы...

Если бы не случайно оказавшийся свидетелем этой сцены молодой человек лет тридцати, тоже простой шахтер. Я его совсем не помню, помню только, что лицо его было простым и озабоченным, добрым. Но слова его я запомнил на всю жизнь.

— Ты неправ, Наум! — повернулся он ко мне. — Конечно, он тебя ни за что облаял. Но отвечать ему тем же ты не должен был. Ты пойми... Ведь этот работяга уже пожилой, а что он видел? С ним ведь никто как с человеком не разговаривает — все только матюкают. И ты туда же... А ты ведь все-таки другой, и он это знает. Если он еще раз начнет выкобениваться, ты ему вежливо — на «вы», обязательно на «вы» скажи: «Зачем вы так себя ведете? Вы ведь взрослый серьезный человек. Стыдно вам так себя вести». И вот увидишь — он смутится, но ему будет приятно, что ты его человеком считаешь. И, будь уверен, больше он тебе грубить не будет. Он сам, конечно, матерится, но когда материшься ты, ему кажется, ты считаешь, что он другого разговора вообще понять неспособен.

Слова эти подтвердились буквально. Когда тот же работяга еще раз попытался мне нахамить, я поступил так, как посоветовал этот человек, и реакция была точно такой, как он предсказал.

Повторяю, я не запомнил его лица, но слова эти не только остались во мне навсегда, но я навсегда остался ему

за них благодарен. И даже не потому, что его советы мне уж так пригодились для общения в шахте. Меня там больше никто не обижал, и я ни на кого не огрызался, никого не увещевал. Да и проработал я там недолго. Благодарность моя имеет и более общий смысл... Этот «простой» человек открыл мне нечто такое, чего я не знал. Я понял, что по каким-то причинам (вряд ли я им говорил о своей причастности к литературе) меня, как бы я себя ни вел, какими бы простыми ни были мои отношения с окружающими, все равно воспринимают как представителя иного, в каком-то смысле более высокого круга. И могли с повышенной остротой воспринимать нюансы моего поведения, находя в нем симптомы моего подлинного — уважительного или неуважительного — отношения к ним. Подчеркиваю, «могли» — это не значит, что только так и воспринимали. Я, например, и до шахты, и в шахте, и после нее на такое почти не натыкался — во мне никакого высокомерия не только нет, но обычно и не подозревается. Но эти поразившие меня слова открыли мне нечто еще более важное — психологическую униженность простого человека. Я с этим столкнулся впервые (у симских инструментальщиков, создававших свою персональную незаменимость и свое мастерство, таких комплексов быть не могло). И то, что это предполагалось возможным даже у шахтеров, которые тогда зарабатывали больше, чем когда-либо многие люди моего круга (причем предполагалось человеком, хорошо знавшим эту среду), — меня потрясло... Я почувствовал, что, несмотря на высокий пропагандный статус «советского простого человека», он при любой зарплате чувствует свою униженность. Уже потом я сформулировал для себя, что советское государство — а теперь и «освободившиеся его ученики и наследники» — относилось к нему даже не как к быдлу (то есть как к чему-то все-таки живому), но как к материальной массе, как, допустим, к замазке, когда нужно утеплить оконные стекла, только иногда еще более дешевой. Но это я сформулировал намного позже, но что-то почувствовал и тогда. И тогда я понял, что в моем поведении, когда я оказываюсь не в своей среде, не должно быть ничего такого, что может быть принято за неуважение или пренебрежение. Ничего такого в моем отношении к людям и до того не было даже в помине, но надо, чтоб твое поведение и случайно так истолковать не могли.

В связи с этим встает вопрос об употреблении мата. Я признаю, что эта дурная привычка, к сожалению, есть и у меня, вошла, как говорится, в плоть и кровь. Но даю я ей ход только в частных отношениях, когда люди — пусть даже самые простые — меня хорошо знают, чувствуют и неправильно не истолкуют. «Свойский» мат или нечто подобное с трибуны или сцены в устах «товарища из Центра» (или члена Союза писателей, артиста, лектора, когда те выступали на периферии и просто на предприятиях) воспринимается именно так. Или только воспринимался раньше? Если это так, никого с этим не поздравляю. Это победа хаоса, а не внутренней свободы личности или высокого вкуса.

Не знаю, верил ли открывший мне глаза на эту проблему «простой человек» в Бога — никаких разговоров на религиозные темы я в шахте вообще не слышал, — но, как я теперь понимаю, сознание его было религиозным. Так или иначе, он укрепил во мне здравый смысл и совесть. Спасибо ему.

Я вполне допускаю, что среди шахтеров были и верующие. Особенно среди немцев. Ведь это были немцы Поволжья, потомки религиозных диссидентов, людей в вере крепких — они потому и оказались в России, что на родине их преследовали за религию... Тем не менее разговоров о Боге я в шахте действительно не слышал, но зато разговоров о нечистой силе сколько угодно. Правда, не вообще, а о подземном ее варианте. Началось это в один из первых дней моей работы. Однажды, после безуспешной попытки меня разыграть, кто-то вдруг спросил меня:

— Наум, вот ты один ходишь по выработкам — неужто не страшно?

— А разве там опасней, чем в лаве? — не понял я.

— Не в том дело-то... А что, если хозяина шахты встретишь?

Вопрос прозвучал для меня странно. Термином «хозяин» в те времена именовали глав всех существенных предприятий и учреждений (по аналогии со Сталиным, которого за глаза так именовали в высших и средних эшелонах власти), я решил, что речь идет о начальнике шахты, который время от времени лично обходил подземные участки. Удивился:

— А чего мне его бояться? Что он мне может сказать? Я ведь не болтаюсь без дела. Я ведь обязан ходить с участка на участок... — удивился я.

— Ты что? Думаешь, мы про Никитина? Мы о настоящем хозяине шахты. Он тут бродит иногда...

Поначалу мне показалось, что меня пугают призраком дореволюционного владельца шахты, но быстро опомнился — такого быть не могло, ведь шахта построена после революции. Оказалось, что это нечто вроде шахтного домового или черта. Естественно, я и это принял за розыгрыш. Но оказалось — не тут-то было. Те, кто прислушивался к разговору, скоро обо мне вообще забыли — стали напоминать друг другу известные им всем достоверные истории, уточнять подробности, спорить о деталях. Обычно этот «хозяин» поджидал одиночек на заброшенных выработках, в крайнем случае на вентиляционном штреке — там, где люди ходят редко, — и пугал их. Я не помню, чтобы кому-нибудь он причинил реальный вред, но пугал сильно, изошренно, торжествующе. Точно я запомнил только рассказ о какой-то мотористке или взрывнице, — кажется, они ее называли Веркой. Верке почему-то понадобилось пройти по вентиляционному штреку — спешила, видимо, куда-то... Шла и вдруг на какой-то балке потолочного крепления сбоку ее отвратительным голосом поприветствовало что-то мохнатое и страшное, хотя и не очень крупное. Как это существо могло усидеть на потолочной балке — не знаю. Вцепившись когтями, как кошка? Но ведь и кошка в таком положении долго не усидит. Но этот вопрос никого не занимал — потустороннее существо в любом положении удержится. Верка, естественно, бросилась бежать к людскому ходу, к отслужившему шахтному двору. Но хозяин шахты прыгнул ей на плечи и вцепился в волосы, а главное, отвратительно хохотал за спиной вконец перепуганной Верки. Только перед самым людским ходком он отпустил Веркины волосы и, крикнув на прощание: «Спасибо, прокатился!» — спрыгнул наконец с Веркиных плеч.

Этим рассказам шахтеры, мало сказать, верили, они воспринимали их как нечто всем известное, как очевидность, как неотъемлемую хотя и таящуюся часть их жизни и быта — обстановки, в котором они жили. А тому, что большинству из них этот хозяин не встретился, тоже было объяснение — им почти не приходилось ходить по шахте в одиночку. Видимо, у этих людей, в основном крестьянских детей, в неестественных подземных условиях подспудно

вырабатывалось ощущение, что они зашли в чьи-то чужие кладовые, у которых есть их подземный потусторонний хозяин («подземный царь?»), и грабят их, что не может не пройти безнаказанно. Этот хозяин помешать в этом людям бессилён, но мстит как умеет — в основном одиночкам. Это ощущение бытует на уровне подсознания, а не сознания. Если бы кому-либо из рассказчиков этих историй приписали такой образ мыслей, он обиделся бы: «Ты что, меня темным дураком считаешь?» Но такое подсознательное ощущение имело место, и оно живо откликается на такие рассказы. Подобные рассказы бытуют среди всех, чья жизнь и работа связаны с властью стихии, которая никогда не бывает покоренной до конца. Например, среди моряков.

Что это — выдумки? Нет, эти рассказы правдивы во всех деталях. Конечно, я не верю, что Верке действительно встретился хозяин шахты собственной персоной, но я абсолютно уверен, что она его действительно *видела* и что, когда она бежала по штреку к людскому ходку, действительно ощущала его вес на своих плечах и слышала его торжествующий хохот за своей спиной. Она ничего не выдумала, с ней это было. Другое дело, были ли для этого основания вне ее, действительно ли *существовало* то, что она *видела*.

Остальных рассказов о «хозяине шахты» я не помню, но образ этого мифического существа везде один и тот же.

Шахта вообще располагает к видениям. Уже примерно через год после этой практики встретил я в Новом городе своего приятеля и бывшего насадчика (заместителя Божкова) Аркадия, надежного и доброго человека, о котором я и теперь не могу вспомнить без теплоты в сердце. Но для того, о чем я сейчас рассказываю, важно только то, что речь идет о человеке совсем не темном, разумном и спокойном, совершенно не склонном к экзальтации. Зашли в ресторан, выпили по рюмке, поговорили, повспомнили о том о сем. И вдруг среди всего прочего я услышал:

— А знаешь, Наум, что со мной было? Ты, наверно, не поверишь. Я бы и сам не поверил, я над этими шахтерскими байками всегда смеялся, а вот случилось. Недавно. До сих пор в себя никак прийти не могу. Ну ладно — давай по порядку. Понимаешь, осматривал я штрек на третьем горизонте — состояние крепи проверял. И вдруг вижу, кто-то идет — прямо мне навстречу. Идет, лампочка на каске све-

тится, покачивается, как всегда при ходьбе. Я точно знаю, что тут никого не может быть, делать тут никому кроме меня нечего. Кто ж это может быть? Всматриваюсь получше и вдруг глазам не верю: это мой друг — его завалило в шахте три года назад. Как раз где-то поблизости. Идет. Точно такой, как был — все на нем аккуратно пригнано. Прошел мимо меня, метрах в двух. На меня даже и не глянул. Потом повернул вверх на людской ходок и скрылся. Я осветил под ноги — следы остались. Как хочешь, так понимай, а меня холодный пот прошиб...

Такое вот происшествие. Как его понимать, я до конца и теперь не знаю. Понимаю, что был там Аркадий один, знал, что тремя годами раньше где-то здесь погиб его друг. Возможно, он об этом и не думал, но где-то в подсознании помнил, жило это в нем. И вышел этот его друг не из-под какого-нибудь завала, а из глубины подкорки, из самого Аркадия — такие вещи часто случаются независимо от сознания и воли человека. И ведут себя эти призраки тоже независимо от его воли, как герои настоящих художественных произведений независимо от воли автора. Да и в сновидениях тоже.

Кстати, похожий, но лишенный драматизма случай произошел и со мной. И отнюдь не в шахте, а через тридцать семь лет после нее — в Москве. И не тогда, когда я в ней жил, а когда впервые, после пятнадцати лет эмиграции, туда приехал. После одного из моих выступлений, когда я, окруженный людьми, вышел из зала в холл, там вдруг передо мной возник мой ныне покойный, а тогда еще полный сил товарищ, тоже эмигрант, Сергей Мюге, о котором я точно знал, что он сейчас в Нью-Йорке. Однако он был здесь и стоял передо мной в своем обычном зимнем облачении, преградив мне дорогу, и торжествующе покачивался на носках. При этом он хитро улыбался, как человек, очень довольный своей проделкой — тем, что я остолбенел от неожиданности. А попробуй не остолбеней — я, конечно, знал, что он очень любил такого рода проделки, а эта была как бы из его репертуара (что усиливало впечатление достоверности от этой картины), но все-таки пересячь океан только для того, чтобы на недолгий срок вызвать мое замешательство, — это было слишком даже для Серережи. Я не успел и слова вымолвить, как меня кто-то

отвлек вопросом. Отвечая, я на секунду перевел взгляд на того, кому отвечал. А когда опять повернулся к Сереже, того уже не было, испарился. Общие знакомые, у которых я наводил справки, сказали мне, что Сережа действительно в Москву приезжал, но недели за три до моего появления улетел обратно (это я и сам знал, потому и поразился), и, что главное, сейчас его в Москве и в России нет. Последнее уничтожало всякие сомнения. Потом эту информацию подтвердили и мои друзья-эмигранты, да и сам Мюге. Да что говорить! Не такой он был человек, чтобы, приехав в Москву, засекретить себя от друзей ради какой-то проделки или хранить ее в тайне спустя срок. Это ведь не смешно и не весело. И так достоверно и то, что Сергей Мюге в тот день был в Штатах, и то, что я его в этот день видел в Москве. В людном светлом холле, а не в сыром заброшенном штреке. Да, я был в те дни очень усталым, мог на секунду уснуть и увидеть все это во сне. То же самое могло случиться с Аркадием в подземелье, само пребывание в котором — дополнительная нагрузка для шахтера, дополнительный фактор усталости, даже если он этого не сознает. А Аркадия еще окружали мрак и одиночество. Я ведь тоже ходил один по выработкам, но выработки эти были хоть и малолюдные, но вполне обитаемые — функционирующие, — совсем другое самоощущение.

Тут впору вспомнить Гамлета: «На свете много есть такого, друг Горацио, что вашей философии не снилось». Конечно, в жизни есть много необъясненного и необъяснимого. И может быть, я тоже со своей философией здесь нахожусь в положении друга Горацио, и когда-нибудь откроется нечто такое, что опрокинет все мои построения. Но пока это не произошло, мне приходится оставаться при своей философии — возможно, и куцей (но, возможно, и нет).

Однако потусторонняя тематика меня тогда мало занимала. Впрочем, как, несмотря на все доверие к этим страшным историям, и самих шахтеров. Да и рассказывались эти истории только изредка, во время перекуров — в остальное время им было не до того. Употребляю я здесь термин «перекур» только по аналогии. В шахте никто не курил — было строго запрещено, да и никто сам себе не враг, — но табак употребляли, закладывали его за щеку и посасывали — называлось это «насвай». Интересовали меня не эти истории, а сами люди — их взаимоотношения и восприятие жизни.

Начну с обобщения. По всем своим проявлениям это были обычные русские люди — даже если это были немцы или кто другой. Конечно, условия работы и положения накладывали на них свой отпечаток. Все-таки работа, как уже сказано здесь, «в тылу у природы» и связанное с этим напряжение и все-таки нигде в другом месте человек, практически не имеющий никакого образования (вспомните парня, пораженного тем, что при хорошем зрении очки только мешают видеть) и весьма скромной квалификации, только за счет физических сил согласившийся часть жизни проводить под землей и подвергать ее опасности (навалоотбойщики, помощники машиниста комбайна), может работать так много. Разговоров на общественные темы, несмотря на то что коллектив состоял из «контингентов», я не помню. Другое дело, что ко мне относились хорошо еще и потому, что я тоже «подвергался», но это работали чисто человеческие факторы — понимание и сочувствие. А может, и попросту опасались высказываться принародно — «контингенты» народ пуганый. Впрочем, заслуживать у них хорошее отношение и не надо было — в принципе они априори относились ко всем, кто появлялся под землей, хорошо, заслужить у них надо было отношение плохое. На моей памяти его заслужил только один человек — «помглавного» (помощник главного инженера) Щеглов.

Нет, это не было проявлением затаенной ненависти к начальству вообще. Кстати, к шахтному начальству шахтеры относились скорее индифферентно, чем враждебно — случай с «бунтом» посадчиков имел причиной суперлокальное раздражение, даже если в нем выразилось накипевшее за все годы сталинских пятилеток... В конце концов у шахтеров с этим начальством были общие интересы — побольше добыть угля и избежать аварий. От этого зависел заработок шахтеров, и так немалый, но существенно увеличивавшийся от перевыполнения нормы, но также и положение начальства (в том числе и материальное). Короче, антагонизма не было.

Кстати, и «помглавных» на шахте было как минимум двое. Возможно, по два на каждую смену, но я в этом не уверен — я знаю двоих. Вторым был Александр Разуваев, которого шахтеры называли запросто Саша, он был из местных. И которого очень уважали за то, что он был трудяга.

Его специализацией была расшивка узких мест, то и дело возникавших при добыче угля. То «забурится» (сойдет с рельс) вагонетка, полная угля, то конвейер станет. То еще что-нибудь — в устранение всего этого он вкладывал не только свою распорядительность, но и личное участие. Его распоряжения в глазах шахтеров имели смысл и были на пользу делу, и их охотно выполняли.

Другое дело Щеглов. Его «специализацией» — на что-нибудь другое он вряд ли был способен — была «трудовая дисциплина» — следить за тем, чтоб шахтеры не спали, и вообще быть погонялой. Прежде всего, это было нелепо. Даже если исходить из самых эксплуататорских побуждений, погоняла в шахте был не нужен. Шахтеры от работы, как уже говорилось, не отлынивали, и кричать в лаве «Давай-давай!» было не с чего. Однако Щеглов, оправдывая должность, орал... А насчет побудки придремавших — тоже странность: ведь заработок у бригады в лаве — общий. И если кто-то из бригадников не участвует в работе, не валит лопатой уголь на транспортер, значит его работу выполняют другие, а он будет получать за это наравне с ними, то есть за их счет — кому это понравится и кто на это осмелится? Желаящим ездить в рай на чужом горбу шахтеры вовсе не потакали.

Вспоминается мне в связи с этим один случай — правда, не в лаве, а на проходке. В одной из выработок работали два проходчика — по моей классификации, дети раскулаченных. Сильные, складные. Неторопливые. Все время работали — даже разговаривая со мной. Мне они о своих делах не говорили, но однажды, когда я к ним пришел, я застал у них начальника участка. И узнал, что они очень недовольны своими сменщиками, вместе с которыми составляли то, что тогда называлось «комплексная бригада». Это изобретение было тогда последним криком официальной моды, очередная «передовая форма организации труда». Очередная панацея от всех бед, внедряемая и поощряемая свыше. Заклучалась она в том, что заработок выписывался на всю бригаду (на все смены), так что работа передавалась сменами из рук в руки и ни на секунду не прекращалась. Замысел не такой уж глупый, но он требовал от всех членов бригады одинаковой квалификации, работоспособности и добросовестности. Правда, и при этом под-

стерегают опасности, одна из которых реализовалась потом уже упоминавшимся взрывом на этой же шахте. Но там люди слишком спешили побольше успеть, наши же проходчики столкнулись совсем с другим. Выработка записывалась на обе смены, а придя на смену, они заставляли забой почти таким же, как оставили, ничуть не продвинувшимся. По стечению обстоятельств меня в тот день попросили отдежурить вторую упряжку, и, придя в другую смену, в тот же забой, я увидел и их собригадника. Он лениво отбросил пару лопат, а потом разлегся на горке угля и доверительно сообщил мне: «Что-то неохота сегодня работать». Потом зевнул. Похоже, вчера он был в том же состоянии. Но проходчики с этим мириться не стали и попросили эту комплексность с ним разрушить. Это на проходке, а в лаве, где все друг у друга на виду, такое «настроенчество» просто невозможно.

Поспать в лаве (то есть в выработанном пространстве, рядом) можно было только с согласия товарищей, чем особенно не злоупотребишь... Да и придремывали в основном, когда производственная обстановка позволяла, а оценить эту обстановку Щеглов был органически не в состоянии. И погонял — грубо, по-хамски, бессмысленно. И его терпеть не могли... И обошлось ему это дорого.

Однажды, когда я пришел в лаву, меня предупредили:

— Слышь, Наум. Только молчи! Там, в выработанном, Щеглов дрыхнет. Сам уснул, падла!.. Ну, ничего... Ребята ему тихо лампочку отрезали и в каску нассали (кажется, этим проделки не исчерпывались, но больше я не помню). Будет знать! Сейчас проснется, увидишь кино...

Через несколько минут действительно началось «кино». Прежде всего еще из выработанного пространства, послышался яростный и несколько обиженный мат Щеглова. Потом появился он сам, но без каски и лампочки, весь какой-то жалкий, растерянный и как бы стесненный в движениях из-за неуверенности в доброкачественном состоянии и всего остального, что было на нем.

— Гады!.. Бляди!.. Сволочи! — кричал он, но не объяснял, в чем дело, на что он, собственно, сердится... Да и что он мог объяснить? Ведь такое над ним — над главным надсмотрщиком за тем, чтоб люди не дремали, — можно было проделать, только когда он сам нарушил трудовую дисциплину.

лину таким же образом. Шахтеры это понимали и под аккомпанемент его ругани проявляли небывалое усердие в труде, а его возмущения как бы не замечали, делали вид, что это обычный щегловский «разнос», как всегда не по делу, а поскольку ни к кому конкретно он на этот раз не вяжется, то никто и не отвечает. Короче, никто и не догадывается, что с ним произошло. Надо ли добавлять, что ему в его беде никто не сочувствовал?

Не спорю, проделка эта злая, жестокая. Конечно, она резко отличается от обычных шахтерских подтруниваний и розыгрышей. Кроме всего прочего, она подводила незадачливого борца за дисциплину под меч административной немезиды, удар которой вскоре и последовал. В чем он выразился, сейчас уже точно не помню, но помню, что был он чувствителен. Шахтеры в принципе не любили подводить под административный меч кого бы то ни было, а тут сделали это с удовольствием — такое надо было заслужить. И Щеглов это заслуживал — упорно и старательно. И достарался. Виноват в этом был его характер или характер его функций (если он не сам свел свои обязанности к этим функциям) — не знаю.

Но я абсолютно убежден, что если бы в выработанном пространстве уснул кто-нибудь другой из «надзоров» — Разуваев или даже я, — ничего подобного бы не произошло. Наоборот, еще предупредили бы о приближении более высокого начальства, если бы такая угроза возникла. Я в этом абсолютно убежден, хотя случая проверить это не было. Разуваев спускался в шахту не для того, чтобы спать, да и я не помню, чтобы я когда-либо пристраивался где-нибудь прикорнуть — сознавал ответственность (вдруг недосмотришь, и все взорвется), да и просто мне было интересно. И не так долго я там проработал. Но и на старуху бывает проруха — если бы я проявил такую слабость, то мог бы себя чувствовать в полной безопасности — меня бы под монастырь не подвели.

Практически это почти все, что я помню о шахте. Осталась еще только одна тема — женщины в шахте. Нет, не противоестественность использования женщин на подземных работах — тем более что это после смерти Сталина было запрещено, а о женщине как таковой, так сказать, о взаимоотношениях полов — в шахте, точнее, в лаве. В суш-

ности, этой стороны жизни я в шахте не заметил. Несмотря на наличие под боком «удобств» — множества «альковов» в выработанном пространстве и некоторое количество наивных девушек-мотористок. Проблемы этой не было — к женщинам не приставали. Но женский труд под землей еще вполне допускался, женщины в шахте были, и значит, женские проблемы того времени в какой-то степени тоже ощущались... Конечно, и у моих газомерщиц тоже, но о них я уже говорил. Газомерщицы по сравнению с теми, о которых я хочу рассказать сейчас, были барышнями. Нелегкие женские проблемы того времени, конечно, задевали и занимали и их, но проявлялось это так же, как и у остальных городских девиц. Сейчас же я говорю о женщинах в лаве, причем о женщинах, воспитанных в семьях, вырванных из деревни, но не до конца затронутых городской цивилизацией. И все они работали на современном предприятии — шахте и все же оставались женщинами своей среды. О том, как эта их психология проявлялась в сложных условиях шахты, об их восприятии себя самих и жизни я и хочу сейчас немного поговорить.

С одной из них было совсем худо — она даже работала навалоотбойщицей. Шахтеры, ее товарищи, относились к ней безжалостно. Нет, не как к товарищу по работе — тут ее ни в чем не ущемляли и не притесняли. Безжалостно они относились к ней именно и только как к женщине... Ее никто не трогал руками — изгалялись языком. И именно к тому, *как* это делалось, потом, когда вспоминал об этом, я относил слова поэта Евгения Винокурова: «Ужасней простоты/ Нет ничего на белом свете». Никчемность и непривлекательность ее как женщины были предметом самых изощренных, острых и бесстыдно откровенных шуток. Она и впрямь не была ни красивой, ни привлекательной. И не столько из-за своих физических качеств — она была не только крепка, но и достаточно стройна, если взглядеться, — сколько из-за общего впечатления, которое она производила. Из-за собственного самоощущения и поведения — она была комком убогого, не верящего в себя самоутверждения. По-видимому, то, что она работала рядом с ними на этой одной из самых тяжелых мужских работ, шахтеров не умиляло, а раздражало. И действительно это выглядело противоестественно... Но кто ее знает, какая нужда загнала ее в

шахту на такую работу, какой воз она везла? Не из феминизма же она старалась.

От шахтерских подзуживаний она защищалась как умела, а умела плохо, нелепо. Что делать — умна она, судя по всему, тоже не была (или ее забитость заглушала ее ум), но кто сказал, что жить на земле имеют право только умные? Ее попытки защититься только подзадоривали остальных. Ее утверждение, что она замужем, вызывало хохот — дескать, кто на такой женится. Рыцарственным отношением к женщине тут вообще не пахло. Приводило это иногда к сценам безобразным... Запомнился мне один страшный разговор во время «перекура». Он не совсем приличен, но приходится этим пренебречь, иначе не передать всего, что за ним встает, всей меры забитости этой женщины, убогости ее мира.

Она на что-то разъярилась, стала запальчиво кричать, и кто-то по ней резанул:

— Тебя никто не *ебеть*, вот ты и злобишься.

Но страшно не это, страшен ее ответ.

— Вы уж тут как хотите, — между делом и, как ей показалось, гордо объявила она, — а меня муж *ебеть*.

И пошла что-то дальше молотить, развивая предыдущую тему.

Да, я сторонник простоты. И в жизни, и в поэзии. Но признаю и правдивость слов Винокурова — бывают на свете обстоятельства, когда — «ужасней простоты/ Нет ничего на белом свете». Все-таки некоторые романтики должны думать и представлять, что они имеют в виду, когда требуют «освобождения от цивилизации».

Вспоминается мне еще одна женщина, скорее девушка, в лаве. Было ей лет восемнадцать, а может, и шестнадцать, и работала она, кажется, мотористкой. Воспоминание это гораздо более приятное, но тоже располагающее к тревожным размышлениям. Хотя ни с ней, ни в ее душе не творилось на моих глазах ничего дурного, и сама она была очень привлекательной. Даже в шахтерской робе, даже в ватнике, в котором она ходила на поверхности. Она была вполне уверена в обаянии своей юной женственности и со мной, например, заговорила первая. Не думаю, чтоб для завлекательства, а просто ей было любопытно. Интриговало ее мое невероятное, по ее представлениям, «образование» — имен-

но образование: десять классов, в институте даже учился, а теперь, кажется, в техникуме, — а не образованность, обремененность знаниями... Так получилось, что мы шли домой вместе — я, она и юный шахтер, почти мальчик, которому она нравилась, похоже, он был в нее даже влюблен, и у нее с ним намечался или был роман. По дороге мне само собой был задан вопрос о моем пресловутом образовании, и высокий его статус был воспринят как фантастическое достижение. Однако про себя она мне без тени смущения сообщила, что учиться или читать книги ей плохо дается — видимо, не ее ума дело, да и неинтересно. Другое дело — прибрать, сготовить, пришить — тут она и любит, и мастерица. Должен сказать, что, хотя я не пробовал с ней заводить шуры-муры (слишком разного мы с ней ждали от жизни), но эта *L'enfant de la nature* мне тоже нравилась — уж очень сильно было в ней женское начало, я бы даже сказал, женская самодостаточность. Я и теперь вспоминаю ее с нежностью. Но не этим мимолетным намеком на чувство я хотел поделиться с читателем, а тревожными размышлениями и о ней, и о нас с вами. Лучше ли и достойней ли мы стали от того, что такие женщины, не увлекающиеся Шекспиром и не ценящие слегка Сен-Мара (Пушкин), но могущие и готовые легко и без чувства обделенности «прибрать, постирать, пришить, сготовить», то есть сделать жизнь терпимой и уютной, стали нам не нужны. И какая же она после этого *L'enfant de la nature* — разве возможна без этого цивилизация? Вопрос не столь прост. Я ведь и сам не смог бы долго жить с такой женщиной, как она ни прекрасна. Дело, конечно, не в ее необразованности, дело в том, что она самодостаточна на своем уровне и другого не хочет. А сохранился ли тот уклад, где она была бы более чем на месте?.. И в той отнюдь не патриархальной среде, где она жила, смогла ли она найти себе пару, чтоб кто-то не употребил во зло и не попользовался ее уверенностью в своей силе и ценности и не обманул ее потом или не стал пропивать все, что она добывала?.. Она была самодостаточной женщиной, а много ли воспитал Сталин самодостаточных и ответственных мужчин?

Хорошо бы, если б эта девушка нашла себе пару, хорошо бы, они поженились с тем шахтером, фактически мальчиком, с которым мы тогда вместе шли с шахты. Дошли до

какого-то перекрестка и расстались. Они повернули к какому-то шахтерскому поселку, где она жила в хибарке с матерью (отец у нее погиб — не помню только теперь, на фронте или в шахте). Что стало дальше с этим чудесным существом — не знаю! А тогда все было просто — они повернули в поселок, а я продолжил свой ежедневный путь к трамвайной остановке «Двадцатая шахта». Больше я с ними вместе не ходил, да скоро и практика моя кончилась.

Я забыл сказать, что всю практику я продолжал жить в общежитии, куда и откуда добирался на трамвае. Доезжал до двадцатой шахты и оттуда шел пешком минут двадцать. Иногда обедал в столовой на двадцатой основной (была еще и бис), что мне очень импонировало...

Однажды, правда, произошел казус. Поднявшись на-гора в день зарплаты, мы обнаружили, что в душевой нет горячей воды. Причина была простой — банщик, получив зарплату, запил. А ведь подземным надо было умыться обязательно, хотя бы чтоб переодеться в чистое. Так сказать, в цивильное. А теперь это сделать было невозможно... Шахтеры по этому поводу не очень матерились, отнеслись к происшедшему с пониманием. Но они жили рядом, могли дойти до дома чумазыми, и там умыться и переодеться. А каково было мне? Кажется, вышел из положения, умывшись кое-как холодной водой, хоть мыло с ней плохо мылилось. Но «с пониманием» в тот день я к банщику не относился...

Это случай хотя и досадный, но частный. И к тому же больше комичный, чем иной. И в воспоминании моем о моей подземной практике он только малый штрих, дополнительная краска. Хотя отнюдь не только этой краской окрашены мои впечатления о шахте. Практика кончилась, но что-то ведь осталось от нее в душе ценное — помимо некоторого технического опыта, который несколько расширил мой общий кругозор, хотя конкретно мне так никогда и не пригодился. Что-то мне открылось новое в людях, в стране, в народе. Окрепла моя связь с людьми. И что греха таить — нравилось мне ощущать себя хоть и липовым, но шахтером, членом этого могучего трудового братства. Не так это смешно, как сегодня некоторым может показаться. Себя я при этом не терял и не собирался терять.

Думаю, что кое-что из пережитого тогда отлилось в следующем, так никогда за все эти годы и недоработанном стихотворении. Поэтому я публикую его только здесь.

Ничего такого нету
Удивительного в том,
Что останусь я поэтом,
Не стану горняком.

Буду жить, в стихи ударюсь,
Стоять, на чем стою...
А когда настанет старость,
Вспомню молодость свою.

И захочется мне снова
После смены в год иной
Распивать чай в столовой
На двадцатой основной.

Об измене думать горько,
Вспоминать и ревновать...
А потом, надев спецовку,
Все мирское забывать,

Забывать, что буду завтра
Без тебя на свете жить,
И сливаться с ритмом шахты —
Думать, действовать. Спешить.

Прошу прощения у читателя за «Буду жить, в стихи ударюсь», но я из-за этого привожу эти стихи только здесь — не как стихи, а как факт биографии.

Карагандинская жизнь

Рассказывая о техникуме и шахте, я забыл рассказать о том, что к этому времени я уже приобщился к местной литературной жизни. Приобщился не столько творчеством, сколько профессионально: что никак не было моей победой, а победой моего малодушия.

Начну по порядку. Мне уже было 26 лет, я считал себя поэтом, был «широко известен в узких кругах» (слова Бориса Слуцкого, сказанные не обо мне), а между тем ни одна моя строка не была напечатана нигде, ни разу. Причины, конечно, были понятны, но закрадывалось мелкое подозрение: а не утешаю ли я себя тем, что это по политической непроходимости, не печатались ведь и мои лирические и иные стихи? Даже в просвещенном журнале «Знамя»... Конечно, и они не вписываются в образ счастливо-

бездумного человека сталинской эпохи, для которого все вопросы бытия решены (кроме фронтовых переживаний, но и эту тему к тому времени прикрыли), но опять-таки, может, это я себя только обманываю этим, а просто мои стихи не достигают некоей (правда, мне непонятной) профессиональной кондиции. Меня это исподволь мучило. И однажды я соблазнился — решил себя попробовать. Это было перед Новым годом — не помню только, 1952-м или 1953-м. Но я уже был в камуфляже — то есть в горной форме, что несколько облегчало мою задачу. Короче, я сел и написал новогодние лирические стихи. Они так и назывались — «Новогодний снег». Было в нем легкое описание заснеженной Караганды, помню, что там упоминались девушки, спешащие «сквозь ветер», и «живая деталь», касающаяся этих девушек — «Под мышкой с туфлями пакетик / А сами в валенках пока». Короче, все как в лучших домах. С этим я и предстал перед заведующей соответствующим отделом газеты «Комсомолец Караганды» незабвенной Ирой Лиховской. Потом мы были друзьями — и с этой замечательной благородной женщиной и с ее мужем Юрой, — но тогда мы были совершенно незнакомы. И я рассматривал свой визит в редакцию, где скоро со всеми подружился, как проникновение в стан врага.

И ведь знал я, кто обычно работает в редакциях, что в основном народ это живой, любопытный и расположенный к людям. Но ведь знал я и то, что *noblesse oblige*, что они по должности обязаны были стоять на страже псевдоидеологии и следить, чтоб кто-нибудь «не тот» (например, я) случайно не просочился на страницы нашей советской печати — был тогда в ходу такой термин: «просочиться». Ошибка моя была в том, что это второе мое «знание» заслонило в тот момент в моих глазах первое. Это нехорошо, но, с другой стороны, именно с этой стороны мне грозила опасность (потом она даже сработала — на время).

Так что в стане врага я, как и большинство тогдашних «врагов», чувствовал себя только в том смысле, что опасался. И в то же время меня туда манило, как в свой мир. Я ведь не мог не помнить, что мои друзья в Москве, да и я сам до ареста, были не более свободны, чем ребята из карагандинской редакции. Конечно, теперь я больше знал о сути строя. Но ведь и тогда понимал немало. Правда, с ка-

кого-то момента стал это «искренне» оправдывать. Что ж, и эти ребята тоже искренне оправдывают. Не столь глубоко-думно, как я? Но ведь и в Москве далеко не все это делали столь глубокодумно, что не мешало им быть хорошими и любимыми мной людьми. Не помню, с этими ли мыслями я шел тогда в редакцию, но шел, все это зная и чувствуя — для чистоплюйского презрения у меня не было никаких оснований — меня тянуло в свою среду. Я ведь и сам тогда еще не был принципиальным противником строя, только критиком сталинских порядков и лжи, но против пафоса строительства и труда никак не возражал.

Тем не менее мне сейчас следовало быть настороже — мы все были поставлены в такое положение, в котором изначально были запутаны все человеческие коллизии, и самые добропорядочные и потенциально нужные друг другу люди могли оказаться друг для друга опасными: я для них, имея задачу просочиться, они для меня — обязанностью не дать мне это сделать. Все это вместе и составляло фантаσμαгорию сталинщины. Как видите, хотя оснований для презрения к моим будущим собеседникам у меня не было, основания опасаться их все-таки были.

Но не идти уже не мог. Малодушие это или не малодушие — было мне уже невыносимо и дальше оставаться выше своего непечатанья, надо было себя проверить. И куда мне было деваться — стихотворение-то «по случаю» я уже написал, а оно не имело для меня никакого смысла, помимо того, чтобы быть напечатанным.

Редакция помещалась в небольшом одноэтажном доме в Большой Михайловке, рядом с Новым городом, вход был со двора. Я решительно толкнул входную дверь, прошел через тамбур и оказался в комнате, где сидело несколько молодых мужчин и женщин. С наигранной робостью человека, впервые попавшего в столь высокие и таинственные сферы (где, подумать только, *печатают* газету!), я спросил, кому здесь можно показать стихи. Меня направили к художавой женщине с добрым лицом — так я впервые познакомился с Ирой Лиховской, которая, собственно, вернула меня если не в литературу, то все-таки к какому-то подобию профессионального общения.

Но все это было впереди. Пока же она — похоже, она сидела в другой, отдельной комнате — углубилась в чтение

стихов очередного графомана, «чайника», как потом говорили в Москве... Естественно, без особой охоты, кому такое может понравиться — но добросовестно, как требовала должность. Я сидел с невинным видом. В том, что стихи должны ее удивить, я не сомневался. Стихи эти все же были на столичном уровне — в журналах тогда за случайными исключениями печатали не более существенные. И ей эти стихи понравились. Кстати, я тогда не понимал, что мне повезло — ошалевшие от малограмотного «самотека», а часто и сами не сильно разбирающиеся в предмете редакционные работники, не вникая, отметили все, что их отвлекало от дела с порога — да и чего можно было ждать от какого-то студента техникума! Но Ира разницу увидела.

— Стихи хорошие, — улыбнулась она и спросила (вполне, впрочем, утвердительно): — Вы, наверно, давно пишете?

Этот простодушно заданный вопрос был для меня, как понимает читатель, наиболее опасен, за ним неминуемо последовали бы другие. Но я оказался «на высоте» — не вышел из образа, ответил в духе принятой роли уверенно и даже хвастливо:

— Давно!.. Года два, не меньше (*а я уже три года отси- дел в связи с тем, что писал!*)

Ира приняла эту браваду за чистую монету, точнее просто не задумалась над моим ответом.

— Хорошо! — заключила она разговор. — Сейчас покажу редактору.

И вышла. Пока все шло по плану. Но торжествовать было рано. Минут через пять-семь Ира вернулась смущенная и сказала, что редактору стихи тоже понравились, но он сказал, что они больше подходят для литературного журнала, а газете в новогодний номер нужны другие — с итогами года, то есть воспевающие наши достижения за отчетный год. Вот такой вышел абшид — перестарался. Но с выводом, что редактор этот был бюрократическим тупицей, не торопитесь. О нем — потом, и все с ним сложнее. Я не был польщен (сам эти стихи я ни в грош не ставил), но был ошарашен. Выходило, что и здесь я зря старался. Но решившись ступить на путь греха, сходить с него не солоно хлебавши было уж совсем нелепо. И я спросил — уже деловым тоном:

— А к какому времени вам нужны «итоги»?

Этим вопросом я неосторожно выказывал некоторое знакомство с редакционной «кухней», несколько неожиданное в устах неопита. Но Ира не удивилась, даже не заметила этого — ее огорчала нереальность моего намерения.

— Да что вы? — ужаснулась она. — Теперь уже поздно. Завтра в час дня — крайний срок. Самый крайний. Нереально...

— Ничего, я попробую, — ответил я скромно, не видя при этом в своем намерении ничего несбыточного. И вообще особенно трудного. Оно, конечно, требовало определенного уровня квалификации, но на самом деле исполнение его сложности не представляло. И я приступил к этому исполнению немедленно — как только это стало возможно. То есть когда на ночь глядя общежитие затихло. Но и тогда не в нашей комнате, где я бы мешал ребятам спать, а, так сказать, в холле, за столом дежурного при входе в общежитие. Требуемые стихи про «итоги», «летопись наших побед», я написал часа за два — чеканным напряженным стихом, я бы сказал, «наровчатовским ямбом», хорошо подходившим к случаю (что Наровчатова, разумеется, никак не компрометирует — профанировать можно кого угодно). Стихи излучали пафосную уверенность.

Наверное, помогал мне в этой имитации (как и во многих последующих) опыт моей предрестной «сталинистской» настроенности. Я отчасти выражал как бы самого себя, но такого, каким я был когда-то... Но это уже технико-психологические уловки, к творчеству отношения не имевшие и мной за творчество не принимавшиеся. Но пока речь идет о первом моем опусе такого рода... Так или иначе, назавтра, часов в 11—12, я отнес его в редакцию, он был принят, и на следующий день стихотворение было напечатано.

На ребят из нашей комнаты это произвело оглушающее, почти шоковое впечатление. Конечно, не само стихотворение, а то, что это чудо произошло буквально на их глазах, что они были свидетелями всего процесса. На их глазах стихотворение, так сказать, замысливалось, писалось и написалось ручкой, а теперь обрело форму печатного слова. Велико еще было тогда в стране уважение к такому слову.

Так началась моя локальная литературная деятельность. Правда, перед публикацией неожиданно опять возник вопрос о псевдониме. Возник он вовсе не как условие публика-

ции. От меня никто его не требовал, а сам я после издевательского раскрытия скобок во время антикосмополитической кампании и слышать о нем не хотел и вполне уверенно собирался подписать этот опус своим подлинным именем. И я бы, конечно, сделал это, если бы случайно не встретил на улице Соломона Ефимовича. Услышав от меня о моем «успехе», он тут же осведомился, как я собираюсь подписываться. Мой ответ его ужаснул. Он потребовал, чтобы я ни в коем случае этого не делал, а обязательно взял псевдоним. Но не для того, чтобы скрыть еврейское происхождение («Подписывайтесь как угодно, хоть Рабинович!» — кричал он), а для того, чтобы не напоминать о себе как таковом московским гэбистам. Это было разумно, и я внял его увещаниям. Псевдоним себе выбрал, конечно, не «Рабинович», что в качестве псевдонима выглядело бы нелепым вызовом и как раз привлекло бы ко мне внимание — пусть не в Москве, а здесь, что было не менее опасно, — а нейтральный: Н. Мальвин. Этот странный псевдоним сопровождал меня до самого конца моего пребывания в Караганде. С этого момента моя локальная «литературная» известность начала расти как снежный ком. Конечно, она не имела никакого отношения к той известности, которая у меня была потом (и даже к той, которая была у меня в Москве до ареста), но все же я обрел некоторую профессиональную уверенность, что, наверное, тоже нелишне. Хотя широко применяемый и многое нивелирующий термин «профессионал» я давно уже очень не люблю. Конечно, профессиональные навыки необходимы в каждом деле, но применительно к литературе А.Т.Твардовский однажды вполне справедливо назвал их «малыми секретами ремесла». Отрицать их необходимость нелепо, но в двадцатом веке ими весьма часто пытались подменить большие тайны творчества. По разным причинам. Прежде всего потому, что эти тайны вообще менее уловимы, то есть менее доступны для освоения. Можно их и не заметить — заниматься всю жизнь литературой, и не подозревая об их существовании. А уж в такие эпохи, как описываемая, мало что к этому постижению и располагает. Ибо так или иначе это постижение «больших тайн» связано с проявлением самосознания, а такое не поощрялось ни в какой форме. И многие, даже неглупые люди занимались сакрализацией этих малых секретов, стрем-

лением представить их даже перед самим собой большими и главными, а себя без тяготящего риска причастными к высокому. На сакрализации этих секретов жила почти вся тогдашняя «лучшая» литература. Если встречалось в каком-либо произведении что-либо слишком свое, даже если оно и не пахло крамолой, это чаще всего инстинктивно вычеркивалось «чуткими к времени» редакторами, выполнявшими роль цензоров. Стихи, которые я тогда писал и печатал, были реализацией (и малодушным доказательством мне самому) моего овладения этими «малыми секретами». То есть, как я и теперь полагаю, были на уровне этой тогдашней «хорошей» литературы (об исключениях вроде Твардовского или даже Симонова я не говорю, да и они были больше связаны с войной), но сакрализации я никакой не допускал. Мысленно составляя для себя в декабре список написанного за год, такую свою печатную продукцию я просто не учитывал. Она была фактом моей биографии, а не творчества. Мне надо было получить доказательство, что я умею. И я их получил. В основном такие стихи были нейтральны по отношению к тому, что я думал, просто в них для меня (а значит, и для других) не было никакой необходимости. Но однажды (уже в «Социалистической Караганде») я зарифмовал речь Сталина на XIX съезде КПСС, отнесся к этому как к экзерсису — прельстила сложность задачи. Цинизм все это? Не знаю. Но мимикрия точно. Но какой был у меня выбор? «Искренне» приспособлять свой внутренний мир к допускаемым нормам было бы хуже — это значило бы потерять самого себя. Цинизм в этом случае был спасительным, антисептическим снадобьем. Я ведь не мог перестать знать и понимать то, что узнал и понял, и все-таки, как почти все молодые люди, нуждался в самоутверждении.

С началом моей «литературной» деятельности круг моих знакомств стал стремительно расти... Конечно, за счет работников редакций двух русских газет, выходивших в Караганде (кроме «Комсомольца Караганды», естественно, была еще и партийная «Социалистическая Караганда», до которой слух обо мне дошел довольно скоро — об этом чуть ниже). Но не только за счет газетчиков. Не в последнюю очередь и за счет молодежи, пробующей свои силы в писательстве, — Ира Лиховская предложила мне посещать лит-

объединение при редакции. Строго говоря, мне нечего было там делать, но, как бы то ни было, собирающихся там объединял интерес к литературе, и я, соскучившись по литературному общению, согласился. Особых впечатлений от посещений у меня не осталось. Помню только, что выступил на первом же собрании и, так сказать, сразу проявил компетентность... Благо стихи в этот вечер читал Петр Гриднев, человек, явно не лишенный поэтической жилки, и было на чем свою застоявшуюся компетентность проявить. С Гридневым — он тогда работал главным бухгалтером областного треста (или управления) совхозов — мы почти сразу подружились. Нас связывала не только любовь к поэзии, но и общее «преступное» прошлое — он отсидел срок по статье 58/10. Может показаться странным, что это не только не помешало занятию им сравнительно высокой должности (впрочем, в Караганде, как уже отмечалось, и не такое бывало), но и не препятствовало появлению его имени в печати. Последнее могло быть только, если его прошлое не было известно окружающим. Так оно и было. Сейчас мне кажется, что ему удалось не только скрыть свое прошлое, но и каким-то хитрым образом даже получить «чистый» паспорт — то есть без коварной приписки к ответу на вопрос: «На основании каких документов выдан паспорт», гласящей «...и статьи 39 (или 38, как у меня) положения о паспортах». Это была каинова печать, удостоверение о жестком ограничении прав. Увидев эту «невинную» приписку, каждый милиционер и каждый кадровик знали, с кем имеет дело и куда его предьявителя не следует «пускать». Так вот этой каиновой печати в Петинном паспорте не было. Но он все равно благоразумно поселился в Караганде, где на общем фоне он вряд ли мог вызвать интерес «компетентных» органов. Дружба моя с Петей Гридневым продолжалась до самой моей эмиграции, он навещал меня и в Москве. Правда, тут же погружался в чтение самиздата и тамиздата, которого у меня всегда было много.

Познакомился я в литобъединении и тоже подружился с человеком по фамилии, похожей на Бальтерманц. Он работал где-то диспетчером. Писателем он не только не был, но даже не ощущал себя. Однако был при этом способным очеркистом. Примерно в это время, то есть году в 1952-м, еще при Сталине, он написал и напечатал разоблачитель-

ный материал о каком-то офицере МГБ — разумеется, не о его делах по службе, а о его «недостойном члена партии, офицера и чекиста» поведении в быту. В чем заключалось это «поведение», я теперь уже не помню, но помню, что оно было уж каким-то очень гнусным. Но дело не в этом — отрицательные материалы о работниках МГБ тогда вообще не допускались. Еще строже, чем о партийных функционерах. В любой момент эта публикация могла быть выдана начальством этого офицера за «попытку дискредитации наших славных органов» и дорого обойтись и автору, и редактору (согласитесь, этот эпизод кое-что говорит и о редакторе). Но обошлось. Газета в рубрике «По следам наших выступлений» напечатала ответ, что факты подтвердились и меры приняты. Как будто речь шла о рядовом советском учреждении. Видно, уж очень гнусен был этот офицер и в глазах своих сослуживцев.

С этим «Бальтерманцем» отношения у нас были не очень тесные, но вполне доверительные. И мое доверие ничем и никогда не было обмануто. Но оно послужило причиной того, что однажды, придя к нему в гости, я попал в очень затруднительное, чтоб не сказать рискованное, положение. Он познакомил меня со своей соседкой, инженером, киевлянкой, украинкой, обаятельной и сильной женщиной, успешно делавшей вполне достойную карьеру. Она была немногим старше меня, но в то время была уже главным инженером не то какой-то крупной шахты, не то даже целого треста и, судя по всему, с работой вполне справлялась... Не было в ней и тени антисемитизма, который тогда в аппарате понемногу становился критерием идеологической выдержанности. Все это способствовало тому, что я потерял бдительность. И стал рассказывать все, что знал — о жизни, о том, как Сталин узурпировал революцию и уничтожил настоящих революционеров-коммунистов, по общему тогдашнему убеждению многих — цвет человечества. Констатации мои были правильны, понимание произошедшего с Россией и система ценностей, с точки зрения сегодняшнего моего восприятия — идиотскими, но в тогдашних обстоятельствах и то и другое было не только серьезным приближением к пониманию реальности, но в связи с этим и крайним и жестоко наказуемым вольнодумством, а и просто, узнав все это, человек терял гармоничные вза-

имоотношения с окружающим. И она оказала мне бешеное, я бы даже сказал, свирепое сопротивление. Так что, уйдя, я стал бояться, что она донесет. Просто из иррационального страха — вдруг узнают, что она слышала такое и не донесла. Хотя «узнать» было неоткуда — Бальтерманцу она доверяла, а мне на себя доносить тоже вроде не было смысла... Да ведь страх сильней логики. Но она не донесла. Только взамен потребовала (как дня через два сообщил мне Бальтерманц), чтоб я больше никогда не появлялся в их квартире. Через несколько месяцев умер Сталин, но эту женщину я больше никогда не видел. Да и Бальтерманца скоро потерял из виду: такова жизнь — закрутила, хотя ничего против него никогда не имел. И к этой женщине никакого зла никогда не питал и не питаю. Подлости она не совершила, а остальное — ее дело! И чем дальше, тем больше я уверен, что главным, что определяло ее поведение, была не боязнь наказания и неприятностей. Просто в те годы даже в глубине души было страшно приближаться к истине, сущность которой если не знали, то подозревали почти все!

Из членов этого объединения мне надо отметить Михаила Бродского, с которым я тоже поддерживал отношения и после Караганды... Потом он тоже учился в нашем техникуме. Он обожал все, связанное с литературной деятельностью, и был в этом очень трогателен. Попал он в эти места еще до войны — его отец был сослан не то в Щучинск, не то в Каркаралинск и там забыт, что спасло его от ГУЛАГа или даже от пули. В Караганде все было связано с историей.

Но я отвлекся от разговора о своем первом «выходе в свет». Остановился я на том, что проявил компетентность при разборе стихов Петра Гриднева. Эта компетентность была замечена всеми присутствующими. И хотя я отнюдь не преувеличивал масштабы этого «достижения», оно пошло мне на пользу. Я снова был в своем образе, в своей силе и летел домой в общежитие как на крыльях. Перемена во мне была замечена всеми. И неудивительно. Ведь вообще, несмотря на то что в техникуме ко мне относились хорошо, все равно необходимость все время вести не свою жизнь меня подавляла, и обычно я, несмотря на свои двадцать семь лет, выглядел вялым стариком (фотографии сохранились), а тут это как рукой сняло. Я побывал там, где меня воспринима-

ли адекватно моему представлению о себе. Я как бы побывал хоть недалеко, но все же за шлагбаумом, перегородившим мои пути.

Однако вернемся к сюжету. Хоть уже говорил, что слух обо мне дошел и до главной, то есть партийной газеты (об этом чуть позже), но сначала я, естественно, подвизался в комсомольской, которая меня «открыла». И очень скоро познакомился и как-то даже подружился с ее редактором — с тем самым, который не пропустил мое «лирическое» стихотворение. Я многим обязан этому человеку... Но вот беда, — фамилию его я хорошо помню — Гусев, а вот имя-отчество я, к стыду своему, забыл. Кажется, Виктор Владимирович, но уверенности нет. А ведь обращался я к нему именно по имени-отчеству! Видимо, в дальнейшем, рассказывая о нем, мне придется имени-отчества избегать. С самого начала этот человек принимал во мне живейшее участие. И что самое главное, это продолжалось и тогда, когда мое «преступное прошлое» внезапно (по моей же глупости) обнаружилось. То есть обнаружилось, что я его коварно обманул.

Этому предшествовало следующее. Некоторое время я ограничивал свою деятельность «Комсомольцем Караганды», а в «Социалистическую Караганду» и не совался. Но в редакцию был назначен новый редактор, Федор Федорович Боярский, личность яркая и интересная, о которой я еще буду говорить... Пока же для нас важно только то, что он решил устроить нечто вроде смотра сил местной литературной самодеятельности, и вместе с другими был на этот смотр приглашен и я... Так я впервые попал в редакцию этой газеты, стал там печататься и стал как бы своим. Это меня и подвело.

Однажды с одним из работников этой газеты, личностью нравственно весьма колоритной, мы зашли в гостиничный ресторан — один из двух в Новом городе, посидели, выпили, возник сердечный разговор, и я разоткровенничался, рассказал о себе. На другое утро он не преминул сообщить эту важную новость редактору. Думаю, что и редактор, насколько я его потом узнал, скорее всего, и сам об этом догадывался — да и как еще объяснить мое появление в Караганде, да еще в Горном техникуме? Догадывался, но не доискивался и доискиваться бы не стал. Но раз

поступил сигнал, не оставалось ничего другого, кроме как «проявить бдительность». И меня от печатания отлучили... Не помню, чтоб я очень из-за этого страдал — то, что оно должно было мне дать, оно уже дало. А то, что это печатание и краем не задело моего подлинного творчества, так это и не планировалось. Да и продлилось мое отлучение недолго — через несколько месяцев нашими молитвами (помните тост: «каб сдох»?) Сталин под облегченный вздох своих соратников умер.

Но несколько месяцев при тоталитаризме только издали кажутся малым сроком, а когда находишься внутри них, они тянутся долго. Ибо каждый день, если не так повернешься, может оказаться для тебя роковым. Тем не менее Ира Лиховская, когда я к ней пришел, встретила меня очень приветливо, а когда я ей открыл свой секрет Полишинеля, сказала, что давно это знает. И более того, сказала, что меня хочет видеть редактор. И редактор — все-таки лицо номенклатурное и ничуть не оппозиционер — принял меня, как всегда. Посочувствовал и сказал, что теперь, к сожалению, газета моих стихов печатать не сможет, но чтоб я не прекращал своего сотрудничества с ней — сатирические стихи, подписи под карикатурами и т.п. газета все-таки будет, — просто мне придется найти другой псевдоним. Это было мужественное решение. Ведь кроме того, что я был «в прошлом репрессированным», то есть человеком, по отношению к которому следует проявлять повышенную бдительность, я был еще евреем, что тогда, в преддверии «дела врачей», усугубило бы положение Гусева, если бы «все раскрылось». Покрывать такого, дважды клейменного, человека номенклатурному лицу было противопоказано, грозило бедами.

Повторяю — через несколько месяцев проблема эта перестала существовать, опасность миновала, но кто знал, что так будет? Впереди был мрак, и просвета не было видно... Конечно, ощущение Ольги Львовны, что такое состояние общества идет к концу, потому что все находятся в противоестественных положениях и позах, как приткнувшиеся на вокзале, и долго так продолжаться не может, было верным. Могу даже предположить, что так ощущали многие, но не все это сознавали. Но чувствовать противоестественную духоту еще не значит знать, что она кончится,

тем более скоро. Да и сама Ольга не предполагала, что сроки столь близки. А Гусев, приходя мне на помощь, и не думал о таких материях. Он мог из-за этого все потерять в любой из оставшихся дней. Тем более что он, как и все мы, не мог знать, что они — «оставшиеся». И все же так поступил. И я никогда этого не забуду. Причудливо проявлялось и мужество в те патологические годы.

Конечно, меня, и его, и многих других сближала вера в настоящий коммунизм, в нечто подлинное — по мнению одних, попранное, по мнению других, усложненное, — что лежало или должно было лежать в основе нашей жизни. И от этого — подспудная симпатия к невинно пострадавшим за это, может, даже сохранившим это в чистоте. От этого тогда не были свободны многие, в том числе, по старой памяти, некоторые номенклатурные, в ком сохранилась память о собственной духовности — других ее форм и они не знали. Так или иначе, а решился смягчить мое положение один Гусев. И я продолжал сотрудничать в газете даже после начала истерической антисемитской кампании по поводу «дела врачей».

Я подошел к этому эпизоду нашей истории и моей жизни. Но говорить здесь о самом этом «деле» нет нужды — об этом написано достаточно свидетельств и исследований. Возможно, близятся времена, когда эти свидетельства и исследования поставят под сомнение — человечество дичает, — но если это произойдет, я не завидую тем, кто будет тогда жить, каким бы ни было их этническое происхождение. Но пока не наступили эти времена, помолимся за то, чтобы этого не случилось и дальше, но доказывать ничего не будем. Это и так ясно. Я же буду касаться этого «дела» только в связи с пережитым лично мной.

Я хорошо помню 13 января 1953 года — день, когда было опубликовано официальное сообщение о раскрытии преступлений банды гнусных врачей-отравителей. Согласно сообщению, банда эта состояла в основном из евреев. Все они были агентами еврейской националистической сионистской организации «Джойнт», которая является филиалом американской разведки. По-видимому, я услышал это сообщение дома по репродуктору или в чьем-то пересказе. Во всяком случае, когда я вышел из дома (я тогда уже был женат и жил на квартире в Большой Михайловке; хотя для

удобства занятий сохранял свое место в общежитии), я уже знал об этом и спешил в город, где у редакции «Социалистической Караганды» стоял стенд с этой газетой — чтобы самому увидеть и убедиться в свершившемся. У стенда уже кто-то стоял. Когда я подошел, он повернулся ко мне лицом (лицо оказалось еврейским), ничего не сказал и опять погрузился в чтение. Я сделал то же самое. Ничего не сказал: говорить с незнакомыми было опасно, да и что было говорить? И так или иначе я убедился, все подтвердилось. Конечно, не то, что врачи — отравители, а что такое сообщение — свершившийся факт. Кроме того, я узнал еще одну подробность: что лучший еврейский актер и режиссер Солломон Михоэлс — американский шпион, агент этого самого «Джойнта». Это озадачивало. Не так давно Михоэлс был убит неизвестными злоумышленниками и похоронен с почетом и уважением — как подобает. О странностях, связанных с этими похоронами, и о том, что семья его все это время жила под гэбистским «колпаком», другими словами, что его убило ГБ по приказу Сталина, я, конечно, тогда ничего не знал. Михоэлс, согласно сообщению, передавал инструкции «Джойнта» (кого когда умерщвлять) своему брату, профессору Вовси, для исполнения. И тот распределял роли и исполнял. Вот как все было просто...

Я был потрясен и подавлен, но не удивлен. Вопрос о том, верить мне всей этой чуши или нет, предо мной ни на миг не вставал. И не только потому, что верить подобным разоблачениям я уже давно разучился, и не только потому, что все было шито белыми нитками и выглядело фантастически неправдоподобно (из-за чего часто еще больше действовало на простодушное воображение, но это другая тема). Не только. Кроме всего этого, я был еще лучше, чем многие окружающие, подготовлен к тому, что сейчас происходило. Я сравнительно давно понимал, да и просто знал, что Сталин подбирается если не точно к этому, то к чему-то подобному — к какому-то антисемитскому взрыву. Сначала испытал борьбу с космополитизмом, но широкие массы дела театральные или иных критиков не волновали. Потом взялся круче — дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), к которому присобачили работников Автозавода имени Сталина (потом Лихачева). Поползли гнусные слушки. Они поражали своей сказочной фантастичностью, но

дело касалось высокой политики, заоблачных сфер (присвоение и передача Америке Крыма). Тут можно было поразиться наглости, матюкнуться, но никак не взволноваться, ибо вообразить себе это было невозможно. Дошли, если помните, эти слухи и до моего калужского квартирохозяина Леши, но он поражался только глупости тех, кто взялся за такое дело, чем был задет. Дело провалилось. То есть кончилось тайным приговором и расстрелами невинных, но пропагандистского значения не имело — дальше слухов дело не пошло. Но работа шла, и давление нагнеталось... Процент евреев среди арестованных по политическим статьям непрерывно рос. В основном это были видные представители интеллигенции — среди высокой бюрократии их уже почти не было. И по другим статьям еврею загреметь при прочих равных было тогда проще — еврейское происхождение стало отягчающим обстоятельством. В последнее мое пребывание в Москве заговорили об арестах среди видных профессоров-врачей. Это было странно — таких людей обычно не трогали. Разве что под сурдинку в общем порядке, независимо от профессии. Или для других целей (профессора Плетнев и Ленин на бухаринском процессе), а тут вроде сеть специально натянули для них. Непонятно было, к чему это... Теперь разъяснилось...

Я купил газету и зашел в общежитие. Наша комната бурлила от возмущения. «Вот гады! Чего им было мало! Смотри, что делали!» И такое: «А высылают немцев — вот кого надо высылать». И тут произошло то, о чем я уже писал. Я сказал:

— Ребята, все это неправда. Я знаю. К этому давно шло.

В комнате в тот момент было человек десять или чуть больше — были не только мои товарищи по комнате, но и зашедшие к ним по каким-то делам. Говорить такое при таком стечении народа было крайне опасно. Но я в тот момент был слишком оскорблен, взволнован, чтоб думать об этом. Да и что меня могло теперь спасти? — мне теперь было все равно.

Ребята замолчали. Не думаю, что со мной согласились, но я почувствовал, что мне сочувствуют. Не моим словам, а моей беде, которой для них объяснялись мои слова. Ведь они понимали, что я (в отличие от этих извергов) никого не отравлял, не имел никаких дел с этим таинственным и

зловещим «Джойнтом»*, но под сурдинку могу и пострадать. А как страдают под сурдинку большинство, если не все, кто слышал мои слова, знали. И как я уже писал, никто — несмотря на возмущение «убийцами в белых халатах», не донес все эти долгих 82 дня — от 13 января до 4 апреля, когда было объявлено, что врачи невиновны.

А дни были долгими — даже в Караганде, где народ жил «грамотный», многим словам знавший цену. Надо сказать, что на этот раз великий провокатор попал в точку. Можно вовсе не быть антисемитом, но если тебе официально сообщают, что доктор, которому ты доверяешь, может оказаться отравителем, — взвоешь... Да и каким надо быть гадом, какую ненависть к людям или к народу надо питать, чтоб, будучи врачом, травить людей! Естественно, что ребята возмущались. Между тем хулу возводили на все врачебное сословие. Врачам-евреям стало работать просто неважно — больные боялись принимать назначенные им лекарства. Но в списке отравителей значились и русские фамилии — Виноградов, Егоров, Майоров, Василенко (они, в отличие от врачей-евреев работали не на американскую разведку, а на английскую). Я считал, что их употребляли исключительно для камуфляжа — дескать, мы боремся не с евреями, а с подлецами вообще — такие безжалостные камуфляжи были вполне в духе «сталинской заботы о людях». Но, как потом я узнал, все было наоборот. Именно с этих людей, вызвавших по разным причинам гнев и подозрения Сталина (его не устраивал неутешительный диагноз), МГБ и занялось врачами. Просто потом, в духе того времени и намерений Сталина, евреев присоединил и придал всему «делу» антиеврейский характер догадливый Рюмин — знал, что вождь копает в этом направлении. Но приводило это к тому, что люди иногда относились с подозрением и к врачам вообще — пациенту все равно, американским или английским шпионом окажется врач, который его погубит. Но истерия, ежедневно и ежечасно раздуваемая газетами и радио, была прежде всего антисемитской, и

* По иронии судьбы дела с этим «Джойнтом» я все-таки имел. В начале эмиграции. «Джойнт», естественно, не филиал ЦРУ, а благотворительная еврейская организация. Кстати, даже не сионистская, ибо помогает евреям, которые НЕ едут в Израиль, сиречь в Сион. В частности, она опекала нас в Вене и в Риме — давала деньги на пропитание и жилье.

страшнее всего было в те дни быть врачом-евреем. Я это испытал на себе, хотя и не имел никакого отношения к медицине.

Имела отношение к медицине моя первая жена, Валентина Голяк — она была врачом. Основной ее должностью была — заведующая лабораторией, но по совместительству на полставки она работала в круглосуточных яслях. И не в простых, а куда из больниц привозили младенцев после дизентерии, то есть ослабленных болезнью и восприимчивых к инфекции. Младенца, о котором пойдет речь, привезли под вечер, когда Валя уже ушла, и в состоянии, в котором выписывать его из больницы, по-видимому, было преждевременно. Во всяком случае, почти сразу после прибытия обнаружилось, что младенец серьезно заболевает, — дизентерия, уйдя, оставила осложнение, как потом показало вскрытие, в виде острой скоротечной пневмонии. К утру ребенок умер. Факт прискорбный, оставляющий горький осадок (с чем неизбежно связана работа любого врача), но никак не чреватый юридическими последствиями. Тем более что, по мнению компетентных врачей, случай с самого начала был безнадежным, а Валя вообще узнала об этом младенце и его смерти только на следующий день, когда пришла на работу. Узнать же об этом раньше она никак не могла — о такой привилегии, как телефон, рядовые врачи тогда и мечтать не могли. Ее никто ни в чем и не обвинял. Так что нам вроде оставалось только успокоиться и жить дальше. Дело это действительно никакого развития не получило... Но в каждой газете, в каждой радиопередаче шла травля — «разоблачали», «вытаскивали за ушко на солнышко» таких, как она, — и не с более вескими основаниями!

Например, в «Социалистической Караганде» появился фельетон «33 Поляковых». Написал его скромный милый человек, которого я знал и который всегда производил на меня приятное впечатление (фамилию его я забыл). Суть этого фельетона была нехитрой. В ОРСе одного из угольных трестов «окопалось» или «свило себе гнездо» (именно такие выражения тогда были в ходу) 33 еврея, связанных между собой родственными узами. Больше ничего о них не сообщалось. По форме это соответствовало ведущейся тогда «борьбе с семейственностью», но это не было даже фиговым листочком. Главное читалось между строк. ОРСы — отделы ра-

бочего снабжения — были созданы во время войны на оборонных и приравненных к ним предприятиях для закрытого снабжения. Они ведали всеми магазинами и столовыми в округе и, естественно, популярностью не пользовались. Расчет был на память об этой непопулярности и на устойчивый стереотип: «Люди работают, а евреи при торговле жируют». И то, что в описываемое время эти ОРСы превратились в обычные торговые организации, не меняло отношения к стереотипу, подстрекало. Я вовсе не утверждаю, что все эти «поляковы» были ангельски чисты (советская торговля — блудная дочь советской системы распределения, и чистые люди типа симского Михаила Сергеевича Быкова там встречались редко), но никаких махинаций фельетон не раскрывал. Доказательство их порочности компенсировал список экзотических имен типа Сруль (Израиль), Хаим и т.п., перемежаемый издевательскими комментариями. Забавно, что после отмены «дела врачей» Поляковы всем составом несколько дней подряд являлись в редакцию требовать сатисфакции. Сатисфакцию они получили, газета напечатала опровержение — оказалось, что большинство из них не только не Поляковы, но даже не родственники. А больше их ни в чем не обвиняли... Когда это произошло, незадачливый автор фельетона уехал из города — видимо, от стыда подальше. Не думаю, чтобы он был патологическим антисемитом, а просто журналистом сталинской эпохи — надо было написать фельетон «на тему», и написал, а материала не было — высосал из пальца. Кто ж его знал, что так повернется. Если бы не повернулось, никто бы и внимания на эту несуразицу не обратил. А он, как и мы, не знал, что так повернется, и сделал что требовалось.

Много ли в обстановке, когда такое «требовалось», то есть в обстановке травли, другими словами, внушаемой и раскручиваемой господствующей истерии, могло значить то, что Валина невиновность очевидна, установлена коллегами, и это зафиксировано? Факты в такой атмосфере не важны — из них вырывается только то, что можно использовать для нужного (то есть ложного) истолкования, для подтверждения внушаемого. А если что — можно ведь и саму авторитетную комиссию к ногтю.

Да что факты? — факты нам тоже подчиняются! У нас кругом факты. Вы разве возьметесь утверждать, что в яслях

не умер ребенок и что врачом в этих яслях не была еврейка? А если взглядеться поближе, обнаружишь, что не просто еврейка, а еще дочь расстрелянного врага народа и жена репрессированного — как же не отравительница! А то, что ребенка она в глаза не видела, что враг народа хоть и расстрелян, но врагом не был, а мужа тоже посадили ни за что — так это, во-первых, скучно, а во-вторых, наказуемо — враждебная пропаганда, лишнее доказательство справедливости обвинения...

Сейчас пронесло. Но появившись первый догадливый стукач, он такую конфетку бы мог из этого сделать, что областное управление МГБ, крайне тогда нуждавшееся во врачах-отравителях (дорога ложка к обеду), его бы в благодарность на курорт отправило. Но, слава Богу, ясли еще не были охвачены профилактической работой ГБ, и такого стукача на месте не оказалось. А ведь мог быть — если не в яслях, то в райздраве, — откуда нам было знать, что не будет. Могла еще выдать свое горе в форме казенного возмущения и мать ребенка — особенно если б ее кто-нибудь надоумил, — и тогда мы тоже тут же сгорели. Дошло бы до ГБ, и машина бы заработала — не остановишь. Но мать ребенка была матерью-одиночкой, ребенок был нежеланным, и главным ее чувством, почти не скрываемым, когда она узнала о своей потере, было чувство избавления. Писать жалобы и кляузничать по этому поводу ей и в голову не приходило. Но могло бы быть иначе. Могла этой матерью оказаться другая женщина, больше опечаленная потерей и при этом более восприимчивая к официальным внушениям. Ее ведь вполне могла осенить «догадливость», а отсюда искреннее возмущение и донос: а что же, молчать ей, если жида загубили ее ребенка? Ведь точно — загубили и точно — жида. Откуда нам было знать, что такого не будет?

Но в нашем случае — пронесло. Дней семьдесят из страшных восьмидесяти двух мы прожили без непосредственного страха за себя, несмотря на нагнетаемую истерию, гнет которой мы ощущали все это время, желающих быть душегубами в России было не так много. На моем пути они вообще не встретились. И это естественно — особенно если речь идет о Караганде, поскольку народ здесь, как я уже не раз тут отмечал, жил стреляный.

О технике я не говорю — в технике и ребята, и преподаватели были со мной в этом отношении очень так-

тичны, даже предупредительны. Я уже не говорю о Вите Берге, который, вернувшись из поездки домой в Осокаровку, отозвал меня в сторону и сказал:

— Знаешь, Наум, тебе надо изо всех сил держаться за техникум. Евреям сейчас будет очень плохо... Я был дома, что там творится!.. Не дай Бог! Держись за техникум, Наум!

Витя был человеком не только добрым, но и разумным, не очень поддающимся внушениям. Кроме того, он был взрослей других и осведомленней тоже — его жена была медиком, кажется врачом, и о вакханалии, творящейся в Осокаровке («а как рвенье дойдет до провинции...» — как пел Ю.Ким), он имел полную информацию... Да и те, кто этой информации не имел, все равно не переносили свое отношение к дальним злодеям на своих знакомых... Одно дело поверить, что где-то там, в Москве, кто-то таинственный с диковинной фамилией Вовси занимается всяким непотребством, а совсем другое — поверить тому, что этим занимается какая-нибудь с детства знакомая Фаня Львовна, неоднократно лечившая, а подчас, может, и спасавшая и тебя, и твоих близких... Да и про недавно знакомого такое представить было трудно. А тем более, насчет меня моим товарищам, живущим со мной рядом.

Мне приходилось слышать, что в других городах, в частности в Москве, обстановка была другой. Иногда такой, что родители-евреи (употребляю этот термин в чисто этническом смысле) опасались отпускать своих детей в школу: там их травили, а то и избивали. Возможно, такое случалось и в Караганде. Дети вообще иногда имеют склонность становиться стаей зверьков, а тут они, разделяя общее возмущение, получали возможность, чувствовали себя при этом выразителями праведного гнева... Но таких случаев в Караганде я не помню, видимо, не слышал о них. Да и далек я был тогда от школы.

Впрочем, если я скажу, что вся интеллигенция в этот навет не верила, я солгу. Большинство, в том числе и евреи, верили. Только традиционно (для советских кроликов) считали распространение немилостей за это на всех остальных евреев самоуправством местных властей. Слишком страшно было осознать, что все исходит от Сталина и ставит перед собой брутально антисемитские цели. Не следует забывать, что это противоречило советскому мировоззре-

нию, а другого мировоззрения, другой основы жизни и порядка почти никто не знал. Это было бы крушением мира. Да и многим евреям приятнее было думать, что это акция против злодеев, а не против таких, как они.

Конечно, к моим нетехникумовским друзьям это не относилось. Ни Ольга, ни Вава, конечно, не верили в эту чушь ни на йоту и ни одной секунды. Это же относится к Недовесовым, к Ирине Ивановне, к Соломону Ефимовичу, Алику и еще кое к кому — в основном к прошедшим огонь, воду и медные трубы и узнававшим почерк Сталина, как милого по походке. Впрочем, и медные трубы не всегда спасали.

Была у Ольги приятельница по имени Гита, рядовая жертва тридцать седьмого. Во враги народа она угодила с поста секретаря, а то и просто члена парткома одной из киевских швейных фабрик. Женщина она была добрая, думаю, что во времена ее «комиссарства» среди швей она большого вреда не приносила — вероятно, наоборот, даже стремилась помочь чем могла работавшим там «пролетаркам». Впрочем, не знаю, вдруг она принимала участие в решении каких-либо общих технических вопросов — тогда не ручаюсь, все могло быть. Реальность в ее сознании всегда пасовала перед политическими абстракциями. Но вряд ли это сказывалось на ее отношении к «членам пролетарского коллектива». Но задолго до этого, в начале двадцатых, она, как ни странно это при ее местечковом кругозоре, расширенном учебниками политграмоты, была втянута в серьезную политическую деятельность — Гиту послали на партийную работу в Палестину — так сказать, «поднимать восстание в тылу». Это был период, когда руководство РКП(б) занималось стимулированием почему-то замешкавшейся и обманувшей все его расчеты мировой революции. Период этот можно было бы считать романтическим или наивным, если бы работа эта велась на партвзносы, но она велась за государственный счет, то есть в основном на средства, отнятые у беспартийных. Палестина не была ни единственным, ни главным объектом таких забот руководства РКП(б), скорее, попутной — совались куда могли. Но для Гиты это была высшая точка ее взлета. Там они вели борьбу с сионистами, стремившимися строить национальное государство, и вели работу среди наименее грамотных — она

их называла «иеминитами» и говорила, что они были абorigенами. Насколько точно это название, не знаю, ибо «иеминитами» называют выходцев из Йемена, а таких там тогда не было. Но ясно одно — «иеминиты» эти не были выходцами из Европы. Но стимуляция мировой революции не оправдала себя нигде, в Палестине тоже. И Гиту отозвали. И остались у нее в памяти сладкие воспоминания молодости, наполненной пафосом борьбы, которую она вела с врагами мировой революции — сионистами и их организациями в Палестине и застарелая неприязнь к их названиям. Поэтому известие о «деле врачей» она — уже отсидевшая много лет по облыжному обвинению и теперь после него получившая вечную ссылку — встретила если не с восторгом, то с удовлетворением. Она знала, что сионисты бывают, что они плохие, ибо выступали против нас. Что есть и «Джойнт», мы с ним тоже боролись — это тоже их агентура* И поверить про них она могла всему — даже что они отравляют людей. Более того, когда я встретил ее 4 апреля и сказал ей, что врачи реабилитированы, она была огорчена:

— Как же так? Не может быть... Мы же с сионистами боролись.

Как будто из того, что она с ними боролась, следовало, что они могут массами отравлять людей. Впрочем, про врагов что ни говори и ни думай, все правда, все равно они преграждают дорогу к светлому будущему. То, что эти врачи были настолько же сионистами, насколько она сама была тем, в чем ее обвиняли, — ей в голову не приходило. Рассказ о ней говорит главным образом не о тогдашней свистопляске, о нашей истории — о простой душе, всесторонне ушибленной большевизмом и так никогда не оправившейся от этого. Таких было тогда не так мало, и отнюдь не только евреев. А ведь Гита была доброй женщиной.

Впрочем, в ее словах звучала не реакция на жизнь, а трубы ее молодости. Но вот жили-были четыре Валины подружки, молодых врача, недавно окончивших мединституты, жили вместе — им была на четверых выделена в качестве общежития одна комната в здании облздравотдела (тогда

* Последнее вообще странно. «Джойнт» не имеет никакого отношения к сионизму. Но, может, тогда имел — помогал иммигрантам материально, чем убаюкивал классовое сознание? Не знаю.

это не воспринималось как лишение). По крайней мере две из них были еврейками. Никакие трубы ни в ком из них не звучали — во всяком случае, не больше, чем в большинстве их сверстников... Некоторые из них окончили московские институты, то есть учились у нынешних «отравителей», остальные — по их книгам. Ведь все эти отравители были светилами советской медицины.

Когда в один из черных дней середины января я зашел к ним в гости, я застал их тихими и растерянными.

— Что же нам делать? — спросила одна из них. — Ведь все это наши учителя. А если они вредители, и давно, значит, все их лекции и все наши учебники тоже вредительские. Как же нам лечить? Ничего не понимаю.

В ее словах не был никакой иронии, только растерянность и озабоченность. Остальные сочувственно молчали — их это тоже заботило. Нет, они не были слишком наивны. О некоторой дискриминации евреев они знали. А кто не знал, столкнулся при распределении. Может, и в Караганду кое-кто из них попал из-за этой дискриминации — из Москвы ведь она представлялась плохим распределением (хотя, по моему, таковым не была). Но это воспринималось ими как «перегиб», то есть самоуправство чиновников (обычное утешение советского человека в те годы), они, конечно, знали, что газеты и радио не всегда пишут правду, что не обо всем вообще можно писать — из политических соображений, а к таким соображениям у нас привыкли относиться уважительно. Короче, в целом они привыкли доверять своему правительству. И поверить в то, что есть какие-то сионисты, еврейские националисты, которые, как «националисты всех мастей», ведут себя плохо, им было несложно: так мы все были воспитаны. Но камнем преткновения вставала профессия. Если читатель помнит, у меня так тоже было — я соглашался подвести солидную базу под антикосмополитскую кампанию — помешало ясное представление о действующих лицах. Они не были столь решительны (или, может быть, столь идеологичны), как я. Поверить в то, из чего я изначально исходил, — что в таком правительственном сообщении все от начала и до конца ложь и что за всем этим стоит сам Сталин, они были не в состоянии. Это было слишком страшно.

Нет, они не боялись ни меня, ни друг друга. Представление о всеобщем стукачестве и недоверии людей друг к

другу вообще преувеличено. Я, например, «подзалетел», но не потому, что кто-то обманул мое доверие. Потом я многим доверял, но ничего плохого за этим не следовало. Отношения у меня с этими Валиными приятельницами были вполне доверительными, дружескими. Страшно было не от недоверия, страшно было жить, зная такое про жизнь. Когда я им стал объяснять, что происходит, они меня выслушали внимательно и даже благодарно. Думаю, что в моих словах они услышали то, о чем уже сами смутно и робко догадывались, но боялись догадаться. Они все равно не согласились, но сомнение в качестве полученных ими от «вредителей» знаний, как мне показалось, перестало их мучить. Впрочем, другого выхода и не было.

Подыхающий вождь об остающейся после него жизни вообще не думал — сводил свои счета, давние и только возникшие... Также не подумал он — что же теперь, при заведенном им порядке, делать всей несчастной советской медицине? Ведь по этому порядку книги «разоблаченных» авторов запрещались не столько из-за своего содержания, сколько из-за того, что они воскрешали фамилии авторов, подлежащие забвению. А в результате «дела врачей» попадали под запрет главные медицинские книги и пособия, без которых не может обойтись ни студент, ни практикующий врач. Да и все, чему они учили, вдруг становилось подозрительным. Впрочем, Сталину этот вопрос вряд ли казался сложным — он, вероятно, твердо верил, что путем государственной фальсификации можно выйти из любого положения. Объявили бы этих ученых злостными плагиаторами, труды их присвоили бы или пересказали предприимчивые люди — и колесо через некоторое время опять бы завертелось. Не было бы только живого присутствия этих ученых, их опыта, их привычки мыслить, которые передаются не только логически, но и как-то индуктивно. Со временем и это компенсировалось бы — Россия, как говорит моя жена, страна плодородная. Но как было жить медицине до этого времени и как бы он поладил с этими новыми светилами, если бы дожил до них? Они бы тоже не смогли обеспечить ему земного бессмертия.

Ярость Сталина на халатность врачей, злонамеренно не желавших обеспечить ему беспредельное долголетие и безграничное продление «срока годности» (то есть сохранение

прежней трудоспособности), хоть и послужила толчком к началу этого «дела», была тогда только дворцовой тайной. Но антисемитская направленность этого «дела», то, что оно использовалось для натравливания остального населения на евреев, было видно невооруженным глазом. К сожалению, глаз у многих порядочных и хороших советских людей был вооруженным. Причем иногда именно у тех, кто искал истину. Не следует забывать, что все мы искали истину в пределах большевизма, а большевизм предполагает хитрые, запутанные, заговорщицкие пути к достижению невероятно чистой, светлой и осмысленной жизни, к раю на Земле... Это в значительной степени обессиливало сопротивление сталинщине. Но ни с какими национальными фобиями он не вязался. И если антинемецкую пропаганду такие люди, вовсе не склонные к шовинизму, могли еще списать на потребности войны, то подвести легальную большевистскую базу под антисемитизм было уж совсем невозможно. Его можно было только отрицать.

Однажды в общежитии я встретился с бывшим нашим студентом, только недавно получившим диплом (он был старше курсом) и уже работавшим на шахте на штатной должности... Особой близости между нами не было — было некое расположение друг к другу, при встречах приветливо здоровались. Теперь разговорились. В техникуме он был фигурой заметной, и имя его я помню — звали его Виктор Подлубный.

Сначала мы поговорили о его работе. Мне было интересно, как он устроился и как работает — все же наш, студент, свой. Оказалось, что горным мастером, не то в лаве, не то на проходке — начальником смены. Конечно, я примерял это все к себе, но делал это зря — его опыт мне пригодиться не мог. Был он крепким, красивым, уверенным в себе парнем и явно лишенным того технического идиотизма, каким природа столь щедро наделила меня. Слово за слово, оказалось, что он очень интересуется политикой. И даже кое-что читал по этому вопросу.

«Читал!» Мне и теперь унизительно думать об этом его чтении. Чем он вынужден был питать свою мысль, этот живой и стремящийся к истине юноша... Ведь ничего способствующего этому тогда не печаталось, а самиздата или тамиздата тогда не было и в помине. Читал он и принимал

за духовную пищу разъясняющие пропагандистские брошюры Политиздата, предназначенные не для всех, а для агитаторов. Он искренне верил, что с последними разговаривали как со взрослыми и понимающими людьми, доверительно и уважительно, и хотел к этому приобщиться.

Естественно, разговор быстро перешел на то, что было у всех на слуху: на «дело врачей» и антисемитскую вакханалию, связанную с ним. Попутно в разговоре выяснилось, что и сам он отчасти еврей. Впрочем, антисемитскую направленность этой кампании он начисто отрицал, бросая в бой всю свою «эрудицию» (я бы сказал: «антиэрудицию»). Он полагал, что мы, лагерь социализма, противостоям империалистической Америке, как Добро Злу, а многие воротилы Америки, к сожалению, евреи. Он приводил фамилии «воротил» — все они действительно были нерусскими (что еще отнюдь не значит, что еврейскими), и это его убеждало... А какие-то заядлые националисты из наших, добавлял он, их поддерживают. Что ж остается делать нашей власти, как не защищаться? Это борьба против этих гадов, а не против евреев вообще. Глаза его сияли удовлетворенностью от понимания и причастности к тайнам, которыми он, впрочем, готов был делиться со всеми желающими. Вопрос о том, на кой черт американской разведке и этому «Джойнту» заниматься массовыми отравлениями советских людей, ему в голову не приходил. И возражениям он не верил — так же, как не так уж давно я сам защищал таким способом основы своего духовного существования. Он был хорошим и неглупым парнем, а его рассуждения характеризуют не столько его самого, сколько время, когда стремление к духовности оборачивалось такой дикостью основы своего духовного существования.

Между тем (выражение критика Анастасьева) «маразм крепчал». В Караганде это меньше ощущалось, но, судя по газетам и радио, обстановка в стране накалялась. В несчастной стране евреям грозило стать самыми несчастными. Конечно, далеко не все это одобряли. Мне рассказывали, что видный киевский хирург, фамилию которого я не помню, но человек вполне русский, когда ему утром 13 января перед операцией, показали газету с историческим сообщением, прочел ее и прилюдно выразился так:

— Только в нашей стране воинствующего мракобесия еще возможны такие вещи. А теперь моем руки — и в операционную.

Как ни странно, я не только восхищен мужеством этого доктора и его чувством собственного достоинства (и тем, что никто не донес, что тогда было весьма опасно для недоносителя) — я завидую ему. Завидую его «еще» — у меня такой несокрушимой веры в необратимость прогресса давно нет. Слишком многое произошло после этого... Я убедился, что дикость мастерски умеет адаптироваться к прогрессу, и стал подозревать, что она в состоянии даже ассимилировать его.

Были и случаи противоположные. Родственник моих друзей, интеллигентный генерал, дворянин, много и безрезультатно лечившийся, в один из этих страшных дней объявил своей сестре, что теперь понимает причину своих злоключений — вредительство. Та выгнала его из дома. Между тем он не был и не стал антисемитом. Просто он был измучен болезнью, не предвещавшей ему ничего хорошего, и любое рациональное объяснение выглядело утешительней, чем иррациональное несчастье или слепая неизбежность... И он уступил этому соблазну. Товарищ Сталин не понимал, что он в данном случае взрывает, потакая своей мстительности... Любое неустранимое страдание, любой летальный исход, неизбежно связанный с любой медициной (человек, как известно, смертен), можно было бы теперь объяснить злонамеренным вредительством врачей. Это парализовало бы медицину.

Однако про оба эти случая — про хирурга и про генерала — я узнал потом. Вокруг ничего подобного не происходило. Только что-то все время над нами нависало, неотвратимое и страшное. Все время, каждый день что-то могло с нами случиться, и к этому шло. Мы все могли в любой день оказаться в лагере, в ссылке, в болоте, на плахе — где угодно. К этому у таких, как я, прибавлялось другое — психологическая драма. От меня отрывали Россию, противопоставляли меня ей. Я сопротивлялся как мог. Вот мое стихотворение тех дней, которое я обычно не печатаю, ибо оно и несовершенно, и слишком связано с моментом:

РОССИИ

(по поводу «процесса врачей»)

Твой свет во мраке был рожден.
Во мраке выращен. Взлелеян.
Мрак наступающих времен
Не может быть его сильнее.

Пусть грязь и ложь царят опять,
Но каждый раз я повторяю:
Тебе ко тьме не привыкать,
И света ты не потеряешь.

Впрочем, было у меня стихотворение и более обобщенное, которое я при случае напечатаю:

Может, гибнуть за решеткой
Нет за что в крошечной мгле.
Может, нынче правды четкой
Просто нету на земле?

Чтоб не стать усталым зверем,
Чтобы выжить... Будь теперь
Хоть нечетким правдам верен —
Сердцу собственному верь.

Все это были попытки вырваться из того смутного и тревожного состояния, в котором я пребывал. Но, что бы я ни писал, время шло и приближало страшный конец, о котором лучше было не думать. И я не думал, но веселей от этого не становилось. И вдруг однажды утром, в самом начале марта, я услышал по радио сообщение, что Сталин болен. Для нормального слуха тут нет ничего сверхъестественного. Все время от времени болеют. Надо полагать, и Сталин болел не в первый раз за время нахождения на троне. Но до сих пор нам о состоянии его здоровья не сообщали — у небожителей не бывает состояния здоровья. А теперь вот сообщили. Возникло подозрение, что великий вождь умирает. Потом несколько дней по радио читали высокоученые бюллетени о его болезни и, наконец, 6 марта утром скорбным голосом сообщили, что вождь умер.

В дни его болезни ничего особенного не происходило — все шло как всегда. Правда, у меня на душе от мысли, что Сталин умирает, становилось еще тревожней.

Удивляетесь? Да, я ненавидел Сталина — давно и прочно. И остатками своей веры в коммунизм (незадолго до этого у меня родилась строка, так потом никуда и не вошедшая: «Герострат революции — Сталин»), и просто так. Кроме того, я понимал, что за «делом врачей», грозящим мне невероятными унижениями и бедами, стоит лично он, а это для меня тогда было особенно важно. И вдруг — такое... Как будто бы есть чему удивляться. Есть, но только со стороны.

Нет, я отнюдь не потеплел к Сталину и вовсе не смягчился к нему. Чувство тревоги при его болезни у меня было вызвано не этим, а просто страхом. Страхом перед тем, что может начаться в стране после него. То есть перед тем, что могут наделать без присмотра его выдвиненцы последнего «призыва», ни с какими сдерживающими партийными (скажем так — «ленинскими») традициями не связанные и составлявшие теперь примерно три четверти Политбюро. В преддверии предстоящего «процесса врачей» это было особенно страшно (я ведь не знал, что в таком составе Политбюро ни разу не собиралось). Во избежание кривотолков по поводу употребления мной в положительном смысле термина «ленинские», напоминаю, что, во-первых, этот термин тогда для меня значил совсем не то, что сейчас, и что, во-вторых, то, что с ним было для меня связано, было единственным, что тогда и еще долго потом можно было легально и внутренне противопоставить нацистской стихии, легализованной Сталиным и нашедшей свое крайнее выражение в «деле врачей».

Очень хорошо помню похороны Сталина. Разумеется, не сами похороны, — они, как известно, состоялись в Москве, — а трансляцию их по радиорупору (телевидения тогда в Караганде не было). Как и почему я оказался в тот момент на Центральной площади у обкома, никак вспомнить не могу. Наверно, это связано с тем, что она находится на полдороге между общежитием и техникумом. Но так или иначе, оказался — прямо в центре скорбящей толпы. Слышал речи вождей — они поразили меня холодом. Конечно, теперь, зная о том страхе, которого они натерпелись от

него в последние месяцы его жизни, понимаешь, что теплоте было взяться неоткуда, а тогда это меня поразило... Но когда его стали хоронить, помещать в саркофаг, и заиграла музыка, толпа вокруг стала утирать слезы. Карагандинская толпа, где солидный процент составляли пострадавшие от него: раскулаченные, их дети, немцы, не имеющие права на передвижение, просто ссыльные, отсидевшие и как я — все рыдали под эту музыку. И я почувствовал, что тоже плачу. Вместе со всеми.

Из мимикрии? Да нет, в толпе я все равно воспринимался бы плачущим, да и кто на кого глядел? Что ж, за компанию? Но это мне никогда не было свойственно. Я не поддаюсь ни внушению, ни гипнозу и ни на секунду не забывал, какого вурдалака и растлителя хоронят в Москве. И тем не менее слезы мои были искренни. Ибо плакал я не по поводу его смерти, а по поводу всей своей прошедшей жизни. Думаю, что и большая часть тех, кто меня тогда окружал, — тоже... Ведь никакой другой жизни, кроме как при Сталине, я не знал и не видел. Ведь пробуждение моего сознания совпало с началом сталинщины. Все, чем я соблазнялся, чему сопротивлялся, чему противостоял, было связано с этой зловещей фигурой, на разгадку ее примитивной, хоть и страшной и действенной сущности ушло непропорционально много сил и времени. Он узурпировал у «честных большевиков» право единолично вести к мировой гармонии, сломал жизнь миллионов, а теперь, заведя всех в болото, там оставил. И похоронная музыка пела мне про все это. Конечно, все это было в моем случае не так чисто. Я ведь знал, что вождь относился потребительски и к самой большевистской утопии (к ней прежде всего), используя ее только для камуфляжа (что меня, для кого все это еще было свято, тогда больше всего оскорбляло). Знал и помнил даже в тот момент, но искренние всхлипы людей вокруг и эта музыка как бы заглушали это знание. И я плакал.

Это состояние наложило свой отпечаток на мое стихотворение «На смерть Сталина», написанное в день похорон, на следующий или через день — не позже. В нем я отношусь к Сталину гораздо мягче, чем относился на самом деле. Там есть даже восклицание: «Я сам не знаю, злым или добрым роком / Так много лет он был для наших дней», хотя я прекрасно знал, что злым. Так что ж я, приспособ-

ливался? К кому? В те дни эти стихи не только бы не напечатали, а могли бы за них и посадить — причем на этот раз не для плана, а по велению души. А кто-то, и не обязательно гэбэшник, мог бы от чистого скорбящего сердца просто морду набить. Ну хотя бы из-за этих же строк. Как так, «не знаю»? Ведь гений и спаситель!.. А тем более из-за двух предшествующих: «Холодный траур. Стиль речей высокий. / Он всех давил и не имел друзей». А в стихотворении ведь и почище есть. Во всяком случае, когда я прочел эти стихи Гусеву, он оценил это как знак доверия. Нет, оно оставалось по тем временам вполне крамольным. А времена эти еще совсем не кончились и никто пока не знал, что кончатся. Нет, приспособленчеством здесь и не пахло. Я рассказываю о том, что стихи эти не совсем точно отражали мое понимание происходящего. Понимал я это все жестче, а написал так. А иначе не мог, что-то (может быть, толпа на площади?) мне не давало это сделать, что-то, через что я не мог перешагнуть. Там и строки такие были: «И лишь народ к нему не посторонний, / Что вместе с ним все время трудно жил». Это как бы ответ на предшествующие всему процитированному строки: «Его хоронят громко и поспешно / Соратники, на гроб кося глаза». Логически говоря, в свете того, что я знал даже тогда, а тем более теперь, в этой ситуации разумней было бы сочувствовать его грешным «соратникам», наконец-то избавившимся от него, но стихотворение против моей воли влекло меня этим путем. Меня это самого смущало, но теперь я несколько не жалею, что уступил ему. Думаю, что я уступил художественному чувству, замыслу, от меня не зависящему. А руководить течением стиха — дело гиблое. Кстати, если насчет Сталина я в этом стихотворении «недобрал» до уровня моего тогдашнего понимания, то в конце стихотворения я «перебрал», вышел за его пределы, за пределы большевизма вообще, выразив надежду, что страна поймет: «Что слепо верить никому не надо / И к правде ложь не может привести». Я говорю здесь не о стихотворении, не о его качествах, оно несколько раз напечатано, и каждый может выработать к нему свое собственное отношение, я говорю о влиянии общего настроения на него. Следовательно, об этом общем (конечно, локальном, характерном для краткого отрезка времени) настроении. А может, и о том, что за ним стояло — о нашей искореженной судьбе.

Дни, следовавшие за этими историческими похоронами, как будто ничем знаменательным не отмечены. Угрозу, висящую над нами, никто не рассеивал. Антисемитские фельетоны продолжали появляться, но как будто реже, и не в центральной прессе. Тревога не проходила, но теряла остроту, возможно, просто стала привычной. Но 27 марта грянул Указ Верховного Совета СССР об амнистии.

На первый взгляд, событие это было вполне ординарным. И при жизни Сталина время от времени появлялись такие указы об амнистии. Общей чертой этих амнистий было то, что «политических», то есть сидевших по политическим статьям, они не касались. Как я уже отметил, на первый взгляд, этот указ в этом отношении следовал предыдущим. В одной из первых строк он громогласно объявил, что на ряд статей, в том числе и на «пятьдесят восьмую», амнистия не распространяется. О чем же тут говорить? — вроде все ясно. Настолько ясно, что через много лет не заметил подвоха такой видный историк, как Р.Г.Пихоя. В своем изданном недавно интересном и важном труде «Советский Союз. История власти. 1945—1991» (М.: ВАГС, 1999) он отмечает, что сидевших по политическим статьям этот указ, как и все предыдущие, не касался. Между тем я точно (на собственном опыте — куда точнее!) знаю, что это не так. Касался и коснулся — я, например, по нему освободился от 38-й статьи положения о паспортах.

Впрочем, поначалу я тоже так воспринял, даже иронически хмыкнул: «Ну, конечно!» Но поскольку интерес у меня к этому вопросу был не академический, я вчитался в текст указа внимательней. И нашел то, что искал, точнее, то, что хотел и втайне надеялся найти (что-то, видимо, было в воздухе, что питало эту надежду). Почти уже у самого конца мелким шрифтом сообщалось, что амнистии подлежат все осужденные на срок до пяти лет. Исключения по статьям при этом не оговаривались. Я перечел этот указ несколько раз — упоминания о том, на кого это не распространяется, не было. А это значило, что я могу получить чистый паспорт и жить в Москве. В стране явно что-то менялось. На другой день, захватив свои документы, я зашел в прокуратуру и спросил, распространяется ли на меня амнистия. Молодой прокурор ответил, что да, распространяется. Я обрадовался:

— Значит, я могу сейчас пойти в милицию менять паспорт?

Но оказалось, что для замены паспорта одного указа мало — нужна специальная, разработанная на его основе инструкция, которая придет на днях.

— А как я про это узнаю? — удивился я.

— Наведывайтесь ко мне ежедневно к концу рабочего дня и узнавайте, — любезно предложил он.

И я наведывался. Несколько дней подряд. И каждый раз задавал один и тот же вопрос, получал отрицательный ответ и уходил. Пока однажды под вечер молодой прокурор ответил мне, что инструкция пришла и я могу идти в милицию. Я сказал «спасибо» и бросился бегом в Михайловку. День уже кончался, а мне надо было успеть забежать домой за паспортом, заготовленными фотографиями и справкой об освобождении и поспеть в милицию до закрытия. Собственно, это можно было проделать и завтра, и послезавтра, от этого ничего не зависело, но мне не терпелось. Милиция была пуста, я был единственным посетителем. Паспортистка дала бумаги. Я быстро заполнил нужную анкету, документы у меня приняли без звука и велели за паспортом зайти завтра. Когда я пришел в назначенный срок, милиция была переполнена — амнистированные услышали об амнистии. Но для получающих очереди не было. Мне выдали ЧИСТЫЙ паспорт. В стране явно что-то менялось. Вернее, начало меняться. Но тогда из моих друзей это распространялось еще только на Ваву, Заяру Веселую (дочь расстрелянного писателя Артема Веселого) и на Алика Вольпина — они были осуждены на пять лет ссылки и тоже попадали под амнистию. Освобождали с таким сроком и из лагерей. А вскоре во все лагеря были направлены специальные комиссии, которые пересматривали дела «политиков» и скашивали всем сроки до пяти, после чего они автоматически попадали под амнистию и освобождались. Это, на мой взгляд, и было главной целью этой «ворошиловской» амнистии, остальное — камуфляжем. Боюсь, что и выпуск столь большого количества закоренелых уголовников, некоторое время буквально терроризировавших всю страну, тоже был камуфляжем. Переборщили малость. Хотели разгрузить лагеря, но боялись недоуменных вопросов: «Как же это так?» и «А где вы были?», которые потом все равно стали задавать.

Амнистия эта говорит о многом. О том, например, что тогдашнее Политбюро, состоявшее не то что не из ангелов, а, наоборот, из людей, привыкших не только к вкусу крови (как-никак, старые большевики), но и к предательству соратников (подельников), в том числе и друзей, не говоря уже о предательстве, многократном перелицовывании идей и принципов (да что говорить — окружение Сталина!), — все равно было намного ответственнее, разумнее, человечнее, чем их вождь, скрутивший их в бараний рог, и даже боялось своего благородства. Так в каком же аду мы все жили? Нет, совершенно зря г-н Пихоя не заметил исключительности этой амнистии. Если бы он это понял, он бы в своем очень важном и серьезном труде не воспринимал столь серьезно идеологические доводы сторон в дискуссиях, возникавших в послесталинском руководстве. Понял, что там это был единственный легальный язык, на котором оно говорило и которым высказывались самые разные соображения и расчеты, порой не имевшие никакого отношения к идеологической убежденности. Эта амнистия приподнимает завесу над многим, до той поры гадательным, в нашей истории.

Конечно, никаких комиссий, снижающих сроки, я тогда не предвидел, но из самого факта, что амнистия распространилась и на политических, я сделал вывод, что что-то меняется. Даже угроза «процесса врачей» перестала на меня давить неотвратимостью. Тем более что внимание было целиком поглощено радостным ожиданием уже упоминавшейся инструкции.

А события нарастали. Я не помню, когда она пришла, до или после 4 апреля, дня, когда было опубликовано сообщение МВД СССР о прекращении «дела врачей» (прошло ведь всего восемь дней со дня опубликования указа об амнистии), но помню чувство невероятного облегчения, словно в последний момент меня сняли с плахи из-под занесенного топора. А по радио уже передавали передовую «Правды», в которой говорилось о порядках в МГБ, которое было абсолютно бесконтрольно, но отныне должно находиться под контролем «руководящих органов и всего советского общества». Это было нечто новое. Настолько, что в провинциальные газеты эти слова кто-то передал с искажением без «и». Не думаю, что это была сознательная хитрость. По

радио передавали с «и», в центральных газетах тоже «и» наличествовало, а в провинцию через ТАСС сознательно переслали без него. Неправдоподобно! Наверное, просто кому-то из пересылавших это показалось неправдоподобно, что «органы МГБ собираются поставить под контроль общества», и он убрал это злополучное «и» как опечатку. Получилось правильно: под контролем «руководящих органов всего советского общества». То есть просто под контроль руководящих органов (то есть ЦК КПСС) — это ни сомнений, ни тревоги не вызывало. Это и отправили. Но «и» это все-таки было и производило впечатление. Старый социалист Соломон Ефимович, с которым мы где-то вместе выслушали или прочли это предисловие (я его читал много раз с разными людьми — не мог насладиться), вдруг даже вспомнил молодость. Присущая ему взрослая трезвость покинула его. «А вы знаете, к чему идет? — торжествуя спросил он. И сам ответил: — Будет коалиционное социалистическое правительство! Не смейтесь, не смейтесь! Среди социалистов тоже есть серьезные деятели».

Как будто в этом было дело! Великая вещь — эйфория. Действует как наркотик.

В связи с таким развитием событий мой авторитет в обществе вырос необычайно. Ведь кроме того, что насчет врачей брехня, я еще «угадал», что Маленков станет премьером (человеку, знающему московские сплетни, это было нетрудно). И на время я стал там то ли оракулом, то ли пророком.

— Наум, а немцев скоро отпустят? — это был главный вопрос, который мне задавали.

Этот вопрос был насущным, и естественно, что он многих волновал. А что я мог ответить? Я, конечно, понимал, что если лед тронулся, то отпустят и немцев. Но когда? Я ведь и про врачей знал только, что они невиновны, а не когда их отпустят. Так я и отвечал. Авторитет мой от этого не падал. Врачи тоже увидели во мне сведущего человека: Однажды они обратились ко мне со следующей просьбой:

— Эма, мы хотим знать твое мнение... У нас есть одна врач... Ее мужа несправедливо уволили из МГБ и не хотят восстанавливать. Что ему делать, как ты думаешь?

Я ответил гордо:

— Работникам МГБ юридических консультаций не даю.

— Да что ты, Эма, он там работал в архиве.

— Все равно.

Наверное, моя ригористичность была чрезмерной. Не говоря уже о том, что юридических консультаций я не мог давать не только таким, как он, а и всем остальным. Но таким, как он, еще меньше, даже если бы хотел, ибо любой совет касался бы отношений внутри МГБ, а о них я не имел никакого представления. А я и не хотел — человек, несправедливо уволенный из тогдашнего МГБ и желавший туда вернуться, не мог рассчитывать на мое сочувствие. Конечно, и его притеснили за происхождение, как могли бы притеснить и меня. Но общности с ним я не чувствовал. И праздник этот был праздником общего освобождения от кошмара, а не только евреев.

В один из этих радостных дней встретил я Витю Подлубного: на том же месте — у входа в общежитие. Приветствовал его не без ехидства:

— Ну, так как?

Витя был несколько смущен — все его построения рушились и все доверие, — но смущен радостно... Все-таки это насилие над разумом давило и его.

— Теперь я им никому не верю, — объявил он мне. — Такое собрать!

Я спросил, как отнеслись к новым сообщениям шахтеры.

— Нормально, — ответил он. — Тогда ругались на «отравителей»: «Чего им не хватало!» — а теперь удивлены: «Как такое могло случиться?» Только один, сволочь, сказал: «А по-моему, было на них клеймо, пусть бы и было. И разбираться не надо было». Ну я дал в рожу. Такой гад!

Я думаю, что и впрямь это был гад. И что антисемитизм был и единственной точкой приложения этого гадства... Такие люди есть. Но их немного. Скорее всего, и ему досталось от нашей «эпохи», но ведь не ему одному... А в своем окружении только он превратился в абстрактного носителя злобы. Ведь не то, что он не поверил сообщению, просто нуждался в «клейме» на ком-то, пусть даже явно несправедливым, а может быть, именно несправедливым — тем слаще наслаждение. Страшно, когда такие люди получают возможность реализации. Как в октябре семнадцатого.

Но этот случай или даже подобные случаи не влиял на общую атмосферу радости. Начиналась другая жизнь. И не в последнюю очередь — для меня.

В Караганде после амнистии

Полноправная командировка

Начиналась новая жизнь — во всей стране, и у меня в частности. Но и инерция старой продолжала меня держать. Все экзамены были сданы в мае. До окончания техникума, то есть до защиты диплома, оставалось полгода, и я по разным причинам считал нужным его закончить. Логика в этом не было — я прекрасно знал, что использовать его диплом не смогу. Собственно, радужных надежд, как уже знает читатель, я с этим дипломом не связывал с самого начала, но положение мое тогда было безвыходным, и возможностью где-то, говоря по-лагерному, пару лет «перекантоваться» пренебрегать мне никак нельзя было. И к тому же я надеялся, что этот диплом при случае все-таки облегчит мне возможность хоть как-то пристроиться — конечно, не без помощи добрых людей, которые в нужный момент найдутся, как до сих пор находились — и тихо, и в сторонке дожидать до лучших времен... Диплом этот хоть как-то, но все-таки открывал мне пути в новую жизнь.

Но мне повезло — к концу моей возможности «кантоваться» умер Сталин, и безвыходность моего положения испарилась. Наступало время мне возвращаться в свою собственную жизнь, в которой диплом горного техника был явно ни к чему. Безусловно, никакие знания, никакое расширение кругозора никогда не бывают (и в моем случае, могу засвидетельствовать, не были) лишними, но ведь курс я уже все равно закончил, а чего было стараться ради диплома?

Но что-то мешало мне это сделать. Слишком уж нелепо это выглядело — два года проучиться и вдруг, за полгода до завершения, взять и бросить. Да и потом — возвращаться мне, конечно, было необходимо, но как? У меня ведь в Москве и до ареста кроме места в общежитии ничего не было, следовательно, у меня ничего (кроме свободы, которую теперь вернули) не отняли и ничего не были обязаны возвращать... Я, конечно, знал, что мне надо жить в Москве и что я все равно туда уеду, но сделать это так, сразу не хватало решимости. Да и было мне теперь уже не двадцать

два, а двадцать восемь — шло к тридцати, я уже был женат — вообще маневренность уже была не та. Да и сам техникум держал. И ребята — столько вместе прожили, и вдруг — все закончат, а я нет. Почему-то меня это не устраивало.

Предстоящей защите диплома предшествовала преддипломная практика, последние каникулы и собственно работа над дипломным проектом. Каникулы и работа над дипломом — периоды определенные и ясные. Практика как будто тоже. Обычно студенты нашего техникума проходили ее на шахтах Карагандинского бассейна — вариантов тут не было и не нужны они были. Но, на мое счастье, в этом году вариант появился: кто-то наверху придумал новшество — обмен практикантами между техникумами, находящимися в разных бассейнах. Наш техникум обменивался со Сталиногорским в Подмосковье. Этот техникум должен был прислать одного практиканта к нам, а наш тоже одного — в Сталиногорск. Нужно ли было это новшество для пользы дела, я и теперь не знаю, но для меня оно было подарком судьбы — если бы отправили меня, я получил бы возможность съездить в Москву на казенный счет и месяца два жить не очень далеко от нее. Естественно, я попросился в Сталиногорск, и мне пошли навстречу — тем более что никто кроме меня на это не претендовал.

Ехал я в Москву не один, а вместе с освобожденными из ссылки Вавой и Заярой Веселой. Только они уезжали из Караганды насовсем — москвички от рождения, они, в отличие от меня, имели право на возвращение отнятой жилплощади, — а я на время. Соотношение положений изменилось. Раньше из нас только я имел хоть полулегальную, но все же возможность посещать Москву, а они — никакой. Но, как вы понимаете, я о том, что так получилось, не жалел... Да и я ведь ехал теперь в Москву в новом качестве. Впервые вполне легально. Больше у меня не было причин вздрагивать при появлении милиционера — если он даже потребует предъявить паспорт, это больше не означало для меня какой-либо, а тем более смертельной опасности. Я мог теперь ездить из Сталиногорска в Москву и обратно сколько угодно — документы у меня были в полном порядке...

Москва конца весны и начала лета 1953 года — во всяком случае, та, с которой я общался, естественно, была

немного не той, какую я оставил прошлой осенью! Между моим последним посещением и нынешним была не только радость по поводу «новых веяний», но и мрачная тень «дела врачей», которое она переживала ближе и непосредственней, чем я. Все-таки главное действие происходило здесь. И задевало оно не только «лиц еврейской национальности», а вообще всех людей, не лишенных здравого смысла и личного достоинства. Ведь с разгрома гитлеризма прошло к тому времени всего восемь лет, а с момента выставления на позор на Нюрнбергском процессе его страшных и постыдных «тайн» — и того меньше. Память об этом была еще свежа и остра.

Это вовсе еще не история.
Это свежая рана,
Что в душах поныне жива.
В лагерях еще целы
развалины крематориев,
В Бабьем Яре
густая и жирная
всходит трава.

Это я писал год-два спустя, когда уже жил в Москве, и эти строки встречали полное понимание и сочувствие читателя и слушателя. В этой обстановке крайний, гитлеровского типа антисемитизм «дела врачей», исходящий от руководства нашей собственной страны, унижал не только тех, кого стремился унижить, не говоря уже о том, что он кричаще противоречил коммунистической доктрине, которой почти вся интеллигенция еще дорожила как своим единственным духовным достоянием. И без того приходилось затрачивать слишком много диалектики для подкрепления уверенности, что «все продолжается». Но держались. Конечно, неприятные слухи о «деле ЕАК» до них доходили, но о его леденящих душу подробностях никто не знал, а в расистскую его направленность никто не верил. Хотя с менее драматическими проявлениями этой направленности, допустим, с пресловутой «кадровой политикой», сталкивались все, и довольно часто. И все же до 13 января многим удавалось закрывать на это глаза, доказывать себе и другим, что тут не антисемитизм, что по отдельным злоупотреблениям нельзя судить об общем (это в стране, где ни один функционер не смел ни шагу ступить, ни слова

сказать по своей воле). Но 13 января все обнажилось. Не для всех. Как вы помните, Виктор Подлубный, наоборот, еще больше погрузился, но это в провинции — среди моих московских друзей никто не искал истину в пропагандистских брошюрах. Не говоря уже об евреях — для всех это был очередной виток верховного идиотизма, дополнительный пласт его паутины, которую каждый в обязательном порядке должен был сам натягивать на свои мозги — операция для всех, и особенно для людей с обостренным чувством собственного достоинства, мучительная. Короче, отмена «дела врачей» вызвала вздох облегчения отнюдь не только у евреев.

Амнистия поначалу такого впечатления не произвела, но когда стало ясно, что она боком задевает и жертвы репрессий, когда начали прибывать по одному первые амнистированные — а это было уже после реабилитации врачей, все ощутили, что что-то меняется... Это был очень важный, ни с чем не сравнимый перелом — с этого момента начала медленно проходить оглушенность сталинщиной. Медленно — ведь большинство из нас привыкли к ней с детства. Надежда и вера в благие, неведомые перемены (ведь дальше восстановления «подлинной идейности» и «ленинской законности» даже лучшие из нас не заглядывали) стали всерьез овладевать сердцами.

Отношения у меня с окружающим миром установились идеальные. О моих друзьях я не говорю — с ними у меня и раньше было полное взаимопонимание (даже при несогласии), а теперь оно еще укрепилось и согласием. Но радостное ожидание перемен царило повсюду. Иногда это доходило до комизма.

Однажды я зашел в «Литературную газету» к своему однокашнику и товарищу по моей, если можно так насчет меня выразиться, военной службе Владимиру Огневу. Во время моего с ним разговора — в основном о поэзии — вдруг вошел по какому-то делу известный критик Анатолий Тарасенков. Поговорив о делах, он на прощание между прочим сказал:

— Нет, завтра я не смогу (*выполнить какую-то просьбу*). Я сегодня еду в Ленинград на совещание по лирике. Так уж через пару дней.

Услышав слова «совещание по лирике», я, находящийся тогда еще «вне игры», еле удержался от смеха. Но мой

друг Володя посмотрел на Тарасенкова с завистью — его тогда еще на подобные совещания не приглашали.

Современный читатель, услышав словосочетание «совещание по лирике», скорее всего, рассмеется вместе со мной тогдашним. Но это потому, что он, как и я тогда, находится «вне игры», вне той игры, которая тогда велась. Но и Тарасенков, и Огнев прекрасно знали, что такое лирика, и все-таки серьезно относились к этому мероприятию. Почему? — спросите вы. А потому, что оно при всей нелепости своего названия было одним из симптомов раскрепощения — по-настоящему это мероприятие, вероятно, надо было бы назвать «совещанием по реабилитации лирики». Тоже смешно, но смешными выглядят не Тарасенков, не Огнев, не некоторые другие реальные или потенциальные участники этого действия, а ситуация, в которой надо было «ставить вопрос» о лирике, ситуация, которую создали не они и из которой надо было как-то выходить. То есть выработать более приемлемую, более «либеральную» государственную (пардон, партийную) точку зрения на этот вопрос, примирить лирику с государственной (пардон, партийной) идеологией. Поскольку просто отменить руководство партии литературой было невозможно, на эту нелепость (а это нелепость даже с точки зрения идеологии) никто и не замахивался. Смешными были не люди, которым приходилось изворачиваться, смешным, хоть и страшным было мертвящее сталинское наследие, которое заставляло их это делать и даже радоваться, что наконец это становится возможным.

Кто о чем, а вшивый о бане. Я действительно пользуюсь сейчас еще одним поводом, чтоб дать представление о том, чем была по своей мертвящей сути сталинщина и что она значила в судьбе России. О живчиках, которые в жажде делать открытия открывают необходимость Сталина русской истории, я не забочусь — корысть опровергнуть нельзя. Но что касается остальных, мне очень хочется, чтобы они поняли, от какого наследия им еще предстоит освободиться, что преодолеть, чтобы увидеть реальность и как-то с ней справиться — выжить. В каком-то смысле этой возможностью ставить наконец на обсуждение «вопрос о лирике» определялось все тогдашнее освобождение. Ведь это был год 1953-й, а даже не 1956-й и тем более не 1962-й. Под автори-

тет Сталина его соратники уже подкапывались, но тихо и робко. Якобы и не покушаясь на его неизбежность — его имени и его порядков. Как выпускали по амнистии репрессированных.

Характерная деталь. В один из своих приездов (а я, как, наверное, догадывается читатель, удалялся в Москву с места своей практики часто) я обнаружил на дверях всех продовольственных магазинов объявление, что с такого-то числа в этом магазине будет свободно и без всяких ограничений продаваться мука... Родившимся позже поясню: мука в Москве продавалась, может быть, и чаще, чем в Чумакове, но тоже очень редко, ее надо было «доставать». И вот, пожалуйста. Алексей Баталов, с которым я тоже встретился, рассказал мне по этому поводу такой анекдот. На Красную площадь к Мавзолею, где тогда вместе лежали Ленин и Сталин (по этому поводу тоже был анекдот — газетное объявление: «Меняю один мавзолей на два в разных районах») приходит подвыпивший рабочий и с великой грустью причитает:

— Товарищ Сталин!.. товарищ Сталин!.. Вот уже и муку стали продавать!.. Эх, товарищ Сталин!.. Три месяца до хорошей жизни не дожил!

Анекдот в утрированной форме передает настроение, бытовавшее в определенной части городского населения. Она же в основном и определяла «Ходынку» в дни прощания с вождем. Деревню тогда эти настроения почти не захватывали. Мне рассказывали, что на московских вокзалах, где скапливались в ожидании поездов ездившие в столицу по своим делам колхозники, и в день объявления о смерти Сталина, и в дни прощания с ним, и в день его похорон царило полное спокойствие — ни скорбных возгласов, ни скорбных лиц не было... Деревня тогда еще хорошо помнила, что с ней проделывал усопший.

Заходил я и в Литинститут. Сначала в комитет комсомола — выяснять, с какой формулировкой меня исключили, с целью ее опротестовать, то есть собирался немного «покачать права». Да и боялся, что эта формулировка может в дальнейшем мне помешать. Но оказалось, что формулировка нейтральная, помешать она не может, придраться не к чему — постановили «исключить как арестованного органами МГБ». Что ж, все правда и ничего не сказано... Орга-

низацию, способную исключать своих членов с такой формулировкой, следовало саму исключить из себя, но это, как знает читатель, я сделал уже давно, и вопрос был исчерпан...

С восстановлением в институте все оказалось сложнее — мне стали чинить препятствия. Видимо, во многом он нес на себе печать антикосмополитской кампании. Да, наверное, и боялись, не сильно еще верили в прочность нововведений. Расскажу все сразу, забегая и вперед. Для начала меня подвергли унижительной в данном случае процедуре — потребовали стихи на рецензию, как будто я был никому не известным абитуриентом и должен был пройти творческий конкурс... И стали ловчить. В рецензенты был выбран ими Долматовский. Выбор, как им, вероятно, казалось, остроумный. Долматовский — Евгений Аронович — и обвинение в антисемитизме не могло даже возникнуть. Но это был именно Долматовский — тот самый, о котором Глазков когда-то написал: «Евгений Ароныч/ Не гений, а сволочь» и от которого они вполне могли ожидать желаемого. И еще до моего возвращения в Караганду я узнал, что на основании рецензии этого «уважаемого писателя» мне в приеме отказано. Это была наглость — ведь речь шла не о приеме в Союз писателей, а только о восстановлении в Литинституте, причем не на очное отделение даже, а на заочное... Кого только туда не принимали, а меня восстановить отказывались. Это был явный перебор. Они явно восприняли меня как еврея, от которого достаточно обезопаситься другим евреем, что, во-первых, не имело отношения к делу, а во-вторых, уже не работало. Как мне кажется, я прямо сказал директору, что «это у него не выйдет». И не вышло. Я рассказал эту историю Эренбургу — он всегда, когда я приезжал в Москву, принимал меня, — и он сказал, что поможет. И вскоре после возвращения в Караганду я получил из института извещение, что постановлением секретариата Союза писателей СССР, принятом по заявлению И.Г.Эренбурга, я зачислен в Литинститут. Думаю, что это постановление было вызвано не только уважением к Эренбургу, но и общим умонастроением. Почему бы не поддержать эту инициативу — раз она возникла — и не помочь невинно пострадавшему в таком бесспорном и незначительном деле! К тому же, как я думаю, некоторые члены секретариата слы-

шали обо мне больше, чем тогдашние руководители Литинститута.

Честно говоря, мне и пребывание в студентах было нужно как знак апробации — в провинции это было нужно. А такая бумага была еще более весомой апробацией. Так что вопреки желанию затеявших эту интригу я на ней даже выиграл — получил больше, чем рассчитывал. Первые месяцы «оттепели» (я бы сказал, оттаивания) были временем слишком эфемерным. Даже привыкшие чутко держать нос по ветру ошибались — запахи стали обманывать.

Однако пора переходить к тому, что формально было целью моей поездки — к преддипломной практике в Подмосковном угольном бассейне. Как ни хорошо и интересно мне было в Москве, а надо было ехать в Сталиногорск — теперь, кажется, Углергск. Первый раз ехал я туда ночным автобусом. Прибыли мы на место очень рано, и шофер, крепкий, плечистый, уверенный в себе парень с широким, добрым лицом, предложил тем, кому некуда деваться, дожидаться утра в автобусе. От самой поездки (как и от следующих) у меня не осталось никаких воспоминаний, только что ночью останавливались в Туле на какой-то нарядной площади (в Туле я больше никогда не бывал), но этот парень мне запомнился. Может, благодаря его рассказу, вроде бы и не имеющему отношения к этому повествованию.

Ибо, поскольку мы, несколько человек, остались коротать время в автобусе, у нас, как всегда в России в таких случаях, завязался живой сердечный разговор: кто такой, откуда, зачем и так далее. Узнав, что я из Караганды и что сидел, шофер рассказал, как после окончания автодорожного техникума несколько лет проработал на Сахалине — водил тяжелый грузовик.

— Там кругом лагеря, уголовники часто ходят свободно — все равно не убежишь. И все дороги поэтому опасны для машин. Грабежи... убийства... Но я ездил безбоязненно — меня не трогали. Почему? А я еще в самом начале так себя поставил. Как? А вот так. Однажды пришлось мне везти муку в мешках. Вот еду я по дороге, вижу — стоят двое, сигналист: дескать, подхвати. Останавливаюсь, вижу, настоящие урки. Паханы, похоже... «Подвези, браток, немного, мы поступим, когда слезать». — «Какой разговор! — говорю. —

Залазьте, ребята!» Залезли в кузов, кое-как уместились, еду дальше. Минут через сорок слышу: стучат — значит доехали. Ну, торможу, останавливаюсь. Спрыгивают, подходят к кабине, говорят: «Спасибо!» — и хотят уйти. А я им: «Погодите, ребята!» — открываю дверцу, выхожу из кабины, потом залезаю в кузов, сбрасываю два мешка муки: «Забирайте, ребята!» Они аж опешили: «Да ты что! Нам ведь только доехать надо было... И так спасибо — довез». — «Ничего, — говорю, — ребята, берите — я ведь знаю, что вы в лагерях голодаете, а я уж как-нибудь расплачусь за пропажу». «Ну, спасибо, — сказали. — Век не забудем», — и пошли. Только на номер мой посмотрели. С тех пор с другими на дорогах всякое случалось, а я свободно ездил по всему Сахалину: со мной — ничего. У них ведь свой телеграф есть. Сообщили по нему: «Машину с таким-то номером не трогать», — и все. Тут уж у них так: тронешь — не обрадуешься.

Этим путем — из Москвы обратно — мне потом пришлось ездить несколько раз, а запомнилась только эта поездка, точнее, этот шофер с его рассказом. Что-то в нем не только от вечно-российского, иногда странного, гармоничного уживания добра со злом, но и от «долг платежом красен», по-своему обязательного и для тех, «кто вечно плачет и поет». Сохраняются ли теперь хоть рудименты такого отношения, такой тогда еще, несмотря ни на что, невыветренности устоев? Судить об этом издалека трудно, но надеюсь, что сохраняются.

Настало настоящее утро, и я отправился искать местный горный техникум, куда был непосредственно командирован. Там без проволочек получил направление на шахту, так что техникум этот вообще изгладился из моей памяти. Не помню даже, где он находился — в самом Сталиногорске или в Бобрике-Донском. Кажется, к Бобрик-Донскому относилась шахта, куда я был направлен — сейчас уже не помню. Да это и неважно. Так или иначе, моя преддипломная практика началась.

Много о ней я рассказывать не буду — ибо и помню немного. Все мое внимание было поглощено Москвой, она была сильным магнитом, притягивавшим меня к себе. Я пользовался любой возможностью, чтобы туда, улизнуть. Да и к тому же я уже представлял, что такое шахта, и сама по себе она такого большого впечатления на меня, как пер-

вый раз, произвести не могла. Конечно, шахты здесь были другими. В них добывали так называемый «бурый» уголь, впрочем, цветом он не отличался от карагандинского — просто процент зольности в нем был намного выше. И не были здешние шахты опасны по газу и пыли. А самым главным отличием было то, что разрабатываемые угольные пласты располагались в водоносных слоях породы. И вода лилась почти всюду и отовсюду. Одеты были мы все в резиновые робы, носили резиновые сапоги и широкополые резиновые шляпы (поверх касок), поля этой шляпы были сильно удлинены сзади — чтобы вода не попадала проходчикам (до которых мне еще нужно было расти и расти) за шиворот. Впрочем, читателю эта «униформа» может быть знакома по газетным фотографиям ударников Метростроя — метростроевцы, хоть и не добывают уголь, работают в схожих условиях. Шахта, на которую я попал, сильно отличалась от карагандинской, но все равно она была шахтой, и ничего непонятного или поразительного в ней теперь для меня не было... Ничего такого, что могло бы заглушить притяжение Москвы и все, что там происходило.

К стыду своему, я не помню даже, какую должность на этой шахте занимал и в чем состояли мои обязанности. Помню только, что приписан я был к бригаде проходчиков, но сам проходчиком не был — то ли они вводили меня в курс дела, то ли знакомили с шахтой. Похоже, я опять, как и во время первой практики, был десятником вентиляции или чем-то вроде этого. Ибо с этим был связан и некий скандал. В ночную смену бригадир стал за что-то распекать шахтеров, а заодно обвинил меня, хотя я не был его подчиненным, в том, что я это допустил, потому что спал в выработке. Допускать или не допускать то, чем он был недоволен (что именно, я не помню), не входило в мои полномочия, но возмутило меня не это, а обвинение в том, что я сплю на работе. И я разразился ответной филиппикой, от раздражения достаточно красноречивой. Потом мне объяснили, что он человек хороший и справедливый, а я очень не люблю обижать хороших людей. Однако все мои попытки потом извиниться были безрезультатны — видимо, он был самолюбив, а я его сильно обидел. Вспоминать мне об этом неприятно — так и живу с неснятым грехом на душе, отчего и помню об этом недоразумении.

Но из него видно, что я и здесь относился к «надзорам», а не к простым проходчикам (до чьей «простоты» мне еще было расти и расти). Кстати, это были очень хорошие ребята, богатыри по сложению и добрые. Ко мне относились с пониманием и сочувствием. В общежитии жил со мной другой практикант, откуда-то с Донбасса. Умный парень, я ему читал отрывки из романа в стихах «Начальник творчества», который тогда начал. Роман этот — полторы тысячи строк — я писал несколько лет. Он потом широко ходил по рукам, значился часто в протоколах обысков, тогда его напечатать было нельзя, но и потом — в эмиграции и в России — я его не публиковал и не публикую. По многим причинам, хотя и сейчас нахожу в нем и ценное. Это был роман о сталинском выдвиженце, о том, как он, ничего собой не представляя, стал трепещущим хозяином жизни. В таком плане тогда еще никто не писал и не мыслил, а у меня в нескольких четверостишиях, казалось бы, были намечены только контуры темы, но этот парень, будущий выпускник провинциального техникума, все понял. Я имею в виду не свое, не о произведении — его тогда еще и не было, — а о проблеме и типе. Это говорило как о том, что умные и чуткие люди живут не только в столицах (но это я и так знал), так и о том, что это понимание назрело.

Но все эти впечатления все равно были для меня тогда частностью по сравнению с тем, что меня ждало в Москве. А ждала меня там моя собственная жизнь, моя незаконченная, но еще не иссякшая ни во мне, ни в моих товарищах молодость — все, к чему я так рвался. И неудивительно, что при первой возможности, как только это стало выглядеть не совсем неприлично, я уволился с шахты и уехал. Правда, перед отъездом возникла заминка. Мне надо было захватить с собой заверенную шахтную документацию — проект, по которому она была построена. В шахтоуправлении я снял с него копию, снабдил своими соображениями и отправился заверять к начальнику вентиляции — таков был порядок. Несколько смущало меня, что скопированное мной не совсем соответствовало тому, что я видел. Но я полагал, что это меня не касается: что дали, то и станет основой диплома... Однако начальник вентиляции заверить принесенное мной отказался. У него была другая, соответствующая реальности документация, и мне пришлось проделать эту работу заново.

Больше воспоминаний об этой практике у меня нет. О Москве я уже все рассказал. Какое-то время я пробыл там и уехал в Киев — на каникулы. Об этом тоже можно было бы сейчас не писать. Если бы не одно историческое обстоятельство. Впрочем, покидая Москву, я о нем и не подозревал. Но Яша, встретивший меня на вокзале, был сумрачен и озабочен.

— Ты ничего не слышал про Берию? — это было первое, что он спросил.

Я ничего не слышал и не поверил. Он только покачал головой. Никто из нас не мог забыть, что о реабилитации врачей мы узнали из сообщения МВД СССР, во главе которого стоял Берия. Так что ж теперь — все снова начнется? Я не поверил — тем более сообщения еще не было. Сообщения еще не было, но Киев гудел. Киевские евреи — а их в Киеве было много, — хорошо понимали, что это их касается. Сообщение это подтвердилось вечером, когда Яша пришел с работы — ведь он работал переводчиком в украинском филиале ТАСС — РАТАУ. Я был в это время у них. Он запомнил текст сообщения о Берии и пересказал его. Настроены мы были раньше. Только дня через два было разъяснено, что возвращение к законности, в том числе и реабилитация врачей, было заслугой не Берии, а партии, Берия их только приписывал себе. Здесь не место разбираться, насколько логичны и правдивы эти объяснения. Берия, конечно, был гнусен, но даже тогда я понимал, что многое, в чем его обвиняют (например, ему ставилось в вину предложение уйти из Европы и заняться своими делами), на самом деле разумно. А теперь я знаю, что многое, что тогда сообщали о его деятельности, — неправда. При всей гнусности этого человека — а невероятная гнусность его, повторяю, несомненна — он был гораздо умней тех, кто его скрутил, и в большей степени, чем они, близок к государственному мышлению... Но тогда я этого не знал, да мне и вообще было не до этого. Из упомянутого разъяснения — кажется, оно содержалось в передовой «Правды» — стало ясно, что поворот назад — возвращение к «делу врачей» и прочей преступной фантастике — не планируется. И для меня в тот момент этого было вполне достаточно. Тем более что я вообще не ждал от тогдашних лидеров правды: на людей бы не бросались, и на том спасибо. Уж слишком не избалован я тогда был.

О том, как я провел каникулы, писать не буду. Не очень отличаются эти каникулы от других, не выделяются в памяти — тем более в смысле, представляющем интерес для этой книги... Да и забылось многое.

Но каникулы кончились, и в начале осени я вернулся в Караганду и приступил к дипломному проекту. Больших трудностей (кроме чертежных — о том, как я выходил из них, я уже рассказывал) он для меня не представлял. Конечно, требовались нормы, расчеты, но этого я не боялся. Настал день защиты, моя очередь. Я вывесил на доске «свои» (намеченные мной, но начерченные не мной) листы и сделал краткий доклад о своем проекте, ответил на все вопросы, поскольку я говорил хорошим и точным русским языком, и, в общем, вызвал симпатию комиссии. Дело шло к пятерке. Но Иван Петрович Рыбаков, который хорошо меня знал, хорошо относился, но технических талантов во мне справедливо не подозревал, некоторое время постоял у моих листов, а потом задал мне еще несколько вопросов. Оказалось, что некоторые проблемы можно было решить лучше, и я получил «только» четверку. За что никаких претензий к Ивану Петровичу не имел и не имею, даже мимолетного чувства обиды и огорчения не испытал. Ибо и на четверку не рассчитывал. Теперь я думаю, что проект мой четверки, может быть, и заслуживал, а сам я как техник до такой высокой отметки никогда не дотягивал. Хотя выполнил свой проект самостоятельно и хорошо понимал, что делал. Как говорится, не в проекте дело. Так или иначе, проект был защищен, и я получил диплом. Техникум оставался позади... Оставался позади целый период моей жизни, благодаря ему не такой уж тяжелый. И оставалось в душе все хорошее, что было связано с техникумом: теплые воспоминания о товарищах и благодарность многим людям за все хорошее, что они для меня сделали.

Но нам было не до лирики — надо было трудоустроиваться. Тогда как будто таких проблем не было — выпускников высших и средних специальных учебных заведений, «молодых специалистов», по тогдашней терминологии, распределяли и принимали на работу в принудительном порядке. Они после окончания своих учебных заведений обязаны были отработать три года по распределению и только потом получали право выбирать место работы по собствен-

ному усмотрению. Малая часть моих товарищей должна была быть распределена куда-то на периферию, в глухомань на маленькие шахты, разрабатывавшие небольшие месторождения и относившиеся даже не к Министерству угольной промышленности, а всего лишь к «местопу» — к предприятиям местной топливной промышленности, чья скромная продукция шла на удовлетворение местных потребностей. Кстати, к одной из таких шахт — близ станции «Самоцветы» — я был приписан в 1943 году (об этом я рассказал во второй части этой книги).

Мне такая ссылка не угрожала, поскольку я был женат, а жена работала в Караганде. Но те, кому выпала такая участь, стремились любой ценой от нее отвертеться — фиктивно жениться или выйти замуж. За деньги или по знакомству.

При этом всякое случалось. Одна из наших девушек заключила такую сделку с молодым шахтером. Кто-то ее познакомил с ним. Ходили вместе в ЗАГС подавать заявление, а потом, выдержав испытательный срок, заключили брак по полной форме. На обратном пути ее партнер по фиктивному браку вдруг предложил:

— Знаешь что? Давай будем жить на самом деле.

Она согласилась. И брак перестал быть фиктивным. Как я слышал, он оказался прочным. Всякое бывает.

Но большинство из нас получили направление на комбинат «Карагандауголь», отдел руководящих кадров которого должен был распределить нас по предприятиям и учреждениям комбината. Казалось бы, все хорошо — остаемся на месте, никуда уезжать не надо. Чего ж еще? Но устроиться оказалось трудно. Все более-менее «подходящие» места достались «семиклассникам», то есть выпускникам основного отделения. Они учились четыре, а не два с половиной, как мы, года, но зато защищались весной, а не поздней осенью. Дошло до того, что почти всю мужскую часть нашей группы за неимением других штатных единиц отправили в горноспасатели. Работа это опасная, почетная, но не каждому подходящая. Конечно, она требует от человека не только храбрости и мужества, но и сноровки, сообразительности, находчивости, однако имеет мало отношения к техническому творчеству. Спасибо, Иван Петрович порекомендовал Роберта во «Взрывпром» — организацию,

разрабатывающую по заказу шахт для каждого конкретного случая отдельно (приходилось много бывать в шахтах) оптимальные схемы для взрывных работ. На этой работе Роберт получал возможность хоть в какой-то мере реализовать свои незаурядные способности. Другим пришлось сложнее. А я? А я просто вышел из игры — принес в отдел руководящих кадров бумагу из редакции «Социалистической Караганды», в которой содержалась просьба направить меня в эту газету, где я необходим для освещения работы угольной промышленности. Получить такую бумагу мне было не так уж сложно.

Я забыл упомянуть о том, что отношения мои с редакцией газеты восстановились сразу же после амнистии. Редактор ее, Федор Федорович Боярский, человек, как я уже упоминал, и умный, и яркий, относился ко мне хорошо, и мне в критический момент нетрудно было обратиться к нему с просьбой взять меня на работу. Бумага эта освобождала меня от, так сказать, «крепостной зависимости», от тех трех лет, которые я обязан был отработать после техникума. Никакой несправедливости в этих трех «крепостных» годах я не видел и не вижу — государство затрачивало на нас народные средства (все равно народные, а чьи еще?) и имело право на отдачу. Но совесть меня не мучила. Ибо если бы государство придерживалось права, я не учился бы в техникуме и не попал бы в эту ложную ситуацию.

Отдел руководящих кадров подобные проблемы вообще не интересовали, и просьба эта была тут же и с удовольствием удовлетворена. Удовольствие объяснялось просто — ведь отдел и без меня не знал, куда девать валящиеся на него как из рога изобилия новые «руководящие кадры», а тут просьба такого уважаемого учреждения, как редакция, к тому же еще имеющая столь важное актуально-политическое обоснование (освещение работы угольной промышленности!) — комар носа не подточит. А для начальника отдела на одну головную боль меньше — «баба з возу, кобыли лэгше»...

И я стал работать в газете «Социалистическая Караганда». К слову сказать, в этом, как значилось под этим ее названием, «органе Карагандинского обкома КП Казахстана и областного Совета депутатов трудящихся» я занимался чем угодно, только не угольной промышленностью. Но это уже никого не интересовало.

В партийной газете

А чем я, собственно, там занимался? Должен сказать наперед, что мои производственные успехи в газете были не выше, чем на других производствах. Только причины были другими, прямо противоположными. Там у меня не хватало умения освоить серьезное дело — например, фрезеровку поверхностей или сапожное ремесло. А тут серьезное отношение к жизни и слову мешало необходимой для газетчика тех времен уверенной профанации того и другого. В редакции даже установилось мнение, что стихи я умею писать хорошо, а прозу (то есть прозой) не умею совсем. Опровергать это сегодня нелепо. Прозу (если не считать эссеистику прозой) я действительно писать не умею и не пробовал, но прозой с тех пор написал и напечатал довольно много. Но то, что надо было там писать мне как сотруднику газеты, я действительно не умел. И теперь не сумел бы. Потому что слова ко мне приходят по мере развития мысли, а если я не чувствую мысли, слова ко мне приходят отказываясь. Машина выключается.

Я не стремлюсь тут представить себя обманутой невинностью. Я знал, куда и на что иду. И вовсе не был святым. Стихи на потребу дня писать я не только соглашался, но и умел. Они было имитацией мысли и восприятия. Иногда я их писал как бы от имени себя самого, каким я был раньше, или от чьего-то другого имени. Имитировал некое обобщенное отношение к жизни. О причинах, вынудивших меня это делать, и о защитном цинизме, с этим связанном, я уже говорил и сейчас не стремлюсь себя обелить. Я вообще имею в виду сейчас не моральный аспект проблемы, а только предел своих возможностей. Газетная обыденщина того времени почти не допускала не только смысла, но даже его имитации. Надо было фразами связывать несвязуемое, а это у меня при всем желании (а желание было, раз я работал в газете) не получалось. И никакой цинизм не помогал.

Приступаю я к описанию своей работы в газете, точнее, работы самой газеты, с двойственным чувством. С одной стороны, в ней работали люди, с большинством которых, начиная с ответственного редактора, меня тогда связывали теплые товарищеские отношения, а теперь — теплые вос-

поминания, а с другой — это была советская газета, функцией которой было поддерживать фикцию. И все они (и я в том числе — только менее квалифицированно) этим занимались. Ибо куда денешься. Короче, никакого побуждения каким-либо образом разоблачать своих товарищей или бросить на них тень у меня нет. На большинстве из них (и других газетчиков страны) не больше вины, чем на солдатах, попавших в плен, и на людях, оказавшихся на оккупированной территории, за то, что так получилось. Тень лежит на системе, которая требовала такой квалификации. В которую при других обстоятельствах мог бы, вполне возможно, втянуться и я. Правда, мои стихотворные поделки никуда меня не втягивали, но я их, так сказать, не принимал на свой счет — берег в себе главное, — у большинства газетчиков такой возможности не было. Но и в них далеко не все исчерпывалось этой «квалификацией».

Должен сказать, что нигде я так близко не подходил к «высокой политике», как состоя в этой газете. Все-таки она была при обкоме, а обком — недалеко от самого ЦК... «Близость» эта была довольно далекой, но кое в чем быт и нравы номенклатурного государства она открывала.

Вот, например, такой факт. Газета обнаружила злоупотребления какого-то крупного деятеля районного масштаба. Он и квартирами казенными торговал, казнокрадством не брезговал и, кажется, к сожительству принуждал — точно не помню, но букет именно такого аромата. Такая критика «отдельных недостатков», если она была «без обобщений», то есть без обнажения корней и причин, и если это не касалось партийных органов и функционеров, допускалась и при Сталине, формально даже приветствовалась!

Ответ, полученный редакцией из райкома партии, поразил меня. Он был составлен по всей форме, напечатан на бланке райкома и, кажется, даже снабжен печатью. В нем черным по белому сообщалось, что бюро райкома рассмотрело выступление газеты о недостойном коммуниста поведении члена партии, заведующего Ленинским райжилотделом г. Караганды (кажется, такова была должность этого проходимца) товарища NN. Бюро сообщает, что факты, приведенные газетой, подтвердились, и признает выступление газеты нужным и своевременным. В связи с чем товарищу NN вынесен строгий выговор с предупреждением и

занесением в личное дело. Далее в этой же или более поздней бумаге добавлялось, что товарища NN к уголовной ответственности (*за уголовные деяния!*) решено не привлекать, поскольку два наказания за одно преступление закон не предусматривает, а одно наказание товарищ NN, получив упомянутый выговор по партийной линии, уже понес. Тем более что для коммуниста взыскание по партийной линии страшней любого уголовного наказания.

Такая, значит, логика. Компрометировать партию наглыми уголовными деяниями товарищу NN было несколько не страшно, а какое-то чернильное «фе» в личном деле, даже не препятствующее его дальнейшему «служению народу» в том же качестве, было для его чувствительной идейной души страшней тюрьмы и сумы*. И всем, кто читал этот документ, самим фактом его существования предлагалось в это верить. «А вы что, считаете, что пребывание в партии для коммуниста не самая главная ценность?» — как бы спрашивал он. И попробуй возразить. При том, что возразить было очень просто, сказать: «Для членов *вашей* партии, особенно ответственных, эта ценность отнюдь не главная, главная — те карьерные возможности, которое пребывание в ней им открывает». Но чем чреват был тогда такой ответ и какой был смысл так отвечать — это, я думаю, и современному читателю вполне понятно. Только в обстановке беспредельной и сходящей с ума тирании можно безнаказанно написать такую глупость.

Но клеветать не надо и на «партию». Справедливость требует отметить, что через некоторое время — через год или два — такая практика была официально осуждена и, кажется, прекращена — во всяком случае, больше я о ней не слышал. Впрочем, еще роман воспевателя номенклатуры В. Кочетова «Секретарь обкома» начинается с того, что областной прокурор приходит к секретарю обкома спрашивать, судить кого-то или не судить. Но это келейные подробности государственного управления, и никем, кроме Кочетова, они не афишировались. А тут ведь открытая бумага, даже без грифа секретности — чего стесняться в родном отечестве?

Но дело сейчас для меня не в том, когда и насколько была прекращена такая практика. Для меня сейчас важно,

* Напоминаю, что я отнюдь не поклонник тех, для кого пребывание в партии было и в самом деле столь важно, но в 20—30-х годах такие наивные люди встречались... Но не воровали.

что такая бумага вообще существовала. И именно при том Сталине, с которым у многих связано представление о строгом порядке, в котором сегодня нуждается Россия... Бумага эта явно ссылается на установившийся порядок. Установившийся тогда, когда даже о попытке установить какой-либо порядок, минуя Сталина, нельзя было и помыслить. За всем этим он, это его порядок, его цинизм. И то, что при этом любого проштрафившегося «товарища NN» можно было в любой момент решением того же райкома, обкома, ЦК и «лично товарища Сталина» за то же самое отдать под суд — тоже часть этого порядка.

Из этого ответа редакции видно, в каких кадрах нуждался Сталин и какие качества в них стимулировал и воспитывал. Сегодняшний беспредел — его рук дело, его кадров и их воспитанников. При Брежневе сталинские кадры, люди с воспитанными им качествами, получили свободу от его плетки, а при их наследниках и вовсе распоясались. Ведь никто и не удивился, что в республиках перед распадом СССР самыми активными деятелями движений за отделение от Союза стали главные борцы с местным сепаратизмом — секретари по пропаганде республиканских компартий, а часто и первые секретари... А латыш с русской фамилией Горбунов даже сразу стал устраивать парады эсэсовцев. А ведь до этого все «понимали», что главным их духовным достоянием является пребывание в КПСС. Это его кадры или кадры его кадров. Повторю: сегодняшний беспредел — дело рук «выкормышей» Сталина.

Квалификация советских журналистов приобреталась вместе с умением учитывать эти и подобные табу и обстоятельства, лишавшие смысла всякое дело и мысль. У меня этой квалификации не было, а без нее в советской журналистике жить было невозможно. Старался, не получалось. Вот, например, такой случай, касавшийся меня непосредственно.

Как известно, вечной мишенью советской сатиры и вообще свободомыслия была «сфера обслуживания»: магазины, столовые, пошивочные мастерские. На них разрешалось демонстрировать, что «мы» допускаем критику «все еще имеющихся у нас недостатков». А подобные недостатки в Караганде были. Например, узким местом был «индпошив». Поскольку молодой читатель может и не знать, что

это такое, объясню. После разгрома НЭПа частные портные в СССР были, скажем так, нежелательны, а фабричная продукция, хоть и была достижением более передовых форм производства, все-таки не всех устраивала. И поэтому в середине тридцатых (когда «жить стало лучше, жить стало веселее») была создана эта сеть мастерских «индпошива» (индивидуального пошива — так «красиво» это расшифровывалось), где квалифицированные мастера на социалистическом предприятии шили одежду по индивидуальному заказу. В Караганде в Новом городе тоже была такая мастерская (там, кстати, работала Ольга), но на ее работу была масса нареканий, люди месяцами ждали возможности что-либо заказать. И многие были уверены, что причиной являются злоупотребления, что ждут они так долго своей очереди потому, что мастерская принимает все время заказы от начальников и по блату.

Мне поручили исследовать этот вопрос и разделать этих блатмейстеров под орех. И я жаждал постоять за правду и вывести негодяев на чистую воду. Забыв, что там плановиком работает Ольга.

Но, к моему удивлению, негодяев на пошивочном фронте не оказалось. В разговоре с директором фабрики (мастерская расширилась, переехала в новое помещение и теперь называлась фабрикой) мне вдруг стало ясно, что если и принимают иногда заказы вне очереди, это ничтожный процент, который годится для фельетона (если доказать, но как докажешь?), но на положении других возмущенных трудящихся почти не отражается. Директриса — кажется, ее звали Анисья Ивановна — была женщиной лет сорока, умной, энергичной и красивой, и в красоте ее каким-то образом выражалась эта энергичность. Она объясняла мне все «на пальцах»:

— Понимаете, мы можем за месяц выполнить не больше чем 200 заказов — сколько бы мы ни старались. А чтоб удовлетворить спрос, надо четыреста (точных цифр я не помню, помню, что соотношение было таким же разительным). Рабочих мест и машин у меня достаточно, но вот мастеров не хватает. Надо учениц набрать человек двадцать, тогда все и решится...

— А почему вы их не набираете? — удивился я, считая это дело простым. — Желающих нет?

— Да нет... Многие просят... Но я не могу взять их...

— То есть как? — все для меня становилось совсем непонятным. — Они хотят, вам нужно, городу нужно... В чем же дело?

— Да платить мне им нечем: фондов мне на них не хватит — Облплан не выделяет, — как малому дитяти объяснила мне она.

Естественно, это показалось мне недоразумением, которое просто уладить. Ведь не может же Облплан быть заинтересованным в создании «узких» мест, вызывающих недовольство. И еще из-за такой чепухи! Подумаешь, двадцать учениц — что это для такой области!

И я отправился в Облплан. Что мне было не очень трудно, так как возглавлял его мой знакомый, Алексей Николаевич — тесть моего друга Гены Иванова (к тому времени уже, кажется, редактора «Комсомольца Караганды»), человек вполне порядочный, интеллигентный и умный. Выслушав мои недоумения, он улыбнулся.

— Думаете, вы мне Америку открываете? — спросил он, усмехнувшись. — Да я давно все это знаю. Но мы тут ничего не решаем. Средствами распоряжается Москва, Госплан. Я туда несколько раз докладывал — срезают.

Круг замыкался — интервьюировать Госплан было вне пределов моей компетенции и физической возможности. Областная газета имела право критиковать только районные и городские учреждения, а областные — только отчасти и осторожно. Да если бы я получил доступ в Госплан, это, я теперь понимаю, ничего бы не изменило. Там тоже сидели не дураки, и, возможно, если бы я или кто другой к нему с этим проник, мою просьбу бы уважили и в порядке исключения выделили бы средства на карагандинских учениц. Но если бы разговор стал откровенным, мне бы — одни с болью, другие с гордостью — объяснили, что им не до того, чтобы заниматься такими мелочами. Они решают крупные вопросы: уголь, металлургия, машиностроение — все хозяйство страны на их попечении, до швей ли тут? Ведь спрашивают в основном за это. Так что такие недостатки неизбежны, и судить за это несправедливо. И ведь они правы — неправа система, в которой государство ведает и домнами, и прачечными. Но об этом я сам только тогда начинал смутно догадываться. Как и о том, что преслову-

тый «примат тяжелой промышленности над легкой», то есть над тем, что непосредственно касается человека и потребителя — а именно к ней относились пошивочные ателье, как и вся сфера обслуживания, — дело жестокое и противоестественное.

Но это мое — да и не только мое — сегодняшнее понимание. Тогда меня вообще волновало другое. Я проваливал поручение редакции — не мог написать острый газетный фельетон. Конечно, не моя вина, что необходимых для него виновников безобразия в природе не оказалось, но так или иначе, я опять оказывался неумехой.

Но не писать же хлесткий фельетон о ни в чем не виноватой Анисье Ивановне! Хотя методы писания таких беспочвенных фельетонов были давно разработаны советскими борзописцами... Надо было ернически объявить, что перед нами горе-руководитель, ссылается, подлец, на объективные трудности и ничего не предпринимает, чтоб с ними справиться. А людям, между прочим, пока пальто сшить негде. Вроде ничего не наврано, а человека оболгали. Такой фельетон был бы не только бессмысленным, но и бессовестным поступком. Не все теперь представляют, что тогда мог значить отрицательный отзыв партийной газеты для руководителя любого ранга. Он был ему не только неприятен и обиден, но и грозил серьезными неприятностями. Газета была как бы глазом и гласом начальства.

Такого я сделать не мог. И должен сказать, что никто из моих более опытных товарищей, с кем я советовался, мне такого выхода и не предлагал. Впрочем, этого и не требовалось. Такие методы, то есть травля, применялись только тогда, когда начальству специально требовалось кого-нибудь ошельмовать. В данном случае ничего такого и близко не было. Только собственные побуждения — желание редакции получить «читабельный» материал (само наличие этого термина показывает, что большинство материалов в газете были как бы соблюдением некоего обязательного ритуала и для чтения не предназначались).

Я был очень растерян, но все-таки кое-как с помощью товарищей из этого положения вышел. Статья представляла собой просто описание положения и призыв к областным организациям помочь делу, но никого не обвиняла и не шельмовала... В ней не было подлости, но и смысла тоже.

Финал этой истории был вполне адекватен ее сюжету... Материал был напечатан, но сотрудник, заменявший в тот момент ответственного секретаря (тот самый, который не так давно рассказал «всю правду» обо мне Боярскому), объявил мне, что подпишет этот «материал» именем одного из сотрудников казахской газеты (кажется, фотографа) и, следовательно, отдаст ему гонорар за нее — с тем за что-то надо было расплатиться. Это была несусветная наглость. Он явно использовал шаткость моего положения в газете и общую мою неуверенность в себе на этом поприще... Расчет его был правильным. Я несколько удивился, но согласился. Должен сказать, что никакого огорчения я при этом не испытал: авторство в этом случае мне никак не льстило, а деньги — где наша не пропадала.

Но с его стороны это было неосторожно — ведь про то, что этим опусом занимался именно я, знали все — я советовался со многими. И это сказалось. На первой же планерке Алексей Иванович Брагин (о нем ниже) выступил и выразил свое возмущение по этому поводу. Но ничего не произошло. Временный ответсекретарь изобразил смущение, признал ошибку (никак, впрочем, ее не объяснив), и на этом вопрос был исчерпан... Углублять его никто (в том числе и я) не хотел.

Из этих двух фактов — доноса и отнятия авторства — можно сделать ложный вывод, что он как-то особенно плохо ко мне относился, преследовал меня и тому подобное. Ничуть не бывало. Он мне и помогал иногда, и совершенно бескорыстно. Конечно, был он и нагл, и без царя в голове, и бесконечно циничен. Он легко писал передовые по разным вопросам. Естественно, они были составлены из блоков (это не его отличительная черта — так требовалось), но делал это с веселым цинизмом. О чем бы ни шла речь, там была дежурная фраза «Особенно плохо с этим обстоит дело в...» Дальше всегда следовало перечисление трех одних и тех же дальних, южных, чисто скотоводческих районов, из которых я почему-то помню только Кувский — потом они все были отнесены к Джезказганской области... «А что? — смеялся он. — Они для всего годятся. У них с любым делом все обстоит особенно плохо».

В общем, был он достаточно колоритен — конечно, не Ноздрев (скандалистом не был), но того же типа. Однажды

мы большой компанией что-то отмечали в ресторане. Неподалеку от нас оказались два офицера МВД, судя по петлицам, они были инженерами. Завелся общий разговор. И вдруг:

— Ребята, а вы из какого лагеря? — невинно и добродушно спросил он.

«Ребята», естественно, вскипели. Время было послесталинское, лагеря были не в почете, а они и впрямь были инженерами, а не вертухаями. И болезненно воспринимали, когда их за оных принимали, что, видимо, случалось. Все это наш герой прекрасно видел и понимал. Зачем же ему понадобился этот выпад? Ведь никаким диссидентом или свободолобцем он не был — все-таки именно он, как помнит читатель, настучал на меня Боярскому. И ведь потом — как ни в чем не бывало. Какая же муха его укусила — бить по больному месту этих инженеров? А никакая — просто еще одна возможность развлечься.

Личность этого человека — загадка... Но не редакционной жизни, а всей нашей цивилизации. Происхождение его мне неизвестно. Не удивлюсь, если окажется, что он из раскулаченных — такое забвение трагедии своих семей тоже случалось, хотя и не слишком часто. Образовательного ценза его я тоже не знаю. Не имею я представления и о реальном уровне его образованности. Этому как-то не было повода проявиться — ни присутствием, ни отсутствием. Но ни темным, ни тем более неграмотным не был — языком вполне владел.

«Загадка» в том, что по профессии он был вроде причастен к культуре (пусть хотя бы к ее имитации), но духом своим она его обошла. И как-то очень эластично и гармонично. С одной стороны, он не был ни злым, ни особенно плохим человеком, с другой — его нельзя отнести даже к тем, о ком можно сказать словами Лермонтова: «К добру и злу постыдно равнодушны», — судя по всему, проблемы добра и зла, чести и бесчестья, честности и нечестности он вообще не заметил. Следующая строка: «И перед властью презренные рабы», — если и воспринималась ими, то только по отношению к давней, ныне официально ошельмованной (значит, ненастоящей) власти. А вообще стремление угодить власти воспринималось ими как нечто естественное, а умение угодить ей, угадав наперед ее желание, —

вообще как высшее профессиональное и человеческое достижение. И то сказать — это ведь не было связано у них с подавлением чего-то своего. Своего, кроме как на бытовом уровне, не было — его им заменяли установки, которые были для них благом и стимулом творчества. Конечно, в конкретном воплощении таких людей создала сталинщина, но в каком-то смысле эта проблема намного шире. Милая библиотечарша из престижного американского университета, которая сказала моей жене без всякой иронии и осуждения: «Конечно, каждый хочет понравиться своему начальнику», — тоже имеет отношение к этой проблеме. Она «работает при книгах», кое-что знает о своих правах, но тоже не имеет никакого представления о чести и достоинстве. Не знает даже, что подхалимаж постыден. Таких людей в цивилизованных странах все больше и больше, их производит сама цивилизация — ее благодушие и ее равнодушие... Боюсь, что у многих из тех, от кого сегодня зависят судьбы мира, нравственное развитие на том же троглодитском уровне — таково воспитание. Это накладывает отпечаток на всю мировую политику и на судьбу цивилизации. Не отрицаю уникальности положения в изнасилованной Сталиным России, на нее действовал сильнейший катализатор, но процесс этот был и остается всеобщим. Насколько он обратим, не знаю.

Может показаться, что я отвлекся от темы, но это не так. Разговор ведь идет о моей работе в партийной газете. Временный ответсекретарь, с которого началось это «отвлечение от темы», не был типичен для журналистского состава этой редакции — по-человечески почти все остальные под этот тип не подходят, но он был наиболее адекватен роли, которую мы все должны были играть, вся партийная (а другой не существовало) печать — особенно при Сталине, когда этот временный ответсекретарь воспитывался. Как и многие другие — во всех областях жизни. Воспитанные в патологии и несущие патологию, они до сих пор мешают стране из нее вырваться.

Сегодня многим и представить трудно, чем это было (а от этого узнать ее проявления в современности). А тогда Сталин только что умер, новое руководство уже подкапывалось под его авторитет, точнее, культ. Да, это был культ, но не «культ личности», как это потом было названо для

соответствия марксистской науке и хоть для какой-то рациональности, а просто языческий культ без всякой личности — культ суперъязыческий и псевдоязыческий одновременно. Впрочем, и тут, как все при Сталине, скорее имитация культа. То есть чистая дьявольщина.

Тогда ее губительное дыхание, несмотря на все освободительные сенсации, ощущалось еще вполне явственно. Я с этим столкнулся почти сразу. В один из первых дней моей журналистской деятельности меня оторвали от дела и отрядили в котельную. Нет, не отапливать здание, а заниматься делом более экстренным и менее ординарным — сжигать книги и другую печатную продукцию. Все, что входило в справочную картотеку только что умершего старого журналиста (и, кажется, старого большевика) по фамилии Невский (к сожалению, не знаю его имени-отчества). Я ничего не знаю об этом человеке, кто он был, как и когда оказался в Караганде — человек ведь явно был столичного склада. Похоже, что это произошло во время войны, но точно не знаю. Но явно он прибыл сюда не по этапу. В противном случае его столь тесные связи с печатными органами не были бы возможны. Я его никогда не видел, но имя его слышал часто. Оно всегда произносилось с особым уважением. Похоже, он сам до болезни работал в редакции, но при мне он уже был тяжело болен и из дома не выходил. Он явно был человеком образованным, и обе редакции в нужных случаях прибегали к его услугам. Он писал приуроченные к датам заметки об исторических, прежде всего историко-революционных и культурных событиях — вел, как это тогда называлось, историко-культурный календарь. Для чего использовал эту свою много лет собираемую и пополняемую картотеку, о которой все знали и все заочно относились с восхищением. Так что косвенно редакция давно пользовалась этой картотекой, и когда он перед смертью передал ее редакции, все были обрадованы и польщены. Но оказалось, что картотека совсем не похожа на те заметки, для которых их автор черпал из нее сведения. В каких-то старых газетных вырезках упоминались имена Троцкого, Бухарина и других «врагов народа», причем упоминались не как было положено нормальному советскому человеку: с проклятиями и со скрежетом зубным (кому-кому, а коммунистам их проклинать было не за что), а в духе два-

дцатых годов — когда нейтрально, а когда и положительно. Из этого не следует делать вывод, что сам составитель картотеки относился к делу иначе, был — хотя бы в рамках большевизма — диссидентом или вольнодумцем. Во всяком случае, я ни от кого об этом не слышал. Просто он был библиограф-любитель и дорожил своей картотеккой. Понимал ли он, как рискует (вспомните моего лубянского сокамерника, которому инкриминировался случайно сохранившийся с двадцатых годов номер «Правды»)? Не знаю. Ведь в принципе даже в идеологическом государстве это не преступление. Мало ли что может понадобиться журналисту в его работе. Ведь сведения о «врагах народа» и даже цитаты из них можно было при случае, препарировав, использовать против них, что, вероятно, иногда и происходило. Но у нас это было «табу», объясняемое только личной патологией Сталина — он стремился искоренить память о временах, когда народ еще не знал, что он его любимый вождь. Эта патология еще не выветрилась из памяти, давила — особенно «бойцов идеологического фронта», к каковому относились прежде всего редакции партийных газет. Короче, картотека вызвала в редакции панику, пошли разговоры, и редактор — сам он был человек далеко не глупый, но ведь в таких делах приходилось очень считаться с глупостью, с ее молвой — велел этот подарок немедленно сжечь, «чтобы не было разговоров». Исполнение этого аутодафе было возложено на заведующего отделом писем (по совместительству секретаря партбюро), бывшего выдвиженца, человека, не шибко наделенного культурным любопытством, и на меня ему в помощь (физическую, а не консультативную).

Котельная находилась в подвале дома, первый этаж которого занимала редакция. Когда мы туда спустились, у топки нас ждало несколько туго набитых мешков — вся картотека, результат многолетних забот интеллигентного журналиста. И начали мы засовывать картотеку в печь. Разумеется, активность в основном проявлял мой напарник, а я все же норовил заглянуть в сжигаемое. Но он был бдителен — замечал и прерывал мои попытки окриком:

— Не любопытствуй. Быстрее все в печку!

Проявлять настоящую заинтересованность я, как стреляный воробей, конечно, боялся, старался держаться в границах юношеского любопытства. Тем более что о своем

напарнике слышал разное. Сейчас он творил порученную ему экзекуцию, творил рьяно, я же ему помогал скрепя сердце. Но когда дошло до абсолютного идиотизма, я попробовал воспротивиться. Дело в том, что в картотеку почему-то входили некоторые вполне нейтральные классические и советские художественные произведения, в том числе и изданные в тридцать седьмом (к столетию со дня смерти) брошюры с поэмами и лирикой. Мой напарник совал все в печь, не разбирая.

— А это зачем? — взмолился я. — Ведь это же Пушкин!

И тут мой напарник меня поразил:

— А!.. Пушкин не Пушкин! Все равно!.. Потом не докажешь. В печь!

Я был поражен. Выходит, и этот дубарь, столп режима, его создание, относится к вскормившей его формации (при каком другом порядке при его общем уровне подняло бы его до журналистики?) как к бешеной собаке, которой ничего не докажешь! Думаю, что нечто подобное мог сказать и упомянутый ответсекретарь. Но тот все-таки умел писать — пусть и на партийной фене, но умел. А у этого только и было капитала, что верность режиму, и — на тебе!.. Тогда я даже испытал к нему нечто вроде симпатии, даже близости: вот и он понимает.

Теперь я думаю иначе. Думаю, что подсознательно это понимал всегда. То есть что его верность — это верность бешеной собаке, верность ее бешенству... И так же подсознательно понимал, что это ветер в его паруса, что держаться при этом бешенстве, усвоить его импульсы — это надежней и даже солидней. Важно только самому случайно не ошибиться. И поэтому жги — хоть Пушкина, хоть Маркса, хоть Ленина. Конечно, не все были такие даже не в номенклатуре (а он ведь и к ней не относился). Не таким был Медведев, спасший мне жизнь, не таким был и Боярский, но именно такие были главным фактором эпохи (сталинщины — потом все-таки все стало сложнее). Может, и они не виноваты, их ведь тоже соблазнили и сделали, виновны не они, а те, кто на них ставил и их ставил над страной. Но эта страшная прививка... прививка если не самого бешенства, то его сакрализация, уважения к нему и к его разрушительной власти. Этой прививкой отравлен весь организм страны и государства, и до сих пор еще неясно, выдержит ли Россия эту прививку яда или от него погибнет...

Вот два человека, два представителя того страшного времени. Я не испытываю по отношению к ним какой-либо потребности в чем-либо их разоблачать, не питаю к кому-либо из них дурных чувств. Ни мне, ни кому-либо другому никто из них, насколько мне известно, не причинил никакого вреда, а в те времена многие многим причиняли. Это не суд над этими двумя, случайно встреченными мной людьми, просто я хотел их запечатлеть — два слепка времени, два сформированных им характера, два проявления его психологии, причем не в самом крайнем его выражении.

В сущности, я ведь ничего о них не знаю — ни об их происхождении, ни об их биографиях. Я не знаю, что стояло за ними, может быть, оба они или один из них были из раскулаченных, от чего надо было долго и всеми способами отмываться, обретая по дороге цинизм (такое происходило далеко не со всеми, даже сделавшими карьеру, но бывало), а может, за спиной у них было чистое выдвиженчество и необходимость отстаивать себя в неестественной для них роли. Но они были такими, как были. В известной степени, как и эпизод с «индпошивом», оба этих типа характеризовали время — пожалуй, скорее только что ушедшее, чем только что наступившее, еще не имевшее очертаний. Но к моей жизни, к моему существованию в редакции, к рассказу о которой я уже исподволь приступил, оба они имели мало отношения...

Рассказанная мной история о затруднениях с «индпошивом» имеет более непосредственное отношение к моей работе в газете. К тому же она впервые столь наглядно (теоретически я это и раньше понимал, но это не то) обнажила передо мной противоестественность советской «экономической системы обкома», многое — в смысле понимания пружин управления и «партийного руководства» — обнажалось наглядней, чем перед другими рядовыми гражданами. Ну хотя бы насчет выборов. То есть самых обычных сталинских выборов с одним кандидатом от «единого блока коммунистов и беспартийных». Ну кто не знал, что это фикция? Но когда ты знаешь, что в область из центра пришла разнарядка, в которой точно обозначено, каких именно кандидатов в депутаты должен «подобрать» именно наш обком, то есть каким именно анкетным данным должен соответствовать персонально каждый из них, это возводит

ваше понимание на новую ступень. Все было подчинено созданию нужной (для пропагандистского шоу — для чего же еще?) статистической картины, предусматривалось все: пол, возраст, профессия, национальность, членство в партии, уровень образования, «трудовые успехи», занимаемая должность и тому подобное. Состав членов парламента должен был представлять заданную социальную картину. Помню, руководству области среди прочих надлежало найти и выдвинуть одну русскую женщину-инженера и одного шахтера-казаха, причем это новшество специально оговаривалось — не орденоносца, передовика труда, а рядового труженика, выполняющего норму на сто с небольшим процентов. Естественно, нашли, выдвинули и потом, естественно, «оказали народное доверие» — избрали.

Не обошлось и без курьеза... В кампанию по выборам вклинилась еще одна пропагандистская кампания — по поддержке «Декларации о создании Варшавского пакта» (вряд ли его создатели нуждались в какой-либо поддержке, просто пропагандистский театр должен был функционировать бесперебойно)... Естественно, надо было соединить обе кампании. Работник редакции дозвонился до шахты во время пересменки, кандидата подозвали к телефону.

— Что? — переспросил он удивленно, услышав вопрос о том, как он относится к «Декларации». — Какой прокламации?

Будущий депутат парламента понятия не имел об этом основополагающем документе. Потом ему в парткоме объяснили, что от него требуется, и он написанное от его имени горячее одобрение подписал.

— Политический деятель... твою мать! — раздраженно произнес готовивший этот материал журналист. И раздражение это относилось не к шахтеру, а к тем, кто его — с помощью того же журналиста — превращал в обезьяну. Но разве более грамотных людей не превращали в то же самое?

Было ли это раздражение выражением оппозиционности? Вероятно, в какой-то мере было. Но больше в этом было чистого раздражения, откровенности понимающих тяжелую участь друг друга коллег. Вело это не к сопротивлению: чему могли сопротивляться в раздавленной стране сотрудники партийной газеты (а других в природе не существовало), да и ради чего? Что они могли изменить? Вело

это раздражение только к цинизму — это было единственное, чем можно было — тоже только в какой-то мере — защитить душу и разум от полного подавления всевластной бессмыслицей. Средство, как вы понимаете, небезупречное, но другого не было. Собственно, этим защищался и я. Правда, у меня, в отличие от большинства моих товарищей, была еще другая, как бы тайная (но не от них) жизнь, однако и ее не назовешь сопротивлением. По существу, это мое противостояние было только защитой самостоятельности, самосохранением личности как необходимого условия творчества — я всегда знал, что без этого ничего не бывает. Вокруг этого и сохранялся — мой цинизм всегда оставался мимикрией, никогда не проникал в сущность моего отношения к вещам. А вокруг чего было сохраняться моим товарищам, журналистам по главной своей профессии, да еще журналистам провинциальным, то есть вдвойне беззащитным? Да еще в дни, когда ясной оценки происходящего, точнее, критериев оценки, не было еще ни у кого вокруг, в том числе и у меня.

И все-таки мои товарищи, включая главного редактора, то есть большинство «литсостава», были вполне порядочными людьми. Временный ответсекретарь, который на меня донес, был, скорее, исключением, чем правилом. Конечно, как везде, случалось и такое — но не с теми, кого я считал товарищами. Дальше некоторой богемности их цинизм не заводил. Не помню я, чтоб и при выполнении обязанностей они заходили слишком далеко. Наоборот, старались где можно защищать справедливость и клеймить злоупотребления в окружающей жизни, выдавая это за защиту «политики партии». Многие верили, что это так и есть. Впрочем, руководству действительно злоупотребления ни к чему, но, видимо, люди, их совершающие, ему ближе. И пробивать такие материалы дело непростое. Но влекущее. Ибо осмысленное и даже в профессиональном смысле перспективное — открывало возможность представить «читательный» материал. Этот термин был широко распространен в журналистской среде. Но, как уже говорилось, означал, что основная часть материалов газеты для чтения не предназначалась. Партийная печать, по определению Ленина, не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор. Вот большая часть газетной площади и отводилась

тому и другому. Что касается статей агитационно-пропагандистских, то их просто никто не читал. Разве что во время крупных мероприятий — допустим, после объявления о начале «дела врачей» или о его прекращении. Да и то сказать, направляли агитационную работу чиновники, а какой из чиновника агитатор? Савонаролы тут были бы излишни, агитируемые тоже не требовались — агитировал шумовой фон, из которого ничто не должно было выделяться.

Статьи по организационным вопросам и примыкавшим к ним вопросам производства постигала почти та же участь. Но все-таки «почти». Ведь всем этим руководила партия, а печать была верным помощником партии. Должна была сигнализировать. И отрицательная оценка работы предприятия или учреждения в печати вполне могла сказаться на судьбе его руководителей. Они и читали, чаще просто проглядывали эти статьи.

Некоторые из них читали даже «освещение соцсоревнования». Соцсоревнование — это нечто вроде детской игры для взрослых, придуманной в годы первой пятилетки, когда еще вся пропаганда велась в формах поклонения утопии, для того чтоб ею возместить отсутствие «буржуазной» конкуренции. Постепенно эта детская игра превратилась в бюрократическое установление, что вполне соответствовало общему насаждению инфантилизма в общественном сознании и общении... Естественно, заводилами в этой детской игре выступали печать и радио. Ибо и взрослым людям, руководителям предприятий, было совсем небезразлично, какое место по показателям производства занимает их предприятие, хозяйство или район. Тоже по соображениям отнюдь не спортивным. Но — энтузиастические времена уже давно кончились, детские игры взрослых людей перестали увлекать, и в эти «главные» материалы большинство читателей даже не заглядывали. Искали интересного — чего-нибудь на бытовые и спортивные темы.

Но официально считалось, что жизнь соответствует логике детского театра. Все горят энтузиазмом, все стремятся к конечной цели (все больше меняющей и теряющей очертания), все в этом стремлении соревнуются друг с другом и с ревнивой доброжелательностью следят за трудовыми достижениями соперников. Именно такую жизнь, включаю-

шую «все еще, к сожалению, встречавшиеся у нас» недостатки-пережитки, должны были правдиво изображать газеты. Это была их роль в спектакле.

В рамках этого спектакля ведущим у нас в газете был угольный отдел — тот самый, в который я был откомандирован комбинатом «Карагандауголь», но к которому я никогда не имел никакого отношения. Он, то есть два человека, составлявшие его штат — Иоффе и Подольский, — прекрасно выполнял свои функции без меня и без моего горного образования. И даже вообще без всякого шахтерского опыта. Функции их этого и не требовали. Они знали по именам всех начальников шахт, всех главных инженеров, начальников участков и даже большинство бригадиров. Знали они всегда сводки выдачи угля по каждой шахте, которые публиковали, знали, когда какая шахта, какой участок и в честь чего становились на стахановские вахты и какую «сверхдобычу» дали по этому случаю. Публикация всех этих сведений и называлась «освещением соревнования в печати». Знали также узкие места, проблемы и об этом тоже писали. Все это и многое другое компетентные люди, у которых они эти сведения собирали, знали и без них, но они, так сказать, помогали. Если есть в моих словах ирония, то она направлена не против них — они свое дело выполняли добросовестно и квалифицированно, а против системы, где такое «дело» воспринимается как естественное. И, может быть, даже нужное — ввиду отсутствия естественных стимуляторов.

Но я сразу был, к моему удовольствию, определен не в этот самый важный отдел, соответствовавший моему диплому, не в отдел, ведавший какой-либо другой отраслью народного хозяйства, а как бы вообще в заштатный, именовавшийся скромно — «Отдел культуры и быта». Этот отдел, чье назначение наиболее близко подходило к тому, чем вообще во всем мире занимаются газеты, ибо его публикации хоть как-то касались проблем человека и жизни; собственно, он и поставлял основную часть «читательных» материалов. Я сужу об этом объективно, ибо сам я не очень преуспел и в этом отделе — пусть по причинам, понятным из истории моего журналистского расследования проблем «индпошива», — однако дело обстояло именно так. Но в глазах начальства эти материалы были то ли приманкой, то

ли затравкой для основного. Того основного, что оно само если и читало, то только по долгу службы, а не из душевной потребности — ему при любых вкусах такое чтиво тоже было ни к чему. Как только касалось общественного сознания, мы все, сверху донизу — от членов ЦК до бабки, писавшей заявление в собес, — становились актерами бездарного и скучного, но воистину всенародного представления. А кто же его ставил? Отвечаю: Сталин по сценарию дьявола. Ведь только силой дьявольских сцеплений и держался так долго этот спектакль.

Он проникал во все. Но только не в частные отношения. Тех, кто пытался распространить и на них логику спектакля и делал это не по юношеской наивности, чурались во всех слоях общества и управления. Впрочем, возможно, в каких-то ответвлениях номенклатуры они никогда не становились частными — не знаю, я в этих кругах не вращался. Но редакции к ним не относились... И когда я впервые пришел в отдел культуры и быта, который возглавлял (а до моего появления и единолично представлял) опытный журналист Олег Мухин, частные, а точнее сказать, дружеские отношения установились у нас сразу. Способствовало этому и то, что Олег тоже был меченый — был в плену. И хотя его, в отличие от многих других, не арестовывали, не высылали (в Караганду он приехал не по этапу и не по путевке «органов»), но возможность того и другого, а также свою второсортность он болезненно ощущал даже теперь, после смерти Сталина, ретроспективно. Именно потому, что был советским человеком, оскорбленным в своих лучших чувствах. «Родина», тайно обернувшись одним из псевдонимов Сталина, обидела так многих. Те двадцать советских офицеров, которые в апреле или мае 1945-го вместе с другом моего отрочества Галей Якубской ушли из немецкого лагеря и пошли навстречу наступающим советским войскам, за что были потом расстреляны бдительными эмгэбистами, обслуживавшими сталинскую паранойю, были оскорблены намного больше. Или тот парень из Курска, сбежавший из плена и воевавший потом в отрядах «маки», которого я встретил в камере Свердловской пересылки. Но с Олега хватило и этого. В плену он себя вел хорошо, с немцами не сотрудничал, все вытерпел, но сам факт, что он оказался в плену, а потом недоверие или неполное до-

верие родной власти, подсознательная необходимость что-то ей доказывать его, как мне кажется, подкосили. Он растерялся. Думаю, что это сказалось и на характере его квалификации. Он был мастером любых газетных поделок, мог легко и быстро написать все, что угодно: передовицу, очерк, фельетон. Он свободно владел тем языком, который кто-то из немцев, чтоб отличить от нормального русского, назвал *Sowietparteisprache* — совпартязык. На этом языке происходило все официальное общение, в том числе и общение «партии с народом», в том числе и через газеты. Думаю, что подсознательно этому способствовало и желание соответствовать духу времени — Олег привык к этому языку и к этой логике, даже не столько он, сколько его перо. Сам он был хорошим, добрым, порядочным и совсем неглупым человеком, а как сядет писать — я имею в виду не газетную поденшину, а что-нибудь «для себя», — не может вырваться из плена этого языка и этих представлений. А хотел он писать роман о плене, опирающийся на собственный опыт, на пережитое... Но само собой писалось «как надо», точнее, как надо было еще недавно. Опыт собственных переживаний, противоречащий этому «надо», не ощущался совсем. Стерт был не только язык, но и вся картина. Главным немецким прислужником обыкновенный советский человек быть не мог, и Олег объявил его бывшим эсером. Причем с дореволюционным стажем... Причем человек, которого он объявляет эсером, по тому, что о нем сообщается, груб и темен — образ этот был домысливанием того, что Олег узнал об эсерах из «Краткого курса». Например, об одном из периодов жизни своего героя он сообщает, что именно в это время тот, хотя и был эсером, по какому-то стечению обстоятельств ничего не доносил в охранку. В том, что главной целью партии эсеров (для того, видимо, и становились ее членами) было доносить в охранку, он не сомневался. Все они были социал-предателями и, следовательно, Азефами.

Возникает вопрос: это глупость? (А Олег был, повторяю, человеком вполне разумным.) Неужели у него и впрямь было такое представление об эсерах? Полагаю, что он, скорее всего, вообще об этом никогда не думал. Но ведь он вообще был воспитан в тех правилах, что из-под пера должно выходить не то, что автор знает и думает, а то, что надо, что это и есть качество профессии. Как человек он прекрас-

но знал, что это уже не так, и был этому рад, как читатель благодарно откликнулся на все более-менее свежее, что тогда стало появляться в печати, но самого, когда он садился писать, тут же затягивало на привычные пути. В редакции Олег был и вообще заметной фигурой, а благодаря этому его качеству одной из самых необходимых. Если надо было срочно писать статью — передовицу или руководящую, то есть от имени какого-нибудь крупного начальника (такая практика была широко распространена), а иногда и от имени редактора (если тот был занят) — усаживали за эту работу Олега, и он быстро с ней справлялся. Такая работа приносила какие-то деньги, но удовлетворения принести не могла. И я думаю, что все эти расхождения между его человеческим восприятием и профессиональными навыками и были причиной недуга, заедавшего его жизнь, — я имею в виду его приверженность к алкоголю.

Я не помню, чтоб он пил на работе, но в нерабочее время он часто прибегал к его помощи. Семье доставалось. Не помню, чтобы он при этом был как-то по-особому буен или агрессивен, но лыка он при этом не вязал, был мягок и добр, беззащитен, и от этого смотреть на него было еще больней. В обычное же время Олег был достаточно деятелен. И не только в прямом исполнении своих обязанностей. Часто к нему на огонек заходили люди очень интересные. Они к нему тянулись, и он к ним тоже. Надо ли добавлять, что все это были люди отсидевшие и не до конца еще освобожденные? Это его не останавливало. Он им сочувствовал, старался помочь... А ведь год на дворе был 1953-й, а не хотя бы 1956-й — разница существенная для тех, кто тогда жил, особенно в провинции, где начальство с трудом привыкало к новым веяниям, а обладало прежней властью.

Захаживал к нему и впоследствии знаменитый ученый, основоположник гелиобиологии Александр Леонидович Чижевский. Как он оказался в ссылке, я не знаю. Только слышал от Алика Вольпина, что тот ему рассказывал, будто его в начале войны посадили за восхваление Гете. Это странно. Но, конечно, не исключено. Вряд ли Александр Леонидович когда-либо слишком интересовался политикой, а ведь сидел по политической статье. Если у него и было другое обвинение, то не менее нелепое. Впрочем, вытекающая из его теорий мысль о связи всякого рода массовых движений

(а значит, и Великого Октября) с периодами солнечной активности, будучи высказана вслух, тоже могла стать основанием для гэбистской разработки. Ведь согласно единственно верной теории все это происходило благодаря гениальности «нашей партии» и ее вождей.

Мне его теории были интересны. Они были неожиданны, но не противоречили интуиции* и казались мне убедительными. Ученость его вызывала уважение. Но в целом я скоро потерял к нему интерес. Что объяснялось только моей не изжитой еще тогда инфантильностью. Причина была чепуховой. Он то ли показал, то ли почитал нам свои стихи, и они мне не понравились. Они были похожи на многие другие интеллигентские стихи — в них не было поэтической стихии. То, что при столь высоком уровне развития он сам этого не понимал, почти уничтожало его в моих глазах. Я тогда страдал сильным поэтоцентризмом! В целом он не изжит мною и до сих пор, но давно уже утратил свою абсолютность — все-таки с годами умнеешь. Тогда же его абсолютность помогала мне в оторванности от литературных друзей сохранять, даже охранять свое представление о поэзии. Но, как видите, иногда она меня и подводила.

С Олегом мы жили душа в душу, однажды даже вместе (думаю, что больше по моей неорганизованности) «засолили» целый ящик неотвеченных «писем трудящихся», за что получили нагоняй. Этот мой «подвиг» и теперь меня не умиляет. Газета была наиболее доступной инстанцией, куда стекались жалобы. И поскольку она была органом обкома и облисполкома, то есть начальства, она иногда могла помочь. Даже если она не упоминала о предмете жалобы на своих страницах, она посылала эти письма в учреждения, которых это касалось, и те обязаны были ей ответить. И лучше было перед этим «принять меры» и «устранить недоработку». Время от времени в газетах — этот порядок был общим для всех газет — даже печатались сообщения под рубриками «По следам наших выступлений» и «Газета помогла». Советский человек настолько к этому привык, что даже вывез такое отношение к печати в эмиграцию. Это с

* Этот критерий истины — «не противоречит (или противоречит) интуиции» — принадлежит не мне, а Г.Н.Полковникову, старому русскому эмигранту, жившему в Праге. Не думаю, что он абсолютен, но и пренебрегать этим не стоит...

удивлением обнаружил редактор нью-йоркского «Нового русского слова» А.Седых. В своем очерке, озаглавленном, кажется, «Люди с другой планеты», он иронизировал над приехавшими примерно так: «...И когда из их хлопот совсем ничего не выходит, они обращаются в самую высшую инстанцию — в «Новое русское слово».

Спору нет, влияние прессы на Западе велико, но все равно она не инстанция и не бюро жалоб. Она может выступать и по частному поводу, но сила ее при всех ее недостатках в обращении к общественности, а не в том, что за ней стоит начальство. А мы, хоть сами и не были инстанцией, все-таки были при инстанциях. И в противоестественном здании советской системы таким местом, куда проще всего было обратиться. Так что, повторяю, иногда в частных случаях газета могла помочь, а за каждым случаем стоял живой человек, живая беда, и «засаливание» читательских писем — поступок предосудительный.

Правда, мой покойный друг Сергей Малик, много лет проработавший в Прокуратуре РСФСР и многим людям помогший восстановить справедливость, тем не менее говорил, что «в нашей стране квалифицированный жалобщик всего добьется». Наверное, так и было, но среди тех, кто писал в карагандинскую газету, я таких не припомню. Квалифицированными могли быть только упоминавшиеся мной (и отнюдь не презрительно) так называемые «тихоновские куркули» с их бесконечными тяжбами с соседями о незаконно передвинутых межах приусадебных участков. Но именно они у нас ничего не добивались — мы советовали им обратиться в надлежащие учреждения или пересылали туда их письма. Осуждать нас за это нелепо — для таких разбирательств нужны специальные штаты. Мы еще как-то могли защищать людей от госучреждений, но не друг от друга. Для этого существовал суд.

Последняя фраза в моих устах — после всего, что я рассказал — звучит, наверное, странно. Нет, я не утверждаю, что мы были правовой страной. Как только дело касалось политики или идеологии, исчезала всякая тень права. Исчезала она и в любых других делах, если, как мы видели, дело касалось заметных членов партии или вообще вмешивалась воля начальства (знаменитое «телефонное право»). Но в тех случаях, когда это интересовало местных и централь-

ных руководителей не затрагивало, правосудие могло работать. Я в этом сам смог убедиться. И опять-таки благодаря газете.

Предстояли выборы народных судей (в СССР все было «народным»), и меня послали на участок, где судьей был человек, которого «выдвинули» (кто «выдвинул»?) на этот пост вторично — я должен был присутствовать на заседании суда и потом описать, как этот судья ведет дела. Фамилию его, Ким, я запомнил — наверное, потому, что он был корейцем (корейцы были сосланы в Казахстан в конце тридцатых, но к этому времени были уравнены в правах). Мне было любопытно — ведь до этого времени я ни разу не видел открытого суда, приговор (вернее, решение ОСО) в отношении меня был вынесен в мое отсутствие.

Уголовное дело, которое разбиралось, было весьма простым. Обвиняемых было двое — вор-рецидивист и демобилизованный матрос. Друг с другом они познакомились только в ресторане в тот злополучный вечер, когда совершили преступление. Преступление было обычным для тех лет — напившись и желая добавить, стали отбирать у прохожих часы и, кажется, другие ценности. Были ли они застуканы на месте преступления или раскрыты потом, не помню. Вины своей они не отрицали, только стремились преуменьшить. Особенно рецидивист, который даже «пушал слезу», хотя прекрасно знал, что она никого не растрогает — видимо, для ритуала полагалось. Матрос слезы не пушал, вину признавал и вызывал сочувствие. Ясно было, что с ним это произошло впервые. Отзывы командования о нем, запрошенные и полученные судом из части, где матрос служил, были самые положительные. Для меня навсегда останутся загадкой такие люди — они ведь накануне еще не подозревают, что завтра станут преступниками. Вспомните того Петро, которого я встретил на пересылке. То, что случилось с ним, еще страшнее... Я могу их чувствовать, им сочувствовать, но — не понимаю. Хотелось бы надеяться, что это несчастье (сибирские крестьяне, видимо, знали, почему называли каторжников «несчастненькими») послужит ему уроком, но университеты, которые ему предстояло пройти, не очень подкрепляют такую надежду. Хорошо бы таких случайных новичков содержать отдельно от рецидивистов.

Но речь сейчас не об этом, а о том, что меня поразило больше всего — о самом суде. Поразило меня то, что это был на самом деле суд. «Политикой» здесь и не пахло, судили за реальное преступление, а я и к этому не привык. Судья не поддерживал ни прокурора, ни адвоката, давал им всем высказаться, принимал во внимание их доводы. И приговор был вынесен на основании данных судебного следствия, а не из каких-то таинственных соображений. Ни дать ни взять дореволюционный русский суд! И закончился он для меня тоже по-дореволюционному, по-чеховски. Назад я возвращался вместе с прокурором и защитником. Обсуждали возможность кассационной жалобы адвоката. И я понял, что если и у подсудимых, и у потерпевших нет влиятельных родственников, которые могут давить как в сторону умаления, так и увеличения вины, то есть нет причин прибегать к «телефонному праву», у нас может быть и правосудие — кадры для этого есть... Поэтому мое сегодняшнее утверждение, что такие дела, как самовольное перенесение меж в Тихоновке, мог вполне объективно решать и суд тех времен, вовсе не так странно в моих устах, как может показаться. При всей нашей «не ограниченной законом и опирающейся на насилие» (и врушей, что этого больше нет) власти. Но не все письма были из Тихоновки, и не все о межах. И не все наши заступничества (даже на страницах газеты) помогали... Госучреждения — нужда заставила — научились вполне квалифицированно отписываться... В государстве, которое брало на себя ответственность за все стороны жизни и при этом подавляло всякую личную инициативу, часто — как в истории с «индпошивом» — трудно было разобратся, кто прав, кто виноват. Многие обязанности учреждений были невыполнимы, а вопросы, которые они были обязаны решать, неразрешимы.

Но главным образом я имел дело с тем, что Борис Слуцкий называл «оборотной стороной ликвидации неграмотности в СССР» — отвечал на письма, содержавшие попытки художественного творчества, в основном стихи. Редакции обязаны были отвечать и на эти письма. В основном они отвечали формально, советовали повышать культурный уровень, побольше читать произведения классиков и тому подобное. В наши дни ничего этого нет. Прямо объявляется, что «редакция отклоненных рукописей не возвра-

щает и по их поводу в переписку с авторами не вступает», и мне кажется, что это не только честнее, но и разумнее. Конечно, и тут есть риск, ибо «а судьи кто?» Но этот риск — величина постоянная, и при необходимости отписываться его было не меньше. Это та преграда, которую всякий человек, на что-то претендующий, должен быть готов преодолеть. А та система могла у не очень грамотного человека создать впечатление, что литература — это область, в которую кто-то кого-то может и обязан вводить за ручку, как в детский сад. Это был частный случай «заботы партии о простом человеке», подавляющей его волю, инициативу и ответственность.

Это мои сегодняшние мысли. Тогда я так для себя не формулировал — правда, как все, ощущал в этой необходимости некую бюрократическую принудительность. Впрочем, я таких отписок не писал, а относился к делу с неуместной для большинства таких случаев старательностью. В своих письмах я не только указывал авторам на всякие версификационные неловкости и неумелости, как делали все, но и объяснял, что даже устранение этих недостатков не превратит их сочинения в произведения поэзии, и попутно в связи с этим, что такое поэзия, чем их стихи от нее отличались бы, даже если были бы написаны грамотно... И это все людям, вообще не имевшим представления о том, чем вдруг занялись, иногда не обладавшим элементарной грамотностью!.. Вероятно, самым чутким из моих адресатов мои объяснения пошли на пользу — почувствовали, насколько непросто то, куда они сунулись, и либо стали настоящими читателями, либо просто отказались от тщетных попыток. Но думаю, чаще мои откровения, отнимавшие у меня много сил и времени, пропадали зря. Хотя, если бы теперь найти и опубликовать отрывки из этих писем, они представляли бы некоторый интерес... К сожалению, у этой моей добросовестности была оборотная сторона. Письма мои получались длинные, на несколько страниц, и возроптали машинистки, у которых работы и без того хватало. Нам стали предъявлять претензии. Олег парировал их так:

— Ну, знаешь!.. Наум, наверное, лучше знает, что и сколько писать!

И это действовало. За что мне сегодня вдвойне стыдно перед этими машинистками, которых вынудили распла-

чиваться за мою неуместную добросовестность. Я и теперь убежден, что если надо было писать эти письма, то только так. Писать их иначе значило заниматься профанацией, а это вещь социально отнюдь не безобидная. Но теперь я думаю, что без особой, спонтанно возникающей нужды их вообще писать не следует.

Но я отвлекся от разговора об Олеге. Я очень ему благодарен за поддержку в этот, тоже не совсем естественный для меня период моей жизни. С ним и его женой Инной мы дружили домами и общались вполне откровенно. Кстати, именно от них я впервые услышал имя их родственника Бориса Можаяева, узнал, что он писатель, член Союза, пользуется уважением таких-то и таких-то (произносились уважаемые и мной имена). Я этого имени не знал и поэтому отнесся к их словам без должного внимания. Ибо ни от кого из своих московских друзей я этого имени не слышал, а я знал, что среди провинциальных журналистов стать членом Союза писателей, да еще в Москве — это верх успеха и состоятельности. Ведь советская печать строилась по иерархическому принципу, чего теперь, слава Богу, нет, и это поневоле отражалось на представлениях журналистов. Извиняет меня и то, что с основными своими вещами Борис Можаяев еще не выступил. Потом мы с ним подружились, дружили всегда, и теперь, когда его вдруг не стало, я молюсь за упокой его души. Был у нас разговор и о Мухине. О его романе он говорил то же, что и я — впрочем, расхождений тут быть не могло.

— Жалко парня, — огорчился он. — И опыт есть, и все... Никак не вылезет из газеты. Сколько раз ему говорил — вроде понимает. А сядет писать — и опять газета прет... Съела его газета...

И это верно — съела. Газета, неудовлетворенность ею и следствие этой неудовлетворенности — водка. Она разрушила его жизнь. Всякую, семейную в том числе. Я его видел потом в Караганде, когда приезжал: и в 1961-м, и в 1965-м. Встречались дружески. Потом он уехал куда-то в Центральную Россию. И — пропал. Иногда мне начинает казаться, что тут и моя вина, что я чего-то для него не сделал, что бы его спасло... Знаю, что это не так, что ничего я не мог, да и не знаю, что бы ему могло помочь, а все-таки...

Но это уже былины иного времени, а разговор пока идет о моем пребывании в партийной газете: о 1953—1954 годах.

Разумеется, мое общение не ограничивалось одним Мухиным. Работало там много всякого народу, в основном вполне неплохого, часто талантливое. Я уже здесь говорил (пусть другими словами), что не стоит идентифицировать их как людей с идеологической функцией советской печати, в которой они работали. Никого в СССР нельзя было автоматически и полностью идентифицировать с его функциями в системе. Например, когда я приехал в Караганду, мне приходилось слышать от разных людей, что тогдашний секретарь местного обкома партии — человек, как выражались мои знакомые, вполне приличный. Может, поэтому его вскоре услали секретарствовать на Камчатку — этого не знаю. Но Виктор Некрасов, встречавшийся с ним через несколько лет во время своей командировки в те края, в своем новомирском очерке говорил о нем тоже с теплотой и симпатией. Это не значит, что этот секретарь не проводил — хоть в Караганде, хоть на Камчатке — партийную политику, что он мог, допустим, предотвратить второй арест Юры Айхенвальда или приказать печатать меня после того, как я был «разоблачен». Даже того это не значит, что он ясно представлял себе смысл происшедшего в стране (а я представлял?), но кое-что все-таки значит. А именно — что на систему, даже в сталинском ее варианте, работали не одни подлецы и идиоты. Это, безусловно, относится и к журналистам, в частности к моим товарищам по «Социалистической Караганде», которые сами никакой политики не проводили.

Журналистика всегда притягивала к себе людей ярких и деятельных, увлеченных жизнью. Под тоталитарным давлением эти качества претерпевали трансформацию (что происходило и со страной в целом), но не исчезали вовсе. И поэтому почти со всеми у меня были хорошие отношения, а с некоторыми — дружеские. Прежде всего с той же Ирой Лиховской — она перешла сюда еще до моего появления — и с ее мужем Юрой. Юра в газете не работал, возглавлял какое-то техническое — кажется, геодезическое бюро. К советской системе относился как к данности, насчет которой не питал никаких иллюзий. Не столько из-за дворянского происхождения, сколько из-за общей хозяйственной нелепости.

— Вот я теперь на хорошем счету, — рассказывал он. — А раньше был на плохом, хотя работал так же. А все пото-

му, что на все с готовностью откликнулся: «Можете сделать?» — «Конечно». — «А когда будет готово?» — «Заходите завтра». И если, не дай Бог, ему ждать приходится час или два, начинаются нарекания, претензии, докладные. Потом я понял. Теперь звонят: «Примете заказ?» — мнусь: «Знаете, я бы с радостью, но мы теперь очень загружены. Позвоните недельки этак через три». Теперь, если я в порядке великого одолжения приму заказ и выполню его через две недели, он счастлив. И я на хорошем счету. Ценить стали.

Но я отвлекся. Юра прямо к редакции не относился, только захаживал. Привожу это воспоминание как деталь общей обстановки. И ее постепенного осознания. Но я не забыл, что разговор я начал о журналистской братии.

Самым ярким представителем ее в нашей газете был уже упомянутый мною вскользь Алексей Иванович Брагин. Был он человеком талантливым и явно интеллигентным — думаю, ни то ни другое качества по-настоящему востребованы не были. В Казахстане он жил давно, может быть, еще с довоенных времен, хотя родом он был с Дона — кажется, из Ростова. Как и почему он переместился в пространстве, я у него ни разу не спросил. Вообще я чувствовал, что за ним есть какая-то тайна, но за кем ее тогда не было? Политика велась так, что каждому было что скрывать*. Грешным делом я до последнего времени подозревал, что происходит он из казаков, сопротивлявшихся советской власти, и даже не из совсем рядовых. И только недавно от живущего в Кливленде, штат Огайо, прозаика Юрия Герта, раньше долго жившего в Казахстане, я узнал, что тайна была в другом. Независимо от того, к какому сословию принадлежали его родители, скрывал он главным образом совсем другое — его отец был меньшевиком. В последние годы сталинщины казачье происхождение уже почти не было компрометирующим, даже становилось достоинством; меньшевистское же достоинством не становилось, но тоже почти не преследовалось. Конечно, при случае могли посадить и за то и за другое — вспомните моего лубянского сокамерника, сидевшего именно за то, что его отец был меньшевиком. А в те годы, когда Алексей Иванович входил в жизнь

* Видимо, Сталина это устраивало — считал, что удобнее управлять страной виноватых (при помощи окружения, состоящего из провинившихся), где каждый вынужден изо всех сил доказывать свою лояльность.

(а он был существенно старше меня — поколения Смелякова, Мартынова и Твардовского), меньшевистское происхождение (равно, впрочем, как и «белоказачье», и многие другие) если и не сулило тюрьмы, то прочно перекрывало все дороги. А уж раз скрыв, надо было скрывать и дальше, чтоб не быть обвиненным в том, что скрывал. Это и привело к тому, что Алексей Иванович стал, как он однажды сам себя грустно назвал, «провинциальным литератором». А это означало не только жительство в провинции, но и привычку внутренне приспособливаться к уровню представлений провинциальных властей — не забудьте, что «партийное руководство литературой» осуществлялось на всех уровнях. В Караганде начальству было не до того, да и некем особенно было ему в этом смысле здесь руководить, а в Алма-Ате, где А.И. жил до недавнего времени (и через некоторое время), это руководство было достаточно ощутимо.

Из грустного самоопределения А.И. не следует делать вывода, что речь действительно идет о человеке с кругозором провинциала. Ничуть не бывало. Он был вполне интеллигентен, и кругозор его был достаточно широк. Речь вообще не о кругозоре, а о подрезанности крыльев. В творческом, конечно, отношении, в последствиях того, что я чуть выше определил как не востребованность. Не востребованность теми, в чьих руках была жизнь. Когда-то, в конце двадцатых — начале тридцатых, в них еще виделся (ошибочно, но виделся) критерий истины, справедливости и бескорыстия, до уровня которого интеллигенту следовало расти и расти, чтобы слиться в едином порыве... И стремление скрыть свое неблагоприятное происхождение часто могло протекать не только из трезвого расчета (что в тогдашних условиях было бы вполне оправданным), но и из желания побыстрее убрать это мелкое недуховное и, с точки зрения великих свершений, случайное и досадное препятствие на пути к этому слиянию. Такое умонастроение не повышало внутренней стойкости... Не поручусь, что все только что сказанное (или хотя бы часть) имеет реальное отношение лично к А.И. Брагину, я этого не знаю, но, судя по всему, отчасти имеет. Как и ко многим представителям его субпоколения, по условиям формирования и тому, что ему пришлось пережить, может быть, самого трагичес-

кого из всех советских поколений и субпоколений. Через это прошли и сильные, состоявшиеся таланты, которые, несмотря на все препятствия — внешние и внутренние, — в конце концов состоялись (Твардовский, Мартынов, Смеляков, Симонов*). Алексей Иванович пройти через это не смог, он в этом застрял, как многие другие. Те, кому придет в голову «в сердце своем» возвышаться над ними, глухи к трагедии, постигшей нашу страну. Что же касается самого Алексея Ивановича, то мысль о подрезанных крыльях пришла мне в голову после одного разговора.

Как известно читателю, я был восстановлен в Литинституте — согласно моему желанию на заочном отделении... А это было связано с необходимостью писать контрольные работы по разным предметам — в том числе и по современной литературе. Я выбрал поэму одной поэтессы-лауреата, имя которой сейчас не хочу называть. Я никогда не был поклонником ее творчества, но всегда относился к ней хорошо, да и вообще здесь она только повод — для удобства назовем ее N. Поэма ее не была бездарна (N вообще не была бездарна), но представляла собой описание трудового подвига молодых колхозниц, искренне восхитивших автора... Вероятно, очень хотевшего быть восхищенным, но это — другая тема. Описание это было не простым, а, так сказать, «поэтизированным». Оформленное вполне квалифицированным стихом, местами напряженное — сказывалось искреннее восхищение, — это описание тем не менее так и оставалось описанием, прозой по замыслу**. Я не предъявлял претензий к теме, а, анализируя текст и течение стиха, приходил к выводу, что поэтического замысла здесь не было. Сегодня я бы, наверное, написал это точнее, но и тогда все-таки сумел вытащить свои мысли и отношение. Это не было попыткой косвенным путем выругать автора за идеологическую направленность, эта проблема и впрямь меня очень интересовала и интересует.

Показал свою работу Брагину. Реакция его была неожиданной. Даже поражающей.

* Были и другие поэты — А.Тарковский, С.Липкин, М.Петровых и др., которых, строго говоря, советскими не назовешь. Но они — другая тема.

** Этого добра и теперь хватает; хотя темы стали жутко интимными и индивидуальными. Не в темах дело, а в характере замысла.

— В принципе это интересно, — сказал он. — Но когда читаешь, бестактно получается: «Какая маленькая N и какой большой Наум!»

Странная реакция. Работа моя была обычной критической статьей, ничем более. Если бы он сказал, что работа плохая, неверная, это не было бы странным, это было бы мнением о работе, хоть вряд ли бы я с этим мнением согласился. В статье моей не было заушательского пафоса, только независимый голос и серьезный разбор. Конечно, советский читатель от этого отвык, но ведь А.И. не был рядовым читателем, а был образованным человеком, который знал, какие бывают подобные статьи и какой вообще должен быть разговор о литературе. И вдруг такая реакция: его оскорбило не содержание статьи, а нарушение субординации!.. Это в нем, заглушая все, что в нем было и на что он был способен, сработала реакция действительно провинциального журналиста, для которого напечататься в республиканской газете — большая удача, в центральной — серьезный успех, а московские писатели, да еще отмеченные наградами, находятся в заоблачных высях. Я бы еще понял, если бы я принес ему эту статью для публикации и от него зависело бы: публиковать ее или не публиковать — тут было от чего растеряться и чего испугаться. Я бы взваливал на него некую ответственность. Но ведь этого не было. Раздражение его было бескорыстным — это говорила в нем та подрезанность крыльев, о которой я уже упоминал... Причиной ее было не только и не столько проживание в провинции — в той же Алма-Ате жили Николай Ровенский и Павел Косенко, крылья которых подрезаны не были — такая реакция с их стороны была немыслима... Дело тут было в том, что они — люди иного поколения, иного опыта, иной степени запуганности... Да и сам Брагин потом почеловечески от этого освободился, оттаял... Впрочем, и до этого, хотя в этой реакции что-то и проявилось, но настроение, стоящее за ней, вовсе не переполняло его все время (второго случая не припомню). Общаться с ним было интересно и приятно. Но в творческом отношении это оттаивание наступило для него слишком поздно. Потом он переселился обратно в Алма-Ату, стал членом Союза писателей, переводил, кое-что писал. Дела его шли неплохо, и претензий к нему ни с какой стороны быть не могло. И не

было у них никогда, нет и у меня. Просто меня никогда не покидало ощущение, что в него было заложено гораздо больше, чем он смог реализовать. Он, видимо, это тоже чувствовал. Этим и объяснялась его склонность к Бахусу, о которой я забыл сказать. Ибо она не была столь судьбоносна и разрушительна, как у Мухина. Добрые, теплые отношения с ним и с его женой Галиной Александровной Исаченко у меня сохранялись до моей эмиграции. С добрым чувством я вспоминаю их и сейчас. Хорошо, что я их встретил — особенно в Караганде...

Поскольку я заговорил о своих контрольных работах, я не могу не рассказать об одном курьезе, с ними связанном. Придется познакомить читателя и с предысторией эпизода. Почему-то мне при восстановлении в институте сперва не зачли курса по русской литературе начала XIX века, хотя до ареста экзамен по этому предмету у меня был сдан. Пришлось писать и контрольную работу. Ничего вроде страшного. Я много и тогда уже думал о Пушкине и с удовольствием поделился бы своими мыслями с ученой кафедрой. Но вот беда — я не знал, что о нем писать уже можно, а чего еще нельзя. Ведь год был еще 1953-й. Еще были обязательны для усвоения и повторения невероятные глупости о приоритете русских во всех областях науки и культуры, и в порядке «борьбы с иностранщиной» отметалась сама возможность влияния западных мыслителей и художников на наших. Прошло слишком мало времени, и я не знал, можно ли уже писать, что Пушкин испытывал иногда иностранные влияния (значение и роль которых в его творчестве я, кстати, и тогда не преувеличивал), или по-прежнему следует делать вид, что ничего подобного и быть не могло. А ведь были и более сложные проблемы. Писать же что-нибудь *не так, как надо*, мне никак нельзя было — сожрали бы. А я не затем восстанавливался в институте, чтоб рисковать, защищая очевидную истину в контрольной работе. Короче, я оказался в положении, близком к положению старика С.К. Шамбинаго, который не знал «слов», какие «надо говорить», преподавая русскую литературу XIX века. Правда, я не знал, какие *именно* слова следует говорить. Что было делать?

И я нашел блестящий выход из положения — отыскал в списке предлагаемых тем (его присылали) такую, о кото-

рой вообще не имел никакого представления, а следовательно, и «ошибочных» мыслей, и на ней остановил свой выбор. Она называлась «Поэты-радищевцы (Пнин, Восток и другие)». Импонировало мне и то, что список рекомендованной литературы к ней ограничивался вступительной статьей к одноименному сборнику. О том, что я прикоснулся к этой теме, я не жалею. Эти радищевцы, конечно, не были поэтами, да и в радищевцы их произвели несколько слишком обобщенно, конъюнктуры ради. Но они были учеными и благородными людьми и имели отношение больше к истории русской интеллигенции, чем к истории русской литературы. Но тогда я об этом не думал, мне надо было писать работу. И я сделал все, что позволяла тема и материалы к ней — добросовестно пересказал вводную статью, добавил пару собственных соображений, запечатал и отправил в Москву. В полной уверенности, что теперь я кум королю, что ко мне теперь ни с одной стороны не подберешься.

Но оказалось, что я отстал от развития прогресса, не заметил из своего провинциального далека, насколько уже окрепли в Москве либеральные веяния. Из института пришел гневный ответ, в котором молодая преподавательница «выводила меня на чистую воду» — доказывала мне, что работа несамостоятельна, выражала удивление по поводу выбора мной темы — неужто не нашлось более интересной и важной для такого богатого периода в истории нашей литературы? Дальше она не нашла у меня ни одной собственной мысли и в заключение советовала учиться мыслить самостоятельно. Последнее очень умилило — таких советов мне никогда никто не давал ни до того, ни после этого. Безусловно, рецензентка была права по всем пунктам. Ее письмо свидетельствовало о том, что я достиг всего, к чему стремился — работа никак не проявляла способности автора к самостоятельному мышлению. И тему можно было выбрать поинтересней (потом в процессе жизни я так и делал), но вот вопрос: а кто мне эту тему предложил? — но над этим вопросом самостоятельно мыслившая преподавательница не задумывалась. Тут она знала, почему так нужно было делать. А что те же обстоятельства могли определять и мое поведение — да еще при обратном адресе «Караганда», — ей и в голову ее самостоятельную не приходи-

ло. Она видела во мне того агрессивного жлоба, перед которым еще недавно приходилось расшаркиваться, и теперь освобождалась, расправлялась с ним как следует. Неспособность и нежелание либеральной интеллигенции понимать обстоятельства людей «вне нашего круга» отчасти сказались и в этой отповеди. Впрочем, она была в этой отповеди права и честна. Слава Богу, роли в моей жизни эта ее правота не сыграла — мне зачли сданный до ареста экзамен, который принимал у меня, к слову сказать, А.Л.Слоимский. А ведь могли и не зачесть. И что бы я делал — ведь «слов» я пока еще по-прежнему не знал.

Но и я в этой истории дал маху — после всех антикосмополитских собраний в Литинституте и «теплого» приема, оказанного мне по возвращении, я относился к этому заведению как к чему-то вроде филиала МГБ. Может, какие-то основания для этого были, но в чем-то это оказалось не совсем так. И чем больше я входил в его жизнь, тем больше в этом убеждался... Да ведь и в обе карагандинские редакции я шел как в стан врагов, а потом оказывалось, что там работают люди, такие как везде, а часто и более близкие мне. Все дурное в стране (все хорошее тоже, но не о том речь), в том числе и в идеологии, делалось людьми, и часто совсем неплохими. Во времена, когда вся жизнь в «тоталитарном захвате» (А.Солженицын), о человеке — я уже здесь отмечал — не всегда можно судить по его функциям.

Так получилось, что наиболее близко я сошелся с людьми, прямого отношения к редакции не имевшими, но как бы входившими в ее «коллектив» — слово скомпрометированное, но в данном случае незаменимое. Можно еще сказать: в «редакционное сообщество», но как-то не подходит к тому времени. Речь идет об аккредитованных в Караганде корреспондентах. Может, это было связано с тем, что они состояли в редакционной парторганизации, в которой числились и корреспондентка Всесоюзного радио, и корреспондент «Правды», но они в это неформальное сообщество не входили. Корреспондентка радио из-за женской занятости, а корреспонденту «Правды» — кажется, его фамилия была Антонов — видимо, по уставу полагалось сохранять дистанцию — все-таки представитель главного надзирающего органа в области. Отзывались о нем все, кто его знал, с искренней симпатией. Сам я с ним ни разу не общался,

но несколько раз его видел, и впечатление на меня он тоже производил хорошее — лицо умное, вел себя скромно. Конечно, внешняя скромность корреспондентам «Правды» предписывалась, но ощущалось, что для него она естественна. Ничего, что могло бы компрометировать его в моих глазах — я имею в виду то, что он тогда публиковал в «Правде», — я за ним не числю... Хотя понимаю, что значила работа в «Правде». Но ведь и в «Соц. Караганде» — тоже. Что делать, если вся энергия страны, по позднему выражению, «уходила в гудок», если вся она практически работала на этот «гудок»? С детства воспринимаемое как данность, это по-своему формировало людей, социальную стратиграфию, социальную психологию, шкалу престижа и, следовательно, выбор жизненных дорог.

Но Антонов, как уже сказано, не входил в круг моего общения. Общался же я (помимо Олега Мухина, Иры Лиховской и Алексея Ивановича Брагина) еще с корреспондентом КазТАГа (ТАСС) Марком Фельдом — о нем разговор особый, — а также с корреспондентом «Труда» Борисом Моревым и корреспондентом «Известий» Бобровым (свели меня с ними те же Фельд и Брагин). Люди это были неглупые, прошедшие огонь, воду и медные трубы советской журналистики. Общение с ними носило не интеллектуальный, а богемный характер — возможно, сказывалась выработанная за многие годы привычка, даже техника, свободно, непринужденно и весело общаться, при этом даже краем не задевая острые, насущные, да и просто серьезные, то есть чреватые опасностями темы. С годами это стало нормой приличия, даже респектабельности и не требовало усилий. И действовало и тогда, когда в этом отпала нужда — хотя в те месяцы это еще было далеко не так ясно. Конечно, мое общение с Фельдом (о нем чуть позже) и Алексеем Ивановичем было несколько иным, ибо они были интеллигентами, и как бы ни был подмят эпохой А.И., от бессмысленной потребности мыслить он бы избавиться не мог. Но когда мы собирались все вместе, общение приобретало именно тот характер, который я называю богемным... И дело было не в том, что кто-то кому-то не доверял, в порядочности друг друга никто не сомневался, но просто такое общение стало бытом и традицией. Общаться с ними было приятно — вероятно, потому, что понимание общих обстоя-

ятельств, хоть они и не обсуждались, все-таки молчаливо присутствовало в наших общениях и было оно, в общем, одинаковым. Это не имело отношения к политическим взглядам — у всех у нас они тогда были коммунистическими, политические разногласия в обществе возродились потом, — а к чему-то более элементарному и человеческому, что подавляла сталинщина. То, что она воспитала, а то и окрылила слой тупиц, для которых стихия такого подавления — единственное представление о воздухе и ценностях жизни. Но это не система политических взглядов, пусть даже самых неприемлемых, а социальная болезнь, трупный яд в ее крови. Никто из тех, о ком я говорю, к этому слою не относился, и сближало нас всех если не противостояние ему, то хотя бы стремление отгородить от всего этого свой досуг.

Все эти люди, кроме моего ровесника Фельда, были зубрами советской журналистики и знали много смешных историй из журналистской жизни... Особенно Бобров, начавший свою деятельность еще в годы первой пятилетки... Произнес «еще» и вдруг сообразил: ведь это «еще», казавшееся очень отдаленным временем, было тогда отделено от нас максимум двадцатью с немногим годами, а теперь со дня этого разговора прошло уже почти полвека, да и в эмиграции уже живу — и все это не так давно для меня. Конечно, это аберрация связана и с возрастом, с ограниченностью человеческой жизни, опыта и восприятия. Но не только. Гражданская война кончилась всего за 13—15 лет до начала моей сознательной жизни, а казалась вообще почти доисторическим временем, чем-то вроде времен сотворения мира, хотя все родители мои и моих сверстников пережили это время. Все дело было в том, что мир наш действительно сотворился в октябре девятьсот семнадцатого — до этого была только борьба за его наступление или противодействие этому, а еще раньше — чистое дикарство. Не скажу, что мы больше ничего не знали и не представляли, но так было летосчисление нашего мира. Ему бы еще и сейчас не было восьмидесяти пяти, а тогда вообще было всего ничего. К тому же каждое следующее трехлетие из упомянутых сорока отличалось от предыдущего лозунгами, общей аурой и кумирами — почти системой ценностей. Оттого и выглядело двадцать лет таким «еще», таким большим сроком и такой интерес вызывали истории Боброва... К сожа-

лению, из всех его историй я запомнил только одну. Рассказал он ее, когда мы, он, А.И., Фельд и я, прогуливались по парку имени Орджоникидзе — так назывался бульвар, занимавший часть проспекта Ленина рядом с редакцией. Разговор шел о какой-то мелкой неприятности в редакционной жизни — пришло какое-то вздорное опровержение на критическое выступление газеты. Никому это ничем не грозило, газета никогда по своей инициативе (участие в декретированной сверху политической травле, где беспредел был нормой, определялось не ее инициативой) не начинала атаки, не имея документальных доказательств своей правоты. Но все-таки это было событие в жизни редакции, и о нем говорили.

— А когда я в тридцать первом работал в (он назвал город и шахту в одной из горячих точек пятилетки, но я не запомнил, какую именно), такого быть не могло — в чем бы тебя ни обвиняли, раз напечатано, полагалось признавать критику правильной. А однажды мы совсем развеселились, фельетон о каком-то начальнике назвали «Очумелый бюрократ». Тут он не выдержал, стал жаловаться, нас — в партком. Он выступает, говорит: «Я безусловно признаю критику правильной (иначе тогда нельзя было), конечно, есть в моей работе элементы бюрократизма, я это учту, но, товарищи, почему «очумелый»? Знакомые проходу не дают».

Бобров рассмеялся — воспоминание о наивном романтическом начале нынешней эпохи, совпавшем с юностью его поколения, с его собственной, что все-таки не помешало юности, было приятно ему... Мне она тоже казалась живой и прекрасной. Но не так ли зарождались качества этого поколения, определившие его беспомощность перед всем, что на него надвигалось, что превратило одних его представителей в бессмысленных палачей, а других — в бессмысленные жертвы? И что не помешало основной части этого запуганного и запутавшегося в трех соснах поколения вынести на своих плечах всю тяжесть Отечественной войны, полечь на фронтах и все-таки спасти мир от нацизма. Чудны дела твои, Господи!

На идеологические темы я беседовал больше с Фельдом. Не потому, что больше ему доверял (я вполне доверял и Олегу Мухину, и Алексею Ивановичу, и кое-кому еще — вообще не таился), а потому, что его это больше интересо-

вало... Он закончил философский факультет Киевского университета, входил в группу молодежи, которая исповедовала, точнее, разрабатывала примерно те же «теории», что и я до ареста. То есть члены ее, как и я когда-то, стремились подвести серьезную научную (скорее, марксистско-идеологическую) базу под сталинщину и ее преступления, искали и находили оправдания им и ей. Так что не я один был такой — многие искали смысл в этой бессмыслице, но сталинщина в интеллектуализации не нуждалась. Их самостоятельное согласие с линией партии, естественно, вызвало подозрения киевского МГБ, их стали таскать на беседы, но ареста они все-таки избежали. Потом — так получалось — я в разных местах и в разное время познакомился и с другими членами этой группы, с каждым отдельно. Былая принадлежность человека к этой группе обнаруживалась случайно — допустим, при упоминании имени Караганды или Фельда. Разумеется, в период моего знакомства с ними они уже прежних взглядов не придерживались. Не придерживался их уже в описываемый период и сам Фельд. После всех «приоритетов» и, конечно, «дела врачей» вера в спасительную диалектику как в подобие философского камня, способного преобразовать грязь в золото, потускнела. Как и гордость пониманием ее «закона» и умением ими манипулировать для иллюзии своего взаимопонимания и единения с «эпохой».

Но по характеру Фельд был чужд всякой схоластике, в том числе и диалектической. Скорее, он был склонен к доброжелательной, хотя и несколько ироничной наблюдательности. Это проявлялось и в его отношении к происходящему, и к людям, и к своей работе. Он во всех тонкостях понимал, как работает советская система и какая роль отведена печати. Он считал, что это не только средство пропаганды, но и все-таки как-то выбивающийся из номенклатурной иерархии (корреспондент «Правды» не зависел от обкома, наши корреспонденты на местах — от райкомов) орган критики — в смысле надзора за правильным исполнением директив. В той системе это было даже неким компенсатором. Ольга Чайковская, кроме всего прочего, автор очерков и статей на судебные темы, говорила мне в конце 90-х:

— Раньше они (правоохранители и судейские) боялись только прессы и начальства, а теперь — никого.

От того, что компенсатор исчез, людям стало не лучше, а хуже — ведь деятели остались те же, только вырвались из-под присмотра! Да и судебная система мало изменилась...

Очень тонко понимал Марк и специфику ТАССа, создающего направленную информацию — я бы сказал, дезинформацию — подбором фактов и по возможности спрятанным их истолкованием.

В принципе он относился к происходящему как к данности — взгляд был бы мудрым, если бы «данность», с которой мы все имели дело, не была столь качающейся и судьбоносной. Но что мы могли изменить при любом своем отношении? Тем более что от общей идеологической схемы — правда, теперь уже освобожденной от сталинской профанации — мы не отказывались. Поэтому мое общее отношение к происходящему — оно отличалось только последовательностью в отрицании сталинской системы — не вызывало его возражений, но моя «зацикленность» на этом казалась ему чрезмерной, чем-то вроде того, что теперь обозначается словом «экстремизм». События показали, что эта «зацикленность» была реакцией не только не чрезмерной, а и недостаточной, но об этом в те дни не догадывался еще и я сам. Не знал этого и Фельд. И тогдашнее его восприятие моего поведения выразилось однажды такими словами:

— Конечно, существует журналистский цинизм, всякое острословие. Это естественно, при том, что им иногда приходится делать — они ведь не идиоты*. Но у тебя совсем другое. Ты все время бьешь в одну точку — работаешь как ТАСС, только наоборот.

В его словах не было осуждения, скорее, ему это нравилось, но слишком он привык относиться к системе со всеми досконально ему знакомыми и понятными нелепостями как к данности. И та напряженность, с которой я все время этому внутренне — конечно, только внутренне! — противостоял, его удивляла как аномалия, даже забавляла. Видимо, он полагал, что хотя дело и плохо, но может так

* Крайним его выражением было сообщение ТАСС об освобождении заложников в Энтеббе израильскими спецслужбами. Помимо дежурных поношений израильских агрессоров за их очередное преступление сообщалось, что, совершив свои злодеяния, они потом, «захватив заложников, улетели». Словно они совершили эту операцию с целью захвата, а не освобождения заложников. Много тогда, наверное, смеялись в здании ТАСС у Никитских ворот.

продолжаться вечно или потом все само собой образуется, как говаривал, правда, в несколько иных обстоятельствах Стива Облонский. То есть отчасти полагал (хотя так и не формулировал), что наша вздыбленная современность — это «просто жизнь», так к ней и надо относиться. Как потом прямо — только менее простодушно и более корыстно формулировали и чем утешались литературные «сорокалетние» семидесятых годов и те, кто им наследовал. Однако все они ошиблись — «просто жизнью», как ни далека и она от идеала, никому из нас и дня пожить не удалось.

Через Фельда я тоже смог узнать кое-что любопытное. Вот пример. Пропагандировать очередное решение «коллективного руководства» (так тогда именовалась наша власть) разъехались по областям все его члены. Лидера, прибывшего в нашу область — кто это был, я не помню, — по долгу службы в его вагоне посетил Фельд. Разговор был по делу — о предстоящем выступлении высокой персоны перед «массами» и об информации о нем в прессе. Марк мимоходом обронил, что имеет от своего руководства указание о размере этой информации — допустим, двести строк.

— А разве не сто пятьдесят? — испугалась важная персона. — По моим сведениям, было решение — сто пятьдесят.

— Нет, в телеграмме ясно говорится: двести. — И Марк показал телеграмму.

— Ладно, я сегодня буду звонить в Москву, уточню, — успокоилась, найдя выход из рискованной ситуации, важная персона.

Так держали тогда друг друга за руки, чтоб никто не мог самовольно высунуться, наши руководящие товарищи. Оно, конечно, было и понятно, но одно дело — умозрительность и интуиция, и совсем другое — личное впечатление твоего товарища.

Вообще круг обязанностей Фельда был невелик. В обычные дни он должен был найти — в основном в нашей газете — существенный (с точки зрения пропагандистской картины) материал и отправить в ТАСС телеграфом «информашку» строк в десять—двадцать. Все это вызывало со стороны его товарищей разнообразные, без всякой злобы или задней мысли, шутки и эпиграммы. В том числе и мою:

Мне бы жить, отдыхая
Душою и плотью:
Как фельдмаршал — в отставке,
Как Фельд — на работе.

Его это не огорчало. Начальство его работой было довольно. Вообще эпитаграмм, которые мы писали друг на друга, было много, были они остры, часто талантливы, но имели, так сказать, только локальный интерес. Приводить их здесь особого смысла нет.

Рассказ о редакционных буднях не входит в мою задачу. Да и в памяти остались только человеческие отношения, о которых была уже речь. Для того чтоб говорить об этом подробно, надо было бы писать на этом материале полноценную художественную прозу, а я никогда не чувствовал себя прозаиком — хоть и никогда не относился к прозе свысока, как свойственно многим представителям поэтического цеха. Да и задачи у меня, сформулированные мной в начале этих мемуаров, иные.

Не поговорить напоследок чуть более подробно еще об одном человеке в редакции — об уже не раз тут упоминавшемся ответственном редакторе нашей газеты Федоре Федоровиче Боярском, я просто не считаю возможным. Да и сюжет не позволит.

Безусловно, Федор Федорович Боярский, к которому я всегда относился и теперь отношусь с симпатией, был человеком системы. И при всем том он был хорошим, достойным и надежным человеком. Противоречие? Возможно. Хочу только напомнить, что вне системы в нашей стране не было ничего. Когда-то я говорил, что коммунизм (имелся в виду первоначальный, подлинный коммунизм) страшен еще и тем, что часто (отнюдь не главным образом и не только) привлекает к себе людей бескорыстных, расположенных к добру, и превращает их во врагов человечества. Сталинщина в основном таких людей отталкивала, но выдавала себя за воплощение их идеализма, при этом выхолостив из него всякий смысл — но для камуфляжа хватало. Больше всего ей подходили исполнительные ничтожества. Ничтожества она и привлекала, им открывала все дороги. Но система потому и была тоталитарной, что пронизывала и подменяла всю жизнь страны, а для новых поколений и

всю ее мысль, все представления об истории. Все жизненные дороги были связаны с ней, и привлекала она к себе не только ничтожеств... Многих из таких она потом все равно превращала в ничтожеств. Но все-таки не всех до конца.

В сущности, о Боярском до его появления в газете я не знаю почти ничего. Только что в Караганду он был направлен из Москвы после окончания ВПШ (Высшей партийной школы при ЦК КПСС), что он воевал и был ранен (он и теперь хромал) — вот и все. Ни из кого он происходит (почему-то мне кажется, что из прииртышских казаков, но, может, это и не так), ни где, ни кем он работал до войны, а по возрасту где-то и кем-то он работал. Вряд ли он это скрывал, но просто об этом никогда не заходил разговор — говорили на другие темы. Так что в своих суждениях о нем я опираюсь только на свои личные впечатления и на восприятие тех, кто его окружал. Высокий, крепкий, стройный, несмотря на хромоту, с волевым, но в то же время живым и мягким лицом и умными, понимающими и, несмотря на строгость, добрыми глазами, он вызывал не только симпатию, но и доверие и в общем его не обманывал. Впечатление мое не изменилось, и когда по доносу временного ответсекретаря я был отлучен от печатания, и когда в дни свистопляски вокруг «дела врачей» в газете — ведь не без его же ведома — был опубликован подстрекательский антисемитский фельетон «33 Поляковых». Все это исходило не от него, а от системы... Вероятно, он стремился смотреть ее глазами, находить в ее деяниях смысл, целесообразность, справедливость — не знаю (а я разве не занимался тем же, пусть по другим поводам?). Я уже отметил, что он был человеком системы. Сохранял ли он при этом хоть малую, хоть какую-то способность внутренне дистанцироваться от «воли партии», способность самостоятельного суждения? Думаю, что хотел он этого или нет — а сохранял. Ибо слишком был очерчен, умен и — не побоюсь сказать — талантлив. В чем? Действительно, он ничего не писал, ничего замечательного после себя не оставил — только редактировал партийные газеты разного уровня. И не во времена, когда этим еще могли заниматься такие люди, как Н.И. Бухарин, а в эпоху нивелированной печати — что тут после себя оставишь! Да ведь и не был он Бухариным — тот, безусловно, был интеллектуалом, а потенциально и худож-

ником. В чем же он был талантлив? А в том, что, несмотря на свои посты и несмотря на то что был человеком этой мертвящей системы, во многих людях оставил по себе добрую память, оставался живым и мыслящим — пусть и в рамках системы — человеком. А иначе — с чего б он вдруг стал симпатизировать мне? А ведь мы с ним общались, особенно потом, во время моих наездов в Алма-Ату. Он тогда уже работал там, был ответственным редактором «Казахстанской правды» — что ни говори, органа ЦК КП Казахстана — и, конечно, членом казахстанского ЦК. А я — хоть я не был уже тогда изгоем — был внештатным сотрудником не очень одобряемой тогда начальством «Литературной газеты». Он принимал меня у себя дома, мы с ним разговаривали вполне свободно и дружески. Конечно, тогда уже это мне ничем не грозило, но при случае могли и припомнить. Мне кажется, он в основном ценил во мне самостоятельность. Не оппозиционность, а именно самостоятельность. И сам он был самостоятелен, хотя в номенклатуре это качество могло сослужить и дурную службу. Но в его случае оно однажды сослужило ему службу хорошую.

Случилось это в пору всяческих «починов» и «начинаний» при Хрущеве. Поскольку жертвой «почина», о котором пойдет речь, оказался я сам, помню я это особенно хорошо. Мне надо было возвращаться из Алма-Аты в Москву, и я собирался, как всегда это делал, захватить с собой некоторое количество яблок, знаменитого здешнего сорта «алма-атинский апорт». Но, придя на «Зеленый базар», я был обескуражен. На прилавках вместо гор фруктов, и прежде всего гор ярко-розового апорта, теперь только кое-где виднелись редкие кучки весьма хилых и вялых яблочек. Крестьяне, подбегжавшие к рынку с возами фруктов, прочитывали объявление, прибитое к воротам рынка, пожимали плечами, чертыхались, разворачивали лошадей и убирались восвояси. Объявление гласило, что постановлением Алма-Атинского облисполкома на рынках города и области цены на фрукты не должны превышать установленного максимума, который тоже был включен в текст постановления. Те хилые и вялые фрукты, которые лежали на прилавках, продавались теперь по этому максимуму, намного превышавшему их обычную стоимость. Благодаря решению исполкома они овладели теперь рынком. И я не привез в Москву

алма-атинских яблок, которых я хотел, но не мог купить, а кто-то хотел, но не мог продать. Ибо в отдельно взятой Алма-Атинской области, стремясь соответствовать реформаторскому пафосу тогдашнего генсека, была проявлена инициатива — был частично восстановлен «режим военного коммунизма».

Интересная деталь. Возвращаясь с рынка вместе с другими потенциальными покупателями, в основном домохозяйками, как и я, оставшимися без покупок — вялые яблоки им тоже были ни к чему, — я был удивлен их реакцией... Они, конечно, были озабочены и недовольны, но, как ни странно, объектом их недовольства были колхозники. «Таким и надо! — ругались тетки. — А то совсем распоясались, последнюю шкуру дерут». Крепко вбито в сознание людей это представление, что продающий — стяжатель, жулик и эксплуататор. А понимание того, откуда берется продаваемое, каких трудов стоит, не то что отсутствует, но как-то исключается из сознания. Работала здесь и выработанная десятилетиями террора привычка переадресовывать раздражение.

Да что эти тетки — они дня через два поневоле поуменьли. Дифирамбами по поводу этого «прогрессивного» нововведения разразилась областная газета «Алма-Атинская правда». Явно готовилась очередная свистопляска, мысленно в одежде сверлились дырочки для новых орденов.

А вот республиканская «Казахстанская правда» почина «столичной парторганизации» не поддержала, хранила молчание. Конечно, Боярский не мог не понимать, что этот «почин» — очевидная глупость. Но при этом не мог он не понимать и того, что очевидной глупостью было и «рязанское чудо», когда Рязань «по мясу» перегоняла Америку. Для чего был перерезан почти весь скот, в том числе частично хитроумно отобранный у «частного сектора» — приближающегося коммунизма ради. Потом это было признано ошибкой, но тех, кто сопротивлялся этому хрущевскому вдохновению, потом не восстановили. Свободолюбец Хрущев не любил, когда кто-то оказывался более прав, чем он. Какие основания были у Боярского думать, что Хрущев и тут не вдохновится? Потом бы это все равно тоже отменили и признали ошибкой, но... слава Богу, Хрущев на этот раз не вдохновился, и Боярский выиграл. Но это выглядело

тогда далеко не столь однозначно, как теперь... Тогда это требовало самостоятельности и твердости — шутка ли, не поддержать всенародный (других не бывало) почин! За такое консерваторство по головке не гладили. Но у Боярского хватило мужества.

Однако разговор у нас сейчас не об Алма-Ате, а о Караганде — часть этой книги, посвященную ей, я сейчас кончаю. И кончаю ее Боярским. И это не случайно. Ибо задержавшееся окончание моего пребывания в этом городе связано именно с ним. И с его самостоятельностью тоже.

О том, что мне надо поскорее вернуться в Москву, я прекрасно знал. И я собирался это сделать, но никак не мог собраться. Это было необходимо, но связано со многими трудностями — прежде всего мне там негде было жить. Проблема нешуточная — ведь я был женат, и жена была беременна. Но и задерживаться здесь мне больше было нельзя. Это значило отказываться от судьбы — судьба моя явно была не здесь. Но я все медлил. Видимо, нужен был толчок. Но кто б меня стал толкать? Помощь пришла с неожиданной стороны. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Впрочем, до несчастья дело не дошло.

Это был 1954 год. Летом пышно праздновалось трехсотлетие объединения Украины и России. Не думаю, что кто-нибудь на Украине или в России отнесся к этому празднику всерьез — кроме, может быть, литинститутского завуча, доцента Таран-Зайченко, который с гордостью нацепил на лацкан пиджака значок с соответствующей эмблемой. Но, как всегда в таких случаях, все вокруг праздновало. Я по этому поводу написал ироническую «Оду в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией»*. Читал ее и в Москве, и в Киеве, и в Караганде, и в редакции, и все сходило. Но кому-то я прочел ее в помещении отдела писем, куда меня к тому времени (почему — не помню) перевели от Олега. И тут случилось — дама, к тому времени заместившая Волкова на посту заведующего этим отделом (и по партийной линии, кажется, тоже), доложила об этом Боярскому.

Почему она это сделала, мне и теперь непонятно. Из ненависти ко мне? Но ее не было — отношения у нас были равными, вполне дружелюбными. К тому же я ей ни в чем

* К этой «Оде» я и отсылаю всех, кто интересуется моим отношением к этому празднику. Она с тех пор была неоднократно опубликована.

не мешал и мешать не мог. По глупости? Конечно, позволять себе доносы тогда уже было неумно. Тем более доносить такому человеку, как Боярский, которому это, скорее всего, и раньше претило. Но особой глупости, как и особого ума, я в ней тоже не замечал. Обыкновенная женщина. Инерция представлений еще не глупость. Но откуда все же вдруг такой пароксизм подлости? Можно, конечно, ограничиться гордым заявлением, что психология подлости не всем доступна, но это ничего не объясняет. Скорее всего, ее просто оскорбило, что кто-то смеет позволять себе смеяться над тем, пред чем всем приказано преклоняться, что уже по всему по этому есть абсолютная истина. Так она была воспитана и только так могла ориентироваться. Те, «кто слишком много о себе понимал» (это не ее язык, но суть ее отношения к интеллектуальной жизни), покушались на ее способность ориентироваться, в сущности, занимать то место в жизни, которое она занимала, разрушали атмосферу, к которой она привыкла. Она, конечно, знала, что атмосфера в чем-то меняется, но как меняется и с чем это сопряжено, вряд ли тогда уже догадывалась. Тогда ведь Сталина еще не раскассировали, только слегка подкусывали, больше действиями, чем словами, — так что большинству это было и не заметно. А что касается ее поступка, то не исключено, что тут был и элемент женского кокетства. Боярский очень нравился нашим дамам — и, возможно, она таким образом хотела обратить на себя его внимание. Как-никак она сообщала ему ценную информацию, как бы предотвращала возможные неприятности... Я помню, как она встала, вся подтянулась, даже похорошела (хотя уродиной и до этого не была) и вышла из комнаты. Я, конечно, не понимал, куда и зачем она пошла, но это запало.

Она, конечно, не понимала, что своим поступком поставила в сложное, а проще сказать, ложное положение всех, и в первую очередь самого Боярского. Но она это сделала. Представьте его положение. Мое стихотворение откровенно иронически относилось к недавней грандиозной пропагандистской кампании партии, а партия никакой иронии по отношению к своим мероприятиям, тем более недавним, допустить не могла... Тем более со стороны сотрудника партийной газеты, каковым я тогда являлся... И покрывать меня ответственный редактор такой газеты никак

не мог. С другой стороны, дело было грязное, доносное и совсем не в характере Боярского.

Но сигнал поступил, и он должен был принять меры. Дама после содеянного вернулась и села за свой стол с независимым видом. А через пару минут появилась секретарша с сообщением, что меня вызывает Федор Федорович.

Я был несколько удивлен, обычно он меня столь персонально не требовал, но по-прежнему ни о чем не догадывался — связи между этими двумя фактами я еще не уловил. Однако встретил меня Федор Федорович непривычно строго. Брови его были насуслены.

— Вот что, Наум, — сказал он, — дело очень серьезное. Ты написал плохие, неправильные стихи о Богдане Хмельницком.

Я признал, что у меня есть стихи на эту тему, но насчет оценки их содержания «ушел в глухую несознанку».

— Ну хорошо, — сказал он. — Покажи мне эти стихи.

Что было делать? Но во мне проснулся весь мой лубянский опыт, все зэковское хитроумие.

— Так у меня их здесь нет, — «честно» затруднился я. — Разве что домой сбегать...

— Что ж, сбегай, почитаем, посмотрим.

Он прекрасно понял мой маневр. Но в данном случае мы оба не нуждались в раскрытии истины. Чувствовалось, что этот разговор его тяготил, а конец его принес облегчение — наметилась тропка, выводящая из трясины.

Я со всех ног бросился домой — каждая лишняя минута уменьшала достоверность моего замысла. Добежав, я сразу, в считанные минуты («жить захочешь — легкость пера проснется») переделал свое «ужасное» стихотворение в наивно-крамольное упражнение усомнившегося мальчика (совсем «правильное» сочинение тут не годилось — что-то ведь должно было вызывать позыв к доносу) и так же быстро прибежал назад. Времени ушло не больше, чем если бы я проделал оба эти конца нормальным шагом. Алексей Иванович потом восхищался тем, что я нашел верный тон для этой фальшивки:

— Ну и Наум! Все опасное убрал, а все же легкий налет крамольности остался. За это можно слегка пожурить, но не больше.

Но Федор Федорович меня слегка журить не стал.

— Я понимаю, — сказал он, — ты мне не те стихи принес (потом, в Алма-Ате, он выражался четче: «Я ж понимал, ты ж не дурак»), да и эти не совсем. Но дело не в этом.

И он намекнул мне, что в этой ситуации мне надо уходить. Как он это сделал, не помню, но в форме совсем небидной.

— Что ж, — сказал я. — Мне уже и так давно пора в Москву.

И написал заявление об уходе.

— Вот и хорошо! — обрадовался Федор Федорович. — Так будет лучше.

В таком исходе его устраивало всё: и мой отъезд, и мое заявление. О том, что я собираюсь в Москву, знали все — так что и он, и все понимали, что зла он мне не причинил. А с другой стороны, он по сигналу «принял меры» и изгнал смутьяна из здорового коллектива. Столько изворотливости надо было проявить двум, как я полагаю, серьезным и неглупым людям, такое стечение обстоятельств должно было этому сопутствовать, чтобы была нейтрализована неуместная активность одной, по меньшей мере, не очень умной и даже не очень руководящей дамы. В этом и была суть еще не отошедшей сталинщины.

Но из того, что она не совсем отошла, следовал и другой вывод — надо было учитывать, что слухи об этом эпизоде и, следовательно, этом стихотворении дойдут куда не надо, а что там завертится — не предугадаешь. И лучше не пытаться судьбу, а как в Калуге, как можно быстрее сматывать удочки.

И дня через два-три я уехал — сбежал в Москву. Точнее, окончательно туда возвратился. Это было в конце декабря 1954 года. С ночи на 21 декабря 1951 года, когда «лазоревый подполковник» со товарищи увезли меня из литинститутского общежития на Лубянку, прошло семь лет и несколько дней. Я никогда не считал это время потраченным зря.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

РАССТАВАНИЕ С СОБЛАЗНАМИ

Глава первая. Возвращение

Ехал я в Москву с надеждой, даже уверенностью, что она оправдается, но все же без особого прилива радости. Не говоря уже о том, что мой отъезд из Караганды все-таки был вынужденным и походил на бегство (хотя и в желанном направлении), я не мог отвлечься и от того, что мне предстояло заново, второй раз ее обживать. Как я уже говорил, у меня и теперь, как в 1944 году, там не было ничего ошутимого — даже места в общежитии, которое было у меня до ареста... И все-таки многое отличалось от первого раза — теперь я многих там знал и меня многие знали, и это в какой-то мере облегчало мою задачу. Да, как и в первый раз, я не знал, где буду ночевать по приезду, но все же теперь мог быть уверен, что не на вокзале. Это было отличие в лучшую сторону. А в худшую? Наверное, то, что все-таки я стал старше более чем на десять лет — мне теперь не около двадцати, а около тридцати — и от мысли, что едешь, не зная, где приклонишь голову свою, было на душе более неуютно, чем тогда. Но выбора не было, и поезд вез меня в Москву

Довез он меня туда приблизительно 25 декабря 1954 года (может, даже чуть позже), то есть аккуратно перед Новым годом. Куда я пошел с вокзала, где ночевал первую ночь, где жил первые дни и недели — не помню. Это начисто стерлось из памяти. Не из неблагодарности, а, вероятно, потому, что в этом все было похоже на то, что происходило в предыдущие приезды. Мои друзья предоставляли мне ночлег и тогда, когда это грозило им крупными неприятностями, что же было мне умиляться этому теперь, когда я был вполне легален? Люди жили в тесноте, отдельная квартира казалась роскошью, и редко у кого она была, но гос-

тей принимали и укладывали. Отсутствие специального апартамента для гостей, с чем я однажды столкнулся в Америке, никому не казалось непреодолимым препятствием для этого. И полагаю, что и не должно быть таковым — я согласен с Сент-Экзюпери, что общение — самая драгоценная роскошь. Грустно, что часто люди и общества, по мере улучшения материального положения, теряют способность ценить эту главную роскошь. На мой взгляд, это не только обесмысливает, но и ставит под сомнение всю систему ценностей, все успехи цивилизации. Безрелигиозная и при этом не имеющая и объединяющей земной цели западная молодежь (а для общения нужна общность, общее) придумывает себе ценности искусственные и воинственно их защищает, разрушая при этом ценности реальные, уговаривая при этом себя и других, что только таким образом эти ценности по-настоящему утверждаются. Не правда ли, читатель, нам это знакомо? На самом деле за всем этим — только жажда общности и общения. Впрочем, иногда это провозглашается и прямо — лозунгом «революция от скуки». Потребность в общности и общении хватается за любые лозунги.

Но это сегодняшние проблемы, и не совсем еще наши. Тогда же, слава Богу, для меня и моих друзей общение было даже не ценностью, а неотъемлемым качеством и условием бытия. Чем-то, по сравнению с чем неудобства, связанные с ночевкой друга, были величиной бесконечно малой, которой естественно пренебречь. И — пренебрегали. Конечно, неудобства от этого не переставали быть неудобствами, но не отказываться же из-за этого от полноты жизни! Короче, тогдашние мои ночевки потому и не обозначились в памяти, что проблем с ними у меня не было...

Безусловно, на этот раз мое положение и состояние отличались от того, что было в предыдущие приезды. То, что для гостя было естественно, для вернувшегося «навсегда поселиться» не могло не оборачиваться чувством бездомности. Но, видимо, и эта моя бездомность в действительности не выглядела столь трагично и сиротливо, как сам этот термин. И не помню я чувства усталости от такой жизни. Наверное, оно меня настигало, но, видимо, не занимало настолько большого места в тогдашней моей жизни, чтобы запомниться... Теперь мне не только понять, но даже и пред-

ставить такое трудно, но так было. Это тем более удивительно, что ко мне должна была приехать беременная жена, и забыть о том, что мне ее где-то надо поселить, я не мог. Я этого и не забывал, это меня беспокоило, но поскольку сделать я все равно ничего не мог, не знал даже как, я все равно — все-таки двадцать восемь не семьдесят шесть — сохранял завидное спокойствие в смутной уверенности, что все как-то само образуется. Уверенность меня не обманула: скоро действительно все образовалось. Но об этом чуть позже.

А пока я жил без этого. Через несколько дней после моего приезда состоялась новогодняя встреча нашего курса, и я на ней присутствовал. Об этой встрече я уже упоминал — это та самая встреча, во время которой я провокационно обращался к Грачевскому как к знатоку лагерного быта. Но сейчас я хочу говорить не о нем, а о других. Несмотря на семь лет разлуки и на то, что все мои сокурсники уже давно окончили институт и как-то функционировали в литературе или возле нее, а я по сравнению с ними был аутсайдером, воспринимали они меня как своего. Но такого своего, который повидал то, чего остальные не видели... Думаю, что и раньше, как и потом, до самой эмиграции, они не переставали ощущать меня своим. Как и я их. Но тогда к этому примешивался еще жгучий интерес и естественное любопытство.

А время было странное. Заключение, — пусть пока не в массовом порядке, а только тех, кто подпал под амнистию, и тех, кого к этому времени по одному успели под нее подвести, — уже отпускали. Их встречали как героев. Особенно старых большевиков — в них еще видели светочей истины и честности, даже страдальцев за это... Что ж, сравнительно со Сталиным и его выдвиненцами «честный коммунизм», возможно, так и выглядит. И так выглядел для нас — ведь тогда никто еще и не думал отказываться от коммунизма. Но Сталин, хоть его все реже поминали в статьях и речах, официально все еще оставался вождем всего прогрессивного человечества и корифеем всех наук. И многим казался неприкасаемым.

Помню такой эпизод из тогдашней жизни. Весной я готовился к экзаменам с другим студентом-заочником, живущим в провинции, парнем совсем неглупым. Были мы

друг с другом абсолютно откровенны. После какого-то особенно резкого и непочтительного выражения об «отце народов» парень вполне по-дружески меня предупредил:

— Ты с этим поосторожней... А то опять попадешь...

Это не было несогласием. Он знал мои стихи на эту тему, и это вовсе не рождало в нем протеста. Просто до его окружения в том городе, где он жил, еще не дошло, что с «этим» теперь уже можно и не так осторожничать — другое время. Через год, уже после XX съезда, он мне сказал:

— Теперь тебе должны дать квартиру.

— Почему? — удивился я. В квартире (и в прописке, кстати) я действительно тогда остро нуждался, считал, что имею на это право, но не мог взять в толк, почему мне должны ее дать именно сейчас...

— А потому, что ты про Сталина правильно говорил и писал... Подай заявление*, увидишь.

Я был удивлен еще больше. Дело не только в том, что в успех такого заявления я начисто не верил — я просто не смог бы составить такое заявление. Я писал свои стихи потому, что у меня была потребность их писать, меня никто об этом не просил, я никому не делал этим одолжения. Наградой мне могло быть только внимание и благодарность читателя. Требовать за это иной компенсации представлялось мне чем-то противоестественным. Это значило бы не уважать себя и того, что я делал. Претендовать же на квартиру и прописку я и по своим представлениям имел право. Но не за заслуги, а на общих основаниях — как все репрессированные. Да, квартиры у меня не было и до ареста, но меня на семь лет выбросили из моей жизни; и такая компенсация была бы и необходима, и справедлива... Примерно так я и объяснил приятелю, и он со мной согласился. Впрочем, я рассказываю сейчас не о приятеле, а об атмосфере, в которой мы все жили.

* По-видимому, за то, что предугадал правильную линию партии и за это пострадал. Это общая черта, присущая советской психологии, — каждый, притесняемый враждебным режимом, попадая в СССР, вознаграждается почетом и привилегиями (иностранцы коммунисты в двадцатые годы). По этой логике я, пострадавший за то, что теперь признано правильным, подлежу тому же. Я думаю, что причина послевоенного антисемитизма отчасти в том, чтобы лишить евреев, пострадавших от нацизма (от врага!), «полагающегося» им по этой логике права на привилегии. Или целуем в задницу, или бьем по роже.

Но это было уже через год, когда, пусть еще и не начав решать свою квартирную проблему, мы уже все-таки где-то жили, нашли жилье. Как это произошло? Тоже случайно. Однажды я встретил на улице своего друга, поэта Михаила Львова, мы поговорили — обо всем. В том числе и о моем житье-бытье, и Миша, узнав, как обстоят мои дела, вдруг вспомнил о двух своих знакомых, пожилых латышках, старых большевичках, которые просили его найти им надежного зимнего жильца для их дачи в Тарасовке, и предложил мне похлопотать за меня. Я, естественно, согласился, и дело сладилось. Сошлись мы быстро — я ведь и сам был тогда по духу старым большевиком. Имена и отчества этих добрых женщин я, к сожалению, забыл, хотя до сих пор храню благодарность и теплое чувство к ним.

Дача, о которой идет речь, расположена была, как выяснилось, не в Тарасовке и даже не в Черкизове*, а гораздо дальше — в сорока минутах ходьбы от станции, в урочище Мурашки. Надо было пересечь все Черкизово, а потом большой детский сад на его краю, оказаться в лесу и пойти влево, вдоль ряда дач, отделявших этот лес от Клязьмы. Одна из них была та, где жили мои старушки. Там я должен был жить в полном одиночестве и кормить двух немецких овчарок хозяйскими харчами — за это и пускали.

Собственно, и дача, и собаки принадлежали не старушкам. Им на одной из дач принадлежала только маленькая избушка, которую они построили на участке крупного работника Министерства авиационной промышленности Балакирева с его разрешения (жить меня, естественно, пустили не в эту избушку, где существовать зимой было бы невозможно, а в одну из комнат балакиревского дома). Все окрестные участки, как и этот, величиной в гектар, — принадлежали коллегам Балакирева, высшим руководителям того же министерства, и были подарены им Сталиным за выполнение какого-то важного правительственного задания. Расположен этот дачный поселок был в запретной зоне, защищающей «Водоканал» — источник московского водопровода. Тут по санитарным условиям не имел права строиться никто, но привилегии в сталинском государстве были сильнее прочих соображений. Впрочем, никакой особой

* Поселок по левую сторону от Ярославской железной дороги (если ехать от Москвы), в то время как Тарасовка — по правую.

беды в том, что эти люди (аки аз многогрешный) там жили, я не видел и не вижу. Да и сами привилегированные, с некоторыми из которых я потом познакомился, а с одним и сдружился, не внушали мне ни малейшей антипатии — талантливые, энергичные и совсем не глупые люди. Такими они мне и запомнились. Конечно, все они были люди системы. Но какая активность могла тогда проявляться вне ее?

Однако все это открылось мне потом. А пока для меня было важно, что у меня вообще есть где жить и куда приехать жене — квартира. Пусть квартира эта была и не ближний свет — в молодости это вполне преодолимо. Прописал меня Г.Б.Федоров на их семейной даче в Кратове.

Решился и вопрос с заработками. Однажды на Тверской я встретил Гарика (Гарольда) Регистана, с которым был хорошо знаком по институту, а до него — по всяким литобъединениям. Он отнесся ко мне по-товарищески — расспросил о моих делах, положении и предложил зайти к нему на работу — он заведовал редакцией поэзии народов СССР в «Советском писателе».

— Зайди (он назначил дату и время), я тебе дам подстрочники* очень хорошего поэта. Заключим договор, получишь деньги... В общем, заходи, жду.

И я зашел. Я ему до сих пор благодарен и за участие, и за этого поэта. Ибо подстрочники эти оказались подстрочниками Кайсына Кулиева, настоящего поэта и с тех пор (я вскоре с ним познакомился) моего друга. Дружба наша не прерывалась никогда и отнюдь не исчерпывалась деловыми интересами. Дружили мы и когда я его переводил, и когда не переводил. Продолжалась она до самой моей эмиграции, пока мы могли общаться. Но и в эмиграции, на расстоянии, когда общение было невозможно, я не переставал ощущать его своим другом. В этом смысле наша дружба продолжалась до самой его смерти.

* Подстрочник — буквальный, строка за строкой, перевод в прозе стихотворения, полуфабрикат, приготовленный для перевода стихотворного — желательного поэтического... Последнее случалось, если оригинал давал для этого основания, что случалось нечасто, и если переводчик был в состоянии это передать, что случалось чаще. Конечно, лучше знать язык и переводить с подлинника, но обеспечить без подстрочников демонстрацию расцвета культуры народов всех СССР — а именно на это расходовались средства, — было невозможно... Но если тексты были хорошими, то чуткий переводчик мог их извлечь и из подстрочника.

Но Кайсын и моя дружба с ним — дела чуть более позднего времени, и я об этом еще буду говорить. А пока я упомянул о нем только в связи с рассказом о своем трудоустройстве — был тогда такой термин. Кстати, и в этом, чисто практическом смысле, мне тогда сильно повезло, что началось это «трудоустройство» с Кайсына — Гарик знал, что делал, выбрав для меня стихи именно этого тогда еще не известного мне поэта. Подчеркиваю, не известного мне, а не вообще... Ибо, как я потом узнал, до войны (точнее, до высылки его в Среднюю Азию вместе со всем балкарским народом) он был многим в Москве хорошо известен, достаточно сказать, что он дружил с Дмитрием Кедриним. То, что я оказался переводчиком такого поэта, кроме всего прочего, обращало на меня внимание заинтересованных кругов, делало мне имя как переводчику и, следовательно, открывало мне дорогу к другим заработкам. Я этого тогда и не подозревал, думал только о локальном заработке (и о том, как бы мне не оскандалиться и отработать аванс), но Гарик был человеком опытным и понимал, что делает для меня. Спасибо ему...

Но поскольку здесь уже затронута тема переводов, не могу не сказать несколько слов об этом уголке тогдашней литературной действительности. Казалось бы, о чем тут говорить — переводы они и есть переводы: в России всегда много переводили — был на это спрос. И даже то, что некоторые известные поэты, например Пастернак, когда их не печатали, «уходили в переводы» — тоже понятно. Даже иностранным русистам. Правда, тут может возникнуть вопрос: что значит «не печатали»? Но не возникает. Ответ на него тоже кажется само собой разумеющимся: цензура. Между тем это не совсем так.

Цензура — это ограничение хоть в какой-то мере свободной прессы. А когда все издательства и органы печати, все средства массовой информации в стране не только подчинены, а и просто принадлежат идеологическому государству, «правильное» угадывание воли которого они обязаны были не только считать, но и объявлять своей главной и почетной задачей. В этой обстановке достаточно было не только публичного выражения немилости (называлось: «подвергнуться критике»), но и просто негласного сигнала, чтобы двери всех редакций закрылись перед неугодным

автором, что бы и о чем бы он ни писал — при чем же тут цензура? И зачем она нужна?

Пастернак и при Сталине иногда имел чуть ли не официальный статус непечатного писателя. Исходя из него, он даже, как я слышал, вступал в переписку с вождем — как раз о предоставлении ему в связи с этой «непечатностью» достаточного количества переводов. Нет, это уже не цензура, это тоталитаризм. Правда, с примесью азиатчины.

Но и принятие этого тезиса еще не гарантирует понимания того, что я имею в виду под переводами... Да, Пастернак бывал вытеснен в переводы, но то, что он переводил: первоклассные грузинские поэты, Гете или Шекспир — в любом случае рассчитано было на читателя и подлежало переводу — было *работой*. И было бы ею в любой стране и в любом обществе. То, что я имею в виду, соответствовало этому далеко не всегда — хотя и не всегда не соответствовало. Это был целый фронт работ, вызванный перманентной государственной постановкой, именовавшейся «расцвет национальных литератур в СССР». Сводилась она к тому, что московские и ленинградские, а также республиканские издательства обязаны были выпускать определенное (и немалое) количество книг национальных авторов в переводах на русский. Чаще (но не всегда) их авторы занимали должности в местной и центральной писательской иерархии. Книги эти часто (но опять-таки не всегда) были бездарны и бессмысленны. Впрочем, и среди литераторов, писавших по-русски, таких тогда хватало — их назначением (от коего, конечно, не освобождались и «националы») было продемонстрировать, что «сердца всего народа бьются вместе с партией»... И те и другие были бонзы. И если я сейчас говорю о бонзах только национальных, то лишь потому, что речь идет о переводах. Вокруг этой постановки расцвела целая «стихопромышленность», как говаривала мой друг В.Г.Дмитриева, много лет заведовавшая отделом поэзии народов СССР в журнале «Дружба народов». И действительно, вокруг этого дела кормилось много народу. Поэты вроде меня, которых не печатали и которые таким образом зарабатывали на жизнь и на возможность продолжать свое творчество (или того, что они принимали за таковое — кто как); поэты публиковавшиеся, но прирабатывавшие переводами — публикациями и книгами прокормиться могли

не все; профессиональные переводчики (иногда талантливые, как Н.Гребнев); и, наконец, просто литературно грамотные люди, избравшие себе такой способ существования. В принципе на этом можно было даже разбогатеть — если быть озабоченным только этим. Даром что большинство этих книг были фикцией и не находили спроса — похоже, государство этой постановкой развлекало (или утешало) только самое себя, но средств на это оно не жалело.

Надо ли специально оговаривать, что отнюдь не все поэты из республик были бонзами, то есть фикциями, как не были ими все писавшие по-русски. Это само собой разумеется. Существовал же и приобрел (в русских переводах) всесоюзное читательское признание мой товарищ, сокурсник и сосед по общежитию Расул Гамзатов, да и моя карьера переводчика, как уже известно читателю, началась не с фикции, а с настоящего и очень хорошего поэта Кайсына Кулиева. Случилось мне переводить и замечательного молдавского поэта Ливиу Дамьяна, к сожалению, рано ушедшего из жизни, и некоторых других.

Существует легенда, что всех прозвучавших хорошо по-русски национальных поэтов создали переводчики. В это особенно горячо верили непрозвучавшие коллеги из их республик. В Нальчике мне это пытались внушить насчет Кайсына:

— Ты, Эма, не знаешь, всё за него делают переводчики, а на языке ничего особенного.

Получалось, что я — а я был одним из главных его переводчиков — сам не знаю, что сочинил, а не перевел его стихи. На это я отвечал, что его стихи были хороши и в подстрочниках, то есть до того, как я к ним прикоснулся. Так оно и было. Кстати, мне когда-то читал свои подстрочники и Расул — они тоже не нуждались в «улучшении». Да и возможно ли такое «улучшение» вообще? Я, как и другие, переводил не только тех, кто приобрел такую известность, и могу об этом судить... Я убежден, что ухудшить хорошего поэта переводчик при неудаче может, но превратить плохого поэта в хорошего он не в состоянии. Разве что напечатать под его именем свои стихи, если они у него есть. Но о таких нелепых самопожертвованиях я даже не слышал. «Улучшить» в переводе он (в данном случае уже не переводчик, а обработчик) может только очень беспомощных авторов, доводя их стихи до среднебезличного, «прилично-

го» уровня, придав их стихам подобие осмысленности и стройности. К сожалению, с такими стихами мне приходилось иметь дело гораздо чаще, чем с другими — хороших поэтов на то, чтобы обеспечить свою жизнь стольким переводчикам не хватало, а получить заказ на такие переводы стремились многие. Хотя заниматься «улучшением» плохих поэтов гораздо легче, чем точно переводить тех, кто этого стоит.

Эти затраты на декоративность — один из вывертов противоестественной системы. Однако у него была и обратная положительная сторона. Настоящие поэты из нацреспублик через русский язык и систему госиздательств получали выход к всесоюзному, а то и к мировому читателю. Теперь декорации никто оплачивать не будет, о чем я, видит Бог, нисколько не жалею, никто не будет оплачивать переводы плохих, никому не нужных стихов, и это естественно. Но переводы и издание хороших поэтов тоже теперь оплачивать некому. А дело это живое и важное для развития нашей общей культуры (а может, и жизни). Я не тоскую о щедрости госиздательств, но я надеюсь, что когда жизнь в России более или менее наладится, этим займутся частные издательства — не стоит с водой выплескивать ребенка.

Далеко меня, однако, завлекла эта побочная тема. Литераторы старших поколений могут удивиться — дескать, зачем об этом говорить, когда все это знают. Но это aberrация — теперь уже не все. Можно понять логику тирании, но логику утвердившейся и вошедшей в быт патологической нелепости понять невозможно. К ней можно только привыкнуть, принять как факт. Но теперь в жизнь вошли поколения, которым к этому привыкать не пришлось. И понять им это трудно. И таких людей — жизнь не стоит на месте — с каждым днем становится и будет становиться все больше. Им — тем из них, кого заинтересует прошлое — и понадобится это разъяснение.

И, кроме того, рассказывая о том, как мне в моем трудном положении открылась возможность заработков, я не смог умолчать и о проблемах, связанных с этим родом деятельности. Ведь я был с ним связан до самой эмиграции, до 1973 года, и все, что я за эти неполных двадцать лет сделал и смог сделать, в значительной мере благодаря существованию этого промысла. Это был единственный выход из

патологической ситуации, он был тоже патологическим, но другие в этой ситуации вряд ли возможны... Ведь по существу, почти все, чем я жил, что думал и чувствовал, и в эти годы оставалось нелегальным. Периоды, когда мне удавалось жить на гонорары за свое собственное творчество, были в моей жизни исключением, а не правилом.

Так или иначе, жизнь моя постепенно входила в русло. На правах студента я стал опять посещать поэтический семинар в Литинституте. И опять это был семинар Светлова. То ли он уцелел во всех бурях антикосмополитской кампании и «дела врачей», то ли был восстановлен в должности после них, но, как говорится, был на месте... Семинар его был для очников, но его участниками могли быть и заочники-москвичи. Поскольку я теперь снова стал москвичом, я этой возможностью воспользовался. На первом семинаре, на котором я присутствовал, читал свои стихи, вернее, сделанные им же подстрочники молодой чувашский поэт Геннадий Лисин, тогда еще не признанный французами (с подачи поляков) модернист Геннадий Айги. Мне очень жаль, что с ним произошла такая метаморфоза — по всем своим данным он вполне мог быть «признан родной страной». Его стихи мне давно не попадались, но несколько лет назад даже в его непроходимых общеевропейских верлибрах попадались одиночные пронзительные строки. А для поэта (в отличие от философа или отчасти прозаика) признание родной страны, на мой взгляд, должно значить гораздо больше, чем признание «всего мира», то есть иностранных специалистов... Но тогда этого «просветления» с Лисиным еще не произошло, и мы быстро подружились — с ним и его другом Римом Ахметовым. Рим был не поэтом, а прозаиком или переходил на прозу — его произведений я не читал, но чувствовал, что он талантлив. Явно был умен, обладал некоторым жизненным опытом, здравым смыслом и чувством меры, умением понимать людей и легко вникать в весьма сложные культурные материи. Короче, он был мне очень симпатичен,

Были и комические эпизоды. Однажды Гена простудился, и кто-то сказал ему и Риму, что ему надо поставить горчичники. Совет был принят... Друзья пошли в аптеку, купили горчичники, пришли в общежитие — оно тогда помещалось в Переделкине — и приступили к делу... Гена

разделся, лег, и Рим, предварительно, как ему сказали, намочив горчичники, налепил их на голую Генкину спину. Потом согласно тем же указаниям он накрыл друга одеялом и счел свою задачу выполненной. Поначалу все шло гладко. Гена спокойно лежал, Рим сидел рядом, и оба беседовали. Естественно, постепенно начало припекать. Но это входило в условие задачи, друзья были об этом предупреждены, и Гена, пока хватало сил, терпел. Однако примерно через час сил стало не хватать, и Гена заметался. Но Рим, верный буквальному смыслу полученных им инструкций, все Генкины попытки освободиться от горчичников решительно пресекал. Видимо, тот, кто посоветовал друзьям прибегнуть к горчичникам, забыл им сказать, что со временем это целительное средство надо все же снять, — что это составная часть понятия «поставить горчичники». Но Рим, чей жизненный опыт ухода за больными никакого либерализма не допускал, только повторял:

— Терпи, Гена! Завтра здоровым будешь.

Кончилось тем, что Генка стал орать благим матом, на крик прибежали товарищи, и кто-то, вероятно, девушка, вразумил приятелей. Генкина спина все же была спасена.

Смешной, ничего не значащий эпизод. Ничего за ним нет, кроме молодости, которая прошла, и людей, с которыми она была связана. Эта дружба, в отличие от многих других, к сожалению, не сохранилась. Насчет Гены понятно. Я вспоминаю о нем с теплотой и горечью, но почему мы с ним вскоре разошлись, объяснять не надо, уже объяснено. И все-таки я иногда о нем слышал, да и мелькал он иногда на страницах тех или иных изданий. Но почему и куда вдруг исчез из моей жизни (и из жизни всех общих знакомых — я справлялся) Рим, ума не приложу. Затерялся ли он где-то в родной Башкирии (он башкир по национальности) или в каком-либо другом месте — не знаю и, боюсь, никогда не узнаю. Но в памяти моей он остался — высокий, красивый, уверенный в себе и мягкий. Да, братья-писатели... Действительно, в нашей судьбе лежит что-то роковое... Однако я опять отвлекся. Ведь рассказывать я это начал, упомянув о том, что опять стал посещать семинар. Надо бы продолжать. Впрочем, о самом семинаре мне особенно рассказывать нечего... Да и помню мало — ведь не внове мне было. Помню внезапное сообщение Светлова — в его манере:

— Знаете, дети, мне Литфонд дачу выделил. Для меня это хорошо, но им самим это тоже нужно. Даже больше, чем мне — для статистики. Отметят, что за несколько лет хоть одному порядочному человеку дали дачу.

Есть у меня впечатление более значащее — обсуждение моей поэмы (я ее считал романом в стихах) «Начальник творчества». Эта поэма значится в протоколах многих обысков, но мое сегодняшнее отношение к ней достаточно сложное. Я никогда и нигде — ни в России, ни в эмиграции — не отказывался от нее, но в то же время ни разу нигде не предпринял попытки ее опубликовать... Конечно, если бы эта поэма могла быть напечатана вскоре после написания, я бы с удовольствием ее опубликовал и в этом случае, возможно, продолжал бы ее публиковать до сих пор... Вложено в нее было очень много — пережитого, мысли, боли, труда, надежд — и многое в ней мне дорого и нравится по сей день. Но впервые возможность опубликовать ее представилась мне более чем через двадцать лет после ее написания, уже в эмиграции, и я почувствовал, что представлять в таком виде перед не знающим меня эмигрантским читателем (я имею в виду не только и не столько старых эмигрантов, сколько мгновенно и потому радикально прозревших наших) — не стоит. Да и смотрела она на мир глазами человека, страдающего от подмены коммунизма, а сам я уже давно, больше пятнадцати лет, смотрел на мир другими глазами.

Не устраивает меня сегодня эта поэма и эстетически. Ее содержание — генезис, путь и психология сталинского выдвигенца, и не устраивает меня то, что в ней на всем протяжении идет речь о герое, которому автор не только нисколько и ни в чем не сочувствует, но открыто ненавидит и презирает. Между тем я давно убежден, что поэзия этого не терпит. Если, конечно, она не сатирическая, а поэма при всей саркастичности к этому жанру не относится. Да и невозможно гнать сатиру и сарказм через полторы тысячи строк.

Об этой поэме мне хочется — и стоит говорить особо, но сейчас речь идет не о ней. Я и коснулся ее здесь не для разговора о ней, то есть не с тем чтобы ее осудить или защитить (да и отношусь к ней в целом хорошо), а потому, что при ее обсуждении проявилось тогдашнее состояние

молодых умов. В поэме есть кусок о Сталине, а в нем такое четверостишие:

Ведь это, милый мой, не малость
Позволить, умно хмуря бровь,
Страну, что долго вырывалась
Из рабства —

в рабство ввергнуть вновь...

Оно и вызвало наибольшие нарекания. Нет, не из патриотического гнева. Я никогда не был любителем рассуждать о «природном русском рабстве» и так не воспринимался. Нет ничего такого и в этих строках. В том, что Россия долго вырывалась из пут крепостного права, нет для русского народа ничего оскорбительного. А то, что я согласно не только большевистской, но и просто интеллигентской традиции осудил и самодержавие в целом, не могло оскорбить моих слушателей — для них, как и для меня, это было тогда еще «простой истиной». Да и вообще публика вокруг была в основном либеральной, не склонной и потом к обвинениям в непатриотизме. Не говоря уже о том, что такой настроенности на этот счет, какая появилась у многих потом, тогда ни у кого не было.

А задели моих слушателей мое отношение не к давнему прошлому, а к недавнему, бывшему при них, то есть настоящему. Тогда, почти за год до Двдцатого съезда, конечно, все они понимали, что далеко не все у нас было в порядке, что нужны перемены, знали, что очень много людей было расстреляно и мучилось в лагерях ни за что, но при этом называть свое существование рабством не хотелось. Такое определение задевало, коробило. Ведь все они в это время как-то жили, учились, читали книги, влюблялись, очаровывались, разочаровывались — неужто это было рабство? Не может быть! Впрочем, пагуба сталинщины многими не осознана до сих пор. Хоть это опасно — без этого осознания России не выжить. Правда, тогда это выглядело гораздо наивней и невинней — как выглядят приходящие в себя после сна или после удара дубиной по голове.

Но в институте я общался не только с членами нашего семинара. В общежитии, но не в подвале, а во дворе, слева жили девушки. Среди них мои землячки — моя старая знакомая, приятельница Ритика, вскоре известная украинская

поэтесса Лина Костенко и ее подруга, с которой я тогда только познакомился — Юнна Мориц. Заходил я к ним довольно часто — всегда, когда бывал в институте и поблизости — просто потрепаться. Познакомился и подружился я и с другом Лины, польским писателем и тоже нашим студентом Ежи Пахлевским, а через него и с польским поэтом Виктором (Витэком Ворошильским) и его женой Янкой.

Знакомство это было для меня интересным и важным. До сих пор я встречал иностранцев — в основном тоже поляков — только на этапах, пересылках и в Чумакове (на Лубянке, так уж получилось, мне встречались только русские эмигранты, — разве что кроме глухого Гаспаряна и малограмотного Филиппо). Но были они все только жертвами тоталитарной власти и относились к ней соответственно — как минимум отчужденно. Не могу сказать, что общение с ними прошло для меня бесследно, я уже давно не считал зазорным сочувствовать боли и страданиям пострадавших от «исторически прогрессивной» власти и давно не относился презрительно к тем, кто ей не прощал ее обхождения с ними. Более того, теперь я считал их судьбы веским аргументом против нее. Но все равно оставался «левым», поклонником того, что подмял под себя и подменил Сталин. Мое сегодняшнее отношение к проблеме почти такое же — подменил. Изменилось только мое отношение к этому подмененному — теперь (давно, минимум с 1958-го, но, скорее, с 1957 года) я это считаю изначально преступным и ответственным за все, что было после, в том числе и за Сталина... Но пока на дворе еще начало 1955-го, и эти иностранцы, примкнувшие к СССР из революционности и столкнувшиеся с властью сталинских выдвиженцев, психологически и духовно были мне ближе. И в них даже эта приверженность к коммунизму звучала более чисто, по-человечески, не лишена была духовного наполнения. Надо ли говорить, что потом и эти поляки от коммунизма отказались. В них, как и во мне, это подспудно нарастало.

Напоминаю: я давно отрицаю не только страшную практику «подлинного» (досталинского) коммунизма, но и всю его духовно-культурную и интеллектуальную ауру. Сознаю всю ее греховность. Но такая аура имела место и обволаки-

вала сознание многих, и часто отнюдь не худших, людей во всем мире, и мы — и я, и многие вокруг меня, и литинститутские иностранцы — не были исключением.

Однажды во дворе института ко мне подошел человек лет сорока, с интеллигентным лицом, в очках, тоже студент нашего института, и сказал, что он член ЦК Испанской компартии, что он только что вернулся из командировки и очень хочет со мной поговорить. Я тоже очень хотел, и мы немножко о чем-то поговорили. Разговор был мне очень интересен, а человек — очень мне приятен! К сожалению, я больше никогда его не видел.

«Le communisme est la maladie de la pensée» («Коммунизм — болезнь мысли»), — сказал один французский издатель моей знакомой. Я бы сказал — болезнь духа. И болезнь эта имела отнюдь не локальный характер и поражала иногда людей духовных...

Но мы сейчас говорим о тогдашнем СССР. Тогда этот «честный» коммунизм в интеллигентском сознании был еще далек от развенчания. Даже в народе. В них видели людей, которые, в отличие от «нынешних», способны заботиться не только и даже не в первую очередь о самих себе. В каком-то смысле это было правдой, подтверждалось жизненным опытом. В годы сталинщины редкие уцелевшие представители этого репрессированного слоя отличались от основной массы начальников (сталинских выдвинутцев) в положительную сторону... Отчасти потому, что, пережив тридцать седьмой год (потерю оклеветанных товарищей, подмену их собственной истории, а следовательно, и биографии), почувствовав самих себя незащищенными, они стали мягче к людям, отчасти потому, что в них все-таки жила память о том, что служить надо делу, а не лицам. Другое дело, что в пропасть, на краю которой и они сами теперь оказались, они же — и как раз порядке страстного служения этому «делу» — сами и втащили когда-то всю страну. Но об их «заслугах» я писал достаточно, взглядов своих на их роль в истории России не изменил и сейчас не панегирик им пишу... Просто констатирую, что психологически и по общему облику они все же отличались от «начальников нового духа» (Я.Смеляков). Даже в литературе последних сталинских лет это отражалось (например, «Счастье» того же П.Павленко). В них сознательно и бессознательно искали и

находили доказательство наличия в «нашей жизни» традиции и верности ей, единственно известной, понятной — именно потому, что смутно ощущали отсутствие в «нашей жизни» всякой традиции. Так что нет ничего удивительного, что многие и многие тогда, после развала сталинщины, ждали не чего-нибудь иного, а восстановления подлинного большевизма — со всеми причиндалами, включая верность мировой революции (без чего, как не раз тут говорилось, большевизм — фикция). Я отнюдь этим не горжусь, но так было. И так была перевернута вверх ногами вся наша жизнь, что именно те, кто честно тогда как бы хранил верность этому разрушительному мировоззрению, как раз и были защитниками свободы, культуры, порядочности и не раз обруганной Лениным демократии, открывшегося всем в связи с войной патриотизма, который, орудуя им как дубинкой, использовала для защиты своей бездарности противная сторона — Софронов, Грибачев и вообще герои антикосмополитской кампании...

В поэзии все «либералы» были поклонниками Маяковского, а их противники всячески стремились умалить его значение. Совсем отменить «лучшего и талантливое» они не смели, а теперь и не могли — в этот сан Маяковского возвел Сталин, а посягать на его и без того угасающий авторитет им было явно не с руки и не по сердцу. Но проявляли находчивость — объявляли его великим советским поэтом, но при этом отмечали, что он именно поэтом уникален и его творчество лежит вне основного русла национальной поэзии. При других обстоятельствах это могло бы рассматриваться как серьезная точка зрения, как стремление вернуться к истокам культуры — сейчас я и сам во многом так думаю, но в нашей перевернутой жизни все было наоборот. Болезни культуры и Духа (включая «подлинный коммунизм») раздражали большинство из них не тем, что это болезни, а тем, что вообще относились к культуре и Духу — к чему-то непонятному и недоступному. Так что и ничего, кроме права на подаренное Сталиным господство тусклости и бездарности, они не защищали*

* Напоминаю: среди героев антикосмополитизма не было тогда ни одного писателя не только масштаба Василия Белова, но и вообще заслуживающего внимания имени. Тем не менее с занятых ими руководящих высот они уже никогда не спускались. Партия сражалась за этих «автоматчиков», как их назвал Н.С.Хрушев, до самой перестройки.

Либералы вступались за новаторство — оно соответствовало общей их довоенной эстетической ориентации и вообще революционной настроенности, в которой они были воспитаны (которая, повторяю, причудливо ассоциировалась в их сознании с культурой — впрочем, Луначарский и Бухарин и впрямь были несравненно культурнее Фурцевой и Хрущева). Кроме того, это больше приближалось к требованию свободы творчества, а подспудно и просто свободы, в чем все они при любых интеллектуальных построениях нуждались... Такова была тогдашняя культурная жизнь — не только «дракой собак под ковром», как определил потом политическую жизнь СССР Черчилль, а еще и дракой изнасилованных подсознаний. Все это было последствием непрерывно проводившегося Сталиным разрушения семантики — подмены смысла слов и понятий.

В этом смысле интересен эпизод с полемикой вокруг поэта Георгия Горностаева. Примерно в этот период в газетах и журналах стали появляться стихи и поэмы, подписанные этим именем. На мой капризный взгляд, они ничем не отличались от всего, что тогда печаталось, полностью соответствовали стандартам соцреализма — «рабочей теме», бесконфликтности или высшему шику теоретической мысли времен поздней сталинщины — «борьбе хорошего с отличным». Короче, стихи были ничем не примечательны, но были написаны под Маяковского — «лесенкой». Собственно, причиной начавшейся вокруг этого автора борьбы и была только эта лесенка. Прогрессисты (особенно относившийся к ним тогда Кирсанов) возносили его до небес, реакционеры низвергали. Мечи сверкали, страсти кипели, а смысл если и возникал, то только подколодный. Это была в чистом виде имитация интеллектуальной жизни, а еще — сублимация духовной энергии в обстановке, когда и то, и другое подавлено.

Сегодня я никого за это не сужу — противостоять неограниченной власти тотальной бессмыслицы, нащупать при этом здравый смысл и ему доверять — очень трудно. Особенно трудно тому, кто сам с детства рос в этой атмосфере, а такими были почти все. Кто сумел это сделать — тому честь и слава, а кто устоять не смог — не будем судить. Многие и перед диктатом принятого в их кругу устоять не могут, а тут — давление тотальное! Слаб человек! Плохо

только, когда эта слабость выдается за интеллектуальное или духовное достижение, которому и перечить не смей. Вспоминается четверостишие Николая Глазкова:

С отвагой безошибочно труса
Он распинал Иисуса на кресте,
Чтобы потом во имя Иисуса
Сжигать Джордано Бруно на костре.

Это четверостишие, на мой взгляд, блистательно, но к тому, что я хочу сказать, имеет отношение только определение из первой его строки — «безошибочная отвага труса». Никто не бывает так агрессивно уверен в ложной идее, как тот, кто уступил ей под напором власти. Все равно какой — политической или общественного мнения узких кругов... Вот только к таким людям и их агрессивности я отношусь не очень хорошо, но и эта агрессивность — самозащита в экстремальные времена — и это, вероятно, простительно, но экстремальные (для СССР — для других непредставимые) времена кончались.

Несмотря на то что, как я уже отмечал, «автоматчики» оставались существенным фактором культурной жизни, какие-то необратимые процессы в ней шли. И все чаще друзья и знакомые стали поговаривать о том, что пора уже и мне начать публиковаться. Я мало на это реагировал, но однажды речь об этом зашла при Евгении Винокурове, который тогда заведовал отделом поэзии в журнале «Октябрь». Журнал этот тогда отнюдь еще не был кочетовским*, а отдел поэзии в нем — благодаря тому же Винокурову — был лучшим в стране... Винокуров был моим старым товарищем, между нами всегда существовало, если можно так выразиться, «творческое взаимопонимание», и, естественно, он выразил полную готовность меня напечатать, то есть попытаться это сделать. Мы договорились о дне и часе, и я пришел к нему в редакцию «Октября», занимавшую несколько комнат на одном из этажей главного здания ком-

* Теперь это определение, наверное, требует комментария. Одиозность этот журнал приобрел при Хрущеве под редакторством В.О.Кочетова, когда он один открыто защищал осужденные «партией», но милые сердцу многих ее функционеров идеалы сталинщины. Не шибко талантливые произведения самого Кочетова несправедливо номенклатурой забыты, они незаменимое пособие для изучения советского строя. Его романы «Братья Ершовы» и «Секретарь обкома» — самовыражение номенклатуры.

бината «Правды». Перед этим мне пришлось отобрать более или менее годные для публикации или, как тогда говорили, «проходные» стихи — то есть стихи, способные «пройти» через все редакционные и цензурные заслоны. Конечно, заслоны тогда зашатались, но они отнюдь не исчезли, и в успех этого предприятия я не верил: потому и мало реагировал, когда друзья заговаривали о том, что мне пора публиковаться... Ведь я привык относиться к любому пропущенному в печать стихотворению как нуждающемуся в оправдании. Это не значит, что таких стихов не было — были, и я здесь не раз о них говорил. Но в целом относился именно так. Настолько, что и в тот момент переход в иное, печатное состояние мне (в подсознании, разумеется) казался не только немыслимым, но и не нужным. Я отнюдь не горжусь, как это стало модно, своей якобы непрактичностью. Это была не романтическая непрактичность, а застарелая болезнь, застывшая инерция.

В основе этой инерции было и то, что я мог наткнуться и на представителя другой фикции — литературной литературы, противостояние которой было тоже существенной стороной моей жизни (об этом речь не здесь и не сейчас, но тусовка существовала задолго до перестройки). Не хотелось выслушивать чей-то состоящий из ряда высокоумных пошлостей отказ, что в юности со мной случалось неоднократно. Бессмысленная диктатура и литературная (значит, тоже бессмысленная) литература — вот те Сцилла и Харибда, между которыми я всю жизнь вынужден был прокладывать путь. Но это разговор о природе этой моей «привычки не печататься», на формирование которой наряду с главным, государственным фактором воздействовал и фактор эстетический. В меньшей, конечно, мере, но воздействовал... Впрочем, несмотря на эту свою «привычку», я вполне сознавал необходимость действовать. И, как видите, действовал — все-таки собрал стихи и принес их Винокурову. Правда, о нем я точно знал, что он к этой литературной литературе никакого отношения не имеет — без этого мне трудней было бы преодолеть инерцию этой привычки, и подвиг собирания стихов все-таки вряд ли бы состоялся...

Этой привычкой я отнюдь не горжусь. Если бы не она, я выпустил бы свою первую книгу на несколько лет раньше, а к концу «оттепели» успел бы, наверное, выпустить и вто-

рую. А это было бы естественней, разумней и полезней для дела, чем такая «поэтическая непрактичность». Конечно, тут меня могут обвинить в нескромности. И действительно, это мое рассуждение верно только при условии признания за моим творчеством хотя бы некоторой ценности. Но требовать от автора, который столько лет отстаивал свое творчество от разнообразных посяганий, чтоб он скромно допускал отсутствие за всем, что он отстаивал, всякой ценности, мягко говоря, неправомерно. Если бы я был настолько скромн, я бы давно «закрыл фирму»... Но «фирму» я к тому времени не закрыл, писать не перестал и не собирался этого делать, а, наоборот, явился в «Октябрь» к Винокурову со стихами. К этому теперь и подошло мое повествование.

В связи с этим я считаю необходимым сказать несколько слов о самом Евгении Винокурове. Жене Винокурове, кем он всю жизнь для меня был. Я не знаю, как он сейчас «котируется» у нынешнего читателя — опустошающая активность тусовки смешала все карты*, но ведь не навсегда — но знаю, что он, безусловно, был настоящим поэтом. А также умным, образованным и порядочным человеком. Как поэт он был вполне признан и читателем, и коллегами. Только однажды Станислав Куняев предпринял попытку его ниспровергнуть, но его статья обошла своим вниманием все лучшие, на мой взгляд, стихи Винокурова. Как раз те, которые он писал в описываемый период. Они потом вошли в два, по-моему, лучших его сборника — «Синева» и «Лицо человеческое». Предыдущая его книга «Скатка» тоже обратила на себя внимание критики (открывала поэзию солдатских будней). Стихи, вошедшие в нее, написаны строго, точно. Нигде и ничто в них не изменяет вкусу (не зря же именно я когда-то после первого разговора с ним пошел хлопотать за него перед В.С.Сидориным, просил в начале семестра принять его в институт). Но эта книга не была мне особенно близка, многое в ней показалось мне слишком приземленным. Те стихи, которые он мне читал после моего возвращения, разительно отличались от тех, которые я знал. Потом, после тех двух книг, которые я назвал, его

* Тусовка стремилась опорочить все, что было до нее, чтоб заменить это все собой! Но, не имея за душой ничего, заменила все пустотой и просто оттеснила ошалевшего читателя от чтения.

стихи (конечно, не все) стали приобретать излишнюю философичность, стали холодней — в это и вцепился Куняев. Но поэтов ценят по лучшим стихам.

Бедой Винокурова были как раз ум, образованность и порядочность. Он был уже тогда знаком с предреволюционной философской литературой («Вехами», Бердяевым и пр.), и его несоответствие строю было гораздо глубже, чем мое, — оно никак не определялось противопоставлением ленинцев сталинцам. И никакого пафоса гражданственности у него не было — он был, скорее, эстетом и мыслителем, но его эстетизм и мысль никак не монтировались с существующим строем. Существующий строй про это не знал, но сам-то Женя знал прекрасно! В каком-то смысле ему не повезло с тем, что его «признали» еще при Сталине, стали публиковать, напечатали книгу (тогда и много лет спустя это много значило), хвалили в периодике. И... со страху Женя подался в члены КПСС, чтобы, как он мне рассказывал, избежать неминуемого, по его мнению, вопроса: «А чего это Винокуров при таких успехах в партию не подает?» Вопрос этот, я уверен, да еще в такой форме, никому бы в голову не пришел. Конечно, могли, ссылаясь на эти успехи, предложить ему эту честь, но выслушали бы спокойно и без последствий благопристойный отказ вроде: «Не чувствую пока себя достойным». Вероятно, считалось, что такое заявление говорит только о желании избежать лишних обязанностей. Так же бы отнеслись и к Винокурову. Но ведь сам-то он про себя знал, что он такое, делал все, чтоб это не обнаружилось... Такие были времена...

А о том, какие были времена, Винокуров был осведомлен хорошо. Помню его реакции на «подписантство» — подписи писателей под протестными письмами. Сам он что-либо подписывать отказывался наотрез:

— Ты что! Да ты не понимаешь наше положение? Думаешь, что мы спорим с ними? Или боремся? Ничего такого нет. Мы у них в плену!

Говорить о властях «они» в интеллигентских кругах вошло в традицию, но в устах Винокурова она обретала дополнительный, расширенный, почти мистический смысл — впрочем, после «борьбы с космополитизмом» и занятия ее героями командных постов в руководстве культурой — вполне понятный и наглядный, — отнюдь не только антисемит-

ский... Дикая, темная, враждебная культуре, ненавистная, но всеподавляющая сила, внушающая ужас. «Мы у них в плену, — развивал он свою мысль. — А эти с подписями суются. Разве они понимают, что они делают? Все равно ведь задавят. И потом заставят гадости делать...»

Вот этого, что заставят гадости делать (то есть заниматься публичным самобичеванием, демонстрируя раскаяние), Женя Винокуров боялся больше всего.

Нет, он не был ни трусом, ни конформистом. Он не совершил ни одного дурного поступка. За ним нет ни одного предательства. Он просто избегал всякого рода демонстраций. Впрочем, одной он не избежал. Я имею в виду похороны Пастернака. Конечно, похороны не демонстрация, но власти к ней относились как к демонстрации. Тем более неприятной, что ее нельзя запретить или разогнать. И она смогла дать понять всем, кто от нее зависел, что их присутствие на этом «мероприятии» нежелательно. А сотрудникам «Литературной газеты» и, вероятно, других подобных учреждений оно было просто запрещено их начальством.

Но для меня по моей беспризорности таких проблем не существовало. Ехал я в Переделкино со своим другом, археологом А.Л.Монгайтом и А.М.Некричем в машине Монгайта. В машине находились еще и пренебрегший запрещением начальства (он был тогда сотрудником «Литературки») Булат Окуджава и его девушка. Оставив машину в указанном нам месте, мы пошли в сторону дачи Пастернака, и тут я увидел Женю. Он стоял и «жадно глядел на дорогу», ведущую к нужной и нам даче.

— Привет, Женя! — заорал я дурашливо, сразу поняв, что происходит. — В Доме творчества поселился? (Я прекрасно знал, что из Москвы он не выезжал.)

— Да, — в тон мне ответил Женя. — Воздухом вышел подышать. — А когда мы подошли ближе, встревоженно добавил: — Из секции никого нет (имелась в виду секция поэзии Союза писателей). Говорят, Межиров был, но я не видел (Межиров на похоронах был). А NN (я помню, кто это), когда ему позвонили, сказал, что занят, пишет. А я там, на даче, уже был. Там всех снимают.

Там, конечно, снимали, и не только западные корреспонденты. И из секции, кроме Межирова, действительно никого не было (нам с Булатом было проще — ни я, ни

даже он еще не были членами Союза), но Женя тем не менее снова вернулся на дачу, вместе с нами прошел мимо гроба и вообще присутствовал на похоронах до конца... В довершение всего, он был вместе со мной и Булатом сфотографирован корреспондентом «Пари матч» на заднем крыльце дачи, когда мы выходили оттуда после последнего прощания. Снимок в журнале появился. Я потом, чтоб попугать, соврал Женьке, что мы там все были названы. Он встревожился. Но я быстро его успокоил — корреспонденты тогда не знали не только имен наших с Женькой, но и Булата — мы, к счастью для Жени, были для них только деталью пейзажа.

Я тогда сказал Женьке, что уважаю его за то, что он там был, хоть и боялся. Он улыбнулся и возразил:

— Нет, я не боялся... Но — сознавал.

Думаю, что это правда. Он все, о чем только что шла речь, *сознавал*. *Сознавал* хорошо и всегда. Несколько отошел он от этого леденящего осознания только в начале «оттепели». И достиг своих вершин — отнюдь не в гражданском пафосе. Но когда опять запахло заморозками, он это опять стал сознавать и тоже стал холодеть. И это отразилось на стихах. Нет, у него не было стихов неискренних, сервильных и тому подобное, но дыхания в более поздних его стихах чувствовалось меньше, чем в двух оттепельных книгах. И дело не в том, что из-за заморозков теперь не могли бы найти выход в печать какие-то его затаенные гражданские страсти — не помню, чтоб у него были непечатные стихи. Конечно, его волновало все, что происходило со страной и людьми, но писать об этом прямо его и не тянуло. И темы, которые его волновали, ничуть не беспокоили номенклатурное руководство. Атмосфера заморозков противоречила не его возможностям печататься, а свободе духа. В ней для настоящего дыхания не хватало воздуха. Лучшим, хотя отнюдь не идеальным выходом из этого положения, на мой взгляд, было противостояние этой атмосфере. Это, так сказать, адреналину добавляло. Но за счет некоей безмятежности, которая тоже необходима поэту.

Да и кто вообще сказал, что поэтам необходима бойцовская стойкость; готовность идти в тюрьму и на плаху? Иногда, как всем уважающим себя людям это приходится делать и им, но не в этом их профессиональная доблесть.

Поэту прежде всего необходимы иная сила и иное мужество... Умение быть самим собой. Умение чувствовать самого себя и поэзию, на ходу отделять в себе от своего же чувства то, что не относится к возникшему в нем замыслу, к поэзии. Ведь все это надо решать самому, и все это всегда на краю провала — как же тут без мужества? К сожалению, в наше время такое мужество должно было включать и мужество, обычно именуемое гражданским, — иначе нельзя было отстоять свое мироощущение, его стремились подмять и подменить. Так или иначе, но в этих условиях Винокуров был поэтом, и хорошим поэтом. И пришел я к нему свободно и просто, как к своему.

Так мы и разговаривали. Отобрали для первого появления двадцать восемь стихотворений. Цикл получался внушительный.

— Но, — сказал в заключение Винокуров, — так не пойдет. Нужен «паровоз».

Словечко это было мне уже знакомо. Может быть, даже я сам его выдумал, а может быть, не я один — оно само напрашивалось. Это было стихотворение, соответствующее стандартам «идейности» или «актуальности», то есть тому, чем стремилась заполнить умы граждан партия. Стихотворение это якобы доказывало участие автора в «жизни страны и народа» (нечто вроде причастия дьяволу)... Этот паровоз должен был как бы реабилитировать и проташить, как вагоны, остальные, более нейтральные стихи — о стихах прямо идеологически чуждых речи вообще еще не могло быть. На мое счастье, в этом 1955 году с большой помпой отмечалось пятидесятилетие революции 1905 года — пытались восстановить революционную легитимность своей власти. Революция тогда никак не противоречила моим взглядам. Никакого греха в ее воспевании я не видел, и я решил воспользоваться этим — пустить свой «паровоз» по этим путям. Женя это предложение одобрил, а может быть, оно даже от него исходило, а одобрил я — сейчас не помню. Так или иначе, так мы и решили. Я даже получил под это дело командировку в Ленинград — для ознакомления с местом событий. О поездке чуть позже, а «задание редакции» (точнее, ее условие) я выполнил — написал большое, из нескольких частей стихотворение «на тему». Повторяю: по-человечески в нем не было лжи, но не было ника-

кой для меня необходимости в его появлении — я его не стыжусь, но и не перепечатаваю его. Однако для «паровоза» они были совсем неплохи.

Результат этого предприятия был ошеломителен. Все двадцать восемь вагонов были отцеплены у семафора, а на станцию назначения пропустили только «паровоз». На транспорте — даже советском — это было невозможно, а в советской литературной жизни — запросто. Кроме того, именно в связи с этим эпизодом окончательно стабилизировался мой псевдоним. После космополитской эпопеи я хотел освободиться от всякого псевдонима. Однако мне это не удалось.

Произошло это по-советски артистично и как бы между прочим. После делового разговора в кабинете заместителя главного редактора Зубкова (не о том ли, что основную массу моих стихов придется отложить?) хозяин кабинета вдруг «вспомнил»:

— Да, Степан Петрович (Щипачев) сказал, что вы хотите взять псевдоним... Так какой именно?

Это была наглая ложь. Со Степаном Петровичем (он был членом редколлегии по поэзии) мы действительно не раз беседовали, но никогда о псевдониме. Степан Петрович был порядочным человеком и никогда бы не стал делать такие заявления за другого. Зубков это прекрасно знал и знал, что я это знаю. Мне оставалось только возразить, что я такого желания не выражал, из чего выходило, что соврал или Степан Петрович (чего я не думал), или сам Зубков, что соответствовало истине, но что означало идти на конфликт, и прощай, публикация. Оно, конечно, не такая публикация, чтобы расстраиваться (впрочем, по тогдашнему времени, может, и такая, но я так не воспринимал), но отчасти работал на другом уровне тот же комплекс, который раньше погнал меня в карагандинские редакции — желание доказать себе и другим, что я вполне могу соответствовать «кондиции», в том числе и столичной. Так или иначе, «врете!» я Зубкову не сказал. Однако нежелание прибегать к псевдониму выразил. И даже начал отбрыкиваться. Любопытен один из аргументов, приведенных в пользу псевдонима:

— Коржавина все знают, а Манделя — никто.

Все обстояло как раз наоборот. Псевдоним этот у меня был, но в печати он появлялся всего два раза — при объяв-

лении о моем выступлении в редакции «Московского большевика» и под стихотворной подписью, моей и Максима, к фотографии весеннего пейзажа в «Московском комсомольце». А среди тех, кому я был известен, даже если они знали о псевдониме, я был известен как Эмка Мандель. Но дело было не в весомости аргументов. Пришлось сдаться. Все это было безобразным насилием, но, честно говоря, о его результате я потом никогда не жалел. Псевдоним этот давно неотрывен от меня, стал составной частью моей личности, и это нисколько меня не тяготит.

Теперь о поездке в Ленинград. В этой поездке была своя трудность. В очередной раз у меня были проблемы с паспортом — то ли он был просрочен, то ли у меня не было прописки. Это ничем мне не грозило, но исключало для меня возможность остановиться в гостинице. У меня было несколько телефонов, но очень неточных. Так что я ехал опять в никуда — только что добровольно и не на всю жизнь. Я приехал утром, был увлечен городом, но все-таки мне было не по себе... Почти до конца дня, когда проблема как-то решилась. С большим трудом я разыскал сестру моей одноклассницы Раи Брянской Фаню, тоже знакомую мне с детства (сама Рая была в отъезде), и они с ее мужем Михаилом меня приютили. А на следующий день я наконец застал по телефону своего товарища по институту Диму Поляновского, и он свел меня с семьей Гликманов (искусствоведом из Эрмитажа Александром Гликманом, его женой, тоже искусствоведом, но из Русского музея, Кирой Корнилович и их тогда тринадцатилетней дочкой Машей). У них — это получилось само собой — я и «навек поселился», и уж точно навеки подружился. К сожалению, из всех, кого я только что назвал, в живых остались Рая и Маша, обе живут в Штатах, хотя и на значительном расстоянии от меня, и с обеими я до сих пор поддерживаю отношения. Остальных — а именно они меня тогда выручили — уже нет. А тогда они жили, и помощь их была ощутительна, даже живительна.

Но когда ясным светлым утром — дело было летом или ранней осенью — я вышел на площадь Московского вокзала (вещи — кажется, все ту же корзину — я оставил в камере хранения), я еще не знал, как все устроится, и это, как я уже сказал, меня тревожило... Но то, что разворачивалось

предо мной, настолько меня поразило, что временами заставляло забывать о своей ситуации...

Я ведь совсем не знал этого города. Просто, выйдя из вокзала и увидев перед собой какую-то нарядную улицу, пошел по ее правой стороне, не зная, куда иду и куда она ведет... Улица была очень прямой, но я знал, что Ленинград строился по плану, и улицы в нем и должны быть прямыми, так что прямизна этой улицы для меня никак не определяла ее суть. Требовалось название. А его как на грех нигде не было — только номера домов.

Недалеко от вокзала бросилась мне в глаза вывеска пельменной. Несмотря на ранний час, она была открыта. Решил позавтракать — делать все равно было нечего, зашел. Аккуратные стеклянные столики, светло, чисто. Похоже, в Москве тогда такого еще не было. Посетителей по раннему времени было совсем мало, а может, и совсем не было, обслужили меня быстро, вежливо и как-то доброжелательно. Я мог бы спросить, как называется их улица, но постеснялся. Расплатился и пошел по ней дальше. Пересек другую, тоже прямую, хотя и пересекающую ту, по которой я шел, под углом, но здесь (кажется, на углу) я увидел надпись: «Литейный проспект». На «моей» же по-прежнему не было ничего. Насчет нее я продолжал оставаться в неведении, но шел. И смотрел по сторонам. И все, что я видел, мне нравилось. Мне здесь вообще нравилось. Однако улица, по которой я шел, взобралась на мост через какую-то речку, явно не через Неву. По-моему, там и надпись была «Набережная р. Фонтанка», но, может быть, это позднейшее напластование. Не это было тут главным моим впечатлением — о том, что в Ленинграде есть Фонтанка, я тоже знал. Но при входе на этот мост (Аничков, как я скоро узнал) я внезапно оказался прямо перед оскаленной мордой и черными копытами поднятого на дыбы коня. Коня поднял на дыбы и крепко держал за узду молодой атлет. Я так и застыл перед этой композицией. Ведь это было не в музее, а просто на улице и вписывалось в эту улицу. Только потом я заметил, что таких композиций четыре — по одной при каждом входе на мост и что каждая из них при общем замысле в чем-то немного отличается от другой. Впрочем, пусть об этом рассуждают ученые искусствоведы, а я был простым пешеходом, абсолютно не подготовленным к встрече с этими знаменитыми

скульптурами. Я их раньше увидел, чем услышал о них. И я все еще не понимал, по какой улице иду. Но постепенно, чем ближе подходил к Адмиралтейству, тем больше начал об этом догадываться. Естественно. Название «Набережная р. Мойка» не могло не обозначиться в моей душе. Но я шел и шел, как будто знал куда. И подойдя к Адмиралтейству и увидев Зимний — только он оказался не красным, как я его себе почему-то представлял (похожим на Киевский университет до войны), а зеленым, но был вполне узнаваем, — я прочел надпись на указующей стрелке «Невский проспект» и понял, что я действительно шел по знаменитому Невскому. Что ж, он вполне соответствовал моему представлению о нем. А Дворцовую площадь, знакомую мне по революционным фильмам, я просто узнал, хотя не имел представления о том, что полуциркульное здание с гигантской аркой называется Главным штабом.

Итак, я дошел. Только вот до чего? До цели? Но целей никаких у меня пока не было. Все было интересно, но что было делать дальше? Со всем, о чем я имел представление, я уже вроде — пусть более чем поверхностно, но соприкоснулся. Даже с Мойкой, где жил и умер Пушкин. Оставалась еще Сенатская площадь с памятником Петру, но я не знал, где их искать. Время от времени я звонил по телефонам. Но неудачно — никого не было на месте, а куда-то девать себя надо было.

Поэтому я решил осмотреть внутренние покои этого дворца — вдруг пригодится. При других обстоятельствах тратить на это свое время мне бы в голову не пришло. Не из каких-то антимонархических чувств, а из тех же, из-за которых я, еще будучи поклонником Ленина, не торопился увидеть его в Мавзолее... А тут времени было навалом, и я направился к дворцу... Но оказалось, что попасть в него со стороны площади, то есть с парадного подъезда, невозможно. Я стал обходить дворец справа, но здесь непосредственно к нему примыкала и как бы продолжала его какая-то улица (название которой — Степана Халтурина, теперь опять Миллионная — мне стало известно только на следующий день), и обойти его с этой стороны мне представлялось невозможным. А возможность обхода дворца вдоль канавок казалась мне почему-то нелегальной...

Я обошел дворец слева и очутился на набережной, а вход во дворец оказался входом в Эрмитаж. Кстати, это было

мне гораздо интересней, чем осматривать покои дворца — ведь после Дрезденской я начал всерьез воспринимать живопись. Но что Эрмитаж представляет собой часть Зимнего дворца, было для меня тогда еще некоторой неожиданностью.

О впечатлениях, связанных с Эрмитажем, чуть ниже. По настоящему они начались через день, и первые мои впечатления смешались с последующими. Конечно, наслаждаться изящными искусствами, находясь в подвешенном состоянии, не очень естественно, но нам, как говорится, было не привыкать. И, как я помню, и это мое посещение было полноценным. Но оно не могло быть бесконечным. Устав воспринимать, я опять оказался на улице. Бродил по набережной, каким-то образом оказался в Летнем саду, видел домик Петра. Потом по Литейному вышел на Невский, где-то пообедал — смог присесть. И все время звонил по автомату Поляновскому. Не дозвонившись до него (или узнав, что он будет только завтра — теперь не помню), я стал через адресное бюро разыскивать Раю — ее телефона у меня не было. Да, кажется, и вообще не существовало. Узнав ее адрес, я, видимо, поехал к ней, но она оказалась в отъезде. Но соседи, спасибо им, дали мне адрес ее сестры (иначе как бы он у меня оказался), и я поехал к ней на Охту. Раина сестра Фаня была года на два старше нас, но, как и Раю, я знал ее с детства, и относились мы друг к другу хорошо. Она, как и Рая, в трудный для меня момент во время войны тепло принимала и подбодряла меня в Челябинске. И теперь тоже в трудных для меня (хотя не настолько — больше нелепых) обстоятельствах я ехал к ней без всяких опасений быть ею неприятным.

И я не обманулся. Фаня с мужем Мишей и шестилетней дочкой Яночкой занимали небольшую комнатку — хочется сказать в «хрущобе», но «хрущоб» тогда еще не было — в старом доме, отведенном под общежитие для учителей (Миша преподавал в школе русский язык и литературу). И действительно, несмотря на эту тесноту (но кто тогда воспринимал «свою», да еще непроходную комнату как «тесноту!»), я был ими принят очень тепло и радушно. Мы провели вместе приятный вечер в разговорах о литературе и о многом другом — тогда в России было о чем поговорить. А

на следующее утро я дозвонился до Димы Поляновского. Мы встретились, и он привел меня к Гликманам. Там я и остался.

Произошло это совершенно стихийно. Пришел, и сошлись. Разговорились — еле успел на Охту съездить: предупредить Фаню и Мишу. И дружба эта никогда не прерывалась — до смерти Киры. А потом — уже в эмиграции — и Саши. У них тоже была только комната в коммунальной квартире (а кто тогда жил в отдельной?), а жили они рядом с Эрмитажем, формально на Миллионной, а на самом деле на Дворцовой набережной, точнее, в среднем из трех дворов, два из которых, связанные со средним арками, выходили на параллельные улицы — система дворов, довольно типичная для невской столицы. Отличие было в том, что все это было в самом центре: двор слева от дома, где жили Гликманы, действительно выходил на Миллионную, а двор справа от них выводил на Дворцовую набережную. Выходящий из него сразу видел перед собой панораму Невы с Петропавловской крепостью на другом берегу. От Эрмитажа их двор был отделен двумя или тремя домами. Вот в каком месте этого необыкновенного города я оказался почти сразу, только в него приехав! Так мне повезло.

Но все же главным моим везением были сами Гликманы... В понимании «нашей советской действительности» никто из нас никого просветить не мог, и речи об этом здесь не будет, но они очень хорошо понимали проблемы и суть изобразительного искусства, которое, как я уже говорил, только недавно (после Дрезденки) начало помаленьку мне открываться. Саша принес мне целую кучу пропусков в Эрмитаж, и я теперь мог туда ходить как к себе домой, по нескольку раз в день. Это отнюдь не излишество. Не знаю как кому, а мне воспринять сразу подряд слишком много картин очень трудно. В этом смысле Эрмитаж или Лувр еще полбеды — там наряду с шедеврами есть и много просто хороших картин. А вот национальные галереи (National Galleries) в Вашингтоне и Лондоне, где подряд один за другим следуют одни шедевры, у чуткого посетителя, который не может там провести целую неделю, должны вызывать горечь или досаду. Но я уставал от впечатлений и в Эрмитаже, хотя мог уходить и возвращаться. И это тоже было везение. Не говоря уже о том, что иногда со

мной по залам ходил Саша и многое мне открывал. Я не очень верю в объяснение картин, но передача опыта восприятия на индивидуальном уровне, то есть на уровне индивидуального общения, возможна... Саша смешно мне рассказывал о том, как водил экскурсии по недавно побывавшей в Эрмитаже выставке Пикассо:

— Я водил за собой орущую толпу молодых людей. Одни с пеной у рта поносили Пикассо, другие столь же яростно его защищали. Но ни те, ни другие ничего ни в нем, ни в живописи вообще не понимали. Но те, кто его ругал, были искренни, хотя большей частью темны, а те, кто защищал, защищали свободное искусство и свободу вообще. Такие пироги.

Пироги, прямо скажем, невкусные. Конечно, год назад на дворе был еще только девятьсот пятьдесят пятый. Сталин умер еще совсем недавно, идиотское «табу» с Пикассо было уже снято, но еще как-то не совсем, некоторых это оскорбляло, как все новшества, и, вероятно, среди тех, кто поносил художника, были и такие. И неудивительно, что свобододолюбивые молодые люди саму возможность лицезреть эти картины воспринимали как глоток и симптом свободы и искренне верили, что они восхищены увиденным. Я отнюдь не утверждаю, что Пикассо нельзя увлечься искренне. Мне самому многое у него дорого (кое-что даже помимо «голубого» и «розового» периодов), но дело не в нем. А в мешающей его воспринимать по-настоящему, заслоняющей его тенденциозности, в том, что из одной несвободы они, не понимая этого, свирепо рвались служить другой и строго ее соблюдать, минуя при этом приобщение к искусству, наслаждение им. Ибо оно требует полной свободы — разумеется, не свободы от высокого, как некоторым теперь кажется. Впрочем, такая способность заглушать себя в применении к политическим идеям гораздо опасней, чем в применении к художественным вкусам.

Рассказывал Саша много. Он любил и умел рассказывать. Особенно запомнился мне один забавный эпизод. По основной профессии Саша был искусствоведом, но и сам любил писать красками. В Америке даже выставлялся. А в Ленинграде по выходным он любил выходить ранним утром с мольбертом на набережную и погружался в работу. Набережная в такое время обычно бывала пустынна. Но

однажды он за спиной услышал чье-то дыхание. Обернулся: перед ним стоял пожилой еврей и внимательно всматривался в мольберт. Дальше состоялся такой диалог.

— Ви художник? — утвердительно спросил незнакомец.

— Да, — ответил Саша, чтоб не пускаться в объяснения, и опять погрузился в работу. Через несколько минут последовал второй вопрос:

— А ви знаете, бил такой художник — Левитан?

— Знаю, — кратко ответил Саша.

— Умер нищим, — назидательно констатировал незнакомец.

— Да, — согласился Саша. Опять помолчали. И опять через некоторое время последовал вопрос.

— А ви знаете, в Москве есть такой диктор — Левитан?

— Знаю, — ответил Саша.

— Ничего себе, я думаю, зарабатывает? — заинтересованно предположил незнакомец.

— Наверно, — не стал спорить Саша. Опять помолчали.

Через несколько минут незнакомец снова нарушил молчание.

— А ви знаете — я тоже Левитан? — сказал он. И грустно заключил: — Только я не нашел себе.

Смешной старик, хотя проблема, встающая за этой забавной сценкой, не так уж смешна. Двадцатый век и эту простую душу заразил тщеславием. Представлением об успехе как о широкой известности. Правда, для него она связана прежде всего с материальным благосостоянием — мысль о том, что он «не нашел себе», приходит ему в голову не в связи с Левитаном-художником (который «умер нищим»), а с Левитаном-диктором (который «ничего себе зарабатывает»). Но ведь и система ценностей голливудских и похожих фильмов о золушках, ставших в конце концов, на радость зрителю, преуспевающими певицами, ничуть не духовней. Но все же в этом не только тоска о недостигнутом богатстве (это тема вечная), а и о нереализованности каких-то неведомых и самому этому несбывшемуся Левитану его возможностей...

Убеждение, что каждый, не прозвучавший на весь мир, или никчемный неудачник, или, в лучшем случае, человек, который «не нашел себе», это умонастроение — бич двадцатого века. Конечно, вариант с однофамильцем зна-

менитых Левитанов наивен и смешон, в нем нет ничего зловещего и опасного... Ведь он ничего не сделал для реализации комплекса. В других случаях, допустим, в случае доктора Йозефа Геббельса, это стремление «найти себе» выглядело не так невинно. И обошлось дорого многим людям, всему человечеству.

Первая моя поездка в Ленинград была приятной. Но мимолетной. Не помню, чтобы я там тогда общался с литераторами. Из молодежной группы я познакомился только с Анатолием Найманом... Не уверен, что эта группа тогда уже сформировалась, и не помню, о чем мы с ним говорили. Имя Бродского — знамя этой группы — по-моему, в этом разговоре так ни разу и не всплыло...

В сущности, теперь можно переходить и к завершению этой книги, к тому, чему она посвящена и к чему вела. На носу уже развенчание Сталина на XX съезде и то, что с этим связано только косвенно, но для меня главное — мое освобождение от «честного», сиречь «ленинского» коммунизма. Другими словами, приближался конец кровавой эпохи и (пока для немногих) ее соблазнов. К этому шло, и действительно на том коротком отрезке времени, которое отделяло мою поездку от этих событий, больше ничего особо впечатляющего со мной не происходило.

Но жизнь, в том числе и моя, не состоит из одних судьбоносных перемен. Не состояла и тогда. У меня не было своего жилья, я жил на чужой даче в поселке начальников Мурашки, и пути мои там пересеклись с путями иных, иногда очень интересных людей. Тоже весьма тесно, хотя и по роду занятий иначе, чем я, связанных с атмосферой того времени. И о некоторых из них было бы грех не рассказать. Прежде всего о хозяевах дач, с которыми я имел дело и о которых я выше уже упоминал.

Но прежде чем рассказать о них, следует рассказать об их собаках. Вообще мое пребывание на этих дачах поначалу выглядело весьма экзотично. Если помнит читатель, меня пустили туда с тем, чтобы я кормил собак хозяйскими продуктами... Собак было две, обе немецкие овчарки. «Наш», то есть балакиревский разноглазый, престарелый Уран, был вдобавок наполовину волком, но нрав имел кроткий, а соседский волаевский Абрек, не имевший столь прямого родства с лесными предками, был довольно-таки свиреп.

Кормить его надо было осторожно — тихо просовывать миску с едой под калитку и лишь потом звать. А то мог тяпнуть и дающую руку.

Первое время, пока я жил один, я несколько манкировал своими обязанностями — иногда не появлялся дома по четыре дня. С тем большей радостью встречали меня мои подопечные. Нельзя сказать, что мне не было совестно — ведь собаки из-за меня дня по три ничего не ели. А я ведь еще прибегал к их помощи. Ведь приходил я чаще всего ночью с последней электрички... И когда в конце пути оказывался один в ночном лесу, мне становилось сильно не по себе. И тогда я орал: «Абрек! Уран!» — и псы заливались лаем, а я чувствовал себя защищенным. Мне становилось стыдно, и как бы поздно я ни приходил, я готовил им горячую пищу, ждал, когда она остынет, кормил их и только после этого ложился спать. Утром или днем я опять кормил их, но потом все повторялось — я опять исчезал. Это было непреднамеренно, но так получалось... Жизнь собак наладилась только после приезда жены.

Но рассказать я сейчас хочу не о собаках, а об их хозяевах. Причем не о хозяевах «нашего» Урана, Балакиревых, которым я благодарен за приют и тактичность, но с которыми я почти не был знаком, а о хозяевах соседского Абрека, Волаевых, с которыми я быстро сдружился — они навещали свою дачу и зимой.

Глава этой семьи, Николай Борисович Волаев, инженер и, как теперь сказали бы, менеджер, одно время был даже заместителем министра авиационной промышленности. На этом посту он вместе с другими руководителями министерства, нынешними соседями по даче, за выполнение важного правительственного задания был награжден Сталиным и пожалован этим участком. Потом и в начале нашего знакомства он был директором крупного авиазавода. Был он личностью яркой и оригинальной, умным, талантливым и обаятельным человеком, самостоятельным во всех своих суждениях, часто неожиданных.

Правда, в тюрьму (в Бутырки), куда он угодил в последние месяцы сталинщины и из которой недавно освобожден, он попал не за суждения. Его арест не имел отношения к репрессиям — его обвиняли в должностном преступлении: когда агрегат во время сдачи продукции не смог вы-

держат испытания, он подменил методику этих испытаний. Звучит грозно — обман вообще вещь малопочтенная, а если речь идет об авиации, да еще военной, то тем более. А по тогдашнему времени такое всучивание государству некачественных агрегатов могло быть вообще истолковано как диверсия и привести к «вышке». Николай Борисович совершил это нарушение из уверенности, что «несмотря на данные испытаний» агрегаты эти вполне качественные, доверился своей технической интуиции. И, как потом оказалось, интуиция его не обманула. Некачественной оказалась сама методика испытаний, которую он подменил, чтобы избежать проволочки. Поступок был рискованный, но Николай Борисович знал, что его продукция не подведет. Нарушать методику испытаний без такой уверенности, то есть чтобы скрыть действительный дефект, он бы никогда не стал. Во-первых, он был порядочным человеком, а во-вторых, не мог не понимать, что это значило подписать себе самому смертный приговор. Тем не менее вышел он из Бутырок только по амнистии. К тому времени, как мы познакомились, он успел уже добиться юридической реабилитации и опять был директором завода. Теперь добивался реабилитации партийной и вскоре ее добился. Все это было нелегко, но Николай Борисович своей энергией и тонким пониманием тех, с кем должен был иметь дело, их языка и ритуала, преодолел все препятствия и полностью восстановил свое чуть было полностью не утерянное положение — статус, как теперь говорят. При этом всякого рода партийные органы он, естественно, глубоко презирал. И не по каким-то там идейно-политическим причинам, а потому, что путаются под ногами и мешают работать, и вообще никчемны.

А сам Николай Борисович работать любил и умел, он был по природе менеджер, может быть, даже предприниматель. Во всяком случае, он мне не раз говорил:

— Эх, Эма!.. Дали бы мне несколько миллионов и какой-нибудь пустырь и сказали: «Вот тебе деньги и место. Никакого штатного расписания и лимита зарплаты, нанимай кого знаешь и плати им, сколько сочтешь нужным. Но чтоб через год выпускал сапоги себестоимостью два рубля пара... Я бы!..»

Вспоминается в этой связи эпизод из совсем другого времени — его реакция на роман Кочетова «Секретарь об-

кома». Роман этот, воспевающий партноменклатуру и вызвавший справедливое негодование всей либеральной интеллигенции, был бездарен, как те, кого он воспевал. И не все заметили, что в основе его лежит патология — что описываемое ему нравится, что роман этот превращает бездарность в социальную категорию, рассматривает мир с точки зрения бездарного человека. Я и теперь убежден, что ни в одном другом произведении советская система не разоблачена столь подробно, как в этом воспевающем ее романе. Между тем партия отреагировала на него странно — центральные партийные газеты (а других не было) отмолчались, а все областные и городские, включая «Московскую правду», поместили на него хвалебные рецензии. Выходило, что партийные власти «на местах» удостоверяют, что портрет верен оригиналу и им нравится. А в Центре то ли не могут справиться с подчиненными, то ли просто стесняются признаться, что и им это по душе. Правда, когда этот роман стали экранизировать, у него были большие неприятности с цензурой — любование системой в изображении исчезало, а сама система оставалась и обнажалась во всей своей отвратительности...

Николай Борисович обо всей этой литературной ситуации не знал, на любование системой не обратил внимания, но изображение ее увидел сразу, и это привело его в восторг. Короче, воспринял он этот роман как острообличительный. Правда, на вопрос, нравится ли ему роман, ответил осторожно:

— В литературном отношении? Не знаю. Во-первых, в этом не разбираюсь, а во-вторых, — читать скучно* Но с точки зрения жизни!..

И он буквально загорелся:

— Согласитесь, Эма, что я их знаю — всю жизнь с ними имею дело. Так вот — все они такие. «Какая у них общая черта?» — спрошу я вас. И отвечу: посредственность, бездарность. А что они умеют, что делают? Отвечаю: ни-че-го! Все как в жизни. Чего же вы хотите!

Поверить в то, что роман не обличает, а воспевает, он просто не мог. Он был слишком здоровым человеком для

* Далеко же зашло «просвещение» — убедить людей, даже таких самостоятельных, как Н.Б., что для того, чтоб ответить на вопрос, понравилось или нет произведение, того, что «читать скучно», недостаточно, для этого надо быть чуть ли не специалистом.

этого — такая патология была ему недоступна. Статья Марьямова из «Нового мира», критикующая этот роман, когда я ее ему показал, вызвала его возмущение как попытка опровергнуть «правду жизни». Тут можно, конечно, улыбнуться. Разумеется, Марьямов в этой статье против правды не выступал. Но беда в том, что и восприятие Николая Борисовича было хоть и удивляющим, но тоже имеющим под собой основания. Ведь выступать против кочетовской патологии можно было тоже только с позиций той же патологии. Кочетов насаждал патологическую систему оценок, соответствующую реалиям патологического строя, а для того, чтобы в легальной печати защититься от этой удушающей системы ценностей, надо было хотя бы мельком намекать, что воспеваемые Кочетовым отвратительные человеческие качества — клевета на партию и строй, что партийные функционеры не такие. И поди докажи непосвященным, что на самом деле Марьямов выступал не против показа этой отвратительной правды, а только против ее воспеваания, против навязывания ее в качестве идеала. Представить себе, что кто-то может выставять такое в качестве идеала, не мог даже выдавший виды Николай Борисович. А ведь, как уже говорилось, реальность была еще хуже — сами воспеваемые себе такими нравились. Самое страшное — это то, что люди, которым было приятно так выглядеть, вели страну. Они и привели ее к сегодняшнему состоянию. Можно ли судить Николая Борисовича, что он не видел перед собой такой пропасти? А кто ее видел? Я видел и говорил (правда, несколько позже), что движение направлено в пропасть, но вряд ли представлял эту пропасть реально. Так и с героями Кочетова: мы знали, что они такие и такими себе нравятся, но разве мы понимали это? Патологию понять нельзя. Ее можно только констатировать.

Для того чтоб «понимать», что Кочетов и обличение строя несовместимы, надо было быть вовлеченным в идеологические коллизии того времени — то есть в ту же патологию... Мы и были вовлечены, потому и «знали». А он, при всем своем уме и опыте, жил в другой сфере, где эта патология выглядела иначе, была менее откровенной, более подковёрной, проявлялась больше в делах, чем в словах, и этого не знал. Привыкший к сталинскому декоруму, представить себе такое откровенное торжество патологии он был

не в состоянии. Сталинские выдвиженцы боялись сталинской плетки и свято чтити всякий декорум. Но разговор этот мой с Николаем Борисовичем происходил через несколько лет после того, как ее привычное, ставшее естественным для них устрашающее воздействие прекратилось, а внедренная в них Сталиным патология осталась — только стала освобождаться от необходимости в этом декоруме: этого он, видимо, не заметил. А мы это понимали? Только знали, что это так. Сегодняшний патологический беспредел — продолжение того же развития...

Интеллигенция наша оказалась не подготовленной к судьбоносному моменту, когда решалась судьба России. И это неудивительно. Все, с чем в сталинскую и постсталинскую эпоху имели дело все мыслящие и пытавшиеся мыслить люди, включая диссидентов, все, чему противостояли, против чего находили убийственные возражения (и что так уверенно, а порой и жестоко защищала власть), было патологией. К сожалению, опыт противостояния патологии не есть политический опыт. Потому мы и оказались столь беспомощны в роковые первые годы «перестройки». Патология эта может оказаться роковой для России — она не изжита еще и по сей день.

Все это я к тому, что в партию Николай Борисович восстанавливался не из идейных соображений — это просто было условием его деятельности. Впрочем, это вполне соответствовало его мировоззрению. Интересный у меня с ним однажды состоялся разговор на эту тему. Он часто поражал меня неожиданностями, но тут... Однако начнем по порядку... Как известно, я тогда еще верил в коммунизм, и на меня в связи с этим произвела большое впечатление фраза Маленкова: «Партия — боевой союз единомышленников-коммунистов». «Единомышленник» — это было для тех времен новое (то есть хорошо забытое старое) и живое слово. Оно возвращало к временам идейности. Однажды в каком-то споре с Николаем Борисовичем я процитировал ее. Она казалась мне бесспорной, но оппонент мой с ней не согласился.

— Нет, — сказал он и дал другое определение — привел фразу из официального лозунга: «Партия — руководящая сила нашего общества».

— Что ж, — спросил я удивленно, — так и заявления писать: «Прошу принять меня в руководящую силу нашего общества»?

Он не ответил. Он знал, что писать так нельзя и не надо, но все равно был уверен, что прав. Он и был прав. В том смысле, что партия ничем другим не была (за все остальное себя только выдавала)... А уж как она руководила, он знал лучше меня... Тем не менее эта фраза меня поразила. Поражает и теперь.

Поражает она меня какой-то странной откровенностью мышления. И тем, что при всем своем уме Николай Борисович даже не заметил, что выдает главную тайну партии, в которой по условиям своей работы не мог не состоять, да и государства тоже. Безусловно, он был прав — партия была именно таким образованием — сословием лиц, стремящихся к должностям* В принципе со своих революционно-романтических позиций, которые он справедливо не принимал всерьез, и я тогда расценивал ее так же, но теперь, когда во мне нет и тени романтической обиды за равнодушие к коммунизму, эта фраза меня все равно поражает. Только другим — тем, что произнесший ее не видел в таком положении ничего противоестественного. А ведь она вскрывала обязательность всеобщей повседневной лжи. Той лжи, которая была чуть ли не главным несчастьем, главным губительным началом нашей жизни и которая его самого так раздражала и оскорбляла.

В его устах она была освобождена от всякой фикции. Конформизмом тут и не пахло. Ведь в лозунгах партия объявлялась руководящей силой, но партия именно коммунистическая, то есть официально стремящаяся и к коммунизму, а не просто к руководству**. Подозрения, что это не так, преследовались... Идеологичность была единственной легитимностью ее власти, единственным фиговым листочком, прикрывающим ее пустоту и нелегальность. До своей смерти связь этой власти (всего, что она творила) с легитимирующей это идеологией таинственно осуществлял Ста-

* Говорю это не в осуждение — у тех, кто чувствовал в себе способность к административной или предпринимательской деятельности, не было другого выхода, кроме как состоять в этой партии.

** Последнее было бы нормально, к этому открыто стремятся все парламентские «буржуазные» партии всего мира. Правда, стремятся, свободно соревнуясь с другими такими же, но сейчас речь не об этом.

лин (на его понимание они полагались), а теперь приходилось изворачиваться самим, плохо понимая, кто они, откуда и зачем. Ведь это были сталинские выдвиженцы, вытянутые в политику и идеологию за шиворот. В большинстве они, как и сам Николай Борисович, были неидеологизированными людьми (лучшие из них — стихийными, хотя и примитивными государственниками) и партию воспринимали как орудие управления. Но я не убежден, что из них многие решились бы даже в глубине души выразиться так откровенно, сознательно отделить партию от ее идеологии. К откровенности самосознания не имели никогда склонности и фанатики большевизма, тем более не была она распространена среди не всегда добровольных имитаторов их фанатизма.

Но для Николая Борисовича это было как дважды два. То, что он это сознавал, делает ему честь. То, что он это как бы и принимал, не обращая внимания на то, что это патология, — хуже, но, впрочем, его это мало касалось — он восстанавливался в партии, чтобы работать.

Мечта его о реализации своего призвания — о предпринимательской деятельности — в те годы была нереальной. Выглядела она неосуществимой, в первую очередь в его собственных глазах. А карьера его начала ползти вниз. При мне он сначала возглавлял большой завод, затем группу консультантов в министерстве, а потом и вовсе был переведен в Министерство геологии — возглавить его НИИ по приборостроению. Не думаю, что это происходило из-за возраста — он еще был хоть куда! — просто перестал «монтироваться». Но он не унывал. По поводу последнего назначения шутил:

— Знаете, Эма, в авиации я понимаю хорошо. Поэтому у меня перед принятием решений всегда бывали и сомнения, я советовался, а здесь я всех давлю авторитетом.

Нечто подобное сказал о Каренине Лев Толстой — тот имел твердые взгляды в отношении литературы и искусства, о которых имел весьма приблизительное представление и мало думал, но когда дело касалось религии или государственной службы, в чем он хорошо разбирался и о чем много размышлял, взгляды его были далеко не столь тверды. Но в устах Николая Борисовича это была именно шутка. Не такой он был человек, чтобы, не разобравшись, «да-

вить авторитетом»... Да ведь и область была не то чтобы совсем незнакомая — пусть несколько иное, но все же приборостроение, в котором он работал всю жизнь... Просто этой фразой он пародировал «разумность» системы. Как и такой сентенцией:

— Представьте, Эма, что вы директор завода и видите, что ваш завод не выполняет план. Дела идут так, что к концу месяца он не будет выполнен... Что вы должны сделать как директор?

Естественно, я смущенно молчал, ибо такие проблемы никогда передо мной не стояли. Но он и не ждал моего ответа.

— Что? Постараетесь лучше организовать производство? Подтянуть или мобилизовать коллектив? Нет, это делу не поможет... Если вы настоящий директор, вы поступите так: отправитесь в Москву, придете в министерство и докажете, что план завышен, а значит, должен быть пересмотрен. Домой вы должны вернуться с другим планом, пересмотренным в сторону снижения. Тогда вы настоящий директор и будете на хорошем счету...

Разумеется, он тут не учил меня быть директором, а опять-таки делился впечатлениями о «любимой» системе. Прибегал ли он сам к такой самозащите? Не знаю. Он всю жизнь проработал в этой системе, в которой успех организатора производства (а это было его призванием) определялся не прибылью, а «показателями» (у меня и фраза есть такая — «извели страну на показатели»), и не мог не считаться с ее законами... Знаю только, что работать он любил, умел и хотел хорошо. Система в этом нуждалась, но только отчасти, ибо девиз ее был «любой ценой», а это часто требовало поступать вопреки смыслу и разуму. Не все это легко переносили.

Однажды, когда я к нему пришел, я застал его огорченным. Встретил он меня грустно:

— Прошел медосмотр... Давление нашли у меня... Говорят: переутомление... — И взорвался: — А с чего вдруг переутомление?! От работы?! Ну уж нет!.. Работать я люблю — от работы у меня ничего не бывает... Тут другое... Приходит один: «Николай Борисович! Он под меня подкапывается!» И второй с тем же. И третий... И каждый во всех подробностях. Куда денешься... Голова кругом.

Склоки бывают и на Западе. Но больше в университетах, чем в бизнесе или на производстве, где все подчинено делу — во всяком смысле, так еще было недавно. Но у нас они были повсеместно, вытекали из всеобщей демагогии... Николаю Борисовичу это претило и вообще, и тем, что отрывало от работы.

Но каким бы ярким человеком он ни был, то, что он вынужден был осуществляться в рамках мертворожденной патологической системы, накладывало и на него свой отпечаток. Трезво видя все, что творилось вокруг, все последствия сталинского хозяйничанья, он потом (особенно в связи с хрущевскими совнархозами) стал отделять последнее от предыдущего и возвращать свои симпатии Сталину. По его версии, «Сталин научил (в другом варианте «заставил») Россию работать». Вступить здесь в полемику с этим утверждением, с которым я всесторонне не согласен, я не буду. Да и не так это глубоко в нем сидело. Впрочем, что там Сталин! — страстность природы и раздражение на окружающую несурязицу заводили его и дальше. Одно время он и китайцев стал похваливать — за то, что они, дескать, «правильно нас критикуют».

— Давайте послушаем! — сказал он мне однажды и поймал китайское вещание на русском языке. Однако максимум через минуту выключил. Живой и страстный человек, слушать эту жвачку он был не в состоянии* Слишком напоминало оно жвачку сталинскую, по которой он, видимо, несмотря на все свои филиппики, не соскучился. Так и сказал:

— Невозможно слушать... Тошно.

Его «сталинизм» — часть фантазмагии нашей жизни, а разве я со своим «истинным большевизмом» был вне этой фантазмагии? Он об этом «истинном коммунизме» знал больше, чем я. В юности ему, вероятно, доставалось за не совсем благоприятное тогда «мелкобуржуазное происхождение» (родители его были учителями, мать, добрую мудрую женщину, я и сейчас вспоминаю с нежностью), да и вообще ему претили повсеместно насаждавшиеся этим «подлинным» коммунизмом неистовость и восторженность.

* Замечание для тех, кто ее не слышал: отдаленное представление о ней даст северокорейская риторика о любимом вожде Ким Чен Ирсе.

А в Сталине его прельщала не казенщина, а то, что воспринималось им (только ли им?) как деловой практицизм — ведь столько понастроили, что многое из этого потом — ввиду того, что строилось «внеэкономически», — потеряв искусственную подпитку, развалится, ему бы и в страшном сне не привиделось. Он, конечно, понимал, что многое делалось не так, что экономической целесообразности вокруг никакой, но что дело зашло так бесповоротно далеко, не представлял. А кто представлял? К тому же он был инженером, а не экономистом. Не то чтобы он не мог понять экономических проблем, но был другим занят, привык рассматривать проблемы в другом ракурсе. Да, что ни говори, все, что он сделал и чего добился, достигнуто было в рамках этой, отнюдь не лучшей и не нормальной, по его же мнению, системы, и не мог он просто так взять и перечеркнуть свою жизнь и работу (я этого тоже не склонен перечеркивать). Ничего удивительного, что и выхода из того состояния, до которого страну довела именно система, он тоже искал, не выходя за ее рамки. Что делать, другие системы были слишком далеки и недоступны, оставалось оправдывать свою — отсюда и вера в миф, что Россия до Сталина не умела работать. Но, как ни мудри, спасение в рамках губительной системы было бы занятием более чем бесперспективным. Но никто и не спасал — наступал зрелый социализм.

Николай Борисович, конечно, был человеком своего времени, в каком-то смысле его выражением. Но было бы нелепо воспринимать его только как социологическое явление. Он был человеком, жившим, несмотря ни на что полной жизнью, и уж чего-чего, а живости ума и чувства юмора ему было не занимать. Вспоминается в этой связи такой эпизод, смешной и не смешной — как все в советской жизни. Однажды он договорился с одним колхозником, и тот на колхозной лошади (других тогда не бывало) вспахал ему участок. После этого он был приглашен к столу — выпить и закусить вместе с хозяевами и гостями. Он очень смушался и все тянул одну и ту же песню:

— Конечно... Вы ученые... Учились... Все знаете. Вам и полагается... Да... А мы люди простые, мы уж работать будем... Работать... Такое наше дело... Мы уж как-нибудь.

И так много раз, до бесконечности. Видимо, попав в непривычную для себя обстановку (в хоромы, по его представлениям) и будучи там «с уважением» принят, он хотел сказать хозяевам что-то приятное, доброжелательное, независтливое. И вот нашел такую странную формулу социального согласия. Когда он ушел, Николай Борисович подвел итоги услышанному:

— Он убежден, что работает только тот, кто ни на что другое не способен.

Такое уважение к труду воспитал у людей социализм, добавлю я от себя.

К сожалению, последние лет восемь перед эмиграцией я с Николаем Борисовичем не встречался. Никакого охлаждения отношений не произошло — я всегда тепло относился (и сейчас отношусь) и к нему, и ко всем членам его семьи — вместе и в отдельности. Это хорошая семья, которой я за многое благодарен. Просто завертели меня литературные дела, отношения и споры. Все время собирался зайти и не заходил, а потом уехал. А теперь уж не зайдешь.

До сих пор об этом жалею. Он один из самых ярких людей, мною встреченных в жизни, и при всей успешности своей достойной карьеры, тоже не достигшей полной реализации, а значит, и полной отдачи... Несчастливая наша Родина, на что был растрочен ее почти безграничный потенциал!

Глава вторая. К свободе духа!

(Двадцатый съезд, Венгрия и отказ от «честного коммунизма»)

В предыдущей главе я касался и общей атмосферы взбудораженного времени, предшествующего Двадцатому съезду КПСС. Но в основном я рассказывал о своих встречах, делах, связанных с моим устройством, — то есть об обстоятельствах, очень важных для меня как для человека, вернувшегося в свой единственный город и не имеющего в нем ни кола ни двора. Все эти вещи меня занимали и волновали. Но, если смотреть из сегодняшнего дня, главным в эти дни было для меня то, что дело неуклонно шло к упомянутому Двадцатому съезду. Впрочем, я этого не знал —

во всяком случае, в том смысле, из-за которого он стал историческим, — я вообще не привык мыслить съездами. Но это — то, из-за чего он стал историческим, — нависало, требовало разрядки. Меня раздражала недоговоренность во всех важных для меня вопросах, например, что хотя заключенных понемногу стали отпускать, но репрессии в целом до сих пор не осудили. Я, конечно, слышал, что предстоит какой-то очередной съезд (попробуй не услышь, когда вокруг, как всегда по таким поводам, трубят на весь свет), но собственно от съезда (хотя Виктор Ворошильский сказал мне, что повестка дня там будет интересной) я привычно ничего кардинального не ждал. И все же чего-то ждал, в том смысле, что мне чего-то остро не хватало.

Да и обстоятельства мои оставались прежними — обусловленный срок нашего проживания в Тарасовке (Мурашках) закончился, и мы переехали на дачу Федоровых, в Кратово. Это было даже некоторой нормализацией статуса, впервые после Караганды мы теперь жили по месту прописки. Кроме нас на даче жили постоянные жильцы — чтоб дача зимой не оставалась без присмотра. Люди они были хорошие, в прошлом крестьяне. Глава семьи работал бригадиром проводников в поездах, как мне теперь кажется, международного сообщения. Семью его составляли мать, жена, дочка и еще кто-то из родственников. Помню, как его мать, простая и разумная женщина, объясняла мне причины жилищного кризиса в Москве:

— Теперича тут везде — в Москве и вокруг — все позабито: все углы, подвалы, чердаки, любая клетушка или голубятня — и то заняты. А почему? Ясно почему. Тут на зарплату все купить можно. А где еще?

Она была права. Реальная заработная плата в Москве была выше, чем где-либо в стране — просто потому, что у москвичей была возможность покупать товары в магазинах по «плановым» ценам, а почти везде ассортимент таких товаров был куда меньше: т.е. рубль, полученный в счет зарплаты, весил куда меньше, чем в Москве. Того, что и московский ассортимент был достаточно убог по сравнению с любым магазином «буржуазного мира», к этому отношения не имеет. Да и кто знал, какой там ассортимент. Все знали, что он там богаче, не знали — насколько.

Но хватит об ассортименте. Это как-то само приплелось, а я просто хотел сказать, что соседи наши были хорошими и умными людьми и жили мы с ними хорошо.

А вообще жизнь моя от переезда в Кратово мало переменилась. Так же я ездил в Москву по всяким делам и для общения, так же возил и «на себе» продукты для семьи, и примерно на такое же расстояние таскал — от Кратова до Федоровской дачи было не дальше, чем от Мурашек до Тарасовки. А если перелезть через высокий, плотный и длинный (длиной не меньше километра) забор, ограждавший от Раменского шоссе санаторий ЦК комсомола, и пройти этот санаторий насквозь, расстояние это еще больше сокращалось. Правда, сама поездка отнимала минут на двадцать больше, но это меня не угнетало — в электричке я читал, иногда разговаривал с людьми.

Сохранилось у меня одно смешное и грустное воспоминание той поры об одном таком разговоре со случайными спутниками. Ими оказались сравнительно молодые, моего возраста, рабочие одного из раменских предприятий... Разговор завязался почти сразу и быстро, как почти всегда тогда бывало, перешел на острые темы. Крыли, не стесняясь — и порядки на их фабрике, и вообще в стране. Было это не фрондерство, просто люди говорили о наболевшем, хотели разобраться. Однако возникающая почти сразу атмосфера полного доверия сохранялась только до тех пор, пока они не узнавали о моей профессии. Срабатывал феномен, впервые потом отмеченный Виктором Астафьевым в его замечательной «Царь-рыбе» — в народе не делают (теперь, наверное, лучше сказать: «не делали») различия между писателем и газетчиком (а газетчиков, добавлю от себя, воспринимали как «око начальства»). Обстановка сразу менялась. Сказать, что возникало отчуждение, значит не сказать ничего. Возникал испуг, сознание допущенной оплошности — словно положили за пазуху ужа, а он оказался гадюкой. Они были уверены, что раз я литератор (так я обычно обозначаю свою профессию в разговорах с незнакомыми), то я могу «описать» весь этот разговор, пропечатать его в газете (естественно — ведь с этого и кормлюсь), и тогда... Тогда, конечно, беды не оберешься. И наиболее сообразительные начинали тут же замечать следы, ликвидировать опасность.

— Да что вы его слушаете! Он ведь валенок — не знает, что говорит. Темнота... Да и вообще все, что мы тут наговорили, — болтовня. Обывательские разговоры.

Это было привычное придуривание. Советский человек в сложных обстоятельствах всегда предпочитал выглядеть темным или дурачком, чтоб не быть заподозренным в способности мыслить «некондиционно». Ибо последнее было себе дороже. И придуривание уже не прекращалось. Дальше разговоры были подчеркнута «правильными» и скучными. Слава Богу, это мучительное отчуждение начиналось незадолго перед тем, как мне надо было сходить. И я покидал их — к всеобщему облегчению.

Конечно, испуг их объяснялся недоразумением. И дело даже не в том, что я не был газетчиком. Некоторые герои «Царь-рыбы», промышлявшие браконьерством, ошибались, путая писателя с газетчиком, но последних опасались не зря — о браконьерах газеты писать могли и должны были. Но мои попутчики беспокоились бы зря, даже если бы я был газетчиком. Такие беседы, противоречащие установке «народ и партия едины», в те времена полагалось считать невозможными, а следовательно, несуществующими, и газеты никаких репортажей о них не печатали — даже ругательных. Но поскольку такие «нетипичные» беседы все-таки случались, то интересоваться ими по штату должны были не органы печати, а совсем другие органы. Конечно, сотрудничать с ними мог (независимо от своей основной профессии) кто угодно. В том числе и журналист, и писатель, но это не входило в круг их профессиональных обязанностей. И, судя по всему, меня мои попутчики в таком сотрудничестве не подозревали. Их испуг вызывал не я сам, не впечатление от моей личности, не мой, допустим, интеллигентный вид или этническая принадлежность, а только моя профессия — то, что пишу и, следовательно, могу «описать»...

Конечно, это недоразумение обидно для всей пишущей братии — как для журналистов, так и для писателей. Но, с другой стороны, в нем проявилось народное отношение к официальной прессе, перенесенное на ее представителей и на всех, кто «пишет». Обидная путаница, с которой я столкнулся, — результат страха, который был буквально впрессован в народное сознание. Люди привыкли к тому, что их на каждом шагу подстерегают мудреные опасности, что

опасным может оказаться что угодно, что и предвидеть трудно — оказалось же позорным несчастьем быть хозяйственным крестьянином. Вспомните, как моя чумаковская Федосья Максимовна пришла в ужас от того, что кто-то может предположить, что в ее доме может храниться Библия, и не могла поверить, что теперь это уже не опасно. И этот страх и отчуждение, возникшие в электричке, — это то недоверие всех ко всем, к чему стремилась и чего добилась репрессивная система, это проявление того, что она всеми способами внедряла и внедрила сталинщиной в народное сознание (а лично Сталиным и в сознание своего окружения). Так что удивляться тут нечему — в такой обстановке мы жили. До моих собеседников еще не дошло, что она уже кончилась. А для меня?

Не знаю. Кстати, этот исторический, несмотря на все его недомолвки и недомыслия, съезд происходил именно в кратовский период моего восстановления в жизни... Так что описанный мной эпизод мог происходить и в дни съезда, и даже после него. Для моих попутчиков это тогда ровно ничего не значило — конечно, интересно, но мало ли что говорят там наверху или пишут в газетах — все равно лучше не высовываться: береженого Бог бережет.

А я? Естественно, происходящее на съезде должно было меня волновать — ибо имело непосредственное отношение ко всему, чем я жил и что меня ждало. И все же интересоваться съездом я начал не сразу. Как уже говорилось, я, несмотря на предупреждение Виктора Ворошильского, ничего особенно интересного от него не ждал. Правда, отвечая на мой скепсис, Витэк мне сказал, что на съезде будет стоять вопрос о культе личности, но и это не произвело на меня большого впечатления... На что-то намекающие, но ничего прямо не говорящие статьи, отмечающие между прочим, что «культ личности» противоречит марксизму, и до того иногда появлялись в печати... То, что нечто подобное будут произносить на съезде (а другого я не ждал), особого любопытства у меня вызывать не могло, и поначалу стенограммами его заседаний, заполнявшими газеты, я не интересовался. Но в один из первых дней после открытия съезда кто-то из моих друзей, к чьим словам я относился серьезно, встретил меня словами: «Выступление Микояна на съезде читал? Нет? А ты прочти!»

И я прочел. Впечатление было оглушающим. Это была резкая, откровенно антисталинская речь, первая такая в открытой советской печати. Потом пошли такие же речи других руководителей. Именно руководителей. Отчасти потому, что так, видимо, было договорено, но был и элемент искренности. Те, кто работал рядом со Сталиным, каждую минуту находились на краю могущей неожиданно возникнуть пропасти и не могли питать к нему теплых чувств. У некоторых (мне кажется, в первую очередь у Микояна) причины были более глубокие. Недавно я слышал, что он кому-то из отсидевших признавался: «Мы все были мерзавцами». Могут сказать: «Подумаешь, после всего содеянного!..» Нет, «после всего содеянного» такое самоощущение было не у всех, у кого должно было быть. Например, у Молотова и Кагановича, как о том свидетельствуют честно записанные Феликсом Чуевым его беседы с ними (а честность Чуева, несмотря на мое резкое несогласие с его политическими симпатиями, для меня несомненна), таких покаянных ноток и в помине нет. Мерзавцами эти мерзавцы себя не ощущали. До конца нивелировать человеческое различие между ними и Микояном вряд ли разумно и достойно... Но это сегодняшние мысли, основанные на сегодняшнем знании и мироощущении. Тогда же меня переполняла благодарность к тем, кто приподнимает завесу над этой стыдной тайной.

Когда пошли слухи о выступлении Хрущева на секретном заседании съезда (на Западе его назвали «секретным докладом Хрущева»), я совсем возликовал. Кстати, секретным этот доклад был недолго — его стали зачитывать по всем предприятиям и учреждениям. Для камуфляжа — исключительно на партсобраниях. Только партсобрания эти были «открытыми» — присутствовать на них мог любой «член трудового коллектива». Правда, для меня это составляло трудность — я ни в одном «коллективе» не числился, и мне вроде негде было присутствовать, но и для меня вопрос разрешился благополучно. Я пошел с Игорем Кобзевым в Союз писателей на открытое партийное собрание секции поэзии — в Союзе собрания с зачитыванием «Закрытого письма ЦК»* с докладом Хрущева проводились по секци-

* Так официально тогда, точнее с тех пор, назывались все подобные, якобы секретные документы, которых за время правления Хрущева было несколько.

ям. Никакой бури бдительности мое незаконное появление на столь «секретном» мероприятии не вызвало. С одними я был хорошо знаком, с другими не столь хорошо, а остальные тоже имели представление о том, что я здесь не посторонний, а кроме того, ни у кого, хоть люди там были всякие, не было потребности препятствовать человеку узнать то, что всем другим стало доступно, проявлять рвение в охране секрета Полишинеля...

Впечатление на большинство слушателей это произвело удручающее. Ведь почти все присутствующие были представителями «сталинских» поколений, то есть поколений, сформировавшихся при Сталине и в сознательном возрасте ничего другого не знавших и не представлявших. Я имею в виду не столько своих сверстников, а все «военное поколение» (мы здесь были — представить только! — самыми молодыми и составляли меньшинство), тех, кто был лет на десять старше... У некоторых из них их случайная принадлежность к высокой (и по существу, так и не ставшей им понятной) профессии оправдывалась обстановкой, созданной властью (патологией, о которой уже здесь говорилось). Но все же они были выдвигенцы, а не вурдалаки, и были подавлены услышанным. Потом они пришли в себя и — нечего делать — стали защищать свои жизненные, но гибельные для страны интересы, то есть патологию, в атмосфере которой только и могли дышать и существовать. Ту патологию, искренним и правдивым певцом которой явился автор «Секретаря обкома» и попытка сочетать которую с реальностями жизни, предпринятую через несколько лет, и дала в итоге то, что вошло в историю под псевдонимом «годы застоя». Я не устану повторять, что с конца двадцатых мы имели дело не с реакцией, не с прогрессом, не с социализмом, не с капитализмом, не с правыми, не с левыми, не с коммунизмом даже, а с порожденной им общественной и государственной патологией и с ее производными разной степени. Патологией по отношению ко всему, даже к породившему ее большевизму, который и сам изначально был патологичен. После перестройки Россия сделала рывок в сторону освобождения от патологии. Даст ли это результаты, не знаю: слишком все привыкли к патологии. Кроме того, за эти годы весь остальной цивилизованный мир под воздействием «развивающихся» (Куда? К чему?

Неужто к торжеству подражательной ненависти и зависти?) стран и своего все более «облегчающегося» образования стал стремительно нас догонять. Может, эта патология станет лицом XXI века, может, «по грехам нашим» мы у Господа иного не заслужили, не знаю.

Блестящие успехи таких последователей Сталина, как Саддам Хусейн, не говоря уже о прямых учениках типа северокорейских «любимых вождей» — папочки и сыночка — не располагают к оптимизму. А ведь когда президент Буш 19 февраля 2002 года прибыл в Сеул, его там встречала разъяренная толпа оскорбленных его непочтительными высказываниями о террористическом режиме Северной Кореи — ими он до сих пор воспринимается как гарант царства чистоты и справедливости. Это в двух шагах от беспримерного — даже по коммунистическим меркам — ада. И при общем языке, позволяющем понимать всю оскорбительность обращения этого режима с народом, и с ними самими, если Корея объединится на северных условиях (а на других для «любимого» режима — самоубийство). Однако такой очевидности ликующие манифестанты не верят, не верят буквально своим глазам. Отчасти, наверное, потому, что жизнь, любая жизнь слишком противоречива и негармонична, всегда в ней есть основания для недовольства или неудовлетворенности, а тоталитарная ложь противоречивости лишена вовсе и вещает как бы из глубины осуществившейся гармонии. Конечно, подобные манифестанты имеют возможность пользоваться и другой информацией, но и она часто противоречива и вообще ими не воспринимается, ибо она, по их мнению, изначально лжива, поскольку носители ее по определению продажны. Все это показывает эффективность абсолютного контроля над информацией — он сказывается и на тех, кто живет и за пределами его прямого действия* Все это надо учитывать, размышляя о впечатлении, которое произвел «секретный доклад Хрущева» на тех, кто слушал это вместе со мной... И чье становление прошло в искусственном мире, созданном дезинформацией, поддержанной террором.

* Да, при свободных СМИ, к сожалению, и продажность случается, и многое другое. Но все-таки приходится считаться и с возможностью разоблачения (конкуренты не дремлют, даже в тех случаях, когда они сами продажны).

Точнее всех чувства многих выразил Игорь Кобзев. Он сказал (я уже приводил эти его слова, когда рассказывал о нем):

— Чем же теперь жить?

Это были не слова, а стон. Все, на чем строился внутренний мир многих людей, их примирения с совестью, оказалось, по меньшей мере, несостоятельным. Надежда на то, что великий Сталин о многих преступлениях своих подчиненных не знал, чем тешили себя многие, лопнула — стало ясно, что все они от него и исходили. Даже те, кто, не задумываясь и не мучаясь совестью, просто принимал происходящее как данность и надеялся на ее прочность, на то, что так оно и есть, и это навсегда (и соответственно себя вел), тоже оказались обманутыми, даже опрокинутыми. Еще бы! Первыми «предали» Сталина и его порядки именно те, на которых все держалось, на кого они больше всего имели право надеяться. Так что подавлены были все. Одних поразила страшная правда, других — что в ней признались.

Конечно, люди, заинтересованные в патологии, как я уже говорил, скоро опомнились и стали ее защитниками, но от удара, нанесенного им Двадцатым съездом, сталинщина уже не оправилась никогда — фикция потеряла цельность. Сегодняшние разочарования приводят к началу сталинской легенды, как бы аналогу наполеоновской XIX века... Прежде всего это глупо. Как вообще глупо сравнивать Наполеона со Сталиным. Наполеона я тоже не люблю, но в его характере не было ни мелкой мстительности, ни подозрительности, ни зависти, ни потребности присваивать себе чужие деяния. Он не объявлял себя устами своих клеветников корифеем всех наук, но работу по баллистике, за которую его приняли в престижное научное сообщество, он написал сам, и она действительно представляла ценность. Утверждение же сталинской легенды не только глупо, но и очень опасно. Наполеон оставил после себя свой знаменитый кодекс («Кодекс Наполеона»), который не был отменен и способствовал организации общества и после его удаления и смерти; от Сталина только губительная традиция решать любые, в том числе и локальные, проблемы «любой ценой» (правда, и эта традиция тоже им не создана, а унаследована от энтузиастов большевистской революции, им она

«только» была превращена в повседневную бюрократическую рутину). Созданная им система стала разваливаться сразу после его смерти — несмотря на большое количество заинтересованных в ней или просто бескорыстно тоскующих о временах, когда от передового советского танка до Парижа было гораздо ближе, чем до Москвы (и так и не понявших, что в жертву этой амбиции была принесена вся жизнь страны, а может быть, и ее будущее). Я надеюсь, что эти гибельные «традиции» невосстановимы, что они, во всяком случае, не станут доминирующими, и Россия выживет. Но в любом случае, даже если они станут доминировать и Россия вновь вступит на дорогу гибели, им не удастся восстановить то, что было и чему был нанесен непоправимый удар в 1956 году...

Но я рассказываю о себе, о своем восприятии атмосферы вокруг Двадцатого съезда, а не о его роли в истории, хотя и ее не смог обойти... Я не только был доволен, что такое произошло, я был счастлив. И все же я не был удовлетворен. Нет, совсем не потому, что съезд в своем осмыслении событий ограничивался (в лучшем случае) идеалами «подлинного ленинизма», — мои ожидания и желания не шли дальше этого. Конечно, я еще не представлял, каковы были на самом деле эти «ленинские нормы», но просто дальше, по моим представлениям, была духовная пустота. Настораживала меня, наоборот, некоторая недосказанность и неполнота, а следовательно, неискренность в этом возвращении, в котором, как я полагал, я вместе со всем человечеством крайне нуждался. Смущала меня некая наглая, «совковая», как бы теперь сказали, инфантильность как в объяснениях, так и в обобщениях, прозвучавших на съезде. Я и теперь считаю, что личная патология Сталина — на ней в значительной степени и базировались официальные объяснения случившегося — имела место, но возникал вопрос: как такая хорошая партия могла позволить ему безнаказанно ее проявить, наложить отпечаток на созданный ею строй, а в конце концов и просто дать себя уничтожить? Я не имел ничего против идеологии, но ведь ее каждый раз приспособляли к любым текущим потребностям власти или капризам вождя. Об этом не говорилось. И, наконец, меня не устраивало само понятие «культ личности» в применении к патологической тирании. Получается, что все

дело в теоретической ошибке, между тем теория тут вообще была ни при чем. Марксистское отрицание культа личности сводится к тому, что никакая личность не может самовольно изменить ход истории. Не на каком-нибудь (пусть даже длительном) локальном отрезке времени, а в плане общего развития человечества. Все, что проделывал Сталин, не имело отношения ни к учету, ни к забвению этого положения. Применение этого термина означало, что мы остаемся в мире, где названия предметов заменены служебными псевдонимами. Не то чтобы я ясно тогда это сознавал, — вероятно, для этого надо было внутренне разделиться с коммунизмом, а этого тогда еще не произошло, — но ощущение такое было, и была неуверенность в неотвратимости изменений, вытекающих из решений съезда.

И я решил внести свою лепту в этот необходимый процесс... В эти недели готовились к сдаче апрельские, сиречь ленинские, номера журналов, и я решил написать и напечатать стихотворение, в котором Ленин противопоставлялся бы Сталину. И я написал его. Полностью я его не помню — только восемь строк:

О Ленине память не бронза,
Не камень, что встал тяжело,
Не пламень сияющий солнца,
А просто людское тепло.
...И Ленин в истории мира
Живет, не меняясь никак.
На нем не сиянье мундира,
А будничный скромный пиджак.

В человеческом плане эти строки были вполне честными, ибо соответствовали тогдашнему моему отношению к проблеме, но насчет их «высоких поэтических» качеств я никогда не питал иллюзий. Творчески это стихотворение было поделкой, ибо родилось не от внутренней потребности (о Сталине у меня к тому времени уже не такое было написано), было лишним... Но задача у меня была не творческая — я хотел легализовать тему, раздвинуть границы печатности, создать прецедент. И действительно, это было первое стихотворение в советской печати, которое противопоставляло Ленину его «верного ученика и соратника» и вообще замахивалось на «великого вождя». В либеральной «Юности» его «зарубил» Андроников. Почему? За качество?

Какое? Эстетическое? Но с каких это пор к «юбилейным» стихам (а именно под этот жанр мой опус и был закамуфлирован) стали предъявлять слишком высокие эстетические критерии? Это бы значило ликвидировать этот необходимый партии жанр. Эстетически это стихотворение вообще не существовало, но профессионально оно вполне отвечало «кондиции». «Некондиционным» могло показаться только его содержание, его убогая «смелость». Я отнюдь не осуждаю Андроникова — рисковать, если он считал это риском, существованием едва ли не самого интересного в стране журнала ради такого опуса явно не стоило (как и поделки в «Соц. Караганде», этот опус и в моих глазах никогда не был ни достижением, ни неудачей — просто был фактом моей человеческой, а не творческой биографии), но делать что-то надо было. И я отнес свою поделку в отнюдь не передовой, но расположенный по соседству журнал «Дружба народов». Там она и была напечатана. Ее редактор Г.Корабельников принял ее без звука — понял, вероятно, что она соответствует конъюнктуре.

Никаких громов и молний не последовало. Опус мой вообще мало кем был замечен. Только Расул Гамзатов при встрече хитро улыбнулся и шутливо стал меня упрекать:

— Ты зачем, Эмка, в моем журнале, где я член редколлегии, антисоветские стихи напечатал? А?

Оба мы рассмеялись, оба мы знали, что такие стихи теперь уже не антисоветские, а «соответствующие линии партии», хотя еще недавно, а тем более до пятьдесят третьего года противопоставление Сталина и Ленина было одним из самых жестоких криминалов, троцкизмом и Бог знает чем...

Не знаю, имело ли мое стихотворение, точнее факт его публикации, хоть какое-либо значение для легализации темы. Думаю, что в лучшем случае незначительное. Может, один-два автора, увидев, что «теперь так можно», стали строчить «смелые» стихи — появился тогда в литературном обиходе такой термин* Но это произошло бы и без моего стихотворения — в ближайшие месяцы так стояли звезды (кремлевские тоже), — а потом уж этого было не остановить, хотя

* Я тогда дал им такое определение: «Смелыми называются стихи, которые пишутся, дрожа от страха. Иначе как определить, что они смелые?» Стихи должны быть необходимыми, а не «смелыми».

временами и пытались. Эта коллизия («противостояние патологии») наложила свой тяжелый отпечаток на жизни и облик нескольких поколений, задержало их развитие... Но это другая тема — тогда я еще не мог знать, как будет все это развиваться... То, что легализация темы обошлась, скорее всего, без меня, меня тоже вполне устраивало — мое творческое самолюбие на его судьбу не распространялось. Я вообще скоро о нем забыл* И сейчас я вспомнил о нем, точнее не о нем, а о причинах, побудивших меня его написать, только потому, что это свидетельство моего состояния и неуверенности в прочности обещанных перемен. Хотелось удостовериться.

Но в целом Двадцатый съезд не произвел на меня такого грандиозного впечатления, как на многих, кого я встречал... Он ничего мне не открыл, не потряс. То, что с другими происходило теперь, со мной произошло в 1949 году, в чумаковской библиотеке. И хотя все происходящее теперь меня остро волновало, я сохранял способность анализировать происходящее и отмечать для себя этапы освобождения. «Освобождения чего от чего?» — спросит дотошный, а то и ехидный читатель. «Освобождения истинного большевизма от задушившей и подменившей его сталинщины, освобождение преступного заблуждения и соблазна от патологии», — нагло отвечу я. Только и всего. Как просто! Просто?

Да, для меня в тот момент это было просто. Но семь лет назад, когда со мной это произошло, это было совсем не просто. Для многих это освобождение наступало только сейчас — не один Игорь Кобзев задавал себе вопрос: «Чем теперь жить?» Для многих оно наступило только в начале «перестройки» — ибо централизованная утайка правды о сталинщине продолжалась до Горбачева. Да и сейчас еще на всех уровнях власти продолжают попытки смягчить впечатление от этого падения... «Объективно» отметить его положительные стороны. До сих пор это находит отклик.

* Правда, в свободной эмигрантской печати один пакостник напомнил мне о нем — с разоблачительным намеком, что тогда, в 56-м, и я воспеваю Ленина. Что ж, не только воспевал, но признавал — вообще не был тогда таким умным, как он сейчас стал, благодаря мучительной внутренней работе, проделанной мной и такими, как я. Но как раз в этих стихах, как здесь уже говорилось, Ленин и «воспевание» его — только ширма. Имелось в виду другое.

Сегодняшней слабости противопоставляется достигнутое при нем «любой ценой» величие, хотя сегодняшний беспредел — результат этой платы «любой ценой». Ничего не поделаешь, тут какое-то «влечение — род недуга»: оно губительно, от него, чтобы выжить, надо излечиться, но оно продолжается до сих пор. От чистого большевизма давно бы освободились, он был не менее преступен, но он был тем, чем он был и себя объявлял, а «идеология» сталинщины — это фата-моргана, не имеющая очертаний. Ей поэтому ничто не противоречит, чистая патология — дьявольщина. Так что не такой уж это лишний этап спасения — освобождение большевизма от сталинщины. Конечно, если на нем не остановиться. Но опыт потом показал, что остановиться невозможно.

Патология сталинщины, как всякая патология, ближе к энтропии и чем даже самая воинственная утопия и потому более живуча. Если ее сопротивление так ощутимо еще и теперь, то как оно должно было ощущаться тогда? И оно ощущалось. Через несколько недель после съезда вышло специальное Постановление ЦК «О культуре личности», пытавшееся совместить сказанное на съезде с привычной бессмыслицей. К этому толкало не только давление «кадров», но и то, что на многих партсобраниях разоблачителям Сталина задавался сакраментальный вопрос: «А вы где были?» Вопрос был справедлив, но я не убежден, что его следовало задавать. Он ослаблял позиции тех, кто все-таки выступил против Сталина и не мог укрепить позиций тех, кто стремился к большему. В своей политической активности либеральная интеллигенция была, как всегда, слепа — занимаясь самовыражением. Зная, пусть приблизительно, чего она хочет и не хочет, считая и сам разговор об этом политикой, она почти не задавалась вопросами собственно политическими — не думала о том, кто и как это может провести в жизнь, как его поддержать и не оттолкнуть. Впрочем, время было смутное, и это «похолодание», как оказалось, было ненадолго... Как многие последующие «похолодания» и «потепления». Но будущее было неизвестно. И всех эти колебания беспокоили.

Освобождение от сталинщины было чревато и боковыми последствиями. В мае кончил самоубийством Александр Фадеев — «от алкоголизма», как гласило официальное со-

общение (лживое, как я потом узнал)... Я ответил на это самоубийство недоброй эпиграммой:

Проснулась совесть, и раздался выстрел:
Естественный конец соцреалиста.

— Да, но все же такой-то (фамилию я помню) самоубийством не кончит, — сказал мне в ответ на эпиграмму Виктор Ворошильский, когда мы с ним встретились в Алма-Ате, где он был в командировке, а я гостил у родственников.

Он прав. Деятели соцреализма хватало, но не все они были настоящими писателями и личностями, а Фадеев, несмотря на все извивы своей биографии, был. Я был на него зол за многое, особенно за Люду Вырикову из «Молодой гвардии», которой он испортил жизнь. Об этом я узнал потом. Он, поверив облыжной «информации» МГБ, объявил ее и в романе, и в кинофильме предательницей своих друзей. В Карлаге после демонстрации этого фильма надзиратели вытаскивали ее на авансцену: «Смотрите, это она всех предала!» В том, что она после этого поседела, виноваты были не надзиратели, а он, тонкий и талантливый интеллеktуал, дезинформировавший их. А это не единственное, что он мог поставить себе в счет. С тех пор как он сам себя предал, облил ядом ненависти и презрения свои лучшие человеческие качества в первом и лучшем своем романе «Разгром» — в образе Мечика. О нем в романе не рассказывается ничего дурного, но о лучших его проявлениях говорится со скрежетом зубным как о чем-то гнусном, почти с гадливостью. Все в романе правда и все несправедно. Прямая неправда только завершение романа, где Мечик цинично и грубо — по строю чувств — предает своих товарищей... Конец не вытекает из того, что мы знаем о герое, а только из предвзятого отношения автора к нему, а клеветает на него — уже не только псевдоэмоционально, но и фактически, не превращает тенденциозность в истинность, а фокусирует эту тенденциозность.

Сегодня это видно невооруженным глазом, но в середине двадцатых это вовсе не было ясно — ни автору, ни его молодым интеллигентным читателям, как и он, стремившимся принять основы революционной жизни, приобщиться к тому, что противоречило их природе и воспитанию,

искренне желавшим выжечь в себе все это «мелкобуржуазное» наследие. Теперь в этом склонны видеть одну низменность, приспособленчество, а то и просто страх. Но была в этом и идейность, то есть был в этом и страх духовный — боязнь поставить свои неудобства выше интересов рабочего класса, который творит историю, боязнь неучастия в этом привлекательном процессе. Но все равно такой отказ от себя, от лучшего в себе, а в конечном счете от доверия к себе, ни к чему хорошему не ведет. И не привел: ни их самих, ни возлюбленных рабочих и крестьян, ни общество, ради которого они и шли на такие жертвы...

Беда Фадеева усугублялась тем, что он позволил себе втянуться (или, может, «партия велела»?) в такую фиктивную патологическую деятельность, как руководство литературой*. А там пошли интриги, а там поддержка Сталина в борьбе (справедливой даже борьбе) с Авербахом, а там подневольное и пассивное, но участие в вакханалиях тридцать седьмого года и прочих веселых кампаниях (при привычном мечиковском недоверии к себе и потребности любить и оправдывать Сталина, и безграничном же умении убеждать себя в его весьма подвижной и меняющейся — правоте — это было почти естественно)... Мне известны случаи, когда он настраивал себя и на антисемитизм, в целом ему чуждый. Но, слава Богу, личных подвигов в этом направлении у него нет. Но позорные «Молодая гвардия» и «Черная металлургия», написанные с учетом подсказок (пардон, информации) МГБ, за ним, к сожалению, есть. У меня теперь нет никакого желания бросать в него камни. Отчасти и потому, что хоть это касается короткого периода моей жизни, кое в чем сходного, чувствую себя виновным и я. Конечно, не в его делах, но в помыслах — в его отношении к жизни и истине. Не хотел бы бросать в него камни и потому, что не знаю (не представляю!), как можно было вырваться из объятий той страшной эпохи, более простодушному началу которой Марина Цветаева произнесла свой страшный приговор: «Не человек — кто в наши дни — живет!» Мне просто больно за этого талантливого, тонкого, чуткого (вернувшись с первого исполнения Пятой симфо-

* «Опять «патология!» — воскликнет мне какой-нибудь стилист. — Сколько можно!» — и будет прав. Но это, к сожалению, не «опять», это то же самое. Не моя вина, что она была во всем.

нии Шостаковича, он записал в дневнике: «Все пропало». Что-то, значит, жило в его душе параллельно деятельности), по природе, видимо, благородного человека. Мне жаль, что после всего, в чем он вынужден был принимать участие, после того как это перестало морально покрываться «гениальностью» Сталина, Фадеев не увидел для себя иного выхода, чем тот, который он избрал.

Как христианин я не вправе одобрить такой выбор, но страшно представить его встречи с уцелевшими писателями, на арест которых он в свое время дал «добро» (и даже постарался подвести под это базу). Все знали, что без этой формальности, без его подписи как руководителя Союза никакие действия в отношении писателей не производились, но не все — что он не мог не завизировать такой документ. Попробуй откажись, если «авторитетное» учреждение сообщает тебе, что в отношении такого-то точно установлено, что он занимается враждебной деятельностью. Попробуй посмотри в глаза людям, пусть несправедливо, но ведь и не совсем безосновательно уверенным в том, что «посадил» их именно ты и что, находясь на таком посту, палец о палец не ударил для выяснения их невиновности, в которой у тебя не могло быть сомнений. И как им объяснить, что не визировать их аресты ты не мог? Попробуй откажись, если компетентные органы конфиденциально сообщили тебе, что ими точно установлено, что такой-то занимается враждебной деятельностью. И по тем же причинам ты и потом не мог ударить палец о палец для спасения своих товарищей по партии. И потом столько пришлось затратить сил на то, чтобы примириться с их гибелью, а теперь они возвращаются, все прибывают и прибывают. И куда деваться? Начать объяснять себе и другим, как ты позволил превратить себя в высокопоставленного холопа при спятившем властелине? Зачем — ведь не примирит это их с тобой; ведь они тоже большевики, а большевики никому, кроме себя самих, слабости не прощают. А мне Фадеева все равно жаль. Я не знаю, как бы он мог жить, но мне жаль, что он застрелился. Еще и потому, что вместе с ним погибла та очень важная книга, которую он должен был написать о себе — о том, к чему приводит отказ от себя, какими бы высокими соображениями он ни оправдывался.

Однако вернемся к моей эпиграмме. При всей своей недоброте она — и это правильно отметил Витэк Ворошильский — все-таки отмечает в нем проснувшуюся совесть. Сегодня я думаю о Фадееве еще мягче. Совесть в нем никогда и не засыпала, она в нем всегда жила и была при нем в любой, даже самый недостойный момент его деятельности. Он ее всегда перебарывал, но никогда окончательно. Он всегда слышал ее голос, но поддерживал в себе веру, что она неправа, что это в нем говорит мелкобуржуазная мещанская косность... А когда ее правота стала для него очевидной — произошло то, что произошло...

Не знаю, почему я уделил здесь столько места самоубийству Фадеева, человека, с которым даже не был знаком и который не имел даже косвенного отношения к моей судьбе (разве в общем порядке санкционировал и мой арест, если это требовалось, но вряд ли требовалось). Меня его судьба теперь взволновала, наверное, потому, что всеми своими заблуждениями, заведшими его в тупик, он все равно часть нашей общей трагедии, а следовательно, и биографии моей — тоже. Но это сегодняшние мои мысли. Тогда я не ощущал никакой близости к нему (в лучшем случае считал его изменником делу, которому я тогда все еще оставался верен) и поэтому не испытывал никакого чувства потери в связи с его трагическим уходом. Вообще его судьба привлекала тогда гораздо меньше моего внимания, чем ей уделено здесь. Мой короткий разговор с Витэком Ворошильским по поводу моей эпиграммы (при абсолютно безболезненном признании мною его правоты) вполне исчерпал для меня тему. Гораздо больше занимало меня предложение Витэка — не ехать в Москву поездом, а лететь самолетом, чтобы по дороге задержаться в Караганде.

В моих планах это ничего не меняло. Поездка из Алматы в Москву на поезде тогда занимала пять суток. Пребывание наше (моей жены и маленькой дочери) все равно подходило к концу и дата нашего отъезда не менялась. Просто мои уезжали на поезде, а я в тот же день вылетал самолетом, но делал остановку в Караганде — тогда современных лайнеров еще не было, а Ил-14 нуждался в промежуточных посадках. Тем не менее, проведя в Караганде дня три, я все равно поспевал в Москву раньше, чем мои туда приезжали, и мог их встретить. Для меня это было еще фан-

тастикой — возможность лететь самолетом предоставлялась мне впервые.

Предложение Виктора состояло в том, что он брал на себя покрытие разницы в стоимости железнодорожного и авиационного билетов. Без меня он в Караганду лететь не мог, ибо для иностранцев, даже из стран соцлагеря, Караганда по бюрократической инерции все еще оставалась закрытым городом. Ничем такое нарушение устаревшего запрета никому не грозило, но в гостинице его бы не прописали, а знакомых у него в этом городе не было — в отличие от меня, у которого, как он знал, их было много*. Тем не менее до самого его отъезда из Караганды (я улетал на день позже) я никому не говорил, что он из Польши — просто Виктор, мой товарищ по институту. Его русский язык вполне допускал такую мистификацию.

Описывать свое ощущение полета я здесь не буду. Я давно это сделал в своей поэме «Современники», основу которой вообще составили впечатления от этого посещения Караганды. Но первый полет — дело особое, не говоря уже о том, что на «старинном» Ил-14 он ощутимей, чем на современных Ту, Илах или боингах — непосредственной ощущение пространства и плотности воздуха, на которые опирается самолет. Но главное — встречи. Кто встретил меня в аэропорту, то есть с кем я смог заранее договориться, точно не помню. Кажется, это был Роберт. Но, может, и Миша Бродский. Где мы жили, не помню тоже. Друзей у меня там еще было много. Тогда в Караганде еще жили все, кого я покинул — кроме уехавших раньше меня Вавы Герлин, Заяры Веселой и Алика Вольпина, — и Ольга (тогда-то она и познакомила меня с удивительной женщиной Кертой Нууртова, о которой чуть ниже), и Софья Давыдовская, и Недовесовы, и Роберт, и Миша Бродский, и Гена Иванов, и все мои приятели-журналисты. Так что было среди кого закрутиться. Журналисты по разным причинам — в основном выпивошным — возили нас по всему городу. Выпивали. Болтали. Обстановка была сердечная, но Витэк

* Теперь не так. Под воздействием времени и истории в «освобожденной» Караганде не осталось как будто никого — иных уж нет, а те далече: в Москве, в Германии, в Израиле, в Америке. Роберт ездил в Караганду с Таей навестить Таинных родственников и никого из общих знакомых не встретил и вообще нашел мрак и запустение, распад (который мы сами себе искусственно устроили, как, впрочем, и расцвет).

строго сохранял свое инкогнито. Наибольшее впечатление на него производили не наши застолья, а примелькавшиеся всем нам как деталь пейзажа заборы и вышки «рабочих зон», расположенные прямо на улицах среди города по соседству с нормальными домами. Потом он описал это в своей газете — разумеется, не помяная ни меня, ни кого бы то ни было другого. О советских лагерях он, как всякий поляк, знал много и до этого, но, видимо, такая их вписанность в быт и пейзаж его все же поразила. «Вписанность в быт» — ведь все новостройки Караганды, все жилые здания Нового города, в которых мы с ним бывали и ночевали чуть раньше, были такими же зонами. Поражало! А не платимся ли мы до сих пор за то, что нас перестали поражать такие поразительные вещи? Или что допустили до такого положения, когда это перестало удивлять? Витэк в Караганде понравился.

— А кто этот твой приятель? Прибалт, что ли? — спросил мой друг Гена Иванов, когда Витэк уехал.

— Нет, поляк!

— Поляк?! Что ж ты мне не сказал!.. Я б его расспросил о том, что происходит в Польше...

Я ему объяснил, что был связан словом... Но он все равно долго сокрушался:

— Как же так... Я б его расспросил... Мне интересно...

Нелишним будет отметить, что русские интеллигенты в те годы использовали польскую партийную прессу как источник информации о том, что происходит в мире и в мировой культуре. Она писала об этом намного больше и гораздо менее инфантильно, чем вынуждена была писать наша. Знание польского языка было тогда большим преимуществом, оно открывало доступ к информации... Но в это время наиболее ценной была для нас информация о самой Польше. Там происходила революция — только пока в пользу выпущенного из тюрьмы Гомулки, а не против него. В Алма-Ате я несколько оторвался от этой информации, но в Москве ее восполнил. Она меня волновала...

Но все это было перекрыто Венгрией. И скоро Витэк, чьи честные и тревожные репортажи из Будапешта в его газете «Nowa kultura» несколько недель были единственным источником информации о тамошних событиях, в СССР надолго стал *persona non grata*. Так что отчасти даже хоро-

шо, что никто из тех, с кем он общался в Караганде, не знал, с кем имеет дело. Но о том, что так будет, тогда еще не знал и сам Витэк. И даже потом, несколько позже, когда после защиты им кандидатской диссертации мы провожали его домой, этого не знал еще ни он, ни кто-либо из провожавших. Потому что не было еще Венгрии, точнее, венгерского народного восстания и, что для меня самое важное, подавления его силами советских войск. Но и то и другое неотвратимо надвигалось. И вместе с этим мое освобождение от всякого коммунизма, от пут идейности.

Но я не могу увести свое повествование из Караганды, не рассказав об одной карагандинской встрече. Это была встреча с уже упоминавшейся выше Кертой Нууртова. Ольга очень настаивала на том, что я не должен уехать, не поговорив с Кертой. Ольге я верил и последний свой карагандинский вечер провел у Керты. Ольга была права — эту возможность нельзя было пропустить. Нельзя ее пропустить и здесь.

Судьба ее была феерической, а биография уникальной, что само по себе интересно. Но вдобавок и то и другое имеет прямое отношение к сути этой книги.

Начну с предыстории, она у нее тоже весьма интересная. Керта была дочерью известного финского социал-демократа, вхожего к Ленину. И сама она революции, в том числе и мировой, была предана беспредельно... До тридцать шестого года жила в Ленинграде. Не помню, где она работала постоянно, но время от времени по заданию штаба Ленинградского военного округа выезжала в командировки — в страны Скандинавии. Она и теперь еще была красива, а тогда и говорить нечего — это ей, вероятно, помогало в ее «работе». В 1936-м ее арестовали. Был ли тогда жив ее отец и что с ним случилось, не помню. Важно то, что она получила свои пять лет лагерей (поначалу всем давали по пять), отсидела их и к началу войны освободилась. Поселилась она в Алма-Ате, вышла замуж за журналиста или писателя, фамилия которого была у меня на слуху, но теперь забылась, и мирно жила там, до 1944-го, кажется, года. И тут началась ее история.

Однажды ей сообщили, что ее срочно вызывают в Москву, в Министерство госбезопасности. Это был не ордер на арест, а вызов. Ее, как важную персону, доставили в Мос-

кву прямо в кабинет Меркулова. Кажется, он был тогда замминистра. У нее спросили, хочет ли она во время войны помочь Родине; она ответила, что, безусловно, хочет. Потом ей был задан вопрос, согласна ли она быть переброшенной на агентурную работу в Финляндию, и она тоже ответила согласием. Задание у нее было ответственное — выяснить планы предстоящего финского наступления.

Она быстро прошла необходимую подготовку, и ее сбросили где-то в лесу севернее Хельсинки. Она кое-как спрятала парашют и явилась на явку — агентуры у нас везде хватало (энтузиастов не сеют, не жнут, они сами рождаются). Спряталась она у известной писательницы — после войны ее пьеса, озаглавленная «Какой-то (какой, не помню) дом», ставилась в Москве, но речь не о ней.

Парашют наши. В газетах стали писать о том, что противник забросил агента. И скоро стали гадать, зачем противник это сделал. Этого взять в толк никто не мог. Кто-то даже предположил, что он прибыл с предложением сепаратного мира (о чем, по словам Керты, тогда уже открыто мечтала вся Финляндия), а тут по найденной детали туалета выяснилось, что агент — женщина, и стали писать об особом коварстве врага, использующего для агентурной работы слабый пол (как будто это давно не вошло в мировую практику). Потом — утихло.

И Керта постепенно с помощью «друзей» сняла квартиру в Хельсинки, поселилась там и спрятала в укромном месте рацию... Устроилась на работу. Короче — легализовалась. Работа была выбрана не без расчета — она поступила в модную дамскую парикмахерскую, расположенную к тому же в центре столицы, недалеко от Генерального штаба. Работали там жены высокопоставленных чиновников, в том числе и чинов Генерального штаба (в Финляндии во время войны была всеобщая трудовая повинность, и где-то работать обязан был каждый). Работа эта была удобна тем, что можно было слушать разговоры этих дам и черпать из них нужную информацию. Если бы, допустим, готовилась крупная операция, участились бы командировки на фронт офицеров Генштаба, и это как-то проскальзывало бы в разговорах их жен...

И она вслушивалась в эти разговоры, но безрезультатно. Никакой тревоги в связи с предстоящим наступлением,

разлукой с мужьями и тому подобным в их разговорах не чувствовалось. В 1944 году Финляндия никакого наступления не готовила, думала только о сепаратном мире.

Правда, попутно она узнала другое — как началась советско-финская война для финнов. Оказывается, у финнов тогда не было бомбоубежищ, поэтому женщинам и детям было приказано при объявлении воздушной тревоги собираться на стадионах. Дескать, противник увидит, что это женщины и дети, и, естественно, обстреливать их не станет. Но противник повел себя неестественно — увидел, но обстрелял... Кто персонально виновен в этой жестокой глупости — летчики или их командование, — не знаю, но в первую очередь виноват тотальный, деморализующий страх, выбивший из людей элементарное доверие к своему разуму. Результат не замедлил сказаться. До этого страшного эпизода — так мне рассказала Керта — существенная часть финнов сочувствовала СССР — на этом сочувствии большинства из них кончилось, и Сталин получил против себя всю Финляндию, что вряд ли соответствовало его интересам как завоевателя...

Но вскоре Керте пришлось прекратить наблюдение. Так и не выяснив планов непланируемого наступления, она провалилась. Не по своей вине. В тот дом, в одном из сараюшек которого она прятала рацию, явилась с обыском продовольственная полиция и вместо ожидаемого продовольствия случайно обнаружила эту рацию. Была устроена засада, и когда Керта пришла за своей рацией, она была схвачена. И началась главная часть этой истории.

Ее тут же доставили в контрразведку Генерального штаба. Звучит грозно, но следователь, который там ее встретил, оказался мягким интеллигентным человеком, совсем непохожим на тех, с кем ей пришлось иметь дело на родине. (Как потом она узнала, он был адвокатом по мирной профессии.) Но на первых допросах присутствовали начальник контрразведки и начальник политической полиции. Запираться было глупо — она была поймана с поличным, но она все равно отказывалась говорить, даже назвать свое имя. Это было неважно. Принадлежность Керты к финскому племени была для всех присутствующих несомненной, а финны — народ немногочисленный, в элиты ее входит обозримое число семей, а своих эмигрантов они, на-

верное, вообще знали наперечет — так что по имени тоже можно было кое-что выяснить (может, выяснить сообщников — а что еще ей теперь было скрывать?). Но она все равно запиралась, и начальник политической полиции, человек, по ее словам, мрачный и несимпатичный, в конце концов не выдержал.

— Рассказывайте лучше все добровольно, учтите, что у нас есть средства заставить вас говорить, — сказал он. И, увидев некоторое смущение присутствующих военных, добавил: — Нет, мы не собираемся пачкать об вас руки. Но у нас есть немало пленных энкавэдистов, которым достаточно даже не дать — показать! — пачку сигарет, и они из вас выбьют все, что нас интересует...

Сказал и вышел. Он не знал, насколько достоверно прозвучали для нее его слова. Но «ее» контрразведчик, оставшись с ней наедине, испытывал большую неловкость — к такому обращению с дамами он не привык. Это сейчас, как я где-то читал, женщин на улицах Хельсинки и по одежде, и по повадке трудно отличить от мужчин. Тогда еще просвещение не зашло так далеко — отличали.

Он всеми силами пытался сгладить впечатление от этого разговора и объяснял ей, пойманной с поличным разведчице противника, что этот человек для финской армии совершенно посторонний и нехарактерный, что армия никогда ничего подобного не допускала и не допустит и тому подобное. Когда ее привезли обратно в тюрьму и она осталась одна, она сделала из этого соответствующие выводы, холодные и практические. Главное, что ей следует сделать — это влюбить его в себя. Как она этим воспользуется, видно будет, но добиться этого надо. И потому так запираться глупо, надо путать следы. И разговаривать, разговаривать — уж ей-то есть чем его поразить, внутреннего содержания хватит.

И начались у них допросы-беседы. Она наконец назвала свое имя. Конечно, не свое, но и не любое — в силу указанных выше причин это было невозможно, — она назвалась именем одной своей знакомой, тоже финки, и дала следующие «показания»:

— Я, такая-то, была вызвана из города, где я жила, в Москву, где была принята человеком, которого я не назову, и получила задание, о сущности которого тоже не ска-

жу. И если бы не случайная находка продовольственной полиции, я бы его выполнила. Но рацию обнаружили, и вот я здесь.

Керта держалась твердо. Когда ей устроили очную ставку с приютившей ее писательницей и та появилась, Керта, чтоб продемонстрировать, что они незнакомы и дать той понять, что она не «раскололась», устроила целый спектакль.

— Не смотрите так на меня! — заорала она. — Я не предала свою страну, я служу ей!

— Успокойтесь, дитя мое, — заговорила писательница. — Я вовсе так на вас не смотрю.

Сигнал был принят, и писательница, зная, что о ней ничего не известно, вела себя соответственно.

Короче, Керта стояла на своем, но больше они беседовали. Такая невероятная, по его (но отнюдь не по ее, она-то знала, через что иногда приходится пройти людям) меркам, стойкость во взаимодействии с женской красотой и обаянием действительно покорила сердце одетого в мундир интеллигента. И он все пытался проникнуть в тайну этой стойкости, в то, что за ней стоит. А она охотно шла ему навстречу. И тут произошло нечто, для нее неожиданное.

— Я ему рассказывала, — делилась она со мной пережитым, — о наших планах переустройства мира, трудовом энтузиазме молодежи в первую пятилетку (сегодня в это трудно поверить, но это бывало), о том, как у комсомолок на строительстве Сталинградского тракторного, когда они на морозе устанавливали металлоконструкции, пальцы рук примерзали к железу... И вдруг... Вдруг в его глазах вместо восторга я увидела искреннее недоумение.

— А зачем, — спросил он совершенно простодушно, — устанавливать металлоконструкции зимой?

— И я осеклась, — продолжила Керта свой рассказ. — Этот вопрос меня ошеломил. Он вовсе не хотел меня сразить, он на самом деле не понимал, и я впервые задала себе вопрос: «А действительно — зачем?» — и не смогла на него ответить. Его простодушие оказалось сильнее моей изощренности. Романтический образ первой пятилетки стал разрушаться от первого прикосновения. Изменения произошли и во мне. Я хотела в своих целях влюбить его в себя. И влюбила. Но постепенно — ведь все это длилось недели и

месяцы — начала влюбляться сама. Его простодушие — простодушие нормального, здорового, порядочного человека — оказывалось силой, перед которой я не могла устоять.

Между тем, пока продолжалась эта странная идиллия, политическая полиция не бездействовала, и однажды ее сумрачный начальник появился у Керты в камере.

— Вы нас обманываете, — объявил он, — вы не такая-то, вы — Керта Нууртова.

Удар был неожиданный и поэтому сильный. Но Керта устояла и, главное, нашлась.

— Вы меня очень огорчаете как женщину. Керте Нууртова должно быть сейчас уже сорок лет, неужели я выгляжу на сорок лет? — почти искренне сокрушалась она.

Видимо, так она не выглядела, и начальник, засомневавшись, вышел. Через несколько минут после его ухода Керта попросила надзирателей передать «ее» следователю, чтоб тот срочно вызвал ее, и когда ее привезли в контрразведку, рассказала ему об этом визите. Тот возмутился:

— Да что он вмешивается не в свои дела! Какое он право имел?.. Как он смел!.. Да я сейчас!..

— Вы сейчас возьмете лист бумаги, и мы составим протокол моего признания, — прервала его Керта. — Дело в том, что я действительно Керта Нууртова.

— Почему же вы столько времени отрицали это, а теперь признаетесь? — недоумевал он.

— А потому, что если эта опытная полицейская ищейка напала на след, она с него не собьется. И получится, что вы столько времени возились со мной без всякого толку, а он издали добился успеха. А я не хочу этого. Пусть лучше эти лавры достанутся вам.

Потом Керта не выдержала напряжения и стресса, и у нее случился нервный срыв. Такие перепады, как советский лагерь, а потом «высокое доверие Родины», и финские впечатления, включая простодушие следователя... А тут еще начались мирные переговоры, и Сталин требовал безоговорочной капитуляции, которую, как она хорошо знала, ни в коем случае нельзя допустить, ибо она грозит этой милой стране разрушением и несчастьями... А как не допустить?..

Все эти перепады не прошли даром, и она заболела.

Она почти ничего не помнила о своей болезни... Только что лежала в забытьи, а приходя в себя, обнаруживала, что

лежит в постели в окружении своего следователя, начальника контрразведки, начальника политической полиции и стенографистки — и непрерывно что-то говорит, говорит, а они записывают. Когда она совсем очнулась, уже была весна. Наши по-прежнему требовали безоговорочной капитуляции, но финны на это не шли. И с целью помочь им не допустить этой капитуляции она написала или составила из части того, что наговорила (точно не помню), мемуарную книгу о своих лагерных впечатлениях, которая вышла на финском и шведском языках. Книга имела успех в этих странах, о ней писали в газетах, но за границы этих стран она не вышла. В 1944 году книги о советских лагерях не импортировали широкому читателю.

Как шпионка она по-прежнему подлежала суду, но судить ее никто не хотел, и все, кто мог, затягивали дело — дожидались амнистии по случаю заключения мира. Мир, который в конце концов был подписан, не был безоговорочной капитуляцией. Сыграла ли тут роль книга Керты, не знаю, да и кто это может знать. Но что Керта на это работала — факт.

Она вышла из тюрьмы, но теперь над ней нависала угроза, намного более страшная, чем финский суд и его приговор, — советские контрольные комиссии... Ее следователь, по случаю окончания войны демобилизовавшийся и вконец потерявший от нее голову (добропорядочный семьянин, он готов был ради этой удивительной женщины оставить жену и детей), предлагал ей бежать в Швецию. «На границе нет никакого паспортного контроля, а ваши ведь тебя расстреляют», — говорил он, и она знала, что он недалек от истины. Но она твердо решила не убежать.

— Получилось бы, что все, что я сделала, я делала только для того, чтобы спасти свою шкуру, — объясняла мне она. — Так нет же!

И как только открылся первый советский репатриационный лагерь, она явилась туда и назвала свое имя. Вечером того же дня она была доставлена в Москву.

— Вы изменили Родине, — сказал ей на допросе Меркулов.

— Нет, Родина изменила мне, — ответила она.

Не знаю, правильно ли она сделала, вернувшись на муки: она ведь и теперь была реабилитирована только по первому

делу, а по второму — только амнистирована... Какие могут быть моральные счета с такими господами, как Берия или Меркулов? Но она была такой, как была и, вероятно, не могла иначе. Уж очень все мы боялись оказаться шкурниками. Мы во многом были неправы, иногда даже в этой высокой боязни. Но можно ли совсем без нее?

Вот такой беседой завершилось мое пребывание в Караганде в 1956 году... Теперь уже ничто не мешает моему повествованию покинуть этот город и вернуться в центр тогдашних событий — Москву, где назревала тогда венгерская трагедия, о которой пойдет речь в следующей главе...

Глава третья. Венгрия 1956-го

Рассказывать здесь подробно о венгерских событиях 1956 года нет нужды. О них достаточно написано, а я не был ни участником, ни свидетелем этих событий. Только заинтересованным современником. Но они сыграли громадную роль в моей внутренней жизни. И несколько общих слов о них мне все-таки сказать придется.

Да, действительно в венгерском сопротивлении участвовали разные силы, даже нацистские. Галя Якубская, жившая с мужем в одном из военных городков Закарпатского военного округа (он был офицером, но только не венгерским, как, будучи введен в заблуждение, я сообщил в первой части этой книги, а советским), рассказывала мне об изощренных зверствах, которые некоторые повстанцы позволяли себе по отношению к попадавшим в их руки членам семей советских военнослужащих, в том числе и к детям. Она видела тех, кого удалось спасти и привезти в их городок. «Я понимаю, что дело их было правое, а наше нет, — писала мне она, — но я видела истерзанных детей, с которых сдирали кожу, и суди как хочешь, простить этого не могу». К активизации таких сил, к тому, что у таких людей были развязаны руки (а выродки есть у каждого народа, и оправдания им нет), привело упорство венгерского партийного руководства, во главе которого стоял старый революционер, герой нашумевшего в середине тридцатых антикоммунистического процесса Матиас Ракоши. Приговорен-

ный на этом процессе к длительному тюремному заключению, он после заключения пакта Молотова—Риббентропа был уступлен Гитлером Сталину (вероятно, в знак их вечной дружбы) и выпущен из венгерской тюрьмы прямо в Москву. Конечно, гармоническое превращение этого пламенного революционера в сталинского гауляйтера, палача своей страны, может для кого-то представлять психологический интерес, но меня это сейчас не занимает. То, что он и его ближайший соратник Гере, проводники ненавистной большинству населения политики, были по происхождению евреями, не только неприятная для меня как человека того же происхождения подробность, но и фактор, способствующий активизации упомянутых выше нацистских элементов.

Но эти тенденции в описываемых событиях — только неприятная частность. В целом сопротивление было окрашено в демократические тона, проникнуто духом близкого тогда еще моему сердцу утопического «социализма с человеческим лицом». К власти под давлением масс пришло правительство проникнутое этим же духом интеллигентов-коммунистов во главе с Имре Надем. Все мы внимательно следили за развитием этих событий, но меня, как мне кажется, их начало застало не летом в Москве, а уже в сентябре в Коктебеле, куда (в Дом творчества) я получил бесплатную путевку от комиссии Союза писателей по работе с молодыми (до 5 октября — дня консервации этого заведения). Такие же путевки получили Яков Аким, Валентин Сидоров и Виктор Боков.

По-моему, мы и приехали все вместе. Во всяком случае, поселились мы вместе в небольшом отдельном деревянном коттедже с древнегреческим наименованием «Парфенон». Вероятно, имя свое он получил от какого-то остряка из-за имитации колонн, встроенных в его стены. В Коктебеле вообще все отдавало Элладой: и воздух, и названия. Жили мы дружно и весело. Поддразнивали друг друга, разыгрывали, купались, загорали, даже отдали дань местному увлечению — собиранию камней, в том числе и считавшихся драгоценными сердоликов. Их в этих местах волны часто выносили на берег. В этом деле — собирании камней там были чемпионы, только не из нашей компашки. Нас это привлекало редко и ненадолго. Компашка наша была сплоченной,

и все понимали друг друга. Потом разошлись по разным «лагерям», но тогда еще никто не знал, что так будет. Радость проснувшихся надежд и гармонирующий ей вечный воздух Коктебеля объединяли нас всех и вплетались в общую атмосферу «Дома Волошина», Максимилиана Волошина, который основал это литературное пристанище и жил здесь постоянно. Дом этот, построенный им у самого моря (теперь при входе с пляжа на территорию Дома творчества, которого тогда не было), — «Дом поэта», как он назван в одном из его самых значительных стихотворений, так и озаглавленном, — был причудливой формы, имитирующей корабль — даже с подобием капитанского мостика наверху, — еще стоял и был в полной сохранности. Возможно, он и до сих пор так выглядит — я там больше никогда не бывал и не знаю. Но убежден, что он выглядел так по крайней мере до тех пор, пока была жива Мария Степановна Волошина, вдова поэта, бывшая душой этого дома. Не знаю, как она справлялась с функционерами Литфонда, но как-то — пусть даже с переменным успехом — справлялась, и дом стоял* О ней, о ее рассказах про Волошина, картинах хозяина дома, которые она показывала (он был, чего я до этого не знал, еще и талантливым живописцем), писали многое и многие, начиная с Мандельштама и Цветаевой, Эренбурга и кончая моими сверстниками и даже людьми чуть помоложе — и я не могу к этому ничего добавить. Хотя тоже храню благодарную память о ней.

У этого дома — не столько Дома творчества, сколько «Дома поэта», но захватывало и Дом творчества — были свои традиции. Я бы даже сказал, свой традиционный круг. Он состоял из «старорежимных» (или превратившихся за годы сталинщины в «старорежимных») интеллектуалов и литераторов, которые, как мне кажется, обычно съезжались сюда именно в это время, то есть перед окончанием сезона. По-моему, не все они даже жили в Доме творче-

* Кажется, первый этаж ее дома прямо относился к Дому творчества (что и давало ей основания обращаться в Литфонд). Кроме того, тогда уже можно было играть на культурно-исторической ценности дома, на вытаскиваемых тогда уже понемногу из забвения именах Цветаевой, Мандельштама, да и самого Волошина, не говоря уже об известных советских писателях, здесь бывавших, из которых некоторые, допустим, К.Г.Паустовский и И.Г.Эренбург, всегда бы поддержали Марию Степановну в ее хлопотах.

ства, некоторые останавливались в поселке, на снятых или приобретенных в собственность квартирах. Нам повезло, что мы оказались рядом с этими людьми. Далеко не со всеми нам пришлось общаться, на дальнем плане промелькнули для меня искусствовед, профессор Александр Габричевский и исследователь Хлебникова профессор Степанов, и еще другие, чьих имен я вообще не помню. Но общий дух высокой культуры и несокрушимой порядочности действовал и на меня. Эти люди никогда не занимались политикой (хотя как сказать — в иные годы и любовь к импрессионистам была «политикой»), но всегда оставались верны себе и своим представлениям о должном. Это не значит, что им не приходилось ладить с патологическими обстоятельствами (без потерь это время не прожил никто), но все же это значит, что свое не забывалось. Значение для них этого «своего», верность ему преувеличить трудно. Оно ощущалась за ними, привлекало и, воскрешая для нас известное по книгам, осуществляло связь времен — учило. Даже без непосредственного общения. Впрочем, «вечера у камина» в доме Марии Степановны тоже сближали.

Во мне они укрепили понимание особой природы и особой роли искусства. Я и раньше об этом много думал — именно ввиду обилия у меня «общественной» тематики. Я, конечно, знал, что не в тематике дело, но обвинения сыпались, и приходилось думать, уяснять для себя, в чем его специфика. Именно потому, что я шел по краю. Но я всегда знал, что специфика и независимость искусства, в частности поэзии, не в сепаратности. В те дни — как всегда, на волне общественного подъема — появлялся соблазн игнорировать эту специфику, принимать за нее «смелость» (как и в самой общественной жизни подменять стремление к пониманию декламацией), и поэтому вопрос о специфике, то есть о сущности искусства (вопрос для меня изначально не столько «профессиональный», сколько духовно-культурный), приобретал для меня особую остроту. А весь этот круг был носителем этой специфики, этой духовности, и мне нравилось вращаться в нем — пусть даже на его периферии.

А по-настоящему подружился я тогда только с незабвенной Еленой Александровной Благиной, женой поэта Георгия Оболуева, близкого, как мне кажется, к обзериу-

там и за это пострадавшего. В тот момент его рядом с ней не было, хотя вспоминала она о нем часто и с любовью — видимо, он был еще в лагере или в ссылке, но я почему-то считал его погибшим и его в связи с ней не помню*...

Она сама была талантливым поэтом. Детским и, думаю, не только детским... Человеком высокой культуры, точного ума и вкуса, а также невероятного обаяния, какой-то особой, по выражению Яши Акима, «русскости», естественно и свободно исходившей из нее. Общался я с ней и после Коктебеля, но больше по делу — одно время я пытался переводить и детские стихи, впрочем, и такое общение с ней было ценным, содержательным и доставляло радость.

В Коктебеле мы не только общались и работали (я там, наконец, закончил начатый еще в середине пятьдесят третьего роман в стихах «Начальник творчества» — написал последнюю, лучшую его главу), но и веселились за «чашами» местного «вина имени Сталина» — мы его так называли по имени местного колхоза, который его производил и продавал. Но поскольку в дни нашего пребывания в Коктебеле или незадолго до этого был опубликован указ о переименовании Автозавода имени Сталина в Автозавод имени Лихачева, ленинградский остряк Дмитрий Молдавский, поклонник формалистов и пропагандист Суркова, ко всеобщему удовольствию, переименовал это вино в «лихачевку». Веселились как могли — под коктебельским небом это было естественно.

Подружился я там и с очень талантливым украинским поэтом Дмытром Павлычко. Вообще-то говоря, украинских литераторов в Коктебеле в тот сезон было особенно много... То ли просто так получилось (ведь нет в этом ничего удивительного или дурного), то ли кем-то осуществлялось мероприятие по закреплению позиций — ведь незадолго до этого свободолюбец Никита с пьяного, как я думаю, прекраснодушия и, конечно, не предвидя последствий (тогда это ведь реального значения не имело), подарил Крым Украине.

Держались они обособленно. И лишь один Дмытро, не только самый талантливый и подлинный (вообще подлин-

* По свидетельству С.Э.Бабенышевой, он потом освободился и в начале шестидесятых они вместе жили на ее даче в Голицыне... Но для меня то, что он ушел, — новость. Видимо, в начале шестидесятых я мало с ней общался — завертелся...

ный) поэт, но и самый осозанный сепаратист среди них, больше держался нас... Сближали нас демократическая настроенность и — не побоюсь сказать — духовно-интеллектуальный уровень. Для него его украинизм был естественным проявлением сути, а не прикрытием бедности, как для многих (разумеется, не для всех). Кстати, когда я вскоре был в его родном Львове, где он продолжал еще жить, его книгу с красивым названием «Партия клыче» («Партия зовет») сняли с прилавков магазинов не за националистические стихи, а за прочитанный им мне еще в Коктебеле сонет о смерти Торквемады, после которой люди боялись хотя бы улыбкой выдать радость — видно, очень хорошо помнили, что тиран сдох, но тюрьма цела. Стихотворение это замечательное, его лучше процитировать, но я, к сожалению, его перевел! Не знаю и других переводов и поэтому приходится ограничиться упрощенным пересказом. Но для иллюстрации моей мысли этого достаточно.

После этого наши пути с ним не раз пересекались. И встречались мы всегда, как друзья. Я никогда не сочувствовал ни одному из советских сепаратизмов, украинскому тоже. Мне и теперь вовсе не по душе, что город, где я родился и рос, стал зарубежьем, пусть даже «ближним». А то, что продельвается в эти дни (февраль—март 2002) с выборами в Крыму, вообще омерзительно. Не знаю, как к этому относится сейчас Дмытро, но с его сепаратизмом я не был согласен никогда. Но я всегда любил его как поэта. И очень любил его украинский язык. Я вообще люблю этот язык, единственный кроме русского, которым я владею. Но он этим языком владеет виртуозно — не только в стихах, но и в устной речи. Мне нравилось не только его читать, но и слушать. Когда мы разговаривали, я никогда не хотел, чтобы он переходил на русский. Не потому, что он говорил плохо, — он говорил по-русски вполне свободно, — а потому, что терялась прелесть его украинской речи. И часто мы говорили так: я по-русски, а он по-украински. Он родился в Украинской Галиции, но говорил не на местном диалекте, а не каком-то всеобщем комплексном украинском языке, он как бы синтезировал этот язык, но все произносимое им было всегда настолько естественным, что казалось существовавшим всегда. Такое у него было чувство языка. Неужели сейчас, если бы мы встретились, мы бы

совсем не нашли общего языка? Жаль, если это так, мне бы не хотелось.

Однако я слишком рано оставил за спиной Коктебель сентября 1956 года и едва не забыл упомянуть, может быть, о самом значительном из его тогдашних постояльцев Василии Семеновиче Гроссмане. Он не входил в тот круг, о котором я только что говорил, и относился не совсем апологетически к тому, что вообще было связано с историей «Дома Волошина». Он не отрицал ценности того, что за ним стояло, но и не разделял высказываемых мной восторгов. Точно его тогдашних мыслей на этот счет я не знаю, коснулся у нас этой темы разговор только один раз, и случайно. Помню только, что в ответ на мои восторги он мельком между делом обронил какую-то не очень четкую фразу вроде:

— Да, конечно... Но не во всем это так...

И распрощался. Они с женой торопились на автобус, ехать к какой-то бухте, где, по общему убеждению, сердолоков на берег выносило больше, а соискателей бывает гораздо меньше, чем на нашем пляже, — они были страстными коллекционерами этих камней, славились на весь Коктебель. Хотя в круги коктебельские, повторяю, Гроссман не входил. Он и жил не в доме Марии Степановны, не в одном из коттеджей, а занимал с женой то ли номер, то ли квартиру (не знаю, как назвать) в двухэтажном доме обычной постройки, расположенном в центре территории. Был приветлив со всеми, но в светской жизни Дома творчества участия не принимал. Не из гордыни или неуважения, а просто много работал.

Как я стал ходить к нему, кто меня с ним познакомил, сейчас уже не вспомнить, но ходить к нему я стал. Он относился ко мне внимательно и доброжелательно, даже с интересом. К моему «Начальнику творчества», над окончанием которого я тогда работал, — одобрительно. Ему это тогда должно было быть близко — он, как мне кажется, и сам еще не перешагнул через Ленина. Хотя глубина его мышления и отношения к жизни не укладывались в эти рамки. Но природу сталинщины он понимал прекрасно — просто потому, что знал и чувствовал историю и психологию российской социал-демократии, а также большевизма, а раз так, то как к ним ни относиться, не мог не чувствовать чуж-

дости им, а значит, и вообще тотальное самозванство Сталина, требовавшее перманентной компенсации и тотальной подмены. Так что для таких людей, как Гроссман (а по своей природе он, конечно, был социал-демократ, то есть меньшевик), фокусы Сталина были открытой книгой. Кстати, и в эмиграции раньше всех понял природу сталинщины меньшевистский «Социалистический вестник». Я вовсе не стал сочувствовать идее социализма, как и вообще идейности, но такая идея была и привлекала к себе сердца отнюдь не только дураков и подлецов, но Сталин, выступая от ее имени, не имел к ней, как и ко всякой другой, никакого отношения. И Гроссман это хорошо понимал. Однажды в ответ на главу о Сталине из моего «Начальника творчества» он прочел, тогда еще не опубликованную, главу о Гитлере из романа «Жизнь и судьба». То, что в ней говорилось о Гитлере, вполне относилось и к Сталину. Гитлера (а следовательно, и Сталина) он трактует как компенсирующегося неудачника. В принципе, это верно, и тогда я полностью с этим согласился. Сегодня в свете того, что мне стало известно об этих двух и многих других, я хочу к этому добавить, что это неудачники особого рода. Они далеко не всегда совсем тупы и неспособны, но претензии их намного превышают их возможности и, скажем так, посвященность... И они яростно претендуют на то, на что изначально «не тянут». В наше время все кажется доступным, и легко обнаружить свое сходство с кем-либо из великих — ведь столько их биографий выпускается. Эти претензии входят в плоть и кровь, и люди эти способны испытывать подлинные муки творчества, не будучи творцами. В жажде состояться они и стремятся к абсолютной власти, дабы с ее помощью устранить все, что мешает им совершить великое или просто престижное (это относится не только к властителям стран — претензии эти бывают разного уровня), а по существу, инстинктивно и сознательно стремятся и способны с помощью этой власти свести все высоты духа к своему уровню и тогда уж свободно совершить свое, доступное их представлениям «великое». Это болезнь нашей цивилизации, у которой, как уже здесь намекалось, много модификаций. Она не исчерпывается то и дело возникающими — теперь больше на ее периферии — вождями. А насчет вождей — думаю, что к Ленину, Троцкому и Гитлеру

это относится больше, чем к Сталину. Тут случай психологически более примитивно-уголовный.

Хочу еще отметить, что сказанное мной, может быть, и дополняет то, что говорил Гроссман, но никак не противоречит этому. К сожалению, я мало что могу добавить к уже мной здесь рассказанному — у меня остались не какие-то детали, даже не высказывания (мы больше говорили о сталинщине, тогда это многих волновало непосредственно, но позиции наши были близки), а общее ощущение его личности, ее серьезности и подлинности, значительности. К сожалению, в Москве я с ним не встречался: то ли не решился, то ли не собрался позвонить. Завертелся. Ведь тогда только-только по-настоящему и к тому же запоздало начиналась моя жизнь — было от чего завертеться. Да и его личная жизнь почти сразу после нашего возвращения, по слухам, усложнилась, и мое появление в его доме выглядело бы, как мне казалось, неуместно. И к тому времени, когда был арестован его роман, отношений между нами совсем не было. Хотя я по-прежнему ценил его высоко, и до меня доходили его дружественные отзывы обо мне. Естественно, он ощущал меня на своей стороне, не думаю, что он в своих обстоятельствах очень нуждался в моем посещении, но все-таки я испытываю нечто вроде угрызений совести. Вскоре он умер.

Все, что я сейчас рассказывал, было лирическим отступлением от главной темы. Всем этим в сентябре 1956-го был напоен коктейбельский воздух. Почему-то мне кажется, что и венгерские события для нас тоже начались в Коктебеле, что впервые услышали мы о них по радио именно там. Они нас наэлектризовывали. Недавно о своем отдельном — польском — пути к социализму заявляли поляки, теперь о необходимости своего — венгерского — заявляют венгры.

— А не пора ли и нам найти свой русский путь к социализму? — ухмыльнулся однажды Валя Сидоров. Он не имел в виду ничего националистического или даже почвеннического. Во всех трех случаях имелся в виду не какой-то конкретный национальный путь, а просто избавление от сталинской прострации... Сам по себе «путь к социализму» еще возражений ни у кого не вызывал — во всяком случае, в СССР. Да и не только в СССР — Витэк Ворошильский тогда еще вовсе от него не отказывался. Все хотели «соци-

ализма с человеческим лицом» — сочетания его со свободой, и вроде к этому шло. Но советскому руководству это не нравилось не потому, что это утопично, а потому, что оно сильно подозревало, что у него самого лицо несколько иное. И это чувствовалось.

На этом мы сошлись со знаменитым партизанским генералом и писателем Петром Петровичем Вершигорой. После войны он опубликовал в «Знамени» свои воспоминания о партизанах «Люди с чистой совестью», о которых в свое время много говорили и писали. Не знаю, читают ли сейчас эту книгу, но уверен, что о ней, даже если теперь ее забыли, вспомнят. В ней много ценного и важного, хотя она была напечатана при Сталине. Но самое удивительное то, что в ней впервые был упомянут 37-й год, как имя нарицательное. Во время этой вакханалии был арестован будущий партизанский комиссар Руднев, правда, потом справедливость восторжествовала, Руднева выпустили, и создается впечатление, что вакханалия кончилась, что она просто была случайным наваждением, которое схлынуло. Я не буду ссылаться на цензурные и прочие условия тогдашнего времени, ибо убежден, что это не было мимикрией — он на самом деле так думал, когда воевал и когда писал эту книгу. Конечно, не думал, что выпустили всех невинных — у нас всегда с порядком неблагополучно. (Да только ли он?) И не только потому, что думать иначе, осознавать, что ты живешь в мире, где такое — закон, было невыносимо, но еще и потому, что признание всего этого реальностью противоречило не только всему святому и человеческому, но и элементарной человеческой логике. Но так или иначе тридцать седьмой год был выделен и назван как явление отрицательное. Таких прорывов реальности до этого еще не было. Этим и объясняется то, что я сразу отнесся к нему доверительно. Помню, что о начале венгерских событий он узнал от нас. Отреагировал он мгновенно и точно:

— Почему так получается? А потому, что «А» сказали, а «Б» не говорят.

Это то, что мучило всех: разоблачили Сталина, а причин и последствий как будто не только не было, но и быть не могло, не бывает.

В другой раз я у него спросил:

— Петр Петрович, а бывает у человечества опыт?

— Какой, технический? — осведомился он. В сущности, в этом ответе вопросом на вопрос уже был ответ. И когда я сказал, что имею в виду не технический опыт, а вообще — допустим, способность учитывать то, что уже было, заключил категорически:

— Нет, не бывает. Все опять повторяют. Как ни в чем не бывало.

Он был умным и интеллигентным человеком (войну он встретил в должности режиссера на Киевской киностудии), был по натуре общителен, но почему-то был одинок, оказался между средами и вне среды*. А здесь он был окружен не только почетом, но также вниманием и пониманием и с удовольствием рассказывал всякие байки о себе. Помню я только две. Одна партизанская, полузабавная. Очень даже «полу». Вторая относится к обстоятельствам не партизанским и совсем не забавна. Начну с первой.

— В 1944-м (дату воспроизвожу по памяти и логике событий), после того как Ковпака отозвали в Совет министров, командиром отряда был назначен я. Приказано мне было готовиться к повторению Карпатского рейда. Но про себя я знал твердо, что выполнять этот приказ не буду. Да и мои хлопцы не пошли бы — они и слышать про Карпаты не хотели. Это только слава, что «Карпатский рейд!.. Карпатский рейд!.. Наше знамя над Карпатами!», а на самом деле — глупость. Туда ведет только одна горная дорога — мы по ней прошли, немцы ее заперли, и назад нам пришлось продираться с боем. Там и Руднев погиб. Да один ли только Руднев — много там полегло. А зачем? Руднев... Короче, второй раз в эту западню хлопцы бы мои не пошли. И я бы их не повел. И готовился я к другому рейду — в Польшу. Мы недалеко от нее находились, да и война еще к ней подходила. Но все мои предложения на этот счет отвергались: «Не смей нарушать государственную границу СССР!» Но что-то делать было надо, и я решился, — в один из дней отключил связь и на свой страх и риск приказал идти в Польшу. Мы там сразу наделали много шума, захватили трофеи, ко мне выходили представляться польские коман-

* Эту блокаду догадался однажды прорвать Виктор Некрасов, явившись к нему с друзьями, выпивкой и вопросом: «Кто твои враги?» Враги оказались общие, но завязыванию дружбы помешала смерть П. П. Вершигоры.

диры. Сначала самые реакционные (его, притом тогдашнее, определение), а только потом прогрессивные — батальоны «хлопски»* В общем, дело пошло. Правда, связь у меня по-прежнему была отключена, и нас уже десять дней безуспешно ищут по всему эфиру. Ладно, думаю, там видно будет, обойдется. Но однажды приходит ко мне командир одного из взводов и докладывает:

— Там, товарищ командир, якийсь-то полячок прыйшов — кажэ, шо мае до вас якэсь дило. А шо за дило, нэ кажэ. Я вжэ йому казав: «Та пишов ты, та вши не водстае...»

— Ну, раз так, — говорю, — давай его сюда.

Ну и приводят ко мне этого полячка, а он сразу:

— У вас связь с Москвой есть?

— Есть, — говорю, а сам думаю: только этого мне сейчас не хватает...

— Так вот, надо срочно передать туда вот это, — и протягивает лист бумаги. — Это возможно?

Смотрю, шифровка. А шифр незнакомый. Как будто коминтерновский, я такой где-то видел.

— Надо у радистов спросить, если смогут — передадим.

Радист сказал, что расшифровать это сообщение не может, а передать может вполне. И передал. Через пару часов пришло две шифровки: полячку его шифром, а мне — моим. Мне предлагалось выполнить все указания полячка. Он спросил меня о маршруте моего движения и назначил место встречи... Я послал по этому маршруту разведку, а сам с основными своими силами к месту встречи пошел другим: все-таки я находился в тылу врага и отвечал за людей. К месту встречи полячок привел целую команду и сказал, что ее надо срочно перебросить в Москву. Я приказал спешно оборудовать посадочную площадку и сообщил обо всем в Центр. Центр запросил мои координаты и сообщил, что самолет за этой группой отправлен. И тут же я получил грозный приказ: «Объясните, на каком основании вы нарушили Государственную границу СССР?» Но писать объяснение не пришлось, подошли крупные силы немцев, пришлось занять круговую оборону и вступить в бой. Обычно мы при соприкосновении с превосходящими силами про-

* Ими командовал Мочар, в будущем вождь партийных антисемитов. Но о таком его развитии ни Петр Петрович, ни его слушатели знать тогда не могли... Может, и сам Мочар о нем не подозревал.

тивника стремились как можно быстрее уйти — мы партизаны, а не регулярная армия, у нас другие возможности и задачи, а сейчас нельзя, надо дожидаться самолета. Я обо всем забыл — кроме боя. И тут опять появляется этот полячок. Полячок:

— А что в этой ситуации вы можете предложить нам?

— Ну что я могу в это время предложить? — отвечаю. — Только автомат, и в цепь.

— Нет, — говорит, — это нас не устраивает.

— Ну тогда как хотите.

— Нет, и это нас не устраивает. Нам на всякий случай маскировка нужна для немцев. Арестуйте нас и посадите под стражу в какой-нибудь амбар.

Так я и приказал. И опять о них забыл. Но в самый горячий момент явился один знакомый мне партизан. Он раньше при мне вестовым был — достался мне в наследство от Ковпака. Он у него по расстрельной части был. Приходил ко мне и щелкал пальцем, как бы спуская курок, интересовался:

— Товарищ командир, а как там насчет работешки?

Я потом придрался к чему-то и услав его в комендантскую роту. Оттуда он сейчас и явился.

— Так что, товарищ командир, мы уже этих поляков приготовили... Прикажете кончать.

Я даже не сразу понял, о чем он говорит, а когда понял, взревел: «Да вы что?» и бросился к амбару. Вижу, сидят мои полячки уже все как один раздетые, в одном белье, а мои ребята сидят вокруг костра и делят их одежду.

— Вернуть все!.. Сию же секунду! — заорал я вне себя от ярости и был, наверное, при этом настолько страшен, что все сразу вернули, только штаны одного из поляков так и не нашлись.

Слава Богу, самолет скоро прилетел, поляки улетели, и мы смогли оторваться от противника. Но когда мы обосновались на новом месте, меня вызвали в Киев, в ЦК КП(б)У. Прямо с самолета явился к Хрущеву, но его помощник Гапочка сказал, что он сейчас в Москве, скоро прилетит и меня примет. И ясно было, что ничего хорошего это мне не сулит... И работники ЦК, с которыми я заговаривал, обращались со мной как с человеком обреченным. Нечего делать, пошел бродить по городу. Купил в киоске «Правду».

Смотрю: на видном месте сообщение, что образован «Польский комитет национального освобождения», а ниже портреты его членов помещены. Вгляделся — да это ж мои полячки, все как один. Может, это меня выручит, думаю, вот главный мой полячок — Гомулка, а тот, чьи штаны не нашлись, глава этого комитета, Осубко-Моравский.

Хрущев принял меня хорошо. На объяснение, которое я приготовил и привез с собой, даже смотреть не стал. А сказал:

— Приготовьте список на двенадцать человек для получения звания Героя Советского Союза, но одно место оставьте незаполненным (понятно было, что это для меня самого).

— Но я составил список в четырнадцать человек.

— Какое у вас образование, товарищ Вершигора? — спросил Хрущев. Я ответил, что два высших.

— Почему ж вы так плохо считаете?

— Потому что люди заслужили, — ответил я. Потом разговор перешел на другую тему...

— Какое у вас воинское звание, товарищ Вершигора? — спросил Хрущев. Я ответил, что я дважды подполковник. Второй раз по ошибке присвоили то же звание.

На этом кончается первая байка Петра Петровича. Если не считать истории со штанами Осубко-Моравского, который ввиду его комической красочности можно заподозрить в некотором невинном — для смеха — утрировании (хотя и это могло случиться), все остальное в ней для меня абсолютно достоверно. В том числе и ее почти святочный конец. Да, вместо того чтобы попасть в жесткую, а то и жестокую опалу за ослушание, рассказчик получил звание Героя Советского Союза и генеральские погоны (стал генерал-майором). Но если бы случайно не вмешалась большая (или только ощущающая себя такой) политика, превратившая проступок в подвиг, его отказ вести людей в бессмысленный, чреватый громадными потерями рейд привел к совсем другому, отнюдь не святочному концу. Сам Петр Петрович, такое создалось у меня впечатление, никакого умиления по поводу этого конца не испытывал. Второй его рассказ — байкой его не назовешь, ибо комичного в нем нет ничего — подтверждает это мое представление о нем. Да это и не рассказ. Просто человек говорил о наболевшем.

— После войны я командовал всеми войсками, действовавшими против бандеровцев. Вступив в должность, я прежде всего по своему обыкновению провел разведку. И пришел к парадоксальному для многих выводу: никаких бандеровцев практически нет, а есть только маленькая группка студентов-националистов, а остальное — мужики, которые не хотят в колхозы. Я обратился в ЦК КП(б)У с предложением объявить о том, что коллективизация в западных районах Украины откладывается до лучших времен. Тогда основная масса бандеровцев разбежится по домам, националисты окажутся изолированными и с движением будет покончено. Мне казалось и кажется, что предложение было разумным. Но оно было с гневом отвергнуто. Мне было указано, что я должен вести боевые операции, а не выступать с политическими предложениями. И тогда я понял, что ничего разумного тут сделать не смогу, разве что при случае спасти такого вот заблудшего парнишку (он показал на Дмитро Павлычко), и остается мне здесь только одно — стать бессмысленным палачом своего народа. И я попросился в отставку по болезни...

Подчеркиваю: слова «стать бессмысленным палачом своего народа» — это в точности его слова, они не подверглись здесь никакой перефразировке. Человек, способный хотя бы мысленно произнести эти слова, неспособен умилиться тому, что те, кто толкал его на гибель в Карпаты, сменили гнев на милость. Это удивительные по точности самосознания слова. В этом и была суть сталинщины — что она плодила не просто палачей (это делала и ленинщина), а палачей **БЕССМЫСЛЕННЫХ**, не нуждающихся в оправдании смыслом своих деяний, способных на любые «карпатские рейды», для показухи без толку губившие тысячи и тысячи. Петр Петрович явно «не монтировался» в том слое, в котором оказался. И приехав после увольнения в Киев, он не только ощутил себя во враждебной среде, но и почувствовал, что если долго здесь задержится, сотрут в порошок, посадят, убьют. В Киеве обращение к здравому смыслу, да еще и в вопросе о коллективизации, было наиболее опасно... Может, потому, что правили там тогда еще выдвиженцы украинской коллективизации, своей тупой жестокостью («голодомором») превзошедшей аналогичные мероприятия почти во всех остальных районах страны. Правили люди,

привыкшие быть наиболее бессмысленными и тупыми палачами своего народа и ненавидеть всякое проявление осмысленности — а кто бы другой мог выматывать голодом своих односельчан?

Допускаю, что и у них своя трагедия. Но Петру Петровичу ждать от них хотя бы примирительного отношения не стоило, и он спешно переехал в Москву. Там все-таки воздух был легче. Его — что ни говори, легендарный партизан, а тогда это еще ценилось — зачислили в Академию имени Фрунзе и, в общем, легализовали. Даже книгу он смог выпустить, в которой настолько и так выразился, что при встрече в более либеральные времена воспринимался мной и другими как близкий и понятный человек, вызывавший полное доверие.

До чего же трагичной была наша эпоха! Она разводила по разным станам не только хороших людей с плохими, но и хороших с хорошими. В Мюнхене я подружился с талантливым украинским писателем-эмигрантом Игорем Качуровским, тонким, чутким и порядочным человеком, но судьбы прямо противоположной. Сын раскулаченных, рано лишившийся родителей, которых уважал, вынужденный несколько лет подряд скрывать свое происхождение (для получения образования и просто чтоб выжить) и в связи с этим держаться подальше от родных мест, он ждал немцев как освободителей и избавителей, а когда дождался, то они ему не понравились — видимо, советской пропаганде о них, как и мой оставшийся в Киеве дядя, он не верил (она ведь и про его родителей лгала), и многое оказалось для него неожиданностью. Нет, он не переменял ориентацию, не стал сочувствовать «советам», он даже потом ушел с немцами, но во всех обстоятельствах вел себя как порядочный человек, старался при случае помочь тому или иному еврею спастись (что наказывалось, как в Средние века). В своих книгах, талантливых и очень для меня информативных, он не выказывает никакой симпатии к немцам, но выражение «люди с чистой совестью» употребляет только иронически. И это понятно — среди тех, за кем охотились партизаны (и с кем обращались далеко не всегда по-джентльменски), были не только предатели из шкурничества, но и люди его судьбы, а то и просто близкие ему люди. И вряд ли Петр Петрович, попади они ему в руки во время войны,

помиловал бы их. В тот момент он (да и я с ним заодно) не мог бы понять Игоря, как и Игорь — его. Ведь и сотрудничество с нацистами — не пустяк. Для того чтобы все утряслось, должны были пройти годы. Конечно, и без сталинской лепты тут не обошлось. И не только потому, что этот раздрай, эти взаимопонимание и ненависть вызваны его коллективизацией, — это главное, но он еще и просто стимулировал этой жестокостью взаимную ненависть, в которой всегда нуждался... Как в этом во всем было разобраться во время такой войны? Трагична судьба нашей общей Родины.

Разумеется, тогда у меня таких ассоциаций и мыслей не было, да и о самом Петре Петровиче, несмотря на всю значительность его личности, в частности для меня лично, я стал сейчас говорить только в связи с тем, чем мы тогда жили — в связи с венгерскими событиями, воспринимаемыми всеми нами только как попытка окончательного освобождения коммунизма от сталинской скверны. С тем мы и в Москву вернулись, которая — во всяком случае, та, которая меня окружала, — жила тем же... Не следует слушать «бойцов поколения» и соблазняться мыслью, что мы были идиотами. Я уже писал о том, что на нашем отношении друг к другу и вообще к людям никакие догмы и исторические выкладки не отражались даже при Сталине. А уж после отказа от него ничто не мешало смотреть на мир открытыми глазами. «Подлинный коммунизм» ввиду своего отсутствия в жизни был для нас явлением, как теперь говорят, только виртуальным. Но мы за него держались, и это сковывало наше понимание. Вероятно, Петр Петрович тоже. К сожалению, точно я этого не знаю. В Москве, в тогдашней суматохе я потерял с ним связь (да и умер он сравнительно скоро).

Венгерские события захватывали нас целиком... Ежедневно при встречах и по телефону (последнее осторожно) обменивались новостями, переживали, надеялись... Этим надеждам настал для меня конец, когда однажды — не помню только, утром или пополудни — я позвонил Г.Б.Федорову. И в ответ на мои очередные соображения он ледяным тоном сообщил мне, что наше правительство решило ввести свои войска в Венгрию, и изложил соображения, по которым оно это сделало — естественно, речь шла о

защите завоеваний революции и социализма. Сообщил он все это так, будто принимает эти объяснения всерьез. Но я почти сразу понял, что это для постороннего слушателя. Потом я и сам пользовался этим способом обмена информацией по телефону — давал «гневную отповедь вражеским голосам», но при этом сообщал, что удалось по ним услышать. Сейчас же я был подавлен произошедшим. В основном интеллигенция (да и не только она — многие рабочие тоже) все воспринимала, как я. Но находились и желающие поверить. Помню одного сценариста, которого долго дискредитировали за происхождение, но у которого недавно приняли к производству сценарий. Он надрывался, защищая необходимость интервенции... Это умение свято верить в святость того, что тебе в данный момент выгодно, меня всегда удивляла... Таких людей я совсем не по-христиански (прости меня, Господи!) просто как бы вычеркивал из списка живых.

Должен сказать, что в 1968-м, во время интервенции в Чехословакию, таких было намного больше. Кстати, чехи в 1968 году, в отличие от венгров в 1956-м, не выходили из Варшавского пакта и даже не вели самостоятельной внешней политики, как Румыния. Эта политика часто шла вразрез нашей и доводила своим неподчинением Политбюро до бешенства, но Румынию не трогали. Было даже вслух сказано, почему — Румыния не посягала на основные завоевания социализма, что в переводе с совпартязыка на язык человеческий означает: «не допускала независимой свободной прессы». И потом в Румынии у власти стояли не верующие коммунисты, а свой брат-номенклатурист, только хвативший лишку — Чаушеску. И как раз критики с коммунистических позиций советского больше всего боялись советские номенклатурные вожди. На фоне этой критики и этих «верующих» яснее всплывало их унаследованное от Сталина самозванство. И, наверное, никого они так не ненавидели, как верующих Имре Надей, Смарковских, Кригелей и других таких же. Но во время Пражской весны я уже давно не считал себя коммунистом, а когда штурмовали Будапешт, еще считал. И поэтому чувствовал себя вдвойне оскорбленным: и потому, что мне вешали лапшу на уши, нагло пытаясь выдать за контрреволюционеров таких революционеров, как Имре Надь, и потому, что губили при этом

возрождение большевизма в его «чистом» романтическом виде. Помню в одной пропагандистской брошюре фотографию, озаглавленную: «Банда такого-то (какого, не запомнил) района Будапешта», а на фотографии вдохновенные молодые лица студентов и рабочих, как и положено при всякой революции. Такими, я тогда верил, были и наши красногвардейцы в Питере. Насчет наших я ошибался — но речь пока не об этом.

В состоянии двойной оскорбленности мне оставалось быть недолго, оно подтачивалось. Меня, например, удивляло, что с этим поведением и этой фразеологией мирились другие коммунистические лидеры — правда, некоторые с оговорками. Но разве такой компрометации всей их идейной структуры можно противопоставить оговорки?.. Поражало, что мирились они и с антисемитизмом, резко проявленным свободолобцем Никитой во время так называемой англо-французско-израильской агрессии против Египта (в ответ на национализацию Насером Суэцкого канала). Операция провалилась ввиду самоубийственного, предательского по отношению к союзникам вмешательства Соединенных Штатов (впрочем, СССР приписал эту «заслугу» себе). Но дело для меня сейчас не в этом, а в разнице тона, в которых были написаны протестующие ноты правительствам Англии и Франции, с одной стороны (по форме нормальные дипломатические ноты), и правительству Израйля — с другой (хамская издевательская бумага), а также в развернутой в связи с этим пропаганде... И ничего. Все руководители этих крайне интернационалистических партий (они тогда не были заменены найденышами типа последнего французского генсека Марше) съели это молча. И антисемитизм стал навсегда вечным — где более открытым, где более скрытым — атрибутом коммунизма. Только через много лет канадский генсек Вильям Каштан добился включения в какой-то документ пункт о необходимости борьбы не только с сионизмом (что к тому времени стало необходимым атрибутом коммунизма), но и с антисемитизмом. Сказывают, побороться пришлось изрядно. Ну и вписали. Почему не вписать, если человек настаивает. Действуют ведь тайные инструкции, а не открытые постановления.

Напоминаю, что я — прав ли я в этом или неправ — не отношусь к людям, заикленным на проблеме антисемитизма. В эмиграции я вполне мог общаться с людьми, придерживавшихся антисемитских воззрений, — конечно, если они не пылали жадной меня убить, — но ведь они не были по совместительству коммунистами. А говорю я сейчас о коммунистах — о тех, кого, в отличие от наших, таковыми считал и чьему мировоззрению это жестко противопоказано... Их поведение ставило меня в тупик.

Последний удар по моей вере нанесли тоже венгры, только другие — три венгерских коммуниста, выступившие со статьями в газете «Правда». Газету эту я тогда просматривал, черпая из нее не только «информацию наоборот» (как мой отец о том, что действительно происходило в Израиле), но отчасти и просто информацию, только специфическую — о том, в каком виде нам, да и всем на Земле, хотят представить действия Политбюро и их результаты — по существу, это была прямая информация о его действительной политике.

И вдруг я наткнулся на эти статьи. Они выделялись на общем фоне прежде всего стилем. Он не оставлял никакого сомнения, что их авторы — убежденные коммунисты или, во всяком случае, в отличие от советских руководителей или, например, гэкачеписта Шенина, перманентно требующего уважения к своим коммунистическим убеждениям, знают, что это такое.

Эти три венгра были не такими. В их статьях не было никакой советскости (теперь говорят более точно — совковости) — это был знакомый мне и тогда близкий эссеистический стиль коммунистических интеллектуалов. И вот о чем думали эти три убежденных интеллектуала месяца через три после начала интервенции, после того как в крови было задавлено народное восстание в их стране, а Имре Надь со товарищи то ли находились еще в югославском посольстве, где им было предоставлено политическое убежище от ярости интервентов, то ли были уже предательски выманены оттуда, схвачены и увезены неизвестно куда (о том, что все они тут же были расстреляны, эти авторы могли и не знать — это еще долго было интимной тайной Хрущева и его приближенных). Оказалось, что думали они о том, какие были допущены ошибки, позволившие «контрреволюции» под-

нять голову так, что понадобилось введение советских (повидимому, истинно революционных) войск. При всем своем эссеизме эти авторы не гнушались использовать совковые термины и ходы, говорилось обо всем так, будто в Венгрии и впрямь вспыхнула и была подавлена контрреволюция, и говорилось вполне квалифицированно. Но реальность происходящего этой квалифицированной пропагандистской схемой начисто вытеснялась из сознания.

И мне стало очень не по себе. И впервые я подумал — уже не о сталинщине, а о возлюбленном «истинном» коммунизме: а что остается? И так же, как в Чумакове о сталинщине, ответил — ни-че-го. По сюжету в этом как будто не было ничего сложного, я обнаружил, что привычные мне ценности, стремление к наиболее быстрому и дружному достижению высшей конечной цели, долг перед братством людей, участвующих в заговоре по ее скорейшему достижению, и все тому подобное могут превратить человека в какую-то вдохновенную и боящуюся утратить эту вдохновенность пешку, способную особенно с помощью пресловутой диалектики творить все, что угодно — что по своей структуре строго подчиненное достижению цели братство способно по указанию доверенных лиц работать и прямо против цели. И вдруг вся история партии со всеми ее запрещениями фракций и прочими ухищрениями, которыми столь успешно воспользовался Сталин, прошла передо мной, и я ее увидел в другом свете.

И как раз в это время я прочел вновь изданные «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, и мне открылось совсем не то, из-за чего эту книгу много лет не издавали. О том, что роль Сталина в октябрьском перевороте была не очень значительной, я и так знал, и то, что великий вождь там почти не упоминался, для меня не было неожиданностью... Произвела на меня впечатление эта книга, истинность свидетельств которой удостоверена самим Лениным, совсем другим — тем, что согласно этому свидетельству (добросовестному, но благожелательному к большевикам) этот переворот был просто путчем, заговором, что большинство его участников не знали и не понимали, что и зачем творили. Судите сами: сорок народных комиссаров (не знаю, откуда столько набралось — видимо, вместе с примкнувшими) вышли из Совнаркома почти сразу

после его образования в знак протеста против ущемления свободы печати. Видимо, сами не знали, зачем свергали Временное правительство... А что тогда говорить о рядовых красногвардейцах, которых откровенно обманывали и использовали? И попробуйте оценить такой факт: судьбу восстания (страны, а может, и цивилизации) решил броневой дивизион: на чьей стороне он выступит, на той стороне и окажется военное преимущество... А он митинговал, слушал разных ораторов и никак не мог решить, к кому примкнуть — к городской Думе (к «соглашателям») или к Смольному. Судьбу восстания (страны, а может, и цивилизации) решило то, что большевики в последний момент выставили более сильного оратора — прапорщика Крыленко, и он увлек дивизион в Смольный, чем обрек всю страну на невероятные муки, а себя самого на бесславную смерть в «секретном» сталинском застенке. И вообще я увидел, что «честные большевики», которым я до этого поклонялся, были не более чем группкой заговорщиков, в чьи руки страна попала случайно, потому что они в тот момент оказались единственной хоть как-то организованной и при этом абсолютно безответственной по отношению к судьбе своей страны силой — «смотрели шире».

Сплотились они в эту группу единственно ради «великой цели» — во всяком случае так им казалось — ради создания базы, с которой начнется вождеденная и необходимая истории мировая революция. То, что было дальше, вытекало отсюда автоматически. Захватив с такой целью и такими способом власть над страной, которая в большинстве своем не имела никакого понятия об этих задачах и с которой они вообще не знали, что делать, они встали перед необходимостью защищать эту свою, никому кроме них не нужную власть любой ценой, — дабы сохранить для человечества упомянутую базу, а заодно и спасти свои головы от вызванной их художествами ярости «несознательно» населения...

«Любой ценой!» Для людей типа Троцкого, воспитанных на чтении книг о Великой французской революции, это звучало романтически, но это именно то, с чем они потом привели себя самих и всю страну к Сталину, то есть на заклатание... В ослабленном виде это, если помнит читатель, задело и меня — еле избавился... На самом деле это

выражение подлое и страшное. Оно легализует любую аморальность и бесчувственную жестокость. Мыслилось, что эта «любая цена» будет оплачена грядущим счастьем человечества... До тех пор такая логика меня не удивляла — я ведь и сам так думал, — а теперь я впервые понял, что ради любой цели платить любую цену можно только за свой счет, в крайнем случае за счет тех, кто на это добровольно согласен, а не всех, кто случайно оказался в твоей власти. И тут уже сам собой встал вопрос: а какое право они вообще имели превращать целую страну в свою «базу», то есть подчинять всю ее жизнь внеположным для нее целям, заставлять миллионы людей всей своей жизнью, а потом и кровью становиться средством для удовлетворения духовных потребностей этой группки (даже в тех случаях, когда они были)?

Не Бог ведь какими откровениями я сейчас делюсь. Их с удовольствием сочтут надоевшей банальностью люди типа упомянутых выше «бойцов поколения»: дескать, кто же сегодня не знает, что большевики — дерьмо, а социализм — глупость? Но что делать — тогда не знали, тогда эти истины открывались мучительно, по крупицам и доставляли радость освобождения. Это упомянутые «бойцы», получившие их в готовом виде, способны относиться к ним высокомерно, не интересуясь ни историко-психологической реальностью, ни сутью проблемы. Что ж, таковы их, как говорили в старину, умственные интересы. На мой взгляд, они убоги, но это их дело. Беда в том, что это высокомерие преждевременно. Во-первых, если говорить о России, то теперь далеко не все отрицают как большевизм, так и социализм (хотя гораздо большее количество людей жаждут поклоняться приватизировавшему и то и другое Сталину — вспомните поставленный недавно добродетелями памятник в Аткарске).

Я ограничиваюсь тут только самыми духовными, самыми благоприятными для них, самыми легальными объяснениями их поведения, что соответствовало моим тогдашним представлениям — я вообще ограничиваюсь только тем, что знал тогда. Сегодня я знаю о Ленине, большевиках и Октябре гораздо больше компрометирующего (хотя и теперь не считаю, что все социалисты изначально были жуликами и подонками, не все, к сожалению), но об этом я

писал, пишу и буду писать в других работах. А здесь я пишу только о том, что помогло мне прийти к естественным человеческим ценностям ТОГДА. Ибо это мемуары, рассказ о моей жизни, а не историческое исследование.

Конечно, статьи трех венгров были для меня только каплей, переполнившей чашу впечатлений и мыслей, только детонатором взрыва, выбившего пробку из горла вулкана и расчистившего путь магме, разрушившего искусственную преграду на моем пути к самому себе. Другими словами, к приятию и осмыслению своих подспудных эмоций, представлений и тогда еще обрывочных, но впечатляющих сведений о нашей новейшей истории — всего того, на что я раньше закрывал глаза. Эти венгры сыграли в моем развитии ту же роль, что когда-то герои антикосмополитской кампании в отказе от Сталина. Тогда освободились мои отношения с людьми и жизнью, теперь освободились моя мысль и дух. Конечно, этому способствовало и мое взросление, лучшее и более ответственное понимание ограниченности жизни, а отсюда и человеческих ценностей... Ведь и на пути к взрослению тоже стояли запруды — государство инстинктивно заботилось о перманентной инфантилизации сознания своих подданных. Но не все тут было от государства — бессмысленное для земной жизни понятие «конечная цель» выдумало не оно. И ведь не так уж сильно отличалось это понятие от абсолютизации идеи прогресса, к которой были прикосновенны не только коммунисты (это не значит, что я стал врагом всякого прогресса — везде и во всем). А я ведь к этой системе координат привык — как к обстановке собственной квартиры. Но что делать — они не соответствовали человеческой реальности.

В отличие от предыдущего моего отрезвления, это мое освобождение — особенно поначалу — не упростило мои отношения с жизнью, а значительно усложнило их.

Больше в моем сознании не было поступательного движения всего человечества в заданном (кем?) направлении, с которым я сверял все, что происходило со мной и другими... Вроде бы исчез всякий критерий оценки — себя самого, других людей, событий и явлений. Я стал наконец свободным человеком и сразу как бы оказался на краю пустоты или хаоса. Что поделаешь, это ощущение хаоса рядом — один из атрибутов свободы — оказаться на краю хаоса, но

не становиться его частью. Разве не этим живет человечество все свои века? Разве не поэтому жизнь — творчество?

Впрочем, я преувеличиваю, говоря, что все мои критерии полетели: бескорыстие оставалось бескорыстием, ум — умом, культура — культурой, не изменились и оценки людей. Все это оставалось — только основа у всего этого оказалась другая. Эта основа всегда жила во мне, как и в большинстве окружающих, этого, как и я, не сознававших, стояла даже за нашей «идейностью», а в кризисный момент проступила наружу. Читатель уже догадался, что эта основа — религия, для меня — христианство. Кровавая эпоха кончилась (для всех) за три-четыре года до момента, до одного из дней первой половины 1957 года, на котором я кончаю эту книгу, — когда кончились (пусть не для всех еще, но для меня) ее соблазны. О жизни на свободе должна быть другая книга. Успею ли я ее написать, не знаю.

Н. Коржавин

11—13 марта 2002 года

Содержание

Часть четвертая. ПО ЭТАПУ В РОССИЮ

Вступление	5
От Лубянки до Свердловской пересылки	6
Свердловский узел и новосибирское освобождение	33

Часть пятая. ЧУМАКИ

В сибирской глубинке	94
Начало	94
Кульча. Колхозные страды	96
Деревня под названием Чумаки	115
Общее описание и первые знакомства	115
Первые контакты — сплошная «пятьдесят восемь/десять»	121
Райпромкомбинат. Первая неудача	131
Просветление во тьме	144
Районные будни	172
Жили были дед и баба	219
Love story (Любовная история)	238
Артель «Заря»	244
Обращение с дамой	265
Что нам стоит дом построить	272

Часть шестая. ПОЛУВОЛЯ (В «большой зоне»)

Вступление в шестую часть	288
Глава первая. Гость с того света	288
Прикосновение к «воле»	288
Тюмень. «Белое безмолвие»	304
В Москву с «мамками»	317
В Москве 1951-го. Снова у Ляли	326
Сага о носителях анахронизма	334
Встречи с друзьями (1951—1953)	343
Снова в Киеве	383
Калужская попытка	390
Глава вторая. Караганда	421
Еду в Караганду	421
Заезд в Сим (Ностальгическая элегия)	426
Ссылно-поселенческий рай	437
В техникуме и помимо	477
Спуск под землю	519
Карагандинская жизнь	555
В Караганде после амнистии	591
Полноправная командировка	591
В партийной газете	606

Часть седьмая. РАССТАВАНИЕ С СОБЛАЗНАМИ

Глава первая. Возвращение	655
Глава вторая. К свободе духа!	699
Глава третья. Венгрия 1956-го	726

Наум Коржавин
В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ
Книга 2

Редактор
Игорь Захаров

Художник
Григорий Златогоров

Верстка
Кирилл Лачугин

Корректор
Юлия Баклакова



Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
77 № 006722212 от 12.10.2004

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10. Факс: 258-69-09
Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: info@zakharov.ru

Подписано в печать 16.11.2006. Формат 84×108^{1/32}.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 39,48+0,63 вкл. Тираж 2000 экз. Изд. № 655.
Заказ № 41.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru

«Я закончил двухтомник своих мемуаров 1958 годом,
потому что тогда кончилась кровавая эпоха
и кончились соблазны...

...По происхождению я — еврей.

По самоощущению — русский патриот.

По взглядам — либерал и государственник.

Сторонник, по выражению русского философа
XX века Федотова, «империи и свободы».

Впрочем, либерализм без государственности
и патриотизма — это тоже бессмыслица.

Свободным человек может быть только в свободном
государстве, обеспечивающем его свободу.

Я очень недолго был сталинистом. Всего три года.

Как раз с 1944-го по 1947-й. Но именно тогда
меня и арестовали. В революцию я верил долго.

До 1957 года. Вера в революцию была для меня верой
в коммунизм как в идею. Я любил революцию
как единственную духовную инстанцию, которую знал.

Но после венгерских событий 1956 года понял:
коммунистическое мышление — мышление без параметров.

И коммунистической логикой можно оправдать
все, что угодно. И тогда почувствовал: если так близко
видел Дьявола, то есть и Бог.

Я, может быть, наивный человек. Но думаю:
надеяться выжить, не обращаясь друг к другу,
не понимая друг друга, имея друг о друге превратное
представление (как было в Девятьсот Семнадцатом),
еще наивней. Я ведь ничего не предлагаю, кроме как слышать
и понимать друг друга».

Наум Коржавин